САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ГУБЕРНСКIЕ ОЧЕРКИ.

СОВРЕМЕННИК

1863

ЗАПИСКИ

1868

К. Тюнькин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь
замечательных
людей

Серия биографий
ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 3
(694)



САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 83.3Р1
Т 98

Рецензент
доктор филологических наук
Ю. В. ЛЕБЕДЕВ

Т $\frac{4702010200-018}{078(02)-89}$ 161—88

ISBN 5-235-00222-9 (2-й з-д)

Глава первая

«ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТНЕЕ ДЕТСТВО»

В январе 1826 года в метрической книге церкви Преображения села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии появилась запись: «За 1826 год под № 2, села Спасского, у г. Коллежского советника и Кавалера Евграфа Васильева Салтыкова жена Ольга Михайлова родила сына Михаила января 15, которого молитвовал и крестил того же месяца 17 числа священник Иван Яковлев со причетники; восприемником ему был московский мещанин Дмитрий Михайлов». По совершении крещения восприемник (крестный отец) Дмитрий Михайлов Курбатов «пророчествовал», что появившийся на свет младенец Михаил будет «воин», «супостатов покоритель».

Так, в самый разгар зимы 1826 года, в занесенном снегами захолустном селе захолустного Калязинского уезда, в глухом «углу» тогдашней Тверской губернии, куда «углами» сходились еще три губернии: Московская, Ярославская и Владимирская (отсюда и название села — Спас на Углу, или Спас-Угол [1]), увидел свет и начал свой жизненный путь Михаил Евграфович Салтыков. Отцу его в этом году исполнилось пятьдесят лет, матери — двадцать пять. Дело было в общем весьма заурядное, «пошехонское». До Михаила у Салтыковых родилось пять человек детей (старшая дочь Надежда — в 1818-м, старший сын Дмитрий — в 1819-м), а после Михаила еще двое — всего же три сестры и пять братьев.

Как и раньше, как и всегда, по всему лицу земли русской — «Пошехонья» — плодились и множились неисчислимые массы дворян, мужиков, купцов, населяя эту землю, возделывая ее до кровавого пота, торгуя лесом, хлебом, овсом и льном, живыми и мертвыми душами... И молясь в многочисленных церквах Преображения, Вознесения, Рождества Христова, Ризположения, Успения...

---

[1] Ныне село Спас-Угол входит в состав Талдомского района Московской области.

Во все стороны от Спас-Угла на многие и многие версты распростирались непроходимые леса и непролазные болота, как тогда казалось, бесконечной великорусской равнины. «Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары; деревни ютились около самых помещичьих усадьб, а особняком проскакивали редко на расстоянии пяти-шести верст друг от друга. Только около мелких усадьб прорывались светленькие прогалины, только тут *всю* землю старались обработать под пашню и луга...» Жалкие речонки «еле-еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, в которых водилась немудреная рыбешка, но к которым в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти. По вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизою, клубящеюся пеленою» («Пошехонская старина»).

По разным сохранившимся документам известно, что наследственное поместье Салтыковых, или вотчина, — салтыковское дворянское гнездо — образовалось здесь, среди буреломных лесов и невылазной топи, в этой глухомани срединной России, не позже XVI века, и до рождения в 1826 году Михаила Салтыкова, наверное, мало что изменялось и изменилось за столетия в привычном поместном быту этого «гнезда». Историческая жизнь шла где-то стороной, как будто в каком-то тридевятом царстве, тридесятом государстве (знали ли что-нибудь в Спас-Углу, например, о потрясших императорскую Россию грозных событиях 14 декабря 1825 года, совсем накануне рождения Михаила?). И хотя предки Михаила Евграфовича (на самом деле Сатыковы, а не Салтыковы) приложили немало усилий (один из них даже был бит батогами за свои притязания), чтобы приписаться к боярскому роду Салтыковых — что им в конце концов и удалось, — они на самом деле «были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь Пошехонья, без шума сбирали дани с кабальных людей и скромно плодились». Лишь очень редко История захватывала в свою орбиту кого-нибудь из более бойких, а может быть, и просто — по неисповедимости путей своих. Так, Василий Богданыч Салтыков, дед Михаила, поручик лейб-гвардии Семеновского полка, оказался участником мятежа против императора Петра III, за что и был награжден новой императрицей — Екатериной II. Но, думается, этим неожиданным подарком фортуны он и сам был порядком напуган, почему тут же вышел в отставку и затворился в своем далеком от Петербурга и его «прелестей» и всяческих соблазнов Спас-Углу.

Тут же подоспела и женитьба Василия Богданыча на московской купеческой дочке Надежде Ивановне Нечаевой. (Впрочем, Михаил Салтыков не знал своих деда и бабку по отцовской линии, умерших задолго до его рождения.)

Понятно, что первый человек, заключивший для Миши Салтыкова поначалу весь мир, была его мать, Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забелина, как и бабка, — московская купеческая дочь. Совсем еще девочкой, пятнадцатилетней, выдали ее замуж за только что вышедшего в отставку чиновника Московского архива иностранной коллегии, калязинского помещика, сорокалетнего Евграфа Васильевича Салтыкова. «Ходило в семье предание, что поначалу она была веселая и разбитная молодка, называла горничных подружками, любила играть с ними песни, побегать в горелки и ходить веселой гурьбой в лес по ягоды. Часто ездила в гости и к себе зазывала гостей и вообще не отказывала себе в удовольствиях». Но в доме немолодого мужа, человека, глубоко ей чуждого, — с каким-то своим, уже давно сложившимся и непонятным ей духовным миром, рядом с незамужними «сестрицами»-золовками, которые недаром, по русскому присловью, зовутся колотовками (золовки Ольги Михайловны, правда, не колотили ее, но придумали другой, не менее язвительный способ досадить молодой невестке — дразнили ее купчихой, да еще с недоданным, хотя и обещанным, приданым), в этой новой для нее и материально и нравственно обстановке заштатной дворянской усадьбы молодость «соскочила» с нее необыкновенно скоро. Радостная поэзия молодости быстро сменилась трезвой прозой повседневного «головлевского» существования, или, попросту говоря, безудержным стяжательством и порой совершенно бессмысленным накопительством во имя накопительства (при этом назойливо повторялся мотив заботы о будущем детей, которые тем временем мечтали о том, как бы наесться досыта). Низменный домашний быт и суровая крепостная практика, бесконтрольная помещичья власть без остатка поглотили недолгую молодость и направили не-

заурядную силу и, может быть, даже талант в ложную сторону. К тому же пошли и дети: первую дочь, Надежду, Ольга Михайловна родила в семнадцать лет, а Михаила, шестого, — когда ей не исполнилось и двадцати пяти.

Все же вряд ли такой переворот — превращение веселой московской купеческой дочки в требовательную, не терпевшую возражений, а порой и жестокую помещицу — совершился, так сказать, в одночасье, при всей его «крутости». Когда родился Михаил, Ольга Михайловна была молода, чувства ее не застыли еще в той неукротимой и деспотической властности, которая превратила ее в конце концов, по словам одного современника, в «боярыню Морозову» (знаменитая властная и непримиримая раскольница XVII века).

Мише Салтыкову с небольшим полтора года; Ольга Михайловна в начале сентября 1827 года пишет мужу, Евграфу Васильевичу, в Москву, где тот в это время был: «Миша так мил, что чудо. Все говорит и хорошо. Беспрестанно со мной бывает и не отходит. Все утешает меня в разлуке с тобой. Признаюсь, мой друг, я при нем покойнее и веселее, и все его целуют...» И еще через пять дней ему же, «моему другу» Евграфу Васильевичу: «...дети все милы, а Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, все говорит, беспрестанно у меня, и поутру, как проснется, то в столовую идет меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идет в твой кабинет, мы там пьем чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берет за руку и ведет: дай чаю, маменька. Столько меня он утешает, что при нем немного забываю нашу разлуку». Хотя детей шестеро, и все они милы, все-таки Миша всех милее: правда, он младший. Даже если сделать скидку на столь характерный для двадцатых годов прошлого века сентиментальный дух и стиль семейной переписки, все же ощущается довольно ладная семья, вскоре пополнившаяся еще двумя сыновьями — Сергеем, родившимся в 1829-м, и Ильей, родившимся в 1834 году.

Счастливые детские воспоминания о ласкавшей матери, о светлых днях раннего детства, об уюте родного дома жили, наверное, где-то в подсознании, в смутных глубинах еще не оформившейся, так сказать, безо́бразной младенческой памяти, жило ощущение покоя и радости, еще не омраченной позднейшими тягостными впечатлениями. Ведь, конечно, недаром на исходе дней скажет больной и много переживший, в сущности, всю жизнь свою бездомный писатель фразу, которая вызывает недоумение после всего того, что мы знаем о его детстве и из прямых его воспоминаний, и из общего мрачного тона и колорита «Пошехонской старины»: «Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из деревенского десятилетнего детства».

Но даже в немногих оставшихся от этого времени письмах, принадлежащих членам салтыковского семейства, по видимости, резким диссонансом начинает звучать мотив, чуждый семейному ладу, семейной идиллии. В августе 1829 года (значит, Мише было два с половиною года) Евграф Васильевич пишет Ольге Михайловне: «Тебя же ради бога прошу детей не слишком много наказывать, ибо если что без тебя было <а Ольга Михайловна на некоторое время уезжала из Спасского в Москву>, за то уже они и наказаны, а впредь остерегать их и подтверждать, чтобы смирны и прилежны были...»

Для Миши Салтыкова его детское непосредственно-бессознательное, счастливое бытие кончилось с одним из таких наказаний. И здесь уже вступила в свои права память, пробудившееся — пусть еще неясное — сознание, которое скоро уже получит способность оценивать, судить и не забывать.

«А знаете, с какого момента началась моя память? — спросил однажды Салтыков в свои поздние годы. — Помню, что меня секут... секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Этот мотив наказания, битья какой-то страшной — кричащей, надрывающей сердце — нотой звучит во многих сочинениях Салтыкова, вплоть до «Портного Гришки» («Мелочи жизни») и «Пошехонской старины».

Вообще, этот «угол» Тверской губернии, вся эта местность, захолустнейшая из захолустных, как заметил Салтыков, вспоминая свои детские годы, — как будто самой природой была предназначена для «мистерий крепостного права». И эти мистерии разыгрывались не только на мужицких спинах, не только в отношениях самовластного, самодержавного помещика с бесправным крепостным мужиком-«хамом» или крепостной девкой-«подлянкой». Все было крепостным: все стороны повседневного быта, житейских отношений, обиходной морали. Крепостное право проникало всюду. Крепостными были и дети, и — не в последнюю очередь — помещичьи дети.

В памяти Салтыкова через полвека прежде всего всплывают «смутные впечатления о детском плаче, почти

без перерыва раздававшемся, по преимуществу, за классным столом... Страшно подумать, что, несмотря на обилие детей, наш дом в неклассные часы погружался в такую тишину, как будто все в нем вымерло Зато во время классов поднимались неумолкающие стоны, сопровождаемые ударами линейкой по рукам, шлепками по голове, оплеухами и проч. Мой младший брат <Сергей> несколько раз сбирался удавиться. Он был на три года моложе меня, но учился, ради экономии, вместе со мною, и от него требовали того же, что и от меня. И так как он не мог выполнить этих требований, то били, били его без конца» (незаконченный мемуарный набросок для «Пошехонских рассказов»).

Память Салтыкова, когда перед ним встают дни его десятилетнего детства, тревожит еще одно воспоминание — «нет воспоминания более гнусного» — воспоминание, отравившее впоследствии его сознательную жизнь, окрасившее мучительным трагизмом и его отношения с родными, прежде всего матерью Ольгой Михайловной и братом Дмитрием, и страницы его гениальных созданий — романа «Господа Головлевы» и жития-хроники «Пошехонская старина». Это гнусное воспоминание — о разделении детей на две категории — любимчиков и постылых: «Это деление не остановилось на детстве, но перешло впоследствии через всю жизнь».

В том же мемуарном наброске Салтыков отметил свое несколько особое положение в семействе: «Я лично рос отдельно от большинства братьев и сестер, мать была не особенно ко мне строга...» Чем можно объяснить такое отношение матери к своему шестому ребенку и третьему сыну? Прежде всего тем, наверное, что пять первых детей Ольги Михайловны почти все были погодками, а Михаил родился через три года после сестры Любови (родившаяся в 1825 году Софья умерла во младенчестве), а брат Сергей появился на свет через три года после Михаила (в 1829-м). Долгое время Михаил был младшим и любимым сыном. Николай (родившийся в 1821 году; прототип Степки-балбеса из «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины») и Сергей, забитый оригинальной семейной педагогикой, принадлежали, по классификации и соответствующему отношению Ольги Михайловны, к числу «постылых». Такое положение Михаила среди салтыковских детей создало ему некоторую самостоятельность, сыграло свою положительную роль. При всеобщей приниженности, угнетенности и забитости,

которой, разумеется, и он полностью избежать не мог, он все же был забит и унижен менее других. Своеобразное одиночество, уединение среди гама и плача классной комнаты оставляло больше времени и возможностей для размышлений, сравнений и оценок. Уединение оказывалось пусть и относительной, но все же свободой.

Миша, в глазах Ольги Михайловны и в ее отношении, еще долго оставался «милым» (о чем свидетельствуют ее письма), чем-то ее привлекал, выделялся среди других (так, например, в свои деловые поездки Ольга Михайловна часто брала именно его, предпочитая другим детям). Эта умная, вовсе не «злонравная» от природы, обладавшая сильной волей и «громадной памятью»[1] и притом «в сильной степени одаренная творчеством»[2] женщина наверняка почуяла в сыне Михаиле какую-то особенность, незаурядность, тоже необыкновенную «одаренность творчеством» и выделила его среди других своих детей не просто по случайному капризу или какой-то необъяснимой симпатии. Впрочем, предпочтение Михаила другим детям не было уж чересчур исключительным. Иной раз Ольга Михайловна, всецело поглощенная своими бесконечными и многообразными хозяйственными заботами, созиданием «махинищи» своего крепостного хозяйства, просто забывала о нем, как и о других детях, и с каким-то даже удивлением смотрела, если он попадался на ее пути. Да и Михаил, когда стал старше и нечто понял, видимо, старался избегать встреч с матерью, ведь, как скажет он через полвека, встречи эти, «особенно в нравственном смысле, даже на самых равнодушных людей действовали раздражительно».

Впечатлительность, живость восприятия окружающего, «резвость», «нетерпеливость» маленького «Мишеньки», о которых пишет, например, воспитывавшаяся тогда в Московском Екатерининском институте сестра Надежда родителям в ноябре 1829 года, когда мальчику шел четвертый год, — именно эти детские черты, эти качества ребенка стали предпосылкой будущей очень трудной выработки, «выделки» характера самостоятельного, очень целеустремленного, упорного и стойкого.

Тогда же, в трех-четырехлетнем возрасте, началось и потом продолжалось, естественно, не из-под палки, и об-

[1] О «громадной памяти» Анны Павловны Затрапезной говорится в «Пошехонской старине»

[2] Характеристика Арины Петровны Головлевой в «Господах Головлевых».

учение Михаила. «Очень рада, — пишет в упомянутом письме Надежда, — узнав, что Мишенька так же послушен и учится азбуке...» Классная комната в спасском доме собирала всех детей Салтыковых, но обучали старших, Михаил же обучался, впитывая и усваивая то, что с трудом и с битьем должны были выдолбить старшие (так он со слуха выучился болтать по-французски и по-немецки). И потому, когда крепостной живописец Павел Соколов в один из дней рождения Михаила (кажется, это было в 1832 году: Мише исполнилось тогда шесть лет) торжественно — предварительно был отслужен молебен — приступил к обучению мальчика грамоте, азбука ему уже была хорошо известна, почему обучение и пошло так успешно и быстро.

Конечно, суровые воспитательные приемы, педагогическая система «битья» коснулась и Михаила. По окончании курса в Екатерининском институте появилась в 1834 году в Спасском старшая сестра Надежда, и ей была поручена подготовка Михаила к поступлению в московский Дворянский институт. Надежда при этом «дралась с таким увлечением, как будто за что-то мстила». Однако к этому времени Михаил, которому исполнилось восемь лет, в сущности, уже не нуждался в учителях; с того момента, когда в нем пробудилось сознание, когда «началась» память, а это произошло, как мы помним, очень рано, он уже проделал большой путь активного самообучения и самовоспитания.

Какие же образы, впечатления, воспоминания могли откладываться в памяти мальчика с того момента, как она началась? Какая работа шла в его голове и сердце?

Раннее воспоминание о жестоком наказании было несомненно мучительным, болезненным, но оно так ярко запечатлелось, наверное, именно потому, что уж очень противоречило ладу первых младенческих лет, проведенных в детской, спальне матери, кабинете отца...

Кругозор мальчика расширялся, он «осваивал» большой салтыковский дом, всю Спасскую усадьбу, выходил в сад и огород.

Вообще, вспоминал Салтыков, небогатые помещичьи усадьбы не отличались в те времена «ни изяществом, ни удобствами». «По большей части они устраивались посреди деревни и непременно в низинке, чтобы зимой теплее было. Это были продолговатые одноэтажные дома, почерневшие от времени, с некрашеными крышами и

с старинными окнами, в которых нижние стекла поднимались наверх и подпирались подставкою. В шести-семи комнатах такого четырехугольника ютились иногда очень многочисленные дворянские семьи с целым штатом дворовых девок и лакеев и с наезжавшими гостями. О парках и садах и в помине не было. Обыкновенно впереди дома раскидывался крошечный палисадник, обсаженный стрижеными акациями и наполненный по части цветов барскою спесью, царскими кудрями и бураковыми лилиями. Сзади дома устраивался огород, но и то небольшой, потому что в старину и овощи (кроме капусты) считались пустым и хлопотным делом. Разумеется, у помещиков более зажиточных и усадьбы были обширнее, но общий тип был один, с прибавкою небольшой березовой рощи, в которой свивали гнезда бесчисленные стаи грачей, с утра до вечера наполнявших воздух трескучим стоном». К таким более зажиточным помещикам принадлежали и Салтыковы, и их усадьба в Спас-Углу отличалась от описанного «общего типа» некоторыми барскими прихотями и затеями. «Что касается до усадьбы, в которой я родился и безвыездно прожил до десяти лет, — продолжает вспоминать Салтыков, — то она представляла собой образец так называемой полной чаши. Дом был двухэтажный, с четырьмя мезонинами (собственно говоря, третий этаж, потому что мезонины имели общий коридор, который и сообщал их между собой), просторный и теплый; в нижнем этаже, каменном, помещались мастерские, кладовые и несколько дворовых семей. Верхний этаж и мезонины занимали господа. При доме был разбит довольно большой сад с прорезанными дорожками, окаймленными цветочными рабатками... Но так как в то время существовала нелепая мода подстригать деревья, то тени почти совсем не было, несмотря на то, что кругом всего сада шла прекраснейшая липовая аллея. Несравненно в бóльших размерах были разведены огороды и ягодный сад, в котором устроены были и оранжереи с теплицами, парниками и грунтовыми сараями. Ягоды и овощи разводились в обширных размерах. Это было полезное, которому в старинной помещичьей среде всегда отдавалось преимущество перед приятным».

Не только плодовый сад и липовые аллеи, не только богатые оранжереи, где разводились даже экзотические персики (за всем этим наблюдал купленный Ольгой Михайловной за большие деньги крепостной садовник), не только обширный огород с ягодами и овощами —

к усадьбе принадлежал также большой хозяйственный двор — средоточие экономической жизни салтыковской вотчины. Тут располагались конюшни, коровники, риги, хлебные амбары, кладовые, погреба, кузницы. Жизнь здесь, в особенности летом и осенью, постоянно била ключом, шумела и бурлила — запрягали, распрягали и подковывали лошадей, выгоняли и загоняли скот, ехали возы с сеном и снопами, сушили, молотили и веяли зерно, засыпали его в амбары, погреба заполняли молочными «скопами» (маслом, сметаной, творогом) и всяческими плодами и ягодами из собственного сада и из леса, куда наряжались «брать ягоду» дворовые девки. Здесь стоял круживший голову смешанный запах хорошо высушенного сена, ржаной соломы, лесной земляники и малины, конского и коровьего навоза... Слышались и сливались в удивительную симфонию разнообразнейшие звуки — удары цепов в риге и молота в кузнице, ржание коней, мычание коров, лай дворовых собак, а порой и грозный маменькин окрик, и робкие, а иной раз и дерзкие оправдания и возражения «рабов», и их крики при наказании на конюшне (впрочем, и в этом надо отдать должное Ольге Михайловне, скорая на «ручную расправу», она к наказаниям крестьян «на теле» прибегала в очень редких случаях).

С самых ранних детских лет с любопытством слушал Миша Салтыков каждодневные беседы маменьки со старостой, ее распоряжения по барщинным работам, которые всегда делались «на́двое» — на случай хорошей и на случай плохой погоды. Ему полюбились оживленное мельтешение и заботливая сутолока хозяйственного двора, с интересом всматривался он в разнообразные хозяйственные работы, слушал разговоры дворовых и мужиков, каждого из них знал в лицо, любил с ними говорить, расспрашивать.

В пятидесяти саженях (приблизительно ста метрах) от дома находилась церковь Преображения Спасова (отсюда — название села).

С церковными обрядами связаны были первые впечатления мальчика об отце.

Евграф Васильевич Салтыков никогда всерьез не занимался своим в общем-то немудрящим хозяйством (всего около трехсот душ крестьян), главная часть которого находилась в Спас-Углу, а другие села и деревни были разбросаны не только в Тверской, но и в Ярославской, Вологодской, Костромской и даже Тамбовской губерниях.

Когда маленький, еще двухлетний-трехлетний Миша Салтыков попадал в отцовский кабинет, он встречал здесь оригинальную личность, своеобразно воспитанную всей предшествовавшей пятидесятилетней жизнью, всей своей даже несколько странно и оригинально сложившейся жизненной судьбой. По-видимому, уже с молодости этот дворянский недоросль все больше определялся как «человек, лишенный поступков» (если воспользоваться словами его сына, сказанными, правда, по другому поводу). До двадцатипятилетнего возраста его пестовали и обучали «на своем коште» под присмотром маменьки Надежды Ивановны. Правда, за это время он весьма сносно выучился трем иностранным языкам, не говоря уже и о некоторых других «иностранных науках». Выявилась его склонность к литературной (впрочем, вполне дилетантской) деятельности, в особенности — к переводам с немецкого и французского языков (некоторые его переводческие компиляции даже были изданы).

Новый, девятнадцатый век застает Евграфа Васильевича в Петербурге, в доме графа Дмитрия Ивановича Хвостова, известного тогда поэта, как раз в это время служившего обер-прокурором священного Синода (правительственного учреждения, управлявшего православной церковью). Это же были последние годы царствования императора Павла — великого магистра (!) Мальтийского рыцарского ордена иоаннитов, годы странного сочетания российского православия с масонским мистицизмом. Здесь-то мелкопоместный пошехонский дворянин Евграф Васильевич Салтыков каким-то странным образом приобщается к деятельности мальтийских рыцарей и даже становится кавалером ордена святого Иоанна Иерусалимского.

Но все это не дает хлеба насущного, а хозяйство приносит весьма скудные плоды: приходится поступать на службу. Знание иностранных языков оказывается полезным, и более десяти лет служит Евграф Васильевич — сначала в Петербурге, а затем в Москве — в коллегии иностранных дел в качестве переводчика. Успехов значительных по службе он не имел, хотя и вышел в отставку в 1816 году с довольно солидным чином коллежского советника (чин VI класса по петровской табели о рангах, соответствовавший военному чину полковника).

Женившись и удалившись в Спас-Угол, Евграф Ва-

сильевич замкнулся в своем кабинете. Отдав хозяйство, да в значительной степени и воспитание детей, в руки жены, он всецело предался неуклонному соблюдению всех деталей и подробностей православного церковного обряда. Вся бытовая и хозяйственная суета, все то, что лежало за пределами этих интересов, для него — сплошное невежество.

В кабинете Евграфа Васильевича в Спас-Углу имеется библиотека, и он перечитывает полумистические и религиозные сочинения, популярные в годы его петербургской молодости: Брюсов календарь (со всякого рода предсказаниями и пророчествами), «Часы благотворения, или Беседы христианского семейства», «Ключ к таинствам природы» Карла Эккартсгаузена и другие подобные. «Сверх того, он слывет набожным человеком, заправляет всеми церковными службами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться сердцем, и усердно подтягивает дьячку за обедней».

Обрядность, формализм и машинальность царствовали здесь. Религия обрастала дремучим бытом. Церковь была лишь частью, элементом этого — крепостного — быта; «церковь, как и все остальное, была крепостная, и поп при ней — крепостной». К церковному причту относились с пренебрежением, за исполнение треб (венчания, крестины, похороны) платили гроши, полуграмотного попа Ивана, выслужившегося из дьячков, не стеснялись звать попросту Ванькой. Поп вынужден был трудиться на своем наделе, подобно мужику. Мальчику Салтыкову запомнилось, как отец вмешивался в ход церковной службы, поправляя попа, путавшегося при чтении Евангелия.

К тому же «набожные» помещики никак не желали раскошелиться — колокол для своей церкви купить, взамен маленького и надтреснутого.

Во всем этом помещичьем юродстве и лицедействе «не чувствовалось ничего, что напоминало бы возглас: «Горé имеем сердцá!» Колени пригибались, лбы стукались об пол, но сердца оставались немы».

Рядом с усадьбой и церковью лежало собственно село Спас-Угол, где в своих избах, на своих и барских полях вели свою жизнь, из поколения в поколение справляли свой мужицкий обиход, в престольный праздник (6 августа — второй, яблочный Спас) гуляли, а во все остальные дни, месяцы, годы до самой смерти — пахали, сеяли, жали, молотили триста ревизских душ, триста тяглецов, имевших к тому же свои семьи — жен, детей, внуков...

Неженное (как тогда говорилось) дворянское воспитание не только требовало ограждения помещичьих детей от общения с крестьянами, но и, так сказать, изначально вырабатывало вполне определенное — презрительное — отношение к рабу и хаму.

Условия усадебного быта мелкого и среднего русского помещика, постоянно жившего в своем «углу» или «гнезде», были, однако, таковы, что избежать взаимных общений баричей и барышень с крестьянской средой не было никакой возможности. Ведь и хозяйственный двор усадьбы, и людская, и девичья, и застольная в самом помещичьем доме были полны трудящимся крепостным людом. Все дело заключалось только в том, ктó и чтó мог вынести из этого общения, каким взглядом посмотреть и на повседневный от века сложившийся обиход, и на частые, в сущности, тоже повседневные человеческие драмы, совершавшиеся в безгласной и серой массе крепостного крестьянства.

В господском доме скучивались и ютились по своим углам, спали на полу на войлоках дворовые люди (те же крепостные, только лишенные собственного земельного надела и исправлявшие всяческую работу при дворе помещика); некоторые из дворовых имели семьи, в большинстве же это были сенные (от слова «сени») девушки, «девки» в крепостническом словоупотреблении: им Ольгой Михайловной Салтыковой выходить замуж строго-настрого запрещалось. Лакеи, горничные, кормилицы, няньки, мамки, кучера из крепостных — вообще люди («человек» в тогдашнем помещичьем лексиконе означал «слуга») сопровождали помещика от колыбели до гроба, в каком-то смысле даже и воспитывали дворянских детей. «Я, — писал Салтыков, — вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем» («Мелочи жизни»).

Крепостная кормилица, вскормившая своим молоком барского дитятю, пользовалась привилегией: молочный брат или молочная сестра этого дитяти отпускались на волю. Давать вольную будущему тяглецу или рекруту считалось невыгодным и потому в кормилицы обычно брали крестьянок, родивших девочек. К своей крепостной кормилице Домне маленький Миша любил потом бегать украдкой в деревню, и голодный барчук (следствие домашнего скопидомства) досыта наедался в ее избе

обыкновенной крестьянской яичницей. Трудно сказать, что сохранилось в памяти Салтыкова от встреч тайком со своей молочной матерью и молочной сестрой. Наверное, все же не голод, а благодарное человеческое чувство, чувство любви, пусть неясное и неосознанное, влекло его в избу Домны. И образ безвестной и незаметной крестьянской женщины несомненно занял свое место в том огромном впечатляющем образе русского мужика, деревни, народа, который постепенно и подспудно рос в его памяти и сознании.

Нянек и мамок было много, они постоянно менялись, но между ними не было ни одной сказочницы — Арины Родионовны. Сугубо прозаическая настроенность спасского дома и в этом случае проявилась в полной мере. «Одним из самых существенных недостатков моего воспитания, — говорится в мемуарном наброске для «Пошехонских рассказов», — было совершенное отсутствие элементов, которые могли бы давать пищу воображению. Ни общения с природой, ни религиозной возбужденности, ни увлечения сказочным миром — ничего подобного в нашей семье не допускалось», не допускалось ничего поэтического. Потом, когда пришла пора учения, нянек и мамок сменили приглашаемые из Москвы гувернантки, учившие преимущественно иностранным языкам и музыке (все то же «неженное» дворянское воспитание). Запоминались они больше всего разнообразными и изощренными приемами битья, а отнюдь не желанием пробудить в детях фантазию, внести в детский мир поэзию природы, сказки или родной литературы (позднее Салтыков скажет, что в детстве он русской литературы не знал: в доме не было даже басен Крылова).

Воображение тем не менее требовало пищи, искало ее и в конце концов находило; детскую фантазию невозможно было забить окончательно и бесповоротно. Содержание этой фантазии, к несчастью, оказывалось чаще всего жалким и скудным, как скуден был духовный мир салтыковской усадьбы: высшее счастье жизни полагалось в еде, грезилось и мечталось отнюдь не о сказочном Лукоморье или прекрасной спящей царевне и доблестных семи богатырях, а о вещах гораздо более прозаических и реальных — богатстве и генеральстве. Правда, в нечистую силу верили, чертей, домовых и прочих «пустяков» боялись.

Иногда помещичьим детям позволялось (только не в престольный праздник, когда мужики гуляли) пройти, в сопровождения гувернантки, по селу, заглянуть в крестьянские дворы и избы.

Барчата, «сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился; за молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек.

Дети перекидываются замечаниями.

— Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит! — рассказывает Степан. — Бедный был и пил здорово, да икону откуда-то добыл — с тех пор и пошел разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил... Наконец на оброк выпросился, торговать стал... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у Антипки икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе богу ни молиться...» Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже... Теперь хороший-то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю тому назад уж и на конюшне наказывали...

— А вот Катькина изба, — отзывается Любочка, — я вчера ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, худая. «Что, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» — «Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку бога молить. По смерть ласки ее не забуду!»

— Изба-то у ней... посмотрите! бревна живого нет!

— И поделом ей, — решает Сонечка, — ежели бы все девушки...

В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению к крестьянам, встречают их безусловное одобрение» («Пошехонская старина»).

Дети смотрят на деревню из окон своего усадебного дома, глазами той среды, в которой живут, пересказывают те разговоры, которые слышат в столовой, в кабинете отца, в людской, в девичьей, повторяют наполнявшее, как дурной запах, атмосферу их родного дома

сквернословие — грубый, циничный или ханжеский язык весьма низменного свойства, которым, не стесняясь присутствия детей, изъяснялись мать, отец, челядинцы, населявшие людскую. Стяжание, успех по службе, отношения полов, точнее — изнанка этих отношений, — в этом кругу вращались интересы и разговоры взрослых, этот круг интересов образовывал сознание и мораль детей. Отсюда, из спальни матери, кабинета отца, от лакеев и развращенных дворовых, выносили дети Салтыковых грубо презрительное отношение к посконному и сермяжному тягловому мужику, то ухичивавшему свою бедную избу, немудрящий двор, то упорно и тупо, от восхода до захода солнца, шедшему за сохой по своей ли полосе или по барскому полю.

Самым страшным были равнодушие и, зачастую, цинизм детей.

То, что эта атмосфера тлетворна, Михаил Салтыков понял, конечно, не сразу. Хотя он, как уже говорилось, пользовался в доме некоторой свободой и снисходительным отношением матери, всесокрушающий порядок вещей тяготел и над ним почти безраздельно. Что могло пробудить его от этого, если можно так сказать, сна безнравственности и холодного равнодушия, вызвать если не протест и неприятие (до этого было еще далеко), то хотя бы что-то похожее на внутреннее беспокойство, нравственную озабоченность неблагополучием, царствующим в этом мире насилия, стяжания, лицемерия и цинизма, породить в его сердце, сознании, совести нечто *свое*?

Мишу Салтыкова тянуло на хозяйственный двор усадьбы: там шла особенная — тяжелая, но по-своему и радостная, трудовая жизнь, там не было засасывающей скуки и мертвенной тишины родительского дома и в особенности классной комнаты. Интерес к этой жизни, а может быть, и тихая любовь к ласковой и жалевшей барчука Домне пробуждали в душе мальчика совсем иное отношение к работящему крестьянскому люду — не циническое, грубое и презрительное, а сочувственное и радостно-любовное. Конечно, хозяйственный двор барской усадьбы — это еще не мужицкий поселок, не деревня, жившая особенной, глубоко отличной от барской жизнью, верная своим издревле сложившимся свычаям и обычаям крестьянского мира. Трудным, долгим и медленным был путь дворянского сына Михаила Салтыкова к пониманию того, что крепостной мужик — не смирный тяглец, обязанный тянуть ярмо каторжной барщинной работы ради помещичьего благополучия, платить подати и оброки, надевать красную солдатскую шапку, отправляться в ссылку в Сибирь по распоряжению (а то и по капризу) помещицы или помещика, безропотно сносить «ручную расправу» или ложиться под розги на конюшне. Надо было разорвать порочный круг обыденности и привычности установившихся извечных, а потому будто бы и вечных отношений. «Свое» накапливалось и вызревало исподволь, в череде сменявших друг друга впечатлений, образов, мелькавших, но все-таки откладывавшихся в «огромной памяти».

В 1831 году Евграф Васильевич Салтыков записал в своем адрес-календаре: «Августа 21 дня, поутру, в 8-м часу, Ольга Михайловна Салтыкова с детьми своими Дмитрием и Михайлом Салтыковыми выехала из села Спасского, а приехала в Москву в дом батюшки ее Михаила Петровича Забелина *августа 23 дни* в 9 часов утра, а возвратилась в село Спасское октября 3 дня пополудни 10 часов».

Таким образом, конец августа — сентябрь 1831 года пятилетний «Михайла» Салтыков вместе с матерью и старшим братом Дмитрием провел в московском доме деда по матери Михаила Петровича Забелина (дом находился на Арбате, в Большом Афанасьевском переулке). Дедушка Михаил Петрович, богатый московский купец, был знаменит тем, что во время Отечественной войны 1812 года пожертвовал крупную сумму на московское ополчение. За этот патриотический порыв он был пожалован чином коллежского асессора и тем самым причислен к потомственному дворянству.

Поездка в Москву отложилась в памяти Салтыкова в отличие от смутных и неясных образов первых пяти лет жизни впечатлениями и образами яркими и знаменательными. Воображение, никнувшее в скудной, лишенной воздуха и поэзии среде Спас-Угла, воспряло и разыгралось под влиянием впечатлений новых, необычных.

Непосредственного, одухотворяющего общения с природой, по причине «неженного» дворянского воспитания, в салтыковском доме не допускалось. Не в обычае было смотреть на природу иначе как с точки зрения ее полезности, пригодности для хозяйственных нужд.

И вот первый выезд за пределы усадьбы ранним утром

ясного предосеннего дня: «...когда мы проехали несколько верст, мне показалось, что я вырвался из заключения на простор. Ядреный воздух, напоенный запахом хвойных деревьев, охватывал со всех сторон: дышалось легко и свободно...» Тут впервые, а потом каждый раз, когда покидал свой родной Спас-Угол, вдыхая воздух открывающихся и уплывающих назад лесов и полей, душистый запах хвои, луговых и болотных цветов и трав, испытывал Михаил Салтыков то необходимое каждому человеку чувство сопричастности великой вселенской жизни природы, которого он был лишен в Спасской усадьбе, чувство, которого, к несчастью, не знает человек больших городов.

Путь до Москвы на своих лошадях занимал два дня с половиною (всего сто тридцать пять верст). На первую ночевку в сорока верстах от Спас-Угла останавливались в селе Гришкове, в избе старого крестьянина Кузьмы, державшего что-то вроде постоялого двора. Так впервые мальчик провел ночь в крестьянском дворе, в деревне. Правда, поначалу деревенская жизнь мало его заняла.

«Когда меня разбудили, лошади уже были запряжены, и мы тотчас же выехали. Солнце еще не взошло, но в деревне царствовало суетливое движение, в котором преимущественно принимало участие женское население. Свежий, почти холодный воздух, насыщенный гарью и дымом от топящихся печей, насквозь прохватывал меня со сна. На деревенской улице стоял столб пыли от прогонявшегося стада.

Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому, казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пестрые картины. Здесь же все было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путем, так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые — сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными» («Пошехонская старина»). И в самом деле серые картины крестьянской жизни станут со временем «вечно присущими» мысли, сердцу и памяти Михаила Салтыкова.

Следующая, главная остановка, на вечер и ночь, предполагалась в Сергиевском посаде, при знаменитом монастыре Троице-Сергиева лавра, основанном еще в XIV веке сподвижником Димитрия Донского Сергием Радонежским. Религиозная восторженность была чужда салтыковскому семейному воспитанию, деловая же, неизменно поглощенная хозяйственными трудами и заботами Ольга Михайловна, по-видимому, разделяла народный взгляд на монахов как на дармоедов. «Набожность» же Евграфа Васильевича как и в Спасском, так и во время наездов в Москву сводилась к неукоснительному, но формальному, механическому соблюдению церковной обрядности, вряд ли хоть сколько-нибудь затрагивавшему его уже давно омертвевшую душу.

В Спас-Углу все было обыденно, привычно — и дом, и люди, и церковь на пригорке: никаких волнующих воображение и чувства впечатлений.

Здесь же, в монастыре, в «обители» — масса богомольцев, нищих, калек, монахов; разные монастырские постройки — академия, большой Успенский собор и маленькие церкви и церквушки. Но даже не это многолюдство и суета затронули душу мальчика, хотя все это было пестро и необычно. Щеголеватые и самодовольные монахи ему явно не понравились.

Но все же что-то незабываемое — сказочное — осталось в памяти от первого посещения Троице-Сергиевой лавры.

Всенощная служба в Успенском соборе поразила маленького Мишу Салтыкова. «Переход от наружного света делал храм несколько мрачным, но это было только на первых шагах. Чем больше мы подвигались, тем становилось светлее от множества зажженных лампад и свеч... Пело два хора: на правом клиросе молодые монахи, на левом старцы. Я в первый раз услышал толковое церковное пение, в первый раз понял...» В особенности поразительно было пение старцев. «Заунывное, полное старческой скорби, оно до боли волновало сердце...» — пение, тонувшее в темноте соборных сводов и как бы вновь возвращавшееся печалью и болью сердца...

Пробуждались спавшие дотоле душевные глубины, волнующая и вдохновляющая способность сочувствовать

и сострадать — может быть, самая главная составляющая поэтического, художественного таланта. Под глубоким впечатлением проникновенного пения старцев, умудренных долгим горьким опытом жизни, Михаил в первый раз нечто понял...

Тогдашний церковно-религиозный обиход требовал чтения Библии, и дети знакомились с ее историями и притчами во время церковных служб и по устным пересказам, сами еще читать не умея. В сущности говоря, это была единственная духовная пища окружавших их крестьян, единственный исход из мира насилия и скорби в некий иной мир, такой исход, который вселял надежду на будущее избавление. Народная поэзия — сказки, песни — обитала где-то в деревне, в крестьянской избе, но до салтыковского дома вряд ли доходила, помещиками не поощрялась. Библейские истории, легенды и притчи возбуждали воображение и волновали чувства. Какое-нибудь повествование о страданиях Иова или о трехдневном пребывании пророка Ионы в чреве китовом воспринималось как удивительная сказочная история. И недаром встречи в монастыре с иеромонахом Ионой напоминали Мише Салтыкову фантастический библейский рассказ об Ионе, поглощенном китом: мальчику казалось, что этот высокий и «пространный телом» монах и есть именно тот самый библейский Иона и что кит, вместивший такого человека, действительно должен быть необыкновенно велик. Наиболее художественно одаренные, духовно чуткие и нервно возбудимые, а таким несомненно был Михаил Салтыков, чувствовали какую-то неясную, не осознанную еще тревогу оттого, что за формальной религиозной оболочкой евангельского рассказа о страстях господних, за сентенциями христианской проповеди, обращенной к «труждающимся и обремененным», может скрываться не только отвлеченно-нравственный, но и вполне конкретный социальный смысл.

«Когда я впервые познакомился с Евангелием (разумеется, не по подлинникам, а по устным рассказам) и с житиями мучеников и мучениц христианства, то оно произвело на меня такое сложное впечатление, в котором я и до сих пор не могу себе дать отчет <эти автобиографические строки написаны Салтыковым в декабре 1883 года>. Это был, так сказать, жизненный почин, благодаря которому все, что до тех пор в скрытом виде складывалось и зачиналось в тайных изгибах моего детского существа, вдруг ворвалось в жизнь и потребовало у

нее ответа. Насколько могу определить овладевшее мною чувство теперь, то была восторженность, в основании которой лежало беспредельное жаление. В первый раз передо мною стали живые образы, созданные воображением, населившие собой особенный мир, который сделался для меня настолько же конкретным, как и та будничная действительность, которою я был окружен. Эти образы угнетали меня своим множеством и разнообразием, они неотступно шли за мной шаг за шагом. Не только фактическая сторона жизни Христа и (в особенности) его страданий давала начало бесконечной веренице образов, не только притчи, но и отвлеченные евангельские поучения. Все эти алчущие и нищие духом, все эти гонимые, которых ижденут и о которых рекут всяк зол глагол, вся эта масса окровавленных, истерзанных пытками «имени Моего ради» — все они с изумительною ясностью проходили передо мной, униженные, поруганные, изъязвленные, в лохмотьях... В моем детстве это, быть может, единственная страница, на которую выступило довольно ярко поэтическое чувство и благодаря которой мое дремавшее сознание было потревожено».

Так творческая память Салтыкова сохранила на всю жизнь тот самый момент, когда он рождался как художник и человек. О рождении художника свидетельствовало это непроизвольное, тревожное, наверное, даже мучительное своей неостановимостью со-творение образов, их бесконечное умножение в нервно возбужденной фантазии. О рождении человека — потрясшее восприимчивую природу мальчика жаление-сострадание, обращенное к той будничной действительности, в которой он существовал с младенческих лет.

Конечно, эти, хотя и очень острые и яркие, впечатления поначалу лишь «потревожили» его «дремавшее сознание», лишь, так сказать, «подготовили» совесть к вполне определенным оценкам, и, впоследствии, поступкам. Непроизвольное творчество воображения и чувств получило «подкрепление» во все более напряженно работавшем, пусть детском сознании — в течение двух-трех лет перед поступлением в московский Дворянский институт. Это было время, когда, занявшись «самообучением», мальчик стал самостоятельно осваивать книжки и тетради старших братьев и сестер, уже воспитывавшихся в Москве в учебных заведениях для дворянских детей.

Вторично, после цитированного автобиографического наброска, обратившись, на этот раз в «Пошехонской ста-

рине», к описанию своего «полного жизненного переворота», Салтыков особо выделил все более сознательное отношение к волновавшему его миру поэтических образов и нравственных постулатов. Его жаление становится активным социальным чувством, чувством человечности, сострадающей вполне реальному угнетенному крепостному крестьянину.

Чтение Евангелия, пишет Салтыков в «Пошехонской старине»: «посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существования нечто устойчивое, *свое*[1], благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления попранного права на участие в жизни. То «свое», которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и *другие* обладают таким же, равносильным «своим». И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ».

Этому перевороту способствовало, конечно, и непосредственное общение с крепостной массой.

Больше того, в самой этой массе все яснее виделись индивидуальные судьбы, личные невзгоды, беды и горе.

В «Пошехонской старине» рассказывается о том, как первый учитель маленького героя жития-хроники крепостной живописец Павел женился, во время одного из своих странствий по оброку, на вольной мещанке города Торжка Мавруше. Бедная женщина закрепостилась по любви. Не вынеся беспросветного существования под всевидящим и грозным оком беспощадной помещицы, которая очень скоро дала ей почувствовать, что́ значит «крепость», не найдя защиты у мужа — раба по рождению и психологии, — Мавруша повесилась.

Крепостной живописец Павел Соколов действительно существовал и в самом деле учил Мишу Салтыкова грамоте. Однако документальных сведений о его женитьбе на вольной не имеется. Вероятнее всего, трагическая судьба Мавруши Новоторки — плод того художественного обобщения, о котором писал Салтыков, предостерегая от безусловно автобиографического толкования «Пошехонской старины». Однако вне сомнения автобиографично отношение восприимчивого и рано задумывающегося ребенка если не именно к этому, то к другим подобным фактам, свидетелем которых он, конечно, был: «Во мне лично, тогда еще ребенке, происшествие это <история с Маврушей> возбудило сильное любопытство» — и, надо думать, залегло где-то в глубинах памяти. Ни в ком другом это происшествие, по-видимому, не возбудило никакого любопытства, тем более что оно и не было из ряду вон выходящим.

Пожалуй, не было ничего необычного и в другом эпизоде, о котором повествуется на страницах «Пошехонской старины». В свои частые деловые поездки Ольга Михайловна брала иной раз и своего любимого сына, может быть, втайне надеясь, что именно он наследует ее деловитость, хозяйственную смекалку и хватку, ее энергичное жизнестроительство, вполне реальный взгляд на мир.

Одной из таких поездок была поездка в село Заозерье Угличского уезда Ярославской губернии.

Ольга Михайловна очень любила во всех подробностях, всегда ее волновавших, рассказывать о том, как она, тогда еще совсем молодая женщина (дело происходило в 1829 году), явилась в Московский опекунский совет на Солянке и, имея на руках всего лишь тридцать тысяч рублей (ее приданое), решилась приобрести за эти деньги (почти даром!) богатое имение с тремя тысячами крепостных крестьян — именно это село Заозерье и несколько приписанных к нему деревень. С приобретения Заозерья началось созидание Ольгой Михайловной ее огромного состояния и в то же время какая-то лихорадочная эпопея скопидомства и стяжательства, закончившаяся в конце концов крахом семьи и полным распадом семейных связей.

---

[1] Здесь и далее курсив принадлежит автору цитаты, разрядка — К. Тюнькину.

Миша не любил этого оброчного имения — большого торгового села, весь уклад которого был резко отличен от крестьянского уклада барщинного села Спас-Угол, где мужики не уходили в города (чаще всего в Москву) зарабатывать деньги каким-нибудь ремеслом (сапожники, портные, парикмахеры и т. п.) для уплаты помещику оброка, а искони крестьянствовали, трудясь на пашне, отрабатывая помещику барщину. В заозерской усадьбе не было ни сада, ни хозяйственного двора с его деловой суетой, не было любопытных встреч и разговоров с мужиками. Разбогатевшие, чаще всего торговыми оборотами, заозерские мужики, к которым имела пристрастие Ольга Михайловна и с которыми она вела дела, не вызывали у мальчика симпатии.

Ехать от Спас-Угла до Заозерья надо было с лишком сорок верст. Дорога проходила поблизости от усадьбы одной из «сестриц» Евграфа Васильевича Салтыкова — Елизаветы Васильевны Абрамовой, прозванной в семье за ее «зломстительный характер» ва́рваркой. Ольге Михайловне, дабы «не изъяниться» на постоялом дворе, после некоторой нерешительности и, как говорится, скрепя сердце, вздумалось остановиться у золовки для обеда и кормления лошадей.

Многие крепостнические «мистерии» разыгрывались в имении этой помещицы-варварки, пользовавшейся своим всевластием над крепостными с каким-то жестоким сладострастием. После «родственных» разговоров дома, в Спас-Углу, сильно действовавших на детское воображение, Елизавета Васильевна представлялась Мише Салтыкову «чем-то вроде скелета», «в серо-пепельном хитоне, с простертыми вперед руками, концы которых были вооружены острыми когтями вместо пальцев, с зияющими впадинами вместо гла́з и с вьющимися на голове змеями вместо волос» (такую картинку он однажды видел в книжке — наверное, это была одна из мифических горгон).

С личностью Елизаветы Васильевны в «Пошехонской старине», где она названа Анфисой Порфирьевной, Салтыков, художественно обобщая, связал действительный случай из фантастической крепостной практики, о котором вспомнил в цикле «В среде умеренности и аккуратности»: «Поверит ли читатель, что в детстве я знал человека (он был наш сосед по имению), который по всем документам числился умершим? Он был мертв, а между тем жил...» Мертвым же он сказался для того, чтобы избежать грозившей ему солдатчины, ибо чудовищные истязания и надругательства, которым он подвергал своих крепостных, превзошли всякое вероятие и всякую меру и даже переполнили чашу высочайшей по отношению к помещикам снисходительности. Вме́сто этого помещика-зверя, будто бы скончавшегося, похоронили кстати умершего дворового человека, а помещик стал крепостным человеком своей жены-вдовы!

Когда на крыльце дома появилась встречавшая нежданных гостей тетенька, оказалось, что даже внешностью своей она чем-то походила на сложившийся в детской фантазии образ — костлявая, в выцветшем затрапезном балахоне, с развевающимися по ветру волосами, в которых возбужденному воображению мальчика чудились шевелящиеся змеи. А вскоре он увидел такую крепостническую мистерию, которою тетенькино прозвище ва́рварки оправдалось в полной мере.

Матушка осталась в доме беседовать с «сестрицей»-золовкой, а любивший всякую хозяйственную деятельность и привыкший наблюдать ее в Спасском Миша отправился к конюшне и другим усадебным службам. Но повсюду царствовало полное безмолвие; все как будто вымерло: видно, и мужики, и дворовые были в поле на барщинных работах. Только салтыковский кучер Алемпий и какой-то старик, верно, дворовый, мирно беседовали возле конюшни. Тишина лишь временами нарушалась доносившимися откуда-то тихими болезненными стонами.

Что же увидел мальчик, подойдя к службам?

«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило.

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство, — до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы.

— Не тронь... тетенька забранит... хуже будет! — остановила меня девочка, — вот лицо фартуком оботри... Барин!.. миленький!

И в то же время сзади меня раздался старческий голос:

— Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!

Это говорил Алемпиев собеседник. При этих словах во мне совершилось нечто постыдное. Я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, с словами: «Молчать, подлый халуй!» — бросился к старику. Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже свила во мне прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу».

Как непробиваемо равнодушны при виде страданий истязаемой девочки были кучер Алемпий и беседовавший с ним неизвестный старик (в «Пошехонской старине» — это будто бы умерший, ставший крепостным муж хозяйки)! Как спокойно и столь же равнодушно выслушивали захлебывающийся слезами рассказ мальчика об увиденном им на дворе маменька и тетенька! Для них все это было обычной крепостной практикой — и ничем более.

Трагическая сцена издевательства над беспомощным страдающим ребенком, на создание которой Салтыков в «Пошехонской старине» «бросил», если можно так сказать, весь свой негодующий гений художника, в каких-то подробностях, вероятно, художественно усилена и обобщена. Однако самый факт такого истязания и гневноболезненная реакция на него мальчика Салтыкова вряд ли вымышлены. Все это не только несомненная правда повседневного быта крепостной деревни, это правда развивающейся личности, становящегося характера юного Салтыкова. Он, еще ребенок, разрывает цепи крепостной дисциплины, в нем побеждает свое, человеческое. Но, Салтыков беспощаден к себе, он — и дитя безжалостной крепостной практики, освобождавшей от всякой «дисциплины» барина, гневающегося на осмелившегося перечить холуя. Вспоминая, Салтыков безжалостно называет свой припадок неудержимого гнева «постыдным».

Детство кончилось в 1836 году. В августе этого года Михаил Салтыков вместе с матерью вновь проделал путь от Спас-Угла через Троице-Сергиевский посад в Москву, тот путь, по которому он еще много и много раз будет проезжать в продолжение долгих десяти лет учения сначала в Москве, а потом в Царском Селе и Петербурге, отправляясь на летние каникулы в родной Спас-Угол и

возвращаясь в классные комнаты и дортуары Дворянского института и лицея. По этой же дороге проедет он потом не раз, уже ставши взрослым.

Дорога между Москвой и Сергиевским посадом представляла собой тогда «широкую канаву, вырытую между двух валов, обсаженную двумя рядами берез, в виде бульвара. Бульвар этот предназначался для пешеходов, которым было действительно удобно идти. Зато сама дорога, благодаря глинистой почве, до такой степени наполнялась в дождливое время грязью, что образовывала почти непроездимую трясину. Тем не менее проезжих было всегда множество. Кроме Сергиевского посада, этот же тракт шел вплоть до Архангельска, через Ростов, Ярославль, Вологду». Дорога была обычно заполнена «вереницами пешеходов, из которых одни шли с котомками за плечьми и палками в руках, другие в стороне отдыхали или закусывали. Экипажи встречались на каждом шагу, то щеголеватые, мчавшиеся во весь опор, то скромные, едва ползущие на «своих», подобные коляске захолустных помещиков Салтыковых. Села и деревни, встречавшиеся по сторонам тракта, были непривычно громадны, сплошь обстроены «длинными двухэтажными домами (в каменном нижнем этаже помещались хозяева и проезжий серый люд), в которых день и ночь, зимой и летом кишели толпы народа».

«Верстах в трех <от Москвы> полосатые верстовые столбы сменились высеченными из дикого камня пирамидами, и навстречу понесся тот специфический запах, которым в старое время отличались ближайшие окрестности Москвы.

— Москвой запахло! — молвил Алемпий на козлах.

— Да, Москвой... — повторила матушка, проворно зажимая нос.

— Город... без того нельзя! Сколько тут простого народа живет! — вставила свое слово и Агаша <горничная Ольги Михайловны>, простодушно связывая присутствие неприятного запаха с скоплением простонародья.

Но вот уж и совсем близко; бульвар по сторонам дороги пресекся, вдали мелькнул шлагбаум, и перед глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домов...

Вот она, Москва — золотые маковки!»

Встреча с Москвой в 1836 году не была первой, но она была особенной; десятилетний Михаил Салтыков поступал в Дворянский институт, где ранее учились его стар-

ние братья — Дмитрий и Николай. Этот решительный поворот в судьбе мальчика уже давно был задуман и предопределен родителями, в особенности предприимчивой и дальновидной Ольгой Михайловной. Сыновьям, в особенности даровитому Михаилу, предстояло оправдать честолюбивые надежды матушки на блестящую карьеру, как позднее скажет сатирик, — «государственного младенца». Именно таких «государственных младенцев», «питомцев славы», которым предстояло держать в своих руках судьбы России, призвано было воспитывать и то закрытое сословное учебное заведение, в котором провел два года юный Салтыков.

Глава вторая

ГОДЫ УЧЕНИЯ. — МОСКВА. ЦАРСКОЕ СЕЛО. ПЕТЕРБУРГ

На состоявшемся в июне 1837 года торжественном акте в московском Дворянском институте в присутствии «местных начальств, родителей воспитанников и вообще любителей отечественного просвещения» одиннадцатилетний воспитанник института Михаил Салтыков — «с наслаждением, полным благоговения» — читал стихотворение старейшины тогдашних русских поэтов Ивана Ивановича Дмитриева «Освобождение Москвы»:

В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений, царств великих мать!
Москва! России дочь любима!
Где равную тебе сыскать!..

Твои сыны, питомцы славы,
Прекрасны, горды, величавы,
А девы розами цветут!

«Немногое, сказанное в этих стихах, исчерпывало почти все содержание моего отрочества. С самых ранних лет я тяготел к Москве, чувствовал себя сыном ее...» Эти автобиографические строки, написанные Салтыковым сорок лет спустя, открывают сатирический очерк «Дети Москвы»; в них ощущается скрытая ирония. Однако несомненно, что Салтыков в самом деле всегда тяготел к Москве. Сильное чувство «культа к Москве» овладело юным «питомцем славы» в первый же год обучения в Дворянском институте. Культ этот доходил до того, что и позднее, уже ставши воспитанниками Царскосельского лицея, молодые москвичи (среди них были и Михаил Салтыков, и его приятель по Дворянскому институту и лицею Иван Павлов), когда летом разъезжались на каникулы по домам, в свои «дворянские гнезда», «всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского[1], затем вылезали из экипажа и целовали землю...».

[1] Старинное село вблизи Москвы, на Петербургской дороге.

Действительно, Салтыков знал Москву с детских лет, побывав в ней впервые, по-видимому, еще в пятилетнем возрасте.

Москва детских впечатлений Салтыкова — Москва улочек, переулков, небольших, чаще всего деревянных особнячков и церквушек старого Арбата, Москва средне- и мелкодворянского быта, столь красочно описанного в «московских главах» «Пошехонской старины». Здесь, в Арбатской части (Москва в то время была разделена на так называемые «части»), сначала в Хлебном, а потом в Большом Афанасьевском переулках жил в собственном доме «дедушка» Михаил Петрович Забелин.

Был еще один слой русского дворянства, складывавшийся как раз в тридцатые годы прошлого века, слой, который мы теперь назвали бы интеллигенцией. Они, эти скромные, еще мало кому известные литераторы, поэты, философы, чаще всего студенты или бывшие студенты Московского университета, тоже нередко обитали в арбатских переулках. И даже в том самом Большом Афанасьевском переулке, где стоял дом Михаила Петровича Забелина, жили в тридцатые годы Аксаковы, жил философ и поэт Николай Станкевич, к которому приходил начинавший тогда молодой критик Виссарион Белинский. Конечно, об этом не мог знать мальчик Салтыков, его окружали совсем другие люди, совсем другая среда. И все же новые духовные искания, свежие веяния, которые исходили из среды этой рождавшейся русской интеллигенции, наверняка так или иначе проникали и в душный дворянски-мещанский мирок, конечно, воспринимались там по-разному, чаще всего с тупым непониманием, даже враждебностью, но иной раз и сочувственно, так сказать, «разлагая» этот мир, выделяя из него людей, усваивавших иные идеалы, иную мораль.

В начале тридцатых годов, когда «зазнал» его Миша Салтыков, московскому дедушке Михаилу Петровичу Забелину было уже под семьдесят (родился в 1765 году), но по суеверию и мнительности возраст свой он скрывал, ибо боялся умереть. По причине все той же боязни смерти Михаил Петрович не любил, когда его называли «дедушкой», и требовал, чтобы многочисленные внуки и внучки величали его «папенькой»: всех их он заочно крестил — был крестным отцом.

Дедушка в это время числился отставным чиновником, давно уже отошел от прежних своих торговых дел и денежных операций, сохранивши, однако, «хороший капитал», о наследовании которого вожделенно мечтали все его дети (и Ольга Михайловна тоже, но капитал достался братцу-«кровопийцу» Сергею Михайловичу: суеверно страшась смерти, дедушка не сделал завещания в пользу своих дочерей и внуков).

Жизнь в забелинском доме текла медленно, однообразно и скучно: один день, как близнец, повторял другой. Дедушка каждодневно от доски до доски прочитывал одну из трех тогдашних русских газет — «Московские ведомости», долго сидел у окна, торгуясь с проходящими лотошниками — разносчиками съестной всякой всячины, бил мух кожаной хлопушкой, беседовал со своим «старым другом» — жирным котом Васькой, вел нудные разговоры (в своих рассуждениях, «как и все незанятые люди, он любил кругом да около ходить»), убивая бесконечное время карточной игрой, преимущественно в «дурачки», пикировался со своей «кралей» — двадцатилетней краснощекой девкой Настасьей (бабушка давно уже умерла). Так прошли многие и многие, долгие и долгие годы, до самой могилы, которая приняла дедушку в самом преклонном, чуть ли не девяностолетнем возрасте.

Некогда, четверть века тому назад, до московского пожара и разоренья 1812 года, Михаил Петрович Забелин, купец первой гильдии, был богат, имел в Замоскворечье, на Полянке, собственную усадьбу с каменным домом и садом. Он любил рассказывать о том времени, когда купеческий дом его был полной чашей.

Наверное, вспоминал он и, пожалуй, самый яркий эпизод своей долгой жизни — тот взрыв всеобщего патриотического одушевления, который захватил и его, тот момент, когда Россия поднималась для отпора вторжению Наполеона. Помнили о двенадцатом годе и опустошившем Москву огромном пожаре, конечно, и мать и отец Миши Салтыкова. Прошедшая жизнь дедов, их «память» обычно чужды внукам, живущим быстротекущей, живой современностью. Лишь потом, много лет спустя, приближаясь к старости, сами становясь дедами, возвращаясь памятью к прошлому, внуки бывают вынуждены горько пожалеть о такой, конечно, невольной отчужденности, сознаться, что их память была бы богаче, если б сохранила, вобрала в себя память дедов. Но, думается, Салтыков не забыл рассказов деда о патриотическом порыве двенадцатого года. В «Пошехонской старине» повествование о темном и косном, погрязшем в низменном быту,

в серых бессознательных буднях повседневности пошехонском помещичьем захолустье, о захолустье московском мелкодворянском недаром вдруг перебивается, прерывается, освещаясь взволнованным воспоминанием о рассказах очевидцев великого национального испытания и национального подъема: ведь бывали же, «бывали исторические моменты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, проникая в самые глубокие захолустья, заставляла биться сердца... Я еще застал людей, у которых в живой памяти были события 1812 года и которые рассказами своими глубоко волновали мое молодое чувство. То была година великого испытания, и только усилие всего русского народа могло принести и принесло спасение... Двенадцатый год — это народная эпопея, память о которой перейдет в века и не умрет, покуда будет жить русский народ».

Теперь же дедушка жил тихо, как в забытьи, вдали от жизненной суеты, да и вообще — от жизни.

А в снимавшемся на зиму особнячке Салтыковых суета была страшная, маменька Ольга Михайловна и дочь Надежда пребывали в постоянном волнении и возбуждении: приемы гостей (чаще всего — таких же мелкопоместных, вылезших из своих гнезд в московский «свет»), выезды с визитами и на «вечерки», а с Рождества и до поста — на балы в Благородное собрание. Все подчинялось одной цели — «поймать», «захапать» (по выражению Ольги Михайловны) подходящего жениха, а такового, к великому горю «любимки» Наденьки, все не попадалось. Пришлось прибегнуть к свахам. Но и свахи на сей раз не помогли. Пришлось Надежде Евграфовне выйти замуж за одного из соседей по сельскому захолустью.

Отец, Евграф Васильевич, как и в Спасском, жил в Москве замкнутой, одинокой и невеселой жизнью, ютясь в маленьком и неудобном «кабинете», не входил в заботы и огорчения жены и дочери. Вставал он рано утром, часа в четыре, когда весь дом еще спал мертвым сном, отправлялся к ранней обедне, а по праздникам и к заутрене, слушал церковных певчих, прикладывался к иконам, ставил свечки, на которые накануне выпрашивал у грозной супруги два пятака, клал бессчетные земные поклоны...

В доме дедушки узнал Миша Салтыков и своих родственников с материнской стороны. Самой по-своему замечательной фигурой был среди них дядюшка Сергей

Михайлыч — подполковник в отставке и кавалер, как сообщала в 1839 году «Книга адресов столицы Москвы». Жил он неподалеку, в Хлебном переулке. Знаменит этот «кавалер» был тем, что хладнокровно, «по-родственному», прямо из рук «сударушки» своего умершего старшего брата, выкрал завещание, составленное в ее пользу, и обрек и ее и ее сына (своего племянника!) на нищенское существование. «При самом поверхностном взгляде на этого человека невольно западало в голову, что это воистину стальная душа, ко всему безучастная».

В 1836 году, когда начал свое учение в Москве Михаил, закончил Дворянский институт старший брат Дмитрий Салтыков, вскоре начавший долгую служебную карьеру, а другой брат — Николай, поступивший в институт в 1834 году, еще продолжал учиться и позднее стал студентом Московского университета. Теперь предстояло последовать за братьями и Михаилу.

Привезя в августе 1836 года в Москву своего третьего сына, Ольга Михайловна остановилась на постоялом дворе, в так называемых «номерах», возле Сухаревой башни, примечательного сооружения старой Москвы, возведенного в конце XVII века по приказу царя Петра в тогдашней Стрелецкой слободе. В номерах было тесно, шумно и неопрятно. Мальчик с любопытством смотрел на уличную суматоху этого типично московского уголка. «Сквозь запыленные и захватанные стекла окон с трудом можно было разобрать, что делается на площади, да, впрочем, и интересного эта площадь представляла мало С утра до вечера гудел на ней базар, стояли ряды возов, около которых сновали мужики и мещане» («Пошехонская старина»).

Тут же отправились на поклон к дедушке. От Сухаревой башни к Арбату можно было ехать по-разному. Вероятнее всего путь Салтыковых лежал по Сретенке, Большой Лубянке, Лубянской площади (с ее знаменитой извозчичьей биржей), мимо Малого и Большого (Петровского) театров, по Охотному ряду мимо Благородного собрания, по Моховой, где слева открывался Кремль, а справа — университет. И вот — поворот на Воздвиженку и затем — густая сеть арбатских улочек и переулков и наконец — Большой Афанасьевский, дом Михаила Петровича Забелина.

Конечно, по всем этим улицам проезжал Миша и раньше, ведь не впервые ехали они из Спас-Угла в Москву, в арбатский дом деда. Но на этот раз вся эта пест-

рая и оживленная панорама пыльной, пахучей и шумной Москвы воспринималась, несомненно, как-то обостренно и ярко, тем более что на показавшейся на мгновенье, на перекрестке с Охотным рядом, Тверской улице промелькнуло большое, раскинувшееся на целый квартал, между Долгоруковским и Вражеским (Газетными) переулками, здание Дворянского института. Здесь предстояло ему скоро держать экзамен, а потом — учиться и жить.

Дворянский институт имел славную историю и знал среди своих воспитанников многих, кого можно было бы и в самом деле назвать «питомцами славы» — писателей и поэтов, общественных и государственных деятелей. В лучшую, предшествовавшую пору своей истории он именовался Московским благородным университетским пансионом, а в пятилетие перед поступлением в него Салтыкова пережил пору всяческих перестроек и изменений.

Все началось с посещения Благородного пансиона императором Николаем в марте 1830 года. Царь явился неожиданно, без всякого предупреждения и без провожатых. Это было во время рекреации (перемены). Мальчики, уставшие от долгого сиденья в классах, бегали, боролись, кричали, не обращая никакого внимания на неожиданного посетителя — грозного самодержца. Кроме того, на доске в зале с именами лучших воспитанников прошлых лет император прочитал и имена тех, в ком он видел своих злейших врагов, — декабристов. Бешенству его не было границ... Воспитанники, во главе с преподавателями и начальством, немедленно собранные в зале, в страхе выслушали высочайший нагоняй... Свидетелем посещения императора был Дмитрий Салтыков (так же как, кстати сказать, и Лермонтов, вскоре покинувший пансион, и Дмитрий Милютин, будущий русский военный министр, знаменитый в шестидесятых-семидесятых годах реформатор русской армии). Дмитрий Салтыков, конечно, рассказывал в своей семье о таком поразившем и запомнившемся надолго эпизоде институтской жизни.

Главным же итогом посещения императора были те «реформы», которым был подвергнут вскоре Благородный пансион. Уже 29 марта 1830 года последовал высочайший указ правительствующему сенату о преобразовании университетского пансиона в гимназию. Николай, дворянский царь, панически боялся духа вольномыслия,

и прежде всего дворянского вольномыслия (бунт на Сенатской площади он не мог забыть никогда!). Признаки этого «вольного духа», обнаружившиеся в Благородном пансионе, напугали его. Но преобразование пансиона в рядовую, пусть и дворянскую, гимназию не понравилось «господам дворянам», не желавшим упустить хоть какие-то, но все же **свои** права, и потому через три года, 22 февраля 1833 года, гимназия была переименована в Дворянский институт, а еще через три года, в мае 1836 года, незадолго до поступления Салтыкова, министр народного просвещения С. С. Уваров представил императору тут же утвержденное последним новое «Положение о Дворянском институте» (через пятнадцать лет, в знаменательном 1849 году, Дворянский институт вновь был превращен в гимназию, лишившись остатков некоторой своей привилегированности; отметим, что воспитанники Дворянского института были и среди петрашевцев, арестованных в апреле 1849 года). Хотя Дворянский институт, перестав быть университетским пансионом, формально оказался как бы отделенным от Московского университета, тем не менее первый же пункт уваровского «Положения» гласил, что в институте «воспитываются дети российских дворян преимущественно Московской губернии, для приготовления их к дальнейшему образованию в университете...». По этому же «Положению», июньское годичное испытание, которым определялась степень успехов воспитанников для перевода в высшие классы, производилось профессорами Московского университета...

Самообучение и обучение Михаила Салтыкова в последние годы спасского детства были столь успешными, что ему не стоило никакого труда выдержать экзамены, и он был принят «полным пансионером» — причем сразу же в третий класс, в то время как в этот класс, по «Положению», зачислялись дети не моложе двенадцати лет (Михаилу же было десять). И потому, по причине малолетства, ему пришлось просидеть в третьем классе два года, хотя «годичное испытание» в июне 1837-го было им выдержано успешно (на торжественном акте по окончании экзаменов и читал он тогда патриотическое стихотворение И. И. Дмитриева).

Несмотря на то, что железная рука боявшегося крамолы и непокорства императора Николая и его министра Уварова тяготела над Дворянским институтом, традиции, сложившиеся тогда, когда институт еще назывался уни-

верситетским пансионом, не были задавлены и убиты окончательно.

Воспитанники не могли не знать, что в этих стенах, в этих дортуарах и классах учились Жуковский, Грибоедов, братья Александр и Николай Тургеневы, Лермонтов...

В большой рекреационной зале института находилась мраморная доска, на которой золотом в два столбца были выбиты имена отличных воспитанников университетского благородного пансиона, за благонравие и успехи в науках получивших золотые медали и одобрительные листы. И среди этих имен значилось имя декабриста-изгнанника Николая Ивановича Тургенева, вынужденного скитаться за пределами России, чтобы не угодить на каторгу.

В то время когда Салтыков учился в Дворянском институте, самый быт этого закрытого учебного заведения вряд ли сколько-нибудь значительно отличался от быта старого Благородного пансиона, о котором его воспитанник литератор Н. В. Сушков (кстати, свояк Ф. И. Тютчева — муж его сестры Дарьи Ивановны) рассказывал почти идиллически:

«Лета, для вступления в Пансион, положены были от 9 до 14[1]. Время приема — к началу генваря и августа, так как в нем, через каждые шесть месяцев, происходили домашние испытания и переводы оказавших решительные успехи из класса в класс, независимо от публичных экзаменов и годовых торжественных актов. Размещение воспитанников по комнатам — сообразно их возрасту: *меньшие,* или, как старшие называли их между собою, *маленькие* — от 9 до 12 лет, в особом отделении, *средние,* от 12 до 15 лет, также в отдельных покоях, и, наконец, *большие,* от 15 до 20 и старше, когда случались, в особых же горницах. Кроме этих подразделений по возрастам, были еще комнаты: *отличных* и *полу-отличных.* В них поступали уже не по летам, а по примерным успехам в науках, при прекраснейшей нравственности, благоразумном поведении и постоянной кротости... Все отделения и горницы были вверены комнатным надзирателям. Обязанности их: быть неотлучно при детях в свободное время от учения и в часы приуготовления и повторения уроков (репетиции), следить за их занятиями, играми, поступками и обращением между собою, наблюдать за чистотою, умеренною теплотою и освежением покоев воздухом, за своевременною явкою детей в классы и в столовую к обеду, ужину и т. д., за здоровьем их и за опрятностью в одежде... Порядок жизни, занятий и досугов был такой. В пять часов утра звенит будильный звонок в руках бегающей по всем отделениям прислуги — и дети покидают свои кровати. В шесть они сбираются, покомнатно, в учебные горницы — повторять и приуготовлять уроки. В семь, попарно и по старшинству, они идут, комната за комнатою, в столовую в сопровождении надзирателей; приняв пищу духовную — прослушав в благоговейной тишине утреннюю молитву и непродолжительное чтение из Св. Писания — размещаются, по старшинству, за столами, особо для каждой горницы определенными, пить чай с молоком и булками... До восьми часов — досуг. От 8 до 12 — классы. Тут обед. Воспитанники идут в столовую так же чинно, покомнатно, попарно, по старшинству. Отличные и полуотличные садятся за круглый посереди залы стол, под председательством *первого* в Пансионе воспитанника, *отличного из отличных.* Прочие — за длинные вдоль стен столы. Надзиратели — на верхних концах — наблюдают за порядком, приличием и тишиною... После обеда — свобода. В этот час зимою дети лепечут в своих покоях между собою, играют в воланы, занимаются самоучкой музыкою на гитаре, или поют песни, иные, в сторонке, подальше от шума, говора и пенья, читают полученные из Пансионского читалища книги, другие упражняются в учебных горницах на фортопьяно, скрипках и флейтах, некоторые кропают втихомолку стишки или громоздят высокопарную прозу. В прочие времена года, когда погода благоприятствует, большая часть из них, рассыпавшись по обширному двору... бегают, борются, играют в кегли, в свайку, в чехарду, в *лапту* — в мячи, или учатся военным движениям, выстроиваясь повзводно, маршируя в ногу и выкидывая разные приемы деревянными ружьями... Но вот пробило два часа — и все по местам в классах, до шести. В шесть полдник — булки. В семь — повторение уроков. В восемь — ужин, такой же почти, как и обед, только одним кушаньем меньше. После ужина — вечерняя молитва и духовное чтение... В 9 часов — глубокий сон во всех отделениях Пансиона. Только мерные шаги дневальных надзирателей, тихо бродящих по спальням и длинным путеводам (коридорам), освещенным ночниками, нарушают мимоходом легкое журчанье в воздухе, производимое ровным дыханием здоровых детей...»

[1] По уваровскому «Положению» — от 10 до 14.

Такова была строго регламентированная, для всех общая, расписанная не только по часам, но и по минутам жизнь Благородного пансиона и его наследника — Дворянского института[1]. Почти все время — с пяти или шести утра и до девяти вечера было посвящено занятиям в классах и учению уроков. Это и понятно, ибо учить надо было чрезвычайное множество самых разнообразных предметов. Тот же Н. В. Сушков скрупулезно перечисляет целых три десятка «предметов учения». Тут на первом месте, естественно, закон божий и священная история, но тут же, рядом — логика и нравственная философия, математика, артиллерия (!), фортификация (!), право естественное и право римское и т. д. и т. д. В этом перечне изучаемых дисциплин русский язык и словесность находятся на двадцать первом (!) месте. А далее следуют и живопись, и музыка, и фехтование... Трудно представить себе, как такое неимоверное количество всяких сведений могло уложиться в головах десяти-пятнадцатилетних мальчиков — даже при условии ежедневного многочасового сидения над учебниками, учебными руководствами и тетрадями.

Понятно, что многое в этом энциклопедическом образовании воспринималось, так сказать, «верхушечно» и лишь приучало к поверхностному всезнайству и в иных случаях зазнайству (все знаю — все могу). Но именно таким представлялось истинно дворянское воспитание и обучение, «приуготовление» дворянских отпрысков к будущей роли представителей «правящего» сословия, руководителей общества и государства.

Правда, превращение Благородного пансиона в гимназию классического типа (а таким остался и Дворянский институт, лишь переменив название) привело к сокращению предметов естественноисторического и юридического циклов, о чем свидетельствует перечень предметов обучения в «Положении о Дворянском институте» 1836 года. Здесь на первом месте сохраняется закон божий, священная и церковная история, но затем уже идут не математика, не естественная история, а логика, российская грамматика и словесность, языки: латинский, немецкий и французский (греческий и английский языки

[1] Распорядок дня, установленный уваровским «Положением о Дворянском институте», несколько, но весьма незначительно отличался от описанного Н. В. Сушковым.

преподавались по особенному желанию учащихся, причем последний — и за отдельную плату).

Перед мальчиком Салтыковым в первый же год обучения открылся новый, неведомый дотоле мир — мир русской литературы, которого он в своем деревенском детстве почти совсем не знал. А занятиям по русской словесности в третьем классе, где учился Салтыков в течение двух лет пребывания в Дворянском институте, уделялось много внимания, о чем свидетельствует и сохранившаяся учебная программа первого семестра 1836/1837 года, то есть именно того времени, когда начал учиться Салтыков: «Сравнительное повторение грамматики (общая грамматика) и более подробное изучение синтаксиса. Переложения из Крылова, все более и более отдаляющиеся от оригинала; чтение Карамзина с разбором периодов; переводы с иностранных языков, переводы с славянского; переложения из Ломоносова, Кантемира и других старинных писателей; подражания из Карамзина и других новейших писателей. Построение правильных риторических периодов».

Конечно, можно сказать, что авторы программы, составляя ее, смотрели назад, в прошлое русской словесности, в XVIII век: в программе 1836 года новейшим писателем назван Николай Михайлович Карамзин, уже десять лет как умерший, а Пушкин, Жуковский, Баратынский, Батюшков, не говоря уж о Гоголе, вовсе не упоминаются. Однако надо помнить, что программы по словесности в то время были ориентированы на изучение классических, а не современных писателей, предполагали тщательное штудирование их стиля, слога, языка: отсюда большое количество всяческих переложений, подражаний, разборов и переводов. Учась на образцах, способные ученики создавали свой стиль, свою манеру: это было подлинно филологическое изучение литературы. Надо помнить и то, что все воспитание и обучение было проникнуто целями гражданскими и патриотическими. Другое дело, как понимались эта гражданственность и патриотизм. Это была гражданственность, так сказать, государственная. Ведь, как говорилось в одном старинном издании, цель Благородного пансиона (как и Дворянского института) заключалась в том, чтобы «полезное учение сопровождалось деятельным воспитанием, приготовляющим юношей к службе военной или государственной». Именно таково было по преимуществу содержание тех сочинений, над переложениями, переводами и подража-

ниям, которым проводили многие часы воспитанники института. И можно понять восторженность одиннадцатилетнего Миши Салтыкова, когда ему довелось публично читать стихотворение Ивана Ивановича Дмитриева. Думается, что увлеченность чуткого к слову Салтыкова вызывалась и вновь открывшимся богатством русской словесности, могуществом и красотой слова Ломоносова, Крылова, Карамзина, и героической российской историей, так ярко символически выразившейся в судьбах и самом образе Москвы, московских памятников, Московского Кремля. Рассказы деда о двенадцатом годе своеобразно сплетались с лекциями и речами учителей и профессоров, с теми живыми образами московской жизни, которые необыкновенно сильно впитывались воображением и чувствами ребенка.

В весеннее, летнее и осеннее время воспитанники «пользовались прогулкою» в сопровождении надзирателей по городу и за городом, вдыхали свежий воздух густых тенистых рощ Марьина и Воробьевых гор, запах старых цветущих лип Нескучного сада, слушали журчанье бесчисленных родников, стекавших ручейками со склонов «гор» в Москва-реку. А там, за рекой, зеленели заливные луга и огороды Лужников, высились стены, купола и колокольни легендарного Новодевичьего монастыря, а еще далее расстилалась беспредельная, уходящая куда-то вдаль панорама Москвы, вплоть до видневшегося в дымке Кремлевского холма с высокой колокольней Ивана Великого, со сказочным многоцветьем дворцов и храмов. Отсюда, из Нескучного, смотрел еще раньше, в 1813 году, воспитанник Благородного пансиона поэт А. Ф. Воейков:

Нескучное, отколь с чертогами, с церквами
Великая Москва лежит перед глазами
С Кремлем, возвышенным во образе венца:
Пред взорами Москва — и нет Москвы конца!..

А другой — недавний — воспитанник Благородного пансиона, природный москвич, а теперь петербургский юнкер Лермонтов, в году 1834 (то есть как раз тогда, когда «москвичом» все больше становился юный Михаил Салтыков) по памяти воссоздавал «Панораму Москвы», как она ему виделась с колокольни Ивана Великого: «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! У нее есть своя душа, своя жизнь... На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком...

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного...

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерами, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточ-

ной роскошью или исполненных духом средних веков...

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквами, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе... возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой... Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря... А там — за ним одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей...

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!..

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Надо видеть, видеть... надо чувствовать всё, что они говорят сердцу и воображению!..»

И Салтыков видел и чувствовал, его живое воображение олицетворяло, как бы наделяло действительным бытием все то историческое прошлое, которое вставало со страниц сочинений Карамзина, Дмитриева, Хераскова, которое еще как бы дышало и волновалось в воспоминаниях свидетелей героического двенадцатого года...

Два года провел Михаил Салтыков в Дворянском институте. И эти два года очень отличались один от другого.

Заведение, в котором он начал «публичное воспитание», вспоминал Салтыков, «имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, Семен Яковлевич Унковский, о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью» («Недоконченные беседы», гл. VIII). Семен Яковлевич, по-видимому, заботился и о достаточно широком воспитании мальчиков, и о подборе учителей.

Преподавателем российской словесности и логики был при С. Я. Унковском «старший учитель» Василий Степанович Межевич.

Осенью 1835 года в Большом Афанасьевском переулке, в доме Лаптевой, совсем недалеко от дома М. П. Забелина, поселился удивительный двадцатидвухлетний юноша — Николай Владимирович Станкевич. Уже несколько лет силой и обаянием своей незаурядной личности привлекал он к себе сердца и умы молодых сверстников — литераторов, поэтов, философов, горячих сторонников и пропагандистов новой философии, нового искусства, новой литературы. В благотворной живительной атмосфере жарких споров, страстных обсуждений, непосредственной юношеской дружбы рождались вдохновляющие идеи и светлые образы, воспитывались и шлифовались замечательные человеческие характеры. Конечно, вовсе не каждый из тех, кто бывал в доме Станкевича, стал знаменит, как стал, например, знаменит великий критик Белинский или революционер Бакунин, не каждый был и оставался верен гуманистическим традициям кружка, но влияние «кружка Станкевича» на умственную жизнь эпохи было огромно. Можно предположить, что к Станкевичу заходил и старший учитель Дворянского института В. С. Межевич, дружески общавшийся тогда с молодым Белинским, который пробовал тогда свои силы в не очень удачных переводах французских романов, но и уже вдохновенно писал первые, молодые, но такие яркие и талантливые статьи.

В торжественном собрании Дворянского института 22 декабря 1835 года В. С. Межевич произнес речь «О народности в жизни и поэзии». Не столько по содержанию, сколько по самому тону, стилю, слогу своему она, в сущности говоря, была вызовом привычным и утвержденным в институтских программах по словесности представлениям и идеям. С воодушевлением обращался Межевич к массе слушателей, наполнивших в день торжественного акта зал Дворянского института: «...родители

и дети, дети и наставники — это одно семейство, связанное узами крепкими, нетленными, узами духовными, неразрывными и за пределами гроба. Да, вы не умрете в детях своих, мы не умрем в своих питомцах...» В духе теории учителя своего (а также учителя и многих других студентов Московского университета, среди них и Белинского) — профессора Н. И. Надеждина рассуждал в этой речи Межевич о том, что наступает время рождения нового, современного и народного искусства, которое «не должно быть ни классическим, ни романтическим — ибо время классицизма и романтизма, время младенчества и юности человечества, прошло невозвратно — но слиянием этих двух направлений, примирением их, должно быть выражением жизни возмужалой, гармониею внешней красоты форм с внутренним могуществом духа, должно быть *всеобщим* и, следовательно, самобытным, *народным»*.

Кому из всей этой пестрой толпы слушателей мог быть понятен смысл и пафос рассуждений молодого «старшего учителя» (Межевичу был тогда двадцать один год)? Кто из них способен был не только усвоить, но хотя бы только уловить тонкости этой диалектики «всеобщего» и «народного»?

Но именно о народном и национальном, об индивидуальных формах, в которых живет всеобщая идея, горячо спорили в кружке Станкевича. Об искусстве и его отношении к «массе народа», «волнуясь и спеша», писал в своей первой, за год до речи Межевича напечатанной, литературно-критической статье «Литературные мечтания» Белинский.

Но Межевич был не только учителем, он был, если можно так сказать, литературным критиком-педагогом. Начиная с седьмой за 1836 год книжки издававшегося Н. И. Надеждиным журнала «Телескоп», публикует Василий Межевич статьи под названием «Теория и практика словесности» (заметим, что в этой же седьмой книжке печаталась и полемическая статья Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»). Главное, что занимает здесь Межевича, — как следует преподавать в учебных заведениях русскую словесность. Обучение я з ы к у — вот главный пункт педагогической теории и практики Межевича. Межевич обращается к педагогам-словесникам: «...умейте заставить вашего питомца *думать*, а для этого *думайте* сами; каждый урок ваш должен быть *добросовестным плодом мысли*... Вы подвизаетесь на святое дело, поймите же всю святость его...» Так требования утвержденной начальством программы дополнялись наставлениями и уроками умного молодого учителя.

Однако это была все-таки, так сказать, лишь официальная сторона жизни Дворянского института. Что же скрывалось, что таилось за нею? Как чувствовали себя внутри этой четко продуманной и рационально организованной воспитательной системы, определяющей их будущую судьбу, десятки самых разных дворянских мальчиков, отторгнутых от дома, вырванных из родных семейных гнезд, собранных под одной крышей, — в особенности мальчиков чутких и впечатлительных? Как действовал на их неустойчивую еще душевную организацию жесткий институтский регламент?

В тесных рамках регламентирующего «порядка» Михаил Салтыков, мальчик незаурядный, с уже пробудившейся способностью к глубокой внутренней работе ума и сердца, надо думать, должен был подавлять свойственные его натуре страстность, горячую импульсивность, порывистость. Он несомненно страдал. Все его позднейшие воспоминания о школьных годах мрачны.

Казенный быт закрытого сословного учебного заведения, идиллически описанный Н. В. Сушковым, вовсе не был столь безмятежно-розовым. Стоит только представить себе темные и холодные зимние утра, комнатных надзирателей, поднимающих ранним утром с постели еще совсем сонных мальчиков, а потом — целый однообразный день, расписанный по часам и минутам, вплоть до девяти вечера, когда, хочешь — не хочешь, ложись в постель — как ложатся и другие полторы сотни «интернов», — и безмолвная тишина долгой зимней ночи нарушается лишь мерными шагами в коридорах ночных надзирателей.

Несомненно, встречались среди воспитателей и наставников люди умные, любящие свое дело, лучшие (как, например, С. Я. Унковский), но большинство все же было таких, которые, сами скованные привычной самодержавно-бюрократической дисциплиной, и от своих учеников требовали прежде всего покорности и послушания, тушили малейшие проблески независимого поведения и самостоятельной мысли. Здесь, в институте, Салтыков почувствовал впервые не только родительскую власть, но власть начальства, железную силу раз навсегда установленного регламента, начальственного предписания. На-

чальство повелевало, установленный регламент требовал — учащиеся (как, впрочем, и учащие) повиновались.

Хотя родной дом в Спасском не отличался добротой и ласковостью, хотя скареден и скудно-однообразен был весь уклад его, следовавшие за десятилетним детством восемь лет учения под постоянным бдительным оком инспекторов и надзирателей оказались неизмеримо тяжелее и мучительнее. В Спасском было все же тепло родного дома, здесь же, в стенах огромного старого особняка на Тверской, — холод тоскливого и безрадостного одиночества (впрочем, завязывались, наверное, и какие-то дружеские связи, но крепкой, до конца дней, хотя и весьма своеобразной, оказалась лишь одна из них — с Сергеем Юрьевым, соседом по имению, да и то скорее по старой памяти — памяти деревенского детства). В лирическом автобиографическом «монологе» «Скука» («Губернские очерки»), набросанном, наверное, еще в дни вятской ссылки, недаром противопоставлены радостные, почти поэтические минуты семейного, какого-то патриархального уюта и тепла и — гнетущей, убивающей душу ледяной атмосферы школьного быта. Школа оставила по себе тяжелую память, какую-то незаживающую рану, которая может открыться и дать о себе знать мучительной болью и в самые поздние годы. Так, и в одинокие часы вскоре обрушившегося на Салтыкова «вятского плена» в череде размышлений и воспоминаний вдруг угрюмо и неприветливо воскресает память о школе: «Там царствовало лишь педантство и принуждение; там не хотели признавать законность детского возраста и подозрительно смотрели на каждое резкое движение сердца, на каждую детскую шалость...» Образ школы, содержащий автобиографические черты и при этом, конечно, художественно обобщенный и сатирически заостренный, с необыкновенной яркостью и силой встает со страниц позднейшего цикла Салтыкова «Господа ташкентцы». Мы почти физически, всеми фибрами души, напряженными нервами ощущаем, как в удушающей атмосфере школы личность ребенка надламывается, черствеет и ожесточается, приобретая уродливые и часто страшные формы, — с одной стороны, рабской или угодливой покорности, безгласного послушания, испуганного «молчалинства», а с другой — жестокого и даже какого-то упорно-идиотского, непробиваемого непокорства-своеволия. Именно здесь, в такой школе воспитывались послушливые и на все готовые «государственные младенцы», и безжалостные, ко всему бесчувственные «ташкентцы», которые выйдут потом на страницы щедринских сатир.

Особенно трудным оказался для Михаила Салтыкова второй год пребывания в Дворянском институте, второй год вынужденного сидения в третьем классе.

Через год после поступления Салтыкова в институт старый директор, Семен Яковлевич Унковский, «вынужден был удалиться». Трудно сказать, чем была вызвана отставка Унковского, прослужившего директором всего лишь три года [1]. Возможно, свою роль сыграло все усилившееся влияние и на воспитание, и на преподавание, и на быт школы той системы «народного просвещения», которая неуклонно проводилась в жизнь с 1833 года министром С. С. Уваровым. Сам Уваров, отнюдь не иронически, назвал эту систему «приведением к общему знаменателю» [2] (таким общим знаменателем была «величественная триада»: «православие, самодержавие, народность» [3]). Во всяком случае, со второго года пребывания Салтыкова в Дворянском институте, там многое изменилось. Важным звеном воспитательного воздействия на «порочную волю и порочное тело» мальчиков стали так называемые «субботники», а главным средством такого воздействия — розга.

На место Семена Яковлевича Унковского исправляющим должность был определен бывший инспектор Иван Федорович Краузе — человек добрый, но не самостоятельный, всецело подчинившийся вновь назначенному инспектором Владимиру Константиновичу Ржевскому, который был одержим идеей сделать «свой институт» образцовым учебным заведением. Но главный педагогический его прием был весьма примечательным для человека, одно время близкого к кружку Станкевича.

[1] По-видимому, приблизительно в это же время покидает институт и В. С. Межевич; во всяком случае, в 1839 году учителем российской словесности в Дворянском институте числится уже М. Е. Архидиаконский. Вскоре пути Белинского и Межевича резко разошлись.

[2] *Формула эта впоследствии многократно сатирически обыгрывалась Салтыковым.*

[3] Впервые эти «три кита», на которых должно быть воздвигнуто здание народного просвещения, были названы Уваровым 21 марта 1833 года в день «определения» его министром — в так называемом «циркулярном предложении» начальникам учебных округов: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с *высочайшим* намерением *августейшего монарха,* совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности».

В. К. Ржевский «почему-то вообразил себе, что заведение, отданное ему в жертву, представляет собой авгиевы конюшни, которые ему предстоит вычистить, и, раз задавшись этою мыслью, начертал для ее выполнения соответствующую программу. Программа эта немногим отличалась от всех вообще воспитательных программ того времени и резюмировалась в одном слове: сечь... Каждую субботу, *по выходе от всенощной,* воспитанники выстраивались по обе стороны обширной рекреационной залы и в глубоком молчании ожидали появление инспектора. Многие припоминали совершенные за неделю грехи, шептали молитвы и крестились; напротив того, воспитанники «травленные» (в заведении образовался особый контингент, как бы сословие, для которого «субботники» вошли почти в обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тем, которому из двоих урядников в данном случае будет поручена экзекуция. Ежели дежурным оказывался урядник Кочурин, то смотрели в глаза будущему с доверием; ежели же дежурным был урядник Купцов, то самые храбрые задумывались. Кочурин был солдат добрый и сек больно, но без вычур; Купцов сек и в то же время как бы мстил секомому». Посередине казавшейся бесконечной рекреакционной залы была приготовлена скамья, около которой находились в полной готовности «дежурный секутор и двое дядек, обязанных держать наказываемого за плечи и за ноги. Наконец *он* <Ржевский> появлялся в глубине залы. Прямой, как аршин, с несгибающимися коленками и с заложенными за спину руками, он медленным шагом подходил к скамье и бесстрастным голосом выкрикивал по списку имена жертв (список хранился в секрете до самого часа экзекуции), приговаривая: «За леность! за дерзость! за воровство!» «Травленные» выступали твердо, сами спускали с себя штаны и сами ложились, причем некоторые доводили ухарство до того, что просили: «Разрешите, господин инспектор, чтоб меня не держали!» Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротив, «посторонние» стонали и упирались, так что инспектор вынуждался напомнить: «Хуже будет, господин такой-то, ежели я прикажу привести вас силой!» Затем дядьки овладевали плечами и ногами пациента, секутор прицеливался, и розги выполняли свое воспитательное назначение. Раздавались пронзительные крики, но выискивались и такие воспитанники, которые, закусив нижнюю губу до крови, не испускали ни звука.

Последних называли «молодцами». Так длился целый год, после чего я оставил заведение и сведений о дальнейшей судьбе субботников уже не имею» («Недоконченные беседы», гл. VIII).

В самом деле, в судьбе двенадцатилетнего Михаила Салтыкова произошел резкий перелом, то непредвидимое и неисповедимое «волшебство», которое не раз вмешивалось в его жизнь — он, против своей воли, «оставил заведение». Не было дано осуществиться его мечтам, сломаны и нарушены были те планы и предположения, которые уже складывались в голове мальчика и которые помогали ему переносить тоску институтского бытия. А мечтал Салтыков о Московском университете, который был здесь, рядом, на Моховой, профессора и студенты, библиотеки и аудитории которого, конечно, были ему уже хорошо знакомы. Действительно, в «Положении о Дворянском институте» среди «преимуществ», предоставляемых воспитанникам его, значилось и такое: «Воспитанники, изъявившие желание продолжать учение в университете, могут оставаться в институте за ту же плату». Михаил мечтал воспользоваться этим «преимуществом» и имел все основания надеяться, что мечта его через какие-нибудь три года непременно осуществится. Учился он усердно и старательно, с рвением и энтузиазмом. И воспитательные приемы Ржевского если и коснулись его, то, во всяком случае, он не был среди «травленных», может быть, иногда попадая в число «посторонних» («я не припомню, чтоб лично я много страдал от розги», — вспоминал Салтыков). Закончи Салтыков институт, может, и его имя украсило бы золотую доску с именами лучших воспитанников.

Но усердие Михаила обернулось против него самого. Дело в том, что, кроме «преимущества» продолжать учение в университете, для воспитанников Дворянского института существовали и другие «преимущества». Среди них имелось то самое, весьма, впрочем, сомнительное, которое сыграло в дальнейшей судьбе Салтыкова, может быть, решающую роль: каждые полтора года двоим из лучших воспитанников предоставлялось право быть «назначенными» к поступлению в Царскосельский лицей, который — в том же, 1830 году, когда перестал существовать Университетский благородный пансион — был приписан к ведомству военно-учебных заведений (!). Главным же начальником этого ведомства был великий князь Михаил Павлович, брат царя. В феврале 1838 года

Михаил Павлович предписал: «По примеру отправленных в Лицей в 1836 году воспитанников, назначить ныне в оный из Московского Дворянского института двух во всех отношениях совершенно достойных сего отличия воспитанников и приказать доставить их в Лицей к 10 числу мая сего года в сопровождении благонадежного надзирателя...»

Когда Миша Салтыков узнал, что, по выбору директора, Ивана Федоровича Краузе, именно ему — в качестве «совершенно достойного во всех отношениях» — предстоит быть «назначенным» к отправке в Петербург и Царское Село (вместе с другим воспитанником, Иваном Павловым), отчаянию его не было границ. Безжалостно были разрушены радужные мечтания о будущем, которое он сам себе выбрал. Мог ли он протестовать, мог ли отстаивать то свое, что продолжало расти в его душе, в его пусть еще детском, но, несомненно, уже ясном сознании? Он хотел быть самим собой. И он попытался не согласиться: он отказался от «преимущества», которое с почтительнейшей благодарностью и благоговением приняли бы многие другие. Но не тут-то было. Именно к этим «другим» принадлежали родители Салтыкова.

За Михаилом, как и за многими другими дворянскими недорослями, присматривал в институте крепостной дядька Платон. Испуганный непослушанием барича, Платон поспешил оповестить о случившемся родителей. Рассерженная Ольга Михайловна, недолго думая и, как говорится, сломя голову, полетела в Москву исправлять последствия дерзкой выходки сына, любимого и дотоле столь послушного и радовавшего своими успехами ее материнское сердце. Он, ее Мишенька, осмелился отказаться от начальственного выбора, начальственного назначения! Путь через лицей — ведь это был путь, как мы теперь сказали бы, в высшие «эшелоны власти», прямой путь к блестящей чиновничьей карьере, в перспективе — к «генеральству», а может быть, даже к «министерству»! Наконец, это был путь наверх — в высшую петербургскую и придворную аристократию, дети которой по преимуществу и наполняли лицейские стены.

Сыграло свою роль и еще одно обстоятельство. Каждый год пребывания в институте, а затем в университете стоил бы Ольге Михайловне восьмисот рублей (не считая, как тогда говорили, «окопировки», — экипировки, обмундирования), в целом же — нескольких тысяч, в то время

как воспитанник Дворянского института принимался в лицей на «казенный кошт», то есть на содержание от казны.

Так или иначе, Ольга Михайловна заставила сына согласиться.

30 апреля 1838 года из Москвы отправился дилижанс, который вез в Петербург «отличнейших по поведению и по успехам в науках пансионеров: Ивана Павлова и Михаила Салтыкова» и сопровождавшего их старшего надзирателя Сильвестра Жонио. 3 мая они были в Царском Селе и на другой день представлялись директору лицея генералу Ф. Г. Гольтгоеру.

Можно представить себе, с каким тяжелым чувством, с каким мраком в душе покидал Михаил Салтыков столь полюбившуюся ему родную Москву. Петербургская дорога вела в неясные, туманные дали будущего — такого будущего, которое уже теперь было ему ненавистно. Он больше всего любил литературу (это заявление одиннадцатилетнего Никанора Затрапезного в «Пошехонской старине» несомненно автобиографично). Он не хотел карьеры высокопоставленного чиновника, даже министра.

Но на размышления уже не было времени. Пришлось вновь засесть за учебники и готовиться к экзаменам в лицей. В мае Михаил сдавал экзамены и сдавал столь успешно, что по полученным баллам мог быть зачислен во второй класс лицея — но опять, как и в Москве, помешал возраст: чтобы учиться во втором классе, нужно было дорасти до 14 с половиной лет, ему же не было и тринадцати. 21 июня великий князь Михаил Павлович «повелеть соизволил» бывших воспитанников Московского Дворянского института Ивана Павлова и Михаила Салтыкова принять в лицей, причем Павлова определили во второй класс, а Салтыкова — в первый.

Проведя летние месяцы в Спас-Углу, в августе Михаил уже был в Царском Селе, где ему предстояло жить и учиться до 1844 года.

Вот оно — строгое, лишенное каких-либо украшений четырехэтажное здание лицея. Высокой аркой, над которой тянулась галерея-переход, оно соединялось с Большим Екатерининским дворцом, одним из блестящих творений великого мастера русского барокко Варфоломея Растрелли. Дворец «играл» всеми своими скульптурными формами, контрастами ярких цветов и глубоких теней, как бы естественно порождая из себя пластически ясную, в античном стиле, Камеронову галерею. Все это порази-

тельное богатство и разнообразие архитектурных, скульптурных, живописных форм, объемов и цветов, как рамой, было окружено великолепием уже окрашивавшихся желтизной и багрянцем царскосельских парков, сверкающих фонтанов, зеркальных прудов.

Не могло не волновать, что некогда в это же здание был привезен другой москвич, тогда, в 1811 году, почти ровесник — юный Пушкин, столь недавно и так страшно и загадочно ушедший из жизни. Здесь он жил, учился в этих же классных комнатах, по этим липовым аллеям, мраморным мостикам и цветущим куртинам бродил, любовался Большим дворцом, Камероновой галереей, парковыми скульптурами, сидел на берегу пруда, всматривался в дали парка, ощущал призывы своей музы.

Пушкин! Конечно, не только имя, но и поэзия русского национального гения — «солнца русской поэзии» — страстно переживалась воспитанниками Дворянского института. И они заучивали наизусть полные слез и боли яростные лермонтовские строки — «На смерть поэта».

Лицей! Ведь здесь, в лицейских стенах и садах, каких-нибудь четверть века тому назад гениальная пушкинская поэзия *началась*. По дороге в Петербург не мог об этом не думать, может быть, даже — и мечтать о возможной литературной судьбе и литературной славе Михаил Салтыков. Только эта мечта, наверное, и утешала, и вдохновляла.

Чем встретил Салтыкова лицей 1838 года? Старыми, еще не совсем выдохшимися традициями знаменитого первого курса и новыми порядками учебного заведения николаевского времени, к тому же заведения, оказавшегося вдруг в военном ведомстве.

В 1824 году директором лицея стал генерал-майор (впоследствии, при Салтыкове — генерал-лейтенант) Федор Григорьевич Гольтгоер, который до того был директором кадетского корпуса, так называемого Дворянского полка. Человек в душе, может быть, и добрый, он, однако, принес в лицей обычаи и порядки этого специального военного учебного заведения — прежде всего строгую дисциплину, которой добивались всеми способами: от телесных наказаний до угрозы солдатчиной. По характерному слову директора «старого», пушкинского лицея, Егора Антоновича Энгельгардта, Гольтгоер о воспитании имел столько же понятия, как и о кавалерийском маневре. Один из бывших лицеистов вспоминал о Гольтгоере: «Мы мало знали его: всегда холодный и

строгий, он нисколько не сближался с воспитанниками», которые поэтому «не питали к нему особого расположения, а только боялись его и подчас подсмеивались над его не совсем чистым русским выговором и незнакомством с проходимым в лицее курсом наук. Генерал был силен только в арифметике, но этого нам казалось мало...»

Особенно пострадал лицей в начале тридцатых годов, когда «Положением о лицее» 1832 года был в корне изменен весь внутренний быт его. Недаром лицеисты называли этот год началом железного века лицея. Кроме воспитанников «казеннокоштных», стали приниматься и так называемые «своекоштные» — выходцы из богатых аристократических семейств, уничтожились отдельные, для каждого лицеиста, комнаты, были позволены «отпуски» в праздники в Петербург по домам и т. п. Так разрушалась ненавистная Николаю, но так ценившаяся старыми лицеистами атмосфера дружеского «братства» и в то же время личной независимости, в которой воспитались Пушкин, Кюхельбекер, И. И. Пущин.

С большим сожалением писал обо всех этих переменах в «нашем лицее» в том же, 1832 году Е. А. Энгельгардт: «Спальни в верхнем коридоре уничтожаются; там будет большая общая казарма, в коей кровати будут стоять открыто, одна возле другой; наши древние лакированные рукомойники — вон; вместо них два огромные медные самовары с кранами для общего омовения; комоды — прочь, а платье — в общем арсенале и пр., и пр. Может быть, это все гораздо лучше прежнего, но прежнее было, право, хорошо. Жаль, что бедный лицей должен так изменить всю свою физиономию; за оною неизбежно последует и перемена нравственная. Уже от домовых отпусков уничтожится эта прекрасная связь наших лицейских, для коих в продолжение шести лет весь мир заключался в стенах лицея и которые в продолжение шести лет были неразлучными товарищами; оттого между ними неразрушимая связь, дружба, оттого привязанность к лицею. Кадеты, оставя с радостью корпус, не знают уже более ни его, ни тамошных товарищей...»

Как почувствовал себя в этой новой для себя обстановке «нового» лицея Салтыков? Ему не надо было привыкать к общим спальням и жесткому регламенту. Строгий режим Дворянского института с его «субботниками» вовсе не располагал к безмятежной «привязанности». Но что, по-видимому, сразу же стало терзать его в лицее — одиночество, так сказать, «сословное», стена,

которая отделяла его, «казеннокоштного» воспитанника, вовсе не избалованного богатством, от «своекоштных» аристократов, щеголявших дорогим бельем и мундирами от лучших портных, блестящими «выездами» с великолепными лошадьми, обедами и кутежами в лучших ресторанах и кондитерских во время «отпусков» в столицу, кру́гом великосветских знакомств... «Увы! — вспоминал Салтыков в «Господах ташкентцах», имея в виду лицей, — в «заведении» уже есть «свои» аристократы и «свои» плебеи, и эта демаркационная черта не исчезнет в стенах его, но отзовется и дальше, когда и те и другие выступят на широкую дорогу жизни». Память о тяжелом самочувствии Салтыкова — лицеиста-«плебея» — вдруг всплыла в кошмарном сновидении героя незаконченного сатирического романа «В больнице для умалишенных». «Мне снятся годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сенью «заведения». То было прекраснейшее, образцовое заведение, в котором почти исключительно воспитывались генеральские, шталмейстерские и егермейстерские дети, вполне сознававшие высокое положение, которое занимают в обществе их отцы... Как ловко сидели на них «собственные» мундиры и курточки! как полны были их несессеры всякого рода туалетными принадлежностями! Как щедро платили они дядькам! с какою непринужденностью бросали деньги на пирожки и другие сласти! с какой грацией шаркали ножкой перед воспитателями и учителями!.. У меня не было ни *собственного* мундира, ни *собственной* шинели с бобровым воротником. В казенной куртке, в холодной казенной шинельке, влачил я жалкое существование, умываясь казенным мылом и причесываясь казенною гребенкою. Вид у меня был унылый, тусклый, не выражавший беспечного доверия к начальству, не обещавший в будущем ничего рыцарского. Я не умел ни шаркнуть ножкой, как юноша, в котором сидит уже в зародыше камер-юнкер, ни перелететь через зал, по вызову начальства, в той устремленной позе, которая служит первым признаком детской благовоспитанности и готовности. Я не давал дядькам на водку и не накупал пирожков. Я ел казенную говядину под красным соусом и казенные «суконные» пироги с черникой, от которых товарищи мои брезгливо отворачивались, оставляя их на съеденье дядькам и сторожам. Первое время я даже оставался по праздникам в «заведении», тоскливо слоняясь по залам его и предаваясь загадочным думам о товарищах, которые в это время мчались на

лихачах по Невскому и приучались в кофейнях пить коньяк... я был пятном на светлом фоне общей воспитательной картины, и не только я сам, но, по-видимому, и начальство «заведения» сознавало это. Меня наказывали охотнее, чем других; меня оставляли без обеда с полным сознанием достигнуть не мнимого, а действительного лишения. Даже при разборе так называемых «историй», случавшихся в «заведении», меня ставили как-то особняком. «Сознайтесь, благородные молодые люди!» — говорил директор товариществу; и затем, когда «благородные молодые люди» не сознавались, то, обращаясь ко мне, присовокуплял: «Ну, а тебя нечего и спрашивать!» Если же по временам воспитатели и относились с сожалением к моей заброшенности, то я совершенно ясно читал в этих жалеющих глазах: жаль его, а все-таки было бы лучше, если б в нашем прекрасном «заведении» не было этого «пятна»!»

Салтыков или скрывался куда-нибудь в угол с книжкой в руках, или предавался, столь же уединенно и скрытно, сочинению стихов.

Мы помним, что еще в Дворянском институте он больше всего полюбил литературу и, возможно, уже тогда начал пробовать свои силы в сочинительстве, которое там не только не возбранялось, но и поощрялось — и учителя, и воспитанники выступали на торжественных актах с речами и рассуждениями, «кропали стихи или громоздили высокопарную прозу», по выражению Н. В. Сушкова.

Но совсем иным было отношение к литературным опытам воспитанников в лицее тридцатых годов. Здесь, с одной стороны, еще упорно, но, так сказать, неофициально держалась традиция, требовавшая найти на каждом очередном курсе «наследника» Пушкину, а с другой — уже бесповоротно и безжалостно проявлял себя дух военно-учебного заведения, Дворянского полка (кадетского корпуса), насаждаемый начальством. В лице же многих «педагогов» начальство находило верных сторонников и проводников этого казарменного духа. Наследником великого поэта мечтал стать и Салтыков, и не только мечтал, но уже с первого класса, «в годы детской незрелости», по его же словам, занялся «усиленною стихотворною деятельностью» и, вероятно, даже получил некоторое признание как поэт не только со стороны части своих товарищей-лицеистов, но и литераторов, вроде издателя журнала «Современник» П. А. Плетнева, напе-

чатавшего восемь салтыковских стихотворений в своем журнале (журнале, начало изданию которого положил сам Пушкин!).

Позднее, и довольно скоро, по выходе из лицея, Салтыков понял, что никакого наследника Пушкина из него не получилось и получиться не может, что его призвание как литератора совсем в другом. И потому столь саркастически описывает свое увлечение лицейских лет зрелый Салтыков, Салтыков-сатирик: «Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого, скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». Смерть Пушкина была еще у всех в свежей памяти, и поэты того времени никак не могли поделить между собою наследства его. Во мне родилась самонадеянная мысль, вместе с Тимофеевым и Бернетом <весьма посредственные поэты того времени>, завладеть хоть одним клочком этого наследства. Чтоб достигнуть этого, я писал стихи, так сказать, запоем, каждый день задавая себе новую тему и во что бы то ни стало выполняя ее». За эту свою страсть к стихотворству, как и за чтение недозволенных книжек, претерпевал Салтыков «многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям».

Слово «умник» в среде «благородных молодых людей» было почти бранным, но именно так они прозвали Салтыкова. Он же, по его позднейшему ироническому воспоминанию, написал басню «Философ и стадо ослов», в которой выставил себя в выгодном свете «философа», а товарищам предоставил играть роль «ослов». «Умник» и «философ» Салтыков уединялся, читал книжки и сочинял стихи, переводил любимых поэтов.

Это самочувствие одиночества, отверженности и неприкаянности выразилось в немногих дошедших до нас стихотворениях Салтыкова лицейской поры. Конечно, эти юношеские стихотворения Салтыкова слабы и подражательны, они всецело — в ряду массовой стихотворческой продукции тех лет, наводнявшей страницы «Библиотеки для чтения», «Современника» и других тогдашних журналов — той продукции, которая очень ясно свидетельствовала, что в эти — первые сороковые — годы ни Пушкин, ни Лермонтов не имеют наследников. Однако, при всем

несовершенстве стихов Салтыкова-лицеиста, есть в них нечто такое, что не позволяет пройти мимо них, — какие-то мерцающие проблески страдающей, мучающейся, не способной еще найти себя, но несомненно незаурядной личности.

Эти душевные метания смутны, болезненно-самоуглубленны.

Как скучно мне! Без жизни, без движенья
Лежат поля, снег хлопьями летит;
Безмолвно все; лишь грустно в отдаленье
Песнь запоздалая звучит.

Мне тяжело. Уныло потухает
Холодный день за дальнею горой.
Что душу мне волнует и смущает?
Мне грустно: болен я душой!

Я здесь один; тяжелое томленье
Сжимает грудь; ряды нестройных дум
Меня теснят; молчит воображенье,
Изнемогает слабый ум!

Состояние тоскливо-болезненного одиночества находит выражение в привычно-романтических, неоригинальных формах, образах и мотивах — но в этих формах заключено все же вполне реальное содержание душевного нестроения, разлада, тоски. Не находя сочувственного отклика в тусклой и однообразной атмосфере лицейского быта, Салтыков обращается к любимым поэтам. И если первое опубликованное стихотворение «Лира» («Библиотека для чтения», 1841, № 3) еще сохраняет какие-то отзвуки московских «дмитриевских» настроений (оно обращено к «бряцающему на лире» Державину и «любезному сыну Феба» Пушкину), то чем дальше, тем больше углубляется Салтыков в напряженно-страстный, полный контрастов, диссонансов и «надрывов» мир гигантов романтической поэзии — Лермонтова, Байрона, Гюго, Гейне. «Я еще маленький был, — вспомнит он через двадцать лет свое переживание такой поэзии, — как надрывался от злобы и умиления, читая» Гейне. Именно из этих поэтов Салтыков-подросток переводит, именно Лермонтову подражает.

Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья,
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы

Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!

Но лишь лирического самовыражения, жизни в поэтических образах Салтыкову, рано познавшему сладость мысли, уже явно недоставало. Ведь он был «философом» и «умником». И, наверное, не только лирические стихотворения Байрона, Гейне или собственное стихотворство прятал он от лицейских наставников и надзирателей. И хотя со второго класса воспитанникам дозволялось выписывать на свой счет журналы, в том числе «Отечественные записки» и «Библиотеку для чтения», не все журнальные книжки, вероятно, доходили до лицеистов, ибо подвергались предварительной цензуре лицейского учителя российской словесности Флегонта Гроздова. Тем не менее Салтыков и другие лицеисты имели, конечно, возможность знакомиться с современной литературой, и не только художественной, в пределах, которые большинству их наставников и не снились. Журналы в лицее «читались с жадностью, — вспоминал через сорок лет Салтыков, — но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского...».

А между тем в классах царили скука и равнодушие. «Абракадабра, которая называлась ученьем», не лезла в голову. Страстная привязанность Салтыкова к литературе претерпела в лицее горчайшее испытание. То, что услышал он по части словесности с лицейских кафедр, не могло не поразить его удручающей, почти чудовищной нелепостью.

Вот воспитанники вернулись в «заведение» после каникул, все они глядят как-то вяло, «рука об руку лениво бродят по залам заведения, передают друг другу вынесенные впечатления, и не то иронически, не то с нетерпением относятся к ожидающей их завтра науке.

— Ты что-нибудь знаешь из «свинства» (под этим именем между воспитанниками слывет одна из «наук»)...

— Messieurs! На завтра Чучело задал сочинение на тему: сравнить романтизм «Бедной Лизы» Карамзина с романтизмом «Марьиной рощи» Жуковского — каков Чучело!»

В таком роде идет перекрестный разговор, относящийся до наук...»

Чучело — это профессор русской и латинской словесности Петр Егорович Георгиевский, он же — Пепка (лицеисты прослышали, что так ласкательно звала Петра Егоровича его супруга). Предмет, который читал Пепка в лицее — российская словесность — в его собственном чудовищно-допотопном изложении и толковании, — был окрещен лицеистами «Пепкиным свинством». Воспитывавшийся в духовной семинарии доброго старого времени, Георгиевский, человек в отличие от Флегонта Гроздова безобидный и добродушный, до мозга костей был напитан схоластикой и педантизмом давно устаревших риторических и «пиитических» теорий. Державин оказывался последним русским поэтом, которого его голова, покрытая странным квадратным париком, могла еще «вместить», ибо Державин, хоть и с грехом пополам, укладывался в прокрустово ложе риторик и пиитик. Пушкин же для Георгиевского был просто несерьезный шалун и бездельник-романтик, а Гоголь и вовсе не существовал. По-видимому, насмешки лицеистов над темой, предложенной Пепкой — Чучелом (в цитированных выше строках из «Господ ташкентцев»), — и вызваны его неуклюжей попыткой как-то подстроиться под дух времени. Свою «науку» Петр Егорович читал по собственной книжке, называвшейся весьма выразительно: «Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала Изящных Искусств, теорию Красноречия, Пиитику и краткую Историю Литературы». Может быть, это название натолкнуло впоследствии Салтыкова на ироническое определение всех многочисленных «наук», изучавшихся в лицее: «краткие». Рецензируя второе издание книги Георгиевского (1842), Белинский точно уловил самую суть его: «Сочинителю все мнения равны, ибо он не взял себе в толк ни одного из них» (можно не без основания предположить, что рецензия Белинского, напечатанная в «Отечественных записках», не осталась неизвестной лицеистам).

Еще больше поразила лицеистов замечательная изворотливость и лакейство мысли, когда «все мнения равны» (а еще точнее: истинно то мнение, которое в настоящий момент внушается начальством), проявленные знаменитым в свое время профессором юридических наук Петербургского университета Яковом Ивановичем Баршевым, читавшим лекции и в лицее. Об этом рассказал сам Салтыков: «Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут»... Орудие это несомненно существовало, и, следовательно, профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор <это и был Баршев>, который

не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление... Но прошло немного времени, курс уголовщины не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили трехвостною плетью... Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Прольет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения вышнего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме трехвостной плети...»

На таком — темном, но очень характерном — фоне лицейского преподавания «кратких наук» выделялись все же два светлых пятна. Это были профессор всеобщей и российской истории Иван Петрович Шульгин и профессор статистики и политической экономии Игнатий Акинфиевич Ивановский. Но что за «историю», что за «политическую экономию» внушали «благородным молодым людям» эти профессора — в недалеком будущем награжденные чином тайного советника?

Шульгин увлекал живым, ясным, картинным изложением исторических событий и фактов, побуждая лицеистов к серьезным занятиям. Непримиримый к схоластике и буквоедству Белинский в рецензии на книгу Шульгина «Изображение характера и содержания новой истории», увидел в ней именно то, что правилось и лицеистам: «картину живую, яркую, легко впечатлевающуюся в уме, а следовательно, и в памяти. И все это развито у него систематически, с строгою последовательностью...» Но, при увлекательном изложении, самый взгляд Шульгина, самая его «философия истории» не отличались глубиной и оригинальностью.

Любимым предметом лицеистов стала политическая экономия, которую читал Ивановский. «Он приходил к нам с пустыми руками, но с богатым запасом знания и энергии; начинал обыкновенно тихим голосом, но с каждым словом воодушевлялся все более и более, вскакивал с кафедры, расхаживал по аудитории или подходил в упор к нашим конторкам и как будто исключительно обращался то к одному, то к другому из нас. Все в нем увлекало нас, возбуждало наше внимание: и живая пылкая речь, и интерес содержания лекции, и даже оригинальные модуляции его голоса» (воспоминания бывшего лицеиста Н. Яхонтова). Но и в этом случае вызывала интерес неординарная личность профессора, его педагогический талант, умение вызвать сочувственный ответный отзыв на свое слово, «заразить», вдохновить, разбудить мысль. Правда, эта «разбуженная» мысль могла направиться совсем по разным, даже противоположным, руслам.

Один из этих путей изображен Салтыковым в «Господах ташкентцах». С будущим «ташкентцем» Порфишей Велентьевым, когда он перешел в старший курс «заведения», «совершилось нечто чудесное, но чудо было вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась «политической экономией» и преподавалась воспитанникам заведения как венец тех знаний, с которыми они должны были явиться в свет. После первых же лекций Порфиша вдруг почувствовал себя свежим и бодрым... Мир чудес, к которому он так страстно стремился, но который до сих пор представлялся его мысли смутно и беспорядочно, вдруг приобрел необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастические видения в форме волшебниц, волшебников, кладов, неразменных червонцев — теперь ему подавала руку сама наука; прежде процесс созидания зависел от случайностей, которые могли прийти и не прийти на помощь, смотря по тем ресурсам, которые представляла большая или меньшая напряженность воображения, теперь — перед ним были всегда готовые и вполне солидные кунштюки, которые, вдобавок, носили название политико-экономических законов». В «заведении», то есть в лицее, продолжает Салтыков, «преподавалась политическая экономия коротенькая. Законы, управляющие миром промышленности и труда, излагались в виде отдельных разбросанных групп... Вот, милостивые государи, «спрос»; вот — «предложение»; вот — «кредит» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепет действительной, конкретной жизни, с ее ликованиями и воплями, с ее сытостью и голодом, с ее излюбленными и обой-

денными — не было и в помине. Откуда явились и утвердились в жизни все эти хитросплетения, которым присвоивалось название законов? правильно ли присвоено это название или неправильно? насколько они могут удовлетворять требованиям справедливости, присущей природе человека? — все это оставалось без разъяснения».

Наверное, все эти вопросы, пусть еще неясно и смутно, пусть не в такой определенной форме, возникали в ищущем, беспокойном сознании Салтыкова, лицеиста старших классов, уже пытавшегося разобраться в противоречиях реальной действительности, найти конкретные ответы.

Первый путь, следование которому никаких сомнений и вопросов не вызывало, а вызывало скорее сплошной восторг, — это путь будущего «ташкентца» Порфиши Велентьева. Здесь все казалось ясным и неопровержимым — перспектива открывалась радужная, требовалось лишь одно — «научно» обосновать и превознести буржуазность («биржа», «кредит» и т. п.), политико-экономической теорией оправдать накопительство и приобретательство — все то, что назовет Салтыков потом «чумазовским» торжеством, торжеством хищника-буржуа...

Другой же путь, на котором только и можно было найти ответы на тревожные вопросы, возбуждаемые в умах по крайней мере некоторых лицеистов политической экономией, пусть и «краткой», это путь, прямо ведший к уже возникшему в Европе социализму. Именно социалисты-утописты эти вопросы ставили и свои ответы на них, давали.

Уже в первый год учения произошла встреча Салтыкова с лицеистом выпускного класса Михаилом Буташевичем-Петрашевским, окончившим лицей в декабре 1839 года.

Это была необыкновенная, яркая, даже эксцентрическая личность, резко отличная от лицейского большинства. Начал Петрашевский свое учение в лицее весьма неуспешно. Поступив в лицей в 1832 году, он оказался среди двенадцати самых нерадивых воспитанников, прозванных «апостолами», и был оставлен на второй год в первом классе. Отношения Петрашевского с его сверстниками и однокурсниками сложились неприязненно: чаще всего угрюмый, сосредоточенный, погруженный в свои мысли, он, с книгой в руках, уединялся где-нибудь в углу рекреационной залы или укромном местечке сада, а то

уходил в младшие классы, где чувствовал себя проще, где легче дышалось, где находились родственные души. Сверстникам он казался непонятным какой-то отчужденностью, особым складом мысли, «сумбуром в голове», неожиданными, эксцентрическими поступками. Он выглядел среди лицеистов-«аристократов» чужаком, белой вороной и потому, что пренебрегал заботами о внешности, одежде, казался неряшливым, неопрятным. С товарищами-сокурсниками он не сближался, не был ими любим. Но в младшем классе у лицеиста Салтыкова нашел Петрашевский понимание и сочувствие...

Первоначальной причиной такого сочувствия было сходство положения среди лицеистов, потом возникло и другое — оба писали романтические стихи, в которых выливалось общее для них обоих настроение одиночества и тоски. Непонятный же лицеистам-товарищам «сумбур», который замечали они в мыслях Петрашевского, наверное, был выражением наивно-фантастического по форме, но очень глубокого переживания общественного неустройства, попытки найти какой-то выход из этого неустройства. Такую форму мысли Петрашевского могли дать поразившие его юношеское воображение сочинения Фурье, грандиозная «математическая поэма» французского утопического социалиста — социально-критическая, обличительно-сатирическая в части, касающейся современного общества, и захватывающе, увлекательно-утопическая — там, где безудержное воображение и скрупулезный «математический» расчет рисовали картину общества будущей все возрастающей стройности, гармонии и красоты. Петрашевский всем существом своим как бы переселялся в открывшийся ему новый мир, с экстатическим нетерпением и наивной верой ждал его «пришествия», которое, казалось, зависело лишь от энтузиастических усилий адептов нового социального учения.

Но нерадивость и неуспешность в «кратких» школьных науках вовсе не всегда означали апатию и равнодушие к истинной науке или нежелание знать то, чего школьные наставники не могли дать пытливому уму и напряженно работающей мысли. Поступив, уже после лицея, вольнослушателем в Петербургский университет, Петрашевский окончил его в 1841 году кандидатом (то есть среди лучших). С этого момента он уже сознательно и целеустремленно положил все свои силы в пропаганду фурьеризма.

Салтыков расстался с Петрашевским в январе

1840 года, когда тот покинул лицей. Однако встречи их продолжались. Петрашевский нередко появлялся в Царском селе, встречался со старыми друзьями, вовлекая в круг своих идей новых приверженцев. Лицеисты, которым, как помним, разрешалось по праздникам уезжать в Петербург, бывали в его городском доме.

Наезжая по праздникам в Петербург, к брату, Салтыков бывал не только у Петрашевского. Публикация в «Библиотеке для чтения» стихотворения «Лира» открыла начинающему поэту двери домов, где собирались литераторы. Таким был и дом приятеля Белинского Михаила Александровича Языкова. Здесь, в кружке писателей, близких Белинскому, и стал в 1842 или 1843 году появляться замкнутый, неразговорчивый и сумрачный, как бы весь погруженный в себя шестнадцати-семнадцатилетний лицеист Салтыков. Здесь он увидел и услышал Белинского, имевшего обыкновение, в разговоре, расхаживать по комнате, заложив руки в карманы. Жена популярного тогда автора повестей Ивана Ивановича Панаева (эти повести с увлечением читал в «Отечественных записках» и Салтыков) Авдотья Яковлевна Панаева запомнила, что юный Салтыков «не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал... Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против двери, и оттуда внимательно слушал разговоры».

Не из лекций лицейских профессоров, а из, несомненно, лучшего журнала времени — «Отечественных записок», из статей Белинского в этом журнале узнавал Салтыков русскую литературу, усваивал самые передовые литературные идеи времени. Но статьи Белинского были не только школой познания литературы художественной, поэзии — это была школа идей философских и социальных. Ярчайшее, увлеченное и увлекающее слово Белинского несло в себе, наиболее полно, как в светящемся и сверкающем фокусе, собирало и выражало русское национальное самосознание замечательного десятилетия сороковых годов.

Салтыков читал «Отечественные записки» с самого начала работы в них Белинского — с того времени, когда ему, лицеисту второго класса, было позволено принять участие в выписке журналов. Это были последние месяцы 1839 года...

Первая подписанная полным именем статья Белинского — «Менцель, критик Гёте» — появилась в журнале в январе 1840 года. Михаилу Салтыкову в этом же месяце исполнилось четырнадцать лет. Известно ли ему было имя Белинского до этого? Читал ли он его статьи раньше, в московских журналах? На эти вопросы ответов дать невозможно, хотя и можно предположить, что институтский учитель русской словесности Межевич (как выше сказано, дружески общавшийся тогда с Белинским) и мог указать воспитанникам на некоторые статьи критика в «Телескопе» или «Московском наблюдателе».

Михаил Салтыков с детских лет испытывал тягостное влияние крепостнического быта и если и не сознавал, то сердцем, душой, нервами ощущал несправедливость и безнравственность отношений между всевластным барином и бесправным крепостным рабом. И потому в свои четырнадцать лет он был взрослее своих лицейских сверстников. Второй год учения в Дворянском институте оказался для него трудным потому, что переменилась сама обстановка, повеяло мертвящим холодом новых времен. Лицейские же годы были очень непростыми по той причине, что наступала пора отрочества — пора сознания уже оскорбленной души, уже нарушенного жизненного выбора, пора более отчетливого понимания все усложнявшихся отношений и связей с окружающим миром, который уже не мог восприниматься пассивно, но который требовал мыслительного и эмоционального освоения, приятия или неприятия, слития или отталкивания. Детство, хотя и не отличалось «веселостью», все же было детством. Теперь оно ушло, отделилось резкой чертой от мира новых фактов, воспринимавшихся в целом отрицательно, новых впечатлений, несомненно болезненных, новых мыслей, несомненно невеселых. «Мрачный лицеист» Салтыков, каким увидела его в доме Языкова Авдотья Панаева, уже много знал и о многом думал. Пробудившаяся мысль настойчиво искала достойной себя пищи.

Напряженный и лихорадочный, мучительный и вдохновенный труд мысли и воображения все больше и больше захватывал подростка и юношу — в неудержимом стремлении «освоить», сделать своим, личным достоянием все мыслительное и художественное богатство, богатство культуры, и одновременно творчески выразить свой художественный инстинкт, свой беспокойный дух.

Лицей как закрытое, да к тому же еще в это время «военно-учебное» заведение не давал в этом отношении почти ничего. Лицей же как своеобразный «феномен»,

как, несомненно, очень большое явление русской культуры — с его блестящим прошлым и с его современным очень противоречивым бытом, позволявшим все же расторгать, при желании, узы «закрытости», сословности, исключительности, — очень много.

Когда Салтыков, воодушевляемый и подгоняемый каким-то внутренним perpetuum mobile, писал и писал одно за другим свои стихотворения, когда он каждый день задавал себе тему и тут же «выполнял» ее, он, конечно, не мог оценить «качества» своих поэтических опытов, да и никто — ни лицейские учителя, ни лицейские однокашники — не могли ему в этом помочь. Насмешки надзирателей и «толпы́» соучеников, когда кто-нибудь из них обнаруживал эти опыты, ожесточали душу, заставляли еще больше замыкаться, уходить в себя, «мрачнеть».

Но именно при этих обстоятельствах и произошла встреча Салтыкова с Белинским — автором гениальных литературно-критических и, одновременно, философских, социально-политических статей и Белинским — необыкновенной личностью, человеком из мира, «сословно» совершенно чуждого Салтыкову, мира новой культуры, одним из создателей которой вскоре станет и сам Салтыков.

Начиналось «замечательное десятилетие» — сороковые годы девятнадцатого столетия, — освещенное и освященное именами Гоголя и Белинского.

После поражения в декабре 1825 года дворянского «бунта» для русской общественной мысли настали тяжелые времена. Самодержавной властью были подавлены не только тайные общества дворянских революционеров — была заглушена передовая мысль, пытавшаяся отыскать для России пути, на которых она могла бы выйти из губительного общественно-политического и экономического застоя. Но «дело» императора Николая, которое, конечно, и не могло быть никаким иным, его жестокая политическая «игра» исторически с самого начала были безуспешными и проигранными. Как невозможно замуровать родники, дающие начало полноводной реке, так никакие силы не в состоянии заморозить родники мысли. Под ледяной корой официально утвержденных формул «приведения к одному знаменателю» бились эти родники горячей мысли, которые очень скоро размыли ледяные оковы, прорвались наружу — в мощных всплесках социалистической мысли «петрашевцев», целой большой группы молодых умов, имя которой дал воистину апостол русского утопического социализма — Буташевич-Петрашевский, в великих созданиях русской литературы и литературной критики «гоголевского периода» — периода Белинского.

Стоит только вспомнить о книгах, появившихся на рубеже тридцатых и сороковых годов, — в пору лицейского «затворничества» Салтыкова: первое посмертное издание сочинений Пушкина, восемь томов которого были напечатаны в 1838 году, а последние три — в 1841-м; второе издание «Горя от ума» Грибоедова (1839), «Стихотворения Лермонтова» (1841), «Герой нашего времени» Лермонтова (1841), первый том «Мертвых душ» и «Шинель» Гоголя (1842).

И на все эти книги неизменно и сразу же откликался Белинский, создавая, из статьи в статью, новую теорию искусства, новую литературную критику, нового читателя — «публику», способную понимать и новую литературу. Это была настоящая лавина небывалых эстетических открытий. Впитывая, «ассимилируя» — органически, творчески, своим могучим умом, своим «абсолютным» вкусом — все богатство художественных явлений русской и мировой литературы, все разнообразие философских, социальных, эстетических идей и, в этом активном процессе, освобождаясь от уже освоенного и переработанного, Белинский строит свой собственный свободный мир — все испытывающего, все проверяющего разума, обогащенного горячим сердечным чувством, неистощимым воображением, светлым социальным и нравственным идеалом. Эта огнедышащая лавина смелой мысли, яркого и ясного слова, сметавшая затверженные и омертвевшие схемы равнодушных и уставших умов, неудержимо влекла к себе всех тех, кто был полон жизненных сил, но изнемогал под гнетом высокопарного и холодного догматизма, кто жаждал получить вразумительные ответы на вопросы, непрестанно задаваемые стремительно текущей жизнью. Белинский вовлекал своим горячим словом в радостное и освобождающее со-творчество.

Сознание юного Салтыкова, по контрасту с тусклым лицейским бытом, с «классическими» схемами школьной риторики и пиитики, еще полно грез об идеальном небесном мире блаженства, где душа поэта находит выход из земной юдоли страданий и тоски. Он мечется между ненавистной схоластикой «Пепкина свинства», романтическим, с помощью Байрона и Гейне, погружением в свою разочарованную «больную душу» — и жестокой действительностью, терзавшей страшными железными путами и

вполне реальными, отнюдь не сказочными «волшебствами», избавиться от которых не виделось никакой возможности.

А между тем именно «действительность» стала главной идеей тех статей Белинского, которыми началось его сотрудничество в «Отечественных записках». Путь Белинского, который он проходил в своих статьях вместе со своими читателями, — это был путь борьбы, поиска и познания...

Пушкин, Лермонтов, Гоголь становились вершинными вехами на этом пути...

Пушкин олицетворял сверкающие высоты идеального искусства — художественности, достигнуть которых могли лишь избранные.

Лермонтов, лишь начинавший пролагать свою поэтическую дорогу, открывал и новую эпоху русской литературы — эпоху беспощадного анализа, рефлексии и критики, эпоху новой сатиры, не «бичующей» пороки, но отрицающей самые основы современной жизни, сатиры ювеналовской. В эти годы Белинскому, как и юному Салтыкову, становится все более сочувствен жесткий, холодно-безотрадный и страстно-иронический колорит лермонтовской поэзии.

Гоголь давал возможность особого художественного «созерцания» социальной действительности — созерцания эпического и объективного в своей основе, но лирического и субъективного по определяющему пафосу — «сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». От исключительно художественной точки зрения, от идеи беспримесной художественности, от проповеди эстетического совершенства, доступного лишь немногим, Белинский все больше и больше, все чаще и чаще переходит к доказательствам насущной необходимости для русской литературы юмора, иронии и комического, ибо «постижение комического — это вершина эстетического образования»...

Движение идей Белинского в первой половине сороковых годов было стремительным и многосторонним. И трудно сказать, уловил ли тогда Салтыков во всем многообразии и богатстве этих идей тенденцию к утверждению комического, хотя она становилась, пожалуй, у Белинского главной (ведь опиралась эта тенденция на гениальное творчество Гоголя!). Но вряд ли можно сомневаться, что в творческой натуре «мрачного лицеиста», где-то в глубинах его духа уже таилась страшная vis comica — сила смешного, та казнящая сила, которая в творчестве великих сатириков поражает душу ужасом, превращает комедию в трагедию. (Ведь тот же Белинский в одной из статей этой поры сказал о «Ревизоре», что это не комедия, а трагедия: «ничего нет в мире страшнее смешного».)

«Россия во многих отношениях развивается непомерно быстро», — читал Салтыков в январской за 1843 год книжке «Отечественных записок» слова Белинского, обозревавшего ход русской литературы за год прошедший. А именно в этом, прошедшем году недосягаемой вершиной поднялось над русской литературой удивительное создание Гоголя «Мертвые души», выразившее своим появлением стремительность, непомерную быстроту развития не только литературы, но и сознающего себя русского общества — России. Многое было в «Мертвых душах» загадкой, почему Белинский и заметил, что их легче полюбить, чем понять.

Салтыков, конечно, внимательно следил за полемикой Белинского и К. Аксакова, как раз и пытавшихся, каждый по-своему, понять и объяснить многозначащее и загадочное величие гоголевской «поэмы». К. Аксаков в особой брошюре восторженно приветствовал «Мертвые души» — произведение, равное своей могущественной творческой силой эпическим поэмам Гомера, как бы восстанавливающее этот давно угасший и «униженный» последующим ходом литературного развития род героической эпопеи, униженный в особенности современной французской социальной повестью. В этом, для Аксакова, мировое и национальное значение гоголевской поэмы. Белинский встретил «Мертвые души» не менее восторженно. Но его восторг был, если можно так сказать, более конкретно-историческим. Он очень хорошо видел, что героического утверждения жизни, свойственного эпопее, в «Мертвых душах» нет и следа. «Непомерная быстрота» развития России выражается пока что не столько в утверждении ее идеальной национальной «субстанции», сколько в отрицании всего того, что эту «субстанцию» сковывает и искажает. И именно в таком отрицании — пафос «Мертвых душ» как произведения глубоко русского, национального, бесконечно самобытного, еще небывалого.

Необходимой частью огромной панорамы русской жизни стала в «Мертвых душах» Россия деревенская — не только помещичья, но и крестьянская — на страницы художественного произведения, пожалуй, впервые вышел

крепостной русский мужик — «податное сословие», «ревизская душа». Впервые с такой зоркостью и остротой, с такой болью и такой мучительной и горькой иронией была явлена тягчайшая из российских социальных язв — язва крепостничества. Сделавши столь необычную аферу Чичикова по купле-продаже «ревизских душ» («мертвых», но ведь все равно что и живых) сюжетным стержнем повествования, обнаживши главное — всю неприглядную механику, весь вполне обычный цинизм такой купли-продажи, Гоголь поистине вложил пальцы в кровоточащую, незаживающую рану, разбередил самую страшную язву бытия самодержавной России — крепостное право, закабаление крестьян помещиками, превращение человека в вещь. Все это видел Салтыков с детских лет, но видеть — еще не значит мучиться и страдать этой раной, со-страдать «труждающимся и обремененным».

Но дело было не только в социальном, правовом неравенстве помещика и мужика, не только в безобразном аморализме, вопиющей безнравственности крепостнических отношений. Дело было даже не в мужицком протесте и ненависти — затаенных, спрятанных за внешней покорностью, или открытых, бунтовских, «пугачевских». До поры до времени самодержавное государство находило достаточно средств и сил, чтобы справляться с непокорными. Суть ведь заключалась и в полной экономической непригодности хозяйства, построенного на неисчерпаемой будто бы производительности «мужицкой спины». Крах такого хозяйства был исторически предрешен и неизбежен, какими бы хитроумными способами его ни пытались поддержать. Потому и возбуждали в русских умах, по слову Достоевского, «самые беспокойные мысли» «Мертвые души» — «поэма» о приобретателе Чичикове, строившем свое благосостояние на абсурде крепостного права и крепостной экономики. Можно предположить, что в таком же «беспокойном» духе уже с самого начала воспринял «Мертвые души» Салтыков, с младенчества свидетель «мистерий» крепостного права и всего «порядка» жизнестроительства маменьки Ольги Михайловны.

Трудно сказать, какую политическую экономию читал в лицее профессор Ивановский и касался ли он в своих увлекавших лицеистов лекциях «политической экономии» русского феодализма. Но, во всяком случае, умы были возбуждены, вопросы напрашивались сами собою и настоятельно требовали ответа.

Плачевное состояние русского крепостнического хозяйства, каторжная жизнь мужика, беспросветное существование «маленького человека» из городских низов, мелких чиновников; присущее самой мысли свойство — искать, анализировать, понимать — все это толкало русскую мысль на путь самого внимательного изучения и освоения плодов умственной жизни Западной Европы. Конечно, сопоставление русской действительности и действительности западноевропейской было возможно с учетом исторического опыта XVIII века, опыта беспримерной эпопеи борьбы с вторжением в Россию «двунадесяти языков» — армии Наполеона. Итог этой борьбы воспринимался как символ, как бесспорное свидетельство всемирно-исторического значения России, ее особого места в судьбах Европы, в судьбах мира. Отсюда у Белинского такой страстный интерес и собственная интерпретация немецкой философской мысли начала XIX века, идей ее гигантов — Шеллинга, Гегеля. Отсюда — с начала сороковых годов — его не менее страстное обращение к опыту политического и социального развития Франции после Великой буржуазной революции XVIII века, к идеям утопических социалистов.

Мышление Белинского исторично. Он противник утопий, беспочвенных, он ищет исторического обоснования общественного идеала — идеала будущей гармонии и «полноты» человеческого существования. Мысль «разлагает» старые формы бытия «масс» и тем самым открывает путь к бытию новому. Надо понять, пишет Белинский в начале 1842 года, «что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу — и будет новая земля и новое небо...» (обычное для Белинского иносказательное наименование социализма).

В сознание русских читателей в это время все больше входят романы Жорж Санд, в которых пропагандировались социалистические идеи Сен-Симона и Пьера Леру, — Жорж Санд, в том же, 1842 году названной Белинским «Жанной д'Арк нашего времени, звездой спасения и пророчицей великого будущего».

Идеи французских утопистов, несомненно, имели обновляющий, революционный смысл, хотя сами они резко отрицательно оценивали политический опыт революции 1789 года, ограничившейся лишь сменой властите-

лей, но не принесшей облегчения труженикам. Белинский же с огромной заинтересованностью изучает именно революционный, ниспровергающий, отрицающий политический опыт переворота 1789 года, деятельность Марата и Робеспьера.

Конечно, все это бурное кипение мысли Белинского лишь косвенно отражалось на страницах его статей. Но вспомним, что «мрачный лицеист» Салтыков начал посещать дом М. А. Языкова как раз в 1842—1843 годах, в то время, когда в кружке Белинского горячо обсуждались проблемы революции и социализма.

Каждая новая статья Белинского была гигантским шагом вперед. И вместе с великим критиком росли те, в чьи души и сердца «лилось» его полное страсти слово. Ведь известно, с каким огромным интересом встречалась каждая новая книжка «Отечественных записок» в литературных кругах, среди студентов, с каким нетерпеливым возбуждением разрезались листы, на которых печаталась статья Белинского.

Как и многие другие, скорбь, негодование и утешение находил Михаил Салтыков на этих листах. Но предметом этой скорби, этого негодования и утешения не могла быть и не была только лишь литература. Белинский, пусть непрямо, пусть прикровенно говорил об обществе, о той социальной действительности, которая так больно ранила Салтыкова с детских лет. И здесь с проповедью Петрашевского сошлась проповедь Белинского.

В декабре 1843 года Царскосельский лицей, будучи переименован в Александровский, покинул свое старое здание и свои сады в подгородной царской резиденции и обосновался в Петербурге, на Каменном острове, в бывшем здании Александровского сиротского дома. При этом он был перечислен из ведомства военного в ведомство гражданское. Занятия в Александровском лицее начались сразу же после рождественских каникул.

Так в начале 1844 года Салтыков стал петербургским жителем. Правда, «петербургские» полгода учения в лицее не давали ему еще возможности как следует «освоить» этот огромный — «строгий и стройный», по слову Пушкина — город, столицу Российской империи, где он, уже Щедрин, окончательно обоснуется в последние двадцать лет жизни и где будут написаны главные его сочинения.

Во время пребывания в лицее Салтыков не отличался особым усердием в изучении «кратких» лицейских наук.

Поэтическое творчество, не поощрявшееся, как помним, лицейскими наставниками, все более напряженная самостоятельная умственная жизнь «философа» и «умника», небрежность в исполнении лицейских ритуалов (незастегнутые пуговицы мундира, не по форме надетая треуголка) — все это не отвечало идеалу отличного воспитанника.

Экзамены были сданы в мае — июне 1844 года, а 17 августа Салтыков получил аттестат, в котором перечислялись двадцать два предмета (не считая рисования, фехтования и танцевания). В двадцати из этих предметов были «оказаны успехи» хорошие, весьма хорошие, очень хорошие и отличные (отличные— в законе божием, статистике и русской словесности). В двух предметах — физике и химии — успехи были посредственными. Все это перечисление успехов сопровождалось сакраментальной фразой: «при довольно хорошей нравственности». Не были забыты ни стихи, спрятанные в сапоге, ни расстегнутые пуговицы мундира, ни, возможно, общение с Петрашевским... В результате был получен чин X класса (коллежский секретарь), а не IX (титулярный советник), о котором мечтала Ольга Михайловна.

Началась долгая, исполненная многочисленных зигзагов, «расцветаний и увяданий», по его же собственным насмешливо-ироническим словам, двадцатилетняя чиновничья служба Михаила Евграфовича Салтыкова.

Глава третья

ЧИНОВНИК И ЛИТЕРАТОР. ИСТОКИ И НАЧАЛА «ТЕОРЕТИЧЕСКИХ БЛУЖДАНИЙ»

9 сентября 1844 года Салтыков подписал следующее обязательство: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, что не принадлежу ни к каким тайным обществам, как внутри Российской империи, так и вне оной, и впредь обязуюсь, под какими бы они названиями ни существовали, не принадлежать к оным и никаких сношений с ними не иметь».

Такое обязательство требовалось от чиновников, принимаемых на службу в Военное министерство, где, в стенах канцелярии министерства, обязан он был прослужить, как воспитанник лицея, целых шесть лет. Так осенью 1844 года вошел коллежский секретарь из дворян Михаил Салтыков в двери Военного министерства, так сел он за стол в качестве мелкого канцелярского служащего, как входили в двери петербургских присутственных мест, садились каждое утро за столы сотни и тысячи коллежских секретарей и титулярных советников, чтобы приняться за составление и переписывание тысяч и тысяч входящих и исходящих бумаг, «смазывавших» колеса огромной бюрократической машины Российской империи.

Незаметным (а, в сущности, даже и ненужным) винтиком этой машины осужден был на многие годы стать Михаил Салтыков, уже вкусивший сладость творчества, уже много и беспокойно мысливший. Разум, воля, чувство, желания, регламентированные и скованные лицейской учебной схоластикой и казенным бытом, жаждали освобождения; думалось, может быть, о полезном служении и на этом, пусть поначалу и не столь значительном поприще. «Помню я мое первое столкновение с жизнью. Как и водится, местом действия было то же бюрократическое поприще, которое так гостеприимно призирает всех не имеющих приюта и нравственно окалеченных. Нельзя сказать, чтобы на нас не возлагали надежд... о, напротив

того! Я очень хорошо помню, как начальник мой радовался, что в распоряжение его достался человек молодой... и *образованный;* я помню даже, как и сам я и краснел и трепетал от удовольствия, что меня называют образованным; помню, с каким рвением принялся я за входящий журнал, который был поручен мне, вероятно, как человеку образованному; помню, как это, однако ж, не удовлетворило моей юной пытливости, как я настойчиво требовал «дела» и как мне дали наконец это дело; помню, что начальники с снисходительным удовольствием смотрели на мою бойкость и поощрительно улыбались моему рвению; помню, что мне часто приходилось писать к некоему Григорию Кузьмичу... Но вдруг меня осенила мысль: какое мне дело до Григория Кузьмича? разве я знаю Григория Кузьмича? разве я с какой-нибудь стороны заинтересован в сношениях с Григорием Кузьмичом? *разве я что-нибудь значу* в этих сношениях?.. Мне показалось, что я не для того создан, чтобы всю жизнь переливать из пустого в порожнее и думать только о том, чтобы обставить дело приличными формами, не заботясь о существе его; я не оценил даже как следует того неоцененного достоинства бюрократической деятельности, заключающегося в том, что она может совершаться независимо от каких-либо трат душевных сил и способностей, что она может не требовать даже никакого участия мысли...» («Два отрывка из «Книги об умирающих»).

В самом деле, для чего же он создан? Проделать путь, который без особых затрат умственных и душевных сил проделали многие бывшие лицеисты, особенно из верхов бюрократии и аристократии, благополучно продвигаясь по лестнице чинов и достигая «степеней известных»?» Или все же добиваться чего-то совсем другого — если не литературной славы, то уж, во всяком случае, и не «переливания из пустого в порожнее», а полезного общественного дела — пусть и в среде бюрократической? Или просто бездумно отдаться потоку жизни, какой бы эта жизнь ни была?

В январе 1845 года Салтыкову исполнилось девятнадцать лет: хотелось движения, новых ярких впечатлений, доселе недоступных радостей и наслаждений. Сблизившись с богатым аристократом-однокурсником графом А. П. Бобринским, он, по собственному признанию, оказался среди того большинства однокашников, которое, «с свойственною юности рьяностью, поспешило занять соответственные места: кто в цирке Гверры, кто в цирке

Лежапа, кто в ресторане Леграна, кто в ресторане Сен-Жоржа...» («Благонамеренные речи»).

Но Салтыков все же был Салтыков... Однообразное прожигание жизни в цирках, ресторанах и других увеселительных заведениях претило... Да и средства и возможности графа Бобринского — потомка знаменитого Григория Орлова и Екатерины II — и захолустного поместного дворянина Салтыкова были слишком неравны. И виды на будущее открывались для них совсем разные — блестящие для Бобринского (он, при всей своей явной ординарности, все-таки сумел стать министром) и «более чем посредственные» для Салтыкова: «отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных <то есть те средства, которые высылала скупая маменька> отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с «черным ходом» и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, а иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой» («Мелочи жизни» — «Счастливец»).

Настроение Салтыкова было смутным, нерадостным; переписка с Григорием Кузьмичом и одиночество угнетали. Его письма к родителям полны сетований, жалоб, хандры. Умная и практичная Ольга Михайловна оказалась очень проницательной, хотя и не совсем точной в своих предположениях о причине сыновних мрачных мыслей. «Что-то мой добрый Мишка все брюзжит, — писала она в октябре 1844 года Дмитрию Салтыкову. — Право, он не воображает, до какой крайности меня этим убивает. Что это такое за нетерпение, только и твердит, что он не скоро получит штатное место» (а Салтыков поначалу был зачислен в канцелярию Военного министерства сверх штата), «а мне кажется, его вся хандра происходит от его поэзии, которая никогда мне не нравилась, потому что я много начиталась даже бедственных примеров насчет этих неудачных поэтов в деньгах. Да это и вероятно. Я очень чувствую по себе, что если когда мне не удается, то я всегда как растерянная. Я ему никогда не советовала мечтать о своей поэзии на интересных видах» (то есть как о профессии, которая дает средства к жизни). «А можно ли ему мечтать, имев службу, это невозможно, одним

надобно чем-нибудь заниматься». (Ольга Михайловна была уверена, что заниматься нужно службой, думать о служебной карьере, а отнюдь не о «своей поэзии».) «Добрый Миша», — продолжает Ольга Михайловна, — «по неопытности своей, более, сколько нужно, представляет себе картину жизни в самом трудном положении и чрез это дает ход мрачным своим мыслям».

Но Михаил Салтыков мечтал в это время не о поэзии. Он очень остро, может быть, даже болезненно прочувствовал постоянные насмешки Белинского над посредственными стихотворцами, а строгий и суровый, уже в этом возрасте, аналитик своего поведения и своей души, он, конечно, хорошо понял, что его собственное стихотворство ничуть не выше наполнявших журналы гладких, но посредственных стихов.

Уже не цирки и рестораны начинают влечь чуткого к большому искусству юношу, а театр, и больше всего — итальянская опера: он на всю жизнь становится страстным поклонником гениальных мастеров итальянской героической и романтической оперы — Россини, Беллини, Доницетти... Через двадцать лет, посетив театр, где давали «Карла Смелого» (цензурное наименование «Вильгельма Телля» Россини), Салтыков вспомнил 1844, 1845 и 1846 годы, вспомнил корифеев итальянского оперного искусства тех лет, певших в Петербурге, — «незабвенную» Полину Виардо-Гарсиа, «незабвенного» Джованни Рубини, «незабвенного» Антонио Тамбурини, «вспомнил горячие споры об искусстве, вспомнил теплые слезы, которые ...проливали... слушая потрясающее maledetto, которым в «Лючии» <опера Доницетти «Лючия ди Ламмермур»> оглашал своды Большого <Петербургского> театра великий Рубини...». Страстное, вдохновляющее искусство итальянцев привлекало сердца русской демократической молодежи, вызывало сопоставления с трагиком Павлом Мочаловым — величайшим Гамлетом русской сцены, русским Гамлетом, страдавшим и мучившимся вместе со своими зрителями — в те годы, когда лишь сцена, кафедра, журнал давали выход сдерживаемому крику душевного отчаяния; «Страшно, за человека страшно мне!» (из монолога Гамлета в переводе Ник. Полевого; в этом переводе трагедия Шекспира шла тогда на сцене). Белинский, который отнюдь не был меломаном, почувствовал именно такой смысл — мучения и отчаяния погубленной человечности — в искусстве великого итальянца Рубини: «...я плакал слезами, которыми давно уже не плакал... Сцена,

где он <Эдгар Рэвенсвуд, которого пел Рубини> срывает кольцо с Лючии и призывает небо в свидетели ее вероломства, — страшна, ужасна, — я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос — столько чувства, такая огненная лава чувства — да от этого можно с ума сойти!»

Салтыков наверняка не прекращал своих встреч и с Михаилом Петрашевским, и вскоре, в 1845 году начал посещать те дружеские собрания, что устраивал тот по пятницам в собственном доме.

«Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов... Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое занималось популяризированием немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда.

В России — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». Ходили на службу, в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для собеседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции... Мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало» (то есть о принципах, провозглашенных Великой французской революцией: свобода, равенство, братство) («За рубежом»).

Самые волнующие и содержательные «собеседования» и происходили на «пятницах» Петрашевского, в этом поначалу «безвестном кружке», где молодых посетителей-собеседников встречал человек удивительный и многим казавшийся странным, одетый небрежно и даже вызывающе, в каком-то халате с оторванным рукавом. Волосы,

небольшая бородка, бакенбарды лежали беспорядочно: казалось, что гребень их не касался. Среднего роста, широкоплечий, крепкого, но какого-то угловатого сложения, круглоголовый, с ясным открытым лбом, он поражал проникновенным взглядом, темно-серые, несколько прищуренные глаза его сверкали необыкновенным умом, они то становились едко насмешливы, то глубоко вдумчивы и сосредоточенны. Но эта сосредоточенность не имела общего с созерцательностью и мечтательностью: она говорила о напряженной и непрестанной работе большого и оригинального ума, о непреклонности мысли — нервной, возбужденной, страстной и — иной раз — простодушно-наивной. Впечатление сосредоточенности, какого-то как бы прислушивания усиливалось манерой держать голову несколько склоненной набок. Говорил обычно Петрашевский голосом низким, негромким, значительным, исполненным властности, огня и силы. Прирожденный организатор и пропагандист, Петрашевский не был конспиратором. О его «пятницах», на которых горячо и открыто обсуждались вопросы социализма, социальной справедливости, установления правового порядка, уничтожения крепостного права, знал весь Петербург (поэтому так легко проник на них провокатор Антонелли и поэтому не были открыты следствием законспирированные «ответвления» собраний Петрашевского — кружки Дурова — Спешнева — Достоевского, Вал. Майкова — Вл. Милютина). О Петрашевском ходили анекдоты, слагались легенды. Так, рассказывали, будто он однажды явился в Казанский собор, переодетый женщиной, притворился чинно молящимся, но его оригинальная физиономия, борода, которую он не потрудился скрыть, обратили внимание соседей. Когда же подошедший квартальный надзиратель обратился к нему со словами: «Милостивый государь, вы, кажется, переодетый мужчина», он резко и быстро парировал: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина». Воспользовавшись замешательством полицейского чина, Петрашевский исчез в толпе. Но подобные «чудачества» Петрашевского не были бесцельны: он старался «эпатировать», возбуждать публику и власть. Главный всегдашний мотив его поведения — «не быть как все». Иным он казался человеком несерьезным и неосновательным, не возбуждавшим симпатии. Однако его «пятницы» привлекали как раз людей серьезных, образованных, жаждавших новых, современных социальных и политических знаний, стремившихся к свободному обсуж-

дению самых животрепещущих вопросов времени. К таким людям молодой русской интеллигенции принадлежал и Салтыков. Личное, человеческое отношение Салтыкова к Петрашевскому не было однозначным, что и привело его вскоре, вместе с Валерьяном Майковым и Владимиром Милютиным, к образованию собственного, более узкого кружка. Однако через несколько лет, в вятской ссылке, он с теплотой и грустью вспоминал о вечерах, проведенных в гостеприимном доме Петрашевского: «Помню я и долгие зимние вечера, и наши дружеские, скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушие надежд и мысли оживляло всех нас! Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?» А один из участников кружка прямо назвал Петрашевского святым.

Петрашевский был покорен неотразимыми инвективами французского утопического социалиста Шарля Фурье по адресу современного общества и его увлекательными математическими выкладками относительно общества будущего. И сам Петрашевский умел покорять слушателей непреклонной верой в реальную и, может быть, недалекую осуществимость той общественной организации, что была так уверенно, ясно и образно нарисована французским утопистом.

В своих многочисленных сочинениях, публиковавшихся в тридцатые-сороковые годы, Фурье дал блестящий, проницательнейший анализ современного общества, после Великой французской революции все более и более определявшегося как общество буржуазное. Фурье обрушил могучий пафос разоблачительной критики, сатиры, на социальные установления, придавившие и обездолившие человека. Фурье не была свойственна ограниченность просветителей, восстававших против цивилизации вообще. Цивилизация, начало которой восходит к миру античности, создала развитое производство, «высокие науки» и «изящные искусства». Но она же, эта тысячелетняя цивилизация, в конце концов обрекла человека на полное ничтожество, запутав его в сетях ложных идей, связав по рукам и ногам античеловеческими моральными представлениями о долге и обязанности, представлениями, сковавшими данные человеку способности, убившими побудительные причины к творческой деятельности — «тонкие и глубокие страсти». А весь экономический строй современного общества («обманная» торговля, банковские и финансовые спекуляции, беспорядочное производство), — вся эта чудовищная хозяйственная неразбериха, основанная на страшном зле будто бы «свободной», в сущности же — анархической конкуренции, — экономический строй, оправдываемый «смехотворной» политической экономией, «торгашеской наукой», — в корне лжив и порочен, враждебен человеку. «Можно ли увидеть более ужасающую неурядицу, чем та, что царит на земном шаре?» — спрашивал Фурье. Состояние цивилизации — это мир навыворот, социальный ад. «Индустриализм» — новейшая из научных химер — не более как все растущее и никак не организованное производство без гарантии справедливого распределения. Труд наемного работника — это каторга, не приносящая трудящемуся ничего, кроме голода, нищеты и порока, против которого бессильна лицемерная мораль святош. Конституционные права, предоставленные народу Великой революцией 1789 года («суверенитет народа»!), конечно, прекрасны, но на деле они — иллюзия, больше того — издевательство и оскорбление для этого самого «народа», ибо осуществить «права» невозможно тому, кто не имеет ни су в кармане. Женщина порабощена беспорядочным семейным хозяйством и зависимостью от мужчины. Дети получают воспитание, не сообразное с их природой, более того — противное ей. С особым чувством и много раз обращается Фурье к искалеченным с младенчества судьбам детей, всем порядком цивилизации обреченных на ненависть к отцам и на отвращение к производительному труду.

Фурье мечет стрелы своей сатиры, своего гнева в философов-просветителей, подготовивших революцию, но не сумевших предвидеть ее результаты. Впрочем, ошибаются те, кто думает, что революция кончена, все новые и новые вспышки ее неизбежны, ибо революция, как нищета и пороки, коренится в самой сути строя цивилизации. Конечно, революция — ненормальность, но ненормальность, свидетельствующая о ненормальности самого общественного строя. «Революции возвещают об усталости и нетерпении природы; она находится в состоянии возбуждения, чтобы избавиться от строя цивилизации и варварства». Другими словами, строй цивилизации изжил себя, исчерпал все свои творческие возможности, и сама приро-

да протестует против его продолжающегося владычества. И потому: «Цель моя — не улучшить строй цивилизации, а уничтожить его и вызвать желание изобрести лучший социальный механизм, доказывая, что порядок цивилизации нелеп в частях, как и в целом...»

Фурье обвиняет присяжных «идеологов» в непонимании самой сути человека: если вы, обращается он к моралистам, философам, политическим мыслителям, «с полной искренностью верите, что посредственность может заполонить сердце человека, удовлетворить его вечное беспокойство, то вы не знаете человека». Во всех случаях для Фурье мера всех вещей — это человек, носящий в себе силы, побуждающие его к творчеству и труду, наделенный высокими, разносторонними и тонкими способностями и «страстями». «Притяжение по страсти» (attraction passionelle), «трудовое притяжение», радостное и непреодолимое тяготение к какому-либо роду деятельности, творчества, труда — побудительная сила, данная человеку раньше способности рассуждать, и упорная, несмотря на противодействие разума, долга, предрассудка... Но когда отдается такой мощной страсти, такой силе, неподвластной разуму, человек-одиночка, это вовлекает его в пропасть зла, ведет к неминуемой гибели, к преступлению. Лишь ассоциация, сочетание и объединение разнородных страстей, их гармония, созидает общественное добро, созидает подлинного человека. Новый социальный механизм ассоциации способен сделать труд привлекательным, ибо в нем, и только в нем, находят естественный выход бесчисленные побудительные силы человеческой природы, неимоверно разнообразные и богатые страсти. Стройно организованный «социетарный порядок» (так Фурье называл проектируемый им общественный строй), который «придет на смену бессвязности строя цивилизации, не допускает ни умеренности, ни уравнительности... он хочет страстей пылких и утонченных; как только ассоциация образована, страсти приходят к согласию тем легче, чем они живее и многочисленнее».

Какой же социальный механизм «вычисляет» Фурье? Это организм ассоциации, земледельческой трудовой общины, или «фаланги», обитающей в особом помещении — «фаланстере».

В противоположность политическому равенству социальная гармония в фурьеристском «фаланстере» зиждется на психологическом неравенстве, на огромнейшем богатстве разнообразных и часто противоположных страстей, неудержимо и свободно тяготеющих к своему проявлению в привлекательном труде и неисчислимых удовольствиях духа и тела. Так мыслится освобождение человека от социального принуждения, религиозных моральных догм, абстрактного долга и обязанностей — всего того, что гнетет и принижает человека. Для того же, чтобы страсти пришли к уравновешению и гармонии, по расчетам Фурье, состав «фаланги», то есть свободной, трудовой, земледельческой ассоциации, должен простираться до тысячи шестисот — тысячи восьмисот человек (в такой ассоциации будет необходимый «набор» страстей). Только так осуществятся цели, провозглашенные, но не осуществленные Великой революцией. Только тогда наступит подлинное братство, основой которого не могут быть посредственность и аскетизм, подавление присущих природе человека «страстей».

Фурье верил, что произвести эту подлинную революцию, переворот и в социальных отношениях, и в способе производства, и в судьбах человека можно сразу, внезапно (он даже определял сроки — каких-нибудь несколько лет) — и притом ненасильственно, без жертв и крови — путем элементарного расчета и убеждения. Капитал, труд и творчество, объединившись, создадут «фаланстер», ассоциацию, где каждый находит место и применение своей страсти, своему природному дару. Блестящий пример успешной жизнедеятельности такой ассоциации неотразим, и скоро все лицо земного шара покроется фаланстерами.

Эту веру со всей присущей ему глубокой и серьезной экспансивностью разделил и русский дворянин Петрашевский — разделил до такой степени, что даже пытался летом 1847 года создать фаланстер в своей крепостной деревне.

Даже в тех показаниях, которые позднее дал Петрашевский следственной комиссии, мы слышим эту горячую, возбужденную, несомневающуюся речь Петрашевского-пропагандиста, верившего, что проекты Фурье открывают путь и к социальному обновлению России — к уничтожению крепостного состояния: «Я желал — полной и совершенной реформы быта общественного, фаланстер считал ключом, пробным камнем таковой реформы. Да, я желал... хотел, чтобы и другие разделяли мою уверенность — если хотите, детскую, утопистскую, никогда

не злую, всегда добрую, — что придет пора, когда для счастливого человечества слова: нищета, страдание, горесть, принуждение, наказание, несправедливость, порок и преступление — утратят свое удручительное значение и что будут лишь — подобно остовам допотопных времен — напоминанием о предшествовавших эпохах бедствия и общественного неустройства; все в обществе и природе придет в стройную гармонию — труда тяжкого, удручительного не будет, всякий акт жизни человеческой будет актом наслаждения — и что эпоха всеобщего блаженства настанет!..»

Но наиболее проницательные из посетителей собраний Петрашевского, увлеченные, конечно, его пропагандой и его верой в «эпоху всеобщего благоденствия» (кто из молодых энтузиастов мог оказаться столь холоден, чтобы не видеть впереди «золотого века»), все же не могли безусловно разделять утопических проектов решения русских социальных проблем (главной из них — уничтожения крепостного права: на этом сходились все) путем устройства в крепостной деревне фурьеристских фаланстеров. К таким скептикам принадлежал наверняка и Салтыков, слишком хорошо знавший реальное и весьма неприглядное лицо крепостного мужицкого и помещичьего мира, с его истинными вожделениями и низменными страстями, с его непреодолимым лицемерием, тлетворным сквернословием и безграничной властью кнута.

Да утопия Фурье, собственно говоря, была не только слишком несопоставима с русской жизнью, но и в своей идеальной части несомненно противоречила действительной тенденции развития западноевропейского капиталистического хозяйства. Протесты Фурье против «химер» индустриализма, упор в проектах социального переустройства на земледельческую ассоциацию были в самом деле детскими, наивными, романтическими.

Идеи о неисчерпаемом богатстве возможностей и способностей человека, его «страстей», о гармоническом развитии и сочетании этих страстей, о привлекательном труде-радости, о доступности жизненных благ для всех людей — все эти идеи, положенные в основу вдохновляющего человеческого единения, всеобщей ассоциации, были поистине гениальным открытием Фурье, началом новой эпохи: так они с увлечением и воспринимались русскими утопистами. Но расчеты и выкладки, будто бы непреложно доказывавшие, что именно в такой форме, в таком, четко регламентированном и до мелочей предусмотренном порядке — в общине-фаланстере — *только и* возможно будущее бытие человечества, не могли не вызывать скептической усмешки у молодого Салтыкова: ведь и попытка Петрашевского создать «фаланстер» закончилась весьма плачевно — крестьяне попросту сожгли предназначенное для этого идеального общежития строение.

Салтыкова больше влекло учение другого французского утописта — Анри Сен-Симона. Салтыкову навсегда запомнились слова Сен-Симона: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» — в будущем.

Проекты общественного обновления, пропагандировавшиеся Сен-Симоном и его учениками — Базаром, Анфантеном, — имели иной характер, отнюдь не фантастический, как «математические» и космогонические утопии Фурье.

Сен-Симон столь же непримиримо, как и Фурье, не приемлет современное общество, не менее Фурье ненавидит «развалины, на которых мы жалким образом прозябаем». Но Сен-Симон гораздо более внимателен к реальностям истории и современности. Сен-симонисты не устают повторять, что то учение, которое создал их великий учитель, — это наука, которая зиждется, однако, не на математических исчислениях, а на глубоком познании действительных фактов и действительного процесса истории. Сен-Симону видятся в прошлом эпохи органические — цельные, жизненные, исполненные веры и надежды. Но органические эпохи не вечны — они живут и умирают. На смену им идут эпохи критические, переходные, времена распада, анализа, утраты жизненного, плодотворного начала, когда всем строем жизни овладевает эгоизм, а вера в жизнь, в будущее, в добро, человечность, истину — иссякает. История — в своем непреодолимом движении от эпох органических к эпохам критическим и от эпох критических к эпохам органическим — ясно и бесспорно свидетельствует об общественном прогрессе.

Современное человечество переживает критическую эпоху, начавшуюся три столетия назад и ставшую особенно ужасной и нестерпимой после Великой революции XVIII века, когда неудержимо и стремительно стал разлагаться военно-феодальный деспотизм и католический церковный порядок, распадающимися, но еще цепкими сетями которых опутан человек-труженик. «Эксплуатация

человека человеком» — вот определение отношений между людьми в нашу критическую эпоху, эгоизм и разрозненность интересов — вот ее трагическая суть. «Состояние моральной и политической неурядицы, в которое ввергнута в настоящее время Франция, а также другие страны Западной Европы, зависит исключительно от того, что старая социальная система разрушена, а новая еще не сформировалась».

В каком же направлении должна формироваться эта новая социальная система? Отвечая на этот вопрос, Сен-Симон обращается к «друзьям человечества»: «Первые христиане создали основу всеобщей морали, провозгласив и в хижинах и в дворцах божественный принцип: все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу. Они придумали учение, согласное с этим принципом, но это учение получило у них абстрактный характер, и на вашу долю выпадает честь организовать светскую власть в согласии с этой божественной аксиомой».

Вместо изжитого человечеством военно-феодального и теологического строя — власти «попов, дворян и военных» — должен быть организован строй научный и промышленный, который только и в состоянии осуществить великий принцип братства, ибо этот новый строй дает власть трудящимся («промышленникам», по терминологии Сен-Симона). Современная политическая власть враждебна промышленному и научному строю, а потому враждебна и трудящимся, народу. В своей блестящей «Параболе» (притче) Сен-Симон провозгласил: «Если бы Франция потеряла три тысячи ученых, художников и ремесленников <то есть всех тех, кто, как сказали бы мы теперь, занимается производством духовных и материальных ценностей>, — она потеряла бы все. Если бы Франция потеряла тридцать тысяч правителей — она не потеряла бы ничего».

Итак, сама история требует, чтобы изменился характер политической власти и социальной системы, чтобы власть взяли в свои руки те, кто трудится — работник, земледелец, организатор «индустрии» (промышленности), ученый, художник, а власть, полученная трудящимися, — условие общественного переворота, созидания нового социального порядка. И самая суть такой власти — иная, она не управляет людьми, а управляет вещами, она организует не отношения людей, а отношения людей к природе. В отличие от фурьеристов сен-симо-

нисты понимали, что «предвидение не может доходить до подробностей, до установления дат»; но человек «чувствует, что своими усилиями может приблизить свое счастье».

1846 год — это было время, когда кружок Петрашевского самим ходом обсуждений и дискуссий все больше втягивался в серьезнейшую и напряженнейшую умственную работу; непреодолимая тяга к знанию и самопознанию все больше становилась по своему смыслу, по своей направленности политической. Слишком уж несовместны были те захватывающие идеи и светлые оптимистические идеалы, многообразные научные интересы, занимавшие петрашевцев, — прежде всего идеи европейского утопического социализма — с тем, что они не только видели вокруг себя, но переживали всем существом своим, кровно, нервно, возбужденно отзываясь на русскую действительность.

В декабре 1846 года Михаил Салтыков читал в письме Евграфа Васильевича Салтыкова из Спасского: «У нас в соседстве совершились неприятности. Баранова меньшова брата убили свои люди <то есть крепостные крестьяне>, и еще Ламакину невестку <родственницу Салтыковых> хотели отравить ядом, в пирог положенным, о чем теперь и следствие продолжается». Язва крепостничества все разрасталась и болела нестерпимо. Где же тот путь, которым предстоит идти не обществу вообще, не европейской цивилизации, а вот этой стране, этому, русскому обществу, русскому мужику? В «фаланстере» ли ее, России, спасение или в освобождении мужика от крепостного рабства, в лишении помещика-дворянина права беспрепятственно наказывать «на теле» любого своего «подданного»?

В кругах петрашевцев, по-видимому, читалась скрытая даже от императора Николая (и оставшаяся неизвестной следствию) записка чиновника министерства государственных имуществ А. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России». Возможно, что записка эта попала к петрашевцам через приятеля Салтыкова Владимира Милютина, племянника министра государственных имуществ П. Д. Киселева, по поручению которого записка и была составлена. В этом официальном и бесстрастном документе, на основании многочисленных наблюденных самим Заблоцким фактов, говорилось о «не-

отложной необходимости преобразования крепостного состояния»: «Требования века и настояния нужд государственных призывают самодержавную власть защитить крепостных людей от своеволия господ, поставив закон выше произвола, открыть широкие врата нравственному образованию народа».

Николай не осмелился приступить к «преобразованию крепостного состояния», но о «неотложной необходимости» этого смело говорилось на собраниях петрашевцев.

Огромная страна, весь ее национальный организм — от крепостного мужика, пахавшего и убиравшего свое или барское поле, от дворового человека, уже научившегося грамоте, от захолустного поместного дворянина или дворянского интеллигента до бюрократической верхушки и высочайшей власти — ощущала, часто со страхом перед грядущим переворотом, а то и вовсе бессознательно, не мыслью, а, так сказать, всем «нутром», мучительную гибельность и обреченность рокового положения, из которого не виделось исхода. Какой-то болезненный и непрерывный стон, истекавший из всех пор этого организма, всеохватывающая тревога, беспредельная «сердечная тоска» не могли не разрешиться чем-то пока неясным, может быть, катастрофой, может быть, вдруг выяснившейся, найденной светлой дорогой. Эту тревогу, этот стон выразила русская литература.

Из-под перегоревшего пепла изжитого прошлого огненными вспышками пробивались гениальные произведения искусства (литературы прежде всего) — «Мертвые души» Гоголя, «Демон», «Герой нашего времени» Лермонтова, песни Кольцова, «Бедные люди» Достоевского, заключавшие в себе неисчерпаемо огромный потенциал для живой мысли, для беспощадного анализа, для отыскания идеала.

Живая мысль, беспощадный анализ, отыскиваемый идеал, то слово, которое двинет наконец вперед как бы остановившуюся в своем движении российскую историю, — все порождало не только споры, но и разрывало старые дружеские связи, как это было, например, в полемике Белинского и К. Аксакова по поводу «Мертвых душ».

На рубеже 1846—1847 годов наметились расхождения и внутри круга Петрашевского. Молодой критик, посетитель собраний Петрашевского Валерьян Майков, а главное — активный участник сложного и противоречивого умственного движения этого времени, как раз и начинает

свой обзор литературы 1846 года, напечатанный в первой книжке «Отечественных записок» за 1847 год, с выразительной характеристики этого умственного движения. Годы, подобные прошедшему, 1846-му, бывают нередко, — утверждает здесь Майков. «Их можно назвать переходными. Они свидетельствуют только о том, что мысль, одушевлявшая период, начинает изнемогать, истощаться в содержании; что общество утомляется той точкой зрения, с которой смотрело на вещи в течение этого периода; что партии, образовавшиеся под влиянием духа времени, начинают распадаться». Это как раз то время, когда «каждый спешит отдать себе отчет в характере своего призвания, бойко анализирует свои отношения к кругу, в котором находится, старается высвободиться из-под влияния, которое увлекало его в круговорот деятельности вопреки настоящему, природному влечению, одним словом, это краткий миг всеобщего раздумья, всеобщей самостоятельности, всеобщего порыва к обнаружению своей личности... Истекший 1846 год носит на себе все признаки переходной эпохи. Во все это время происходило в русском литературном мире какое-то не совсем обыкновенное брожение: расклеивалось множество плотных масс, распадалось и формировалось вновь множество групп, раздавались свежие звуки новых надежд и хриплые стоны давно подавленного отчаяния».

В начале 1847 года Салтыков и его друзья Владимир Милютин и Валерьян Майков перестали посещать «пятницы» Петрашевского, образовав собственный кружок. Каждый из них настойчиво искал сферы самостоятельного приложения своих сил, и такие сферы постепенно определялись.

Интересы Валерьяна Майкова все больше устремлялись в область литературной критики, и после ухода Белинского из «Отечественных записок» многим представлялось, что в этом журнале он станет наследником великого критика. Владимира Милютина захватили научные интересы, и его серьезные аналитические статьи, посвященные политической экономии, печатали и «Отечественные записки», и «Современник». Салтыков же, по-прежнему каждодневно отправляясь в канцелярию Военного министерства, думал не о входящих и исходящих бумагах и переписке с мифическим Григорием Кузьмичом, а о художественном творчестве.

В феврале 1846 года Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем впервые были собраны и посмертно изданы «Стихо-

творения Кольцова» — великого русского поэта, ушедшего из жизни три с половиной года назад в возрасте всего лишь тридцати трех лет. Этому изданию Белинский предпослал статью «О жизни и сочинениях Кольцова». Необыкновенная личность Алексея Кольцова вставала со страниц статьи Белинского, хорошо знавшего и любившего этого удивительно чистого, искреннего, простодушного и глубоко несчастного человека — народного поэта. Читателям статьи открывалась и ежедневная бытовая обыденность жизни Кольцова, тяжелые и поэтические стороны кочевания прасола (торговца скотом) в беспредельных южных степях, среди крестьян — земледельцев и скотоводов, — с бесчисленными гуртами скота... Белинский стремился и к уяснению духовного мира поэта-самоучки, жадно тянувшегося к знаниям, к общечеловеческой культуре. С сердечной болью рассказал он о трудных отношениях с душевно чуждым отцом, с семьей, не понимавшей ни кольцовской поэзии, ни его тонкой, поэтической, чувствительной натуры, с семьей грубой и недоброжелательной; рассказал Белинский и о безжалостно растоптанной юношеской любви, об обманутой родственной привязанности...

Семья, поправшая и погубившая огромный талант сына — человека, положившего свои немалые творческие и жизненные силы в сопротивление косной среде, в борьбу за собственную личность, но все же хотя и не покорившегося, но сломленного в этой отчаянной борьбе за свое... С каким сочувствием и волнением должен был читать Салтыков в статье Белинского строки, отражавшие собственный жизненный опыт критика, но так близкие его, Салтыкова, судьбе, его душе, его сердцу. В этих строках он находил и опору, вдохновение для борьбы за собственное, свое, загоревшееся в раннем детстве, то свое, что ему уже не раз приходилось защищать от семейного деспотизма, и защищать, к несчастью, до сих пор безуспешно. Должна ли жизнь быть мачехою в отношении к тем, кому природа дала любящее сердце, проницательный ум, творческий талант? — спрашивал Белинский. «О, нет! эта вражда жизни с природою отнюдь не есть закон разумной необходимости, но есть только результат несовершенства человеческих обществ...

Семейство, узы крови: что́ вы, если не бичи и цепи там, где полудикое и невежественное общество еще в колыбели встречает человека в виде патриархального логовища, глава которого есть степной деспот с нагайкой в руке...»

Статья Белинского о Кольцове принадлежала именно к тем статьям его, на которых воспитывался Салтыков как человек и как мыслитель.

Статья Белинского не могла не взволновать не только Салтыкова, но и других молодых русских социалистов. Вскоре на нее откликнулся Вал. Майков. Нервному и по-молодому весьма «жесткому» и непримиримому, к тому же страстно желавшему самостоятельности и освобождения от «диктаторства» Белинского, Майкову представилось, будто Белинский отозвался о великом поэте слишком холодно, слишком «эстетически», не выяснил действительного смысла ни его «песен», ни его личности.

Великолепный «утопизм» Майкова в его статье о Кольцове высказался со всем блеском его собственной, лишь рождавшейся и, быть может, гениальной личности. Несомненно, что ученик Белинского Салтыков, близкий в то же время майковско-милютинскому кружку, не мог быть в стороне от самого процесса рождения статьи Майкова. Позднее, в 1856 году, он скажет, что спор между Белинским и Майковым шел, в сущности, даже не о Кольцове.

Для Белинского Кольцов — первых поэт-художник, вышедший из народной среды, создавший «художественные народные песни»; но Кольцов все же заслонен Пушкиным, ибо мир его поэзии — ограничен русским крестьянским бытом. Для Майкова сказать о Кольцове только это — сказать очень мало или вовсе ничего. По своей горячей и одновременно очень рассудочной натуре, Майков, может быть, больше, чем кто-либо другой из русских социалистов-утопистов, захвачен таким пониманием человеческого, захвачен таким пониманием человеческой натуры — как начала внутреннего, идеального, нормального, которое лишь искажается внешним — социальным и национальным. Читая стихотворения Кольцова, пишет Майков, «чувствуешь во всем своем составе прилив новых сил, проникаешься каким-то жизненным началом, которое так и хочется познать материально, осязательно: до того оно сильно и действительно. Что бы он ни выражал — тоску ли, радость ли, страсть — во всем видишь гигантскую силу и неуклонную правильность жизненных отправлений». Человечность, то есть «чистота человеческого типа», «идеал богоподобного человека» — вот что увидел Майков в поэзии и личности Кольцова, идеал, сверкающий во всей своей нормальной красоте,

мощно пробивающийся сквозь временные, внешние наслоения, в том числе и национальные. Могучая личность Кольцова ставила его выше времени и народности, позволяла ему прозревать в ограниченной сфере крестьянского быта то, к чему стремится «современная мудрость», — «страсть и труд в их естественном благоустройстве». Белинский, как представлялось Майкову, в своем толковании Гоголя, Лермонтова, Кольцова выразил лишь одну сторону современной эпохи — сторону критики, причем критики по преимуществу эстетической. Но «эпоха критики должна быть в то же время эпохой утопии (принимая это слово в его первоначальном, разумном значении): иначе человечество утратило бы энергию живых стремлений и осталось бы без ответа на призывы бытия».

«Призывы бытия». Да, да, это именно то, к чему чутко прислушивались русские социалисты. На эти призывы бытия отвечал и Белинский, умудренный, однако, не столько европейской мыслью и европейским опытом, сколько тем не высказывающимся, но поистине вопиющим опытом русской национальной жизни, тем молчаливым, сдавленным стоном, который исходил из недр крестьянской крепостной России.

Слишком много наших собственных, национальных тревог и забот обступило со всех сторон русского человека, слишком много сложных, запутанных, часто непосильных вопросов рождала наша собственная, российская действительность. И ответы на эти вопросы следует искать не где-нибудь, не в Европе, которую, пишет Белинский в ответ на майковскую вдохновенную апологию «чистоты человеческого типа», занимают «новые великие вопросы». Но наши ли это, русские ли это вопросы? Интересоваться этими вопросами (конечно, речь идет и об утопическом социализме), «следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные... У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения» («Взгляд на русскую литературу 1846 года» — «Современник», 1847, № 1). «Страсть и труд в их естественном благоустройстве» — прекраснейшая из утопий, но где же ее реальные признаки, где ее действительное существование? Неужели в русской крепостной деревне, в рабском труде, в подавленном и поруганном чувстве русского крестьянина?

И русская столь неспокойная жизнь, и активно работающая мысль настоятельно требовали уяснения самобытных, нами самими, русскими, выжитых идеалов и собственных путей и способов преодоления переходной, критической эпохи.

Статья Белинского, где он упрекнул Майкова в «космополитизме», конечно, оживленно обсуждалась в милютинско-майковском кружке, за неизбежной чашкой чая. Вообще эти беседы друзей, как несколько иронически напишет вскоре Салтыков, отличались неуемным «буйством мысли», невинность чашки чая выкупалась смелостью и критицизмом суждений, непризнанием умственной опеки с какой бы то ни было стороны, отрицанием интеллектуального авторитета в любой сфере — будь то политическая экономия, социология или политика, эстетика или литературная критика.

Со свойственной ему непосредственностью и даже каким-то «скифским удальством» горячился и отстаивал свои идеи Валерьян Майков, весь захваченный, весь поглощенный безостановочным творческим кипением, накалом мысли высочайшего напряжения — весь избыток его сил «принесен был в жертву умственной жизни», по словам учителя Майкова И. А. Гончарова. Отдавшийся этой жизни без остатка, Майков вовлекал в круг своих размышлений, пристрастий и интересов младших друзей — Салтыкова и Вл. Милютина (очень скоро, в июле 1847 года, подточенный изнурительной мыслительной работой и физически слабый организм не выдержал: Валерьян умер от апоплексического удара, купаясь в Петергофских прудах).

Владимир Милютин также по-своему искал ответы на «призывы бытия». В этом же, 1847 году он углубленно-критически, с научной добросовестностью и обстоятельностью в целом ряде статей, печатавшихся в «Отечественных записках» и «Современнике», анализирует английскую и французскую политическую экономию — и в том числе теории европейских социалистов. Молодой двадцатилетний русский мыслитель проницательно увидел главный порок буржуазной политической экономии — ее апологетический характер, ее самоуверенное и ограниченное представление о неизменности сложившегося после Великой буржуазной революции экономического и политического порядка, ее бесстрастную — жестокую — бесчеловечность, ее, оправдываемое псевдонаучными выкладками, равнодушие к судьбам человека труда — наемного ра-

бочего, разоряющегося бедного земледельца. По убеждению Милютина, политическую экономию глубоко ошибочно называют наукой о богатстве: она должна быть наукой о народном благосостоянии, о средствах для удовлетворения человеческих потребностей. Почему же с общественным прогрессом, с огромным ростом промышленного производства, со все большим накоплением общественного богатства так стремительно и безудержно растет нищета, падают нравы, господствует насилие? Все дело, отвечает Милютин, в экономическом устройстве европейских обществ, в тех законах, по которым производятся и распределяются богатства в современных государствах Западной Европы. Такой строй, который сложился в Западной Европе, не способен удовлетворить естественные, разумные материальные, нравственные, умственные потребности народной массы и потому, чтобы как-то вырваться из заколдованного круга неисчислимых противоречий, прибегает к физическому или нравственному принуждению. И находятся пусть выдающиеся, но глубоко аморальные умы, оправдывающие неизбежную и необходимую, по их представлениям, бесчеловечность сложившегося порядка. К таким умам принадлежал Томас Роберт Мальтус. Вл. Милютин своим беспощадным критическим анализом поражает Мальтусову антигуманную «теорию народонаселения», которая не оставляет места «на жизненном пиру» труженику-бедняку.

Вл. Милютин убежден, что в мире, в человечестве, в обществе не может быть лишних людей, что человек рожден не для страдания, а для радости и счастия, что тезис Мальтуса, выросший на почве современной неразумной общественной организации, противоречит природе и разуму, противоречит религии, философии и истории.

Однако сейчас, так сказать, в наличной человеческой жизни невозможно с болью и горечью не признать «глубокого разлада, встречающегося ныне беспрерывно между требованиями разума и влечениями инстинкта, разлада, обусловленного влиянием исторического развития и внешних обстоятельств. Под влиянием этих неблагоприятных причин мы нередко находим в настоящую минуту нарушение общего закона равновесия и гармонии; то разум человека, отторгаясь от единства с действительной жизнью и теряя свой объективный характер, создает в себе самом посредством самого крайнего отвлечения целый

мир пустых призраков, из которых он потом силится вывести практические правила для своей деятельности, и применением этих правил изуродовать и исказить свою живую и цельную натуру; то, напротив, физические потребности человека, подавленные и приостановленные в своем естественном развитии внешними преградами, восстают с энергией против этого противодействия, преодолевают его и, купив право самоудовлетворения ценой страшной борьбы, выходят из границ, назначенных им самой природой, и, развиваясь в ущерб прочим потребностям и силам, доходят до самых неумеренных крайностей, противных природе и осуждаемых разумом».

Но где же выход из разлада, из противоречий? Как примирить требования разума с влечениями инстинкта? Как вернуть разум на путь истины, освободить его от призраков и фантомов? Как дать влечениям инстинкта их нормальный, разумный выход?

Ответ на этот вопрос для русских мыслителей, для участников майковско-милютинско-салтыковского кружка был теоретически крайне прост; собственно говоря, он был заложен в самом анализе современной общественной организации, ненормальной и в своем целом и во всех своих частях и проявлениях: необходима организация новая. Практически же ответ был неясен, скрыт в неизвестном будущем, в поисках и попытках, которые ответа не давали, которые нередко вели жаждавшую ответа, но запутавшуюся в противоречиях личность к духовной или физической гибели. Утопии, мечты о будущем, идеалы — в них жизнь человечества, в них жизнь человека. Однако как превратить их в науку, как осуществить в действительности? Вот вопрос, который волновал всех русских утопистов, но, может быть, ясно и четко впервые высказанный именно Милютиным. Реальности как европейской, так и, в особенности, русской жизни развеивали воздушные замки, созданные воображением Фурье или Кабе. Владимир Милютин весьма скептически высказался о том, что еще грезилось и во что верилось восторженному Петрашевскому: тем общественным устройством, которое вычислил и сконструировал Фурье для блага человечества («фаланстер»), оно, человечество, «вопреки надеждам фурьеристов, может весьма легко и не воспользоваться». Противоречия, противоречия, противоречия... Призраки, призраки, призраки...

Статьи Владимира Милютина о положении европейского пролетариата, о бедности и пауперизме в Западной

Европе, о безжалостных выкладках Мальтуса, обрекающих на смерть бедного человека, печатались в журнале Белинского «Современник» с августа по декабрь 1847 года. В это же время Салтыков работал над своей первой повестью — «повестью из повседневной жизни» — «Противоречия», появившейся вскоре в журнале «Отечественные записки», в одиннадцатой его книжке. Посвящена была повесть В. А. Милютину.

В итоге деятельного и не всегда гладкого и безоблачного общения с кругом Петрашевского, с Владимиром Милютиным и Валерьяном Майковым в воображении Салтыкова-художника вырисовывалась странная, почти фантастическая, какая-то угловатая, изломанная фигура — человек с тяжелым, неуживчивым характером, но впечатлительной, легкоранимой душой, неустойчивой психикой, с гипертрофированным сознанием, запутавшимся в бесконечной цепи безысходных противоречий, человек, пытающийся заковать свою душу, свой болезненный внутренний мир в броню не всегда удачной и тоже болезненной иронии.

В герое повести Нагибине угадывается типический характер русского интеллигента сороковых годов — характер «петрашевца». Работая над «Противоречиями», Салтыков следовал за борениями мысли этого круга, напряженно вдумывался, вживался — уже как художник, пусть лишь начинающий, еще не вполне овладевший художественной формой, — в сложный, часто сумбурный конгломерат идей, кровно волновавших всю эту столь разную, столь несходную в целях и поисках, но предельно искреннюю молодежь. В характере Нагибина, несомненно, отложилось что-то и от самого Салтыкова — от его переживаний и метаний середины и конца 1847 года, иначе невозможно было бы столь скрупулезно — до малейших тонкостей и оттенков, до сокровеннейших мелочей — проследить и воспроизвести сознание и психологию такой личности — не передумав и не пережив всех мучительных антиномий мысли, всех эмоциональных взрывов и душевной апатии. Трагедия Нагибина — это была и трагедия молодого Салтыкова, кризис его «блуждающего» — ищущего и заблудающегося — сознания.

Сознание Нагибина — тревожное и беспокойное, противоречивое и парадоксальное сознание «петрашевца», болезненно и кровно переживающего противоречия современного социального мира, и человека, заброшенного

в этот мир и пытающегося найти в нем свое место. Задача, которую он себе ставит, — уяснить отношение человека к действительности, к жизни, к природе, к другому человеку. Он жаждет гармонического целого, ему жизненно необходимо понять и определить свое назначение, но все его бытие и весь характер сотканы из противоречий: назначение скрыто, смысл жизни утрачен, места ему в этом мире нет. Перед Нагибиным встает во всем своем мрачном ужасе вопрос: «живой ли я человек или мертвый, способен или не способен, что, по-моему, совершенно одно и то же».

Настоящее, изображенное в повести, состояние мысли Нагибина, плод и в то же время продолжающийся процесс долгих раздумий, расчленения, «разложения», анализа действительности и собственных попыток самоопределения. Но это и анализ самой мысли, которая в беспрерывном, будто бы логически безупречном движении не может, не умеет остановиться, все разлагает и «раздробляет». Не призрак ли, не фантом, не болезнь сама такая аналитическая мысль, не способная к живому синтезу, подчиняющая себе и самого мыслящего человека, разрушающая личность, лишающая ее активности и созидательной, творческой силы?

Противоречия, которые буквально разрывают на части сознание Нагибина, — это противоречия между живыми нормальными потребностями человеческой натуры и трагической невозможностью жить — удовлетворять эти потребности. Ведь препятствующее такому удовлетворению состояние общества тем не менее исторически необходимо, а следовательно, и разумно. Но именно поэтому оно гибельно для мыслящего человека, который безбоязненно обнажил пружины, двигающие Историю, признал необходимость и в то же время отверг эту разумную действительность во имя другой, высшей, той, где человеческие потребности будут удовлетворены, где синтез будет найден.

«Да и это было бы еще ничего, и с этим можно бы кое-как помириться, — пульсирует и бьется нагибинская мысль, — если б я остановился на объяснении себе действительности — а то ведь оно служило мне только как отправный пункт, из которого я пошел далеко вперед, от которого, идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, я пришел к признанию другой действительности, — действительности не только возможной, но непременно имеющей быть». Итак, Нагибин, анали-

зируя историю человечества, приходит к непреложной убежденности в осуществимости социалистического идеала. Его убежденность, его — не вера, а уверенность в другой действительности — непременно имеющей быть, обоснована исторически: я не утопист, «потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор... потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед».

Но требуя жизни и движения вперед, Нагибин, пораженный бессилием, совершает ошибку, отмеченную еще сен-симонистами: он исключает из реального и объективного исторического движения действующего и борющегося человека. Он впадает в безысходный фатализм. Почти маниакально и с неизменным постоянством твердя о невозможности вырваться из железных объятий той действительности (не желающей считаться с человеческими хотениями, инстинктами и волей), безобразную картину которой, разложенную его все расчленяющим сознанием (подобную «неведомому шедевру» Бальзака), он создал в своей горячечной фантазии, Нагибин глубоко чужд действительности подлинной, реальной, настоящей и живой. Он спрятался в своей «угол», отказался от поступков, требующих борьбы, выбора и ответственности. Его представление о действительности — терзающей, но безусловно разумной уже потому, что она есть, пусть и грязная, безобразная, «неумытая», — это еще один призрак его сознания, фантом, делающий его мертвым человеком, лишенным всякой «жизненности» — того начала, в котором прежде всего и выражается истинная человечность, или, по выражению Валерьяна Майкова, «чистота человеческого типа». Характер Нагибина — прямая противоположность характеру кольцовского крестьянина, в толковании Майкова, с его «гигантской силой и неуклонной правильностью жизненных отправлений». Нагибин населил «другую», идеальную действительность живыми людьми, но забыл или не заметил, что и в этой, отнюдь не другой, действительности, его окружают не призраки, а живые — чувствующие, радующиеся, страдающие, любящие люди.

Нагибин и полюбившая его «бедная Таня» Крошина (как тут не вспомнить пушкинскую Татьяну Ларину!) с увлечением читают сен-симонистский, проповедующий братство и любовь роман Жорж Санд «Компаньон» («Le compagnon du tour de France» — «Странствующий подмастерье»). Непосредственное, преодолевающее сословные предрассудки пламенное чувство простолюдина-ремесленника Амори и маркизы Жозефины Дефрене, пусть в конце концов и непрочное, вынужденное подчиниться общепринятым «приличиям», на краткий миг рушит ту стену роковой неизбежности, которую постоянно возводит сознание Нагибина. Прочитанная вместе страстная, исполненная красоты и вдохновения сцена встречи Амори и Жозефины ночью, в тумане, на болотах Солони как бы возвращает бессильного и сомневающегося Нагибина к жизни, освобождает его от призраков: «Любовь — смысл жизни, а жизнь — благо!» Но для него — это только быстро потухающая вспышка, а не спокойно и ровно горящее пламя, вспышка, которая может и повториться, но которая в любом случае и окончательно будет подавлена холодной, хотя и трагической мыслью, обернется бессилием.

И тут появляется мотив, столь характерный для русской литературы того времени — «натуральной школы», — мотив «маленького человека». Это именно он — маленький человек, обладающий ничтожным чином, это он страдает, мучается, исходит горечью и злостью на страницах салтыковской «нехитрой» «повести из повседневной жизни», это он, обитающий в петербургских углах, в комнатенках в три аршина и с окнами на помойную яму, питающийся в дешевых кухмистерских.

Титулярный советник Макар Алексеевич Девушкин (герой повести Достоевского «Бедные люди») вдруг начинает «вольнодумствовать» в одном из писем к «бедной» Вареньке Доброселовой: «Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! Да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашивается?.. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка. Взгляда вашего благосклонного генералы ловили бы, — не то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте». Этот отчаянный крик, вырвавшийся из доброго сердца маленького человека, запал в душу двадцатилетнего Салтыкова, какой-нибудь год назад читавшего повесть Достоевского в «Петербургском сборнике», изданном Некрасовым. А еще раньше — в любимом романе

героев его первой повести — рабочий-ремесленник, «странствующий подмастерье» Пьер Гюгенен размышляет, обращаясь к своим друзьям, таким же ремесленникам: «Разве не поучителен пример богачей? Задумывались ли вы, по какому праву рождаются они счастливыми и за какие преступления обречены вы жить и умирать в нищете, почему они безмятежно наслаждаются жизнью, в то время как ваш удел — один только труд да нужда? Отчего все это происходит?» Символический образ кареты — зримое воплощение социальной несправедливости — не оставляет беспокойное, терзающееся в отчаянии безысходности сознание салтыковского Нагибина, тоже маленького человека.

Но это не маленький человек Пушкина Самсон Вырин, не маленький человек Гоголя Акакий Акакиевич Башмачкин. не маленький человек Достоевского Макар Алексеевич Девушкин, а маленький человек Салтыкова — личность, наделенная мощным мозгом мыслителя, сознанием, вместившим все необъятное умственное, интеллектуальное, философское, социально-утопическое содержание своего времени, все его противоречия, контрасты, парадоксы. «Я такой маленький человек, — рефлектирует Нагибин, — что не должен желать чего-нибудь безнаказанно», — вот плод его мятущейся мысли, болезненной рефлексии, которой не было у «маленьких» героев Пушкина, Гоголя, Достоевского. Наказание — в «доктрине смерти», венчающей все построения мысли, захватывающей и покоряющей все существо личности, в сознании «невыносимой тяжести и даже невозможности жить при известных условиях». А раз эти условия изменить нельзя, остается одно — умереть. И такая смерть — «духовная» — постигает не только Нагибина, смерть, вполне реальная и неотвратимая, убивает любящего и любимого человека — жертву нагибинской боязни «наказания», нагибинской мертвенности. Нагибин усвоил учение социалистов, но опять-таки усвоил чисто аналитически, осознал и «разложил» исторический процесс, но не сумел найти связующей человеческой нити между прошлым, настоящим и будущим, между, как ему кажется, фатальным движением истории и частными человеческими судьбами. Но неужели же люди — только марионетки, дергаемые за ниточки чем-то или кем-то безжалостно-могущественным, кому дано или кто присвоил себе право наказывать за человечность — за любовь, за самопожертвование, за страдание и сострадание?

Это кружение в плену противоречий, эти зигзаги, скачки, казалось бы, безупречно-аналитически «выточенных» идей — все это, несомненно, наполняло и жизнь молодого Салтыкова накануне нового, 1848 года, накануне постигшей его вскоре катастрофы — того «волшебства», которое резко переломило жизнь. Повесть писалась лихорадочно, отражая собственный мыслительный процесс, вбирая и знания, и увлечения, и муки — судьбу совсем еще молодого писателя.

Собственно говоря, Салтыков уже нащупывал ответ на вопросы, мучившие Нагибина, ответ — освобождение, ответ — преодоление. Конечно, ответ этот был еще неполный, частичный, тоже — мыслительный, теоретический. Салтыков преодолевает гибельное «нагибинство», вдруг открывая, в финале, своему герою непреложную истину: одна только деятельность в состоянии совершить великое дело примирения теории и практики, разума и жизни.

И в самом деле, «призывы бытия» требовали деятельности. К такой практической деятельности, к решению собственных, национальных вопросов звал в эти годы и Белинский. Больной, умирающий, писал он в июле 1847 года Гоголю: крепостнической России нужно «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе». «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».

Но как примениться, как «пристроиться» к деятельности, как и где найти то дело, которое стало бы делом жизни? Молодое поколение сороковых годов, то самое, к которому принадлежал и Салтыков, «не выходило из сферы идеалов и как-то брезгливо относилось к действительной жизни... Люди, в сфере мысли смелые до дерзости, оказывались робкими и несостоятельными, чуть только дело доходило до соприкосновения с действительностью. Злоба дня заставала их безоружными, готовыми погибнуть, но не бороться; коли хотите, между ними могли быть и даже были мученики, но деятелей не было» («Тихое пристанище»).

Аскетизм, «брезгливость мысли», чистая, но бесплодная идеальность уже не удовлетворяли — уж не праздность ли все это? (чиновничья служба, часы, проведенные за канцелярским столом, вообще в счет дела никак

не шли). Да, действительность страшна, грязна, неумыта, но неужели следует опустить руки, смириться, погибнуть в бессилии, праздности, скуке, принять если не за должное, то за что-то во веки веков нерушимое тяжкий сон и застой, которые свидетельствовали вовсе не о благоденствии, а об удручающем неблагополучии? И только ли грязная действительность виновата? Не виновен ли и ты сам, не находящий сферы применения сил, неспособный перевоспитать себя, сломать ту форму, в которую вылило тебя бессмысленное противоестественное воспитание? И даже мученичество, которое ты не мог не предчувствовать — слишком смела была твоя мысль, — даже оно, конечно, нравственно облегчает, но ведь избавления оно не несет, ключа от наглухо и, может быть, навеки запертой двери не находит.

А вокруг, вне «этого страшного города, который, как вредный и не сытый паразит, пьет соки целой страны, который, как червь неусыпающий, кипит в котле» деятельности, но деятельности нелепой и бессмысленной, вокруг лежит беспредельная страна, Россия, не думающая о деятельности, но делающая, трудящаяся до изнурения, до кровавого пота, страна того народа, неисчислимой, как песок морской, крестьянской массы, человеческое достоинство которой поругано и растоптано.

По Невскому катились великолепные кареты, в их глубине, за зеркальными стеклами виднелись внушительные фигуры «значительных лиц» — все статских и тайных советников — или изящные силуэты далеких, таинственно заманчивых красавиц аристократок... Летели, покачиваясь на мягких рессорах, щегольские дрожки, мчавшие на бал или в театр великосветских львов... А в богатых лавках «колониальных товаров» источали тончайшие ароматы заморские чудо-фрукты...

По грязи же окраинных петербургских улиц, под дождем или мокрым снегом, торопились в свои квартирки и каморки, в свои «углы» коллежские секретари, титулярные советники и прочая, совсем уж ничтожная, канцелярская мелюзга, — вечные переписчики казенных бумаг, лишь редко позволявшие себе роскошь истратить на извозчика какой-нибудь гривенник. А еще того хуже — брел какой-нибудь бывший чиновник из уничтоженной за ненадобностью канцелярии или уволенный за неспособность и пьянство...

Конечно, неверно было бы причислить Салтыкова к сонмищу этих бедняг, Акакиев Акакиевичей и Макаров Алексеевичей. И он был мелкий чиновник, и жалованьишко получал не бог весть какое. Но ведь богатая маменька еще не забывала своего «милого Мишу», хотя частенько и гневалась, попрекая нерасчетливостью и простодушием в отношениях с друзьями: Сергею Юрьеву, однокашнику и соседу по имению, ссудил какую-то сумму, а тот возвращать не торопился, пришлось Ольге Михайловне вмешаться и незамедлительно вытребовать; от аристократа Бобринского получил будто бы «подарок», за который самому же пришлось потом заплатить. Михаилу Салтыкову, разумеется, не грозила судьба остаться вечным переписчиком, ничтожной канцелярской «крысой». Мысль, талант, сильный характер пророчили совсем другое. Но знал, хорошо знал и чувствовал он тяжкие муки и скудные радости этих добрых и бедных сердец... Чуткая и восприимчивая фантазия Салтыкова, напитанная впечатлениями реальных «петербургских углов» и канцелярских кабинетов, и тех, так сказать, «литературных углов», где ютились «бедные люди» Гоголя и Достоевского, — фантазия художника, обостренная мыслью социалиста, рождала и собственный образ «маленького человека». Салтыков писал в первые месяцы 1848 года вторую свою повесть «Запутанное дело».

Выходец из небогатого провинциального «дворянского гнезда», герой Салтыкова Иван Самойлыч Мичулин, вовсе не мыслитель и не деятель, просто ищет своего места под солнцем и, оказавшись лишним «на пиру жизни», погибает, так и не поняв, зачем искал, страдал, чувствовал — зачем жил.

«Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих его по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже и привлекательную физиономию... Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч... Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо... жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: «Озяб бедный человек! хорошо бы бедному человеку у

огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, *озяб, озя-яб бедный человек!»*

Казалось бы, нет ничего нового ни в характере, ни в судьбе салтыковского бедного человека, «ветошки» — ведь все это было и у Гоголя, и у Достоевского, да художественно было и ярче и сильнее.

Нет, было и новое — сама авторская мысль, которая *все время — рядом с героем, постоянно следует за ним,* пристально наблюдает самомалейшие движения его души и его недалекой, скромной, но пробуждающейся мысли, его все более «бунтарских» и «вольнодумных» попыток найти причины «запутанного дела» своей молодой и уже увядшей жизни: ведь виноват же кто-нибудь в том, что нет ему места, что не назначено ему в обширном и обильном Российском государстве никакой роли, что попросту мрет в этом государстве с голоду бедный человек!

И начинают посещать голову Ивана Самойлыча мысли черные и неблагонамеренные, вдруг их оказывается даже «нестерпимо много», и вращаются они все вокруг одного мучительно терзающего «пункта»: «есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах» и прочее, и прочее, а есть «странствующее во мраке грязи и невежества человечество» — и к этому-то бедному человечеству принадлежит и он, Иван Самойлыч.

И сны снятся Ивану Самойлычу уже до такой степени «неблагонамеренные», что вряд ли могли привидеться существу столь забитому, смирному и добронравному, с головою, «сплюснутою» и «стиснутою» жизненными обстоятельствами и всяческими правилами и наставлениями житейской мудрости, хотя голова эта полна уже болезненно-напряженных дум все о том же «пункте». Мимо глаз его, во сне, проносится «огромный, не охватимый взором город, с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезывающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суетящеюся толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой... Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные и кровожадные волки... и пожирали друг друга».

И снится Ивану Самойлычу другой сон: внезапно сделался он баловнем судьбы, человеком богатым и благополучным, а соседка по меблированным комнатам, Наденька, теперь уже жена Ивана Самойловича. Но и это видение сменяется другим. Как и прежде, «висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька», как и прежде, унижен и скареден его вид». А бедная Наденька сидит в «холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле... около нее, бледный и истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..

— Папа, я есть хочу! — стонет ребенок, — дай хлеба...

— Потерпи, дружок, — говорит мать, — потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!»

И возникают в измученном и больном сознании Ивана Самойлыча образы, подсказанные его создателю, Салтыкову, недавно прочитанным стихотворением Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...».

«Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька? Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?..

— Ешьте, — говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол».

Страшный сон, но неужели в нем скрыт ответ на неотвязный вопрос: «Да отчего же нет мне места? да где же наконец мое место?» Неужели ничто не ожидает бедного человека, кроме гибели?

В отчаянии и сердечной тоске обращается с этим вопросом Иван Самойлыч к своим соседям по меблированным комнатам — двум резонерствующим «друзьям человечества» «философии кандидату» Вольфгангу Антонычу Беобахтеру и «недорослю из дворян» Алексису Звонскому.

Слушают Ивана Самойлыча Беобахтер и Звонский, даже спорят о том, как же извлечь из беды страждующее человечество, но ни невинное пристрастие кандидата философии к «карательной машине» (то есть гильотине), ни платоническая жажда недоросля из дворян всем равно раскрыть свои объятья не распутывают, ни на шаг не двигают вперед «запутанного дела» Ивана Самойлыча.

Чувствуется, как накипает у Салтыкова раздражение

против абстрактных рецептов спасения человечества, о которых наслышался он в дружеских собеседованиях русских утопистов, и разрешается это раздражение если еще не сатирой, то весьма суровой иронией, язвительной насмешкой, окрашивающей фигуры Вольфганга Беобахтера и Алексиса Звонского.

Но повествование продолжается.

Какой-то тревожащий, раздражающий червь точит и гложет сердце и мозг Ивана Самойлыча, выгоняет его из дому. На последний целковый покупает он билет в театр.

И вот он в пятом ярусе: «Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу».

Полились звуки, и многое, очень многое говорили они душе Ивана Самойлыча. «Герой наш ожил», ожил — и забыл свою бедную, нелепую, ненужную жизнь, ожил — и почувствовал себя человеком, ощутил возможность какого-то общего и не бесполезного дела... Хоть и не знал Иван Самойлыч итальянского языка, но сами звуки будили воспоминания, рождали чувство единства с той возбужденной толпой, которая двигалась, волновалась, чего-то требовала, протестовала на сцене.

«Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, — да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать... он хочет сам бежать за толпою понюхать заодно с нею обаятельного дыма...» Обаятельный дым — что же это такое? Конечно же, и здесь вступает в свои права тот иносказательный язык, который назовет потом Салтыков «эзоповым» (по имени древнегреческого баснописца Эзопа), — конечно, это пороховой дым. И Ивану Самойлычу даже думается — может быть, и я...

Конечно, все эти яркие впечатления, это радостное возбуждение, которое вызывала музыка Россини (а именно опера Россини «Вильгельм Телль» подразумевается в описании ощущений Ивана Самойлыча), — все это впечатление самого Салтыкова — страстного любителя романтической итальянской оперы. Его захватывала необыкновенная, волнующая красота музыки и искусства

пения, героический драматизм сюжетов, идеальная возвышенность характеров и чувств, наконец, образ народной массы, «толпы», которая появляется не только «у воды» (технический театральный термин, означающий — на заднем плане), но которая выходит на авансцену, становится непосредственным и активным участником действия и борьбы.

«Запутанное дело» писалось в январе — феврале 1848 года, в те дни, когда до Петербурга дошли известия из Парижа о февральской революции 1848 года. Сначала это были слухи, в русских же газетах сообщения появились в конце февраля по старому стилю (по новому — в начале марта).

«Я помню, это случилось на масленой 1848 года». (Масленая неделя в 1848 году приходилась на 16—22 февраля старого стиля.) «Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. Именно всеми, потому что хотя тут было множество людей самых противоположных воззрений, но, наверно, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии (и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро) сделалось как бы нормальною окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги» («За рубежом»). И могли ли не отразиться, не оставить следа бескорыстные молодые восторги в той повести, которую писал как раз в это время двадцатидвухлетний Михаил Салтыков?

Бедняга Иван Самойлыч, обманутый мошенниками, попавший ни за что ни про что в полицию, униженный бесцеремонностью городовых и какого-то полицейского чина, «на́большего», пробирается наконец в свою одинокую комнату. И все думает, думает потрясенный жизненными передрягами маленький человек и не выносит этого непривычного для его «мозговых нервов» напряжения мыслей и обилия впечатлений. Вновь забывается Иван Самойлыч тяжким сном, преследуют его какие-то совсем бредовые видения: рыжий плечистый мужик с огненною бородой, Наденька с длинными и страшными когтями. И наконец является ему «страшное, всепоглощающее бесконечное», которое оказывается зримым воплощением неотступно мучившего его вопроса, разъяснением запу-

танного дела, но таким разъяснением, которое не оставляет маленькому и бедному человеку никаких надежд.

«...Разом очутился Иван Самойлыч в пространстве и во времени, в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженную густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако ж, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются наконец в одной общей вершине и составляют совершенно правильную пирамиду». «Кровь несчастного застыла в жилах, дыханье занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить». Вся эта сложенная из бесчисленного множества людей громадная пирамида, вся эта представшая изумленному Ивану Самойлычу масса непомерной тяжестью давила на его двойника, во всем подобного ему другого Ивана Самойлыча, так что голова его была так изуродована, что «лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности. Вообще, во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное ничтожество, что настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно и тяжко, и он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он, со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце, обратил взор свой выше.

Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее показались Ивану Самойлычу люди. . . . .
. . . . »

Откуда же могла взяться, как возникнуть в голове Ивана Самойлыча Мичулина эта ужасающая своей для него безнадежностью, своим трагическим и не оставляющим сомнений ответом пирамида?

Да все оттуда же, из сочинений Сен-Симона. Но это была пирамида, осмысленная и представленная по-своему, намекавшая на российскую социальную иерархию, на Российское государство, во главе с тем «на́большим», что высится на самом верху, — «богдыханом», в иносказательном словоупотреблении петрашевцев. По Сен-Симону, гранитным основанием социальной пирамиды были трудящиеся, средний слой составляли ученые, люди искусства, верхнюю часть — «богатые тунеядцы», правители, дворяне, вся же пирамида увенчивалась королевской властью, «великолепным алмазом», который на самом деле — из позолоченного гипса, и понятно почему стоят две строки точек там, где взору Ивана Самойлыча представилась самая верхушка чудовищной пирамиды.

Иван Самойлыч Мичулин проснулся, но проснулся только для того, чтобы умереть...

Не прошло и двух месяцев с момента публикации повести в журнале, как безнадежно запуталось «дело», запуталась жизнь самого Салтыкова.

Салтыков, ставший к этому времени постоянным сотрудником не только «Отечественных записок», но и «Современника», очень хотел, чтобы его новая повесть «Запутанное дело» была напечатана именно в «Современнике». Ведь социальный и человеческий, гуманический пафос повести — это был тот пафос, который одушевлял и создателей нового «Современника», и прежде всего — Белинского. В «Современнике» в прошедшем году уже печатались рецензии Салтыкова, там выступал со статьями Вл. Милютин, там недавно началось сотрудничество Вал. Майкова, но, главное, там, почти в каждой книжке, читатели находили — воспитывающую, глубоко западавшую в ум и сердце — статью или рецензию Белинского. Да и беллетристика «Современника» вызывала у Салтыкова сочувствие и желание попробовать свои силы уже не в рационально-психологической повести вроде «Противоречий», а в том жанре, который в своих статьях этого времени горячо одобрял Белинский, — натуральной повести или художественного, как тогда называли, — физиологического очерка — произведения из жизни социальных низов, с тщательной проработкой характеров и быта. Салтыков читал в «Современнике» 1847-го — начала 1848 годов повести Герцена «Кто виноват?» (в приложении к первому номеру журнала), «Из записок доктора Крупова», «Сорока-воровка», роман хорошо знакомого ему по дому Майковых Гончарова «Обыкновенная история», повести своего сослуживца по канцелярии Военного министерства Дружинина — «Полинька Сакс» и «Рассказы Алексея Дмитрича».

Салтыкову и самому приходилось появляться в редакции «Современника»: вряд ли он передавал туда свои рецензии через каких-либо посредников. Но ведь только что о «Противоречиях» так сурово отозвался Белинский, назвав просто-напросто «бредом младенческой души» эту мучительно и горячо написанную — буквально со слезами и тоской — исповедь человека, так трагически запутавшегося в противоречиях собственной мысли.

И Салтыков попросил быть посредником своего светского приятеля Валерьяна Канкрина, с восторгом прочитавшего «Запутанное дело». Канкрин, хороший знакомый Ивана Ивановича Панаева, и передал тому рукопись Салтыкова, но когда приехал за ответом, то услышал от искушенного, опытного Ивана Ивановича: «Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там авось пропустят. А цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще и гвалт поднимет».

Салтыков, таким образом, был предупрежден о возможных последствиях, но это его не остановило, и он передал рукопись в тот журнал, где несколькими месяцами раньше появились «Противоречия». «Запутанное дело» и было напечатано в «Отечественных записках», в третьей книжке, вышедшей в свет 1 марта.

Салтыков, разумеется, не мог знать, что в те дни, когда эта книжка находилась на рассмотрении цензоров, за неделю до публикации повести, начальник III отделения и шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил Николаю I «всеподданнейший доклад» «О журналах «Современник» и «Отечественные записки», где в испуге перед явно назревавшим во Франции революционным взрывом, перед угрозой падения французской монархии предлагал, так сказать, привести «к общему знаменателю» эти издания, позволявшие себе «вредное направление». Император на этом документе начертал: «Необходимо составить особый комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Этот особый секретный комитет под председательством князя Меншикова (так называемый «меншиковский комитет») немедля приступил к «ревизии русской литературы» (по позднейшему выражению Салтыкова).

Салтыков продолжал трудиться над перепиской с

Григорием Кузьмичом или другими подобными же, почти мифическими фигурами, из которых складывалась между тем вполне реальная пирамида самодержавной власти. Он даже продвинулся по лестнице чиновничьих рангов, стал титулярным советником. А тем временем в других служебных кабинетах, на самых верхах пирамиды, уже решалась его судьба.

Бюрократическая машина самодержавной власти двигалась обычно весьма медленно и неуклюже. Но бывали обстоятельства, когда она «срабатывала» с необыкновенной поспешностью. Так произошло и в случае с Салтыковым. Его «натуральные» повести не остались незамеченными.

За какие-нибудь две-три недели до водворения в Вятку он и предполагать не мог, что его ждет тягостная участь провинциального чиновника, в особенности тягостная своей неожиданностью, «волшебством» и отсутствием всяких надежд, — он, молодой мыслитель и художник, полный радостных упований, окруженный кипучей деятельной жизнью столичного города, постоянный посетитель петербургских театров, к тому же, хотя и всего лишь титулярный советник, все же чиновник привилегированной канцелярии Военного министерства, возглавлявшегося князем А. И. Чернышовым — ближайшим другом, советником и сотрудником императора Николая. Но тем ужаснее и беспощаднее был гнев всесильного министра и самого царя — того самого «богдыхана», который увенчивал социальную пирамиду. Одному из Мичулиных — Мичулину возомнившему и возроптавшему — было немедленно указано его истинное место, и оно оказалось сначала на петербургской гауптвахте, а потом — в далеком губернском городе.

Просьба о свидании с родными и встрече с лечившим его врачом не то что была отвергнута: просто, когда она дошла до подлежащего начальства, Салтыков уже трясся в тарантасе по проселочным дорогам где-то около Ладожского озера. Он направлялся вместе с сопровождавшими его жандармами и верным и неизменным крепостным дядькой Платоном к далекой Вятке, которую попечительное начальство избрало местом его ссылки — его подневольной службы под надзором губернатора и полиции.

Глава четвертая

«СКИТАЛЬЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ГЛУХОМ КРАЮ»

Молодой чиновник-социалист — в месяцы, предшествовавшие его удалению из столицы, — был охвачен радостным, счастливым настроением — переживанием вдохновляющих горизонтов и перспектив «общей жизни», которая «со всех сторон так и плыла и плыла... так и затопляла своим светом, теплом и гармонией». В этой счастливой общечеловеческой гармонии тонули скучные мелочи чиновничьего существования, и начальник отделения канцелярии Военного министерства казался таким добрым, и даже жандармский унтер-офицер, появившийся в один прекрасный день апреля месяца 1848 года в квартире титулярного советника Салтыкова с предписанием ехать в какую-то «северную трущобу», тоже был так приветлив и добродушен.

«Я ничего не понял, кроме того: кому и на что надобно, чтоб я ехал? А так как разрешения на этот вопрос не могло быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что это за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится».

«Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш», как в одном месте на почтовой станции долго, пока пили чай, станционный писарь смотрел на высылаемого и наконец сказал:

— Да, нынче «несчастных» довольно провозят!

«Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? — отвечали: — сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть *не должно*! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял мое положение во всем его объеме.

Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какою-то неприветливою *пошло* отрезвляющею правдою будничной жизни...

Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастия, к которому так безрасчетливо привязалось мое молодое воображение...» («Годовщина»).

Так начиналась растянувшаяся на целых семь с половиною лет будничная, прозаическая жизнь вятского губернского чиновника Салтыкова, жизнь то беспросветно тоскливая — до отчаяния, до мыслей о смерти, — то скитальческая, беспокойная и даже «грязная» в огромном, раскинувшемся от Волги до Уральских гор и берегов Ледовитого океана, глухом лесном краю северо-востока Европейской России. Постепенно открывался ему этот край разными своими сторонами, разными непривычными, даже экзотическими мирами...

После девяти дней полуторатысячеверстного пути на улицы губернского города Вятки вкатился тарантас, влекомый тройкой взмыленных почтовых лошадей, в котором находились Михаил Салтыков и его спутники. Салтыков оказался одним из тех нескольких десятков, по народному выражению, «несчастных», что были высланы в Вятскую губернию за время царствования Николая I по его личному — «высочайшему повелению».

«Въезжая в этот город, — сказано в «Губернских очерках» о городе Крутогорске, под которым подразумевалась Вятка, — вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания. И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру».

Такое тяжелое, безрадостное чувство, столь не схожее с той счастливой — «анонимной», как скажет он позд-

нее, — юной петербургской восторженностью, испытывал Салтыков, когда колеса тарантаса начали месить весеннюю грязь вятских улиц. До его сознания уже с полной отчетливостью дошел тот печальный факт, что Вятка для таких, как он, по мнению «вышнего» начальства — носителей вредных идей, потрясающих общественное спокойствие, — место ссылки, причем ссылки без суда, следствия и надежд на будущее. Оставалось одно — жить в прошлом, переваривать воспоминания. Ведь судьба сосланного по высочайшему повелению зависела лишь от «высочайшей» воли, иначе говоря, царского произвола: всю ужасающую тяжесть императорской десницы Салтыков постоянно чувствовал на протяжении многих лет ссылки.

Дальше этого постылого города, куда он заброшен «волшебством», казалось Салтыкову, и путей-то никаких нет, что за рекой, что течет под горой, на которой расположился город, воистину конец миру, что река эта — как бы граница между бытием и небытием.

Вскоре, однако, он убедился, что пути эти есть, что они ведут и дальше — на Урал и в Сибирь, и пути эти для многих, подобных ему, — пути ссылки. Через Вятку пролегала большая дорога от Петербурга и Москвы к Тобольску, по которой был препровожден в первые дни 1850 года на каторгу в Сибирь участник, как и Салтыков, социалистического кружка Петрашевского Федор Михайлович Достоевский.

Вятская губерния, в основной своей части, лежала как раз по ту сторону реки, на тех необозримых просторах лесов, лугов и болот, которые открывались с речного крутояра, от кремля и городского сада.

Когда-то, еще в конце XII века, вольные новгородские люди — «ушкуйники» (ушкуй — речное судно, лодка), приплывавшие в поисках добычи и новых земель по рекам Волге, Каме и Вятке к их верховьям и истокам, увидели, как говорится в одной древнерусской рукописи, «на высокой и прекрасной горе» «устроенный град чудской» (чудь — древнерусское название финно-угорских племен). Впоследствии, возвращаясь из своих многочисленных за семилетие служебных скитаний, подъезжая к городу с луговой, пойменной стороны реки, наслаждался Салтыков великолепной панорамой, которую столь любовно воспроизвел впоследствии на первых же страницах «Губернских очерков». Конечно, это был уже не тот «чудской град», который увидели и которым владели древние новгородцы, а рядовой губернский город Российской империи, та самая «губерния», которую незадолго до того так беспощадно живописал Гоголь на страницах «Мертвых душ» (впрочем, гоголевский город был расположен к столицам все же ближе, чем Вятка).

Тишина, безлюдье, какая-то хроническая заспанность, ощущение остановившегося и как бы застывшего времени поражали всякого, кто, привыкнувши к столичному шуму, хотя порой и надоедливому, к сверканию театральных подъездов, к блестящей и живой умственной жизни, попадал в провинциальный, пусть и губернский город. Вятка встретила Салтыкова весенним цветением своих многочисленных садов, но сама эта как бы пленившая город жизнь природы должна была казаться неким символом его неизменного, неподвижного, чуть ли не растительного существования. Да и границы города как-то не очень ощущались; сады переходили в огороды, огороды в поля и луга.

Губернатор Аким Иванович Середа встретил приезд в свою губернию еще одного ссыльного вполне равнодушно, как дело хотя и хлопотливое, но достаточно привычное и почти обыденное.

В день прибытия Салтыкова в Вятку — это произошло во вторник 7 мая 1848 года — губернатор был болен, к Салтыкову и приставленному к нему жандармскому офицеру Рашкевичу не вышел, хотя жандарм и настаивал на том, чтобы передать сопроводительные бумаги в собственные руки начальника края. Середа поручил находившемуся при нем домашнему доктору Николаю Евграфовичу Щепетильникову (он же — главный доктор губернской больницы «приказа общественного призрения») озаботиться судьбой присланного опального чиновника.

Вышедший в залу губернаторского дома, куда провели приехавших, доктор увидел перед собой совсем еще молодого, болезненно-бледного человека, близоруко-упорно и в то же время как-то смущенно смотревшего на него светлыми выпуклыми глазами. Салтыков еще в Петербурге чувствовал себя нездоровым, а почти полторы тысячи верст, проделанные по ухабам и грязи проселочных дорог, давали себя знать весьма чувствительно: он пожаловался доктору на болезнь. «Ну, вот и отлично, — заключил губернатор, когда Щепетильников сказал ему об этом, — вы, как главный доктор больницы, поместите

его туда, но только не от моего имени, а распорядитесь сами...»

Вскоре, 11 мая, губернатор отдал все необходимые распоряжения, касающиеся дальнейшей судьбы Салтыкова. Официально служба Салтыкова началась лишь в июле, в ведомстве вице-губернатора, так называемом Губернском правлении, в качестве младшего канцелярского чиновника, что было не очень далеко от переписчика бесконечных в тогдашнем делопроизводстве бумаг, попросту говоря — писца.

Так очутился Салтыков в положении, которое он позднее, в «Письмах о провинции», назвал положением «акклиматизируемого человека». Начался долгий и мучительный процесс «акклиматизации», иначе говоря — приспособления к новой среде, к новому быту, новой — непонятной и неизвестной — жизни...

Какой же образ города Вятки начал складываться у Салтыкова по мере знакомства с городскими улицами, строениями, обывателями — хотя бы в те два месяца весны и лета 1848 года, пока он еще, по причине ли болезни или по какой-то иной, нам неизвестной, не должен был проводить дни за канцелярским столом?

Восторженно-благодушный обыватель-патриот, чиновник-литератор, старший советник Губернского правления Я. Н. Алфеевский так описывал в том же, 1848 году в «Вятских губернских ведомостях» свой город: «Город Вятка, расположенный по хребтам и падям левого берега реки Вятки, среди своих амфитеатральных окрестностей, представляет картину редкую, достойную кисти гениального живописца. Не знаешь, чем более любоваться, окрестностями ли города или городом из окрестностей? Город стоит как бы в обширном блюде, куда ни поглядишь из него, всюду представляется кайма гор, то покрытых перелесками, пажитями и селениями, то увенчанных белеющими божьими храмами... Внутренность города чиста и опрятна. Хотя нити улиц проложены по неровной почве, по скатистым холмам и углублениям среди них, но разрыв улиц и тем глубоким оврагом, который рассекает город пополам, не мешает их прямизне и стройности. По обеим сторонам улиц то спускается, то вверх подъемлется широкая лента дощатого тротуара, доставляющего жителям величайшее удобство во всякое время года, а особенно в грязную пору, в которую пешеходство предпочитается самой езде в экипажах потому, что, проходя по тротуару, не замараешь ни сапога,

ни башмака, тогда как на дрожках и линейке забрызжет грязью. От этого-то происходит здесь противу других городов контраст, что по городу Вятке ездят больше в ясную погоду, а пешком ходят в распутицу. Сверх казенных громадных каменных зданий, могущих с честью стоять в ряду первоклассных столичных улиц, как-то: зданий присутственных мест, удельной конторы, гимназии, духовного и канцелярского училищ, а также зданий, занимаемых начальником губернии и кафедральным духовенством, немало есть и частных каменных домов, которые украсили бы собой любой губернский город... Здесь вовсе нет сжатых, сомкнутых домов, дом от дома на значительном пространстве, занятом или садиком, или палисадником, или же огородною зеленью. Так привольно и просторно житье-бытье в Вятке... С этим простором и привольем соединяется много и других интересов, например, безопасность от пожаров, чистота воздуха и усладительное для глаз в летнюю пору разнообразие».

На месте столь понравившегося новгородцам «чудского города» образовалось потом русское поселение, на месте же этого поселения в конце XIV века был основан укрепленный городок Вятка. Как это водилось на Руси, на высоком холме-крутояре над рекой через столетия выстроился деревянный кремль, названный Хлыновым; вокруг же кремля все раскидывался и разрастался на семи холмах город-посад. Так и жил Хлынов, затерянный в глухомани город северо-восточной Руси, до конца XVIII столетия, когда по указу императрицы Екатерины российские губернские города стали перестраиваться по регулярным планам. Живописные улочки и переулки, домишки с огородами, лепившиеся по склонам холмов и косогорам над речками Хлыновицей и Засорой, Раздерихинским оврагом, спусками к реке Вятке, велено было втиснуть в прямоугольные квадраты «высочайше конфирмованого» (утвержденного) плана. Хлынов опять стал называться Вяткой, и началось строительство тех «казенных громадных каменных зданий», которыми восторгался Алфеевский. На старых местах остались только кремль с возводившимся в конце века новым кафедральным собором да два монастыря — мужской Успенский Трифонов и Преображенский девичий. В Вятке существовало предание, наверное слышанное и Салтыковым, будто вятский кафедральный собор строился по чертежам великого В. Растрелли (на самом деле проект

собора был выполнен другим мастером русского барокко, московским архитектором Д. В. Ухтомским, кстати, одним из строителей замечательной колокольни в Троице-Сергиевой лавре).

В тридцатые годы вблизи выстроенных в классическом стиле зданий присутственных мест (здесь-то и служил Салтыков) на высокой кромке вятского берега начали высаживать березки, липы, кусты черемухи и рябины: так образовался живописный нерегулярный сад «в английском вкусе». А вскоре вход в сад был оформлен величественным порталом, а сад обнесен изящной решеткой из тонких чугунных стержней. На самом же откосе над Вяткой воздвигнулась круглая беседка-ротонда на восьми колоннах. Все это были создания высланного в Вятку архитектора А. Л. Витберга, трагической судьбе которого посвятил проникновенную главу в «Былом и думах» Герцен, подружившийся с Витбергом в годы вятской ссылки. Когда в Вятке оказался Салтыков, в городе по проекту опального архитектора, уже возвращенного к тому времени в Петербург, возводился заложенный еще в 1839 году огромный Александро-Невский собор. В том же году через реку был устроен «наплавной мост», разбиравшийся на зиму. Части его складывались на берегу в ожидании лета. В ледоход и весеннее половодье город оказывался отрезанным от заречья и от заливавшейся водою слободы Дымково. Но через несколько лет река разбросала и унесла части моста, и по-прежнему стал неторопливо двигаться от берега к берегу привычный паром.

Так сложилась та удивительной красоты панорама, которая издалека уже открывалась тому, кто приближался к городу с луговой, пойменной стороны и на пароме неторопливо подплывал к подножию вятской горы: «брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью...» «Вы не оторвете глаз от этой картины», — заключает Салтыков в «Губернских очерках» поэтическое описание панорамы Вятки-Крутогорска.

Но такие возвращения из поездок по губернии, когда как бы вырастал из-за окаймленного бесконечными лесами горизонта то графически четкий, то ярко живописный, то размытый туманами и облаками силуэт Вятки, и даже те чувства успокоения и близкого отдыха — после понесенных служебных неприятностей, трудов и скитаний — пусть в постылом, но уже милом сердцу городе — все это будет позднее.

А пока что, в первые вятские дни, Салтыков почти уверен, что еще не все потеряно, что можно поправить так нежданно-негаданно свалившееся на него «запутанное дело», стоит только настойчиво и без устали напоминать о его, как ему кажется, несправедливом изгнании, напоминать тем, в чьих руках находится его судьба, стоит только открыть им глаза на истинные намерения автора отнюдь не крамольной, а просто «нелепой и несчастной» повести...

Самыми темными красками рисуя свое удручающее и невыносимое положение, он всячески убеждает родителей, а потом, после смерти в 1851 году отца, — маменьку Ольгу Михайловну, брата Дмитрия напоминать и напоминать, просить и просить... Он взывает к петербургским друзьям Владимиру Милютину и Николаю Ханыкову, чьи братья пользовались влиянием в высших бюрократических кругах, к их содействию и помощи...

Как только «нравственное оцепенение» покинуло его, он уже не может успокоиться и примириться с нелепостью происшедшего; кажется, что его терпение иссякло в первые же дни пребывания в Вятке, а ведь ему предстояло провести здесь еще долгих семь с лишним лет... Легко раздражающийся, крайне импульсивный и деятельный его темперамент находит в эти дни облегчение и выход в нетерпеливых попытках сразу же, немедленно избавиться от невыносимого и не очень еще ему ясного положения («кому и на что надобно, чтоб я ехал?»), в которое он так неожиданно и неосторожно попал. Он не может находиться в состоянии бездеятельного — тоскливого или созерцательного одиночества. Не в его натуре и не в его привычках — после радостного опыта дружеских кружковых общений — замкнуться, уйти в себя... А между тем здесь он один — один!

Уже в мае, едва осмотревшись, он отправляет два почти отчаянных, нетерпеливых письма родителям, которые еще даже и не знают, за что он так внезапно выслан из столицы. «От Миши мы получили два письма, — с некоторым недоумением пишет Ольга Михайловна 6 июня сыну Дмитрию из Спас-Угла в Петербург, — он очень грустит и просит, чтобы мы ходатайствовали у милосердного монарха о нем прощение; можно ли по короткости такого времени осмелиться утруждать государя нашим ходатайством о нем?.. Мы, не зная существа ни

дела, ни вины его, ни определения — ничего, каким же образом и о чем будем писать, можем сделать опрометчивую ошибку».

Но время шло, и в июле месяце младший чиновник канцелярии губернского правления Михаил Салтыков должен был приступить к исполнению своих служебных обязанностей, являясь в здание присутственных мест каждодневно от девяти до двух часов утра и от пяти до восьми вечера, а то и позже. В это здание, в эту же канцелярию и в том же качестве младшего чиновника за тринадцать лет до Салтыкова вошел Александр Герцен, потом вспоминавший: «В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частию люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости...» Картина, увиденная в канцелярии Салтыковым, вряд ли хоть сколько-нибудь отличалась от описанной Герценом, и он, бывший лицеист, захваченный, «заразившийся» «общими идеями» утопического социализма, подобно кандидату Московского университета сен-симонисту Герцену, принужден был вдыхать застойный, затхлый воздух этой ограниченной, малограмотной и нечистоплотной среды мелкого провинциального чиновничества, страдать не оттого, что работа была трудна, а оттого, что она была тупо-бессмысленна.

Контраст с общечеловеческими идеями и «анонимной восторженностью» был разительный. Сновидения разом исчезли, явь выступила во всей своей неприкрытой и неприглядной наготе: «Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д.» («Имярек»).

Чем такое сужение понятий обернулось для идейного, «теоретического» развития Салтыкова и для его житейской практики?

В июньские дни 1848 года до Вятки дошла печальная весть о смерти Белинского, так бесконечно много значившего в жизни молодого Салтыкова. С болью должен

был почувствовать он, что вместе с Белинским умерла какая-то необыкновенно важная часть того идеального духовного мира, который остался в Петербурге. Мы не знаем, когда прочитал Салтыков письмо Белинского к Гоголю, но можно с уверенностью сказать, что программа насущнейших, жизненно необходимых России социально-политических преобразований, изложенная в письме, глубоко и страстно была им принята, его вдохновляли и воспитывали и эти идеи Белинского, он находил в них оправдание той формы общественного служения, которая только и возможна была для него в Вятке. Гневные инвективы по адресу чиновничества, этих «огромных корпораций разных служебных воров и грабителей», сопровождались у Белинского требованием, «по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».

С иронией вспоминал потом, через два десятилетия, Салтыков, как, очнувшись от чуть ли не обморочного состояния, от оцепенения первых дней высылки где-то среди унженских и ветлужских лесов, он вдруг заплакал. Но эта ирония была иронией человека, закалившегося в суровых жизненных испытаниях, расставшегося не только с иллюзиями молодости, но и с блужданиями и заблуждениями зрелых лет. Тогда же, в 1848 году, горе его было глубоким и неподдельным. Тогда ему было не до смеха. Проведя целый день «на галере» канцелярии, приходил он, как и Герцен, домой «в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие».

Промаешься этак часов десять, а то и двенадцать в сутки — и все не разгибая спины, до окоченения всех членов... «Как кончится день, в глазах рябит, грудь ломит, голова идет кругом — ну, и выходишь из присутствия, словно пьяный шатаешься. Летом всего тяжелее бывает. Иной раз сходил бы за город, посмотрел бы, что такая за зелень в лугах называется, грудь хоть бы расшатал на вольном воздухе — и вот нет да и нет! ...Или вот возвращаешься ночью домой из присутствия речным берегом, а на той стороне туманы стелются, огоньки горят, паром по реке бежит, сонная рыба в воде заполощется, и все так звонко и чутко отдается в воздухе, — ну и остановишься тут с бумагами на бережку, и самому тебе куда-то шибко хочется» («Губернские очерки»). В глубоком одиночестве долгих и глухих провинциальных вечеров, наверное, не однажды плакал младший

чиновник канцелярии Губернского правления от бессильного нетерпения и безвыходного отчаяния, от угнетающей, беспросветной тоски. Здание вятских присутственных мест никак и ничем не походило на «здание мысли, любви и счастия», на то прекрасное здание, которое нарисовало необузданное воображение великого сатирика и фантаста Фурье — «фаланстер», где жизненные блага общедоступны, страсти гармоничны, а труд привлекателен... Через полтора года трудных опытов вятской службы с каким-то грустным и усталым чувством, чувством «разинъяции» (характерное для сороковых годов слово, из шиллеровского словаря, означавшее «самоотречение», «примирение») напишет Салтыков брату Сергею, что «найти такого рода службу, где был бы на своем месте и труд был бы привлекателен, довольно трудно, если не совершенно невозможно».

Итак, Салтыков каждый день проделывал путь примерно в полторы версты по ветхому мосту через овраг Засору, по деревянным тротуарам мимо кремля к месту своей службы, и обратно, тем же путем, теми же улицами — в свою одинокую квартиру в доме баварского выходца Раша на Воскресенской улице. А Дмитрий Салтыков, брат, не очень торопясь, составлял для отца «всеподданнейшее прошение» на имя «милосердного» императора. Наконец прошение, подписанное Евграфом Васильевичем, было отослано 15 августа в расчете, что оно попадет в «собственные руки» царя к годовщине коронации — 22 августа. Вопреки надеждам Салтыковых, до царя прошение, конечно, не дошло, и судьба Михаила была решена бывшим его начальником, военным министром князем Чернышовым. Тот нашел «всеподданнейшее прошение» Евграфа Васильевича «совершенно преждевременным». Михаил Салтыков, по мнению министра, обнаружил в тех своих сочинениях, за которые выслан, отнюдь не легкомыслие и молодую неопытность, а вредный образ мыслей, тем менее для него простительный, что, «принадлежа к одному из лучших дворянских родов, имея хорошее состояние и будучи обязан воспитанием своим в Лицее благотворению государя императора, он мог и должен был видеть всю нелепость и гибельное направление идей, потрясших Западную Европу, и понимать, сколь много заслуживают порицания и справедливого наказания лица, стремящиеся к распространению сих идей...». (Михаил Салтыков, однако, все никак не мог понять справедливости постигшего его наказания!)

Первая попытка вырваться из Вятки окончилась решительной неудачей, причем такой неудачей, которая не должна была оставить никаких сомнений в том, что перемещение на «поприще обязательной службы» не было каким-то недоразумением и легко поправимой несправедливостью. Мотивировка преступления Салтыкова, за которым не могло не последовать и соответственного наказания, была дана министром с такой четкостью и категоричностью, что не оставалось никаких надежд на скорое избавление. Знал ли Салтыков эти грозные строки, эти бюрократически-безупречно отточенные холодные формулы?

Наступила печальная осень, первая осень изгнания...

Все более темные, прямо-таки черные вечера — масляно-скипидарные фонари освещали своим скудным бледным светом только несколько улиц, близких к губернаторскому дому и присутственным местам, — глубокая и вязкая грязь на улицах, в которой тонули экипажи на немощеных улицах, мокрые и скользкие деревянные тротуары, безмолвие и безлюдье вокруг — тоскливая скука одиночества. Темнота была не только там, за окнами, она завладевала мыслями, всем существом. Где вы, друзья молодости — «друзья человечества»? В эти туманные и промозглые осенние вечера, в часы съедающей умственные и душевные силы скуки, в часы нравственной немоты хотелось лишь одного — забыться. И вот уже крепостной дворовый человек Григорий несет на подносе графинчик... И в спасительном сне тонет ужас изгнания...

В свое время также воспитанник лицея, вице-губернатор С. А. Костливцев («добрый начальник», как назовет его потом в «Губернских очерках» Салтыков) — в его ведении находилось Губернское правление, — почувствовал не просто несообразность, но явную нелепость положения Салтыкова между полуграмотными и полупьяными воспитанниками училища канцелярских служителей, освободил его от обязанности являться на «галеру» канцелярии.

К тому же и письма, отосланные Салтыковым своим петербургским друзьям, возымели действие. Полученные из высших петербургских сфер рекомендации побудили губернатора заинтересоваться присланным к нему на «обязательную службу» крамольным чиновником-литератором.

Аким Иванович Середа, вятский губернатор, был зна-

менит своим трудолюбием, преданностью делу и бескорыстием. Пробудившиеся от сладкого сна богомольные вятчане отправлялись к заутрене, а в кабинете губернатора еще светился огонь — он продолжал работать. Рассказывали, как Середа выгнал из своего кабинета вятского откупщика-богача Гусева, явившегося с привычной данью — двадцатью пятью тысячами рублей на вызолоченном блюде. И среди николаевской администрации находились иной раз, по выражению Герцена, «непрактические люди», пытавшиеся добросовестной, «беспорочной» службой искоренить беззаконие, произвол и взяточничество. К числу таких людей принадлежал и А. И. Середа, «великий труженик на общее дело», как назвал его поэт-петрашевец А. Н. Плещеев. За два года до появления в подведомственном ему городе сосланного Салтыкова губернатор в представлении министру внутренних дел выразил оригинальное желание по-прежнему видеть в Вятской губернии место политической ссылки — на том основании, что «образованность и добропорядочность жизни политических ссыльных могут приносить некоторую пользу, в то время как вредные политические мнения их по свойству вятских жителей <!> не могут быть распространены между ними». Салтыков вполне подходил под ту категорию образованных и добропорядочных политических ссыльных, которые оказывались полезными и даже отличными чиновниками.

12 ноября 1848 года, по представлению Середы, министерство внутренних дел утвердило титулярного советника Михаила Салтыкова старшим чиновником особых поручений при губернаторе (без жалованья). С головой погружается чиновник Салтыков в то беспредельное море служебных бумаг, «движение» которых, собственно, и составляло суть царской бюрократии. Но приступает Салтыков к своей работе с вполне определившимся представлением не только о ее значении, но и пользе для общего дела. «Когда я ехал в Крутогорск <то есть Вятку>, то мне казалось, что и я должен на деле принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества. Думалось мне, что в самой случайности, бросившей меня в этот край, скрывается своего рода предопределение...» («Губернские очерки»).

С самого начала в основу огромного труда, проделанного Салтыковым в годы вятской службы, кладет он непререкаемый принцип: каковы бы ни были случайные







М. Е. Салтыков
в раннем детстве.
Портрет крепостного художника Льва Григорьева. 1827(?).



◀Ольга Михайловна Салтыкова.
Фотография. 1864.

◀Евграф Васильевич Салтыков.
Портрет работы крепостного художника Карпа Никифорова. 1797.

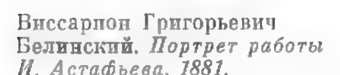
Дом Салтыковых в селе Спас-Угол.
Акварель Д. Н. Афанасьева по рисунку начала 1900-х годов.



Московский Дворянский институт.
Реконструкция художника Б. С. Земенкова по архитектурному плану 1820-х годов.







Виссарион Григорьевич Белинский. *Портрет работы И. Астафьева. 1881.*



Николай Васильевич Гоголь. *Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова. 1852.*



Федор Михайлович Достоевский. *Рисунок художника К. Трутовского. 1847.*

Письмо к родителям из лицея от 7 марта 1839 года. *Первый из сохранившихся автографов М. Е. Салтыкова (фрагмент).*

Царское Село 7/III 39

Любезные Родители!

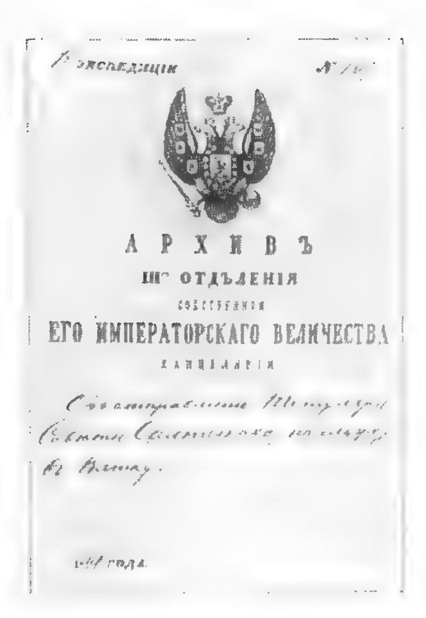


Царскосельский лицей. *Литография. 1840-е годы.*





Арсенальная гауптвахта на Литейном проспекте (вдали).
Литография А. Ф. Галактионова. 1822.



№

АРХИВЪ
III^{го} ОТДѢЛЕНІЯ
СОБСТВЕННОЙ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРІИ

годa.

Обложка дела III отделения о ссылке М. Е. Салтыкова в Вятку. *1848.*



ГУБЕРНСКІЕ ОЧЕРКИ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ
ОТСТАВНАГО НАДВОРНАГО СОВѢТНИКА
ЩЕДРИНА.

Собралъ и издалъ М. Е. Салтыковъ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

МОСКВА.
Въ Типографіи Каткова и К°
1857

Обложка «Губернских очерков». *1857.*

Вятка. *Литография 1856 года.*



Большая Конюшенная улица в Петербурге.
В «доме Волкова» (в глубине улицы слева) М. Е. Салтыков писал «Губернские очерки». Литография В. Садовникова. 1850-е годы.



Елизавета Аполлоновна Салтыкова (рожд. Болтина́) и А. А. Болтина. *Жена и свояченица Салтыкова. Фотография 1860-х годов.*

М. Е. Салтыков. *1856.*



Общий вид Рязани. Древний кремль.

Здание Присутственных мест в Рязани на Соборной площади. *1880-е годы.*





«Дом Морозова» на Астраханской улице в Рязани. *Квартира М. Е. Салтыкова в 1858—1860 годах. Фотография 1914 года.*

Вид на Тверь со стороны Волги. *Литография П. Львова с рисунка Ф. Суворова. 1856.*





Вид Твери. *Начало 900-х годов.*



«Хрептюгин и его семейство» («Губернские очерки»). *Литография П. Бореля с рисунка М. Башилова. 1870.*



«Озорники» («Губернские очерки»). *Литография П. Бореля с рисунка М. Башилова. Конец 1860-х годов.*



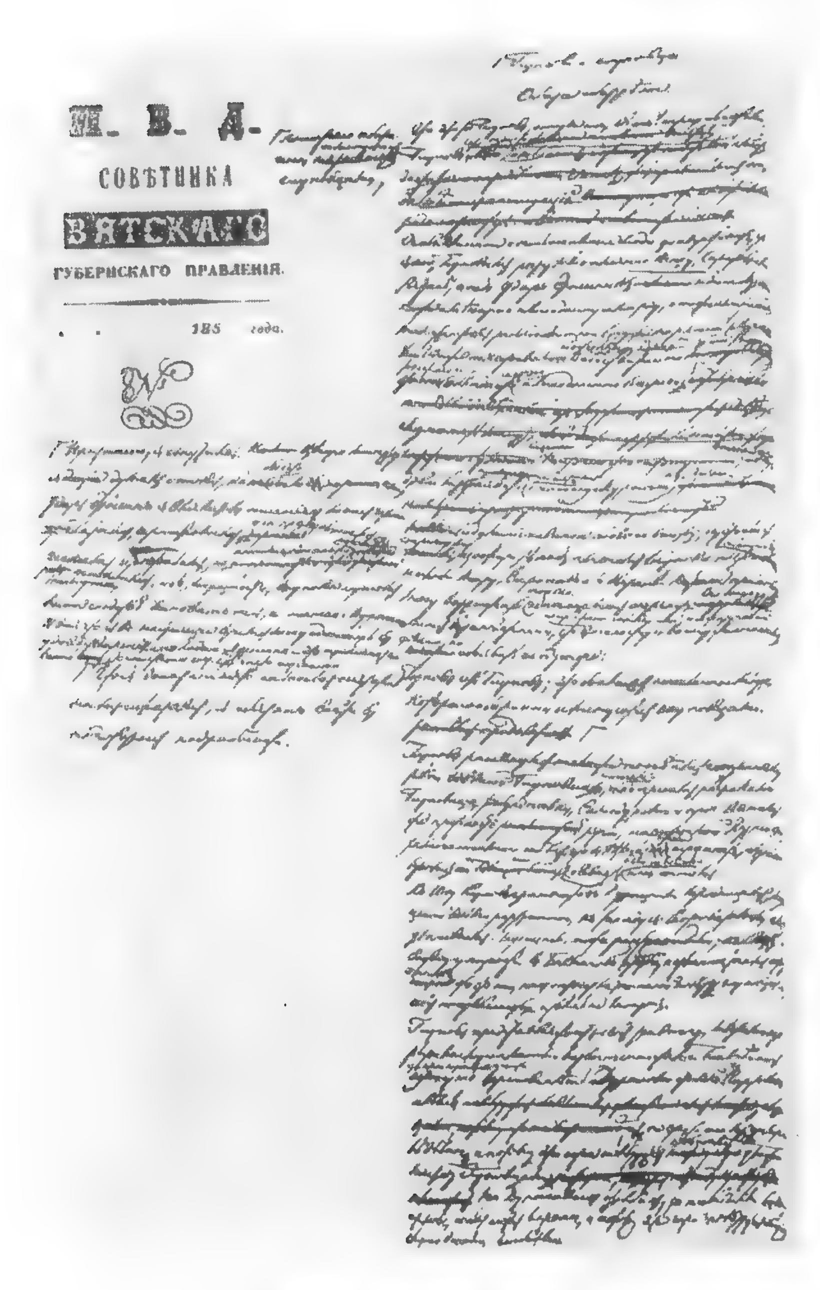
Усадьба Ольги Михайловны Салтыковой Ермолино в Тверской губернии Калязинского уезда. *Фотография 1914 года.*

Дом в Твери на углу бывшей Рыбацкой улицы и Пивоваровского переулка (ныне ул. Салтыкова-Щедрина).▶ *Квартира Салтыкова в 1860—1861 годах (2-й этаж).*



Тверь. Миллионная улица. Почтовая площадь. *1890-е годы. Справа — здание губернской земской управы.*




М. В. Д.

СОВѢТНИКА

ВЯТСКАГО

ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНІЯ.

. . 185 года.

№

Черновая рукопись рассказа «Глупов и глуповцы. Общее обозрение». *1862.*

или привходящие обстоятельства, существующий закон должен быть исполнен, исполнен так, как повелевают долг и принятые обязательства.

В Вятской губернии, как и вообще почти на всем необозримом пространстве северо-востока Европейской России, почти не было помещичьего землевладения, а потому и потомственного дворянства и дворянской интеллигенции. Огромные лесные и земельные богатства принадлежали государству, так же как и населявшие этот необъятный край крестьяне — русские и, как тогда говорили, «инородцы» — вотяки (удмурты), зыряне (коми), черемисы (марийцы). И потому тем более велика здесь роль чиновничества, представлявшего государство, осуществлявшего государственную власть. Но соответствовало ли это чиновничество хоть в малой мере салтыковскому идеалу служения государством установленному закону, долгу и обязательствам?

В служебной деятельности чиновника особых поручений не было четко очерченных границ. Поначалу Середа возлагает на своего нового сотрудника запутанные, хотя и довольно мелкие следственные дела, вроде, например, таких: «о злоупотреблениях в вятской городской полиции по заготовлению арестантской одежды», «о злостной утрате в уездном суде дела о раскольничьем браке» и тому подобные. Целыми днями приходилось Салтыкову трудиться над бесконечной перепиской, дабы выяснить, куда же «утратилось» злополучное дело о раскольничьем браке и кто же «употребил» суммы, предназначенные для заготовления арестантской одежды. На его стол ложились сотни бумаг, в запутанный смысл, а то и вовсе бессмыслицу которых он обязан был вникнуть, уяснить их умышленную казуистику и предвзятость или просто безграмотность, потребовать всяческих справок и объяснений, дать этим бумагам ход или, напротив, прекратить их «течение», разослать в подведомственные места «предписания» и «напоминания». Это была поистине адова работа, результаты которой явно и пугающе не соответствовали затраченным усилиям...

Зимними вечерами, в кромешной тьме, под свистящим ледяным ветром возвращался Салтыков со службы в свою комнату-кабинет на Воскресенской улице, с двумя окнами в сад, за которыми ветер качал голые ветви деревьев. Тут и приходила на помощь водка — «такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека...». Наступали минуты и часы глубокого упадка сил и духа,

тем более что надежды на скорое освобождение иссякали...

Правда, и в «подлой» Вятке нашлись люди, и вполне хорошие люди (отношения с ними «акклиматизируемого» Салтыкова складывались, впрочем, непросто: как скажет он много позже, — люди-то были хорошие, но хорошие совсем «не по-нашему»).

Прежде всего, несомненно к «хорошим людям» принадлежало семейство самого губернатора. Конечно, Салтыков встречался с Середой и до своего назначения старшим чиновником особых поручений. Но теперь он стал вхож не только в губернаторский служебный кабинет, но и в дом Акима Ивановича.

Современники замечали, что добрый и обаятельный Аким Иванович, постоянно погруженный в служебные дела, в тот труд, добросовестное исполнение которого отнимало и время, и силы, и здоровье, а он уже был не молод, — что Аким Иванович был несчастлив в семейной жизни. Но он прощал жене ее привязанности, и, по-видимому, одной из таких привязанностей стал для Наталии Николаевны Михаил Салтыков. Губернаторша приняла одинокого молодого петербуржца под свое покровительство. Он же, не избалованный, в особенности в годы юности, материнской нежностью, испытывает в своем тоскливом одиночестве и любовное и сыновнее чувство к этой красивой и ласковой женщине, не намного старшей его годами.

Двери губернаторского дома открыли Салтыкову и двери гостиных вятского «общества». Кого только не встречал он в этих гостиных! Всяческие Порфирии Петровичи, Размановские, Разбитные, Техоцкие и другие колоритные персонажи будущих «Губернских очерков» несомненно вышли из недр вятского «бомонда». Низменная чиновничье-обывательская среда была однообразной и, так сказать, одноцветной, и цвет этот был темным и мрачным, хотя нельзя сказать, чтобы «темнота» эта не имела самых различных и порой весьма оригинальных оттенков. Постепенно от этого плоского темноокрашенного фона стали отделяться в глазах Салтыкова и как бы увеличиваться, приближаться некоторые фигуры неординарные, оригинальные чем-то другим, а не выдающимися проявлениями низменности и подлости.

Салтыков, с его трудным, неровным и непокладистым характером, многим казался неприятным. Но эти многие были чужды и неприятны и ему самому. В кругу же

приятелей, а среди них учитель гимназии Тиховидов, доктор ведомства государственных имуществ Ионин — он становился и общительным, и простым, и веселым. И тогда прорывалось его язвительное остроумие, вспыхивало и заражало комическое вдохновение, неудержимая «сила смеха». Пожалуй, ближе всех в эти безрадостные годы ссылки стал для него едкий, насмешливый и проницательный Николай Васильевич Ионин и его семья, его маленький сын. В этой семье он мог быть самим собой, еще простодушным юношей, здесь он сам становился почти ребенком, часами играя с маленьким Колей, даря ему игрушки, наряжая в свой вицмундир...

И вне светского «бомонда» люди нашлись...

Первые, не очень еще ответственные и сложные следственные дела и дознания показали проницательному Середе, что он имеет дело с человеком хотя и совсем еще молодым (в январе 1849 года Салтыкову исполнилось 23 года), но не только усердным и исполнительным. Выдающиеся способности Салтыкова обнаружились сразу же, стоило лишь ему заняться «делом». Он необыкновенно быстро схватывал суть самого запутанного «казуса», умел эту суть толково изложить, тут же предложив ясное, логичное и бесспорное решение.

И потому Середа в начале 1849 года поручил ему действительно сложное и ответственное дело — составление отчета по губернии за прошедший год: этот отчет представлялся министру внутренних дел и царю.

Сведéние воедино многообразнейших и часто противоречивых докладов, сообщений, отчетов требовало огромного напряжения, но когда в начале марта усиленная работа была закончена, напряжение спало, Салтыков вновь пытается найти пути к освобождению. 11 марта 1849 года он просит об увольнении в четырехмесячный отпуск на родину — в Тверскую и Ярославскую губернии — и в Петербург «для принятия советов от тамошних врачей касательно болезненного состояния». Его тревожило, что усилия родителей и друзей недостаточно настойчивы, что требуется его личное вмешательство для поддержки того «всеподданнейшего прошения на высочайшее имя», которое как раз в это время, 10 марта, подали Ольга Михайловна и Евграф Васильевич Салтыковы, теперь уже знавшие, в чем винят их сына. Умоляя простить и возвратить на службу в Санкт-Петербургскую губернию «под непосредственный их родительский надзор 22-х летнего сына их Михаила», Ольга Михайловна

и Евграф Васильевич высказывали твердое убеждение, что к написанию тех повестей, которые послужили причиною его высылки, «побудился он не дурным образом мыслей», а, не больше не меньше — «одним лишь необдуманным желанием выказать свое ребяческое остроумие»!

После двухмесячных «путешествий» по канцеляриям — из «комиссии прошений, на высочайшее имя приносимых», к военному министру, министру внутренних дел, шефу жандармов, наследнику-цесаревичу — просьба родителей Салтыкова наконец в форме «всеподданнейшего доклада» 26 мая была доложена царю. Резолюция императора была предельно лаконичной: «Рано». А между тем деловая репутация Салтыкова все упрочивается: именно в конце мая, когда была начертана высочайшая резолюция, Середа поручает ему исполнять обязанности правителя своей канцелярии.

Просьба Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича дошла до царя через месяц после ареста главных участников социалистического кружка Петрашевского, когда уже вовсю шел «перебор» тех, кто посещал его «пятницы». А ведь и Салтыков был среди этих посетителей...

Тревожная весть о петербургских арестах друзей и товарищей и среди них «многолюбимого и незабвенного друга и учителя» Михаила Петрашевского достигла, конечно, и Салтыкова. Надвигалось какое-то новое «волшебство», подстерегала какая-то ловушка. Ждал ли Салтыков ареста? Трудно сказать, но допроса и следствия он ждал несомненно... Не давала покоя только мысль: когда очередь дойдет до него, что станет известно следственной комиссии на допросах арестованных о его роли и месте в предприятиях друзей-петрашевцев? Как вести себя ему, старшему чиновнику особых поручений, а с конца мая по конец августа правителю канцелярии губернатора, в случае привлечения к следствию?

Несмотря ни на что, Салтыков продолжает много и напряженно работать, неуклонно и со всей присущей ему нетерпимостью преследуя служебную неисполнительность, нерадивость и равнодушие. Уржумский городничий доносит об эпидемии брюшного тифа в местной тюрьме, где в одной комнате на нарах и под нарами ютились десятки заключенных. Салтыков срочно командирует туда чиновника для расследования. Эпидемия идет на убыль, городничий доволен и ждет чуть ли не награды. Но болезнь вновь вспыхивает, умирают арестанты. Салтыков взволнован и раздражен, он пишет городничему прямо и резко: «Делаю вам строжайший выговор за предыдущее донесение ваше, которым вы заверяете, что опасность от тесного помещения в Уржумской городской тюрьме уже миновалась, и вообще за вашу крайнюю нераспорядительность и непростительную небрежность в этом случае».

Все новые и новые дела требовали внимания старшего чиновника особых поручений и правителя канцелярии губернатора. Все новые «входящие» и «исходящие» бумаги нужно было разобрать, вынести решение, отдать переписывать. Но беспокойные мысли, душевная тревога, как ни пытался заглушить их Салтыков почти лихорадочной деятельностью, не покидали...

А следственная комиссия в Петербурге продолжала свою работу, вела допросы, снимала показания. Посаженные в Петропавловскую крепость Петрашевский, Достоевский, Спешнев писали страстные, до сих пор волнующие нас показания-исповеди, защищая свои идеи, объясняя причины, подвигнувшие их на обсуждение злободневных социальных, экономических, юридических вопросов, отрицая «разрушительность» этих идей, опасность для общества своей «пропагаторской» деятельности.

И вот комиссией был составлен список лиц, заподозренных в сношениях с Петрашевским. В этом списке значилось и имя Салтыкова. Комиссия, впрочем, поначалу не видела надобности привлекать к следствию тех несколько человек, в том числе и Салтыкова, кто уже ранее был сослан «в отдаленные места империи за политические их преступления». Но император Николай не имел обыкновения забывать и прощать своих врагов, а таковыми были для него и декабристы, и петрашевцы, и очень может быть, что имя Салтыкова, ходатайство об освобождении которого из ссылки было им отклонено какие-нибудь два месяца тому назад, вновь всколыхнуло в нем всю его ненависть. Не согласившись с мнением комиссии, 27 июля 1849 года он «повелеть соизволил» раскрыть, какие эти, уже наказанные за политические преступления лица, «имели связи и сношения и каким образом эти сношения могли ими производиться с лицами, в настоящем преступном деле участвовавшими».

24 сентября, в 6 часов пополудни, в квартиру Салтыкова явились чиновник губернского правления коллежский асессор Кабалеров и жандармский штаб-офицер полковник Андреев и предложили ему ответить на «во-

просные пункты», сформулированные следственной комиссией и «весьма секретно» препровожденные вятскому губернатору Леонтием Васильевичем Дубельтом. Даже если «прибытие» этих лиц к Салтыкову и было в самом деле «внезапным» (как писал в своем рапорте губернатору чиновник Кабалеров), оно все же не было для него неожиданным, хотя, конечно, самый характер вопросов и не мог быть ему известен. Салтыков должен был отвечать тут же, немедленно и «с полной откровенностью» (так было сказано в секретном «отношении» Дубельта).

III отделение требовало полной откровенности. Но мог ли Салтыков быть откровенен с жандармами? Такая откровенность была бы гибельна и для него самого и для его друзей. Но он не мог и просто отречься. Он знал, что в распоряжении комиссии уже имеются показания арестованных, и в этих показаниях, может быть, что-то говорит отнюдь не в его пользу. Но что именно?

Мысль работала напряженно, лихорадочно, но четко. Салтыков был взволнован, но вряд ли растерян. Заключая свои письменные ответы, Салтыков счел необходимым особо оговорить, что ответов этих на вопросные пункты комиссии заранее не обдумывал. Но уж, во всяком случае, он очень и очень обдумывал их по мере писания показаний, писания, наверняка занявшего немало времени. Прежде всего следовало уловить тот подтекст вопросных пунктов, в котором можно было бы угадать и подходящий ответ. Салтыков признал то, что заведомо не могло не быть известным комиссии и, кроме того, не содержало ничего преступного. Да, действительно, с Петрашевским встречался, знал его еще с лицейских лет: «он был в старшем курсе, тогда как я был в младшем», да, «бывал у Петрашевского нередко по пятницам». Цели у этих собраний первоначально не было никакой. Потом Петрашевский предложил составить библиотеку в складчину из книг «преимущественно школы Фурье». «Впрочем, этою библиотекою я вовсе не занимался и книг из нее почти никогда не брал», так как состав ее меня не удовлетворял. С конца 1845 года или начала 1846 года и вовсе перестал интересоваться Петрашевским и его кругом. Так упорно «отнекиваясь» от близости с Петрашевским, Салтыков дает, однако, беглую, но выразительную его характеристику, как бы переключая внимание следствия с «крамольного» общества, которого, судя по его показаниям, вовсе и не существовало (подумаешь, складчинная библиотека!), на эту всего-навсего эксцентрическую личность, на этого странного чудака. С Петрашевским и дела-то никакого серьезного невозможно было иметь: как распорядитель складчинной библиотеки, забрал все деньги себе и выписывал всё какие-то ничтожные брошюрки, позволял себе разные выходки — «выходки дикие и неуместные, клонившиеся большею частью к произведению скандалов в публичных местах».

У Салтыкова, возможно, были какие-то неофициальные связи с Петербургом, может быть, переписка с Владимиром Милютиным или кем-то еще из петербургских друзей, разумеется, переписка с оказией, минуя ведомство шпекиных. Салтыкову, как кажется, было что-то известно о ходе следствия, и свою тактику он «согласовывал» с тактикой других петрашевцев. Иначе как понять, например, явное совпадение характеристики Петрашевского в показаниях Салтыкова и в «объяснениях» Достоевского, данных следственной комиссии в начале мая. «Меня всегда поражало, — писал Достоевский, — много эксцентричности и странности в характере Петрашевского... Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-то занят. Читает много; уважает систему Фурье и изучил ее в подробностях».

Салтыков готов признать, что в собраниях у Петрашевского бывали и политические разговоры, не имевшие, однако, какого-либо другого предмета, кроме текущих новостей. «Особенно демагогических идей не помню, чтобы кто-нибудь высказывал, исключая разве Петрашевского, который делал это более по удали и молодечеству, нежели по убеждению». Резкие выходки и мнения Петрашевского скорее отдаляли и отталкивали, а не привлекали к нему, почему, собственно, многие и прекратили посещения этого чуть ли не «дикого» и уж, во всяком случае, не опасного человека.

Без сомнения, эти несколько страничек показания стоили Салтыкову большого и тяжкого нервного напряжения. Нелегкой была и последовавшая за вечером 24 сентября беспокойная и бессонная ночь, когда вставали в памяти другие вечера — вечера жарких споров или мирных бесед в дружеском кругу, и тут же вспоминалась и вновь и вновь передумывалась каждая фраза вчерашнего «откровенного» показания. Не слишком ли оно было и в самом деле откровенным, не было ли в нем неосторожных признаний? Нет, нет, в сущности,

он подтвердил лишь то, что было заложено в вопросных пунктах.

Но в уме уже складывалось некоторое дополнение к написанному вчера. Желание «составить небольшую энциклопедическую библиотеку» объяснялось теперь не интересом к «школе Фурье», а общей с Петрашевским склонностью к литературным занятиям, возникшей еще в лицее, и тогдашним намерением издавать журнал. Несогласие же в выборе книг для библиотеки привело и к прекращению всяких отношений. Главная же причина, вызвавшая дополнительное показание, заключалось в другом. Салтыков предпринимает попытку, обращаясь здесь уже не к следственной комиссии по делу петрашевцев, а к тому, в чьих руках находилась его судьба, — к императору, — попытку, которая была одновременно и глубоко продуманной и, пожалуй, отчаянной и безрассудной, попытку, которая, конечно, не могла иметь никакого успеха — поставить себя под защиту закона: он ищет лишь одного — справедливости. Называя публикацию своей повести проступком, Салтыков не согласен видеть в ней такое преступление, которое должно быть наказано бессрочной ссылкой. «Находясь полтора года в изгнании, удаленный от родных, я как особой милости прошу, в оправдание свое, без предубеждений рассмотреть статью, за которую я наказан. Я вполне убежден, что в ней скорее будет замечено направление, совершенно противное анархическим идеям, нежели старание распространять эти идеи». Вряд ли это суждение можно назвать откровенной и искренней оценкой «Запутанного дела», хотя, пожалуй, искренним было постоянное в эти годы наименование повести «нелепой» и «ничтожной» — не в последнюю очередь и потому, что она стала причиной поистине нелепого перелома в его жизни, какого-то, как он полагал, бессмысленного провала, перерыва в нормальном существовании.

Разумеется, «особая милость» оказана не была, и, может быть, к лучшему: еще неизвестно, чем бы закончилось для Салтыкова новое, повторное рассмотрение его повестей. Показания были отобраны, но это, к счастью, оказалось чистой формальностью, не имевшей для Салтыкова никаких последствий. Военно-судная комиссия, принимавшая окончательное решение по делу петрашевцев, ограничилась тем, что в одном из заседаний в конце октября выслушала показания Салтыкова, так сказать, пропустив их мимо ушей. Каким образом, случайно или умышленно — чьей-то дружеской рукой — отведен был от Салтыкова столь близкий, опасный, может быть, губительный удар? Гроза прошла мимо, лишь задев своим темным краем, принеся, однако, много тяжелых, выматывающих душу минут, вызвав на многие размышления о своей жизни и своей судьбе. Как непростой итог этих размышлений ощущаются слова, написанные брату Сергею 18 октября: «Положи себе за непременное правило в жизни вести себя как следует честному человеку...» Вспомнились и горячие мечты и споры о «естественном благоустройстве» человеческих способностей и страстей, о привлекательности труда... Мысли о долге честного человека, о полезности труда на общее благо, пусть в обстоятельствах, не тобой избранных, обязательных, вытесняют страстную жажду труда привлекательного. Да и возможен ли — сейчас, а не в гадательном будущем — такой труд?

Что должен был подумать о своем старшем чиновнике особых поручений губернатор Середа, когда получил «весьма секретное» отношение Дубельта и когда читал салтыковские показания?.. Наверное, какое-то время выжидал из осторожности, но ничего не последовало — приговор петрашевцам был вынесен, Салтыкова он не затронул.

И вот в декабре 1849-го или начале января 1850 года на Салтыкова возлагается новое поручение, исходившее от самого министра внутренних дел, — «составление статистических описаний и инвентарей недвижимых имуществ городов Вятской губернии и подготовка соображений о мерах к лучшему устройству общественных и хозяйственных дел». Труд предстоял огромный и вряд ли выполнимый: ведь уездная статистика, которой когда-то начал заниматься в Вятке Герцен, часто просто высасывалась из пальца, а городское хозяйство не только уездных городов, но и самой Вятки находилось в совершенно запущенном состоянии. Вятские улицы, столь благодушно описанные Алфеевским, были вовсе не так привлекательны. Предполагалось, что Салтыков в ходе командировки по губернии «обозреет» города Вятку, Котельнич, Орлов, Сарапул, Слободской, Яранск, Елабугу, Нолинск, Малмыж, Уржум, Глазов, Царевосанчурск и Кай. Правда, по причине все новых и новых сыпавшихся на него обязанностей и других забот «обозреть» все эти города с целью собирания статистики и составления инвентарей ему так и не удалось, хотя в большинстве из них он все

же побывал с ревизиями, следствиями и другими поручениями.

Но вот подошло время составлять новый отчет по губернии, уже за 1849 год. Середа вновь поручает этот нелегкий труд Салтыкову. К нему опять стекается масса всякого рода бумаг — отчетов, донесений, статистических сведений — противоречивых, неточных, небрежных. Салтыков по-прежнему строг и требователен. Так, отчет котельнического городничего вызывает гневно-раздраженную реплику: «Предупреждаю вас, что за представление подобных нелепостей вы будете на будущее время подвергнуты законной ответственности». В Глазове делопроизводство запущено по причине «небрежности и неспособности городничего». Губернское начальство, пишет Салтыков, «всемерно стараясь о замещении полицейских должностей людьми благонадежными и встречая по недостатку их беспрерывные для себя в этом отношении препятствия, вынуждено часто сменять полицейских чиновников и замещать их новыми, еще неопытными по полицейской службе». Добросовестный и деловой чиновник, служитель закона, Салтыков еще убежден, что замена одного городничего или станового, неспособного способным, взяточника и лихоимца честным и бескорыстным, как иронически он скажет потом, — станового Зябликова становым Синицыным — будет способствовать «преуспеянию». Другими словами, «дело сводилось к личностям; порядок вещей ускользал из вида» («Имярек»).

Но вот изнурительный труд по составлению губернского отчета окончен. Отчет отослан в Петербург. Казалось бы, должно наступить чувство облегчения и удовлетворения — ведь «везде можно быть полезным», и он действительно оказался полезен. Но в личной судьбе ничего не меняется. Даже представление губернатора о повышении в следовавший ему чин — коллежского асессора — отклоняется в Петербурге. Наступает тяжелая душевная реакция, чувство подавленности, рождающее строки тоски и боли: «...для меня моя участь с каждым днем делается все более и более несносною, я изнываю и нравственно и физически, и я не знаю, к чему я буду способен, если это пленение души моей будет продолжительно» (из письма к Д. Е. Салтыкову от 21 марта 1850 года).

Ольга Михайловна и Дмитрий Евграфович пишут о каких-то попытках в его пользу, но как все это неопределенно, глухо и темно! Салтыков теряется в сомнениях и догадках. И действительно, Ольга Михайловна подала еще одно прошение на «высочайшее имя». Император обладал, однако, отличной памятью, и на «всеподданнейшем докладе» опять, уже вторично, почти через год, 11 июня, появляется жестокое слово «рано». Это столь характерное для всякого самодержавного образа мыслей символическое словечко решило, в сущности, судьбу Салтыкова на все последующие пять с половиной лет его жизни, какие бы решительные шаги ни предпринимались им самим, родителями, двумя вятскими губернаторами — А. И. Середой и Н. Н. Семеновым, влиятельнейшими сановниками николаевского царствования — оренбургским генерал-губернатором В. А. Перовским и генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым (одно время Салтыков хотел спастись от Вятки в Оренбурге и даже Иркутске!). Все было напрасно. Надеждам на освобождение, пока на троне сидел Николай, не суждено было сбыться...

Еще зимой прошлого года, в декабре, почти непроезжими дорогами, в санях, запряженных «гусем» (дороги были так узки, что приходилось запрягать лошадей не обычной русской тройкой, а одну вслед за другой), отправляется он с ревизией в «дикий» (по выражению Герцена) заштатный городок Кай, лежавший поистине «за лесами, за долами», «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», в самом далеком северо-восточном углу губернии (с этим городком будет связано одно из самых тяжелых его переживаний вятской службы). Кругом царило вечное ледяное безмолвие непроходимых бездонных вятских снегов, замерзших лесов, полей и рек. Сани то скрывались в мрачные бездны столетних ельников и сосновых боров, в потерявшие листву действительно угольно-«черные» на девственно-белом фоне осинники и березняки, то ныряли холмами и увалами, то скатывались на замерзшие русла рек и речушек, по берегам которых как бы росли из снега фантастическими грибами бесформенные груды «вятских» деревень и «починки» русских поселенцев.

В июне же 1850 года, когда самодержец не счел возможным выпустить его из «опального захолустья», Салтыков отправляется в город Уржум, памятный ему по переписке о брюшном тифе в местной тюрьме. Здесь, в тюрьме, он повстречался с характернейшим типом времени, знаменитым кляузником, лекарем Иваном Василье-

вичем Георгиевским, который заинтересовал его своим упорным «обличительством», своими беспрестанными жалобами на всех, всё и вся, за что в конце концов был выслан в Тобольск с запрещением «ябедничать». С любопытством смотрел Салтыков на этого странного, полубезумного, одержимого навязчивой идеей человека — своеобразное порождение все того же кляузнически-чиновничьего «порядка вещей», извращенную психологию и самый дух которого молодой чиновник все еще надеялся победить и искоренить «честной службой». И еще одно влекло его к Георгиевскому, возбуждало интерес и пытливый взгляд. Лет тридцать тому назад, еще студентом Медико-хирургической академии в Петербурге, был близок Георгиевский к стихотворцу графу Дмитрию Ивановичу Хвостову. Но ведь лет за двадцать до появления у Хвостова студента-медика в окружении поэта и сановника обретался отец Салтыкова Евграф Васильевич. Не забыл Салтыков Георгиевского, выпустил его потом на страницы «Губернских очерков» под именем Перегоренского, величающего себя «поклонником правды и ненавистником лжи» и при этом изобретателем трех удивительнейших наук: правдистики, патриотистики и монархомании.

Колеса вятского административного механизма — частицы общероссийского — вращаются и вращаются (вхолостую или нет — другой вопрос!). Составляются новые комитеты — по содействию сельскохозяйственной выставке в Петербурге, «о смирительных и рабочих домах» (то есть тюрьмах), о порядке содержания почтовых станций. Делопроизводитель в этих комитетах — Салтыков. Вскоре на его плечи возлагается еще одна ноша: он, как когда-то Герцен, готовит «Вятскую выставку сельских произведений». Эти «произведения» представляет не только Вятская, но и еще пять губерний: Казанская, Пензенская, Нижегородская, Симбирская и Саратовская — чуть не половина Европейской России! Разнообразие дел, которыми занят Салтыков, — удивительнейшее.

Во всем, что делает, что предпринимает Салтыков в это время, начинает проглядывать определенная жизненная задача, которая потом даст себя знать впервые в «Губернских очерках», а затем во всем творчестве. Эта задача, эта, может быть, уже сознательная цель — познание народной жизни, жизни крестьянина — хлебопашца, земледельца, зверолова, строителя и всяческого иного умельца, его духовных исканий; жизни низших городских сословий — того многочисленного слоя, что составлял основную массу городского населения — разночинцев, мелких ремесленников, торговцев, ютившихся в маленьких, двухоконных домишках, трудившихся в сапожных, шорных, столярных и слесарных мастерских, торговавших в лавчонках и питейных заведениях...

Еще в мае 1848 года только лишь появившегося в Вятке Салтыкова поразил своей торжественностью, величием и поэзией «народный праздник, к которому крестьяне привыкли веками» (Герцен), — «шествие» чудотворной великорецкой иконы св. Николая Хлыновского. В «Былом и думах» Герцен так передал легенду о «явлении» этой иконы еще в XIV веке: «Верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новгородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новогородцы поселились в Хлынове (Вятке), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки; новогородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку...» А Салтыков в «Губернских очерках» описывает, как этот народный праздник начинается в Вятском кремле, на площади и в кафедральном соборе, где хранится икона. «Соборная площадь кипит народом; на огромном ее пространстве снуют взад и вперед пестрые вереницы богомолок; некоторые из них, в ожидании благовестного колокола, расположились на земле, поближе к полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленные котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные медные гроши на свечу и на милостыню. Тут же, между ними, сидят на земле группы убогих, слепых и хромых калек, из которых каждый держит в руках деревянную чашку и каждый тянет свой плачевный, захватывающий за душу стих о пресветлом потерянном рае, о пустынном «нужном» житии, о злой превечной му́ке, о грешной душе, не соблюдавшей ни середы, ни пятницы... Тут же, около воткнутых в землю колышков, изображающих собою временные ярмарочные помещения, толкаются расторопные мещане и подгородные крестьяне, притащившиеся на ярмарку с бураками, ведерками, горшками и другим деревенским припасом. И весь этот люд суетится, хлопочет и беспрерывно обновляется новыми толпами богомолок, приходящими бог весть из каких стран. Гул толпы ходит волнами по

площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны». Что же, в конце концов, хочет выразить этот «гул толпы», что слышится в этом народном говоре, ласкающем слух «пуще лучшей итальянской арии»?

А потом, в третьем часу пополудни, площадь пустеет: «народ весь спустился вниз к реке и расселся на бесчисленное множество лодок, готовых к отплытию вслед за великим угодником». А там, уже в ночь под праздник, несметные толпы не только русских, но и вотяков, черемис, татар заполняют берега широко разлившейся Вятки. Пойменные луга скрыты еще под полой водой, и зелеными островами глядятся на бескрайнем водном зеркале рощи и боры на низменном правом берегу, и отражается в этом зеркале заречная слобода Дымково. Икона на богатом дощанике отправляется по реке, описывает это «шествие» Герцен, «с нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощаников, комяг, наполненных крестьянами и крестьянками, вотяками, мещанами, пестро двигаются за плывущим образом. И впереди всех — губернаторская расшива, покрытая красным сукном... Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на Великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, толпы некрещеных вотяков и черемис, даже татар, приходят молиться иконе. Зато и праздник имеет чисто языческий вид».

«Народный праздник», «дикое», но поразительное зрелище, какое-то удивительное «духовное торжество» — таково было впечатление Герцена. Сходное, но еще неясное чувство испытывал и Салтыков при виде этой пестрой, движущейся, сверкающей картины народного ликующего праздника и весеннего ликования природы. Томил и волновал душу вопрос, на который пока не было ответа: какая сила столь властно влечет эти толпы, каков смысл их стремлений, их веры?

Но все же это был праздник, какой-то особый, исключительный день, а чем же живет народная масса изо дня в день, из года в год, ведь в ее говоре явно слышатся порой «самые странные, самые фальшивые ноты», в ее «гуле» — «жалобные и молящие», «трезвые и суровые тоны»?

Итак, летом 1850 года Салтыков деятельно готовит Вятскую выставку плодов народного, крестьянского труда. «Распорядитель» выставки увлечен новым поручением.

Это уже не бесконечные вереницы отупляющих бумаг. Повеяло родным, близким: он ведь не новичок в сельском хозяйстве. Через местные сельские власти обращается Салтыков к крестьянам: «Везите на выставку все, что у вас есть, что производите и обрабатываете». Салтыков заботливо и внимательно отбирает экспонаты, беспокоится о помещении, в котором должна разместиться выставка. Слово главного распорядителя было решающим и, как мы сказали бы теперь, «при награждении победителей»: все медали выставки и большая часть денежных наград были отданы крестьянам. Перед Салтыковым открылась редкая возможность посмотреть на экономический быт народа уже и с более обширной, высокой точки зрения, с целью некоторых обобщений: недаром столь богато размышлениями и выводами то описание выставки, которое публикует в начале следующего 1851 года Салтыков в «Вятских губернских ведомостях» и «Журнале министерства государственных имуществ».

Этот министерский орган назвал организованную Салтыковым выставку «одною из наиболее изобильных, благоустроенных и поучительных во всей империи». Это «изобилие», однако, не обмануло трезво мыслившего Салтыкова. Выставка, конечно, поучительна, но скорее именно потому, что показала «младенческое», «недостаточное состояние сельской промышленности в Вятской губернии». Где же причины этой «недостаточности»? Салтыков может сравнить Вятскую губернию с другими губерниями средней России, участвовавшими в выставке, а также с родной ему Тверской. Что же оказывается? Постоянный, еще со времен петрашевства, интерес Салтыкова к экономическим вопросам дает себя знать и в анализе «общественных отношений» и «сельской промышленности» Вятской губернии. На обширных ее просторах нет помещичьего землевладения, а потому нет и крупных хозяйств, ибо в дореформенной России крупным могло быть лишь хозяйство помещичье (такую хозяйственную «машинищу» соорудила, например, Ольга Михайловна Салтыкова). А ведь «свойство самих улучшений в сфере сельского хозяйства таково, — пишет Салтыков, — что они возможны и приносят действительную пользу только в тех случаях, когда они делаются в больших размерах и на значительных пространствах». Наделы же государственных крестьян — основного сельского населения губернии — невелики, землевладение раздроблено. Конечно, в условиях небольшого хозяйства

возможен лучший за ним уход благодаря «личным трудам и достоинствам хозяина». Но много ли даст «личный труд»? Для хозяйственных улучшений необходимы материальные средства, которые даже у зажиточного хозяина уходят полностью на содержание себя и своего семейства. Да и сложившийся веками косный уклад крестьянской жизни, крестьянское сознание таковы, что «класс крестьян, как менее других образованный, с недоверчивостью смотрит на все нововведения, предпочитая испытанное уже веками и опытом нововведению, может быть, и полезному, но, во всяком случае, неверному...» Но что же, неужели поэтому помещичье землевладение предпочтительнее? Вряд ли можно заподозрить Салтыкова в том, что он хочет доказать такую мысль. Ведь помещичье землевладение, а следовательно, и помещичье хозяйство, крупное ли, мелкое ли, покоилось на мужицкой спине, а вовсе не на «улучшениях» и «нововведениях», и Салтыков, сын богатейшей помещицы, владевшей десятками тысяч десятин земли и тысячами крепостных крестьян, не мог не видеть этого. Где же выход, что надо сделать, чтобы вывести российское сельское хозяйство, и не только вятское, из «младенческого состояния»? Ответ на этот вопрос Салтыков будет искать в продолжение всей жизни, всего творчества.

Выставка была открыта с 15 августа по 1 сентября. Именно в эти дни из Петербурга шло предписание министра внутренних дел об утверждении Салтыкова, по ходатайству губернатора, советником Губернского правления. Это было уже весьма значительное повышение по службе (хотя чин его по-прежнему оставался незначительным — титулярный советник), особенно если учесть, что ему предстояло возглавить в Губернском правлении очень важное — хозяйственное отделение.

Двадцать чиновников ждало своего нового начальника на втором этаже одного из корпусов присутственных мест. Ждало его и бесчисленное множество дел (а значит, и бумаг), ведавшихся тремя «столами» хозяйственного отделения. Чем только не предстояло заниматься Салтыкову: городское хозяйство, казенные недоимки, рекрутская и земская повинности, народное продовольствие, лесное хозяйство, воинский постой...

Приступая к исполнению своих новых обязанностей со всей серьезностью и присущей ему ответственностью, Салтыков сразу же просит брата прислать необходимые тома Свода законов.

Прошла осень, наступала еще одна зима, уже третья зима его изгнания. Он опять с головой погружается в деловые бумаги — теперь уже бумаги Губернского правления. Это тоже своего рода забвение, самооглушение, опиум — та же водка, те же карты, бостон, вист, преферанс — у губернатора, вице-губернатора, в «благородном собрании»!

15 января 1851 года ему исполняется двадцать пять лет. Через неделю он пишет брату Дмитрию: я «гибну среди нелепых бумаг Губернского правления и подлейшего бостона».

Не надеясь уже на успех новых ходатайств, после второго императорского окрика: «рано», недовольная нежеланием сына жениться по ее выбору на богатой помещичьей дочке, Ольга Михайловна шлет в Вятку грозное письмо: раздраженно и сердито она прямо пишет, что ей уже тягостно продолжать бесплодные попытки, да к тому же угрожает лишить сына денежной помощи, оставив на советницком жалованье. «Неужели мое дело так безнадежно?» — с тревогой спрашивает Салтыков брата. «Бросили меня все, и знакомые и родные...» — горько жалуется он в другом письме, но тут же прибавляет гневно: родители «думают, что я как советник должен иметь посторонние доходы; если это так, то они ошибаются, потому что никогда рука моя не осквернится взяточничеством» (22 января). А еще через неделю: «..я так сделался ко всему равнодушен, что меня интересует только одно: быть в Петербурге». Маменька и брат Дмитрий никак не хотят и не могут понять эту неутолимую тоску по Петербургу, эту жажду освобождения из Вятки: ведь он не просто какой-то ссыльный, а советник, а о такой карьере даже в Петербурге можно было только мечтать.

Состояние его духа, его душевные настроения колеблются; сменяют друг друга подъемы и спады. Он пропадает, гибнет, отчаивается среди нелепых бумаг, за столом советника или за зеленым карточным столом. Но и с тем вместе он не позволяет себе быть равнодушным, когда речь идет об общественном благе, в гражданском служении которому видит смысл своей службы. Он искренне предан тому делу, которому волею судеб вынужден подчинить свою жизнь, он забывается в деле, но и увлечен им, и даже гордится тем, что приносит пользу: «...я службу свою считаю далеко не бесполезною в той сфере,

в которой я действую, хотя уже по одному тому, что я служу честно» (Д. Е. Салтыкову, 19 февраля 1851).

Он забывается в деле, когда его делает, и проклинает, сомневается, хандрит, когда дела нет, когда тонет в болоте нелепостей и окружающего бездельничества. Где-то в глубинах терзающегося духа хранится смутное знание другой судьбы, другого предназначения. Быть в Петербурге — не быть в Вятке, без этого предназначение не осуществится. Больше того, как это ни странно, даже быть в Оренбурге, в Иркутске, в Уфе — уже путь к освобождению, к истинной судьбе; но главное — не быть в Вятке. К этому направлены все помыслы — наперекор высочайшей воле, которую надо преодолеть, победить во что бы то ни стало. И здесь тем более не место равнодушию и примирению.

Публикация статьи о Вятской выставке совпала с усиленной работой над составлением очередного годового отчета, которое вновь поручено Салтыкову губернатором. Вновь накапливаются на его письменном столе из разных присутственных мест — губернских и уездных, горы всяческих донесений, справок, статистических сведений. Уже одна эта бездонность и неисчерпаемость бумажного моря способна привести в отчаяние, лишить покоя, особенно при таком нетерпеливом характере, каков у молодого советника. К тому же все приходится делать самому, без помощи столь необходимых способных и понятливых сотрудников. Чиновники же, просиживающие целые дни в «присутствии» Губернского правления, только раздражают и мутят душу, не без их помощи «все крайне неустроено и запущено».

«Части» административного и общественного управления, хозяйство городов, «сельская промышленность», делопроизводство — все это подвергается строгому и проницательному разбору. «Работы такая гибель, что я решительно нередко теряюсь», — пишет брату при конце этого подвижнического и изнурительного труда и в преддверии все новых безустанных (не бесплодных ли?) попыток разгрести помойные ямы губернского делопроизводства, привычного чиновничьего равнодушия, хозяйственного застоя и неразберихи: «Иногда и желал бы всякое дело обработать совестливо и зрело, но так устанешь, что дело невольно из рук валится. Помощников у меня решительно нет, ибо всякий старается как бы только поскорее сбыть дело с рук. Весьма замечательно, что я менее всех нахожусь на службе и более всех понимаю

дело, несмотря на то, что у меня есть подчиненные, которые по пятнадцати лет обращаются с делами».

«Сбыть дело с рук» — не в правилах ведающего хозяйственным отделением советника Салтыкова. Он быстро улавливает смысл дела, вникает в самую его суть, пишет ясно и содержательно. В составленных им служебных бумагах нет пустых отписок и формальных ответов.

Вспомним, что еще в конце 1849 года, при самом начале его службы в Вятке, Салтыкову было поручено составление «инвентарей» недвижимых имуществ городов Вятской губернии. Состояние городского хозяйства не только уездных городов, но даже и самой «губернии» — Вятки, при всей красоте ее естественного местоположения, находилось в удручающе-запущенном состоянии: ветхие дома обывателей-мещан, недостроенные казенные здания и церкви, темень и грязь на улицах. «Наружное устройство» городов весьма неприглядно. И Вятка «не может похвалиться красотою своего внешнего вида» (напишет Салтыков в отчете за 1850 год). А уж уездные города, в большинстве своем, как скажет через тридцать лет (!) об уездном городе Вятской губернии Глазове Короленко, были какие-то «ненастоящие» — заснувшие, захиревшие, почти умирающие. Салтыков, после назначения советником, уже не смог заняться выполнением министерского поручения, но, несомненно, воспринял его со всей присущей ему серьезностью. «В видах устройства городского хозяйства и усиления городских доходов», — пишет он в отчете за 1850 год, — начаты были «местные исследования, имеющие предметом собрание необходимых сведений об истинных способах увеличения доходов и потребностях городов». Это именно те «исследования», которые начал он сам. Хотя он и побывал в июне 1850 года в Уржуме, состояние уездных городов изучал он в это время по тем документам, что стекались в подчиненное ему хозяйственное отделение. Вятка же во всей своей живописной красе и своей провинциальной неустроенности открывалась ему и из окон его советницкого кабинета, и в часы нелегких путешествий по плохо освещенным, а то и вовсе не освещенным улицам, по деревянным тротуарам и грязи долгих весенних и осенних распутиц.. Значительное внимание в писавшемся отчете он и уделил описанию городского хозяйства и причин его вопиющей запущенности и отсталости. Главные, по его мнению, причины, тесно друг с другом связанные, — недостаток общественной самодеятельности и

ограниченность материальных средств. Сами «городские общества», «места, в которых сосредоточивается общественное управление городами Вятской губернии» (прежде всего городские думы), проявляют «крайнюю небрежность и медленность и крайнее нерадение о пользах общественных». Средства на содержание «сих мест» чрезвычайно малы, люди, действительно сведущие и заботливые, неравнодушные к «делам общей пользы», ничего, кроме обременения в общественных должностях, не видят, а потому занимать эти должности отказываются, избираются же люди несведущие и даже малограмотные. Особенно удручающую картину представляет в этом отношении Сарапульское городское общество, «состав которого с давнего времени был самый неудачный, ибо значительная часть оного или принадлежит к различным раскольничьим сектам, или же опорочена по суду и, следовательно, и в том и в другом случае не может быть допущена к исправлению общественных должностей». (И по-прежнему Салтыков все еще верит в «личность» чиновника ли, члена ли городской думы: «порядок вещей» ускользал, признавался все же порядком — сложившимся, узаконенным, а потому и законным.) Главный источник городских доходов — так называемые «оброчные статьи», то есть отдаваемые в содержание за определенную плату участки принадлежавших городу выгонных земель, рыбных ловель, лавок и т. п. В своих «исследованиях» по этой части Салтыков сразу же столкнулся с затруднением, о котором писал в «отчете»: отсутствовали планы городских земель, не было даже плана Вятки. И все же «чиновником, ревизовавшим Вятскую городскую думу и обозревавшим городские имущества <то есть самим Салтыковым>, открыты по г. Вятке некоторые оброчные статьи, бывшие доселе в негласном пользовании некоторых частных лиц и окружающих селений государственных крестьян». Тем самым были обнаружены новые источники финансирования городского хозяйства. Салтыков и в этом случае оставался верен себе: он требует соблюдения «всех форм, которые предписаны законом и служат единственным ручательством к искоренению произвола и злоупотреблений».

Если в статье о выставке Салтыков подробно характеризует экономическое состояние Вятского края и, естественно, особенности ведения хозяйства государственными крестьянами, то в отчете он особо касается их, этих крестьян, «нравственного быта», которому свойст-

венны две главнейшие порочные страсти — пьянство и ябедничество. Искоренению пьянства, подрывающего материальное благосостояние крестьян, должно способствовать более широкое использование «предоставленного обществу по закону права отдавать в рекруты крестьян, замеченных в дурном поведении, и ссылать в Сибирь на поселение тех из них, которые опорочены по суду». Страсть же к ябедам, конечно, увеличивает число «кляузных» дел в присутственных местах, но в ней есть, кажется ему, и своя положительная сторона: крестьяне верят в справедливое разрешение их жалоб и просьб. «Порок этот с приведением в большую стройность и ясность всех частей управления должен ослабиться сам собой».

Отчет за 1850 год был последним, который Салтыков писал для Акима Ивановича Середы, переводившегося на службу в Оренбург. Прощаясь с Салтыковым, губернатор решил особо отметить его деятельность. В отчете появляются вписанные им строки: «Особенного одобрения вполне заслуживает советник Вятского губернского правления титулярный советник Салтыков по отличному усердию к службе и неутомимой существенно полезной деятельностью при исполнении своих обязанностей по настоящему званию своему и по разным особым поручениям...»

Итак, отчет закончен. И вновь наступает время не административных и хозяйственных наблюдений и анализов, а самонаблюдения и самоанализа.

Толчком и поводом послужило расставание с Середой и его семейством.

Служебный итог был подведен в феврале и марте 1851 года в письмах к брату («я служу честно», «я менее всех нахожусь на службе и более всех понимаю дело»). Вновь осмысливает Салтыков итоги своей почти четырехлетней службы в Вятке в связи с полученным им известием о смерти в Оренбурге Акима Ивановича. Несомненно, и в Петербурге, в канцелярии Военного министерства, Салтыков был исполнительным чиновником, и канцелярская «га́лера» отнюдь не была для него, как, скажем, для Герцена, чем-то новым и непредвиденным. Все же там, в Петербурге, служба никогда не могла стать главным содержанием его жизни. Каждодневное хождение в канцелярию было само по себе, а умственные, духовные интересы, возбужденный обмен мнениями и идеями в кругу друзей, высокое искусство театра, наконец, первые литературные опыты — сами по себе. И это-то,

а отнюдь не чиновничья служба или карьера, и составляло жизнь, наполняло существование светом и радостью. В Вятке же получилось так, что все силы ума, все литературные способности, весь идейный и нравственный пафос, короче — весь огромный талант был положен на такую деятельность, которая в конечном счете могла только убить талант, уничтожить то «свое», что родилось в годы детства и росло и мужало в годы юности. Таково было самое страшное, самое мучительное противоречие вятского семилетия, противоречие, которое сделало жизнь Салтыкова в эти годы мучительно тягостной, окрасило его самочувствие, его душевное состояние безысходно мрачными, пессимистическими тонами. Временами он пытался уйти от этого «надрыва», спрятаться за иллюзией честной и полезной службы, забыться в ней, как забывался он порой в годы ссылки в вине или в «подлейшем бостоне» за зеленым столом.

Впрочем, была ли это только иллюзия? Не стоило ли отдать жизнь тому великому делу торжества законности? Не стоило ли, в духе этической программы социального утопизма, в русле поисков юридической правды, «правового порядка» (чем был, в частности, так увлечен Петрашевский), подчинить свой личный интерес общему благу — интересам общества и государства (которые еще осознавались как нечто нераздельное)? И, конечно, энергичная деятельность, нравственная бескомпромиссность А. И. Середы сыграли, наверное, свою роль в попытках молодого человека, так неожиданно брошенного в омут провинциальной чиновничьей жизни, найти опору, найти оправдание, найти жизненный смысл. Именно Середе, пишет Салтыков брату Дмитрию в марте 1852 года, «я обязан как настоящим, так и всем моим будущим, если я впоследствии успею как-нибудь выбраться на дорогу... Я сделался вполне деловым человеком, и едва ли в целой губернии найдется другой чиновник, которого служебная деятельность была бы для нее полезнее. Это я говорю по совести и без хвастовства, и всем этим я вполне обязан Середе, который поселил во мне ту живую заботливость, то постоянное беспокойство о делах службы, которое ставит их для меня гораздо выше моих собственных».

В своих размышлениях-воспоминаниях о Середе Салтыков не мог, конечно, учесть и оценить одного важного обстоятельства: ведь влияние испытывал не заурядный службист-чиновник, помышляющий лишь о добросовестном исполнении служебного долга и безупречной карьере в будущем. Личность Середы, так сказать, отражалась в личности Салтыкова — входила в особый богатый и сложный мир рождающегося великого мыслителя и художника, осваивалась складывающимся своим, салтыковским, а, пожалуй, даже уже и щедринским художественным сознанием.

Конечно, Салтыков многим был обязан Середе, но, в свою очередь, не обязан ли и Середа многим Салтыкову? Не в этих ли дружеских взаимных отношениях начальника и подчиненного берет свое начало та «фаза теоретических блужданий», которая выразилась в теории «практикования либерализма в самом капище антилиберализма»? Сознательное оформление этой теории как теории могло, разумеется, прийти позже, вероятнее всего, тогда, когда практиковать «либерализм» начало и само правительство — уже после смерти императора Николая.

Тяжело, почти с отчаянием переживает Салтыков расставание с Наталией Николаевной Середой. Образ этой женщины не покидает его в дни зимы и весны 1851 года, после отъезда Наталии Николаевны в Петербург (а затем и в Оренбург, к месту службы мужа). Только потому он «не удавился и не застрелился до сих пор в Вятке», что чувствовал ее сочувствие и поддержку, ее истинно материнское участие. Вновь, и в который уже раз варьируя лейтмотив своих душевных состояний времени «пленения вавилонского», — «мне так скучно, так грустно, что нет возможности терпеть более, потому что я совершенно один в этом безобразном захолустье», — Салтыков добавляет: «С отъездом Наталии Николаевны я потерял последнее, что было; одного только желаю, чтобы и тут я не потерял совершенно всего, а, кажется, что к тому все идет» (письмо к Д. Е. Салтыкову от 5 февраля 1851 года). Он мечтал о переводе в Оренбург, куда был тогда переведен Аким Иванович и куда переезжала Наталия Николаевна, он прилагает к тому огромные усилия, добивается согласия влиятельнейшего оренбургского губернатора В. А. Перовского и его брата-министра Л. А. Перовского. Но и на этот раз все оказывается тщетным...

Подходит пасха 1851 года, любимый с детства праздник, когда во всем спасском доме, по субботам, после всенощной, наступала радостная и благоговейная тишина: «все как будто сосредоточивалось и углублялось в себя» (очерк «Скука» — «Губернские очерки»). Именно

в праздничные пасхальные дни этого трудного года его настигает невообразимо тяжелая тоска, все больше и больше он впадает в состояние глубокой ипохондрии. В часы праздничного досуга, в сосредоточенности и самоуглублении грозным предчувствием тревожит его зловещее противоречие между данными природой силами ума и таланта и — «мелочной» жизненной практикой: послано еще одно (какое по счету?) напоминание в подведомственное присутственное место, в уездную городскую думу или земской суд, еще один городничий получил начальственный нагоняй, еще один становой сменен — что же изменилось? Мучит вопрос: не заводит ли изнуряющее и выматывающее служебное рвение в такой умственный тупик, из которого потом и не выберешься? В такие часы особенно остро чувствовалась душевная пустота, духовное одиночество.

Май, июнь, июль — эти месяцы оказались трудными и для Салтыкова-чиновника. В мае Вятка распрощалась с покидавшими свои посты губернатором и вице-губернатором. Отношения с новым вице-губернатором А. П. Болтиным никак не налаживались. Губернатора еще нет, вице-губернатор — человек новый, да и не особенно склонный, подобно Середе, утруждать себя служебными заботами и треволнениями — любимым его занятием оказалось устройство любительских спектаклей и концертов. И советник Салтыков работает не покладая рук, побеждая апатию и тоску неистовым служебным «запоем». Его решимость во что бы то ни стало вырваться из Вятки, где он изнывает и морально и физически, растет, желание же родственников — матери и брата — содействовать ему в этом, напротив, все уменьшается. Они настойчиво советуют ему перестать жаловаться и негодовать, спокойно идти тем путем, который, будь то в Петербурге или в Вятке (в Вятке даже верней), мог привести к венцу всех желаний — вожделенному «генеральству». Ему холодно советуют примириться. Как? Настаивать на том, чтобы остаться в Вятке, отказаться от надежд на избавление? Но ведь это значило бы, — с едва сдерживаемым чувством гнева и боли пишет Салтыков брату Дмитрию в июне, в самый тяжелый момент душевной невзгоды, — это значило бы «желать мне величайшего из всех зол, ибо, как я ни терпеливо переношу свою участь, но, во всяком случае, есть пределы, далее которых человеческая возможность не может идти. Я сознаю в себе совершенный упадок душевных сил и ожидаю, что еще немного времени — и я окончательно сделаюсь ни к чему не способным человеком, то есть ни к какому серьезному умственному труду». Родные его не понимают (и отныне уже не поймут никогда!).

Серьезный умственный труд — вот чего он жаждет, а такая жажда не может быть утолена тем трудом, в который уходят сейчас все силы ума, — часто трудом поистине каторжным — делового человека, чуть ли не идеального чиновника. Провинциальная жизнь, о, для молодого человека ты хуже смерти!

Существование становится все более безрадостным: уже нет сочувствия, добрых отношений и понимания, всего того, что он встречал со стороны старого губернатора. Новый, прибывший в середине лета, Николай Николаевич Семенов — человек приятный, даже кроткий — до слабости, но далекий от каких-либо «идей», даже бюрократических. Резкий в суждениях, самостоятельный, чуждый какого-либо подобострастия, Салтыков явно пришелся не по вкусу новым начальникам, да и он их не жаловал.

Может быть, Салтыков попытался, пользуясь не столько сочувствием, как это было при Середе, сколько губернаторской бесхарактерностью, внушить Николаю Николаевичу свое, «либеральное» понимание службы, но, конечно, в этом не успел. «Губернаторский нос» не поддавался «вождению», и даже не потому, что губернатор был активным противником салтыковского «либерализма», а просто от нелюбви к каким-либо беспокойствам и переменам... При Семенове Салтыков — просто честный, деловой и добросовестный чиновник, без всяких затей и «идей», заслуживший очередной чин, правда, с опозданием (в апреле 1852 года он стал коллежским асессором).

В конце апреля 1852 года исполнилось четыре года с того дня, как почтовая тройка увезла его из Петербурга в ссылку. Четыре года! Поистине есть о чем призадуматься «в этот достопамятный день». И в самом деле, не следует ли отдаться на волю божию, покончить с иллюзиями и надеждами. Что-то примирительно-усталое чуется в словах апрельского письма к брату: «...да будет, как велит судьба и звезда моя». Им все более овладевают скука, душевные силы иссякают. Он как будто успокаивается на том, что есть. Обстоятельства, «порядок вещей», служебные и житейские мелочи убивают энер-

гию сопротивления. В этом году он уже не предпринимает попыток освобождения. Чуждый окружающему, но почти с ним смирившийся, он отдаляется от «общества», уходит в себя. Он не в силах преодолеть глухую трагическую зависимость от «железных когтей» фатально сложившихся обстоятельств, он отчаивается порвать опутавшие, связавшие по рукам и ногам цепи. Как оказывается, от его личной воли зависит лишь одно — построить стену между собой и тем миром, который заключил его в свои «непотребные» объятья. Через много лет он с ужасом будет вспоминать и мучиться, будет писать, что он простил все, простил горькую обиду внезапной и жестокой высылки — надругательства над светлыми порываниями юности, простил все эти семь с половиной лет провинциальных скитаний, провинциальной грязи. Но он не мог простить этому «непотребному» миру горчайшей из обид — «обиды примирения».

Настроение мертвящей скуки одолевает, угнетает, подчиняет себе уставшую, «охилевшую» душу. «Ты не поверишь, какая меня одолевает скука в Вятке, — пишет он брату в октябре 1852 года. — Здесь беспрерывно возникают такие сплетни, такое устроено шпионство и гадости, что подлинно рта нельзя раскрыть, чтобы не рассказали о тебе самые нелепые небылицы». Желание избавиться от Вятки не проходит, но выражается как-то вяло и неопределенно: «Хотелось бы хоть куда-нибудь перейти в другое место...»

В чиновничье-обывательском «свете» осенью распространяются какие-то гнусные сплетни, смысл которых для нас скрыт, ибо Салтыков нигде не обмолвился ни об их источнике, ни об их содержании. Вызваны они скорее всего были личными отношениями, может быть, независимостью и нетерпимостью его характера и его поведения, стремлением служить так же, как он служил при прежнем губернаторе, играть роль «советника» не только по должности, может быть, его уже обнаружившейся резко остроумной манерой беспощадного высмеивания, всем тем, что определило потом неприязненное отношение вятских его «приятелей» к «Губернским очеркам» как «сатире на лица». Может быть, были грубо оскорблены чувства Салтыкова к Наталии Николаевне Середе... Может быть... Но, во всяком случае, этими отвратительными слухами вызваны тяжелые строки одного из самых мучительно-искренних писем Салтыкова из Вятки: «Да, провинциальная жизнь великая школа, но школа очень

грязная, и я отдал бы половину всей моей остальной жизни, чтобы хоть этою ценою откупиться от этой школы, полной клеветы и оскорблений... Чем больше служишь людям, тем более они будут требовать и, наконец, когда потребуют невозможного, то за неисполнение будут пить кровь до последней капли».

И вновь наступала осень, пятая осень вятского «плена»...

В одиночестве своей комнаты в доме Раша на Вознесенской улице, глядя на слезящиеся окна, он набрасывает проникновенно-личные, лирические, строки будущих «Губернских очерков» («Скука»):

«Скучно! крупные капли дождя стучат в окна моей квартиры; на улице холодно, темно и грязно; осень давно уже вступила в права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, с проницающею насквозь сыростью и вечным туманом, густою пеленою встающим над городом...

Свеча уныло и как-то слепо освещает комнату; обстановка ее бедна и гола: дюжина стульев базарной работы да диван, на котором жутко сидеть, — вот и все».

Перо скользит по бумаге, и ложатся на нее лирические воспоминания о светлых минутах детства, иронические картины провинциального быта, размышления о судьбе мыслящего юноши, заброшенного в провинцию...

«С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потухает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу! И то, что когда-то казалось и безобразным и гнусным, глядит теперь так гладко и пристойно, как будто все это в порядке вещей, и так ему и быть должно...

Я думал, в кичлизом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения...

О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!»

Где-то в душевных глубинах потрясенной и измученной личности вставал и рос усыпляюще грозный призрак примирения. В минуты одиночества, в минуты тяжелого упадка духа этот призрак, казалось, нес спасение от острой внутренней боли, от отчаяния, может быть — от самоубийства... Все благополучны и веселы, почему же и мне не быть веселым и благополучным, не радовать-

ся тем жизненным мелочам, которые услаждают обывательские сердца?

Но неужели сила обстоятельств столь непреодолима, порядок вещей столь непререкаем?

Примирение было все же лишь призрачным исходом из трагедии существования, и была с этим призраком непрекращающаяся, неустанная борьба.

Избавление от душевных терзаний, пусть недолгое, но успокоение приходили иной раз в многодневных скитальчествах по губернии. Именно эти скитальчества откладывались в памяти светлыми пятнами на темном и мрачном фоне все более постылевшей службы и «веселого общества» в благородном собрании или в вятских гостиных. Дорога успокаивала и умягчала напряженно работавший ум и озлобленное сердце. «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее время, если притом предстоящие нам переезды неутомительны...» Этим летом побывал Салтыков в уездных городах Орлове и Слободском. В жаркое время спускалась его легкая тележка к веявшей утренней прохладой Вятке-реке, подплывал к берегу паром-дощаник — и вот он уже на другом ярко зеленевшем луговом берегу. Весело бегут маленькие, но ходкие лошадки — вяткиобвенки; поеживаясь от утреннего ветерка, от свежести еще влажных и росных трав, весело помахивает кнутом молодой ямщик и радостно, покойно закутавшемуся в плащ путнику, жадно вдыхающему густой аромат трав и цветов вятской поймы. Из-за лесов, то густых «черных», лиственных, переливавшихся всеми оттенками зеленого цвета, то хвойных — сизо-зеленых, еловых, золотисто-янтарных боровых, сосновых, из-за холмов и перелесков встает навстречу сначала туманное, а потом — ясное, радостное солнце. Проходил день, и солнце, свершив свой путь по небосклону, скрывалось все за теми же огромными, неисходными вятскими лесами. Шла глубокая, таинственная, безмолвная ночь — с наслаждением предчувствовалась остановка на ночевку в одном из разбросанных в лесах, по берегам рек, речушек и стариц, «починков» — группы домов и служб, часто под одной крышей, принадлежащих большой семье русских поселенцев; а то и в «вотской» деревне, где дома стояли общей грудой, без всякого порядка...

Однако та дорога, что предстояла в ноябре 1852 года, была и утомительна и не сулила ничего привлекательного. Под возмущающе гнетущим впечатлением порочащих его сплетен, слушков и разговорчиков за спиной, раздраженный и готовый излить раздражение и негодование, лишь бы явился предлог, выехал из Вятки советник Салтыков, командированный губернатором Семеновым усмирять крестьянский бунт в Трушниковской волости Слободского уезда.

Была уже глубокая, темная осень, когда едва лишь пробудившийся день почти сразу же клонится к вечеру, хотя до вечера еще и далеко. И без того уже уставший и подавленный, трясся Салтыков под моросившим или струившимся потоками дождем, а то и под мокрым, тут же таявшим снегом. По краям узкой дороги стояли сплошной угрюмой стеной насквозь пропитанные ледяной пронизывающей до костей сыростью, поднимавшиеся до самых тяжело нависших туч леса, гнили в каких-то, казалось, вечных, никогда не рассеивающихся туманах болота и топи — бездонные «окна», «вадьи» и «чарусы», жилища, по местным поверьям, всяческой нечисти — лихоманок и лешаков...

На станциях и в избах, на постоялом дворе в городе Кае, где пришлось остановиться, было грязно, неуютно, холодно и голодно. Вспомнилось присловье, услышанное по дороге в ссылку: «мы и сами печку один раз в неделю топим». Внутреннее нервное напряжение все нарастало...

Еще в Вятке Салтыков прочитал донесение земского суда, полученное губернатором. Речь шла о так называемой Камской оброчной статье, то есть нескольких сотнях десятин сенокосов в пойме Камы и на полянах, расчищенных крестьянами в приречных лесах. Так уж повелось, что многие годы крестьяне косили здесь сено и считали его своей собственностью. Между тем земля эта была государственной и могла быть законно сдана в аренду с торгов ведомством государственных имуществ под уплату оброка, что обычно и делалось. Все, как оказалось, зависело от того, кто «содержал» оброк, то есть вносил плату, обусловленную соответствующим договором — «контрактом». «Оброкосодержатели», среди которых в течение многих лет бывали и купцы, и мещане, и сами крестьяне, хотя иной раз и входили в споры, раздоры и пререкания, не обременяли крестьян уплатами и не мешали им пользоваться покосами. Но последний оброкосодержатель кайский мещанин Иван Гуднин не был столь покладист: он просто счел все скошенное крестьянами сено своим и велел его отобрать, если крестьяне

платить за него отказываются. Прибывший на место становой пристав приказал — в соответствии с законным требованием оброкосодержателя — погрузить скошенное и высушенное сено на подводы и отвезти Гуднину. Крестьяне взбунтовались, сено не отдали, а Гуднину изрядно помяли бока.

Крестьянский бунт, сопротивление мужиков властям! — дело по тем временам нешуточное...

И вот Салтыков лицом к лицу с враждебно возбужденными и недоверчивыми лесными жителями — детьми этого дикого края — суровой природы и тяжкого мужицкого труда. Казалось, надо было «усмирять» бунт не столько этих мрачных, глядевших исподлобья, заросших по самые глаза бородами, темных и неграмотных — нарушающих закон — людей, но бунт самой природы. Салтыков и прибывшие с ним лесной ревизор и жандармский офицер пытаются убедить крестьян, объяснить им, что их требования незаконны, что вот эти документы — контракты, вводные листы — свидетельствуют о праве Гуднина на покосы. Салтыков уговаривает крестьян дать подписку, что они не платят оброк не по упорству, а по бедности. Но все эти меры — уговоры и увещания — не помогают. Крестьяне упорно и нераскаянно стоят на своем. Долго накапливавшееся и еле сдерживаемое болезненное раздражение разряжается в бурной вспышке: Салтыков угрожает присылкой на место возмущения воинской команды, о чем тут же в присутствии крестьян лихорадочно пишет и отправляет губернатору рапорт.

Крестьяне молча расходятся, остывающий от гнева и раздражения Салтыков уезжает: в течение нескольких дней, в ожидании ответа губернатора, уединившись в своей комнате на кайском постоялом дворе, он вновь и вновь возвращается мыслью к «своевольству и буйству государственных крестьян Трушниковской волости», он анализирует все имеющиеся документы, всю историю Камской оброчной статьи, он пытается войти в положение взбунтовавшихся мужиков. И вот уже готово подробное донесение губернатору с изложением всех обстоятельств дела и с полным оправданием крестьян.

Салтыков убеждается, что закон был нарушен с самого начала не крестьянами, а чиновниками, приложившими свою нечистую руку к этому запутанному делу. Даже размеры Камской статьи в разных бумагах называются по-разному, то это чуть ли не две тысячи десятин, то девятьсот с небольшим, а то и вовсе семьсот двадцать. Понятно, что «крестьяне, — пишет Салтыков в своем подробном донесении, — видя, что при одном содержателе статьи сей в состав входит более, при другом — менее пространства, легко могли заподозрить в этом деле произвол как со стороны содержателя, так и со стороны лица, вводившего его во владение статьею». Выразившись так осторожно, Салтыков тем не менее наверняка не сомневался, что такой произвол и в самом деле имел место, ведь, как оказалось, чиновники палаты государственных имуществ, заключая контракт с Гудниным, даже не имели представления о предмете сделки. «Крестьяне все вообще находятся в самом бедном положении, — продолжает Салтыков, — и хотя и есть между ними некоторые довольно зажиточные, но и они кажутся таковыми только сравнительно с другими, которые не имеют почти никаких средств к существованию». И потому, чтобы беспорядки не повторялись, надо передать всю Камскую статью в крестьянское пользование.

Слабый и боявшийся ответственности Семенов не решился послать воинскую команду (хотя в его предписании Салтыкову об усмирении бунта первоначально предлагалась и такая мера). Отправленный им в Кай управляющий губернской палатой государственных имуществ В. Е. Круковской — более опытный и спокойный, чем Салтыков, — сумел уговорить крестьян смириться, обещав им, что «об отвращении их нужды в земле будут приняты меры». Кто знает, были ли такие меры действительно приняты?

Возвратившись в Вятку, Салтыков опять окунулся в клоаку сплетен, клеветы и оскорблений. Его отношения с недовольным его действиями губернатором, полагавшим, что он ничего не сделал для усмирения крестьян, становились все неприязненнее и холоднее. «Я нахожусь под опалой у губернатора» и готов отдать половину жизни, чтобы откупиться от «великой», но грязной провинциальной жизненной школы. В таком настроении встречал Салтыков новый, 1853 год, в таком настроении встречал он свое двадцатисемилетие.

Но, конечно, не только глупые и мерзкие пересуды чиновничьих гостиных так угнетающе влияли на его душевное состояние. «Грязная провинциальная школа» — это и тот беспощадный урок, который получил Салтыков, «усмиряя» крестьянский бунт. Салтыков, в запальчивости и бурном нетерпении просивший прислать воинскую команду, понял, конечно, что убедить крестьян подчи-

ниться несправедливым притеснениям, не обманув их, нет никакой возможности. Он был резок, может быть, и груб, когда угрожал мужикам, но он был и растерян, встретившись «с живыми силами народа», с крестьянскими нуждами. В сознании его росло неразрешимое, может быть, даже и не вполне осознанное противоречие, возникало и тревожило вынужденное раздвоение, напрашивался вопрос, не находивший ответа. Нетерпеливое и страстное желание послужить справедливости, напряженная и нервная горячка «дела», которому отдавалось столько сил, вступали в подспудную борьбу с пугавшей мыслью: а правилен ли тот путь, который был избран как наилучший, пусть и вынужденный и подневольный? Беда не в том, что закон суров, на то он и закон, чтобы карать преступные деяния. Но всегда ли справедлив закон? И всем ли он служит одинаково? И всегда ли «неповиновение законным властям», подобное бунту крестьян Трушниковской волости, — преступление?

В суровой и беспокойной жизни Салтыкова этого времени забрезжил свет, наполнивший его одинокую, лишенную, после расставания с семейством Середы, но жаждавшую сочувствия и любви душу смутной, но вдохновляющей надеждой.

Аполлон Петрович Болтин, новый вице-губернатор, приехал в Вятку с совсем еще молодою, красивой женой и прелестными, кудрявыми и сероглазыми дочерьми-близнецами Анной и Елизаветой. В августе первого года их вятской жизни им исполнялось тринадцать лет. В губернских гостиных появляются две необыкновенно изящные и обаятельные девочки — непременные участницы любительских спектаклей и концертов.

Служебные отношения советника Салтыкова с вице-губернатором Болтиным постепенно налаживались, и вот он уже принят в доме на Спасской улице, где растут эти милые девочки. Покой и гармония нисходили в душу нервного, вспыльчивого, раздраженного Салтыкова, когда он, возвратившись из какого-нибудь «ненастоящего», погрязшего в чиновничьих беззакониях и кляузах уездного города и появившись в болтинском доме, слушал чистые и прекрасные звуки моцартовских и бетховенских сонат, извлекавшиеся из струн старого рояля не совсем еще уверенными нежными пальцами юных талантливых сестер. Его сердце радостно трепетало, когда он замечал вдали, среди пестрой листвы деревьев любимого им Александровского сада, в тени витберговской беседки знакомые силуэты...

Отчего в серый, дождливый и скучный осенний вечер, в затворничестве едва освещенного свечой кабинета «вдруг будто дрогнуло в груди моей сердце, отчего я сам слышу учащенное биение его?».

В череде картин, встающих из глубин памяти, появляются милые образы двух девушек-подростков. «Там, вдали, вижу я, мелькают два серенькие платьица... Боже! да это они, они, мои девочки, с их звонким смехом, с их непринужденною веселостью, с их вьющимися черными локонами! Как хороши они и сколько зажгли сердец, несмотря на свои четырнадцать только лет; они еще носят коротенькие платьица, они могут еще громко говорить, громко смеяться; им не воспрещены еще те несколько резкие, угловатые движения, которые придают такой милый, оригинальный смысл каждому их слову!» — записывает Салтыков осенью 1852 года.

Привязанность к одной из сестер, Елизавете, Бетси, все растет: «То была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца!»

Чистая и наивная красота юной девушки могущественно и неотразимо поражает ожесточившееся, но тем более способное загореться любовью сердце страстного и восприимчивого Салтыкова. Его любовное чувство — особенное, идеально-восторженное, проникнутое умилением и нежностью — воскрешает и очищает его, возвращает к жизни. В семействе Болтиных он ищет того, чего оказался лишен в своем собственном — доброты и ласки. Он думает найти здесь свое счастье, тем более что Лиза — «добрая и неприхотливая девочка» (так напишет он незадолго до женитьбы).

Среди многих социальных идей, глубоко воспринятых Салтыковым в юности, была и идея высокого предназначения женщины. «Женщина представлялась какою-то теоретическою отвлеченностью, всегда нравственною, всегда окруженною ореолом и благоуханием чистоты. То был идеал, о котором мечтало молодое воображение, но который оно не дерзало себе воплотить, то была одна из вечно зовущих задач жизни, к которой горячо стремилось тревожное сердце, но перед осуществлением которой чувствовало какую-то целомудренную робость. Одним словом, женщина являлась скорее как один из величайших жизненных вопросов, нежели как воплощение, и чем светозарнее было облако, одевавшее этот идеал чистоты,

тем благоговейнее относилась к нему мысль, тем просветленнее и чище становилось самое чувство, им возбуждаемое» («Тихое пристанище»). Таким идеалом чистоты предстала Салтыкову юная Елизавета Болтина, и его чувство было благоговейным, просветленным и чистым, почти детским.

Так начиналась пронесенная через всю жизнь далеко не идеальная, трудная — радостная, счастливая и несчастная, трагическая — любовь Салтыкова. Лизе еще не исполнилось и пятнадцати лет, когда решение его уже было принято твердо и бесповоротно.

После еще одной неудачной попытки вырваться из Вятки — перевестись на службу в Уфу, под начало хорошего петербургского знакомого Я. Н. Ханыкова, тогда оренбургского гражданского губернатора, Салтыков 20 декабря 1852 года подает Н. Н. Семенову записку с просьбой о «защите и покровительстве» в деле «исходатайствования» четырехмесячного отпуска в Ярославскую, Тверскую и Московскую губернию. Официальным деловым стилем, за которым невозможно не почувствовать едва сдерживаемого мучительного напряжения, какого-то пафоса отчаяния, но внешне холодно и бесстрастно мотивирует он свое прошение «безусловной своей покорностью»: «вредное направление, за которое я так много, хоть и заслуженно пострадал, давно отброшено мною в число тех заблуждений молодости, к которым уже не возвращаются...». «К ходатайству сему, — заключает Салтыков — я вынужден еще и тем, что в прошлом году я имел несчастье лишиться отца, вследствие чего личное мое присутствие в семействе оказывается необходимым для устройства домашних дел».

Еще не зная о последствиях этого ходатайства, он в марте следующего года «решается на последнюю меру», как пишет тогда же брату, — просит проезжавшего через Вятку в Петербург генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева взять его на службу в Иркутск. Но и на этот раз император остался неумолим, опять прозвучало какое-то почти идиотски упрямое: «рано».

Однако пять лет «покорности» не могли все же остаться вовсе незамеченными. Свою роль могли сыграть и упоминание о смерти отца и необходимости устройства домашних дел, то есть дел по наследству и помещичьему хозяйству (помещичий царь не мог не сочувствовать такой «необходимости»).

Наступили длинные июньские дни и белые ночи 1853 года. Они были для Салтыкова светлыми и радостными не только потому, что на небе почти непрерывно сияло солнце, что природа жила самой бурной своей жизнью. Открылся какой-то просвет в его мрачном одиноком существовании: он был полон любви, надеялся на ответное чувство милого сердцу существа, ехал на родину, нетерпеливо ждал встречи с матерью и ее согласия на соединение с Лизой...

Салтыков уже направлялся теперь не на северо-восток, в дебри прикамских лесов, где бунтовали мрачные и суровые мужики, по по обсаженному березами тракту на Яранск и дальше, к юго-западу, спешил он в родные места Тверской губернии. За белыми стволами берез мелькали зеленеющие поля ржи, льна и гречихи, и уже появлялись с детства знакомые бедные деревеньки средней России, крытые соломой крыши, смотрели вслед его повозке, запряженной уже не «гусем», а тройкой, смирные добродушные жители этих деревенек...

В конце июня Салтыков вновь, через много лет, увидел дом своего детства, обветшавшую церковь Спасова Преображенья на пригорке. В почти заброшенном доме уже не бродил старик отец: больше двух лет покоился он на бедном кладбище около церкви, мать же избрала своей «резиденцией» расположенное неподалеку село Ермолино.

«Родственные связи... как-то слишком слабо держатся в нашем семействе», — замечал Салтыков в письме к брату, собираясь на родину. Ему хотелось возродить и укрепить эти связи, нарушенные долгой разлукой, он предвкушал радость встречи с близкими людьми, с матерью, надеялся увидеться с братьями. Но надежды на укрепление родственных и братских отношений не сбылись. Братья, может быть, даже намеренно, выказывали холодность и вовсе не торопились оставить свои будто бы неотложные дела. Дела же брата Михаила мало их волновали. И от слабых родственных уз почти ничего уже не осталось.

Салтыков был расстроен, огорчен, обижен. Что за обстоятельства такие? — спрашивал он Дмитрия, обстоятельства, которые могут помешать отлучиться из Петербурга в деревню на одну-две недели для свидания с ним? Из Спасского он посылал письма и брату Илье, но — никакого ответа. «Такое забвение не только родственных чувств, но всяких приличий и огорчает и изумляет меня. Грустно, если все мы будем как чужие». Будем? Но

«мы» уже стали чужими, равнодушными к делам и судьбам друг друга. Семейные, братские чувства, хранившиеся в душе Салтыкова все годы ссылки, никнут, как никнет растение без влаги, родственная холодность вызывает негодующий отпор: «А впрочем, я никому не навязываюсь», — заключает Салтыков письмо к Дмитрию, написанное уже по возвращении в Вятку.

Холодность и недовольство семьи, и маменьки Ольги Михайловны прежде всего, вызваны были и твердым намерением Салтыкова распорядиться своей судьбой не так, как этого хотелось родственникам. Ольга Михайловна тоже сына ждала и по-своему «милого Мишеньку» любила, но ее любовь была любовью особого рода: предполагалось беспрекословное послушание маменькиным матримониальным предначертаниям. Страстные и «неженные» чувства Михаила к какой-то бесприданнице ее не интересовали, существенными представлялись имущественные интересы семьи, да и, как она понимала, интересы самого Михаила.

Противоречивые мысли и настроения боролись в сознании и душе Салтыкова в эти четыре месяца отдохновения от служебных тягот в семейном салтыковском гнезде. Оживали воспоминания — радостные, грустные, мрачные. Вот маменькина спальня, вот кабинет отца, детская, классная: все это безмолвно, все уже не живет, а лишь хранит тени не столь уж далекого, но невозвратно ушедшего прошлого. Он бродил по заросшему саду и парку, под выросшими липами, которые теперь не подстригались, заходил на хозяйственный двор, где любил когда-то бывать в детские годы, сиживал в раздумье возле церкви и у могильного камня, под которым покоился отец.

В первые годы вятской ссылки у него иногда возникало желание выйти в отставку и поселиться в деревне — в Спас-Углу или Ермолине, заняться хозяйством. Теперь же вряд ли такая перспектива привлекала его. Он чувствовал в себе литератора, творческий огонь уже горел в нем, и очерки провинциальной губернской жизни если еще и не писались, то уж, во всяком случае, складывались в какую-то, еще не вполне ясную картину. Образцы провинциальных знакомцев — чиновников-подьячих старых, но не ушедших времен, новых чиновников — «юродивых», городничих, становых, всего губернского провинциального «света», никчемных дворянских «талантливых натур» — все это поднимало накопившиеся и кипевшие негодование и злость, отодвигало в прошлое рационализм и сентиментальный утопизм первых «натуральных» повестей. Открывались новые стороны и грани таланта — Салтыков начинал смеяться, комический дар все больше давал себя чувствовать, но это был смех особого рода — желчный, саркастический и ненавидящий, смех очень и очень невеселый. Живо вставали и другие образы, другие картины — богомольцы, странники, бурлаки, мужики из глухих лесных углов, истовые старообрядческие «старцы», острожные арестанты — и это волновало душу, но рождало не смех, а любовное сочувствие или трагический отзвук: в этом многоголосии народной жизни чувствовалась будущая трагедия. И может быть, именно здесь, в отвлечении от «нелепых бумаг», среди лесов и полей родного спасского угла с особой силой стало работать творческое воображение, когда-то именно здесь впервые населившееся не дававшими покоя трагическими образами мучеников и страдальцев...

Салтыков съездил и в Москву, пережившую и своего кумира прошедшего десятилетия великого Мочалова, и так ужасно-мучительно расставшегося с жизнью гениального страдальца Гоголя. Москва как-то притихла, как бы переживая и осмысливая в эти тяжелые годы свое прошлое, пытаясь сказать какое-то «новое слово» в кругу славянофильском — аксаковском — или в новой, «молодой» редакции журнала «Москвитянин». Засверкала звезда так блестяще начинавшего драматурга Александра Островского. Поражал каким-то яростным, захлебывающимся многописанием, своими огромными статьями о литературе критик Аполлон Григорьев. Впрочем, все это выглядело еще как-то загадочно, неясно, недоговоренно.

Увиделся Салтыков в Москве и с другом детских и юношеских лет Сергеем Юрьевым — неким символом той студенчески-художественной Москвы «замечательного десятилетия», которая уже безвозвратно уходила в прошлое. Юрьев остался таким же «идеалистом», такой же «артистической натурой», чуждой не очень привлекательному реальному миру, в котором вот уже несколько лет «варился» Салтыков. Их московские встречи были печальны, много переживший и передумавший Салтыков почувствовал себя зрелым и умудренным рядом с «вечным младенцем» Юрьевым. Он ясно увидел, как непоправимо развела их жизнь, как далеко разошлись их пути.

И вот опять дорога, опять едет Салтыков теми местами, которыми радостный, с чувством освобождения, ехал он четыре месяца тому назад. Дни долгожданного, но

столь недолгого «побега» из Вятки миновали быстро. Равномерно и, пожалуй, успокаивающе мелькавшие перед глазами ноги лошадей не вздымали уже за тарантасом пыльных шлейфов, а забрасывали седоков комьями грязи. Ярко зеленевшие леса и поля поблекли, сорили последними желтыми листьями на обильные лужи и болота, отражавшие уже не голубое небо и сверкающую белизну высоких облаков, а рябившие сырой изморосью непроницаемых для солнца осенних туч. Нерадостное осеннее время, нерадостные, тоже какие-то осенние мысли не давали покоя. Он не сомневался, что Лиза и ее родители будут согласны на брак, который, конечно, на какое-то время придется отложить, ведь Лизе только что исполнилось пятнадцать лет. Но что скрыто в темном будущем? Как, при враждебности родственников и его ссыльном положении, сложится семейная жизнь? Неужели суждено начинать ее в Вятке? И не придется ли тогда обосноваться там надолго, если не навсегда, отказаться от честолюбивых мыслей о литературном поприще, а целиком отдаться служебной карьере? Закрадывалась в голову соблазнительно-примиряющая мысль: ведь и служба при его таланте и умении, при успешном движении по служебной лестнице тоже в конце концов способна удовлетворить честолюбие. Вспоминались слова, около года тому назад написанные брату: «Служить тогда хорошо, когда везет, и я, разумеется, не брошу службы, когда счастье повернется ко мне лицом; служить же без надежды вырваться когда-нибудь из общей колеи чиновничьего мира, быть всю жизнь советником или даже и вице-губернатором не стоит труда».

За эти дни отпуска он окончательно рассчитался с иллюзиями — остатками сновидений юности. Ясно и трезво осозналось: прошлое ушло безвозвратно. С семьей нет ничего общего, с товарищами-«идеалистами», подобными остановившимся часам, — тоже. Его мир — это уже был мир совсем иной, особенный, стержнем, опорой его было то свое, что зародилось в детстве, но укрепилось в вятских передрягах. И надо бережно и твердо хранить это свое, очищать его от всего чуждого, наносного и лишнего. (Это не значит, конечно, что со всеми иллюзиями, заблуждениями и блужданиями было покончено.)

Когда Салтыков вернулся в Вятку, он узнал, что Болтин переводится во Владимир. Встреча с Лизой оказалась и расставанием: предстояла разлука, может быть, и долгая. 6 ноября он довольно сухо информирует брата о событии, несомненно глубоко его волновавшем: «С согласия маменьки я просил у бывшего нашего вице-губернатора Болтина руки его дочери, но так как этой персоне в августе месяце только минуло пятнадцать лет, то и получил ответ, что я могу возобновить свое предложение через год. Во всяком случае, я имею надежду, что мое предложение не будет отвергнуто, и потому вправе считать себя в настоящее время женихом».

Надо было бороться — ради себя, ради Лизы! Казалось бы, после бесчисленных обескураживающих неудач, постигших родителей, друзей, благожелательно настроенных начальников или влиятельных бюрократов в их просьбах, ходатайствах и прошениях, следовало успокоиться, примириться, идти тем путем, что сам собой открывался перед преуспевающим чиновником, которым довольно начальство и который сам удовлетворен своей честной и бескорыстной службой. Именно в Вятке более чем где-либо испытал на себе Салтыков огромную подавляющую силу «порядка вещей». В сложных и терзающих размышлениях его и раньше и теперь какое-то место было отдано трагической и «обидной» мысли о примирении, и, может быть, больше всего в это время в этих размышлениях его занимает судьба той девушки, ради счастья которой он готов пойти на галеру любой «каторжной» работы, какой бы работа ни была, и на самоотречение, чего бы оно ни стоило... Он был счастлив своей любовью, но знал, что путь к счастью не будет легким.

Тем более что три новые попытки освобождения, предпринятые одна за другой, опять не имели никакого успеха.

В декабре 1853 года он решает сам написать письмо военному министру князю А. И. Чернышову. Но Чернышов уже подал в отставку, и письмо Салтыкова просто оказывается «приобщенным к делу» (такова привычная бюрократическая формула).

7 января уже следующего года ходатайство позволить Салтыкову «жить и служить, где пожелает», направляет в министерство внутренних дел губернатор Н. Н. Семенов. Вряд ли губернатор, вялый и слабый характером, хотя к тому времени, видно, помирившийся со своим советником, был способен на тот убедительный и энергичный тон, в котором составлено представление. Салтыковская рука несомненно прошлась по его строчкам. Если Салтыков, по увлечению молодости, и «имел несчастье впасть в заблуждение, — сказано в этом оригинальном

документе, — то в настоящее время, наученный опытом, он никогда <!> не станет ни явно, ни тайно <!!> обнаруживать идей, противных видам правительства». Конечно, вся почти уже шестилетняя служба Салтыкова могла дать основание к такому утверждению, хотя содержание его будущих «тайных» мыслей, пожалуй, представляло тайну и для него самого, смелая же эта формула, вне всякого сомнения, принадлежала отнюдь не осторожному, но мягкому и уступчивому Николаю Николаевичу, а его упорному и настойчивому советнику. Семенов мог решиться подписать такое представление и потому, что совсем незадолго до этого благонадежность Салтыкова была засвидетельствована в секретном рапорте чиновника министерства внутренних дел, посланного для разбора вятских кляуз и доносов (вряд ли этот рапорт не был доведен до сведения губернатора). Характеристика Салтыкова в этом документе не лишена проницательности: «...весьма способный и образованный, честный и дельный, но, как говорят, самонадеянный и смелый в словах и действиях; характера неприятного, но этот молодой человек достоин сожаления. Почти тотчас после выпуска из Лицея за какое-то литературное произведение он удален на жительство в Вятку. С тех пор понятия, идеи его изменились к лучшему, но нрав, напротив того, несколько ожесточился, к тому же избалован был губернатором Середою».

Губернатору, конечно, и в голову не могло прийти, когда он подписывал свою хвалу Салтыкову, что этот настойчивый, смелый и самонадеянный, к тому же избалованный молодой чиновник через каких-нибудь два-три года взволнует всю Россию своими очерками провинциального чиновничьего быта, а еще через одно-два десятилетия станет беспощадным и смелым сатириком-обличителем российской государственной машины.

Представление губернатора, так же как и письмо Салтыкова военному министру, оседает где-то в недрах министерских архивов.

После этих неудач начала 1854 года в настроениях Салтыкова вновь наступает долгая полоса усталости, бессилия, разочарованности. Этот двадцативосьмилетний человек, с огромным запасом внутренней силы и энергии, все чаще задумывается о печальной перспективе навсегда, до самой глубокой старости, остаться в Вятке, и остаться даже без надежды на устройство семейного очага, на создание собственного семейного дома. Его будущ-

ность — несчастная будущность бессрочного политического ссыльного — такова, что родители не захотят рисковать будущим дочери, а между тем Лизе уже исполняется шестнадцать лет. Прошел год — он может просить теперь ее руки, но ведь в его-то положении не произошло никаких изменений — а он так на них рассчитывал, с такой тревогой и надеждой ждал их!

И опять наступала осень — седьмая осень изгнания... Советник Салтыков, преисполненный невероятной скуки и непроходящей тоски, отправляется ревизовать уездные учреждения... Опять, опять, опять... Вернувшись в конце сентября в Вятку, с тоскливой безнадежностью пишет он брату: «..влачу свое существование со дня на день весьма непривлекательно. Намерения и предположения мои как-то не удаются, а это крайне грустно».

Он утомлен и недоволен тягостными и бесплодными препирательствами с городничими, исправниками, стряпчими и прочим уездным «начальством», копанием в отчетах, донесениях, справках, чаще всего — бестолковых, бессмысленных, никому не нужных. Его возмущал и злил один вид уездных обывателей, какие-то глупо-любопытные и одновременно равнодушные взгляды, бросаемые на него, губернского чиновника: постороннему здесь, в этих забытых богом палестинах, делать нечего, а потому и приезжать-то незачем. А он между тем едет, ревизует, учиняет нагоняи, а то и под суд отдает. Он никак не может отделаться от удручающего впечатления, которое оставил последний пункт его командировки — уездный город Глазов. «Типичный городок северо-востока. Два, три каменных здания, остальные все деревянные. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, старенькая церковь, очевидно пришедшая в негодность...» Быстрая речка Чепца, крутой излучиной впадающая в площадь в самом центре города. Тишина... непробудная, вековая, стихийная... Таким увидел Глазов — «ненастоящий», какой-то призрачный, ненужный город — Короленко, оказавшийся там через четверть века после Салтыкова. Время здесь как будто стояло на месте...

Он измучен долгими кочевьями по неоглядному раздолью родной, но часто столь неприветной, сумрачной равнины. На десятки и сотни верст раскинулась эта равнина «окрест, ничем не намекая на присутствие человека, ни на чем не представляя следов работы его, кроме узкой и исковерканной дороги, но и та как будто не человеческим рукам обязана своим существованием, а проло-

жена пустынным медведем, когда-то просекавшим здесь путь сквозь чащу лесную. Однообразная картина непросветного леса, бесконечно протянувшегося по обе стороны дороги, неизвестно откуда берущиеся лесные звуки, так чутко и отчетливо перекатываемые эхом из одного конца леса в другой, полумрак, в котором, словно в тумане, утопают очертания дерев, — все это, вместе взятое, действует на нервы раздражительно». Страшная власть могучей природы рождает в душе какой-то безотчетный страх, с которым напрасно борется рассудок. Напуганному воображению чудятся великаны, страшные звери, а вот баба-яга скачет в каменной ступе, погоняя железным пестом, соловей-разбойник пускает шип по-змеиному... Скорей, скорей — к людям: «жгучее, тоскливое нетерпение охватывает всем существом...» Проехав многие и многие бесконечные версты «по лесистой, почти безлюдной пустыне, испытав на своих боках всевозможные роды почв, начиная от сыпучих песков и кончая болотами с непременною их принадлежностью, мучительным мостовником, приятно сказать себе: скоро конец дорожным страданиям, конец ужасной, изнимающей душу телеге, конец уединенным станционным домикам, около которых вьются тучи комаров! Скоро город — и в нем приют» («Тихое пристанище»). Это были те немногие сладкие минуты возвращения, когда и постылая Вятка казалась чуть ли не домом родным, приютом радости, отдохновения и покоя. Открывалась та великолепная панорама города, которую с любовью описал он потом во «Введении» к «Губернским очеркам».

Но покоя не было. Его ждала трудная и опасная работа, предстояли еще более длительные скитания — не только по Вятской, но и по Пермской, Казанской, Нижегородской губерниям, новые тяготы и испытания — не только физические, но и нравственные — испытания духа.

Во время многочисленных путешествий по губернии ему не раз, в любое время года, приходилось проезжать или останавливаться в уездном городе Вятской губернии Сарапуле, где городничим был знаменитый своими деяниями и неумеренным полицейским усердием штабс-капитан фон Дрейер, увековеченный в «Губернских очерках» под именем Фейера.

Весенние и летние странствия, в тех случаях в особенности, когда мысли и чувства не были встревожены чрезмерно кляузными и обременительными ревизиями и следствиями, несмотря на все те же обычные дорожные

неудобства — тряские телеги, копоть курных изб, грязь станционных домов и постоялых дворов, — эти долгие и даже успокаивающие переезды от одной станции к другой, от одного города к другому хоть на какое-то время освобождали от отупляющей череды «входящих» и «исходящих». И сама природа не грозила своей темной таинственной силой, а, напротив, несла радостное ощущение общности с человеком — своим любимым дитятею.

Вот ярким весенним днем приближается Салтыков к Сарапулу. Удивительна своей красотой местность, окружающая город: «Необозримые леса, по местам истребленные жестокими пожарами и пересекаемые быстрыми и многоводными лесными речками, тянутся по обеим сторонам дороги, скрывая в своих неприступных недрах тысячи зверей и птиц, оглашающих воздух самыми разнообразными голосами; дорога, бегущая узеньким и прихотливым извивом среди обгорелых пней и старых деревьев, наклоняющих свои косматые ветви так низко, что они беспрестанно цепляются за экипаж, напоминает те старинные просеки, которые устроены как бы исключительно для насущных нужд лесников, а не для езды; пар, встающий от тучной, нетронутой земли, сообщает мягкую, нежную влажность воздуху, насыщенному смолистым запахом сосен и елей и милыми, свежими благоуханиями многоразличных лесных злаков... И если над всем этим представить себе палящий весенний полдень, какой иногда бывает на нашем далеком севере в конце апреля, — вот картина, которая всегда производила и будет производить на мою душу могучее, всесильное впечатление. Каждое слово, каждый лесной шорох как-то чутко отдаются в воздухе и долго еще слышатся потом, повторяемые лесным эхом, покуда не замрут наконец бог весть в какой дали. И несмотря на тишину, царствующую окрест, несмотря на однообразие пейзажа, уныние ни на минуту не овладевает сердцем; ни на минуту нельзя почувствовать себя одиноким, отрешенным от жизни. Напротив того, в самом себе начинаешь сознавать какую-то особенную чуткость и восприимчивость, начинаешь смутно понимать эту общую жизнь природы, от которой так давно уж отвык... И тихие, ясные сны проносятся над душой, и сладко успокоивается сердце, ощущая нестерпимую, безграничную жажду любви» («Губернские очерки»).

Не только далекие его сельские окрестности, но и сам Сарапул, его местоположение особенно хороши в яркие

и веселые дни ранней весны, когда Кама, на высоком берегу которой расположился город, разливается подобно морю. Свежий ветер быстро гонит по высокому голубому полю неба ежеминутно меняющие свои очертания стада чистых белых облаков, и тени от них несутся и играют на стремящихся и волнующихся массах талых вод, бегут по темным зеленым стенам дальних еловых лесов, пронизывают еще прозрачную зелень березовых и липовых рощ. Подобно тому, как с высоты вятского берега, так и с сарапульского холмистого нагорья в весенний солнечный день открывается — верст на двадцать — панорама удивительной привлекательности и красоты. «В виду этого простора, в виду этой силы стихии, в одно и то же время и разрушающей и оплодотворяющей, человек чувствует себя отрезвленным, чувствует, как встает и растет во всем существе его страстный порыв к широкому раздолью, который дотоле дремал на дне души, подавленный кропотливостью жизненных мелочей» («Тихое пристанище»).

Да, в виду этой могучей природной силы, в виду этого прекрасного и сурового величия Салтыков поистине чувствовал себя обновленным, отрезвленным от тошнотворного удушья чиновничьего бытия; охваченный каким-то восторгом, чуял он пока еще неведомые, подавленные, но просившиеся вовне творческие силы. Стоя на этом холмистом берегу, вглядываясь в однообразные, но властно пленявшие, притягивавшие дали лугов, воды и леса, ощущал Салтыков — с его чисто русской сдержанно-страстной натурой и пробуждающимся поэтическим гением — прилив мощных, не находящих еще выхода, трагически скованных духовных сил, неудержимую потребность созидания. Эта дикая природа была так мучительно близка сердцу своей суровой красотой, что какая-то неясная, неведомая, но острая боль любви к этому огромному миру русской жизни охватывала, брала в плен все существо, весь духовный и телесный «состав»... Поднималось и росло и то безмерное негодование, тот мощный гнев неприятия и другая боль — боль, вызываемая калечащими человека общественными неправдами, безмолвными подавленными стонами, терзающими медленно, но наверняка убивающими «мелочами». Это уже не была боль эгоистического одиночества, это была негодующая боль сострадания, в недрах которой уже зрела будущая гениальная сатира.

В долгие дни своих странствий, по многу часов ожидая паромов-дощаников на разлившихся реках и речках или останавливаясь в крестьянских избах — постоялых дворах, чутко и внимательно вслушивался будущий писатель в крестьянское слово, в народную речь, в которой звучали и глубокая трагедия тяжкой мужицкой доли, привычное терпение и безнадежная зависимость от какого-нибудь местного богатея, и неизбежное в конце концов пробуждение к чему-то еще неосознанному, к какому-то подвигу во имя правды. Темный мужик пытался иной раз найти эту правду или у какого-нибудь раскольничьего «старца», или ветхой, но еще властной старухи раскольницы, игуменьи лесного старообрядческого скита-монастыря. Одно хорошо знал этот мужик — нет правды у городничего, нет правды у станового, нет правды у городского чиновника-барина, нет у попа великороссийской, государственной церкви...

Мужик здесь, в северных заволжских губерниях, отличался от привычного Салтыкову тихого, смирного и терпеливо-богобоязненного тяглового мужика средней полосы России, мужика родного и отсюда, издалека, столь поэтического Спас-Угла. Такой, заволжский, мужик был вылеплен из другого теста, был выпестован сумрачной, неприветливой, часто жестокой, чуть ли не первобытной природой; он был свободен от деспотизма помещика, но зависел от самодурства чиновника, которому должен был подчиняться, но которого ненавидел, хотя и боялся. Его, чаще всего старообрядца, держала в своих железных руках не только власть суровой природы, но и другая власть, другая «дисциплина» — «дисциплина» старой веры, раскольничьей нетерпимости. «Поселяне, живущие в деревнях, которые, как редкие оазисы, попадаются среди лесов, упорно держатся так называемых старых обычаев и неприязненно смотрят на всякого проезжего, если он видом своим напоминает чиновника или вообще барина. Живут они очень зажиточно и опрятно, но на всех их действиях, на всех движениях лежит какая-то печать формализма, устраняющая всякий намек на присутствие идеала или того наивно-поэтического колорита, который хоть изредка обливает мягким светом картину поселянского быта» («Матушка Мавра Кузьмовна» — «Губернские очерки»).

Таким виделся Салтыкову крестьянин-старообрядец в тех деревнях-починках, что лежали на пути к Сарапулу, такой — прекрасной и суровой — местность, окружавшая город.

Не только своим удивительным местоположением, в чем-то сходным с местоположением самой Вятки отличался Сарапул от других уездных городов губернии, хотя и он, конечно, был во многом типичен для российской провинции. Те же городские выгоны, где пасся скот слободских крестьян и мещан, бесконечные заборы на окраинах, за которыми скрывались кособокие домишки, сады и огороды, те же грязные и пыльные немощеные улицы, тусклые фонари вблизи неизменного собора и присутственных мест — от их колеблющегося света становилось еще печальнее и неуютнее в окружающей темени. Однако Сарапул все же был городом побогаче и пооживленнее, городом торговым и промышленным, и потому, прежде всего, что стоял на берегу Камы — реки глубокой и судоходной. И на берегу, и на самой реке, особенно летом и осенью, — все в движении, в суете, в ходу, в шуме и гаме. Пристань в Сарапуле — так называемая «натуральная», большую часть времени навигации — «непроходимо грязная, с невозможным спуском и ветхими, полуобвалившимися навесами вместо складочных помещений» («Тихое пристанище»). Беспорядочно навалены на берегу горы громоздких товаров — груды рогожных кулей с хлебом и льняным семенем, бунты пеньковых канатов, короба с «горянщиной», щепяными подельями — плошками, ложками, бочками, кадками и пересеками, бревна, брусья, доски, железный и скобяной товар... Медленно и натужно, с многопудовыми мешками на согнутых спинах, меся лаптями или босыми ногами прибрежную грязь и песок, с гулким уханьем тянутся нескончаемые вереницы крючников. Орут ломовые извозчики на роспусках — длинных дрогах для перевозки всяческой клади. По бечевнику[1] с лямкой на натруженных плечах, натягивая бечеву как огромную струну, бредут бурлаки, оглашая берега своим выстраданным, надорванным криком. Тут же и выносливые низкорослые лошади вятки, впряженные в бечеву и влекущие баржу-коноводку. Звякают якорные цепи. «Плоскодонные расшивы, скорее похожие на огромные лубяные короба, нежели на суда, лесные плоты, барки с протянутыми от мачт бечевами, — все это снует взад и вперед, мешаясь в самом живописном беспорядке и едва не задевая друг об друга» («Тихое пристанище»).

[1] Бечевник — широкая береговая полоса, по которой шли и тянули бечеву бурлаки.

И выстроен Сарапул получше, чем другие уездные города: по главной площади и главной улице тянутся каменные дома и амбары, здесь же расположились многочисленные магазины с красным товаром — тканями, ситцами, кумачом, китайкой, а то и тафтой, атласами и сукнами; лари, на которых разложены калачи и баранки. Да и трактиры, под стать губернским, зазывно раскрывают свои двери. Тут же спешит в свои канцелярии и присутствия мелкий чиновничий люд.

Негостеприимно и мрачно, однако, смотрят на прохожего каменные купеческие палаты — дома богатых купцов-раскольников. «Постороннему человеку представляется, что там, за этими тяжелыми воротами, за этими толстыми каменными стенами, начинается совершенно иной мир, мир холодный и бесстрастный, в котором не трепещет ни одно сердце, не звучит ни одна живая струна. Там, мнится ему, в этой бесшумной и темной области, живут люди с потухшими взорами, с осунувшимися лицами, люди, не имеющие идеала, не признающие ни радостей, ни заблуждений жизни и потому равнодушным оком взирающие на проходящее мимо их добро и зло. Там старики отцы заживо пожирают безгласных детей; там проходимцы святоши, смиренные и угодливые с вида, в сущности же пронырливые и честолюбивые, держат в руках своих, при помощи фанатических старух, судьбы и честь целых семейств» («Тихое пристанище»).

Таков был купеческий центр богатого и промышленного Сарапула. А на окраинах города чернели грязные строения принадлежавших тем же купцам-раскольникам кожевенных, мыловаренных, китаечных фабрик и прядилен, чугунолитейных и железоделательных заводов, где в грязи, вони и копоти маялись тысячи мастеровых, тоже по большей части раскольников, беспрекословно подчинявшихся своим хозяевам — тысячникам и миллионщикам.

Сарапул, расположившийся на большой судоходной реке, на углу трех обширнейших северо-восточных губерний России — Вятской, Пермской и Вологодской, — отличался от других своих уездных собратий не только значением торгового и промышленного центра, но и значением иным — центра особых, неявных, но весьма крепких связей и тесных уз, которые можно было бы назвать нравственными, но нравственными в особом, специфическом смысле. Здесь, в Сарапуле, говорит один из героев салтыковской повести «Тихое пристанище», — «упорнее,

нежели в других местах, засела старинная наша Русь, не подавленная и не развращенная крепостным правом».

Да, Салтыков это видел, здесь действительно «засела» та Русь, которая не знала крепостного угнетения, не знала развращающей помещичьей власти, не знала всесильного самодержца-помещика и подобострастно склоняющегося и трепещущего перед владельцем смирного и забитого русского мужика. Здесь чувствовалось могучее дыхание понизовой волжской вольницы, не были забыты ни свободные новгородцы — первые насельники этих мест, ни вольные казаки-разинцы.

Но «засел» здесь и раскол — со своим упорным сопротивлением не только церковным реформам патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, но и той ломке, которой подверг Россию Петр Великий — воплощенный «антихрист».

Здесь не было крепостного права, но было рабство другого рода — то самое, которое почувствовал Салтыков за дубовыми дверьми и окованными железом воротами, за тяжелыми засовами купеческих домов.

Именно в Сарапуле перекрещивались пути, которые вели из Зауралья в Великую Россию». И этими путями ходили отнюдь не только праведники и «благочестивые христолюбцы», «крепкие адаманты древлего благочестия», открестившиеся от прелестей многомятежного мира. Исстари сделался Сарапул, с одной стороны, становищем всевозможных старообрядческих толков и согласий, скрывавшихся от православных властей где-нибудь в недрах или на задворках купеческих домов. С другой же стороны, именно здесь свили себе гнездо «искусники», мастера всяких зазорных ремесел и преступных промыслов — изготовители «мягкой деньги» (фальшивой монеты) и подложных документов. Беглые каторжане, крепостные и «некрута» (рекруты) находили себе приют у раскольничьих «благодетелей». Толпы всякого рода бродяг укрывались и за крепкими воротами купеческих домов, и под крышами бедных мещанских домишек. Бессильной местной полиции оставалось лишь принять в этих зазорных ремеслах и промыслах хотя и косвенное, но не безвыгодное участие..

Но бывало и так, что еще больший куш можно было сорвать на выдаче властям какого-либо давно разыскиваемого и чем-либо знаменитого старообрядческого «лжеинока». Так было и в этом случае: и городничий фон Дрейер не замедлил.

На этот раз, когда Салтыкову предстояло отправиться в Сарапул по городничьему донесению, стоял уж на исходе октябрь, надвигалась осень, а за нею и суровая вятская зима, и воздух уже не дышал нежной весенней влажностью, не был насыщен благоуханиями полевых цветов и лесных злаков, а веял холодным ветром с «полуночи» и нес запахи болотной тины и опавшего прелого листа. Повсюду болотные озерки и гибельные окна и вадьи покрылись бурой ржавчиной. Хвоя сосен, елей и пожелтевших лиственниц не источала под горячими лучами молодого апрельского солнца свежего бодрящего аромата, а удушающе пахла могильным тлением. Салтыкова ожидала пронизывающая до костей жестокая сырость тряских осенних дорог с буграми замерзшей грязи, топящиеся по-черному курные крестьянские избы, захудалые постоялые дворы и гостиницы уездных городов, полные клопов и тараканов. А с высокого затихшего сарапульского берега открывалась мрачная, хотя по-своему и величественная равнина, продуваемая всеми ветрами, дувшими чуть ли не с Ледовитого океана, с нависшими над нею ледяными тучами, чреватыми затяжными дождями и мокрым снегом.

И нестерпимое уныние овладевало сердцем, и чуткое растревоженное воображение рисовало картины одна другой непривлекательнее. Ему предстояло вести большое, по мнению местных и петербургских властей — особой важности следственное дело о раскольниках-старообрядцах. Несмотря на все преследования и недавнее «разоренье» их таившихся в глубоких вятских, прикамских и приволжских лесах монастырей-скитов, эти «благочестивые христолюбцы, крепкие ревнители нашея святоотеческия веры древлего благочестия» упорно не желали оставить «старую веру» и дониконовские иконы, книги и обряды, отказывались приобщиться не только к великороссийской, но даже единоверческой церкви (признанной государством и сохранившей некоторые раскольничьи обычаи). .

Итак, Салтыков только что вернулся в Вятку из своих поездок с ревизиями, а сарапульский городничий фон Дрейер при внезапном «строгом обыске» в доме мещанина Тимофея Смагина арестовал укрывавшегося в старообрядческих скитах Пермской губернии и давно разыскивавшегося властями беглого крепостного человека, мастерового уральских заводов Анания Ситникова. В своем рапорте вятскому губернатору городничий доносил, что

этот самый Ситников (раскольничий «старец»-«чернори-зец», «лжеинок», по официальной терминологии) играл очень важную роль в старообрядческой среде, будучи связан не только с русскими, но и с заграничными центрами раскольничества в Болгарии и Турции.

13 октября в канцелярии вятского губернатора — по рапорту сарапульского городничего — и было начато дело, ведение которого через два дня по получении рапорта и было поручено советнику Губернского правления коллежскому асессору Михаилу Салтыкову.

Салтыкову и раньше не раз приходилось заниматься делами, касавшимися раскольников, начиная еще с одного из первых, порученных ему, — о раскольничьем браке (раскольники отрицали браки, совершенные по православному церковному обряду, в свою очередь, государство и церковь не признавали раскольничьих браков). И он хорошо знал, сколь такие дела беспокойны даже с нравственной точки зрения, ибо ему, конечно, не была сочувственна политика насильственных преследований за убеждения — пусть нелепые, темные, средневековые. Правда, в статье шестидесятой Устава о предупреждении и пресечении преступлений, которой и должен был руководствоваться Салтыков в своей следовательской деятельности, говорилось, что «раскольники не преследуются за мнения их о вере, но запрещается им совращать и склонять кого-либо в раскол свой... и вообще уклоняться почему-либо от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных». Итак, разрешалось иметь «мнения», но не разрешалось их распространять. Но поди разбери, где эта граница между принадлежностью к «старой вере» и «совращением» в нее. Ведь раскольники имели свои моленные со старинными, дониконовского письма, иконами, со старопечатными книгами. Моление перед этими иконами или чтение этих книг, что это — приверженность к старой вере или совращение в нее? Салтыков, конечно, понимал, что ему придется иметь дело и с крестьянами-старообрядцами и преследовать их, а это не только вызывало его внутренний протест, но и было делом опасным в самом прямом смысле слова. Найди-ка барина-чиновника в лесных чащобах под все скрывающим бездонным снежным покровом вятских лесов или в липких объятиях смрадных болот. Да и со служебной точки зрения здесь подстерегала опасность или получить нагоняй за нерасторопность и упущения, или, напротив, «зарваться», как скажет он потом, проявить чрезмерное

усердие — при его строгом понимании служебного долга и «закона» и его вспыльчивом, бурном характере. Ведь предстояло и обыскивать, и допрашивать, и арестовывать, за что — за действительные преступления или всего лишь несогласие с обрядами великороссийской православной церкви? И кого — убийц и фальшивомонетчиков, или ветхих старух, доживавших в разоренных скитах? И, наконец, почему столь упорно, столь цепко держатся раскольники за свою «старую веру»? Может быть, именно потому, что они лишены возможности открыто исполнять свои обряды?

Салтыков был охвачен противоречивыми чувствами, когда в качестве следователя приступил к допросам «мещанина» Тимофея Смагина и «мастерового» Анания Ситникова. Что хотел, что мог и что должен он был узнать от этих странных, казавшихся ему, просветителю и социалисту, почти дикими, бородатых людей, выходцев из далекого семнадцатого столетия, смотревших на него мрачным, озлобленным взглядом?

Нет, скорей отсюда, из этой удушающей атмосферы раскольничьего скита и острога — «тюремного замка»; от этого фанатизма, лжи и насилия. Пусть сам городничий фон Дрейер (о, этот ревнитель православия!) и занимается делом, которое затеял, несомненно, затем, чтобы выслужиться. Что за невидаль — изловить двух раскольников, когда и Вятская, и Пермская губернии ими, так сказать, кишмя кишат! Не веря в какой-либо реальный результат всех этих расследований и преследований, да, в сущности, и не сочувствуя им, тем не менее и расследовать и преследовать — погрузиться в этот бездонный омут, тяжкое наследие многих веков российской жизни, в котором причудливо и почти фантастически сочетались социальный гнет, умственная темнота и невежество, религиозная нетерпимость, уголовные деяния, насилие власти и в то же время — протест угнетенных, страстная жажда «божьей правды», социальной справедливости, нравственного подвига во имя истинно христианского жития? Распутывать всю эту веками сплетавшуюся сеть, раскинувшую свои нити и узлы на огромное пространство от Волги до Урала, разбираться в этом неестественном «конкубинате» уголовщины и жажды духовного подвига — значило на многие месяцы обречь себя на физические и нравственные муки, даже на опасности, угрожавшие жизни, отказаться от так или иначе сложившегося быта, да, в конце концов, войти в такие де-

нежные издержки, которые не покрывались ни чиновничьим жалованием, ни «содержанием», получаемым от маменьки. Салтыков настоятельно просит освободить его от ведения дела, которое, как пишет он в первом же своем «весьма секретном» рапорте губернатору, «при ближайшем рассмотрении его, не имеет той важности, в какой представилось с первого взгляда». Губернатор согласился было отозвать Салтыкова, но предписание министра внутренних дел заставило его переменить решение. И Салтыкову, как «чиновнику, заслуживающему полного доверия» (а таким, по мнению министра, должен быть следователь по этому сложному делу), то есть чиновнику деловому, честному и, главное, бескорыстному, — Салтыкову пришлось подчиниться. Оставив дом на Воскресенской улице, заботливого крепостного дядьку Платона, строптивого, но верного и услужливого дворового человека Григория, сопровождаемый письмоводителем и солдатом-жандармом для охраны, Салтыков надолго покидает Вятку.

При аресте у «расколоучителя» «старца» Анания были найдены различные старообрядческие сочинения, старые книги дониконовской печати, многие любопытные документы и среди них — переписка раскольников, рисовавшая многие стороны их повседневного быта, их сокровенных отношений, их особенного мира, скрытого от глаз непосвященных, полного тайн и загадок.

Обнаруженные у Ситникова книги, рукописи, а главное, переписка с несомненностью свидетельствовали о его причастности к совращению, что сурово наказывалось. Это обстоятельство, вероятнее всего, и побудило раскольничьего «старца» развязать язык, раскрыть связи, назвать имена. Можно предположить, что сыграло свою роль и еще одно — отпадение Ситникова от старой веры, старообрядчества, ибо где ты, истинная «вера», где вы, страстотерпцы и мученики вероучения. («Рушилась старая вера... все это обман один сделался в руках нечестивых», — говорит порвавший с расколом герой рассказа Салтыкова «Старец» — «Губернские очерки»).

На страницах «Губернских очерков» впоследствии появится «благонамеренный» следователь Филоверитов, который, по его собственным словам, не имея никаких личных видов, доискивался лишь одного — истины. «Губернские очерки» писались тогда, когда Салтыков, наученный собственным богатым опытом, уже не мог не относиться враждебно-иронически к таким «надорванным», лишенным чутья реальной жизни, чуждавшимся «живого материала» чиновникам — «искателям истины» (иронический смысл вложен и в фамилию следователя, что в переводе означает — «любящий истину»). Однако и сам Салтыков в своей следовательской практике преследует подобную же цель — установить истину, точно и строго придерживаясь не только буквы, но и духа закона. Он предпринимает многочисленные обыски в домах прикосновенных к старообрядчеству сарапульских мещан и купцов, оговоренных Ситниковым. Он опять спешит в Глазов, трясется в увязающих по ступицу в осенней грязи телегах и бричках, колесит по окрестным лесам в поисках запрятавшихся в глухих дебрях раскольничьих скитов, обителей и келий. Дело Смагина — Ситникова все разрастается, принимая почти неслыханные размеры. Энергичный следователь не только допрашивает и обыскивает, но берет под стражу, заключает в остроги старообрядческих «лжеинокoв», «лжепопов», и «лжеиерархов». Обнаруживались не всегда приглядные тайная тайных раскольничьего мира, нити потянулись далеко за пределы Вятской губернии.

Не однажды оказывалось, что под покровом благочестия и «старой веры» скрывались не только молельни, но и станки для печатания «мягкой деньги» — дела, действительно противные «общим правилам благоустройства, законами определенным», то есть попросту говоря — дела уголовные.

9 декабря он пишет брату: «Мне поручили весьма важное дело о раскольниках, и придется мне ездить много и далеко, поручение это очень лестно, потому что оно от министра, но и очень тяжело, потому что я должен буду шляться по лесам и рискую даже жизнью». Поздравляя брата с праздниками Рождества и Нового года, он задается вопросом: «Где-то мне придется встретить их?» — и с горечью пророчествует: «Быть может, в лесах Чердынских».

В рождественский сочельник, в ночь с 24 на 25 декабря 1854 года ехал Салтыков по большому коммерческому тракту от Сарапула к Усть-Деминской пристани. Он направлялся в губернский город Пермь и Чердынский уезд Пермской губернии.

Снег то медленно опускался сплошной косой пеленой мимо быстро катившейся кибитки, усыпляюще мерно постукивавшей передком на выбоинах наезженного тяжелыми возами тракта, то вдруг снежная пелена прорыва-

лась, и сверкавшая голубизной луна освещала узкую ленту дороги, стены заваленных снегом лесов, ярко белых по одну руку и каких-то черно-сине-зеленых — по другую; «колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем; по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги — все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега». Несмотря на огромный теплый тулуп, холод залезал во все складки одежды, заставляя вздрагивать и расставаться с тем тревожным, но спасительным забытьем, которое уносило в призрачный мир сна от невыносимой, ненавистной реальности того дела, которое предстояло следователю Салтыкову. Бежали лошади по бесконечной полосе дороги, убегали назад леса, заросли кустарника и бурьяна, торчавшего сухими коричневыми будыльями из снежного моря, смутно, беспорядочно и тревожно мелькали в голове мысли и воспоминания. Ведь какая это была ночь! «Завтра, или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник», — думал и думал Салтыков, — «нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действо великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?». Вспоминались этот день и эта ночь общего безмятежного умиротворения и светлых наивных детских радостей в спасском доме, где в зале, украшенное свечами и подарками, источало аромат свежей хвои сказочное зеленое дерево, вспоминались немногие безоблачные дни в Вятке, когда забывалось, что на тебе мундир чиновника и так хотелось быть ребенком, детский праздник елки, на котором беззаботно веселились вместе с детьми такие неземные, очаровательные девочки

Болтины. Вот Лизе уже и шестнадцать, но придут ли дни долгожданного счастья?

Какой-то дьявол бросал в лицо ледяные пригоршни снега, все тело дрогло, от мрачных мыслей становилось еще холоднее и бесприютнее. «Зачем я еду? — беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода, — затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

«Святочный рассказ», из которого взяты эти строки, был написан Салтыковым через три года после этой поездки в Чердынские леса, и, возможно, подобные вопросы не рождались тогда в его голове с такой беспощадной, обнаженной ясностью. Однако вряд ли можно сомневаться, что, пусть противоречиво, смутно, не вполне осознанно, они его глубоко тревожили. Главным и не находившим бесспорного ответа был, конечно, вопрос об общественной потребности той антираскольничьей политики властей, проводником которой он вольно или невольно оказывался. Разные противоречивые ответы рождал возбужденный мозг. «То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать... «Чего ж искать, однако ж?» — мелькнула вдруг в голове мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь из сил... и, наконец, мое усердие... увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия... в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!..»

Ведь еще весной 1853 года было обнародовано «высочайшее повеление» об уничтожении тех строений раскольничьих монастырей-скитов, в особенности часовен и моленных, которые были построены после двадцатых годов, и всяческих других строений, которые принадлежали проживавшим в скитах мирским людям. И совсем незадолго до лихорадочных метаний Салтыкова по вятским, пермским и вологодским лесам в поисках указанных Ситниковым скитов они в большинстве своем были уже разорены, проживавшие там разосланы к местам постоянной приписки, а многие состоятельные игумены и игуменьи,

зная от влиятельных «милостивцев» в столицах и губернских городах о предстоящем разорении, поспешили приписаться к близлежащим богатым селам и городкам в качестве мещан и купцов. А там, отстроившись, где-нибудь в задних покоях и кладовых, а то и в банях и сараях на задворках вновь устроили свои тайные моленные.

И в полуразвалившихся старых строениях где-нибудь в лесной глуши остались только ветхие и немощные старухи. И потому, после неудачи в Глазовском уезде, где он, побывав по навету Ситникова, ничего не нашел, отправляясь теперь, опять-таки все по тем же ситниковским доносам, уже в пермские дебри, он не ждал каких-нибудь особенных успехов, и досада, раздражение, и еле сдерживаемая злость одолевали его в эту праздничную рождественскую ночь.

Но вот и показавшиеся в мутной мгле еще темного зимного утра огни большого села, вот, сквозь клубы выходящего пара, кибитка озарилась ярким пламенем сотен свечей иконостаса из открытых дверей церкви, где шла рождественская обедня, вот, наконец, и просторная крестьянская изба, отведенная для остановки проезжающих по казенной надобности чиновников. «Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты; перед образами весело теплилась лампадка; четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно, спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни».

И вдруг, может быть, под влиянием горьких мыслей и печальных, но светлых, размягчающих воспоминаний, его пронзило острейшее ощущение, сердце облилось кровью, жалость и сострадание охватили вдруг затрепетавшую и, казалось, давно привыкшую к таким бытовым примелькавшимся картинам душу; он будто впервые, какими-то новыми глазами не то что увидел, а принял в себя, «изваял» в памяти и сердце тщедушную фигуру ямщика на облучке отъезжающей кибитки: заиндевевшая и обледенелая борода, жалкая сермяга из серого домотканого понитка, дырявый и совершенно вытертый полушубок — единственная защита от лютого мороза... «Как-то тебе, бедняга, придется встретить Христов праздник!..»

В избе же, отведенной для постоя, он стал невольным свидетелем самого тяжкого для крестьянина горя: на семью пала рекрутская повинность...

Шла тяжелая, кровопролитная, губительная, несчастная для России война... «...наборы почти не перемежались. Не успеет один отбыть, как уж другой на дворе. На улицах снова плачущие и поющие толпы. Целыми волостями валил народ в город <Вятку> и располагался лагерем на площади перед губернским рекрутским присутствием в ожидании приемки... Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие и площадь перед ним, объектом — податное сословие» (то есть крестьяне и городские низы; дворянство и купцы набору в рекруты не подлежали), «а действующими лицами — военные и штатские распорядители набора, совместно с откупщиком и коммерсантами — поставщиками сукна, полушубков, рубашечного холста и проч.» («Тяжелый год»). В декабре 1854 года был объявлен чрезвычайный набор, а вскоре, 29 января 1855 года, совсем незадолго до смерти, император Николай подписал манифест, объявлявший призыв в народное ополчение, куда уже поступали и дворяне, и купцы, и разночинцы... Россия терпела тягчайшее поражение, и самодержавие предпринимало судорожные попытки как-то преодолеть трагическую безвыходность своего положения...

Было ли это на Рождество, или в какой-то другой день зимних поездок Салтыкова по раскольничьим делам, но несомненно, что он попал однажды в крестьянскую избу, крестьянскую семью как раз в то время, когда она провожала в рекруты любимого сына, прощалась с ним навсегда.

Сдержанно и, по видимости, спокойно и как-то сосредоточенно принимает русский мужик свое несчастье, стойко и покорно несет крест труда, горя и смерти. Плачет и причитает мать рекрута, но кажется почти бесчувственным привыкший к неизбывным мужицким невзгодам его отец, благостно и даже как-то радостно встречает своего внука-рекрута почти выживший из ума глава крестьянской семьи «дедушко». Но молодость-то не так легко расстается с светлыми надеждами, с неиспытанными и властно влекущими и грезящимися радостями лишь начинающейся жизни, с столь близким счастьем полной любви — со всем тем, что так внезапно и безжалостно отнимается... Скрывшись от постороннего глаза, горестно прощаются навсегда жених с невестой. Вся душа у Петруни переворачивается, наступает тот над-

лом, который может вызвать на решительный поступок самого кроткого и смирного человека. Так тяжко это прощание, эта предстоящая вечная разлука, эта невозможность вынести горе, что, в порыве отчаяния, бежит покорный Петруня из-под красной шапки, смутно, наверное, понимая бессмысленность своего поступка, но, выражая им, пусть затаенную, задавленную жажду жизни и протест против несправедливости слепой судьбы...

«Казалось бы, — думает Салтыков, с горьким чувством расставаясь с крестьянской семьей и отправляясь в свой малоприятный путь чиновника-следователя, — что общего между мной и этою случайно встреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом, и между тем... я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни». Первоначальные и вечно бьющие источники народной жизни — вот что больше и больше завладевало всем существом ссыльного чиновника.

Салтыков, однако, заблуждался, полагая, что не обнаружит в непроходимых лесных дебрях Пермской губернии ничего и никого, кроме нескольких доживающих свой старушечий век древних раскольничьих «лжеинокинь». Уже на святках, накануне Нового года, в пяти верстах от деревни Верх-Луньи он обнаруживает в лесах тайную раскольничью обитель «лжеинокини» Тарсиллы, в миру — Натальи Леонтьевой Мокеевой, унтер-офицерской дочери, выдававшей себя за дочь генеральскую. Оказалось, что, пользуясь поддержкой даже верхов пермского чиновничества (разумеется, за крупные приношения), она сумела развернуть в Перми самую широкую пропаганду в пользу старообрядчества, уговаривала бежать в скиты рекрутов, покровительствовала скрывавшимся преступникам. Среди непроходимых буреломов, гиблых болот, снегов без конца и без края удалось неутомимому Салтыкову открыть раскольничьи поселения, где проживали беглые рекруты, бродяги, каторжники... И недаром приходилось ему опасаться за свою жизнь.

Первые месяцы 1855 года дорожная кибитка Салтыкова застревает в сугробах и снежных заносах, мчится по наезженным колеям оживленных торговых трактов, скользит по льду замерзших рек и озер Пермской и Вятской губерний.

Нити активной раскольничьей деятельности тянутся

в Казань и Нижний Новгород, куда стремится Салтыков в начале весны, в марте. 19 марта — он в Казани, куда наконец доехал по «подлейшей» весенней распутице: «Из Вятки (420 верст), — пишет он брату из Казани 20 марта, — тащился я шесть дней и несколько раз рисковал окончательно расстаться с жизнью в какой-нибудь *проклятой зажоре*» (то есть скрытой в рыхлом талом снегу глубокой ямине на дороге. Как раз в эти дни Салтыков узнает, что его произвели в следующий чин — надворного советника).

В Казани произошла знаменательная встреча Салтыкова с Павлом Ивановичем Мельниковым, писателем и чиновником, уже тогда почти легендарным среди старообрядцев, непримиримым гонителем раскола, жестоким «зорителем» заволжских лесных монастырей. (Вскоре, в годы либерального «обличительства», некоторые критики даже будут отдавать ему пальму первенства в «соперничестве» с «Н. Щедриным», «издателем» «Губернских очерков»; а еще позднее он станет известен как автор двух художественно-этнографических романов из жизни раскольников и сектантов — «В лесах» и «На горах»). Салтыков и Мельников ведут совместное следствие по некоторым раскольничьим делам, в частности, производят обыск, не давший, впрочем, никаких результатов, у раскольника «беглопоповской секты казанского третьей гильдии купца Трофима Тихонова Щедрина», получившего будто бы рукоположение в «лжепопы» от своего старообрядческого «лжеепископа». Умудрен жизнью и закален в борьбе был старый Трофим, может быть, один из уже немногих твердых в «старой вере», коренных, кондовых, непреклонных ревнителей «древлего благочестия», тех «расколоучителей», которые еще помнили легендарные заветы знаменитых братьев Денисовых — настоятелей в XVIII веке поморской Выговской пустыни. Опытному Мельникову, затеявшему со стариком богословские прения, не удалось-таки переспорить мудрого Трофима Щедрина, и, несомненно, колоритнейшая личность старообрядческого начетчика произвела на Салтыкова глубокое впечатление; может быть, и в самом деле, как думают некоторые, взятый им псевдоним обязан своим происхождением встрече с Трофимом Тихоновичем.

К лету 1855 года следовательская энергия и личный интерес Салтыкова к старообрядчеству явно начали иссякать. К этому времени за прошедшие с ноября прошлого года месяцы под колесами возивших его бричек,

колясок, тарантасов, саней пролегло уже около семи тысяч верст. Опыт был накоплен огромнейший, материалов собрано множество. В июне, перед тем как отправиться в месячный отпуск на родину, Салтыков препроводил в губернскую канцелярию «секретное дело о раскольниках Смагине и Ситникове в 6 томах, в коих писанных и прошнурованных за моею печатью листов: в 1-м — 237, во 2-м — 565, в 3-м — 284, в 4-м — 259, в 5-м — 269 и в 6-м — 224. Сверх того, в особой переписке, следующей к 2-му тому — 278 листов». Сверх того, прибавим от себя, имеется еще том чистовых рапортов Салтыкова губернатору, заключающий в себе 695 листов. Итак, дело, начавшееся с ареста сарапульским городничим фон Дрейером беглого мастерового Ситникова, составило в конце концов около трех тысяч листов, в большинстве случаев писанных рукою самого Салтыкова!

По весне произошли два события, конечно, совсем не равные по своим масштабам, но тем не менее коренным образом повлиявшие на дальнейшую судьбу Салтыкова.

18 февраля 1855 года прекратил свое существование николаевский режим, тяготевший над Россией почти три десятилетия. Известие о кончине императора пришло в Вятку в начале марта, когда Салтыков, собираясь в Казань и Нижний Новгород, еще находился в своей «губернии». Его реакция на это известие в письме к брату Дмитрию, типичнейшему бюрократу николаевского царствования, скупа, сдержанна и в то же время знаменательна: «Не имею слов, чтобы выразить тебе то необыкновенное впечатление, которое произвела эта весть, и с какою быстротою разнеслась она по городу» (письмо от 4 марта). Отношение Салтыкова к покойному императору, конечно, не могло быть более снисходительным, чем то, что выразил в своей «эпитафии» Федор Иванович Тютчев:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Побывав в апреле, во время своих разъездов по следственным делам, во Владимире, Салтыков получил окончательное согласие Лизы Болтиной (ей шел семнадцатый год) и ее родителей на брак. Впрочем, до совершения брака оставался еще не один месяц борьбы, нравственных и физических терзаний, поисков жизненных путей — и все возраставшей страстной любви. Положение Салтыкова, как и раньше, было полно неопределенности: его неодолимое желание вырваться из Вятки по-прежнему оставалось лишь желанием. Долгожданное счастье с любимой женщиной не сулило освобождения, а скорее отодвигало его: ведь жениться в Вятке — значило обосноваться там надолго, если не навсегда, обзавестись необходимым домашним хозяйством, истративши немалые деньги, которые еще надо было испросить у маменьки.

В конце концов, он был готов даже и на это — хотя жалованье провинциального чиновника, пусть и не мелкой сошки, все же было недостаточно для приличного семейного быта «господина советника», а маменьку, твердую в своих понятиях о жизни, недостойный (по этим понятиям) выбор сына поколебал в ее любви к нему, хотя при этом весьма огорчил и даже заставил, пожалуй, по-своему страдать: ведь она искренне желала ему добра (опять-таки такого, которое соответствовало ее представлениям). Но что он знал в это время твердо: «что до бесконечности люблю мою маленькую девочку и что буду день и ночь работать, чтобы сделать ее жизнь спокойною». Надо было как-то улаживать семейные неурядицы и разногласия. И вот, исходатайствовавши месячный отпуск, он мчится в июле в Ермолино — резиденцию Ольги Михайловны. «Мы с Мишею поживаем, слава богу, теперь в Ермолине тихо, — рассказывает в одном из писем Ольга Михайловна в эти дни сыну Дмитрию. — Я часто бывают в Спасском, и он со мной катается иногда... Скажу тебе по секрету, чтó меня очень сокрушает: здоровье Миши так плохо, что из рук вон. Кашель, мокрота и нередко дурнота и тошнота. Он так себя ухлопал простудой, ревматизмом в Вятке, что никак не может поправиться... Он... мне говорит, что едва ли он долго проживет». Жизнь с матерью в эти дни июля в Ермолине и Спасском и в самом деле шла «тихо» — тихо и печально. Семейное согласие и примирение, несмотря на искреннюю тревогу и заботы матери о больном сыне, несмотря на то, что такого согласия хотели, наверное, обе стороны, — все-таки не налаживалось, здоровье пошатнулось, исхода из Вятки не предвиделось, свадьба отодвигалась...

Между тем истощавшая последние силы народа и чуждая ему война все шла и шла, горестно напоминая о себе в далекой от театра военных действий провинции

беспрерывными рекрутскими наборами, призывом бессрочно-отпускных... Появилось и новое — особенно тревожное — в феврале пришел в Вятку царский манифест о наборе в ополчение, хотя тогда еще этому набору не подлежала Вятская губерния. Теперь же, в августе — сентябре, было назначено ополчение в Вятке. Начиналась «великая ополченская драма», через полтора десятилетия ставшая предметом трагически-сатирического очерка Салтыкова «Тяжелый год». Его настроение в эти осенние месяцы 1855 года было крайне тяжелым, он писал брату: «...я страдаю такой несносной тоской, что уж потерял надежду на лучшее будущее. Лучше было бы, если бы мне умереть, а то все желаешь чего-то хорошего и ничего не получаешь, кроме страданий».

У него рождается мысль оставить службу и отправиться на войну, как это сделал раньше его младший брат Николай, пошедший в Ярославское ополчение. Ольге Михайловне в июле, в Ермолине, Михаил говорил с сожалением, что не поступил тогда подобно Николаю. «Теперь я хотя не буду писать ему ничего о сем <то есть о поступлении в ополчение>, но мне думается, — пишет Ольга Михайловна Дмитрию, — что, как заметно он сильно упадает духом, то разве одна привязанность к невесте его удержит от сего желания, но иногда положение обстоятельств всю привязанность уничтожает и человек, ища спасение, решается испытать счастие, что, может, успеет заслужить на войне прощение или уже получить конец своему существованию. Для меня, я не прочь его благословить, если ему дозволят вступить в ополчение, ибо и я надеюсь, что, может, господь уже ведет его по сему пути спасения». (Для Ольги Михайловны таким путем спасения для Михаила было «прощение» царем прегрешения его «глупой молодости», наказанного ссылкой, и при этом — отказ от женитьбы на Лизе Болтиной. И то и другое могло быть достигнуто, как она полагала, участием в военных действиях.)

Обстоятельства, однако, сложились иначе.

Еще год тому назад председателем Вятской палаты государственных имуществ на место В. Е. Круковского, с которым Салтыкову некогда пришлось «усмирять» волнения крестьян Трушниковской волости, приехал Константин Львович Пащенко, служивший до того чиновником особых поручений при министре государственных имуществ графе П. Д. Киселеве. Константин Львович был бы типичным петербургским чиновником без затей и

поползновений, если б не приступил к своему делу в провинции с некоторой, вероятно внушенной самим министром, теорией чиновничьего служения, если б не выработал себе некоторый круг бюрократических идей, которые позволили Салтыкову через полтора десятилетия иронически назвать его «пионером», то есть чиновником того «реформатского» типа, которые расплодятся уже в следующее царствование. На первых порах «пионерство» К. Л. Пащенко, по-видимому, привлекло и Салтыкова. Ядовитейше высмеял он потом, в очерке «Тяжелый год», «пионерские» разглагольствования о народе, народной жизни и отношении к ней «идейного» чиновничества, высмеял тогда, когда уже сам полностью освободился от бюрократических иллюзий, и, конечно, в образе председателя палаты государственных имуществ Удодова («Тяжелый год») воплотил самый тип «пионера», лишь воспользовавшись некоторыми чертами К. Л. Пащенко. В это же время — 1854—1855 годы — они дружески сблизились. Так получилось, что в скором решительном повороте жизненного пути Салтыкова важную роль сыграла жена К. Л. Пащенко — Мария Дмитриевна. Ее судьба была не совсем обычной.

Еще в Театральном училище красавица воспитанница Машенька Новицкая (такова девичья фамилия Марии Дмитриевны) обещала стать звездой русского балета, и по ее блестящему дебюту на сцене Александринского театра в 1833 году казалось, что так оно и будет. С небывалым успехом выступила, тогда еще воспитанница, Мария Новицкая в опере Даниеля Франсуа Обера «Фенелла» (под таким названием шла на русской сцене опера «Немая из Портичи», в которой партию немой девушки-героини исполняла балерина) [1]. Но, к несчастью артистов русских императорских театров, они были почти крепостными придворного ведомства, не говоря уже о заядлом «театрале» и в особенности «балетомане» императоре Николае. Сластолюбие всесильного самодержца было хорошо известно, и бедным танцовщицам — воспитанницам Театрального училища противиться его желаниям не было никакой возможности. «Осчастливил» своим вниманием Николай и юную красавицу Марию Новицкую. Однако

[1] Дату четвертого представления «Фенеллы» с участием М. Новицкой (21 декабря 1833 года) увековечил Лермонтов в неоконченном романе «Княгиня Лиговская». Во время второго акта спектакля на лестнице Александринского театра происходит объяснение героев романа — Печорина и Красинского.

Мария позволила себе полюбить актера Николая Дюра (кстати, первого исполнителя роли гоголевского Хлестакова на Александринском театре в 1836 году) и выйти за него замуж. Три года продолжалось не очень радостное счастье: в 1839 году Дюр умер от чахотки, оставив двадцатитрехлетнюю вдову с маленькой дочерью. Мария тяжело пережила несчастье, и ее талант балерины угас. Перейдя через некоторое время на драматические роли, она покинула сцену в 1854 году и вышла замуж за чиновника министерства государственных имуществ К. Л. Пащенко, с которым и появилась вскоре в Вятке.

Вся эта история, конечно, была хорошо известна Салтыкову, очень может быть, что он видел Марию Дюр в Александринском театре в сороковые годы, когда она уже ничем особенно не отличалась от рядовых драматических артистов императорских театров, но отблеск юношеской славы еще светился на ее прекрасном выразительном лице. Этот отблеск, может быть, сохранился для Салтыкова и теперь, и влек его в дом Пащенко — не столько к пустопорожним разглагольствованиям «пионера» о народе и к карточному столу, за которым Константин Львович выказал себя большим мастером. Добрая же Мария Дмитриевна с участием и заботой принимала одинокого Салтыкова.

В Вятке осенью 1855 года шла лихорадочная подготовка к набору ополчения. Вятчанам следовало образовать и, соответственно, обуть и одеть восемнадцать ополченских дружин по тысяче с лишним ратников в каждой. Гневно-сатирическая картина безудержного хищничества вятского чиновничества, приложившего в эти трудные времена все свои силы и способности, чтобы «накласть в загорбок любезному отечеству», будет через пятнадцать лет представлена в очерке «Тяжелый год».

Для наблюдения за созданием вятских ополченских дружин, которыми ему предстояло командовать, был прислан из Петербурга генерал-адъютант Петр Петрович Ланской, двоюродный брат Сергея Степановича Ланского, ставшего министром внутренних дел с конца лета 1855 года.

Семейство Ланских появилось в Вятке в конце сентября. Салтыков в эту благодатную осеннюю пору отдыхал от своих целогодних странствий по неприветливым просторам северо-восточных губерний, хотя по-прежнему страдал приступами тяжелого ревматизма — морозы и сырость семи тысяч верст теперь уже на всю жизнь искалечат его тело. Но неотступно жгли его мысли о предстоящей семейной жизни. Ведь ему так хотелось сделать счастливой свою маленькую Лизу, ему самому так хотелось счастья! Гуляя по дорожкам Александровского сада, останавливаясь над кручей берега Вятки в витберговской беседке, глядя, как постепенно желтеют и краснеют дали завятского берега, слушая в темноте осенних вечеров плеск весел внизу, на реке, говор паромщиков, он все думал и думал о своей судьбе...

Ланские! Приезд этого семейства не мог не взволновать Салтыкова еще и потому, что ведь женой Петра Ланского была Наталия Николаевна Гончарова-Пушкина! Можно быть уверенным, что он ждал встречи с нею с величайшим нетерпением и надеждой. Но как могла произойти эта встреча?

О том, что судьбою ссыльного «надворного советника» генерал-адъютант Ланской заинтересовался очень скоро, свидетельствует письмо Салтыкова от 13 октября брату: «Он <то есть Ланской> принял живейшее участие в моем положении и с нынешнею почтою послал к министру официальное письмо, в котором, отзываясь обо мне с лучшей стороны, просит исходатайствовать мне всемилостивейшее прощение. Кроме этого официального документа, генерал был так добр, что еще частным письмом просит министра о том же». Итак, генерал пишет не только официальное письмо, в котором, по-видимому, поддерживает старое, еще начала 1854 года, ходатайство губернатора Н. Н. Семенова, но он еще просит брата частным образом о Салтыкове как человеке хорошо ему известном, знакомом не только по службе.

И это волнующее знакомство состоялось в доме Пащенко, и добрая Мария Дмитриевна рассказала Наталье Николаевне — та, конечно, хорошо ее знала еще с тридцатых годов, с юношеских триумфов в роли Фенеллы, — рассказала о человеке столь необыкновенном, столь непохожем на окружающих, мятущемся и, вероятно, предназначенном для какой-то другой жизненной роли, какой-то другой, высокой судьбы, бывшем лицеисте, испытавшем на себе, подобно Пушкину, убивающие «милости» императора Николая (об этих «милостях» помнила, конечно, и Мария Новицкая-Дюр, вряд ли на закате жизни осчастливленная союзом со статским советником).

Надо думать, что Салтыков был принят и в семье Ланских. С душевным трепетом и жаждой новой жизни входил Салтыков — нет, не чиновник, не надворный со-

ветник, но поэт, художник — в этот дом, чтобы ощутить аромат другого мира — мира, над которым витал дух Пушкина, дух великого искусства, вдохновляющий дух высокого творчества. Аромат пушкинского Петербурга — лицейских парков и дворцов, блестящих театральных зал, вдохновляющей музыки — «вторгся» в его душу и вновь заполнил ее, вновь заставил трепетать, восторгаться и с еще большими усилиями рвать путы вятского плена.

Наталия Николаевна и сама написала письмо своему родственнику — начальнику Салтыкова — министру С. С. Ланскому (к сожалению, письмо нам неизвестно).

12 ноября Салтыков отправился в очередную командировку по губернии.

В этот же день, в Петербурге, министр внутренних дел, на основании всех имевшихся в его распоряжении материалов — официальных и неофициальных, — доложил о Салтыкове Александру II. Новый император «высочайше повелеть соизволил: дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает». Одновременно с Салтыкова был снят и полицейский надзор. Через десять дней соответствующие «предписания» дошли до Вятки, сам же Салтыков все еще разъезжал по губернии. 28 ноября, вернувшись из командировки и узнав о своем освобождении, он писал брату: «Я подал уже в отпуск и 15-го числа окончательно отправляюсь из Вятки в деревню к маменьке, а оттуда в Владимир. К 15-му января надеюсь быть в Петербурге, чтобы уж никогда с вами не расставаться».

Но надо было покончить со служебными делами, и Салтыков выехал из Вятки в рождественский сочельник, 24 декабря; ему наверняка вспомнилось, как ровно год тому назад, в это же время, он ехал на север, в Пермскую губернию, на следствие по раскольничьим делам.

Теперь же опять, как и в тот сочельник, перед ним лежала дорога, но теперь уже на юг — «дорога с ее березовыми аллеями, с ее раскинутыми по сторонам равнинами, бог весть куда тянущимися. Как приятно смотрят эти аллеи летом, как роскошно цветут и зеленеют за ними равнины! А теперь сучья на березах поникли и оцепенели; ни ветер, ни стаи тетеревов, с шумом опускающихся на них, не в состоянии разбудить их. Равнины тоже не дышат; где-где всколышется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана...». Он был свободен, но ему было невесело, было грустно.

«А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть...

Я оставляю Крутогорск окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце; я чувствую это и припадаю головой к кибитке, а слезы, невольные слезы, так и бегут, так и льются из глаз... Я огорчен, я подавлен и уничтожен, я положительно не знаю, куда деваться от снедающей меня тоски... Все темные горести, все утраченные надежды, все душевные недуги, все, что так болезненно назревало в моем сердце, все это мгновенно встает передо мною... Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, совершенно один, отторгнутый от всего живого... «Уже ли я в Крутогорске оставил часть самого себя?» — спрашиваю я себя мысленно. Но текущие по щекам слезы, но вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос! Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа!..

Или, быть может, в слезах этих высказывается сожаление о напрасно прожитых лучших годах моей жизни? Быть может, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемены жизни, которая предстоит мне?» (Эпилог «Губернских очерков» — «Дорога».)

Конец вятского изгнания наступил, в сущности, так же случайно, в том же «волшебном» духе, как случайно и «волшебно» пришло некогда его начало. Но так или иначе, «искус» кончился. «Я оставил далекий город точно в забытьи. В то время там еще ничего не было слышно о новых веяниях, а тем более о каких-то ломках и реформах». От Вятки по тракту на Яранск и Нижний Новгород мчался возок Салтыкова, и он никак еще не мог опомниться от столь внезапно случившейся резкой перемены в его судьбе. Дали ли ему что-нибудь эти прошедшие семь с половиною лет или только отняли напрасно и так быстро прошедшую молодость?

Глава пятая

«ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Выехав 24 декабря из Вятки, Салтыков гнал и гнал ямщиков день и ночь, и 28 числа, встретив рождественские праздники в дороге, он уже взбегал на крыльцо ермолинского дома, где его ждала мать. Три проведенных в материнском доме дня были днями радостного ощущения наконец-то пришедшей — и пришедшей так неожиданно — свободы, днями предвкушения недалекого уже счастья. Ольга Михайловна радуется приезду сына, рада за него и, так сказать, ходатайствует перед своим старшим, Дмитрием: «Михайла полон счастием, что и описать не могу. Да устроит его господь. Не оставьте, мои друзья, его вашим приветливым радушием и на первый раз приютите пока у себя, до устройства. Я знаю вашу любовь к нему, что он найдет в вас себе истинную отраду и теплую любовь братскую. Он уже поотвык от петербургской жизни, она ему будет совершенно новым вступлением». Да, Салтыков не был в Петербурге уже почти восемь лет, и «вступление» в него поистине оказывалось «новым» вступлением — в какую-то неведомую эпоху жизни, какую-то неведомую страну.

Из Ермолина он спешит во Владимир, к невесте. Здесь, в семье невесты, он и встречает Новый, 1856 год. (Такая спешка не очень понравилась Ольге Михайловне: уж не променял ли «Михайла» ее, всеобщую благодетельницу своего семейства, на какую-то, правда, «очень миленькую девочку»).

Несколько дней наслаждается Михаил светом, покоем и тишиной старого русского города, прогуливается с Лизой около Золотых ворот и величественных древних соборов — Успенского и Дмитровского.

Ослепительно сверкала залитая лучами зимнего солнца, открывавшаяся от соборов белая пойменная равнина под кручей за скрытой снежным покровом замерзшей Клязьмой. Не тяготила больше тупая неизбежность чтения служебных бумаг, не надо было поминутно раздражаться бестолковостью, нерадением и невежеством подчиненных, и Владимир, близкий к Москве, уже не казался безнадежно глухой провинцией. Да, это, наверное, были самые счастливые, самые светлые, самые безмятежные дни в многотрудной, нерадостной жизни Михаила Евграфовича Салтыкова.

Если в вятской глухомани еще и не пахло новыми «веяниями», то Москва поразила приехавшего туда в первые январские дни 1856 года Салтыкова: «...добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня совсем не было там знакомых или же предстояло разыскивать их, я понял, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софийке — ломакинский дом с зеркальными окнами. По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было — всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась». Отобедавши раза три в общих залах московских трактиров, Салтыков «наслушался того, что ушам не верил... Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт».

Эти строки были написаны Салтыковым весной 1887 года, через тридцать с лишним лет после встречи с «новой» Москвой, в которой — на заре царствования Александра II — «бедному провинциалу было от чего угореть» (рассказ «Счастливец»). И понятно, почему они, эти строки, полны иронии.

Что же такое произошло? И откуда вдруг взялись деньги у прижимистых помещиков-провинциалов, наполнявших московские трактирные заведения и закупавших благовонные товары?

Провинциал, достаточно благополучно прозябавший в своем дворянском гнезде в «морозные» годы николаевского режима, прослышал о чем-то таком, что могло поколебать это столь милое его дряблому сердцу прозябание, обеспеченное неисчерпаемостью «крестьянской спины». Пахло чем-то особенным, пряным, и провинциал двинулся в столицы, дабы хоть что-нибудь вынюхать.

О чем же это так смело и решительно толковали в трактирах, не боясь приглашения к генерал-губернатору? «Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы». (При Николае чиновникам запрещалось носить бороду

и — боже упаси — курить на улицах — за такие вольности можно было и в полицию угодить!)

И даже такие (смелые и решительные) толки опущались как симптом и «оттепель». Но говорили — разумеется, не в трактирах и не очень смело, кто с надеждой, кто с опаской, — о том, что наболело и тревожило всех. Почему же так позорно закончилась Крымская война? Почему же все-таки был отдан врагу героический Севастополь? И как поведут себя «севастопольские герои», вернувшись в свои нищие деревни, к владельцу их «душ»? И что вообще делать теперь России?

Свое тридцатилетие — 15 января 1856 года — Салтыков встретил в Петербурге, приехав туда накануне. «Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом «прошел», — опять-таки с иронией вспоминает Салтыков позднее.

Через три дня, 18 января, Салтыков был уже принят министром внутренних дел С. С. Ланским, которому и заявил, что ехать в провинцию, хотя бы и с повышением, не желает, и просил «причислить» его к министерству. 12 февраля, после одобрения царем, такое «причисление» состоялось. В министерстве Салтыков стал служить под непосредственным началом Николая Милютина, тогда директора хозяйственного департамента. Тут же ему было дано и поручение, по его позднейшим собственным словам, «составить исторический обзор того, что было пожертвовано после войны 1812 года на помощь пострадавшему населению, как велики были бедствия населения и что сделано было в пользу пострадавшим». Параллельно Салтыков «сделал обзор того, как велики были нужды в населении, пострадавшем после войны 1853—1855 годов, что было пожертвовано на помощь пострадавшим, — эта работа вела к определению того, что должно было сделать для пострадавших во время войны 1853—1855 годов».

Конечно, как и всегда, Салтыков трудился над этою запискою с присущим ему тщанием, но все же не этот труд занимал его в первые месяцы 1856 года. Литература — вот что захватывало его все больше и больше.

Беспокоили и нелады, возникшие в «нравном» салтыковском семействе, где имущественные, накопительские интересы, заботы о карьере всегда стояли на первом плане.

Женитьбу Салтыкова Ольга Михайловна, хотя и «не препятствовавшая», переживала чуть ли не как катастрофу, постигшую ее, всю семью, самого Михаила. Получив царское «прощение», Михаил повел себя совсем не так, как надо было бы, думала она. И прежде всего не следовало столь поспешно покидать Вятку, лететь сломя голову к невесте, да и жениться тоже можно было там, в Вятке, пожить какое-то время семейно, на более или менее насиженном месте, а потом уж спокойно и обдуманно строить свою дальнейшую карьеру. (А в том, что это будет карьера преуспевающего чиновника, может быть, со временем и министра, Ольга Михайловна нисколько не сомневалась.)

Ее письма этого времени к старшему сыну Дмитрию, в особенности перед свадьбой и вскоре после свадьбы, полны сетований, жалоб, упреков и почти отчаяния: они оставляют самое тягостное впечатление.

Ей все казалось, что свадьба, может быть, и не состоится: то ли на войну уйдет любимый сын ополченцем, то ли расстояние между Вяткой и Владимиром охладит его пыл. Но нет, Михаил был непреклонен, и это переживалось уже как оскорбление: не послушался дельного совета жениться солидно, обстоятельно, в предвидении будущей блестящей карьеры и соответствующего жалованья.

А что же теперь? За Лизой Болтиной ее легкомысленные родители не дают ничего. Михаил хотя и причислен к министерству и там его сам министр знает, но жалованья пока не получает. Так что же это значит? Вся надежда на маменьку, на ее денежки, что же он, разорить, что ли, ее хочет из-за своего «вляпанья» (так Ольга Михайловна называла любовь сына к Лизе)? Это уже не просто глупость, это — неисправимая ошибка и даже дурной поступок. Ольга Михайловна, видно, забыла, что Михаил, после смерти отца отказавшийся от причитавшейся ему части отцовского наследства в пользу братьев, всецело доверился матери в надежде на ее поддержку в случае трудных обстоятельств. «Я сегодня как-то особенно грустна и больна ужасно, и из головы Михайла не выходит, — пишет она Дмитрию 25 марта. — Судьба его так мне темна, такой загадочной кажется. Как решиться жениться на девушке вовсе неимущей, надеясь только на силу своей матери, которая также весьма ненадежна, ну, видно, богу угодно такой послать мне крест. Поступок его довольно против меня дурен» (речь идет

все о том же «вляпанье» Михаила и просьбах о высылке денег на предсвадебные расходы, подарки невесте и т. п.), «но я молчу и молю бога подкрепить меня в молчании и терпении». И опять — из письма в письмо — горькие сетования на неудачный, гибельный для него и семьи «выбор» «Михайлы», она даже «боится», чтобы он ей своим «дурным поступком» «могилу не вырыл».

С отцом невесты тоже были какие-то несогласия, которые потом перешли в прямую неприязнь. Все это глубоко волновало и связывало руки, даже относительно того, где играть свадьбу. Сначала предполагалось сделать это в Петербурге (и Ольга Михайловна даже послала Дмитрию Евграфовичу две иконы для благословения невесты и жениха во время венчания), но от этого намерения пришлось отказаться по причине отсутствия необходимых средств, из-за петербургской дороговизны. Тогда была избрана Москва.

И свадьбу-то толком — по-человечески, по-русски — сыграть не могут, гневалась Ольга Михайловна. Собирались назначить венчание на третье июня, а ведь это Духов день (православный праздник сошествия святого духа, понедельник после Троицына дня), да и на пятое нельзя, среда, день постный. То думали венчаться в Петербурге, то теперь в Москве, не лучше ли было бы просто в деревенской церкви: деньги бы сэкономили, употребили на семейное обзаведенье.

Ни Ольга Михайловна, ни Дмитрий Евграфович не пожелали прибыть в Москву на свадьбу Михаила. Из родственников с салтыковской стороны присутствовал лишь младший брат Илья, пытавшийся как-то сгладить возникший семейный конфликт. Ольга Михайловна, а вероятно, в еще большей степени Дмитрий Евграфович, напротив, лишь подбрасывали дров в разгоравшийся костер теперь уже до конца дней тяжелой и непримиримой вражды.

Когда счастливый, но раздосадованный всеми этими неурядицами Салтыков 6 июня 1856 года венчался в Москве в Крестовоздвиженской церкви на Воздвиженке близ Арбатских ворот (совсем недалеко от дома дедушки в Афанасьевском переулке, где ему приходилось бывать в детстве), раздраженная Ольга Михайловна с явным вызовом отправилась в Петербург к Дмитрию Евграфовичу, где было ими принято решение — содержание его остается для нас скрытым, — вероятно, существенно затрагивавшее материальные интересы новой

семьи: строптивого Михаила следовало проучить. И это было сделано.

Конечно, возмущению, гневу, негодованию крайне импульсивного Салтыкова не было границ. По возвращении молодых в Петербург последовала неистовая вспышка, вконец разрушившая родственные связи с матерью и старшим братом. Мать посылает Михаилу письмо, которое, по ее же словам, «его потрясло, ибо он не ожидал». Сам же Михаил, потрясенный и страдающий, легко возбудимый, но отходчивый по натуре, пытается еще как-то поправить дело своим «примирительным» визитом и таким же «примирительным» письмом к Дмитрию Евграфовичу. «Лиза моя сделалась больна по поводу получения мною письма от маменьки, — пишет он здесь брату. — Содержание этого письма таково, что оно и меня с ног сшибло».

Потрясшее Салтыкова письмо Ольги Михайловны не сохранилось, но жестокий смысл его легко представить по ее же письму к Дмитрию, написанному в конце августа — начале сентября. Ольга Михайловна, никогда не стеснявшаяся самого откровенного и резкого выражения своих чувств, здесь впадает в какой-то проповеднический тон и почти библейский пафос обличения непочтительного сына, суля ему ни больше ни меньше — «казнь» и «гнев божий»: «Господь Михайле да будет плательщиком за всех нас, что он так нас оскорбил и посеял столько горести. Но все господь же и устроит по-своему... Другу твоему рыша яму, в сию сам пади. Михайла мечтал успеть, и, наконец, господь за невинных вступился. Мы жили мать с тремя сыновьями» (стоит заметить, что Ольга Михайловна исключает еще двух сыновей — постылого Николая, теперь же просто — «сына-злодея» и Сергея, морского офицера, находившегося в плавании), жили «душа в едину душу, и господь почил своим благословением над нами. И о нем все страдали, хлопотали и домогались; мать как сына, братья как брата возвратить его к сердцу своему». (Опять-таки надо заметить, что «третий сын» — Илья — в конфликте не участвовал, старался его погасить, видя в нем лишь недоразумение. Но суть дела была, конечно, не в недоразумении: Михаил Салтыков пошел своей, непонятной и чуждой матери и старшему брату дорогой.) «И что же узрели, — продолжает Ольга Михайловна, — возвратившегося волка, алчущего разорвать узы родства, попрать нашу любовь, изгнать из матернего сердца детей и водвориться самому. О, какая

казнь, каков гнев божий может постигнуть его. Господи, обрати его в раба своего и сердце его умягчи, да не очерствеет оно от зла».

Салтыков попытался примириться с матерью. В середине сентября он сел в вагон Петербургско-Московской (Николаевской) дороги, доехал до Твери, потом от Твери плыл по Волге до маленького прибрежного городка Кимры, и оттуда на лошадях, высланных матерью, добрался до Ермолина. Теперь его настроение было совсем не таким, с каким он меньше года тому назад, на святках, взбегал на крыльцо ермолинского дома. Встреча была холодной, и, наверное, и сын и мать приложили немало усилий, чтобы сдержать свои истинные чувства. Салтыков побывал в Спас-Углу, на могиле отца в ограде Спасской церкви, с горечью смотрел на покосившийся балкон старого дома, где прошло его деревенское детство.

Мать не простила. Через год все с той же враждебностью она писала Дмитрию Евграфовичу: «Да что делать ныне матери в отставке, только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник... с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы, ну да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни». Эти слова были сказаны о «надворном советнике Щедрине», чьи «Губернские очерки» в это время стали известны всей читающей России!

Около месяца по возвращении в Петербург Салтыков жил у брата в его собственном доме в окраинной тогда части города — так называемой Коломне. А затем в феврале переехал в Волковы номера на Большой Конюшенной улице. Здесь-то в феврале — марте и писались первые «губернские очерки». Уже судя по предисловному очерку «Вместо введения» (с четвертого издания — просто «Введение»), задумано было большое произведение о провинциальной, «губернской» России, досконально узнанной за семь с половиной лет вятской жизни. Салтыков с самого начала мыслил «Губернские очерки» как единый цикл — с несколькими главными сквозными темами, которые постепенно, одна за одной, начинают звучать в «музыке» всего произведения. Рамки повествования все расширяются, и Крутогорск, поначалу столь привязанный к своему прототипу — Вятке, воспринимается как символ всей провинциальной России.

Когда-то Иван Самойлыч Мичулин увидел во сне

страшную социальную пирамиду, своей тяжестью подавившую и исковеркавшую его, маленького человека. Этот зримый образ общественной иерархии был, конечно, создан фантазией утопического социалиста Михаила Салтыкова. Это был образ, если можно так сказать, обобщенно-графический, очень четкий и резкий в своих очертаниях, но лишенный плоти реальной жизни.

Оказавшись в ссылке лицом к лицу с реальным «функционированием» пирамиды, Салтыков в «Губернских очерках» рисует уже не абстрактную схему общественного устройства. «Губернские очерки» явились памятником и итогом многолетней жизненной практики, постоянно сопровождавшейся размышлениями и сомнениями, неустанной проверкой утопических абстракций. Графический чертеж становится живописной картиной. Салтыков анализирует действия, поступки, поведение, но, может быть, прежде и больше всего — сознание, духовную жизнь основных групп русского общества. Он сам входит в эту социальную структуру, составляет ее органическую часть. И тогда уже преобразует аналитическое вертикальное расчленение пирамиды в целостную — синтетическую — картину. Так, в течение полутора лет, создается его первый цикл.

Салтыков начал с описания той среды, которая была ему лучше всего знакома — среды провинциального чиновничества. Правда, в первых очерках Салтыков еще достаточно осторожен, он относит чиновничьи «подвиги», о которых в них повествуется, к прошлым временам и называет эти очерки «рассказами подьячего». Но подьячих — служащих в местных государственных учреждениях, «приказах» (отсюда и другое их название, часто встречающееся в «Губернских очерках» — приказные) — давно уже, с XVIII века, в России не существовало, подьячие давно именовались в соответствии с петровской табелью о рангах регистраторами, советниками, асессорами. Проделок же исправников, становых, стряпчих, городничих, уездных лекарей, которых он насмотрелся за годы службы в Вятской губернии, ему хватило бы на множество «рассказов подьячего». Эти рассказы скоро и появятся, и Салтыков уже не будет скрываться под личиной некоего «подьячего», а воспользуется другой «маской» — либерального отставного надворного советника Николая Ивановича Щедрина.

Откуда взялся этот псевдоним, впоследствии как бы заместивший в сознании всей читающей России подлин-

ное имя своего создателя — Михаила Евграфовича Салтыкова? Может быть, он вспомнил крестьян Щедриных, которых было много в ярославском имении матери — Заозерье? Может быть, он «взял» его у купца-раскольника Трофима Тихоновича Щедрина, которого некогда допрашивал в Казани? А может быть, здесь содержится намек на «либерализм» «отставного надворного советника», его особую позицию — отрицателя и «обличителя» российской бюрократической системы: ведь французское слово libéral означает и «свободомыслящий» и «щедрый». Эта — либеральная — позиция Николая Ивановича Щедрина и была четко формулирована — как итог собственного опыта — и в заключении очерка «Вместо введения».

Салтыков появился в Петербурге в те дни, когда казалось, что со смертью Николая «прошлые времена» действительно становились прошлым, что наступала новая эпоха — «эпоха возрождения», что холодную «зиму» сменила наконец весенняя «оттепель». Поэтому «Вместо введения» и заканчивалось знаменательными словами: «Смею думать, что все мы, от мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу с злом, предпринимаемую теми, в руках которых хранится судьба России, — все мы обязаны, по мере сил, содействовать этой борьбе и облегчать ее» (слова эти были исключены Салтыковым в 1864 году, в четвертом издании «Губернских очерков», когда содержание и итоги «эпохи возрождения» вполне выяснились).

Позднее, в конце жизни, Салтыков так определил суть своей позиции этих лет, выраженной образом Николая Ивановича Щедрина: «практикование либерализма в самом капище антилиберализма». Капище[1] антилиберализма — бюрократическая, чиновничья система самодержавной власти.

Салтыков, возвратившийся из ссылки, с воодушевлением принял начало «эпохи возрождения», эпохи упорной борьбы со злом, укоренившимся в старой николаевской России.

Итак «эпоха возрождения» наступила. Но изменилась ли хоть в какой-нибудь степени сила вещей, исчезли ли капища антилиберализма? Не служат ли по-прежнему чудовищному идолу власти огромные массы «подьячих» в присутственных местах Российской империи — всяческих палатах, губернских правлениях, канцеляриях — этих истинных капищах антилиберализма? Салтыков не мог не видеть, что такого изменения не произошло — даже тогда, когда «практиковать либерализм» начали самые верхи власти — император Александр II, министр внутренних дел Сергей Ланской, один из руководителей министерства — Николай Милютин. Тем не менее Салтыков был убежден, что надо, и надо немедленно, что-то предпринимать ради извлечения России из трясины застоя, крепостничества, продажности и произвола. И Салтыков хочет — он уверен, что и может, — действовать с такой целью. Но ка́к действовать, что́ предпринимать?

Салтыков начинает «Губернские очерки» с самого очевидного — с явной негодности низших звеньев чиновничьей иерархии. В этих первых очерках Салтыков, выученик натуральной школы, порывает с тем направлением внутри школы, которому была близка его повесть «Запутанное дело», — направлением «сентиментального натурализма» (как его назвал критик Ап. Григорьев). Здесь уже не бедный чиновник, задавленный тяжкими жизненными обстоятельствами, страдающий, мятущийся, погибающий, не «бедный человек», вызывающий жалость и сочувствие, нет, это — закосневший в чиновничьей казуистике, грубый и хитрый стяжатель, хищник, паразитирующий на народном невежестве, бедности и несчастье.

Салтыковский подьячий прошлых времен с сожалением вспоминает об этих самых временах, когда не толковали о бескорыстии, взятки брали попросту, зато и дело делали: дело-то, правда, состояло в том, чтобы простодушного мужичка обобрать поискуснее.

В «другом» рассказе подьячего выступает на сцену знаменитый сарапульский городничий фон Дрейер, названный здесь Густавом Карлычем Фейером. По словам рассказчика, Фейер — не человек, а зверь, и все его деяния — «противоестественности». К числу таких противоестественностей принадлежали и жестокие преследования Дрейером-Фейером раскольников — во имя корыстной цели нажиться или выслужиться.

Рядом, как бы в контраст с хитроумным практиком-подьячим, появляется и чиновник, так сказать, новой

[1] Место служения чему-либо; по Далю — языческий храм, божница идолопоклонников.

формации, — «неумелый»[1], фигура более сложная, чем незамысловатый старинный подьячий-взяточник. Это итог раздумий Салтыкова к концу его службы в Вятке, может быть, даже своеобразная самокритика. Умный мещанин-старообрядец Голенков размышляет, обращаясь к Николаю Ивановичу: «И знаете, ваше благородие, словами-то он <то есть чиновник — «неумелый»>, пожалуй, не говорит, а так всей фигурой в лицо тебе хлещет, что вот он честный да образованный, так ему за эти добродетели молебны служить следует... И диви бы законов не знали или там форм каких; все, батюшка, у него в памяти, да вот как станет перед ним живой человек — куда что пошло!.. Живого матерьялу они, сударь, не понимают!» А вот и собственная мысль Салтыкова, опять-таки итог его раздумий в годы ссылки, мысль, которую он по разным поводам и в разных формах развивает в ближайшие два-три года (мысль эта тоже вложена в уста Голенкова): «Ты, коли хочешь служить верой, так по верхам-то не лазий, а держись больше около земли, около земства-то...»

По возвращении из ссылки Салтыкову, бывшему петрашевцу — утопическому социалисту, провинциальному чиновнику, пережившему мрачный «искус» семилетней службы в недрах далекого северо-восточного края, предстояло «осмотреться», понять и найти свое место в жизни и литературе.

Салтыков и живет в это беспокойное, но полное надежд время, если можно так выразиться, «во все стороны», он хочет разобраться в происходящем без всякой предвзятости.

«То было время всеобщих «сований»... Я заметался вместе с другими... от тысячи неопределенных порывов, которые вдруг народились в моей груди и потянули меня на простор. Все мое существо, казалось, очистилось, просветлело; новая кровь катилась по жилам... «Зовет!» — раздавалось со всех сторон, и хотя чудо призвания заставляло себя ждать, но признаки, позволявшие угадывать сердцем его близость, чуялись всюду... Я вышел на

[1] Очерк «Неумелые» в журнале был напечатан третьим, вслед за «Вместо введения» и первым «Рассказом подьячего», затем уже шел «другой» рассказ подьячего. Позднее очерк «Неумелые» будет перенесен в раздел «Юродивые», посвященный уже специально современному чиновничеству.

призыв очень бойко... К чему я тогда не примазывался! в каком «хорошем» деле не предлагал своих услуг!»

Он продолжает служить, выполняет ответственные поручения своего министра, и вскоре после свадьбы назначается «исправляющим должность чиновника особых поручений» VI класса с годовым жалованьем в 1200 рублей (вспомним, что до этого, как просто «причисленный», жалованья он не получал). И здесь, в сфере службы, он ищет свой, независимый путь.

Сначала ему пришлось придерживаться знакомств и связей, которые сложились еще до ссылки. В Москве это были дружеские связи с товарищем детских и юношеских лет Сергеем Юрьевым, с жившим в Орле бывшим учеником Дворянского института и лицеистом Иваном Павловым. С. Юрьев был хранителем традиций уже ушедшей Москвы сороковых годов, И. Павлов, не играя сколько-нибудь заметной роли в славянофильском движении, склонялся, однако, к славянофильским идеям. Но самым важным было возобновление приятельства с бывшим сослуживцем по канцелярии военного министерства, беллетристом и критиком Александром Васильевичем Дружининым.

В первое же воскресение по приезде в Петербург из ссылки, в день своего рождения, 15 января, Салтыков пришел к Дружинину. Разговор с «милейшим моим товарищем, — записывает в этот день в своем дневнике Дружинин, — преисполнен был изумительными вещами». Почти восемь лет приятели не виделись и об очень многом могли рассказать друг другу. Между изумительными вещами, о которых говорилось в часы этой встречи, было, конечно, не только сообщение Салтыкова о своей женитьбе (это записал Дружинин), но наверняка и решительное намерение Салтыкова вернуться в литературу, и вернуться с новым, еще никому не ведомым богатейшим жизненным содержанием. Дружинин, давно уже уволившийся со службы, был своим человеком в литературных кругах и кружках Петербурга, состоял в дружеских или приятельских отношениях со многими — Тургеневым, Некрасовым, Львом Толстым, Григоровичем, Островским, П. В. Анненковым, В. П. Боткиным. Выйдя в отставку, он с головой ушел в литературный «быт», на рубеже сороковых и пятидесятых годов поневоле замкнувшийся в узкой среде чисто литературных забот и интересов. Дружинин «варился» в котле журнальной жизни, великолепно знал ее обстоятельства и перипетии, превосходно

ориентировался в сложных и подчас весьма тонких взаимоотношениях разных кружков, журнальных редакций, литературных деятелей — во всем этом ежедневном быте писательской среды. И предметом частых и оживленных бесед многоопытного Дружинина с новичком в литературных кругах Салтыковым были, конечно, и все эти обстоятельства, и этот быт.

Дружинин, несомненно, рассказывал собеседнику о своих отношениях с тем журналом, в котором в блаженное послелицейское время — время увлекательных «сновидений» — появились первые салтыковские рецензии, где так хотел некогда Салтыков напечатать свою «натуральную» повесть «Запутанное дело», — с «Современником». Дружинин был близок к редакции журнала, руководимого Некрасовым и И. Панаевым: он постоянно печатал там критические статьи и фельетоны. Но вот недавно, весной 1854 года, появился в редакции и вскоре завоевал прочные позиции молодой Чернышевский, и положение Дружинина не только поколебалось, но его сотрудничество в «Современнике» стало просто невозможным, ибо не было людей, более несходных в своих вкусах, взглядах на литературу и ее настоящее положение, на ее будущность — на перспективы ее живого и плодотворного существования и развития. (С осени 1856 года Дружинин, вытесненный Чернышевским, возглавил «Библиотеку для чтения», в которой печатался и раньше.) Нетрудно представить себе, какую характеристику идей и самой личности своего антагониста мог дать враждебно настроенный Дружинин.

И показательно, что Дружинин сразу же вводит Салтыкова в круг близких себе литераторов — тогда ими были Тургенев, Лев Толстой, Анненков, Боткин. С Некрасовым же и Чернышевским Салтыков знакомится лишь через год-полтора.

Салтыков оказался в Петербурге в самый разгар бурной полемики о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях. Эти два имени — Пушкин и Гоголь — стали символами, «знаками» противоположных общественных и литературных тенденций. В пылу борьбы эти символы-знаки оказались, в сущности, оторваны от тех реальных художественных личностей, которым, так сказать, принадлежали; истинный дух, вековечная ценность творчества гигантов русского искусства приносились в жертву злободневным задачам полемистов.

Повод для спора дали два знаменательных факта, на первый взгляд не имевших отношения к литературной или общественной «злобе дня», — появление в феврале 1855 года первых томов сочинений Пушкина, подготовленных и изданных П. В. Анненковым, и публикация в том же году черновой рукописи пяти глав второго тома «Мертвых душ» Гоголя, а также четырехтомное издание гоголевских сочинений. Главными противниками в завязавшемся споре как раз и оказались Дружинин и Чернышевский, а трибунами, на которых они подвизались, — журналы «Библиотека для чтения» и «Современник».

И нет никакого сомнения в том, что о своем споре с Чернышевским Дружинин не преминул подробно информировать Салтыкова, может быть, даже желая склонить его на свою сторону, предполагая в нем будущего союзника и сотрудника.

Статья Дружинина «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» и первые две из цикла четырех статей Чернышевского об анненковском издании появились в журналах-антагонистах в начале 1855 года одновременно. Салтыков в то время еще не освободился от вятского «плена» и всецело был погружен в доставившее ему много хлопот и трудов следствие по раскольничьим делам. Не исключено, впрочем, что он мог прочитать статьи Дружинина и Чернышевского и в Вятке, где получались оба журнала.

В первом томе издания сочинений Пушкина, в «Материалах» для его биографии (о них, собственно, и написана дружининская статья), Анненков, пишет Дружинин, «беседует с публикой о тайнах Пушкина как гения-труженика», вникает в самый процесс его творчества, «в лабораторию гения». Самым важным для Дружинина было определить суть пушкинской творческой личности и созданного поэтом «мира». Суть эта — в простом и «здоровом» отношении к изображаемому — без болезненной сентиментальности, сатирической сухости, раздражительности и желания поучать. Пушкин глубоко понимает и с благожелательностью приемлет человека, природу, быт, какими бы они ни были, хотя и платит за такое высокое понимание высокую цену. «Мировая муза» сходит к певцам как высшая награда за жизнь не попусту прожитую, за геройство и страдания». Такая позиция, естественно, вела к спору, к полемике, к призывам перестать бездумно следовать Гоголю-сатирику: «наша текущая словесность ослаблена сатирическим направлением». Творения Пушкина — насущно необходимое противодействие, про-

тивоядие отрицательному и одностороннему гоголевскому направлению.

Чернышевский в статьях о Пушкине говорит о присущей Пушкину творческой свободе, о красоте, художественности его произведений, о необыкновенной способности разрабатывать их планы, целесообразно и умело строить. Чернышевский дает свою трактовку поразительного пушкинского трудолюбия, отраженного в черновых рукописях. Оно кажется ему оборотной стороной слишком многостороннего и потому олимпийски спокойного художественного содержания поэзии Пушкина: «У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе».

А в декабре 1855 года, совсем незадолго до возвращения в Петербург Салтыкова, в первом же из «Очерков гоголевского периода русской литературы», публикация которых началась в «Современнике», Чернышевский уже с полной ясностью и откровенностью высказал свою задушевную, выношенную мысль, прямо противоположную столь же задушевной мысли Дружинина: «гоголевское направление <сатирическое, или критическое> до сих пор остается в нашей литературе единственным сильным и плодотворным». Гоголь выразил возникшую в его время, следовавшее за временем пушкинским, общественную потребность в критике, в анализе, в сатире. И эта потребность, этот дух анализа, эта жажда истинного, аналитического познания самих себя вовсе не изжиты, больше того — именно теперь, как никогда прежде, появилась возможность удовлетворения такой общественной потребности, утоления жажды самопознания. Именно поэтому Чернышевский согласен с тем, что «пора бы начаться новому периоду в русской литературе», но этот период мыслится им совсем не так, как мыслится Дружининым. В более полном и удовлетворительном развитии идей, которые Гоголь «обнимал» лишь с одной стороны, «не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий», — но в развитии именно гоголевских идей — и никаких иных, — в обогащении гоголевского «плодотворного» содержания только и может сказаться новый период русской литературы.

Ощущение необходимости и реальности «нового литературного периода» охватывало и Салтыкова, когда он думал о возвращении в литературу. Он активно впитывал, «вбирал» мощный поток ярких и свежих литературных впечатлений, с упоением и радостью читал произведения,

приходившие в эти месяцы к читателям, в особенности со страниц некрасовского «Современника». Некогда открыв свои двери никому не известному Л. Н. Т., автору «Детства», «Современник» обнародовал все новые и новые его повести и рассказы. В прошлом, 1855 году здесь были напечатаны два из «Севастопольских рассказов», замечательные по силе изображения величественной народной эпопеи обороны Севастополя, а в январе Салтыков с волнением разрезал листы журнала, на которых находился третий — «Севастополь в августе 1855 года», о последних днях героического сопротивления и падении города, ставшего почти легендарным. Этот рассказ впервые был подписан именем, которому предстояло приобрести необыкновенную славу: «Граф Л. Толстой». В январской и февральской книжках того же «Современника» в романе Тургенева «Рудин», как итог многолетних тургеневских подступов к этому типическому характеру, перед читателем развертывалась печальная и знаменательная судьба человека тридцатых-сороковых годов — интеллигента-романтика, мыслителя и мечтателя. В декабре прошедшего года явились в отдельном издании первые три части «Семейной хроники» С. Т. Аксакова — красочная живописная картина патриархального, захолустно-провинциального дворянского быта, всколыхнувшая в памяти Салтыкова образы его деревенского детства. Не менее богаты литературной жатвой были и следующие месяцы первого года жительства Салтыкова в столице — летом выходит полное издание аксаковской «Семейной хроники», «Детство и отрочество» и «Военные рассказы» Л. Толстого, осенью — трехтомное собрание «Повестей и рассказов» Тургенева, сборник стихотворений Некрасова... Литературные открытия следовали одно за другим. Это был поток поистине могучий и увлекающий... Салтыков напряженно осмысливал борение идей, суждений, литературных оценок, и сам смело бросался в этот поток, бросался со своими оценками, своими идеями, главное же — своими образами и картинами, почерпнутыми из моря житейского. Как же он понимает этот «новый период» — по Дружинину, по Чернышевскому или как-то и вовсе иначе — по-своему?

В конце марта Дружинин дал Салтыкову только что вышедшую четвертую книжку «Русского вестника», где важное место заняла программная для журнала и группы критиков, ратовавших за «свободу» искусства от треволнений и забот быстротекущей современности, — статья

Анненкова «О значении художественных произведений для общества». Ирония Салтыкова в письме к Дружинину, сопровождавшем возвращаемую книжку, была убийственна, хотя и сдержанна. Статья Анненкова, пишет он, «Вам будет очень приятна, потому что она заключает в себе теорию сошествия святого духа». Салтыков, конечно, помнил рассуждения своего «эстетического» приятеля, вроде того, что содержались в статье о Пушкине: мировая муза сходит к певцам и т. д.

«Сходит»! А что же в таком случае делает сам «певец»? Погруженный в «хладный сон» (пушкинские слова), ждет он «сошествия святого духа»?

Нет, с таким страдательным ожиданием деятельный Салтыков согласиться не мог. И вновь принимаясь за перо художника, он решил высказаться и как литературный критик. Многое в современной, зашевелившейся и проснувшейся после многолетнего сна литературе его волновало и задевало за живое.

В конце марта или начале апреля в книжных лавках Петербурга появилась книга — сборник стихотворений Кольцова — перепечатка того издания 1846 года, которое было предпринято Прокоповичем и Некрасовым и которому был предпослан блестящий очерк жизни и творчества Кольцова, написанный Белинским. Впервые после семи лет запрета имя Белинского появилось в печати. В памяти Салтыкова эта небольшая книжка вызвала образы-тени некогда столь горячо любимых и навсегда ушедших людей. Вот больной, задыхающийся и худой Белинский, страстно загорающийся, когда речь заходила о деле его жизни — литературе, Белинский, унесенный болезнью бедных поэтов и мыслителей — чахоткой. Вот горячий спорщик, мечтатель-утопист, кончивший жизнь так странно, случайно, нелепо, — юный Валерьян Майков. Вот ближайший друг, мыслитель, глубокий знаток экономических и социальных теорий — Владимир Милютин; заплутавшийся на тяжкой дороге жизни, в цвете лет и таланта послал он себе «вольную смерть», застрелился на чужбине. Вспомнились беседы и споры о статье Белинского, о полемике с Белинским по поводу Кольцова, затеянной Валерьяном, о спокойном и трезвом ответе Белинского в обзоре литературы за 1846 год.

Возобновляя свою литературную жизнь, Салтыков решил высказаться о принципах, избрав предлогом переиздание стихотворений Кольцова, перечитав десятилетней давности статьи Белинского и Майкова.

Салтыков, конечно, свято хранил светлые воспоминания о том времени, когда был увлеченным учеником «школы идей» Белинского. Но удовлетворяла ли теперь в полной мере эта «школа» идей его, умудренного и обогащенного иным опытом — не тем, который создал эти вдохновляющие, эти великие идеи? Не склонен ли он был прислушаться к мысли Дружинина, может быть, высказывавшейся в дружеских беседах (и позднее четко формулированной в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения»): «...Учитель известного литературного поколения никак не будет учителем поколений последующих. Всякий год приносит за собой новую идею, всякий период народной жизни приводит с собою людей, его разумеющих»? В самом деле, не ушли ли безвозвратно «сновидения» всегда прекрасной юности, не стоит ли отнестись к прошлому с такой же трезвостью, с какой он стремился приучить себя относиться к настоящему?

Салтыков был испытан и умудрен суровой вятской жизнью, всем тем, что он перевидал, пережил и выстрадал — на «галере» обязательной службы, в скитальчествах по уездным городам, «диким» поселениям и починкам, глухим раскольничьим скитам, в грязных, зараженных тифом острогах, в ледяных домишках постоялых дворов, в нелегком общении с северным мужиком, с неграмотным «инородцем», старообрядческим «старцем» — всем тем, что теперь казалось тяжелым, кошмарным сном, но таким сном, увидевши который перерождаешься не только душевно, но, кажется, даже и физически. Салтыков не мог вынести за скобки своей жизни, выбросить из сердца все увиденное им трагическое неустройство жизни народа. Грязь, грязь, грязь... И к тому же — обида и ужас надвигавшегося и угрожавшего примирения... Теперь приходило все более осознаваемое и глубокое постижение смысла прошедшего. Он вдумывался, анализировал все те безобразия провинциальной жизни, которые там, в Вятке, иногда просто «машинально впитывал телом». И можно ли было погасить все более ярко горевший жар негодования, можно ли было подавить нестерпимую боль, не следовало ли, напротив, воспитывать и лелеять эту жгучую и человечную боль сочувствия и сострадания?

Салтыков ищет и находит свой путь и свое место в литературе, споря, размышляя, формулируя собствен-

ную мысль. В чем-то соглашаясь с Дружининым, он резко противоречит ему в главном; может быть, не соглашаясь с Чернышевским в оценке современного значения критики Белинского, он находится под влиянием его убежденной и последовательной мысли в главном — в отстаивании сознательности анализа, активного участия литературы в деле современности, в возвеличении гоголевского направления. Он сам, конечно, следует за Гоголем.

Салтыков хочет сказать о Кольцове не только свое, никем еще до него не сказанное, но сказать главное, существенное, важное сейчас. В этом смысле его не вполне удовлетворяют «две весьма замечательные статьи» о поэте: статья Белинского — блестящая как биография, но недостаточная, как ему кажется, по выяснению содержательного характера кольцовской поэзии, и статья Вал. Майкова, имеющая существенный интерес, но совсем независимый от этой поэзии , — интерес социально-утопического манифеста.

«Вопросу о художественности дана в последнее время слишком обширная область», — пишет Салтыков, разумея выступления Дружинина и Анненкова. Не может быть художника, отстранившегося от участия в труде действительности и современности. Трезвый и непредвзятый анализ действительного факта — вот что требуется современному искусству (как и вообще всякому искусству, которое стало вечным только потому, что рождено своим временем, и ссылки теоретиков «чистой художественности» на Шекспира, Гёте, Шиллера неубедительны). Салтыкову кажется глубоким заблуждением, ограничивающим, сужающим его истинную и высокую роль, такое представление об искусстве, которое отделяет художественную идею — идею в искусстве — от идеи в науке: «силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная в действительности не что иное, как мысль общечеловеческая». Такая, полная животрепещущего интереса, общечеловеческая мысль анализирует — разлагает, разрушает неподвижность и застойность, выявляет истинный характер противоречивых соотношений и связей; в конечном счете — указывает пути к практическому — преобразующему, обновляющему — действию, к непосредственному участию в «труде современности». И искусство не может быть исключено из такого участия, если оно не хочет умереть. Художественное произведение «необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный

и косвенный» (такого результата не отрицали и сторонники «чистой художественности»), «а близкий и непосредственный». Салтыков предвидит и предупреждает обычное в таких случаях возражение тех, с кем он полемизирует, и в первую очередь своих друзей — Дружинина и Анненкова. Разумеется, художник вовсе не обязан своим произведением высказать «голословно придуманное им нравоучение, доказать известную аксиому». «Мы требуем только, чтобы произведение имело последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника. Каким путем достигается этот результат — отрицанием ли или исканием *положительных и идеальных сторон жизни,* — это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть — в противном случае искусство теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства».

Все это в конце концов должно привести и к пониманию того, что такое народность. Салтыков убежден, что действительная жизнь, подлежащая анализу, — это и есть жизнь народная.

Анненков, в соответствии со своим общим принципом, полагал, что народность приходит к истинному художнику столь же просто и естественно, без каких-либо сознательных усилий, как и художественность. Рассудочная преднамеренность и здесь может привести лишь к натяжкам и сухому, безжизненному дидактизму (как это и получилось у Александра Николаевича Островского в его «москвитянинских» комедиях). Салтыкову эти комедии (в споре со славянофильским критиком Тертием Филипповым он иронически пересказывает сюжет одной из них — «Не так живи, как хочется») тоже кажутся искусственно дидактическими и натянутыми. Он усматривает в них неудавшуюся попытку какого-то «идеального обращения к народной жизни», такого обращения, которое исключает из народной жизни то, что в ней несомненно есть — «диссонансы и фальшивые звуки», которое страшится ее трагического неустройства — страданий крестьянской женщины, безнравственности семейных отношений, вековых предрассудков и закоснелости. И беда тут не в дидактизме самом по себе (как это представлялось Анненкову), а дидактизме в пользу именно этих предрассудков и закоснелости. Не подчиняться застою, а пробуждать в массе сознание, «разлагать» массу мыслию, как скажет Салтыков десятилетием позже, воспользовавшись

формулой Грановского. Не ждать «сошествия св. духа», а неустанно подвергать народную жизнь воздействию анализирующей мысли, не бояться добросовестной разработки ее матерьялов, какими бы они ни были, — без предубеждений, без обреченного на неизбежную неудачу стремления сказать какое-то «новое слово», такое слово, какого и взять-то неоткуда. Ведь «народная жизнь сама по себе не без труда и усилий выработывает что-либо положительное», и потому «писатель, желающий отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет, ставит себя в фальшивое отношение к ней и сразу признает себя несостоятельным и поставленным именно в то положение, в которое ставит художника распространяющееся у нас понятие о чистом искусстве». Салтыков искусно вернул «артистам» тот упрек, который они предъявляли «дидактикам». И вообще — хватит схоластических и бесплодных споров о воззрениях, которыми заполняются десятки журнальных страниц, надо прямо обратиться к исследованию жизни народа в ее мельчайших изгибах, в ее гармонии и ее дисгармонии.

Почему же внимание Салтыкова, как десятилетием раньше — Белинского и Майкова, привлекла поэзия Кольцова? Да потому, что в ней как раз и представала народная жизнь в ее главнейших чертах и в ее мельчайших изгибах, в ней трудился и жил, горевал и радовался русский крестьянин — «поселянин». Она сама, эта поэзия, давала бесценный материал для разработки весьма непростого вопроса о национальном характере, о «народном духе», народном идеале.

В повседневной жизни каждого народа есть нечто такое, что обще ей с жизнью любого другого народа (и в поэзии Кольцова это «нечто» как бы освобождается от случайности, рисуется определенно и ярко) — стремление к материальному довольству. И это народное стремление не может быть случайным, ибо только оно является условием довольства духовного, ведет к сознанию собственного достоинства, к уважению своей человеческой личности. Естественный нормальный труд на лоне и в единстве с природой — вот идеал, который Валериан Майков определил когда-то так вдохновенно: «страсть и труд в их естественном благоустройстве».

Салтыков помнит, конечно, и возражения Белинского. Ведь всякий народ имеет свою историю, живет и трудится в отличных от других народов обстоятельствах, накладывающих на народную физиономию особый характеристический отпечаток. И тот, кто в самом деле желает участвовать в труде современности, не может забыть о таких чертах и проявлениях народного характера, в которых неизгладимо и резко запечатлелась его историческая, прошедшая, и его настоящая жизнь. В облике русского поселянина, воссозданном Кольцовым, эти характеристические черты проступают с ясностью и достоверностью необыкновенной. Салтыков поднимается над полемикой о пушкинском и гоголевском направлениях: Кольцов — «пополнитель» Пушкина и Гоголя.

Салтыков читает одно стихотворение Кольцова за другим, он отмечает то, что как бы подтверждает его, Салтыкова, собственные «аналитические» заключения об особенностях народного бытия. Здесь и беспечность, упование на судьбу, на «авось», на какие-то случайные внешние силы, от которых зависит и горе, и счастие, пассивность, которую нельзя, однако, назвать апатическим равнодушием: ведь нет человека, более склонного к иронии по отношению к самому себе, чем русский. Здесь, в этом собственном кольцовском мире, и упорный будничный труд пахаря, здесь и горе крестьянина, постигнутого неумолимой судьбой — «чужой угол и горькая доля», здесь и «развеселое» разбойничье житье мужика, отчаявшегося и бросившего свой дом ради «зеленой дубравушки».

Кольцовская поэзия, воспринятая через призму различных мнений, учтенных и отринутых, через собственный уже богатый опыт, прочувствованная глубоко непосредственно и одновременно аналитически «разложенная» мыслью, помогла Салтыкову найти важнейшую для него формулу, критерий и мерку, с которой он подходил теперь и к народной жизни, и к ее изображению в искусстве. Кольцов велик не искусственной, предвзятой и заданной идеализацией русского простонародного быта или «огрублением» его, этого быта, исключительности, странности для «цивилизованного» человека. «Кольцов велик именно тем глубоким постижением всех мельчайших подробностей русского простонародного быта, тою симпатией к его инстинктам и стремлениям, которыми пропитаны все лучшие его стихотворения. В этом отношении русская литература не представляет личности, равной ему; он первый обратился к русской жизни прямо, с глазами, не отуманенными никаким посторонним чувством, первый передал ее нам так, как она есть, со стороны ее притязания на жизнь общечеловеческую».

Статья Салтыкова — плод его размышлений весны и начала лета — была набрана для августовского номера петербургской «Библиотеки для чтения», но света тогда не увидела. Маститый романист и цензор Иван Иванович Лажечников не решился одобрить к печати статью, столь определенно и резко защищавшую современное, общественное, аналитическое направление искусства.

И в это же время в новом московском журнале, редактором которого стал человек, некогда близкий к кругу Белинского, — Михаил Никифорович Катков, уже готовились к печати первые рассказы «Губернских очерков».

Каким образом «Губернские очерки» попали в либеральный московский журнал? Нет никакого сомнения в том, что Салтыков хотел видеть новое свое произведение в «Современнике», некогда журнале Белинского.

Первый, кому он дал прочитать начальные очерки, был, естественно, человек, дружески ему в это время самый близкий, — Дружинин. «Вот вы стали на настоящую дорогу, — сказал Дружинин, — это совсем не похоже на то, что писали прежде». И в самом деле, прочитанное Дружининым начало «губернских», или, как их тогда иной раз называли, «провинциальных», очерков Салтыкова совсем не было похоже на его натуральные повести сороковых годов. Дружинин поощрял желание Салтыкова печататься, но у него самого к этому времени отношения с «Современником» уже совсем разладились. Самым лучшим посредником, который мог бы порекомендовать «очерки» в «Современник», был, конечно, Иван Сергеевич Тургенев, только что напечатавший в журнале роман «Рудин». Его литературный вкус, его мнение для Некрасова были непререкаемыми. Но «поэту» Тургеневу «чиновничья проза» Салтыкова очень и очень не понравилась. Его оценка оказалась отрицательной: «Это совсем не литература, а черт знает что такое!» Резкость тургеневских суждений будет все возрастать: это вещи «пряные и грубые», рассчитанные на публику невзыскательную, юмор Салтыкова — «топорный», язык — «вонючий канцелярской кислятиной». Может быть, в отзыве Тургенева играло роль и опасение другого рода, цензурного (а к такого рода опасениям Некрасов, руководитель оппозиционно-демократического журнала, прислушивался со всем вниманием): «обличительная» тенденция очерков определилась сразу же. Возможно, что и Салтыков поопасился налаживать в это время свои связи с «Современником» по этой же причине: ведь его первая после многих лет литературно-критическая статья оказалась запрещенной петербургской цензурой! А в Москве и журнал был в общем подходящий — либеральный, свободомыслящий (хотя и в англоманском духе), да и цензор — под стать журналу. «Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон, — вспоминал Салтыков уже в конце жизни и с обычной в его позднейших высказываниях об «эпохе возрождения» иронией. — В особенности провинциальная юродивость <разумеется как раз обличение чиновничества в «Губернских очерках»> всплыла наружу, так что городничие, исправники и даже начальники края <то есть губернаторы> не на шутку задумались. Затевались новые периодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник». При этом Петербург завидовал Москве, в которой существовал совершенно либеральный цензор, тогда как в Петербурге цензора все еще словно не верили превращению, которое в их глазах совершалось. Что касается устности, то она была просто беспримерная» (рассказ «Счастливец» из «Мелочей жизни»).

Итак, со второй августовской книжки «Русского вестника» за 1856 год началась публикация «Губернских очерков» Н. Щедрина, началось победное шествие либерального «надворного советника».

Салтыков, познакомившийся поначалу с разными литераторами дружининского круга, а несколько позднее с Некрасовым и Чернышевским, остался в эти первые после ссылки годы чужд литературно-журнальному миру. Ставши благодаря «Губернским очеркам» несомненным и даже знаменитым писателем, Салтыков еще много сил и времени отдает служебному поприщу, желая прежде всего именно на нем осуществить свою идею деятельного участия в труде современности. Конечно, и писатель — такой писатель, облик которого обрисовал Салтыков в статье о Кольцове, — участвует в труде современности, но участвует, так сказать, опосредованно, Салтыков же стремился к прямой и непосредственной практической работе по преобразованию устаревшей русской общественно-политической системы. «Это было самое кипучее время его жизни, время страстной полемики, усиленной литературной деятельности, переходов от расцветания к увяданию и проч., — вспоминает Салтыков о себе таком, каким был он в эти радостные годы взлета русского

общественного движения. — Во всяком случае, не чувствовалось той пошлости, того рассудительного тупоумия, которое преследовало его по пятам в провинции. Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку; развитие — как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности; справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания. Тогда он был здоров, общителен и деятелен» («Имярек»).

Так велики были влияние личности, энергия Салтыкова, что уже вскоре по приезде в Петербург он, имевший весьма незначительный чин надворного советника (VII класса), оказался вхож в самые верхи петербургской бюрократии. Теперь Салтыков видит все хитросплетения, колеса и колесики, винты и винтики русской государственной машины не из захолустья Вятки, а из кабинетов высших сановников империи — «сверху».

Когда вышел в свет второй августовский номер «Русского вестника» с первыми «Губернскими очерками», Салтыков уже опять странствовал по российской провинции, правда, теперь не в дебрях Вятской и Пермской губерний, а в «дебрях» делопроизводства губернских комитетов ополчения в Твери и Владимире. 5 августа он был послан министром Ланским ревизовать эти комитеты. Вакханалия хищничества, лихоимства, взяточничества, прямого грабежа казны в тяжелый, 1855 год, год ужасного поражения в Крымской войне, открывшаяся Салтыкову при разборе бумаг комитетов, была сродни той, что видел он осенью 1855 года в Вятке. В Твери все подряды на обмундирование и снаряжение захватил, «монополизировал» купец Ветошкин. Он установил несусветные, грабительские на них цены. Да к тому же поставляемые им ополченские армяки и полушубки, патронташи, ранцы, ящики для снарядов были совершенно негодны. Салтыков с гневом читал бесконечные донесения-жалобы начальников уездных дружин губернатору и издевательские ответы-отписки губернатора. Во Владимире дело обстояло не лучше, и там все поставки, без торгов, полагавшихся по закону, взял купец Никитин, городской голова и член губернского комитета ополчения. В «записке» об итогах ревизии Салтыков прямо указал на виновников крымского поражения — продажное чиновничество во главе с губернатором и «имущие» сословия — дворянство и купечество, глубоко запустившие свои грязные руки в карман «любезного отечества».

Пока Салтыков перетряхивал лист за листом дела комитетов ополчения, в Москве выходили книжки «Русского вестника» с «Губернскими очерками». К тому времени, когда он в октябре вернулся в Петербург, было опубликовано уже десять очерков.

Постепенно социальное и бытовое «пространство» очерков расширяется, открываются все новые и новые картины провинциальных нравов, новые и новые герои — обыватели города Крутогорска самых разных рангов и положений, со своими судьбами — появляются, проживают жизнь или какой-либо ее отрезок или эпизод и уступают место другим. Уродливые личности, кажется, действительно явившиеся из каких-то допотопных «прошлых времен», сменяются личностями, которые в соответствии с желанием автора (и его программой) вроде бы должны со дня на день умереть, но умирать-то вовсе не торопятся, а, напротив, благоденствуют и процветают.

На первый план выступает не однозначно хищническое вожделение чиновника при виде подвластной ему жертвы — мужика, раскольника, «инородца», как это было в рассказах подьячего, а неприглядные отношения иерархической зависимости внутри самой чиновничьей «корпорации» — отношения чиновников-щук и чиновников-пискарей.

Резко негодующий и обличительный тон первых очерков если и не смягчается, то приобретает иные оттенки, обогащается глубиной и перспективой. Рядом с чиновником-подьячим прошлых времен, грабителем и злецом, появляется чиновник бедный и жалкий, весь пропахший бытом присутственных мест и своих отнюдь не дворянских домашних гнезд, насквозь пропитанный и вконец изломанный низменной психологией — подобострастия перед выше стоящими и издевательства над своими же собратьями, стоящими ниже. И сколько усилий, часто тщетных, прилагает такой пискарь, сколько выносит «эквилибристики», чтобы стать щукой, выбиться из ничтожества любой ценой, даже ценой «выгодной женитьбы». Типичный «физиологический» очерк гоголевской школы, которому придана драматическая форма (первая попытка такого рода у Салтыкова), так и называется — «Выгодная женитьба». В обстоятельных ремарках, предпосланных «сценам», вещи как бы срастаются с героями, ста-

новятся их частями, их членами. Попробуй оторви принадлежащую герою вещь от него самого — и, кажется, потечет кровь: вещный домашний быт полностью выражает духовное бытие, духовную природу.

Может быть, впервые именно здесь, в «Выгодной женитьбе», человек уподобляется Салтыковым животному: начальник «выгодно женившегося» мелкого чиновника, выманивающий у своего подначального жену сразу же после свадьбы, поименован Змеищевым да к тому же еще носит вставную челюсть с зубами, подобными щучьим.

Быт, в котором существовали «маленькие люди» Гоголя и Достоевского, да и самого Салтыкова в его первых, доссылочных повестях, при всей этого быта мелкости и ничтожестве, — не грязен; он очищен, возвышен, облагорожен их собственным благородством, человечностью их несчастий и страданий. Не то у Салтыкова, ставшего Щедриным. Даже тогда, когда он не обличает, он еще не склонен сострадать своему герою, с ног до головы запачканному грязью повседневного низменного быта. Конечно, все эти чиновники-пискари — жертвы порядка вещей, а не его, так сказать, созидатели, и потому не подлежат обличению, но их духовный мир ничтожен, понятия ограниченны, их желанья не идут дальше копеечного приданого, прибавки к жалованью и места столоначальника, их язык действительно отдает канцелярской кислятиной. Салтыковский юмор здесь еще не сатиричен, не отточен, он грубоват, прямолинеен, «прян» (если воспользоваться словами Тургенева, может быть, и вызванными «Выгодной женитьбой»). Но ведь все это принадлежит самой этой изображаемой среде — невежественной, грубой в своих понятиях и поступках.

Сколько бы ни твердил друг и приятель Александр Васильевич Дружинин об «изжитости» гоголевского направления, Салтыков, несомненно, и вполне сознательно, работал в гоголевских традициях. В некоторых очерках эта прямая ориентированность на Гоголя ощущается особенно сильно. Очерк «Порфирий Петрович», напечатанный вслед за «Выгодной женитьбой» во второй сентябрьской книжке «Русского вестника», буквально соткан из элементов гоголевской манеры, пронизан гоголевскими интонациями. Порфирий Петрович — прямой наследник Павла Ивановича Чичикова, наследник вполне преуспевающий, ни разу не споткнувшийся на жизненной дороге, весьма не брезгливый в своем лицемерии и многочисленных предательствах и других «подвигах», достигший в конце концов всего, о чем только мог мечтать сын сельского пономаря (кроме вожделенных белых брюк, полагавшихся при парадной форме «штатским генералам»). И цель всех душевных устремлений — местечко советника питейного отделения — Порфирий Петрович получил.

С вершин губернского общества спускается Салтыков и на самое его дно — в острог. Преступление и наказание, тюрьма, пенитенциарное (тюремное) законодательство — все это волновало его с юных лет (когда еще он требовал выписывать для складчинной библиотеки петрашевцев книги по тюремному праву). И вот он входит в двери острога сначала по служебной обязанности, а теперь и как художник, в обличии Николая Ивановича Щедрина. Не впервые ли за решетчатые окна и окованные двери тюремных «зáмков» заглянула с Салтыковым и русская литература? И что открылось литературе и читателю, что открылось там русскому обществу?

На печальные и тяжелые размышления наводит Николая Ивановича Щедрина вид тюремного здания, вызывает болезненное чувство. Он идет сюда как чиновник, но желалось бы ему превратиться из чиновника, исполняющего обязанность, в человека, дабы в этих острожных «каморах» увидеть не ряд юридических казусов, к которым тот или другой закон применить можно, а живых, пострадавших и страдающих, «несчастных» людей.

«Что привело сюда их, этих странников моря житейского? — спрашивает повествователь. — Постепенно ли, с юных лет развращаемая и наконец до отупения развращенная воля или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое в разъедающей борьбе с самим собою и наконец разорвавшее все преграды и, как вышедшая из берегов река, унесшее в своем стремлении все — даже бедного своего обладателя?.. Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи, перед нами воочию развиваются драмы, одна другой запутаннее, одна другой замысловатее... Как ни говорите, а свобода все-таки лучшее достояние человека, и потому как бы ни было велико преступление, совершенное им, но лишение, которое его сопровождает, так тяжело и противоестественно само по себе, что и самый страшный злодей возбуждает наше сожаление, коль скоро мы видим его в одежде и оковах арестанта. Нам дела нет до того, что такое этот человек, который стоит перед нами, мы не хотим знать, какая черная туча тяготеет над его сове-

стью, — мы видим, что перед нами арестант, и этого слова достаточно, чтоб поднять со дна души нашей все ее лучшие инстинкты, всю эту жажду сострадания и любви к ближнему, которая в самом извращенном и безобразном субъекте заставляет нас угадывать брата и человека со всеми его притязаниями на жизнь человеческую и ее радости и наслаждения».

Вот казус первый — молодой крестьянин из северной лесной деревни, убийца любимой женщины, убийца от ненасытимого желания, в безумном приступе, почти припадке, тоски и боли. Он убивает, не в силах вынести насмешек и пренебрежения от той, которую страстно любит. В его внешнем облике проглядывает незаурядный и сложный духовный мир, противоречивая и цельная человеческая натура.

Салтыков думает о природе преступления, совершенного крестьянином из глухой деревни. Салтыков думает и о наказании, постигшем убийцу.

— А объяснял ли ты на следствии, что она тебя почти сама на преступление вызвала? — спрашивает повествователь, Николай Иванович Щедрин.

— Сначала объяснял, а потом бросил.

— Отчего же?

— Да становой сказывает, что это все лишнее: «*Почти*-то, говорит, не считается...»

С юридической точки зрения, точки зрения станового пристава, казус не представляет никакой сложности и неясности: виноват в убийстве... Но ведь «мир весь за меня стоял: всякому ведомо, что я в жизнь никого не обидел, исполнял свое крестьянство как следует, — стало быть, не разбойник и не душегуб был!». Так кто же прав — становой пристав или крестьянский мир? Закон государственный, формальный, или мирской, земский — нравственный, в конце концов, общечеловеческий?

А вот и второй казус — просвещенный мещанин, читатель Дюма, «джентльмен бывалый», словоохотливо и нахально лицемерный, которому на все наплевать, убийца без всяких «психологий», из денег, лгущий беззастенчиво и нагло, ибо оправдан самим господином становым.

И, наконец, казус третий — маленький мужичонка, покусившийся на жизнь брата своего, мужика, из-за каких-то рубля семидесяти копеек — подать заплатить было нечем.

За «Первым посещением» острога вскоре последовало и «Второе». На этот раз перед Николаем Ивановичем

Щедриным (и читателем) проходят сначала три субъекта из чиновников, которые не только преступили закон (что весьма заурядно), но и были за то наказаны тюремным заключением (что уже действительно было казусом).

Ряд этот открывается страшной фигурой, приобретающей почти символический смысл, — страшной потому, что она представляет стадо, множество, бесчисленную чиновничью массу. Она гнетет и вызывает даже не гнев, а ужас и отчаяние своей очевидной бездарностью и при этом вопиющей агрессивностью. Это агрессивность непроходимой и торжествующей пошлости, щеголяющей расхожими афоризмами, подходящими на все случаи жизни. Повествователь определяет изображаемого субъекта просто — «форменный сюртук», хотя сюртук этот имеет замечательную физиономию, замечательную именно своей ординарностью, тошнотой и унынием, чем-то предвещающую будущего Угрюм-Бурчеева. И преступление этого субъекта хитро, но ординарно: статистику собирал, у мужичка был (и опять этот простодушный мужичок, объект остроумных чиновничьих поползновений!) и потребовал, чтобы тот пчел своих сосчитал (для статистики!), а за мужицкую неспособность к такому счету — взял по целковому с улья. Все бы осталось шито-крыто (как обычно и бывало), да «исправник-злодей» донес: обидным показалось ему, что весь урожай целковых соберет находчивый «статистик».

Из-за спин всей этой чиновничьей братии опять выглядывает маленький жалкий мужичонка, дважды попадавший в острог по неведению и простодушию. В первый раз виноват он оказался в том, что супротив его избы «хлопнулся» парень: «и вышло у нас туточка мертвое тело», и отсидел мужичонка по этой причине в остроге три года. И теперь опять сидит он в той же острожной горнице: видел, как у соседа со двора корову сводили, а он корову эту с вором вместе «в полицу не преставил». Ну не нелепость ли все это? Какое уж тут тюремное право!

Начав с «обличения» явно мечущихся в глаза вопиющих деяний подьячих «прошлых времен», Салтыков погружается в быт чиновничьей массы, и жар негодования, может быть, что-то теряя в остроте, много приобретает в силе, ибо все больше подкрепляется анализом главного социального противостояния — чиновничество и народ. И Салтыков наблюдал это противостояние не со стороны: он сам представлял в нем одну из сторон; служа, он по-

неволе был чиновником, хотя всеми силами мысли и души стремился быть человеком. Либеральный обличитель уродливого всевластия чиновников, он медленно, но верно покидает избранную им в годы ссылки позицию строгого и бесстрастного слуги Закона и учится смотреть на все эти уродства, безобразия и нелепости глазами народа — русского крестьянина.

Дважды при посещении острога останавливается взгляд Николая Ивановича Щедрина на тщедушной фигуре маленького мужичонки. Дважды галерею острожных обитателей как бы замыкает эта странная, жалкая и трагическая фигура «преступника» поневоле.

В остроге, на этом дне жизни, где, может быть, яснее и резче всего обозначается подлинный смысл бытия, общезначимость отдельных человеческих судеб, слушает надворный советник Щедрин исповедь бывшего старообрядческого старца — представителя того темного «угла» народной жизни, который повелительно требовал уяснения. Что скрыто в этом углу, почему он так туго поддается свету, почему так упорно держится своей обособленности, почему так угрюмо и неприязненно сторонится всякого пришельца со стороны, в особенности барина-чиновника? Еще ведя следствие по делу Ситникова и Смагина, Салтыков задумывался над этими вопросами, напряженно искал ответа. Просветитель и социалист, Салтыков не может видеть в этом огороженном высокими заборами, крепкими стенами, охраняемом запорами и замка́ми раскольничьем мире ничего, кроме отчаяния, мрака, подавления живой человеческой личности, а очень часто — и преступления. Да и собственный опыт следователя подсказывал ему именно такой взгляд.

Раскольничий старец, унаследовавший от отца — истового старообрядца — «старую веру», с ее исконной приверженностью к духовному подвигу-мученичеству и к общественному — земскому началу, человек, упрямо противящийся насилию чиновников от государства и чиновников от церкви, все отчаяннее бьется в сетях стяжания, любоначалия, разврата и чуть ли не разбоя, опутавших нынешний раскольничий мир — мир темный и преступный, отпавший от мира свободы и жизни. Вместо духовного подвига — застылость на обряде и букве, вместо земского начала — глухое и асоциальное, бесчеловечное отщепенство — вот тот итог, к которому приходит Салтыков, завершая в конце 1856 года первую редакцию «Губернских очерков».

Но возникало сомнение: может ли столь непримиримое упорство в отстаивании «старой веры», пусть только ее «буквы», может ли двухвековое сопротивление искоренителям и преследователям быть объяснено без дальних слов, традиционным «невежеством» и исторической «опечаткой»? Не продолжает ли сказываться здесь то, что вызвало когда-то, в XVII веке, старообрядчество как движение народное, а не внутрицерковное — страстная жажда подвига во имя истины и бунтарское противление? Не оправдывается ли вражда, а то и ненависть к барину-чиновнику тем насилием, которое творит этот человек, творит вся чиновничья «корпорация»?

Мы знаем, в какой последовательности печатались в «Русском вестнике» «Губернские очерки». Но невозможно сказать, в какой последовательности и в какие сроки они писались. В работе, конечно, наступали перерывы, когда Салтыков в апреле ездил во Владимир, к невесте, когда он играл в Москве свадьбу, когда ревизовал комитеты ополчения в Твери и Владимире, вообще — когда исполнял свои служебные обязанности чиновника особых поручений. Но несомненно, что последний очерк, напечатанный в журнале в декабре 1856 года, — лирический монолог «Дорога» писался именно в ноябре — декабре как заключающий весь цикл. Это была та самая «дорога», что вела Салтыкова из Вятки на родину, в Спас-Угол, а затем и в манивший все ссыльные годы Петербург. В трех случаях «надворный советник Н. Щедрин» снимает маску и явно предстает перед читателем как Михаил Евграфович Салтыков. Эти случаи — три лирических автобиографических этюда: «Вместо введения» (потом — «Введение»), «Скука» и «Дорога. Вместо эпилога». Этими этюдами как бы обозначены три вехи салтыковских «взаимоотношений» с Вяткой, куда он прибыл против своей воли, где жил, впитывая все многообразие впечатлений, измученный провинциальной скукой. и тяжкой обидой примирения, и, наконец, откуда он, полный радостных ожиданий и какой-то непонятной, гложущей сердце тоски, поспешил уехать, как только это стало возможным. Между этими тремя очерками — вехами жизни и вехами композиции произведения — развернулось все его содержательное пространство. Покидая Вятку, Салтыков, конечно, смотрел на все там увиденное и пережитое как на ушедшее, покинутое навсегда. Но вряд ли уже

тогда он обобщал это определением «прошлые времена». Теперь же, через год, заключительные строки эпилога отданы видению похорон «прошлых времен», символизированных в образах «примадонн и солистов крутогорских»...

Хотя в Москве судьбы русской литературы зависели не от петербургской цензуры «прошлых времен», а от либерального цензора фон Крузе, тем не менее до трети салтыковских очерков в 1856 году все же не были допущены к печати, картина оказывалась недорисованной, слово оставалось недосказанным... И с января 1857 года началась публикация новых очерков, среди которых, очень возможно, были и запрещенные цензурой в прошедшем году. Скоро вся ненормальность, вся противоестественность поступков, психологии и морали чиновничества будет означена и припечатана к позорному столбу выразительнейшим словечком — «юродивость».

Умный старик Голенков в очерке «Неумелые», заключая свой рассказ о чиновнике, постоянно попадающем впросак из-за нежелания знать «живой матерьял», определил нелепые его поступки еще одним характерным словом — «озорство». И вот Салтыков публикует очерк, который так и называется — «Озорники».

Суть ненавистного Салтыкову «озорства» — презрение к мужику и преклонение перед «принципом чистой творческой администрации» — принципом будто бы всеобщим и «энергическим», перед которым бледнеет все случайное и преходящее. Лишь администрация, лишь бюрократическая машина как бы дает ход и движение жизни. Лишь она творит, лишь она дает форму неопределенной и разлезающейся во все стороны мужицкой «яичнице». Все эти Куземки и Прошки с их частными и случайными повседневными заботами, дрязгами и поползновениями — ничто перед недоступной им чистой идеей государства. Кричат о взятках [1]; просвещенный администратор, конечно, не станет брать взяток: он требует *только должного*. Впрочем, почему же чиновнику и не взять: «ведь он все-таки высший организм относительно всей этой массы».

Выходит на сцену и еще один юродивый, которому

[1] Разумеются фразы либерального чиновника Надимова, героя шумевшей в 1856 году пьесы графа В. А. Соллогуба «Чиновник»: «Надо вникнуть в самих себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и действительно она пришла,— искоренить зло с корнями» и т. д.

дается кличка — «надорванный», по фамилии Филоверитов (буквально, в переводе с греческого, — любитель истины: такие фамилии носили выходцы из духовного сословия; кстати отметим, что ни «неумелый», ни «озорник» не наделены фамилиями). Он сам себя называет — чиновник-собака. В его принципах и поведении есть нечто на первый взгляд даже привлекательное: не только денежная взятка, но и взятка невесомая, моральная — лесть и ласкательство — не могут его подкупить. Но и ему — чиновнику «надорванному», как и «неумелому», и «озорнику», — претит живой матерьял. Он идет и еще дальше. Живой матерьял, живая, страдающая личность, с которой имеет дело следователь, поневоле вынуждает соболезновать и сочувствовать. То ли дело судейство — деятельность бумажная, «кабинетно-силлогистическая», она способна доставить истинные и неисчерпаемые наслаждения. Филоверитова в его кабинетных упражнениях не интересует, совершено ли преступление на самом деле и кто те люди, которые в преступлении обвиняются, ему необходимо знать лишь одно: доказано преступление *или не доказано. Если оно доказано* — *в упоительном* соревновании бумаг, — то этого вполне достаточно: карающий закон должен быть применен неукоснительно. Филоверитов не только чиновник-собака, но и чиновник-аскет, проповедник долга, в жертву которому приносит и свою личность, и всякую иную личность — вообще все человеческое.

Череда «юродивых», сменяющая череду патриархальных подьячих, способна вызвать поистине ужас и отчаяние при мысли о тех, на кого направляют эти «юродивые» свои «благонамеренные» усилия. Все эти «неумелые», «озорники», «надорванные» — бюрократы новейшей складки, пожалуй, будут пострашнее каких-нибудь приказных и подьячих прошлых времен или даже Фейеров и Порфириев Петровичей, которые все-таки имели дело с живым матерьялом. Их, этих безжалостных орудий государственной власти, родила и вскормила призрачная бюрократическая машина, и сами они — безжизненные призраки, и служба их — не живое дело, а озорство, юродство, ужасный и уродливый театр теней. А потому и в новые времена «мужичок — не слыхать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего» («Первый рассказ подьячего»). Крестьянин, его жизнь, его труд, его забота и невзгода — вот та единственная мерка, которая позволяет разобраться в истинной сути

механизма власти, оценить и изобразить представителей этой власти.

В декабре 1856 года был напечатан рассказ, названный по имени его героя — «Владимир Константинович Буеракин», а летом следующего появляются еще три («Горехвастов», «Корепанов», «Лузгин»), объединенные под рубрикой «Талантливые натуры». Кто они такие, эти «талантливые натуры»?

Надворный советник Николай Иванович Щедрин, путешествуя по делам службы, заезжает к своему доброму приятелю Буеракину, владельцу села Заовражья. И хотя Заовражье находится будто бы в Крутогорской (Вятской) губернии, Салтыков выходит в этом рассказе за пределы Вятки, для которой помещичье землевладение не было характерным. Но в общей картине современной провинциальной России обойтись без помещика не было никакой возможности, и такой помещик не замедлил встретиться на пути Н. Щедрина.

Владимир Константинович Буеракин представляет своей персоной всех бесчисленных «господ Буеракиных» (дворян-помещиков), с молоком матери всосавших непоколебимое убеждение в своей сословной, кастовой исключительности и при этом в конце концов смешивавших «комильфо» (кодекс дворянской «порядочности», светскости) с просвещением. Владимир Константинович был уверен, что обладает особой привилегией на «цивилизацию», которая «со всеми ее благами и плодотворными последствиями может принадлежать в полную собственность лишь ему и другим Буеракиным». На историческом рубеже, который начался для России как раз в 1856 году, и «господа Буеракины» вдруг задумались, почувствовав необходимость поправления своих не очень важных жизненных обстоятельств, у них вдруг возникло стремление к «общебуеракинскому обновлению» — такому, впрочем, обновлению, которое не поколебало бы исключительности их привилегий. И вот тут-то Владимир Константинович выказал полное бессилие: «роль благодетельного и просвещенного помещика не далась ему». Буеракин засел в своем деревенском доме, отгородившись от мира праздностью и халатом и сочинив в оправдание доморощенную теорию невмешательства в дела мира сего: кругом «все так скверно, так растленно, так неопрятно, что никакая панацея этого ни изменить, ни исправить не может...». Ведь вы, господа губернские чиновники, обращается Буеракин к Николаю Ивановичу, только донкихотствуете, только блох ловите! Неужели вы думаете, что все эти действия, которые вы называете злодействами и злоупотреблениями, что вся эта галиматья, одним словом, проникнута какою-нибудь идеей, что к ней можно применить принцип «вменения» (иначе говоря, возложить на нее какую-нибудь ответственность за содеянное)?

Нельзя отказать Буеракину в ядовитости его наблюдений, приправленных иронией не только по отношению к губернскому «ловцу блох», но и по отношению к самому себе. «Благодетельный и просвещенный помещик», облачившийся в халат и взявший в наложницы дочку кучера, а крестьян своих отдавший на произвол тупого и жестокого управляющего!

А что же Николай Иванович Щедрин? Как выглядит в свете буеракинских «обличений» деятельность либеральных губернских чиновников? На все эти буеракинские инвективы отвечает Николай Иванович кратко: «Я делаю, что могу».

Так, может быть, впервые в русской литературе отразилось столкновение двух позиций, к отношениям которых будет в ближайшие реформенные годы приковано внимание Салтыкова-писателя и Салтыкова — общественного деятеля (крепостник-помещик и либеральный чиновник).

Тему «талантливых натур», намеченную в «Буеракине», продолжают летом 1857 года крутогорские «таланты» — Горехвастов и Корепанов. Бурные похождения и преступные способы добывания денег, о которых Горехвастов с какой-то почти обезоруживающей откровенностью рассказывает Николаю Ивановичу Щедрину, обрекли его на жительство в Крутогорске: он попал туда случайно и не по своей воле, и действительно, в Вятке обретались не только дворяне — политические ссыльные, но и дворяне, препровожденные туда за уголовщину. Всем своим характерным обликом, в котором «материя преобладает над духом», своей надувательской предприимчивостью, беспардонным хвастовством и враньем Горехвастов смахивает на гоголевского «исторического человека» Ноздрева — Ноздрева в новой стадии его приключений. Так и кажется, что в Крутогорск он попал, увезенный некогда капитан-исправником «по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде» («Мертвые души», гл. IV). Впрочем, уголовная история Горехвастова посерьезней всех ноздревских: это и шулерство, и подлог, и вымогательство; вымогательство та-

кое «талантливое», до какого Ноздреву, пожалуй, и не додуматься. Горехвастов — изолгавшийся, вконец промотавшийся и прогоревший потомок гоголевского героя и родной брат многочисленных салтыковских отставных прапорщиков и поручиков — Живновских и Забиякиных, желающих поправить свои пошатнувшиеся «общегорехвастовские обстоятельства» не административными поползновениями в собственной деревне, как это пытался сделать Буеракин (деревень, наверное, у них уже и нет), а мошенничеством и уголовщиной. И потому истории Ноздревых-Горехвастовых закономерно заканчиваются посещением капитан-исправника или полицмейстера в сопровождении «кавалеров огромных размеров» — полицейских солдат.

Еще одна разновидность «талантливой натуры» — провинциальный Печорин, сделавший своей специальностью насмешку над «обществом», но иронизирующий и по своему адресу. Печорина-Корепанова точит червяк недовольства, неустроенности, даже протеста, но протеста бесплодного. Брюзжащее печоринство Корепанова, его мефистофельская поза — свидетельство мертвенности, бездеятельности, нечувствительности к действительным, живым болям.

Желчные провинциальные Печорины-Мефистофели лишены той способности, которая обусловливает деятельное участие в трудах современности, способности сочувствовать, Салтыков готов даже употребить слово «примиряться». Молодой человек, подобный Корепанову (а Корепановы встречаются именно между молодыми людьми), «начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании». Салтыков — губернский чиновник и Салтыков — автор «Губернских очерков», напротив, страстно искал эти живые начала, болел всей душой; Корепанов же замер в болезненной, но холодной язвительной насмешке. Его «талантливость» осталась втуне, как и «талантливость» Буеракиных и Горехвастовых.

Подобно тому, как посетил однажды Николай Иванович Щедрин доброго приятеля своего Буеракина, так вновь подъезжает он к помещичьей усадьбе, на этот раз принадлежащей милому и бесценному другу молодости — Павлу Петровичу Лузгину; все так же ли, как и пятнадцать лет назад, «кипит в тебе кровь, так же ли ты безрасчетно добр и великодушен, по-прежнему ли одолевает тебя твоя молодость»? «Или уходили сивку крутые горки? или ты... но нет, не может быть!»

«Лузгин» — несомненно, один из самых прочувствованных автобиографических «Губернских очерков», в особенности в той части, где отдано место собственным салтыковским воспоминаниям; здесь ощутимо бьется тот живой нерв, который пронизывает лирические монологи «Введение», «Скука», «Дорога», автобиографические этюды «Замечательный мальчик» («Елка»), «Христос воскрес!».

Рассказчик взволнован, тон его мягок и почти сентиментален, перед его взором всплывают из забвения дни ушедшей молодости, беспечные дни светлых юношеских надежд, нерастраченных сил, безрасчетной доброты и великодушия. Был тогда, в то прекрасное время, рядом с Николаем Ивановичем Щедриным (Салтыковым) незабвенный Павел Петрович Лузгин (прототипом его был друг юности Сергей Андреевич Юрьев).

Переполненный идиллическими воспоминаниями, приближается к имению друга рассказчик. Но все проходит, и это сновидение юности прошло: помещик Лузгин принимает теперь приятеля, ставшего чиновником, с раздражением и почти враждебностью. Для него достаточно одного, в устах его бранного, слова «чиновник», чтобы отвернуться от старого друга.

Если многих из философствующих «юродивых» можно определить: чиновник-идеолог, то Лузгин — идеолог-помещик. Его неприязнь к чиновнику программна, как, если можно сказать, программно все его бытие, начиная с внешности: халата, в который он облачился и вылезать из которого не желает, жирных губ и запутавшейся в бороде капусты (эту внешность можно было бы назвать «обломовской», если бы роман Гончарова не был написан через несколько лет). В его программу входит и неприятие города вообще, Петербурга — в особенности. Город для него — средоточие всяческой мерзости и вони, кляуз, сплетен, франтовства. Ему, помещику Лузгину, видите ли, простора нет, природа сделала его артистом, а не тружеником! Возможно, что именно на этом пункте произошла размолвка между Салтыковым и Юрьевым во время их встречи в 1854 или 1855 году. Однако в рассказе Салтыков, несомненно, заострил это столкновение меж-

ду помещиком, проповедующим теорию артистического неделания, и деловым чиновником, представителем «действующей бюрократии». «Я вспомнил, что слово «артист» было всегдашним коньком Лузгина, по мнению которого «артистическая натура» составляла нечто не только всеобъемлющее, но и все извиняющее... Артистической натуре отпускаются наперед все грехи, все заблуждения, ибо уму простых смертных могут ли быть доступны те тонкие, почти эфирные побуждения, которыми руководствуются натуры гениальные, исключительные, и может ли быть, следовательно, применен к ним принцип вменения?» (то есть ответственности за содеянное). Николай Иванович Щедрин (Салтыков), конечно, стоит за безусловное применение принципа «вменения» и в этом случае, к артистическим «трутням», подобным Лузгину.

Есть в кодексе-программе Лузгина и еще одна интересная сторона. Он в свое оправдание наряду с артистизмом проповедует туманную теорию «непочатого ключа жизни», скрытого будто бы в первобытной и неиспорченной помещичьей натуре, какого-то «нового слова», зреющего в глубинах этой натуры. Впоследствии Салтыков разъяснит и разоблачит эту идею помещичьего «земства» — помещичьей олигархии.

Разрыв помещика Лузгина и чиновника Щедрина оказался неминуем. Идиллия разрушилась.

Но какова же положительная программа самого надворного советника Николая Ивановича Щедрина?

Салтыков хочет понять и определить, в чем же суть, в чем особенность русского национального характера и, естественно, ищет эту суть не в среде юродивых — чиновничества, не в среде талантливых натур — дворянства, а в простом нáроде, в посконном мужике, от которого пахнет печеным хлебом и кислыми овчинами, в крестьянстве — его быте, его отношении к природе, религиозных воззрениях, в созданиях его фантазии — легенде, сказке, духовном стихе...

Та область, куда обращает свои взоры Салтыков-Щедрин в поисках положительного, идеального, в поисках надежной прочной опоры и единственного оправдания своей практической деятельности, — жизнь простого народа.

Салтыков великолепно знал повседневный трудовой и хозяйственный быт народа — помещичьего, крепостного крестьянина средней России; знал он и казенных крестьян северо-востока Европейской России.

Но что скрывалось за тусклыми буднями барщинного труда и труда на собственной скудной полосе, за бесконечными заботами по дому и двору, за устоявшимся, издревле привычным крестьянским обиходом? Ведь освещено же все это каким-нибудь духовным, нравственным светом, наконец — поэзией; ведь не исключительно же тупое, никак не сознающее себя равнодушие и косность налегли тяжелой тучей на этот вечный и неподвижный мир без радости, мир, преисполненный неизбывной боли, непроходящих забот, терпения без конца и края!

В конце жизни Салтыков сетовал, что десять лет детства провел, собственно, не в деревне, а в усадьбе. Но все же он назвал свое детство деревенским: в самом деле, жизнь салтыковской усадьбы, как и многих других провинциальных помещичьих усадеб, была неотъемлемой частью общей сельской жизни, с ее вседневными думами и тревогами — о посеве, сенокосе, жатве, об убивающей засухе, о губительном граде, о благодатном дожде. Все здесь жило жизнью природы, все было лишь послушным орудием ее могучего творчества, все зависело от вечного круговорота природных сил. Земля владела этим миром, требовала непрестанной заботы и изнурительного труда.

Из всей массы литературных произведений, прочитанных Салтыковым в первые месяцы по возвращении в Петербург, особое и пристальное его внимание привлекла «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, сочинение, занявшее, по его мнению, высказанному в 1857 году в статье о «Сказании...» инока Парфения, исключительное место «в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа».

Поначалу в картине почти первобытной, девственной природы, нарисованной Аксаковым, Салтыкову почудились чрезмерная густота и обилие самодовлеющей образности, какая-то давящая тяжесть: «Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным. Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос».

Но по мере того, как в работе над «Губернскими очерками» жалконький мужичонка все больше и больше выдвигался на первый план, приобретал самостоятельность как человек и как литературный герой, становился «старцем», крестьянкой-странницей, старым солдатом, Салтыков все больше улавливал в аксаковской хронике связь неосмысленного природного хаоса с каким-то «натуральным» помещичье-крестьянским сельским бытом, тем бы-

том, который создавал помещиков «прошлых времен» вроде старика Багрова и странников, взыскующих пустынного жития и светлого града... Естественное, полное мощи, величия и красоты бытие природы объясняло грубую, иной раз даже жестокую простоту и цельность нравов, характеров, поступков. Это бытие влекло к себе, требовало самоотказа, погружения в непосредственное, чувственное, нерафинированное созерцание, но оно же рождало страстную, порой слепую, нерассуждающую любовь к лесу, полному зверей, птиц, грибов, ягод, к цветущему благоуханному лугу, к прозрачной, кишащей рыбой реке, к вспаханному полю, к мельнице, к нехитрому деревенскому дому, к многообразию и грубости красок, к голосам и звукам — мычанию стада, к потрясающему душу рокоту соловьев...

Весь этот поразительный по ясности, полноте, силе изображения аксаковский мир находил сочувствие и отзвук в жадно внимавшей, сочувственной и восприимчивой душе Салтыкова, в его собственном созидавшемся художественном мире. Деревня и усадьба захолустно-провинциальных, хоть и родовитых помещиков Багровых ничем не была схожа с дворянскою усадьбой тургеневской высокообразованной и высококультурной помещицы Ласунской («Рудин»). Но усадьба эта вызывала несомненные ассоциации с салтыковским Спасским, далеким от рафинированной дворянской культуры, но близким трудовой культуре народа. И этот край, в котором обитали аксаковские герои, — Уфимское наместничество, Оренбургская губерния — с юга примыкал к столь хорошо знакомым Салтыкову Вятской и Пермской губерниям.

Творчество Салтыкова, естественно, питалось его собственным житейским опытом. Но этот опыт пока что находил литературную форму благодаря опыту современной литературы, современной мысли. Всякий, кого хоть сколько-нибудь коснулся «труд современности», убежден Салтыков, знает, что силу можно черпать только там, в этой дотоле загадочной и неизвестной стране, в этом мире народной жизни. Салтыкова-чиновника «труд современности», несомненно, коснулся и в годы ссылки, и в годы общественного подъема. Этот труд коснулся и Салтыкова-писателя. О народности литературы в связи с разбором кольцовской поэзии писал Салтыков в статье о Кольцове 1856 года, в статье же следующего года о «Сказании» инока Парфения он высказал «крепкую надежду» на то, что молодая русская литература в своем стремлении уяснить «загадочный образ русского народа», «с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями», «став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело». Сам Салтыков в «Губернских очерках» уверенно становится на эту твердую стезю.

Впервые выходец из крестьянской среды становится главным героем в рассказе «Старец» (сюжет рассказа и самый его герой извлечены, конечно, из собственной следовательской практики Салтыкова). Правда, «старец» — раскольничий «лжеинок» — утратил прямую связь с крестьянством. Однако он дал Салтыкову повод начать исследование раскола-старообрядчества, без понимания которого, как он полагает в это время, невозможно понимание внутренней — духовно-нравственной — жизни народа. Салтыков прослеживает судьбу одного из коноводов раскола, путь, которым он шел к разрыву со «старой верой», оказавшейся прикрытием уголовщины. Исповедь старца начинается не с рассказа о противозаконных деяниях раскольничьих иноков и странноприимцев, а с воспоминания об отце — столпе еще не загрязнившейся веры в «истинное христианство», его упорном сопротивлении насилию власти, защите им своих общественных и нравственных идеалов. Именно это и важно для Салтыкова.

И вот Салтыков делает попытку целиком посвятить рассказ простой крестьянской женщине — нищей страннице, ее горестной судьбе. В этом рассказе — «Аринушка» — зазвучал голос самого народа, послышалась его самобытная речь, народные идеалы и стремления оформились с помощью образов народной поэзии. Многочисленные странники смиренно брели по лицу земли русской — к святым местам, на богомолье, а то и в самый «Ерусалим-град», ради обретения «обителей райских». Какая сила ведет их? Пристально вглядывается Салтыков в этот своеобычный мир русского паломничества-странничества, в эту для всех очевидную, но малознаемую область народной жизни. И писать о ней он хочет языком самого народа. Так впервые возникает салтыковская стилизация народной речи, народного сознания.

Высокое, исполненное идеального пафоса народное представление о духовном подвиге и спасении от горя и тягот земных резко сменяет в салтыковском очерке жестокая правда социального крестьянского быта. Мужик-острожник Нил рассказывает жуткую историю смерти

нищей странницы Оринушки — ходит она, господская (крепостная) крестьянка по миру, куски собирает — такой оброк ей от мучительницы-управительши положен: ведь бог Оринушку разумом изобидел, ни к какой работе она, убогая, юродивая, неспособна. Жажда исцеления и покоя рождает в ее больной, истерзанной душе лихорадочное стремление скорее дойти до Ерусалим-града, до престола Спасова; сияют перед ее взором прекрасные образы народно-поэтических легенд...

Рассказывает Нил и о своем преступлении, которое привело его в острог. Хотел он «христианское дело» совершить, обогреть и накормить в избе своей измученную, исстрадавшуюся нищенку, а она в тепле, на печке, помирать стала; для мужика же нет страшнее «мертвого тела»: погубят, сгноят в остроге. Поневоле становится мужик зверем. Увязал Нил вожжами умирающую странницу, отвез ночью на санках за околицу, да вожжи-то и забыл...

Небольшим очерком «Замечательный мальчик», потом названным «Елка», Салтыков начал в составе «Губернских очерков» раздел «Народные праздники» (потом просто — «Праздники»). Вспоминается ему один из рождественских сочельников в Крутогорске (Вятке). Маленький герой рассказа — сын мастерового-кузнеца — с улицы смотрит в окна дома богатого «негоцианта», где сверкает ярко горящая и пестро разукрашенная елка. Народ-то и оказывается лишним на этом великом народном празднике. Несколькими штрихами — в живой бытовой сценке — набрасывает Салтыков портрет этого рано повзрослевшего и уже задумывающегося ребенка, выросшего в бедной избенке на краю города, на улицах городской окраины, в шуме, гаме, пьянке торговых рядов. С любовью и тревогой всматривается Салтыков в его очень подвижное лицо, дышащее сметкою и дерзостью. Да, мальчуган развязен, уже пьет вино, испорчен средой, ему знакома изнанка жизни, но ведь «любовь милосердна и снисходительна», «она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие — и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!». Сокровенные глубины души человека, и прежде всего человека из народа, хочет понять и художественно выразить Салтыков.

Вмешивался Салтыков в толпы народа на соборной

площади и монастырских дворах, на берегу Вятки в дни народного вятского праздника. Он чутко прислушивался к гулу, музыке голосов собравшейся здесь массы богомольцев, пришедших за многие десятки и сотни верст. И вот теперь, приступая к написанию последнего раздела «Губернских очерков» — «Богомольцы, странники и проезжие», он еще и еще раз слушает, анализирует, разлагает эту шумную разноголосицу звуков. В музыке толпы слышатся разные тоны, не только могучая и возвышающая гармония, но и болезненные диссонансы: «Гул толпы ходит волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны».

Заунывно тянут убогие, слепые и хромые калеки-нищие свой плачевный, за душу хватающий стих о суетном многомятежном мире, в который «вселился злой антихрист», о пресветлом потерянном рае, о пустынном (в «пустыне» — в лесном скиту, в келье) «нужном» (в нужде) житии, о злой превечной муке, о грешной душе...

Но вот проходят по соборной площади группы прибывших в город богомолок и богомольцев, ведут они разговоры не о «нужах» и тяготах пустынного жития, а о своих неисходных житейских заботах и нуждах, помолиться о миновании которых хотят они святому угоднику. Молодуха жалуется, что бог никак не дает ей ребеночка. Древняя, сгорбленная и сморщенная старуха молит послать все никак не приходящую и так долго жданную смерть. Крестьянские женщины тужат о скудости северной земли, которая уж и родить не хочет, да и народ совсем «без християнства» стал. Смирный мужик с судорожным движением в загорелых и огрубелых чертах лица рассказывает односелянину о сыне Матюше, которого в некруты (рекруты) сдали: «Воображению моему вдруг представляется этот славный, смирный парень Матюша, не то чтоб веселый, а скорей боязный, трудолюбивый и честный». Пришел к угоднику отец «некрута», тоже, конечно, боязный, трудолюбивый и честный, со своею смиренною просьбой: «помиловал бы он его, наш батюшка». Нет конца этой боли сердечной, этой нужде сосущей: «Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных».

Что же это за стон бесконечный и мучительно бесплодный? Что значат эти тягостные звуки боли, тоски и страдания — страдания пассивного, не умеющего посто-

ять за себя, болезненно-смиренного? Неужели в этом великом народном мире нет места действию, борьбе и подвигу? Зачем пришла сюда вся эта многоголосая, но единая в своем порыве толпа? От какой силы ждет она избавления? Салтыкову надо найти ответы. Ведь он хочет понять и объяснить внутреннюю жизнь народа, сокровенные глубины народной души. Прислушиваясь к многоголосому говору толпы, ощущает он постоянную ее готовность к жертве и отречению, но не заключено ли в такой готовности также и неудержимое стремление простого человека к душевному подвигу?

Вот сидит на завалинке, у самого почтового двора, отставной солдат Антон Пименов — человек простой, естественный, бесхитростный, «питающий доверенность в человеческое добросердечие», как говорит присутствующий тут же скептик — станционный писарь (рассказ «Отставной солдат Пименов»). Чужд Пименов мирской суете, сызмальства привержен он к странничеству — «делу душевному». Странник он бывалый: «Был и в Киеве, и у Сергия-Троицы был, ходил и в Соловки не однова́». А сейчас желал бы он дойти до Святой горы до Афонской. Пименову — убогому, «странному» человеку — ложь не нужна, а правда для него — в духовном стихе, в житии святого, в легенде, в сказке, наконец — в голосах самой природы. Он живет в фантастическом мире знамений и чудес. «Иной человек ума и преизбыточного, — рассуждает Пименов, — а идет, примерно, хоть по полю, и ничего не замечает. Потому как у него в глазах и ширина, и долина́, и высь, и травка, и былие — все обыдень-дело... А иной человек, умом незлокозненным, сердцем бесхитростным действующий, окроме ширины и долины и выси, слышит тут гласы архангельские, красы бестелесные зрит... Потому-то, смекаю я, простому человеку скрижаль божья завсегда против злохитрого внятнее...» И следуют один за другим «сказы» о чудесных видениях странницы Мавры, которая дала обет «дотоле странничать, доколе тело ее грешное подвиг душевный переможет», о великом грешнике и великом постнике старце Вассиане, бежавшем в лес дремучий, темный, неисходный, в далекий лесной скит: там, в пустыне, в «нужном» житии, искал он наказания за грехи свои страшные...

Кончив свои рассказы, смотрит Пименыч в лицо внимательно слушающему Николаю Ивановичу Щедрину, как будто хочет подметить в нем признаки того глумления, которое он считал непременною принадлежностью «благородного» господина. Но этого глумления не было. Пускай станционный писарь доказывает несбыточность рассказов Пименова, но Николай Иванович, с своей стороны, не имеет силы опровергнуть их, ибо чувствует, как «ярко и осязательно выступает» в них «всемогущее действо веры», «этой юной и свежей народной силы».

Подходит к Антону Пименычу его попутчица в хождениях по святым местам, такая же, как и он, странница Федосья Пахомовна. Много старообрядческих рукописных сборников («цветников»), содержавших повествования о житиях святых, легенды и духовные стихи, довелось прочитать Салтыкову — следователю по раскольничьим делам. Финал рассказа о Пименове, выдержанный в духе такой книжной народно-поэтической речи, как раньше зачин «Аринушки», служит переходом к следующему рассказу — «Пахомовна». Этот зачин в новом рассказе развернут в целостное повествование о странническом пути-шествии, повествование, все напитанное мотивами и образами народной песни, житийной литературы и волшебной сказки: тут и зеленая свет-дубравушка, и зверь-медведь, говорящий человеческим голосом и приносящий страннице медвяный сот, и три сказочные дороженьки, и некий «млад-юнош», посланец сатаны, ведущий богомолку «по середней дороженьке, по той торной дороженьке, по которой ходят люди грешные», и престол сатанинский огненный, и, наконец, в заключении, светлый град взыскуемый, святая обитель...

Книжка «Русского вестника», в которой были помещены рассказы под рубрикой «Богомольцы, странники и проезжие», появилась в начале августа 1857 года. Рассказы эти недаром были посвящены С. Т. Аксакову: их настроенность, их поэтический тон несомненно понравились Сергею Тимофеевичу, и он не замедлил откликнуться письмом, к сожалению, нам неизвестным. Отвечая, Салтыков так объяснил свой замысел: «Мысль, проводимая через весь ряд рассказов этой рубрики, еще не довольно ясно чувствуется; необходимо еще несколько рассказов, чтобы вполне уяснить ее. Мысль эта — степень и образ проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества. Доселе я успел высказать взгляд простого народа устный (в рассказе солдата) и книжный (Пахомовна), а отчасти взгляд разбогатевшего купечества <рассказ «Хрептюгин и его семейство»>. Затем

предстоит еще многое...» (это «многое», правда, не было написано).

Одновременно с «губернскими» рассказами цикла «Богомольцы...» трудился Салтыков, хотя труд этот и не закончил, над уже упоминавшейся обширной статьей о книге, которая впервые появилась в Москве двумя годами раньше: «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святыя горы Афонския инока Парфения». Книга вызвала большой общественный интерес: приподнималась завеса тайны, окутывавшей до сей поры, по причине официального запрета, сокровенную область русской жизни — раскол-старообрядчество, и притом именно в таком значении, которое казалось Салтыкову необыкновенно важным. В расколе виделось ему особое проявление как общественной, так и внутренней, духовной жизни русского народа. Раскол и паломничество (хождения на богомолье) — два несомненных факта русской жизни, которые следует изучать без всяких предубеждений, не приурочивая их к каким-либо собственным предвзятым воззрениям. Такой исследовательский интерес к расколу и паломничеству называет Салтыков «этнографическим».

По отношению к народному религиозному сознанию и чувству ни в коем случае не может и не должно быть барского «глумления». Раскол как бы «прообразует», пророчествует необыкновенную духовную стойкость народа перед лицом насилия и подавления, его стремление к свободе, жажду нравственной истины и духовного просвещения, «неподкупность воли», которая «глубоко гнездится в самых недрах народного духа и обещает в будущем великие и бесчисленные последствия». «Нет сомнения, что понятие о подвиге жизни подвержено многим видоизменениям, что оно может приобрести характер более или менее истинный и более или менее ложный, смотря по степени разумения и нравственного совершенства каждой отдельной личности, тем не менее достоверно, что стремление сделать из жизни нечто равносильное подвигу составляет одну из симпатических черт русского человека». Ведь в расколе, знал Салтыков по опыту, кроме застывших и мертвых религиозных догматов, есть нечто такое, что дает ему необыкновенную живучесть и особенную силу. Важны не сами по себе религиозно-догматические верования и убеждения, сколько задушевный, духовно-эмоциональный, даже поэтический характер отношений русского человека к этим принятым с детства убеждениям, его неподкупность и стойкость в отстаивании их.

И странствует русский крестьянин или крестьянка по богомольям, от одного «святого места» (монастыря) к другому, слушает рассказы о чудесах и знамениях, развերзающих завесу над взыскуемым царством духа. Не праздность и не простое любопытство влекут бесчисленные толпы богомольцев «к местам, дорогим сердцу всякого русского». В этом неудержимом влечении «кроется побуждение более чистое, более свежее, то самое побуждение, которое заставляет сердце юноши с большею теплотою и сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы». Или уходят подвижники из многомятежного, злокозненного и «тесного» мира в «пустыню», в дремучие леса, сооружают там скит или келью, изнуряют плоть постом и молитвой ради освобождения духа от греховных уз плоти, а легенды об их подвигах передаются в народе из уст в уста.

Суровый раскольник с его своеобразным складом ума и чувства не приемлет этого социального мира, который видится ему полным греха, соблазна и растления — царством антихриста; он, раскольник, не приемлет земной власти и поповской церкви.

Размышляя в процессе длительного писания статьи о книге Парфения, о многосложности и противоречивости народного сознания, устремленного к душевному подвигу и нравственной истине, плененного, однако, дедовскими «древнеаскетическими воззрениями», обращается Салтыков к самому распространенному в старообрядческой среде поэтическому жанру — духовным стихам. Он и сам записал в свое время в Нижегородской губернии такой стих — об Асафье-царевиче, входящем в пустыню.

Привел Салтыков этот стих в очерке «Общая картина» «Губернских очерков». Образы стиха об Асафье-царевиче могут вызвать и у слушателя, далекого от раскольничьей среды и раскольничьего мироощущения, вдохновляющее чувство свежести и благоухания. Сочинитель стиха необыкновенно чуток к прекрасной весенней природе, он любуется разлившимися «лузьями» (заливными лугами) и ожившими после зимнего сна болотами, ему доставляют радость одевающиеся листвой «древа», он наслаждается пением «райских птиц» — ведь скит стоит в лесу, под зеленеющими деревьями, рядом с расцветающи-

ми лугами. Здесь можно и разгуляться вволю — «во зеленой во дубраве», насмотреться «на различные светы». В голосах природы слышатся ему «архангельские гласы», в природных явлениях видится чудесное вмешательство какой-то высшей, самостоятельно действующей и живой силы, единство с которой проникает его всего...

Однако... однако — «покуда представление народное оставалось лицом к лицу с одною природою, на лоне которой возросло и укрепилось, оно находило и простоту и неизысканность красок для изображения ее, оно само, так сказать, проникалось тою чуткою, поэтическою струею, которая необходима для того, чтобы достойным образом воспроизвести красоты первобытной девственной природы». Но вот «слагатель вирш» переносится из сферы ему близкой, сферы конкретной в сферу отвлеченную; и тут «он не может совладать с своим положением. Все его представления о добре и зле так материальны, так младенчески грубы, что он и будущую жизнь не может сознать иначе, как в «плотяной», темной форме». Эти эсхатологические образы — конца света, будущей жизни, ужасных мук для грешников и райского жития для праведников — наполняют духовные стихи, типичные для раскольничьего аскетического и мистического миросозерцания.

Социальный протест и устремленность к несуетной духовности в темном и неподвижном сознании — в «древнеаскетическом воззрении» — вполне могут превратиться в суетное отщепенство — такое отречение от живого человеческого мира, такой пагубный противоестественный и противообщественный разрыв с ним, который уже становится не аскетическим, а прямо-таки, у сектантов, «зверским». Уход в леса и пустыни, аскетическое отречение от мира сделались теперь уделом одних фанатических сторонников раскола, а сами эти леса и пустыни часто скрывают самые гнусные, самые безобразные преступления — таким утверждением многоопытного Салтыкова завершается сохранившаяся часть второй редакции статьи о книге Парфения.

Но какое же значение имеет в таком случае сама эта книга? Отвратительным, губящим человека, искажающим самый образ человеческий «древнеаскетическим воззрениям» противопоставляет Салтыков подвиг человеческий, воплощенный в личности автора, в его судьбе, в его пути не от мира, а к миру. Раскольник, с детства воспитанный в презрении к суетному, прелестному и многомятежному миру, отправляется Парфений в странствие «на всю временную жизнь, дабы «переплыть многоволнистое и страшное житейское море», сохраняя и блюдя чистоту духовную и телесную. С юных лет был обуреваем он жаждою «внутреннего духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие душу». Сила убеждений, «внутренний жар» страстной и любящей натуры, неординарность личности, сумевшей, поняв свои заблуждения, освободиться от них, делают второстепенными и малосущественными собственно богословские искания Парфения, тем более что состязание с расколоучителями в делах веры, в сущности, бессмысленно, их изощренная и искусная казуистика пуста и бессодержательна. Какими бы ни были убеждения, пусть «древнеаскетическими», мертвыми, но если они лежат в сфере нравственной да к тому же воспитаны трудной работой целой жизни, то измениться они могут лишь в сложном процессе духовных поисков, как это и было с Парфением, а не под насильственным воздействием внешней, материальной силы, которой наделены всяческие приставы и капитаны-исправники — и не только XVIII века (примеры необыкновенной силы духа и непримиримого упорства в противлении властям приводит в своем «Сказании» Парфений; Салтыков не мог тут не вспомнить и собственный опыт борьбы с расколом, убедивший его несомнительно, что никакая «задушевная» идея не может быть уничтожена самоуверенной и грубой силой).

К тому же, по складу своего мироотношения, Парфений — несомненный художник. (Тургенев в письме к Дружинину отозвался о нем так: «великий русский художник и русская душа».) Простое величие природы рисует Парфений красками, поражающими высокой поэзией, искренностью и свежестью.

Начиная свою статью, Салтыков назвал раскол «фактом пророческим», заканчивая работу (но не статью, которая так и осталась неконченной), он писал о расколе как «единственном наследии, оставшемся как бы неприкосновенным от прожитой нами жизни», таком наследии, которому предстоит в новых обстоятельствах скорый и неизбежный конец. Мысль Салтыкова во время писания статьи движется путем непростым, она многозначна и, может быть, противоречива. Но это то противоречие, которое заключал в себе сам раскол, — явление русской жизни, недаром возникшее в XVII веке и просуществовавшее два столетия. Исторически — как догма и как

сектантство — раскол был, конечно, изжит, но по-прежнему жила в русском крестьянине способность к «душевному подвигу», стойкость нравственного убеждения, «неподкупность воли» — все то, что испокон веку хранилось в раскольничестве и что так понадобится «Иванушке», когда придется ему «судить и рядить», не смущаясь присутствием и вмешательством «талантливых натур» и «озорников-юродивых».

А в том, что такое время скоро наступит, Салтыков был уверен. В самом деле, крестьянская реформа стояла у дверей.

Со смертью в феврале 1855 года императора Николая война не закончилась. Предпринимались последние отчаянные попытки уйти от поражения, повсеместно создавалось ополчение из сотен тысяч ратников. Но было уже поздно: война вконец разорила и без того истощенное и отсталое хозяйство феодальной России, морально измотала русское общество, давно уже тревожно и беспокойно переживавшее застой экономики, страдания народа, порабощение мысли.

И Салтыков собрался было вступить в ополчение. Побуждало к этому шагу, конечно, не только желание любым путем вырваться из Вятки, но и невозможность остаться в стороне от трагической судьбы родной страны, нравственная потребность уязвленной совести разделить общенародную беду.

Как всегда, так и в особенности в военное время, главное бремя принял на свои плечи «простой народ» — крестьянин, истощенный солдатчиной, оброком или барщиной, денежными или работными (натуральными) повинностями и податями, всяческими поборами, которыми обеспечивалось существование царского двора и бюрократического аппарата, бесстыдными и непомерными хищениями чиновников и купцов-подрядчиков...

Смерть Николая стала, однако, рубежом, резко отделившим старую, ушедшую эпоху от новой, наступавшей. Умный и ядовитый Федор Иванович Тютчев обозначил состояние России после смерти императора одним из своих знаменитых и быстро разлетавшихся mots (словечек) — оттепель.

Весной 1855 года вступил в ополчение сын писателя С. Т. Аксакова, младший брат идеолога славянофильства Константина Аксакова — Иван Аксаков. Тяжелый многомесячный путь по грязным дорогам российской провинции и не менее грязным перепутьям, лабиринтам

и углам воинской неразберихи, бездарности и казнокрадства проделал офицер ополченской дружины Иван Аксаков, узнал он на этом пути всю ту неприглядную подоплеку русской жизни, которая так хорошо была известна Салтыкову. В октябре Иван Аксаков писал отцу: Севастополь «должен был пасть, чтобы явилось на нем дело божие, то есть обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа». Оттепель — оттепелью, но: «Видно — еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки; нигде сквозь окружающую нас мглу не пробивается луч новой мысли, нового начала!» И еще через полтора месяца: «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых — мерзавцев, хлебосоловвзяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников!.. Вы ко всему этому относитесь отвлеченно, издали, людей видите по своему выбору, только хороших или одномыслящих, — поэтому вы и не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы... Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного!»

И такие крики души из частных писем выходили уже если и не на страницы печати, то на страницы разного рода рукописных сочинений, предназначенных и для сведения властей и для общественности. И это был один из признаков наступавшей «оттепели». Поток всякого рода «записок» и «писем», отнюдь не революционных, но требовавших тем не менее коренного обновления России, все ширился. Теоретик Константин Аксаков, может быть и под воздействием писем брата, пытался в 1855 году преподать уроки новому, впрочем, еще не коронованному императору Александру II, в записке «о внутреннем состоянии России», представленной на высочайшее имя. «Современное состояние России, — писал здесь К. Аксаков, — представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнения на-

рода, но всякий частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству: правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт... и на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная ложь, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь... Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны... Это сделалось уже не личным грехом, а общественным; здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства». Так начиналось то «обличительство», которое вскоре будет связано с именем Салтыкова — автора «Губернских очерков». Но Аксаков не только «обличает», он предлагает новому царю программу действий, в которой соседствуют отвлеченно-моральный славянофильский утопизм и действительно важные для общественного развития России положения и требования. Политическая конституция, о которой хлопочут поклонники Запада, по убеждению Аксакова, русскому народу чужда. Он вовсе не хочет управлять делами государственными, но он хочет иметь власть над делами собственными, насущными, «земскими». И пусть государственный чиновник не мешается в общественные земские дела, освободит крестьянина от насильственной административной опеки. «Древнее разделение всей России, в понимании русского человека, на *государство* и *землю* (правительство и народ)» — вот что нужно. Отсюда явилось и выражение: *государево* и *земское* дело. «Под *государевым делом* разумелось все дело *управления* государственного, и внешнего, и внутреннего, — и по преимуществу дело военное как самое яркое выражение государственной силы... Под *земским делом* разумелся весь быт народный, вся *жизнь* народа, куда относится, кроме духовной, общественной его жизни, и материальное его благосостояние: земледелие, промышленность, торговля. Поэтому людьми *государевыми,* или *служилыми,* назывались все те, которые служат в государственной службе, а людьми *земскими* — все те, которые в государственной службе не служат и составляют ядро государства: крестьяне, мещане (посадские), купцы». Можно только радоваться падению явно разложившейся правительственной системы в том виде, чуждом земству, в каком она воздвигнута Петром. Невозможно, конечно, вернуться к допетровским временам, но насущно необходимо стать на тот путь, которым шла Россия до Петра. Именно потому, что утрачена взаимная искренность и доверенность между государством и земством, «все обняла ложь, везде обман. Правительство не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно». «Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтоб государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь быта его и духа, в которую вмешивалось и которую гнело правительство полтораста лет, доходя до мелочей, даже до одежды. Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их. Ничего более не нужно». Лишь свобода общественного мнения, свобода мысли и слова может спасти Россию от губящей ее все разъевшей и повсюду проникшей лжи. «Слово, этот единственный орган земли, находится под тяжким гнетом. Наибольший гнет тяготеет над словом письменным (я разумею и печатное слово). Понятно, что при такой системе цензура должна была дойти до невероятных несообразностей. И точно, многочисленные примеры таких несообразностей известны всем. Надобно, чтоб этот тяжкий гнет, лежащий на слове, был снят».

Итак, Константин Аксаков заговорил о свободе для «земства», главное свое внимание сосредоточив на свободе слова, общественного мнения, печати. Но о какой свободе слова могла идти речь, если вспомнить, что главную-то массу «земства», «земли» составляло неграмотное, бессловесное, темное крестьянство? Однако об освобождении от крепостного рабства этой части «земства» Аксаков еще сказать не решился или не смог.

С 1854 года в Москве и Петербурге стали распространяться в списках бесцензурные «историко-политические письма» историка, собирателя древних русских рукописей Михаила Петровича Погодина, в которых тот пытался разобраться в причинах бедственного положения России, столь страшно сказавшегося в ходе Крымской войны. Одна главная тема больше всего волновала По-

година, и в этом он совпал с Константином Аксаковым. Эта тема — власть и народ, в словоупотреблении Аксакова — государство и земство. Но Погодин, умудренный опытом русской истории, был в своих суждениях резче, конкретнее, определеннее, чем теоретик и утопист Аксаков.

Приверженец самодержавной власти, он тем не менее утверждает, что власть на всех ее ступенях оторвалась от народа, не знает и не хочет знать правды о действительном положении вещей, о нуждах, труде и страданиях русского крепостного крестьянина. «Государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России. Став на высоту недосягаемую, он не имеет средств ничего слышать: никакая правда до него достигнуть не смеет, да и не может; все пути выражения мыслей закрыты, нет ни гласности, ни общественного мнения, ни апелляции, ни протеста, ни контроля. В каком положении находится он, в таком и все его министры, все начальники, из которых каждый представляет в своем ведомстве самодержавного государя... О народе, который трудится, проливает кровь, несет все тяготы, страдает... ни у кого и мысли нет». А эти тяготы, нужды и страдания чреваты народным бунтом. Политики вроде Мирабо или Ледрю Роллена (деятели французских буржуазных революций) нам не страшны, они не найдут себе приверженцев в народной среде. Но страшен Емелька Пугачев, а перед Никитой Пустосвятом[1] «разинет рот любая деревня», Стенька же Разин «лишь кликни клич!». «Вот где кроется наша революция, вот откуда грозят нам опасности... Да и теперь не убивают ли ежегодно до тридцати помещиков — искупительные жертвы за право тиранства остальных? Ведь это все местные революции, которым недостает только связи, чтоб получить значение особого рода!»

Свои «историко-философские письма» Погодин пересылал друзьям и знакомым, среди которых был, в частности, Федор Иванович Тютчев. Погодин, конечно, был уверен, что его письма дойдут и до царя.

Очень внимательно за «письмами» Погодина следил директор хозяйственного департамента министерства внутренних дел Николай Милютин, вокруг которого в это время сложился кружок либеральных сторонников

[1] Суздальский священник, один из вождей раскола, участник Стрелецкого бунта 1682 года в Москве; казнен по приказу царевны Софьи.

крестьянской реформы. Это был человек незаурядный, убежденный, полный энергии и огромной работоспособности, «красный бюрократ». «Вот человек — весь из цельного куска» — так характеризовал Милютина известный юрист и судебный деятель А. Ф. Кони.

Идеи милютинского круга изложил К. Д. Кавелин в «Записке об освобождении крестьян в России» (характерно, что «Записку» Кавелина в извлечениях опубликовал позднее, в 1858 году, Чернышевский в «Современнике»). Подобно Погодину напоминая о грозных уроках исторической жизни, Кавелин особенно настаивал на том, что «бунты Степана Разина, Пугачева и других, менее известных героев и атаманов буйной вольницы, все эти разрушительные элементы восставали и поднимались из мутных источников крепостного права». И в настоящее время зловещим предзнаменованием служит то обстоятельство, что отдельные и разрозненные восстания крепостных принимают размеры все более и более обширные. Крепостным нужна свобода и нужна земля. Освобождение без земли, чего, как станет ясно несколько позднее, будет добиваться консервативная помещичья масса, не успокоит крестьян. Им должно быть дано право выкупить в собственность не только усадьбу, но и полевой надел, и луга, и выгоны. Надо вывести крестьян из-под «вотчинной» власти помещиков, дать крестьянскому «миру» самоуправление.

Новый император, несомненно, остро осознавал необходимость реформ, и в первую очередь реформы крестьянской. Он был напуган ширившимся недовольством крепостных, перед ним маячил и грозил призрак пугачевщины. Понимал он и чрезвычайную насущность переделки хозяйственного уклада, доведшего Россию до севастопольской катастрофы. Но Александр не забыл, конечно, и бурной враждебной реакции дворян-крепостников на весьма робкую попытку приступить к освобождению крестьян, предпринятую на рубеже тридцатых-сороковых годов его отцом, императором Николаем, хотя уже тогда было совершенно ясно, что: «Весь дух народа направлен к одной цели — к освобождению... Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же... Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа» (из доклада шефа жандармов Н. Х. Бенкендорфа Николаю I).

Толки о возможной крестьянской реформе, распространяясь все шире и шире, все больше будоражили застоявшееся помещичье болото. Салтыков наслушался их уже в свой первый приезд в Москву в начале 1856 года, по пути из ссылки. Проникали эти толки и слухи и в неспокойную, возбужденную крестьянскую среду. Александру уже невозможно было не определить хоть как-то свою позицию. По просьбе московского генерал-губернатора он выступил 30 марта 1856 года перед встревоженными представителями московского дворянства. Речь его, крайне сбивчивая и противоречивая, свидетельствовала о нерешительности и растерянности. «Слухи носятся, — сказал царь, — что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, — и вы можете сказать это всем направо и налево; но <!> чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существуют, и от этого было уже несколько <!> случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мной; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» (как тут не вспомнить слова из доклада Бенкендорфа Николаю I). Так, пусть еще в форме неопределенной и оговорочной, было официально объявлено о начале сложных, кропотливых работ по подготовке к освобождению крестьян. В подготовке реформы, а еще больше — в ее проведении самое деятельное участие принял Салтыков — чиновник особых поручений министерства внутренних дел, а затем — рязанский и тверской вице-губернатор.

Вернувшись в октябре 1856 года из Тверской и Владимирской губерний и едва успев обработать в виде служебной записки собранные материалы о губернских комитетах ополчения, Салтыков получил от министра Ланского новое поручение, несомненно, связанное с предварительными работами по подготовке крестьянской реформы. Следовало разобраться в «крайне неудовлетворительном состоянии земских полиций» — местной административно-полицейской власти.

Что такое «земские полиции» Салтыков знал не понаслышке, не на словах, а на деле; много раз приходилось ему — провинциальному губернскому чиновнику — иметь дело со становыми, исправниками, с земскими писарями и земским судом. Особенно печально запомнилась ему, конечно, уязвившая его самолюбие неудачная поездка в город Кай и Трушниковскую волость, где

земский суд и местная полиция никак не могли справиться со взбунтовавшимися мужиками. Много тяжелых минут пришлось пережить тогда Салтыкову. К началу выполнения нового поручения был уже опубликован очерк «Неумелые», в котором мещанин Голенков советовал чиновнику Николаю Ивановичу Щедрину не «лазить по верхам», а держаться «около земли, около земства», то есть около тех, кого называли «податными сословиями», около народа. Появился уже и очерк «Старец»: жило еще среди раскольников идеальное воспоминание о старом, допетровском «земстве» — самоуправляющейся крестьянской общине, без помещиков и чиновников. И понятно, почему Ланской поручил именно Салтыкову разобраться в делах «земских полиций» и сделать свои предложения об их будущем устройстве. Салтыков принялся за работу с обычным для него рвением, тем более что новое поручение совпадало с его собственными литературными интересами. К выполнению его он был подготовлен не только опытом вятской жизни, но и теми размышлениями, которые так или иначе отразились в уже опубликованных до этого времени «Губернских очерках». Надо думать, что и Ланской, предлагая Салтыкову заняться «предположениями» о новой организации местного управления, внимательно читал «очерки» своего чиновника, в которых эта тема и обсуждалась и представала в живых образах.

Когда Салтыков начал свои «изыскания», которые должны были лечь в основу предложений о реформе земских учреждений, в его сознании вновь и вновь возникали фигуры вятских знакомцев, в толпе которых там и сям замелькали и знакомцы петербургские. Живые образы обобщались в умозаключения, мысль рождала, двигала образы. Салтыков формулировал размышления о централизации и земстве в первоначальных набросках служебной записки и одновременно выливал переполнявший его душу гнев в сатирических образах «озорников» — высокопоставленных проповедников «чистой творческой администрации», с презрением отметавших низменные заботы и боли Куземок и Прошек, — «надорванных» местных «агентов» центральной власти, каждую минуту готовых разорвать любого, на кого только укажет перст свыше (эти два очерка — «Озорники» и «Надорванные» — и были опубликованы в первой январской книжке «Русского вестника» за 1857 год).

Личный вятский и петербургский опыт и составил

фундамент его рассуждений. «В России *благотворное* действие полиции почти незаметно; что касается до ее злоупотреблений и сопряженных с всеобщим ущербом вмешательств в частные интересы, то они не только заметны, но оставляют по себе несомненно весьма вредное впечатление... В провинции существует не *действие*, а произвол полицейской власти, совершенно убежденной, что не она существует для народа, а народ для нее».

Одновременно с Салтыковым состоянием «градских и земских полиций» занимался его сослуживец, статистик и краевед А. И. Артемьев, некогда служивший в тех же местах, что и Салтыков, — в Вятской и Казанской губерниях. Артемьев мыслил традиционно, ему и в голову не приходило как-то преобразовывать полицию: просто он составил правила полицейского делопроизводства. Явившись однажды к товарищу министра А. И. Левшину, дабы представить эти новые правила, он был предупрежден Салтыковым, сообщившим Левшину действительно новую идею. Салтыков сказал: «Полезно было бы организовать полицию по выборам». — «Так! так! — отвечал Левшин, — я сам всегда думал... Займитесь-ка этим...» Салтыков этим и занимался, он убежден, что чины полиции должны быть представителями «земства», а не агентами центральной государственной власти. Эта мысль о выборности полиции больше всего и удивила, и взволновала тех, от кого зависела судьба салтыковского проекта. Но для него это была частность, хотя и важная.

Под пером литератора и мыслителя Салтыкова служебная записка превращалась в социально-политический трактат об отношениях власти и народа и в прямой памфлет против государства, усматривающего в народе бездушный и бессмысленный субъект, который можно гнуть в ту или другую сторону по произволу чиновничества. Земская полиция в том виде, в каком она существует ныне, — лишь частное проявление общей системы централизованной администрации, чуждой народному духу и народным стремлениям. Кроме уроков, вынесенных из перипетий вятской службы, Салтыков не забыл, как оказалось, и уроков молодости. «Азбука всякой системы администрации, — пишет он уверенно, — гласит, что предметом ее должно быть б л а г о н а р о д н о е. Но понятие об этом благе, особливо в государствах обширных, весьма относительно и изменяется сообразно с условиями местности, обычаев и т. д. Претензия подчинить все местности одним и тем же началам не значила бы то же, что уложить все личности на Прокрустово ложе?»

Так в записке возникает тема «земства», с его кровными местными интересами, касающимися каждой личности, каждого местного обывателя.

«Какая существенная надобность государству знать, как я хозяйствую у себя дома, — пишет Салтыков, — если я в точности исполняю все обязанности, лежащие на мне как на гражданине? То же замечание в такой же степени верно и по отношению к земству, с тою только разницей, что хозяйство последнего происходит, так сказать, при открытых дверях, и, следовательно, не только правительству, но и всякому частному человеку представляется полная возможность контроля...»

Бюрократическое стремление к безграничной централизации и мелочной регламентации частных интересов, с одной стороны, «освобождает граждан от всякой самобытной деятельности», порождает апатию, равнодушие и застой, а с другой — при реальной невозможности такой регламентации — имеет неизбежным результатом неразбериху, хаос и произвол, и «благонамеренному чиновнику» (пессимистически обобщает Салтыков итоги своей провинциальной службы) не остается ничего другого, как вместо реального дела заняться перепискою бумаг. «Надобно прочитать любой журнал губернского правления, чтобы убедиться в том, что весь он — результат работы писца, его перебелявшего. Работа столоначальника заключается в том только, что он на подлинных бумагах обозначает, с которых пор до которых следует переписать. Из этого проистекает галиматья неописанная».

Все это до такой степени искусственно и нелепо, «что не знаешь, чему более удивляться: терпению ли людей, которые придумали п р и з р а ч н у ю м а ш и н у, не имеющую никаких корней в природе человеческой, или долговечности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжает и доднесь существовать и пользоваться правами гражданственности».

Проделав весь этот анализ, Салтыков, таким образом, вовсе не занимается устройством полиции как таковой, а предлагает организацию всесословного «земства» в виде уездного совета, которым заменяются все существующие ныне государственные и сословные уездные учреждения, включая полицию. Предполагается, что совет будет состоять из девяти членов, выбранных по три человека от дворянства, городских сословий и казенных крестьян.

(О помещичьих крестьянах пока что не могло быть и речи: ведь крепостное право еще не было отменено.) Этому совету «должно принадлежать обсуждение всех мер по общему управлению уездом и городом, по устройству повинностей, развитию торговли и промышленности, наблюдению за правильным их производством, учреждению школ, охранению тишины и спокойствия и т. п.».

Еще приступая к работе над «запиской о земских полициях», в первоначальном наброске, Салтыков счел необходимым подчеркнуть, что возложенное на него поручение «сопряжено с большим трудом и требует много самых разнообразных работ и разысканий», при этом он разработал целую программу таких работ и разысканий. И нет сомнения, что Салтыков все эти разыскания произвел, хотя окончательный текст его записки, представленной министру в середине января следующего, 1857, года, неизвестен.

Наступал февраль. Уже два года Россия жила, так сказать, под знаком оттепели, которая, однако, то и дело сменялась заморозками и отнюдь не весенними холодами. Когда Салтыков, с вдохновением и надеждой принявшийся за «перебор» несовершенств и злоупотреблений местной власти, представил свою антицентрализаторскую записку министру, он вскоре должен был почувствовать, как на него повеяло чуть ли не крещенским морозом. Поначалу, когда его записка вызвала одобрение у руководителей министерства — Ланского и Левшина, — Салтыков все еще полон энтузиазма и веры в осуществимость предлагаемых им перемен. Он горячо и возбужденно спорит со скептиками и противниками, хотя все больше и больше плодит вокруг себя врагов. Он все же уверен, что все пойдет отлично. «Как же отлично, — возражает А. И. Артемьев, — разве вы согласитесь быть квартальным надзирателем или частным приставом, если бы вас выбрали?» — «Конечно, откажусь, — мог бы, в свою очередь, возразить Салтыков, — если вы разумеете какого-нибудь Фейера или Живоглота Маремьянкина (реальных сарапульского городничего фон Дрейера и мамадышского исправника Иванова), но ведь в том-то все и дело, что полицейский корпус должен стать иным: честным, деятельным, образованным» (предполагалось, по салтыковскому проекту, ввести для выборных чинов полиции образовательный ценз и испытательный срок).

Салтыков кипел и возмущался. Его глубокий горловой бас становился хриплым и неприятным. «Что он все спорит? — с раздражением спрашивал Левшин. — Считает, что ли, себя умнее всех?» А у Салтыкова весь этот чиновничий петербургский дух все больше вызывал неприязнь и отвращение. А тут еще создали особый совет для рассмотрения его проекта о выборной полиции, призвали находившихся в ту пору в Петербурге губернаторов. Ну что могли эти бюрократы до мозга костей сказать теперь, когда всеобщий страх перед крестьянскими бунтами требовал скорее усиления правительственной и помещичьей «вотчинной» власти, нежели передачи ее прерогатив каким-то выборным советам и бескорыстным полицейским. А между тем другого пути избавления от проевших всю русскую жизнь продажности, корыстолюбия и взяточничества, по глубокому убеждению Салтыкова, не было. Он вновь возвращается к этой мысли в сентябрьском письме к приятелю еще по Дворянскому институту Ивану Павлову: «Есть одна штука (она же и единственная), которая может истребить взяточничество и поселить правду в судах и вместе с тем возвысить народную нравственность. Это — возвышение земского начала за счет бюрократического. Я даже подал проект, каким образом устроить полицию на этом основании, но, к сожалению, у нас все спит, а следовательно, будет спать и мой проект до радостного утра. Да и то сказать, какое может быть рьянство, когда половина России в крепостном состоянии».

Логика размышлений о земстве и государстве вела Салтыкова к сближению со славянофилами. Живший в Орле и нередко наведывавшийся в Москву — цитадель славянофильской доктрины — Иван Павлов и сам разделял славянофильские воззрения. В Москве обитала семья Аксаковых во главе с ее патриархом — Сергеем Тимофеевичем, автором столь полюбившейся Салтыкову «Семейной хроники». Главным ратоборцем идей славянской самобытности и единства был в эти годы старший сын Сергея Тимофеевича — Константин, воспитывавшийся некогда, в ранней молодости, в знаменитом кружке московских идеалистов — кружке Н. В. Станкевича. Но и по возрасту и по житейскому опыту Салтыкову ближе оказался младший из братьев — Иван Аксаков. Во время своих приездов в Москву Салтыков навестил однажды С. Т. Аксакова и бывал на оживленных литературных «пятницах» Ивана Аксакова. Это было именно то время,

когда Салтыков, по собственному его выражению, «гнул» в сторону славянофилов.

Тоже «гнувший» в сторону славянофилов Иван Павлов подал Салтыкову мысль «устроить очерк» под названием «Историческая догадка». «Я в последние четыре года, — писал Павлов Салтыкову в одном из писем осени 1857 года, — много читал древних актов и пришел к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры — одним словом, все воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок. Змия этого выпустил Петр Великий на народность русскую за то, что она не укладывалась в рамки европейского государства... Главная опора змия — это крепостное право, в котором закон освящает эксплуатацию человека человеком, произвол, насилие и грабеж».

Салтыков сразу же оценил все сатирические возможности такой трактовки легенды из Несторовой летописи («Повести временных лет») и сразу же принялся за писание рассказа, получившего, однако, название не «Историческая догадка», а «Гегемониев», по имени отставного («отходящего», «умирающего») подьячего прошлых времен Зиновея Захарыча Гегемониева.

Еще в школе слыхал Зиновей Захарыч, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали и как варяги порядок у нас наводили. «И всему этому я, по невинности своей, в ту пору верил, и все это вышла, однако ж, одна новейшего произведения аллегория», иначе — ядовитое инословие, предвестие беспощадного эзопова языка Щедрина. Кто же эти три брата — Рюрик, Синеус и Трувор? «Первый-то брат — капитан-исправник, второй-то брат — стряпчий, а третий братец, маленький да востренький, — сам мусье окружной!» «Ну-с, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем неспособно. И пошли у них братцы меньшие, примерно, хоть ты или я: чем больше порядку, тем больше братцев, и до того, сударь, дошло, что, кроме порядка, ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито — там порядок; где худоба всякая была — там порядок; где даже рощицы росли — и там завелся порядок...» Вот он — российский порядок — при правителях-«варягах».

А рядом с «умирающим» старым приказным Гегемониевым должны были явиться и другие «умирающие», «ветхие люди» — промотавшийся помещик-забулдыга, либеральствующий генерал-администратор, идеалист сороковых годов. Начинается же все дело запевкой, в которой, в песенном складе, объясняется, как проснулся дурак Иванушко, русский мужик, вышел на дорогу и встречает всех этих ветхих людей. Заключиться же задуманный цикл должен был эпилогом, в котором Иванушка-дурачок вновь выступает на сцену: за стол его посадили, он сначала думает, что его надувают, а потом судит да рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше. «Скажите, — спрашивает Салтыков Ивана Аксакова в письме от 17 декабря, — как вы находите мою мысль относительно «умирающих»? Разумеется, эти умирающие еще совершенно живы и здоровы, но я предположил себе постоянно проводить мысль о необходимости их смерти и о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака». К сожалению, мы не знаем, что ответил И. Аксаков Салтыкову и ответил ли вообще, но если мысль о необходимости смерти варягов-администраторов ему, конечно, была по душе, то одобрил ли он поведение сказочного Иванушки, ведь он у Салтыкова «правит», иначе говоря — играет роль политическую, на которую народ, по славянофильским представлениям, вовсе и не претендовал.

Гораздо важнее встречи со славянофилами была другая встреча — с Некрасовым, главой «Современника», хотя ни Салтыков, ни Некрасов в это время еще не могли и предполагать о всем ее значении, не могли знать, что скоро начнется то долгое их дружеское сотрудничество, предел которому положит через двадцать лет только смерть поэта.

Это было в июле 1857 года. Некрасов, только что вернувшись из-за границы, куда ездил лечиться от тяжелой болезни, жил на даче в Петергофе, лишь изредка наезжая в столицу. Лечение мало ему помогло. Тоска, нездоровье, разные дрязги, думы о журнале томили душу. «Современник», оставленный им на целый год, шел ни шатко ни валко: не хватало хороших повестей, подписка

падала, набивать же журнал посредственными повестями о взятках — обличительными — значило только «огадить его для публики» (из письма к Тургеневу от 27 июля 1857 года). В таком нерадостном настроении отправился Некрасов к главному «обличителю» — Салтыкову, который не мог не знать о прохладном отношении к его очеркам круга «Современника», хотя и прочитал только что в «Современнике» весьма одобрительную статью Чернышевского. Но это одобрение и посещение Некрасова — не просто ли тонкая журнальная политика, желание в трудных обстоятельствах заполучить автора, который принес такой успех «Русскому вестнику»? Салтыков умел быть резким, неприятным и даже грубым. Некрасов не испытывал теплых чувств. Первая встреча явно не расположила их друг к другу. С иронией отозвавшись в письме к Тургеневу о «гении эпохи» Щедрине, Некрасов нашел его «туповатым, грубым и страшно зазнавшимся господином». Салтыков не отказался, разумеется, от участия в журнале, который так напоминал ему молодость, напоминал Белинского. Да и сейчас Салтыков очень внимательно следил за публицистическим и литературно-критическим отделами журнала, в особенности за статьями Чернышевского: сила его логики покоряла.

Напечатав в сентябре третий том «Губернских очерков» и вроде бы покончив со своей «крутогорской» темой, Салтыков все никак не может отрешиться от образов и впечатлений вятских лет, все не удается ему преодолеть привычных гоголевских сюжетных схем и юмористических интонаций натуральной школы. Кажется, что он начинает повторяться, и сам это чувствует. Атмосфера петербургских чиновничьих кабинетов не вдохновляла, как не вдохновляла и атмосфера провинциальных канцелярий. В произведениях, написанных в конце года, лишь местами, лишь проблесками предвещается собственный салтыковский стиль. Его комический талант еще не достигает комической силы, еще не становится сатирой...

Первый рассказ, напечатанный в «Современнике» — «Жених» (1857, октябрь), — это по-прежнему эпизод из истории крутогорских нравов, даже герои все те же — генерал Голубовицкий, Порфирий Петрович. Приезд в Крутогорск промотавшегося помещика Ивана Вологжанина, рассчитывающего здесь жениться, очень напоминает приезд в губернский город N Павла Ивановича Чичикова. Лишь однажды в скучную и бледную картину вторгается нечто новое — фантастическое появление и исчезновение загадочного форштмейстера капитана Махоркина («небо, осветившись на мгновение багровым светом, изрыгнуло из себя огненного змия», «небо изрыгало потоки пламени»). Кажется, что и Салтыков, изображая этот странный для сонного крутогорского бытия эпизод, оживляется, фантазия его разыгрывается, предсказывая будущие сатирические фантасмагории.

Для продолжения «Губернских очерков» писал Салтыков комедию «Царство смерти». И дело не только в том, что перед зрителями должны продефилировать герои «прошлых времен» — «отходящие», «умирающие». «Царство смерти» — какое многозначительное, пожалуй, даже фантастическое название: всеобщий распад, всеобщая гибель — гибель целого мира будто бы неизменных, от века устоявшихся и прочных отношений: истина во всей своей наготе открывается перед лицом смерти. Умирает символический представитель этого мира, и рушится мир. Главным действующим лицом комедии, названной при публикации в октябрьской книжке «Русского вестника» «Смерть Пазухина», становится всепроникающая, всеразрушающая смерть — умирают продажные статские советники Фурначевы, умирают купцы Пазухины, всегда готовые расстаться со своей «старой верой» во имя корысти. Смерть беспощадно обнажает истину этого мира греха, лжи, преступления и лицемерия. Лицемер и предатель Иудушка Головлев начинает свой путь отсюда.

На святках 1857 года вспоминает Салтыков рождественскую ночь года 1854-го, когда ехал он ловить раскольников в вятских и пермских лесах, — так рождается «Святочный рассказ». Боязный, трудолюбивый и честный русский мужик заполняет сознание Салтыкова: «...я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни». Мир народной жизни — это тот мир, который никогда не умрет, который будет жить вечно.

Только что, в декабрьской книжке «Современника», в статье Добролюбова о третьем томе его «Губернских очерков», прочитал Салтыков следующие слова: «Не дальше как в прошлом году сам господин Щедрин похоронил прошлые времена». (Речь идет о заключительных словах «Эпилога» «Губернских очерков», напечатанного в декаб-

ре 1856 года.) «Но вот опять, — продолжает Добролюбов, — все покойники оказались живехоньки и зычным голосом отозвались в третьей части «Очерков»...» Да-да. конечно, Салтыков согласен, что и князь Чебылкин, и Порфирий Петрович, и все эти Живновские и Разбитные, и бесчисленные подьячие и приказные никак не хотят умирать и возглашают о себе зычными голосами. Однако — ведь о похоронах прошлых времен вещал автору в его фантастическом сновидении Владимир Константиныч Буеракин с болезненной иронией в голосе. Да, эти похороны — сон, да, скептик Буеракин иронизирует, и Салтыков готов иронизировать вместе с ним. И все же — когда писалось проникнутое бодростью и надеждой декабрьское письмо к И. Аксакову, Салтыков был уверен в неизбежной и близкой гибели прошлых времен, в том. что умирающие, хотя еще и живы, но тем не менее умирают, и следует всячески этому умиранию содействовать. Он уверен и в том, что трудолюбивый и честный Иванушка скоро сядет за стол, чтобы судить и рядить.

Салтыков мог быть доволен. Несмотря на настороженное отношение к нему Некрасова, «Современник» — а мнением журнала Салтыков очень и очень дорожил — в лице Добролюбова (а раньше Чернышевского) с одобрением отозвался о той благородной борьбе, которую продолжает «г. Щедрин», «не обнаруживая ни малейшего истощения сил», постоянно высказывая в каждом новом «губернском» рассказе, «как велик запас его средств, как неистощим источник его наблюдений».

В противоположность суровому добролюбовскому приговору «талантливым натурам» какая-то даже несколько неожиданная нежность звучит в характеристике живого образа народной массы, многоликой и многозвучной толпы богомольцев и странников, проходящих по страницам «Губернских очерков». Именно в то время, когда в творческом сознании Салтыкова рождалась сказочная «запевка» о судящем, рядящем и правящем Иване-дураке, Добролюбов проницательно увидел в авторе «Губернских очерков» защитника народа «от всякого рода талантливых натур и бесталанных озорников». Щедрин «любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках... Тут нет сентиментальничания и ложной идеализации; народ является как есть, с своими недостатками, грубостью, неразвитостью».

Добролюбов, наверное, сам того не зная, поддержал Салтыкова в момент тяжелый и смутный, в дни, когда мысль и фантазия работали напряженно и творчески, когда замыслы радостно роились в голове, требуя воплощения, но когда росли беспокойство и тревога. Репутация обличителя бюрократии не сулила ничего доброго, а особенно Салтыкову, который сам был «действующим» бюрократом — чиновником, близким к самым верхам правительственной иерархии. Министру Ланскому, очень ценившему служебные способности и трудолюбие своего чиновника особых поручений, приходилось — из-за Салтыкова и другого литератора-обличителя, служившего в министерстве, П. И. Мельникова (Андрея Печерского) — постоянно отражать недоброжелательные нападки со стороны высокопоставленных сановников. Особенно донимал мягкого Ланского непримиримый консерватор и крепостник граф Панин, который даже жаловался царю, что стало невозможно министерством управлять — обличительная литература во все вмешивается.

Где-то в октябре—ноябре 1857 года Ланской призвал к себе Мельникова и потребовал, «чтобы тот не писал в журналах». Через много лет Салтыков вспоминал: «Мельников прибегает ко мне и сообщает об этом. Ну, стало быть, и до меня дело касается. Иду к Ланскому. Спрашиваю его. Старик весь покраснел и говорит: «Это до вас вовсе не касается». Однако все-таки это очень и очень Салтыкова касалось. Ведь именно осенью его письма вскрывались (перлюстрировались) в III отделении, а в октябре в этом малопочтенном учреждении завелась даже переписка, в которой Салтыков упоминался как «человек безнравственный и сатирик, нерасположенный к правительству», и агент-осведомитель даже предлагал произвести «обыск его бумаг». Вряд ли такой обыск был произведен, однако соответствующие предупреждения «быть осторожным» Салтыков, конечно, получил, что заставляло его на какое-то время прекратить печатание своих новых произведений, по крайней мере до тех пор, «покуда не разъяснится мрак, скопившийся на моем горизонте». Письмо к Е. Ф. Коршу, где находятся эти слова, было написано 10 декабря 1857 года, и как раз в эти дни читал Салтыков статью Добролюбова.

Служебные неурядицы, все эти начальственные предупреждения и предостережения по поводу печатания его произведений вновь и вновь напоминали о том неустойчивом равновесии между службой и литературой, в кото-

рой он находился уже почти два года, с начала писания «Губернских очерков». Он по-прежнему служил честно и добросовестно — по крайнему своему разумению; он считал свою службу полезной, в особенности в условиях напряженной борьбы между теми, кто практиковал либерализм в «капище антилиберализма», такими «красными бюрократами», как Николай Милютин, и теми, кто был самим этим капищем — чиновниками и царедворцами вроде графа Панина.

Салтыков уже твердо знал, что его истинное дело, его призвание — литература. Но и порвать с опостылевшей петербургской службой он никак не мог: надо же чем-то жить, литературой-то не проживешь, ведь он не маститый Тургенев и не свободный и независимый Лев Толстой.

Над Россией медленно плыл морозный декабрь 1857 года. В бледном свете короткого дня, под немой звездной чернотой или резкой лунной синевой ночи стыли снежные дали бесконечных полей, чащи и буреломы неисходных лесов; дышали там и сям пахучими древесными дымами затерянные в русских просторах деревушки и барские усадьбы, тянулись к небу кресты и колокольни бесчисленных церквей. Земля ждала весны... ждала воли... Не спал мужик, тревожно, но привычно думал о своей полосе, о своем коняге, о буренке; хватит ли до нового урожая хлеба, достаточно ли овса и сена. Думал о первенце Петрухе, не падет ли на него жребий идти в рекруты, думал о Марье, ведь опять ей, больной и истощенной, придется жать барское поле, когда и на своемто еще рожь стоит. Волновало и новое — слухом земля полнится — вдруг выйдет желанная воля! И не надо будет надрываться на барщине, и земля станет вольная, своя, не барская?.. В каком-нибудь пошехонском захолустье не спалось и барину — и его одолевали беспокойные мысли о столь возможной «катастрофе» — крестьянском освобождении. Куда тогда деваться, как жить, когда и так в утлом хозяйстве едва концы с концами сводятся?..

А в кабинетах высших сановников Российской империи — вплоть до самодержца — кипела то явная, то скрытая глухая борьба мнений, интересов и честолюбий, сочинялись «записки» и «всеподданнейшие доклады», составлялись проекты теперь уже неизбежных — это

всем было ясно — реформ, готовились царские рескрипты.

Когда в марте прошлого года в Москве Александр II, пусть в форме неопределенной и осторожной, высказал свою монаршую волю, он надеялся, что помещики поймут его, но они не поняли или понять не пожелали, помещичье «земство» затаилось в беспокойном и враждебном ожидании. Царь тщетно надеялся на то, что сами «благомыслящие владельцы населенных имений», поборов свой дремучий эгоизм, свою животную боязнь, смогут все же осознать всю меру опасности, нависшей над российским государством, поймут, что есть лишь одно средство преодолеть эту опасность — стать на путь неотложных реформ, и прежде всего крестьянской. В августе 1856 года в Москве, куда по случаю коронации собрались губернские предводители дворянства, министр Ланской и товарищ министра Левшин вели с этими «представителями поземельных владельцев» долгие убеждающие беседы, пытались склонить их «двинуться в новый путь». Закоренелые же эти крепостники выражали лишь тупое удивление и непритворный страх: они даже не представляли себе, как это можно лишить их извечно принадлежащей им земельной и «крещеной собственности» — мужика. Тогда в январе следующего, 1857 года по привычному бюрократическому порядку был образован Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» (слова «освобождение» еще боялись как огня). Составлен комитет был из высших сановников империи под председательством самого царя, а в его отсутствие — типичнейшего бюрократа николаевского времени, ярого крепостника, бывшего начальника III отделения и шефа жандармов графа А. Ф. Орлова. Правда, в комитет вошел также и настроенный в пользу реформы, но постоянно колеблющийся Ланской — «либеральный кисель», как назвал его Салтыков. «Вопрос был поднят, — писал один современник, — вся Россия об этом узнала, и хотя комитет был секретным, но тем не менее несостоятельность его ни для кого не была тайною». В чем в конце концов все члены комитета оказались согласны, так это в том, что надо вновь, более настоятельно обратиться к самим помещикам с «поручением» выработать пути и условия крестьянской реформы. Согласны они были и в том, что помещичье землевладение должно остаться незыблемым. Бюрократическая круговерть всяческих «записок» завершилась в ноябре

1857 года составлением проекта царского «рескрипта» виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову. Этот рескрипт и должен был содержать такое поручение.

Салтыков, близкий тогда к Ланскому и его помощнику Милютину, напряженно следил за деятельностью Секретного комитета.

20 ноября 1857 года Александр II подписал рескрипт Назимову, содержащий «главные основания», которыми следовало руководствоваться при выработке проектов крестьянской реформы. Важная роль отводилась губернским по крестьянским делам комитетам: правительственная бюрократия впервые призывала к себе на помощь дворянское «земство», и дело реформы уже не могло оставаться делом секретных бюрократических комитетов, оно неминуемо должно было стать гласным. Через день Ланской получил согласие царя конфиденциально сообщить рескрипт и свое «дополнительное отношение» для сведения начальству губерний, на случай если бы дворянство изъявило «подобные», то есть «эмансипаторские» желания. Не медля ни минуты Ланской вызвал чиновника особых поручений Павла Ивановича Мельникова и поручил ему спешно заняться печатанием и рассылкой документов. В ночь с 23 на 24 ноября курьер уже вез семьдесят пять экземпляров рескрипта и отношения министра на вокзал Николаевской железной дороги для отправления «хотя бы с товарным поездом». Ланской недаром торопился. Мельников услышал от него на другой день: «Вы, вероятно, удивлялись моей вчерашней торопливости, а ведь нынче ночью было мне приказано помедлить, но я мог ответить, что уже поздно». Секретный комитет никак не хотел расстаться со своей секретностью, самодержавная бюрократия как огня боялась гласности. Но на этот раз «красный бюрократ» Милютин, вдохновитель действий Ланского, победил.

Вряд ли чиновник особых поручений и литератор Мельников не рассказал другому чиновнику особых поручений и литератору Салтыкову о любопытных обстоятельствах этой стычки на верхах власти.

17 декабря вышел из печати подписанный цензором И. А. Гончаровым номер «Журнала министерства внутренних дел» с царским рескриптом. В тот же день рескрипт был опубликован в газетах.

«Главные основания» крестьянской реформы излагались в рескрипте Назимову очень четко, и среди этих «оснований», пожалуй, самыми главными были — освобождение крестьян без земли и сохранение «вотчинной власти» помещиков.

И хотя царский рескрипт виленскому генерал-губернатору предполагал «устройство и улучшение быта» крестьян трех западных губерний (Виленской, Ковенской и Гродненской), тем не менее всем стало ясно, что на этих трех губерниях дело остановиться не может. Вскоре последовали рескрипты петербургскому генерал-губернатору графу П. Н. Игнатьеву и нижегородскому губернатору А. Н. Муравьеву (в молодости он был декабристом). Обсуждение проектов крестьянской реформы началось. В журналах публикуются многочисленные статьи. «Современник» в феврале и апреле 1858 года печатает две статьи Чернышевского, озаглавленные «О новых условиях сельского быта». Оспаривать данные рескриптом основания не позволялось. Но можно было их толковать. Это формально и делает Чернышевский, по существу же, подрывая самую основу реформы — в том виде, в каком она предлагалась в рескриптах.

Крепостное право — вот коренное зло, из которого возникали почти все наши бедствия и недостатки, — убежден Чернышевский. «Ни правильный ход администрации, ни верное отправление правосудия не были возможны при таком порядке вещей, при котором положение большей части отношений по имуществу <то есть крепостнических отношений> не было сообразно с принципами разумности и права, при котором сословие, имеющее своими сочленами почти всех лиц, руководящих исполнением законов <то есть дворянство>, находилось в условиях быта, решительным образом нарушавших всякую идею справедливости, при котором другое сословие, составляющее почти половину населения в Европейской России <то есть крестьянство>, стояло (по выражению, не нам принадлежащему[1]) вне закона». Иными словами, власть находилась в руках сословия, для которого справедливость по отношению к другому, подвластному, сословию была невыгодна и потому заменялась самым грубым произволом. Помещик-землевладелец закрывает глаза и на произвол судебной и полицейской власти, нарушающей закон, потому что нарушение — в его пользу и никогда — в пользу подвластных. Постоянный интерес помещика состоит в том, чтобы закон не

[1] О том, что помещичьи крестьяне «в законе мертвы», писал в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев.

был исполнен. Так пусть же будут подкупные судьи и продажные администраторы!

В своем толковании проекта крестьянской реформы, предложенного рескриптами, Чернышевский сделал особый упор на словах «улучшение быта крестьян» — словах, которыми официально определялась цель реформы. В самом деле. Ведь если в настоящее время всё — и дух сословия, имеющего главное участие в государственных делах (то есть дворянства), и организация войска, и администрация, и судопроизводство, и просвещение, и финансы и т. д., и т. д. — если все это искажается и подрывается крепостным правом, то естественно, что именно в крепостном праве встречается сильнейшее препятствие каждому нововведению, каждому улучшению для будущего. Чернышевский здесь как бы приостанавливается, хотя мысль его, конечно, предполагала развитие: сильнейшее препятствие важнейшему для будущего улучшения быта крестьян встретится в сословии, для которого крепостное право выгодно, то есть в крепостнически-помещичьем дворянстве. Чернышевский прекрасно знал, что отнюдь не по инициативе поместного дворянства был поднят крестьянский вопрос, он понимал, что и передача в руки дворянства этого вопроса лишь погубит дело освобождения.

Чернышевский, явно сдерживая обуревавшие его чувства, говорит о несправедливости и неразумности крепостного права. Далее он толкует царские рескрипты, не позволяя себе эмоций, в сухо-деловом стиле, специально подчеркивая, что рассматривает «только одну экономическую сторону дела, оставляя до будущих статей <которые, к сожалению, так и не появились> рассмотрение его в историческом, юридическом, административном и государственном отношениях». Крепостной — «обязательный» — труд препятствует мужику хорошо обрабатывать не только барскую землю, но и запашку свою, надельную (хотя надельная земля юридически тоже принадлежала помещику, но мужик, испокон века сидящий на этой земле, привык считать ее своею). Хорошо работать на барском поле мужику не было никакого резона, и лишь наказание могло заставить его шевелиться порасторопней. Старательность же в труде на собственном наделе, которая могла бы дать бо́льшую производительность, оборачивалась против самого же мужика: ведь сумма оброка никогда не уменьшалась, а только увеличивалась. И потому, каким бы ни было трудолюбие, какой бы ни была старательность мужика, он знал, что в итоге, за уплатой оброка, ему на долю останется одно и то же — все та же нищета, та же курная изба, те же голодные дети. Отсюда — апатия, бездеятельность, равнодушие, так характерные для крепостного состояния, для честного и трудолюбивого русского мужика, изнуряемого обязательным крепостным трудом.

Но, продолжает Чернышевский, обязательный труд разорителен не только для крестьянина, он разорителен и для самого помещика. Ведь помещик умеет лишь одно — без долгих размышлений увеличивать барщину или оброк, спускать с мужицкой спины еще одну шкуру. «Может ли экономически вести свои расходы тот, доходы которого получаются способом, противным экономическому расчету? Может ли с усердием заниматься своими делами тот, кому представляется, что источник его доходов, обязательный труд, остается неиссякаем и без всякой заботы с его стороны?» Возражают против вольнонаемного труда, утверждая, что он не окупается. Но это неправда, он не окупается, если вести хозяйство старым дедовским способом, не требовавшим никаких забот. Дело же состоит в том, что «хозяйство с наемным трудом есть коммерческое предприятие, требующее расчетливости, сообразительности, требующее разумной заботы со стороны хозяина. Вот от этих-то условий отвращаются партизаны крепостного права, которое дает им даровой труд и доставляет возможность вести дело небрежно, нерасчетливо».

Обязательный труд, противоречащий экономическим законам, разорителен и для государства, и для нации. Пришло время, когда экономические законы вступили в противоречие с устарелой общественно-политической системой, и теперь правительство вынуждается безотлагательно принять меры, чтобы дать свободу проявлению экономических законов. «Правительство имеет не только право, оно, по требованию всех экономистов, имеет прямую обязанность удалять от народной жизни все препятствия действию экономических принципов». Потому столь большое значение в деле крестьянского освобождения придавал в это время Чернышевский либеральной государственной власти. Этой мыслью он закончил первую статью «О новых условиях сельского быта», и этой же мыслью начал вторую.

Главное же для Чернышевского-демократа — это свободный труд крестьянина-земледельца на своем поле, и

потому «основным принципом своих желаний по делу освобождения крепостных крестьян мы должны принять то, чтобы они не остались без земли». Освобождение же крестьян без земли привело бы не к улучшению их быта, а к явному его ухудшению, что, полагает Чернышевский, противоречило бы формуле царских рескриптов. Ясно, что такое толкование не соответствовало ни духу, ни букве рескриптов, устанавливавших выкуп крестьянами в собственность лишь усадьбы, но отнюдь не полевой земли. Надел полевой земли предоставлялся собственником-помещиком лишь в пользование крестьянина. Чернышевский, конечно, вполне сознательно дал тенденциозное толкование рескрипта, и потому спешил опереться на суждения других сторонников освобождения крестьян с землей.

Его союзником в это время оказался автор известной записки К. Д. Кавелин, которую Чернышевский и решил опубликовать в извлечениях в составе второй своей статьи. Несомненно, что среди статей, в которых цензурное ведомство усмотрело «критику главных начал, в высочайших рескриптах указанных», первое место принадлежало статьям Чернышевского. Продолжение их не появилось.

Салтыковым по прочтении рескриптов владели противоречивые чувства. Он радовался крестьянской воле, но как только представлялся ему боязный и трудолюбивый русский мужик, сердце его сжималось от боли. Нет, не скоро, не скоро придется ему судить и рядить, а ведь без этого, по салтыковскому убеждению, и возрождения-то быть не может. По-прежнему будут угнетать мужика всяческие подати, сборы и повинности, все также будет тяготеть над ним помещичья власть («вотчинная полиция»). Салтыков, недавно писавший записку о земских полициях, очень хорошо знал, что такое — «вотчинная полиция». Ведь это же явная лазейка для сохранения крепостного права! И он сразу же собирается выступить со статьей на эту тему: «о взаимных отношениях помещиков и крестьян».

Если Чернышевский, в начале статьи затронув вопрос о суде и полиции, специально анализировал рескрипты как экономист, то Салтыков делает это как политик, для которого всего важнее вопрос о власти. Поэтому его внимание преимущественно направлено на тот параграф рескрипта Назимову, который говорит о «вотчинной полиции», тем более что совсем недавно он досконально

изучил состояние местной, земской полиции, а полиция вотчинная — одна из земских полиций.

В результате освобождения крестьян — в том виде, в каком это освобождение установлено рескриптами, пишет Салтыков, между крестьянами и помещиками должны возникнуть совершенно новые отношения, которые можно разделить на имущественные и личные. Что касается отношений имущественных, то они, при всех особенностях, не должны в главном отличаться от тех, какие существуют между кортомщиками (пользователями, арендаторами) и владельцем любого другого имущества, отдаваемого в кортому (в пользование). В настоящем случае в кортому отдается, на определенных условиях, земля, как бы заключается контракт между помещиком и крестьянином. Такие имущественные отношения будут продолжаться по крайней мере двенадцать лет (таков был так называемый «переходный период»). Вопрос о выкупе крестьянского надела в собственность не был поставлен рескриптами, и Салтыков-политик, в отличие от Чернышевского-экономиста, его не ставит.

Совершенно другое дело — отношения личные. «Здесь мы видим, что обыкновенный или свободный наем частного имущества не обязывает нанимателя ни к каким личным отношениям к владельцу его, что они могут остаться лично совершенно чуждыми друг другу, лишь бы с той и другой стороны были соблюдены поставленные контрактами условия». Для выяснения же взаимных претензий по имуществу учреждаются особые уездные присутствия. «Где же во всем этот предлог для продолжения личных отношений между крестьянином и помещиком, или, лучше сказать, для продолжения личной зависимости крестьянина от помещика, ибо при неравенстве условий, личные отношения без личной зависимости немыслимы».

Для чего же в таком случае тот институт, который называется «вотчинной полицией», то есть присвоение помещику как «прирожденному полицеймейстеру» полицейской власти в районе его имения? Здесь возникают две вопиющие несообразности. Во-первых, в имущественные отношения вторгается элемент личный, элемент корысти. Помещик будет иметь власть понуждать к исполнению «контракта» тех, кто от него лично зависим, то есть бывших своих крепостных крестьян, и даже наказывать их за неисправное, по его пристрастному мнению, отправление господских повинностей. Кто поручится, что

здесь не будет злоупотреблений в сфере имущественных отношений, что здесь не окажется разнообразных проявлений гнева и неудовольствия по поводу предполагаемых намерений, выражений лица и глаз, интонаций голоса, будто бы иронических улыбок и т. п. Каково будет в этом случае положение бывшего «раба», которому его бывший господин не может простить «катастрофы»? Во-вторых, власть помещика-полицеймейстера, власть, имеющая характер частный, присвоит себе и области, подлежащие полиции государственной, обязанной пресекать преступления, кем бы они ни были совершены, в том числе и самим помещиком. Не худший ли это вариант крепостного права, когда помещик делается безграничным самодержцем в своем имении, когда вновь возникшие имущественные отношения делаются жертвой личного произвола. Не есть ли это вместе с тем худшая форма ограничения прерогатив центральной правительственной власти, поскольку последняя теряет принадлежащее ей право препятствовать, в общих государственных интересах, преобладанию интересов местных и частных. «Земство» становится еще дальше от всесословности, окончательно приобретает характер сословный — дворянский. Очевидно, что, «при таком смешении понятий частного и общего крепостное право не только не будет de facto уничтожено, но даже вся полицейская деятельность, в полном своем составе, сделается частною собственностью, и мы не замедлим возвратиться к средневековым воззрениям на существо и значение правительственных учреждений».

Решительно отвергая «вотчинную полицию», Салтыков, однако, вынужден «упаковать» свое отрицание в форму толкования соответствующего параграфа рескрипта. Он поэтому хочет видеть в этом параграфе не окончательную норму, а «лишь зародыш будущего местного полицейского и административного устройства, зародыш, подлежащий дальнейшему развитию».

Что же должно вырасти из этого «зародыша»? Салтыков возвращается к той идее, которую он уже обосновывал, готовя записку о земских полициях. И по правде говоря, его идея никак не вырастала из «зародыша», определенного рескриптами. Дворянскому «земству», иначе — местной помещичьей власти и личной зависимости крестьян от помещиков он противопоставляет всесословное земство — местное самоуправление, в котором теперь должны принять участие и освобожденные крестьяне. То, что было невероятно при крепостном праве, становится возможным и необходимым. Местное управление «должно быть основано на муниципальных началах; только тогда оно не будет служить обременением для края, только тогда может принести для него действительную пользу, когда в нем принимают участие все элементы, из которых составляется то, что в законе называется именем земства», то есть все население России без различия сословий. Такое земское учреждение («уездный земский совет»), разумеется, необходимо освободить от стеснений бюрократической регламентации.

Говорят, что злоупотребления чиновников проистекают из того же строя понятий и воззрений, которые служат основою для крепостного права, и что с уничтожением крепостного права сами собой уничтожаются и чиновничьи злоупотребления. (Эта мысль была у Чернышевского, об этом же писал известный тогда государствовед Б. Н. Чичерин.) В этой мысли есть, конечно, своя справедливая сторона. Однако Салтыков проницательно понял относительную самостоятельность бюрократии как политического института, независимо от социального строя. Есть «особая сфера понятий и воззрений, — пишет он, — которая составляет принадлежность собственно бюрократии и которая осуждает ее на вечное бессилие относительно добра и пользы и, напротив того, вооружает ее страшною силою относительно зла и вреда. Эти понятия прямо истекают из положения бюрократии относительно управляемой местности. Считая себя представительницею интересов высших, государственных, бюрократия с пренебрежением смотрит на местные интересы, которые кажутся ей и ничтожными и вздорными, и с нетерпеливым презрением выслушивает даже самое легкое замечание или представление со стороны местных обывателей, не говоря уже о противоречии». Выход тут только один — строго ограничить бюрократию ее специальным назначением и дать полную свободу действию «муниципального начала», то есть всесословного самоуправления.

Салтыков, конечно, хотел напечатать свою «Заметку о взаимных отношениях помещиков и крестьян», вероятнее всего, в «Русском вестнике», с которым был еще пока тесно связан. Но недовольство императора печатными «толкованиями» его рескриптов положило конец публичному обсуждению крестьянского вопроса. Но так

или иначе Салтыков свое отношение к царским рескриптам выработал и, конечно, не прошел мимо статей Чернышевского, его «толкований» экономиста.

Как когда-то Салтыков хотел вырваться из Вятки, так теперь его все сильнее охватывает огромное желание расстаться с чиновничьими кабинетами Петербурга. Крестьянская реформа была у порога, и ему хочется принять деятельное участие в проведении ее там, в глубинах крестьянской России, в самых дремучих «капищах» губернской и помещичьей среды. Может быть, там его «либерализм» окажется более действенным, более результативным, чем в яростных спорах с министерскими чиновниками. Он уже продумал свою роль и выработал тактику действий в защиту «Иванушки» от натиска чиновников-«озорников», и «талантливых натур» — помещиков-крепостников. Его бурный темперамент искал выхода, тем более что литературная деятельность была пресечена начальственными советами быть «осторожным». Попытка включиться в «толкование» проектов реформ в печати также не состоялась. Еще в августе 1857 года он писал И. В. Павлову: «Уж как бы хорошо было в Орел вице-губернатором». Салтыков не скрывал своей враждебности к закоснелым и тупым чиновничьим «капищам». Его терзала даже не враждебность, не неприязнь, а прямая ненависть и злоба. И руководители высшей администрации не испытывали к нему любви и хотели отделаться от беспокойного чиновника. А либералы, вроде Ланского и Милютина, вероятно, ждали поддержки своей политики «на местах». Так подготовлялось назначение Салтыкова вице-губернатором, но не в Орел, а в Рязань.

«Злобное» настроение Салтыкова очень точно выразилось в том письме к Павлову, в котором он высказал желание ехать вице-губернатором в Орел. Вице-губернатором тогда был в Орле некий Вульф. Салтыков пишет: «Вульф известен и в министерстве не только как дурак, но даже просто как идиот. Да и это бы еще ничего, потому что глупость не только не мешает, но даже украшает губернаторское звание... но худо то, что у Вульфа протекции мало, вследствие чего он лишен всякой надежды на возведение в сан святительский <то есть на получение места губернатора>. Участь Орла — претерпевать Вульфа до конца. Одно лишь средство есть: напустить на Вульфа бешеную собаку, чтобы она его укусила, и

потом оставить его без врачебного пособия. С ума свести его нельзя, ну а взбесить, может быть, и можно. Да притом с таким губернатором, как теперешний <губернатором был в Орле В. И. Сафонович, весьма бледная, но самоуверенная личность>, только и можно служить, бывши Вульфом... В моих «Богомольцах» <в очерке «Общая картина»> есть тип губернатора, похожего на орловского. Ты представь себе эту поганую морду, которая лаконически произносит: «Постараемся развить», и напиши мне, не чесались ли у тебя руки искровянить это гнусное отребье, результат содомской связи холуя с семинаристом? И вот каковы наши варяги! Не взяточничество страшно, а это торжественное признание себя холопом, это холуйское самодовольство, защищенное от палки недосягаемостью запяток». В частном письме Салтыков позволил себе, не стесняясь в выражениях, выразить свое истинное отношение к «нашим варягам» — тупой и закоснелой бюрократии. Постепенно Салтыков будет вырабатывать особую форму сатирического иносказания — эзопов язык, — чтобы изливать свой гнев и ненависть уже на страницах литературных произведений.

«Эпоха возрождения» вступила в новый этап: непосредственной подготовки и осуществления крестьянской реформы. 4 марта 1858 года в «Санкт-Петербургских сенатских ведомостях» был опубликован указ Александра II о переименовании Секретного комитета в Главный комитет по крестьянскому делу, образовывались дворянские комитеты в губерниях.

Открывалась новая страница и в биографии Михаила Евграфовича Салтыкова. Его желание покинуть Петербург и служить в провинции осуществилось.

Глава шестая

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР. РОЖДЕНИЕ «ГОРОДА ГЛУПОВА»

Назначение Салтыкова вице-губернатором в одну из самых «помещичьих» губерний самодержавной России да еще в преддверии крестьянской реформы не было рядовым событием в административных летописях.

Когда министр внутренних дел представлял Салтыкова в вице-губернаторы особым докладом царю, то при этом, рассказывал Салтыков М. И. Семевскому, «чтобы оградить себя, счел, конечно, необходимым объяснить, что-де вот это тот самый Салтыков, который пишет, и проч. Что ж бы вы думали? Государь, утверждая доклад, говорит: «И прекрасно; пусть едет служить да делает сам так, как пишет», то есть так, как желает, чтобы действительно делали хорошо». Однако это тогдашнее мнение Александра II разделялось отнюдь не всеми высшими сановниками империи. Даже Ланской, решившийся представить Салтыкова, все-таки предостерегал его перед отъездом в Рязань, чтобы «он был поосторожнее в литературных делах, потому что бог знает, с которой стороны ветер подует». Председатель же Главного комитета по крестьянскому делу Яков Ростовцев говорил М. К. Клингенбергу, одновременно назначавшемуся в Рязань губернатором: «Ну, очень рад, мой милый, что ты получил губернию; губерния прекрасная, близко от Москвы... Одно жаль, вице-губернатора к тебе назначили какого! Пишет все эти губернские очерки — человек беспокойный!»

Салтыков был, так сказать, заряжен необычайной энергией, которая требовалась для предстоящего служения, он понимал и особенную значимость этого служения для его духовной биографии, для проверки на деле выработанных им к этому времени идей.

После месяца напряженной подготовки к исполнению своих новых обязанностей (прежде всего изучения документов недавно состоявшейся ревизии присутственных

мест Рязани и губернии) Салтыков вместе с женой выехал 3 апреля в Москву.

Салтыков доставил удовольствие Елизавете Аполлоновне, теперь третьей даме Рязанской губернии (после супруг губернатора и губернского предводителя дворянства): они остановились в Москве в роскошной гостинице Шевалье — с первоклассным рестораном и цыганским хором.

Десять дней, проведенных в Москве, были насыщены самыми разнообразными встречами и беседами — и деловыми и творческими.

Первым делом Салтыков отправился к Каткову: в «Русском вестнике» должны были печататься два рассказа из «Книги об умирающих»: «Смерть Живновского» и «Из неизданной переписки». Салтыков торопил. Ему хотелось, чтобы рассказы были напечатаны до его появления в Рязани, то есть в марте месяце. Катков встретил «дикого» и «сумасшедшего» Салтыкова (а такая репутация предшествовала появлению Салтыкова в московских литературных кругах) холодно и сдержанно. Начиналось то расхождение, которое очень скоро приведет к вражде, а через десятилетие — и к прямой ненависти.

Совсем иной характер носила давно желанная встреча с С. Т. Аксаковым. Несколько часов провел Салтыков в доме Сергея Тимофеевича, любил он его как автора «Семейной хроники» — подлинного открытия русской жизни, русского быта. Беседа экспансивного и нетерпеливого Салтыкова со стариком очень утомила Сергея Тимофеевича, но для Салтыкова была исполнением его давнего желания.

Несколько раз виделся Салтыков в эти дни с Львом Толстым, вместе слушали пение цыган у Шевалье, наслаждались музыкой, которую оба очень любили. Салтыков побывал у Толстого в его московской квартире в доме Варгина на Пятницкой. Говорили о современной литературе, об искусстве. Толстому понравился рассказ Салтыкова «Из неизданной переписки», изображенный там характер «идеалиста» сороковых годов, не сумевшего найти себе жизненного дела.

13 апреля Салтыков был в Рязани.

Когда-то, оказавшись поневоле в Вятке, Салтыков имел время и настроение, чтобы почувствовать особенный дух этого города, «впитать телом» и вскоре выразить содержание его жизни, его поэзию и его прозу, в «Гу-

бернских очерках». Хотя служба в Вятке и не была легкой, но ведь то были годы молодости, все-таки, несмотря ни на что, годы надежд, сложных молодых ощущений — от отчаяния и безысходности одиночества до радости любви-дружбы к Наталье Николаевне Середе; в Вятке зародилось тогда еще ничем не омраченное чувство к Лизе Болтиной.

В Рязань ехал совсем другой человек — крупный чиновник и прославившийся литератор. Служба в Вятке, собственно, не имела ясно осознанной цели, кроме честного выполнения своего служебного долга — так, как он понимался выучеником школы Белинского и Петрашевского. Да и время тогда было совсем другое, не позволявшее заноситься слишком высоко. Начиная службу в Рязани, Салтыков всецело сосредоточился на той цели, которую себе поставил, и он верил, что эта цель осуществима. Само время диктовало эту великую цель — речь шла уже не просто о честной службе, а о самоотверженном, не оставляющем места ни для чего другого труде ради освобождения крестьянства. Салтыков не забыл тезиса-завета Белинского об исполнении хотя бы тех законов, которые есть. Но теперь требовалось послужить закону новому — тому, который пока еще келейно, почти секретно готовился на верхах власти.

Салтыков был весь поглощен этим вновь открывшимся поприщем. И потому ни Рязань, ни впоследствии Тверь не оставили в его творчестве лирико-поэтических нот, вроде тех, что пронизывают описание Вятки во «Введении» к «Губернским очеркам». Его не занимала действительно прекрасная панорама Рязанского кремля и великолепная архитектура барокко, создававшаяся некогда такими мастерами, как крепостной зодчий Яков Бухвостов.

И служба Салтыкова в Рязани не была просто «практикованием либерализма в капище антилиберализма» — она была воистину служением идее и цели. И это служение стало подлинной почвой его сатиры. Как художник — психологически и художественно, — он уже был подготовлен к созданию сатирических произведений. Материал для них давала рязанская служба. Его комический дар рос вместе с чувством гнева, ожесточения и омерзения.

В руках вице-губернатора была сосредоточена большая административная власть. Он возглавлял Губернское правление, по закону — коллегиально управляемое

высшее губернское место, в ведении которого находилась среди многого другого и вся хозяйственная жизнь губернии. Салтыков был хорошо знаком с законными прерогативами и реальной деятельностью Губернского правления, ибо еще в Вятке, будучи старшим советником правления, возглавлял его хозяйственное отделение. Важное место в деятельности Губернского правления занимала следственно-судебная часть, чем Салтыков впоследствии широко пользовался. Вице-губернатор обязан был наблюдать и за делопроизводством.

15 апреля Салтыков явился в присутствие Губернского правления, находившееся на втором этаже длинного двухэтажного здания на Соборной площади перед кремлем. Появление его среди чиновников вверенного ему «губернского места» было самым заурядным — без всякой помпы, без представлений, приветствий и чествований. «*Пришел он* в присутствие в вицмундире, никому не известный, так что швейцар остановил было его вопросом: «Как о вас доложить?» — вспоминал делопроизводитель Губернского правления тех лет С. Н. Егоров.

Первым делом Салтыков занялся приведением в порядок делопроизводства, что было его первейшей обязанностью как вице-губернатора. С. Н. Егоров так описывает эту его деятельность: «Работа его по службе была изумительна». Обычно, до Салтыкова, «вице-губернаторы являлись в заседание на час, полтора для подписания журналов <то есть особой формы изложения дел, проходивших через Губернское правление>. Он же все утро до трех-четырех часов занимался в Губернском правлении. Не только вычитывал все, но поверял изложенное с подлинным делом, которое требовал к каждому журналу. В Губернском правлении ежедневно подавались доклады от двенадцати столов, средним числом от шести-семи по каждому. Можно судить о труде, какой падал на одного». Во время своей службы Салтыкову приходилось исполнять и должность губернатора, и тогда, кроме массы дел Губернского правления, к нему шли дела «по канцелярии губернатора, из различных комитетов и комиссий, еще приговоры уголовной палаты и прочие дела. Мало того: он брал на себя дела не подлежащие, за других, даже за подчиненных ему лиц. В случае надобности пересоставления журнала, что бывало нередко, он исполнял это сам, отдавая лишь свой черняк для переписки... По более серьезным предметам Салтыков брал все дело и писал постановление с изложением дела. Уголовные дела

от следователей поступали, помимо Губернского правления, прямо к нему. Он прочитывал, делал выписки, в канцелярии не успевали в несколько рук заносить следственные дела в журнал, как у него уже готово было постановление, вполне мотивированное. Надо иметь в виду и то, что в то время круг ведомства губернатора и Губернского правления был необъятный: в него входили все учреждения в губернии, судебные, административные, хозяйственные, благотворительные и прочие».

Салтыков работал не только в присутствии, работал и дома; Елизавета Аполлоновна скучала. Это была настоящая каторга. Объясняя свое долгое молчание, Салтыков писал брату Дмитрию в июне месяце: «...я живу здесь не как свободный человек, а в полном смысле слова, как каторжник, работая ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее 12 часов. Подобного запущения и запустения я никогда не предполагал, хотя был приготовлен ко многому нехорошему; уж одно то, что в месячной ведомости показывается до 2 тыс. бумаг неисполненных, достаточно покажет тебе, в каком положении находится здешнее Губернское правление. А потому я должен усиленно работать, чтобы хоть со временем увидеть свет сквозь эту тьму...» А через неделю В. П. Безобразову: «Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие по сравнению с плутовством рязанским».

По воспоминаниям рязанских чиновников, при первом же приеме своих подчиненных, служащих Губернского правления, «Салтыков, нахмурившись и обводя всех глазами, сказал: «Брать взяток, господа, я не позволю, и с более обеспеченных жалованьем я буду взыскивать строже. Кто хочет служить со мною — пусть оставит эту манеру и служит честно...» И многим закоренелым «подьячим» пришлось расстаться со своими местами в Губернском правлении. Салтыков сам обревизовал все делопроизводство и провел его реформу, при этом ему пришлось беспощадно отстранить от службы многих старых чиновников и заменить их новыми.

Такой каторжный труд требовал почти жестокого отношения не только к себе, но и к подчиненным. В присутствии чиновники должны были находиться с восьми утра до четырех часов дня. Но для приведения в порядок донельзя запущенного делопроизводства Салтыков назначил для работы и время после восьми — до десяти и одиннадцати. Он сосредоточенно и в то же время раздраженно исправлял журналы, сверяя их с излагавшимися в них делами, распекал советников правления, переписывал резолюции, которые писали эти советники, даже не вникнув в суть, заставлял их подписывать исправленные журналы вновь и вновь, формулировал постановления по многочисленным следственным делам. Его упорный взгляд горел гневом и презрением. Он засадил за работу по переписке своих черновиков младших чиновников и писцов, оставляя их в присутствии до позднего вечера. А ведь это все был народ бедный, получавший незначительное жалованье, принужденный вместе со своим семейством селиться в немощеной окраине города, где и фонарей-то не было, в так называемой Солдатской слободе. И вот темными вечерами, «со снятыми ради экономии сапогами, повешенными на плечи, с подсученными по колени брюками, бедняк чиновник принужден был переправляться через лужи, чтобы не портить обуви и платья, и только тогда решался надеть сапоги, когда, обмыв ноги в последней луже, выбирался наконец в мощеную часть города», — вспоминал современник.

Не сразу услышал одержимый делом Салтыков горячий ропот всей этой мелкой чиновничьей сошки — Салтыков, так хорошо знавший невзгоды и бедствия маленького человека, автор рассказа «Первый шаг» («Губернские очерки») — как раз о таком, задавленном бедностью, мелком чиновнике.

И вдруг у него открылись глаза. В газете «Московские ведомости» от 12 августа 1858 года он прочитал статью Ф. Сбоева «Еще несколько слов о чиновниках». Правда, ни имя Салтыкова, ни какие-нибудь конкретные факты его деятельности не были названы. Однако прозрачный намек на Салтыкова в статье был. «Если начальник не всегда имеет средство облегчить для бедного чиновника тяжелую ношу материальных нужд, по крайней мере он не должен давить его своим величием», «он обязан быть терпеливым при выслушивании объяснений подчиненного, деликатным в обращении с ним», начальник не должен отказаться подать бедному чиновнику «свою благородную руку и приветствовать без педантизма мягким словом, как человек человека, не осматривая его с головы до пят в какое-нибудь глупое стеклышко, нагло уставленное в упор сконфуженному подчиненному» (Салтыков носил тогда монокль). Обращаясь к «свирепствующим Надимовым» (разумелся герой нашумевшей пьесы В. А. Со-

ллогуба «Чиновник»), Ф. Сбоев писал: «Думали ли вы когда-нибудь о влиянии нужды и бедности на нравственность и служебный характер презираемых вами людей?..»

Салтыков узнал себя и, главное, узнал свои собственные социальные и нравственные идеи, столь недавно положенные в основу «Губернских очерков».

В редакции «Московских ведомостей» Салтыкову удалось узнать настоящее имя автора статьи — им был младший чиновник Палаты государственных имуществ Ф. Т. Смирнов. Не откладывая дела в долгий ящик, Салтыков тут же отправился к Смирнову домой, чем очень смутил молодого человека, встретившего столь неожиданного гостя в халате. «Пожалуйста, не стесняйтесь! Я рад с вами познакомиться, как с человеком, который оказал мне услугу! — быстро заговорил Салтыков, заметив смущение Смирнова и крепко сжимая его руку. — ...Вы поступили честно и написали правду...» Вскоре Салтыков помог Смирнову перейти на должность инспектора рязанского Александровского дворянского воспитательного заведения и поручил ему редактирование неофициальной части «Рязанских губернских ведомостей».

Салтыков сделал и другое. По грязным немощеным улицам рязанских окраин он отправился в Солдатскую слободу, чтобы самому убедиться в том, как обитают там его подчиненные, и тут же отменил для них вечерние работы.

И этот случай, и многие другие, ему подобные, заставили и чиновников иными глазами посмотреть на своего вице-губернатора. Через много лет делопроизводитель Губернского правления С. Н. Егоров вспоминал об этом так: «Строгий в службе, он был в высшей степени правдив и человечен. Требуя от других работы, даже непосильной, он сам изумлял всех своим трудолюбием. В заседаниях и дома, во всякую пору, хотя бы ночью, он постоянно был за работой. Он ежедневно имел дело с каждым чиновником и всех знал. Несмотря на строгую и трудную службу, все его любили и ничем ради него не тяготились, потому что он всякого ценил по достоинству, поддерживал и давал быстрый ход по службе, входя в положение даже частной жизни подчиненного. Серьезный до суровости с равными, был очень мягок и деликатен с низшими».

Но вся эта работа по упорядочению и распутыванию делопроизводства не была для Салтыкова самоцелью. Начиналась непосредственная подготовка к проведению крестьянской реформы. 19 апреля 1858 года, вскоре после

прибытия Салтыкова, в «Рязанских губернских ведомостях» были напечатаны рескрипт Александра II рязанскому губернатору и предписание Ланского об открытии в Рязани Губернского дворянского комитета.

Реформа готовилась, но старые крепостнические законы, отдававшие крестьянина в полную власть помещика, еще не были упразднены. Эти «законы» не были упразднены и, так сказать, в сердцах и головах тех, для кого они составляли весь смысл существования — в сердцах и головах крепостнического дворянства. Но, главное, крестьянская масса, напряженно и тревожно ожидавшая воли, сама еще не могла ни физически, ни нравственно разорвать цепи рабства. «Мы все помним, — писал Салтыков через десять лет в очерке «Хищники», — как секли и истязали и вслед за тем заставляли целовать истязующую руку. Это называлось «благодарить за науку». Благодарящий обязывался иметь вид бодрый и напредки готовый, так как в противном случае он рисковал возбудить вопрос: «эге, брат! да ты, кажется, недоволен!» Опаснее этого вопроса ничего не могло предстоять, ибо с той минуты, как он возникал, обвиняемый навсегда поступал в разряд нераскаянных и неисправимых... В бывалые времена, если нераскаянность и неисправимость свивали себе гнездо в сердце меньшего брата <то есть крестьянина>, то это неизбежно доводило сего последнего или до ссылки в Сибирь, или до отдачи в солдаты... Бывают минуты в жизни обществ, когда особенно много является нераскаянных. Одним из таких моментов были месяцы, непосредственно предшествовавшие упразднению крепостного права. В это достопамятное время нераскаянных толпами приводили в губернские правления и рекрутские присутствия...

— За что их ссылают? — спрашиваешь, бывало, какого-нибудь доверенного холопа, пригнавшего в город целую деревню нераскаянных (в то время «нераскаянный» меньший брат пригонялся вместе со всеми нераскаянными домочадцами и даже с нераскаянными грудными младенцами; на месте оставлялось только нераскаянное имущество, то есть дома и скот меньших братьев).

— За ихнюю нераскаянность-с... Потому, значит, помещик им добра желают-с, а они этого понять не хотят.

— Что же, однако, они сделали?

— Секли их, значит... ну а они, заместо того чтоб благодарить за науку, совершенно, значит, никакого чувствия...

Это было последнее слово крепостного хищничества. Получай в зубы, и да величит душа твоя».

Предчувствуя неминуемый расчет, закоренелые крепостники — поместные дворяне спешили воспользоваться всеми теми «правами», которые давал им узаконенный произвол над «меньшим братом». Крестьяне целыми деревнями ссылались в Сибирь, а их земельные наделы, скот, дома оставались помещикам; крестьяне, имевшие наделы, переводились в дворовые, так как предполагалось, что дворовые землей наделяться не будут; перекраивались наделы, переселялись деревни —с хороших земель на песочек, камень и болото. Беспокойные и строптивые сдавались в рекруты.

Придумывались и другие способы обездоливания крестьян. Один из таких способов был хитроумно изобретен фабрикантами города Егорьевска Хлудовыми и помещиками Рязанского и Зарайского уездов.

В апреле 1858 года в рязанское Губернское правление к Салтыкову, тогда только вступившему в вице-губернаторскую должность, явилась толпа крестьян с жалобой. Еще в прошедшем, 1857 году они были «законтрактованы» своими помещиками для работы на фабрике Хлудовых (это было обычной сделкой, которая нередко совершалась владельцами крепостных душ и фабрикантами). На этот раз контракт имел одну особенность, скрытую от крестьян: они предварительно были отпущены помещиками на волю. В феврале же 1858 года, когда прошла X народная перепись, фабричное начальство вдруг погнало их, как вольноотпущенников, приписываться к мещанскому обществу Егорьевска. Крестьяне же надеялись, что, по освобождении, в соответствии с близившейся реформой, они, став свободными, вернутся на свои наделы в деревню. Теперь же оказывалось, что они лишены и земли и имущества.

Салтыков тотчас же начал следствие.

Позднее, в ответ на статью некоего Проезжего в журнале «Вестник промышленности» (1860, № 2), Салтыков напишет статью «Еще скрежет зубовный», в которой, по документам, изложит все это «чудовищное дело», «основанное на человеческом мясе».

«Крестьяне показали, что от имени их заключены контракты, содержание которых им неизвестно... При этом весьма важно следующее: 1) что в большей части случаев контракты подписаны за крестьян, по безграмотству их, посторонними людьми, тогда как между крестьянами

многие грамоте знают, и 2) что контракты писаны от имени крестьян, как вольноотпущенников, тогда как по делу доказано, что во время заключения контрактов отпускные контрагентов не только не были выданы им, но даже не были явлены в суде», как полагалось по закону. При дальнейшем расследовании некоторых темных обстоятельств этого дела оказались и многие другие диковинные вещи, «открывались *бесчисленные подлоги и преступления со стороны должностных лиц*, и притом такие, которые не могут быть терпимы не только в благоустроенном, но даже и в расстроенном государстве».

«Проезжий» (им оказался советник рязанского Губернского правления Н. Ф. Дубенский, что еще раз заставляет задуматься о том, сколь сложно было положение Салтыкова как руководителя Губернского правления) затронул и Салтыкова, намекнув на то, что именно он подстрекал крестьян к подаче жалобы. «...Может быть, и действительно нашелся человек, — отвечал Салтыков, — который взял на себя труд объяснить крестьянам, что нет такого закона, который бы разрешал отдавать людей в кабалу на неопределенное время. Если он сделал это, руководствуясь единственно побуждениями правды и добра <а именно этими побуждениями руководствовался Салтыков>, — тем более чести для него; если же к этому примешивалось чувство мести или другое какое-нибудь неблаговидное побуждение, то это относится лишь к личности внушителя, но ни на волос не умаляет важности самого факта... Нам хотелось бы обделывать наши делишки в веселии сердца своего; мы желали бы, чтобы вокруг нас царствовало милое безмолвие, которым грады и веси цветут. Пора, однако ж, нам разуверить себя и приготовиться к иному порядку вещей». «Я кончил, — заканчивал Салтыков статью «Еще скрежет зубовный», — но не могу не прибавить нескольких слов в защиту вице-губернатора, который выставлен Проезжим чем-то вроде шута... Вице-губернатор этот мне очень близок, и я смею уверить Проезжего, что... весь губернский синклит не заставит его сделать что-либо противное его убеждению».

И множество других дел по расследованию помещичьих злоупотреблений и помещичьего своекорыстия прошло через руки Салтыкова, и во всех случаях он действовал согласно своему кровному убеждению: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет!»

25 июня состоялись выборы в Губернский дворянский комитет. 29-го Салтыков писал В. П. Безобразову, что результаты выборов по уездам ему еще неизвестны. В числе же тех, о ком уже известно, «немного утешительного: выбирают большею частью горланов», то есть ярых крепостников. «На одном дворянском собрании один отставной военный долго крепился и молчал, но под конец не выдержал и выразился так: «Отлично, господа! Все это хорошо! Только я вам вот что скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафу положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки буду!» (historique) <исторически верно>. Рвения к освобождению крестьян незаметно никакого, а, напротив, слышен повсюду плач и скрежет зубовный».

Наблюдая за работой губернского комитета, Салтыков приходит к скептическому выводу, в котором чувствуется и его разочарование в собственной деятельности, в конце концов ничтожной по результатам: «С каждым днем все более и более убеждаюсь, что бюрократия бессильна, *но вместе с тем, что и за земство наше!*»

И взор его вновь и вновь обращается к Иванушкам, к их настоящему положению и будущим судьбам.

В свое время Белинского возмутили и потрясли поучения Гоголя «русскому помещику» о том, как следует обращаться с крестьянами, как следует наставлять нерадивых словами: «Ах ты невымытое рыло!» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями»). Ведь мужики русские, восклицал Белинский, «потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей!». Ведь России прежде всего необходимо «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе...». Восстановление человеческого образа в забитом мужике, пробуждение угасшего чувства человеческого достоинства — к этому были направлены усилия Салтыкова и в Хлудовском деле, и в десятках других дел, где обнаруживалось надругательство над человеком, над его достоинством и честью... Этого же чувства, хоть проблесков его, ищет Салтыков в Иванушке, в русском крестьянине.

И вот в конце 1858 года вице-губернатор Салтыков пишет первое за все время своей службы в Рязани литературное произведение — о бродяге и разбойнике, беглом мужике, нашедшем в себе силы противостоять барскому произволу — рассказ «Развеселое житье».

Теперь уже уходит в леса не пустынник, взыскующий

града небесного, а дворовый холоп, вскормленный и выпестованный грязным бытом помещичьего дома, буфетной, лакейской, конюшни. Да и помещик-то у него нового пошиба — бывший разбогатевший кабатчик Семериков, впрочем, быстро усвоивший себе все самые отвратительные привычки исконного помещичества, его неограниченную власть над мужиком-холопом.

И еще одну школу прошел Иванушка, крестьянский сын. «На четырнадцатом году свезли меня в Москву к повару-французу в учение; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечем, свету большого из-за плиты не видел. Потом, однако, пустили господа по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти».

И нанялся Иван не в повара, а в лакеи к смирному и доброму барину Михайле Васильичу[1], который все книжками больше занимался, а по вечерам господа молодые к нему собирались да разговоры промеж себя вели. А разговоры, видно, были такие, что «пришли к нам гости незваные, и тут же дело наше покончили. Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!»

Тошна показалась Ивану после Москвы деревня, да к тому же барин велел ему идти на конюшню за то, что ослушался — не в повара нанялся, а в лакеи.

Жила у барина как бы в экономках пастухова дочь, Марья Сергеевна. Много вытерпел горя Иван из-за Машеньки, но и счастье великое испытал. И чем же все обернулось? Повалился Иван барину в ноги, клялся-божился, что вечным будет его рабом, только бы на Машеньке жениться дозволил. «На это такую он резолюцию дал: посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали».

И бежал Иван от кабальства своего горького в леса дремучие, за разбойничье ремесло принялся. «Народу у нас предовольно. И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова, есть и казенные, есть и барские, однако больше барские... Бывают и «кавалеры» <беглые солдаты>: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются» (то есть от наказания шпицрутенами).

И снится Ивану сон. Стоит будто перед ним его барин, Семеричище-горынчище. «Стоит это преогромный та-

[1] Салтыков намекает на Михаила Васильевича Петрашевского и его кружок.

кой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да поколыхиваться; ну качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли... Уж куда хорош этот сон!» — сон, символизирующий мечту рвущегося на волю мужика, о гибели барства-помещичества.

Снятся Ивану и другие, страшные сны, сны о неизбежном исходе его разбойничества: приходит он будто в град некий, да не один, а с товарищами: «такие приятели есть, сотскими прозываются»; стоит он «на месте высоким», и руки к столбу крепко-накрепко привязаны.

Что же это такое, этот русский разбойничий мир, как не мир крестьянского протеста, борьбы за поруганное человеческое достоинство?

Рассказ «Развеселое житье» был напечатан во второй книжке за 1859 году журнала Некрасова и Чернышевского «Современник».

В продолжение 1859 года в разных изданиях печатает Салтыков еще несколько очерков и рассказов из задуманной давно «Книги об умирающих»: «Генерал Зубатов» (генерал-администратор еще николаевской школы), «Гегемониев» (закоренелый чиновник-«подьячий» прошлых времен), «Госпожа Падейкова» (помещица, панически напуганная надвигающейся реформой). Но все это были отдельные фрагменты, так и не сложившиеся в книгу.

Конечно, некоторые категории «умирающих», ветхих людей умерли, ушла в прошлое вскормившая их эпоха, воспитавшие их «прошлые времена». Но многие из них все еще хватаются мертвыми руками за ростки нового, едва нарождающегося, и в этих объятиях искажаются, чахнут эти ростки.

Вдруг в атмосфере «устности и гласности», на скудной — болотистой, злокачественной — почве взросло чахлое древо красноречия — это дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное» (очерк «Скрежет зубовный»). Что же произошло,

какая причина столь внезапной всеобщей болтливости? «Ближайшие исследования дают повод думать, что первою и главною побудительною причиной было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воле начальства?» И этим «правом» не замедлили воспользоваться люди ветхие, время которых, казалось, уже кануло в Лету. И эти ветхие люди поганят своим чудовищным сквернословием, своим «скрежетом зубовным» всяческую «устность и гласность».

Сатира на ветхих людей, вдруг предавшихся красноречию, переходит в авторский лирический монолог. Звучит тяжелая, трагическая нота. «К чему эти странные, серые картины, на которых так любит останавливаться уязвленное воображение твое?» Восток, скоро ли заалеешь ты ярким и радостным светом дня? Но нет: «Все ночь, все еще ночь!» — думаю я».

Горькие авторские размышления прерывает спасительный Сон-сказка. Встал, будто встрепенулся Иванушка. И пошел «по той нетореной дороге, где младая жизнь кишит, где цветут цветочки алые, где растет трава шелковая, где поют птицы райские, где бегут ручьи молочные... Любо Иванушке! Глаза у него разгорелися, кудри русые по широким плечам разметалися, ходенем пошла грудь могучая, встрепенулось в ней сердце богатырское, пьет не напьется он воздуха вольного...»

Два года тому назад задумал Салтыков завершить свою «Книгу об умирающих» картиной Иванушки, судящего и рядящего. И вот Иванушку за стол посадили, судит он и рядит, да ведь не сам собой! Посадил его генерал Зубатов (воплощение царской администрации) по приказу начальства! Так в первоначальный замысел была внесена знаменательная поправка, народно-поэтическая символика решительно корректирована ядовитой иронией.

Рассказ «Скрежет зубовный» был написан тогда, когда на смену доброму и покладистому Клингенбергу прибыл в Рязань в качестве губернатора худший из «Зуба-

товых» — действительный статский советник (то есть штатский генерал) Николай Муравьев, сын министра государственных имуществ М. Н. Муравьева (в 1863 году — жестокого усмирителя польского восстания) — «один из сукиных детей Муравьевых», по выражению Салтыкова. Служебная деятельность Салтыкова осложнилась с самого начала резко враждебными отношениями с новым губернатором. Ему все было ненавистно в этом неумном, напыщенном, заносчивом и самоуверенном тридцатипятилетнем генерале, обладавшем к тому же огромным честолюбием. Приблизительно после месяца общения с новым губернатором Салтыков пишет В. П. Безобразову, что Муравьев «разразился над Рязанью подобно Тохтамышу». «Рязань, — иронически продолжает Салтыков, — может быть, и полюбит это, потому что она и издревле к таким людям привыкла, но для меня подобное положение вещей несносно. Главное основание всех его действий — неуважение к чужой мысли, чужому мнению и чужому труду». Салтыков сейчас же обратился к Н. Милютину с просьбой о переводе его в Тверь или Калугу. А еще через месяц, когда Муравьев собрался в Петербург, перед отъездом он спросил Салтыкова, не желает ли тот об исходатайствовании какой-либо награды. На это Салтыков без обиняков ответил, что величайшею для него наградой будет, если его «разведут» с Муравьевым, и просил, чтобы Муравьев заявил об этом министру. После такого «объяснения» оставаться Салтыкову в Рязани было уже невозможно.

Так завершилось вице-губернаторство Салтыкова в Рязани. 3 апреля 1860 года он был назначен тверским вице-губернатором, но к месту новой службы прибыл лишь в июне. Живя в течение этого промежутка времени в Петербурге, он очень активно («много спорил», отстаивая свои убеждения) участвовал в трудах особой правительственной комиссии под председательством Милютина. Занималась эта комиссия, в частности, разработкой положения о мировых посредниках, которое вошло в «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (положение 19 февраля 1861 года). И в этом важнейшем документе есть, следовательно, доля труда Салтыкова.

24 июня 1860 года Салтыков вместе с Елизаветой Аполлоновной прибыли в Тверь и заняли второй этаж двухэтажного особняка на углу Рыбацкой улицы и Пивоваренного переулка, недалеко от Волги.

Тверь была для Салтыкова городом, который он знал с юности, можно сказать — родным. Много раз проезжал он ее улицами, сходил с поезда Николаевской железной дороги на Тверском вокзале, отстоявшем тогда от города на три версты, отплывал от волжской пристани в Кимры и Калязин, направляясь в Спас-Угол.

Губернатором в Твери был человек совсем другого склада, чем рязанский Тохтамыш, — мягкий и покладистый по характеру, сочувствовавший либеральным правительственным реформам граф Павел Трофимович Баранов, некогда — первый адъютант Александра II. Когда в Твери несколько месяцев 1859 года (после каторги и ссылки в Сибирь) вынужден был прожить под надзором полиции Достоевский, все еще не имевший права на жительство в столицах, Баранов с сочувствием отнесся к судьбе ссыльного писателя и много содействовал его возвращению в Петербург («Баранов оказался наипревосходнейшим человеком, редким из редких», — характеризовал его Достоевский в одном из тверских писем).

Подобно тому, как это было в Рязани, Салтыков сразу же входит во все дела Губернского правления с целью наведения в них законного порядка. В своей служебной практике он по-прежнему полон энергии, строг в преследовании не только беззаконий, но и неумения, нежелания, нерадивости. Служба «моя идет хорошо, и с Барановым я покамест в большой приязни», сообщает Салтыков брату Дмитрию через месяц после водворения в Твери.

Буквально в первые же дни вице-губернаторства Салтыкову пришлось заняться расследованием с целью безотлагательной защиты мужика от насилия, произвола, ограбления, от злонамеренных обвинений в неповиновении и бунте.

Дело происходило в находившемся в Бежецком уезде огромном имении генерал-адъютанта Н. В. Зиновьева, человека влиятельного в Петербурге, близкого к царю. Имение это управлялось властным и безжалостным бурмистром, угнетавшим и грабившим крестьян уже сверх всякой меры. Крестьяне много раз, но без всякого результата, просили барина сменить своего ставленника-бурмистра. Тогда в мае месяце в селах и деревнях зиновьевского имения начались волнения.

«Незадолго до приезда Салтыкова в Тверь губернатор Баранов передал представленное ему чиновником особых

поручений Тыртовым следственное дело о возникших в имении Зиновьева беспорядках «на постановление», то есть на формальное утверждение Губернского правления. Между тем (и в этом заключалось беззаконие, которое в услужливости перед Зиновьевым санкционировал губернатор) часть подозревавшихся по этому еще *не* рассмотренному и *не* утвержденному высшей губернской властью <то есть Губернским правлением> следственному делу уже получила суровое наказание: двадцать крестьян были жестоко выпороты («при собрании всей вотчины»), а писарь и пять крестьян, названные в следствии «зачинщиками», были отправлены в тюрьму. Публичная экзекуция, как и сопровождавший следствие ввод в деревню вотчины войск, двух эскадронов улан, были запрошены у губернатора жандармским штаб-офицером Симановским, практически руководившим разбирательством и «усмирением» (С. А. Макашин).

И вот во главе Губернского правления стал новый вице-губернатор, сразу же понявший всю несправедливость выводов следствия, грубую незаконность наказаний, которым были подвергнуты крестьяне. Следствие ограничилось установлением только факта «неповиновения», но совершенно не разобралось в причинах этого «неповиновения». Салтыков решительно не утвердил соответствующий журнал Губернского правления и назначил новое следствие, с чем вынужден был согласиться и губернатор, вопреки своей прежней позиции. К этому времени (17 июня) Салтыкову, по-видимому, была уже известна «записка» тверского либерального деятеля, соседа Зиновьева по имению, А. Н. Неведомского, который, беседуя с зиновьевскими крестьянами, установил истинную картину происшедшего. Картина эта была ужасна.

«Жандармский штаб-офицер требовал к себе по десяти и по двадцати человек и заставлял их подписывать бумагу, что будут теперешнего бурмистра держать бурмистром. О жалобах крестьян на бурмистра... не было даже и помину. Для подписки были потребованы несколько человек с деревни Ильинское, из них первый должен был подписываться Трофим, старик от 50 до 60 лет. На слова штаб-офицера: «Подписывай, что теперешнего бурмистра будете держать бурмистром», Трофим отвечал: «Это мирское дело, я не могу один без мира» (бурмистры в этом поместье испокон веку, как говорят крестьяне, избирались миром и потом утверждались помещиком). С этими словами штаб-офицер стал его бить по лицу, топтать ногами, а потом велел сечь. Трофим только кричал: «Подпишусь, на что хотите подпишусь». Его вынесли почти без чувств... Вслед за Трофимом должен был подписываться Алексей Гордеев. Он сказал: «Дай бумагу, мы ее на миру прочтем». Опять собственноручные побои; вся борода осталась в руках штаб-офицера. «Многих он истязал так, — рассказывают крестьяне, — ведь все в лицо да за бороду норовит; перед ним на колени: «За что истязуешь?» А он коленкой в лицо».

Перед Салтыковым немым укором стоял бессловесный образ этого бедного униженного мужика, все вновь и вновь унижаемого в его человеческом достоинстве, тихого и смирного мужика, которого еще надо было «усмирять» истязанием и битьем, и не как-нибудь, а вырыванием бороды да всё — «коленкой в лицо». И Салтыков мужественно и стойко преследовал преступления помещичьей братии, которую накануне реформы обуял прямо-таки «бред», боролся против тех мощных сил, которые стояли за спиной Зиновьева, сановника и богача, бывшего воспитателя самого Александра II, и многих других, ему подобных.

Салтыкову удалось добиться смены ненавистного крестьянам бурмистра, но он «потерпел неудачу в попытках извлечь из «зиновьевского дела» и предать гласности судебного разбирательства разоблачительные материалы более громкого общественного и государственного звучания. Речь идет о скандально-сенсационных выводах, которые были сделаны в результате ознакомления с привлеченными к следствию приходо-расходными книгами вотчинной конторы. Обращение к секретным записям в этих книгах позволило установить, что контора помещика-магната фактически содержала «на жалованье» всех должностных лиц в уезде». В конце концов «из Петербурга поступило категорическое запрещение дальнейшего не только судебного, но и следственного рассмотрения «незаконных расходов», занесенных в вотчинные приходо-расходные книги. Сами же книги предложено было изъять из «вещественных доказательств» и возвратить владельцу» (С. А. Макашин).

Исход этого дела, так же как когда-то, в годы вятской службы, все перипетии, связанные с бунтом трушниковских крестьян, все чаще и чаще заставлял Салтыкова задумываться о том, сколь реально действенны идеи и поведение искреннего и подлинного защитника крестьян, вся боль сердца которого была отдана русскому мужику,

и, одновременно, крупного бюрократа, вольного или невольного проводника правительственного курса — в тех общественных условиях, когда правыми в конце концов остаются все же Зиновьевы и Симановские.

А между тем жизненный и творческий опыт Салтыкова все пополнялся и пополнялся новыми материалами. Опять, как когда-то в вятские годы, по поручению губернатора, но теперь уже не ссыльный чиновник, а вице-губернатор, отправился Салтыков ревизовать делопроизводство уездных учреждений и городское хозяйство уездных городов, среди которых был и Калязин и Калязинский уезд, тот самый уезд, где в селе Спас-Угол провел Салтыков свое десятилетнее деревенское детство.

Салтыков плыл по Волге в Калязин, откуда отправился в Кашин и Корчеву. Стоял сентябрь... Все кругом было так знакомо: вековая глушь и тишина, болота и топи, волжские берега, покрытые березняком и ельником, буреломные глухие леса, разбитые сельские дороги: колеса тележки то увязают по ступицу, то стучат и прыгают по мучительному мостовнику... Кое-где на полянках бедные деревеньки, робкий мужик, кланяющийся вслед проезжающему барину... Знакомые пейзажи, знакомые ощущения... Что же здесь изменилось за последние годы? И что мог сделать он, чтобы развеять эту вековую тишину и дремоту, чтобы облегчить эту неизбывную «повинность работе», что сделать, чтобы легче вздохнул Иванушка? Да чего хочет сам-то он, этот загадочный Иванушка? Желает ли он сесть за один стол с Зубатовым, чтобы судить да рядить, или бьется день и ночь, добывая в поте лица хлеб насущный, будто и не для него были сказаны слова: «не хлебом единым будет жив человек»?

Вот и город Калязин, не раз уже виденный Салтыковым и раньше. «Наружный вид города Калязина удовлетворителен, — пишет Салтыков в «записке» о ревизии. — Улицы, в которых есть несколько мощеных, опрятны; но нельзя не обратить внимания на торговую площадь, которая весьма не ровна и при дождях должна быть залита грязью...» Городская дума... Городническое правление... Земский суд... Уездный суд... и т. д., и т. п. Пожарная команда — важное по тем временам, когда то и дело горели деревянные городишки, городское «учреждение»: «Пожарные инструменты ветхи и требуют перемены их новыми, лошади удовлетворительны». Однако о самой пожарной команде «трудно сделать хорошее заключение, если принять во внимание, что старший унтер-офицер в день ревизии до того был пьян, что не мог явиться на смотр, а лежал в безобразном виде в казарме». Собираются устроить в Калязине каланчу, но «при осмотре отведенной для этой постройки местности она оказалась не совсем удобною, потому что были примеры, что туда заливалась весной вода». Нечто подобное видит Салтыков и в городе Кашине: «Пожарная команда в исправности, инструменты пожарные довольно хороши, равно как и лошади, но пожарный сарай и конюшня до того ветхи, что ежечасно угрожают падением, а помещение для пожарных служителей видом своим скорее напоминает скотский хлев, нежели жилище». «Наружный вид города Корчевы ничем особенным не отличается от других мелких уездных городов. Улицы большею частью немощеные, тротуары на тех улицах, где они существуют, до крайности ветхи, так что по ним во многих местах не безопасно ходить. Торговая площадь весьма грязна...»

Салтыков обращает внимание не только на наружный вид, не только на внешность заштатных уездных городков, которые все похожи один на другой как две капли воды: он вникает в повседневную городскую жизнь, в сокровенный быт городских обитателей. Он тщательно ревизует делопроизводство, за которым видит судьбы зависимых от городских и уездных властей крестьян и мещан. Так, например, при ревизии 1-го стана Корчевского уезда оказалось, что становой пристав «совершенно незнаком с производящимися у него делами, и потому все дела найдены в большом беспорядке и сверх медленности в делопроизводстве замечены также неправильные действия».

Но особенный беспорядок и беззакония нашел Салтыков в Весьегонском уезде, который он ревизовал в январе 1861 года, — в самом захолустном углу Тверской губернии, куда и проехать-то было можно только зимой, санным путем. Летом же эту обетованную землю самоуправцев и беззаконников окружали непроходимые леса и болота, через которые на колесах пробраться не было никакой возможности.

По дороге в Весьегонск лежал городишко Красный Холм. И здесь произошло нечто неправдоподобное, поистине превосходившее фантастику будущей салтыковской сатиры: «Земский исправник выехал навстречу ревизующего в г. Красный Холм, где ожидал несколько дней сряду, несмотря на то, что встреча и проводы подобного рода положительно воспрещаются. Хотя ревизующий выехал из Красного Холма прежде исправника и ехал очень ско-

ро, исправнику — неизвестно каким образом — удалось-таки вновь встретить ревизующего у заставы города Весьегонска и разослать гонцов по всем властям. Из этого видно, — иронизирует Салтыков (в служебной записке), — что в городе Весьегонске и его уезде чиновнические сообщения совершаются даже быстрее, нежели нужно». Но Салтыков не принадлежал к числу «ревизоров», способных обмануться подобной быстротой.

Он нелицеприятно ревизует весьегонский земский суд, останавливаясь в своей «записке», в частности, на производстве следственных и судебно-полицейских дел. «Обревизовав не только канцелярский порядок, но и подлинные дела земского суда, ревизующий имел случай убедиться, что для земского суда, а в особенонсти для земского исправника, нет ничего затруднительного арестовать человека или оставить на свободе, произвести следствие в том или ином смысле, то есть с обвинением или оправданием подсудимого, — все это дело ничем не оправдываемого и совершенно непозволительного произвола...» Салтыков описывает несколько случаев такой непростительной медлительности и произвольных действий. «Дело об опознанной в городе Устюжне у казенного крестьянина Григория Трошкова устюжским мещанином Макаровым лошади производится в высшей степени оригинально», — пишет Салтыков. Дело это началось еще в ноябре 1858 года в устюжском городническом правлении, затем оказалось в весьегонском земском суде, откуда было послано в казанскую городскую полицию, возвратившую его в Весьегонск, все в тот же земский суд. «Тогда земский суд решил: отослать дело в устюжское городническое правление, что и исполнил в январе 1860 года <!>, но городническое правление, рассуждая весьма правильно, что дело по месту совершения преступления и по жительству прикосновенных к делу лиц подлежит суждению весьегонских уездных судебных лиц, в том же январе возвратило его назад в земский суд. С января по сентябрь дело, как бы утомленное странствиями, лежало в земском суде без движения, но в сентябре последовало новое постановление суда отослать дело для дополнения в казанскую городскую полицию. Очень любопытно знать, как отзовется казанская полиция на этот новый присыл?» — спрашивает Салтыков уже в феврале 1861 года!

«Удивления достойно, как могут существовать люди при подобном управлении», — заключает Салтыков свою записку.

Салтыков-ревизор склонен считать виновником «подобного управления» весьегонского земского исправника, «который всем руководит. Чиновник этот положительным образом не может быть терпим на службе». (Он и был отстранен от службы, пока Салтыков оставался вице-губернатором!) Но выводы, к которым пришел Салтыков — вице-губернатор, не могли не обобщаться в художественном сознании Салтыкова-литератора, обогащенном опытом служебной деятельности, как некая общая закономерность, как «порядок вещей», господствующий не только в Весьегонском уезде.

Когда Салтыков заканчивал свою «записку» о ревизии уездных городов и все еще находился под впечатлением своей поездки, было обнародовано «Положение 19 февраля» (в Твери это произошло 6 марта). В чем же суть этого «Положения», подготовленного в процессе многолетних и многотрудных дебатов в Секретном и Главном комитетах по крестьянскому делу, в Редакционных комиссиях, в разных совещаниях и съездах дворян как в Петербурге, так и в губерниях?

В первых двух параграфах Введения к «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», устанавливалось, что «крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда». Таким образом, крестьяне становились лично свободными, «правоспособными».

Но как же решался в «Положении 19 февраля» главный вопрос — о земле и, пожалуй, не менее важный — об отношениях помещиков и крестьян после получения крестьянами личной свободы? В следующих параграфах это разъяснялось, и тут становилось ясно, что реформа в гораздо большей степени учитывала интересы помещиков, чем интересы крестьян. Помещики сохраняли право собственности на всю принадлежащую им землю (то есть, фактически, на всю землю, в том числе и ту, что находилась под крестьянскими наделами). Но при этом они должны были предоставить в постоянное пользование крестьян усадебную их оседлость и определенное количество полевой земли и других угодий — «для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиками». Крестьяне же за отведенный надел обязаны были отбывать в пользу помещиков повинности работою (то есть барщиной) или деньгами (то есть оброком). «Из сего» между помещиками и крестьянами

возникают обязательные поземельные отношения. Эти отношения определяются уставными грамотами, составление которых предоставлялось помещикам. Крестьяне имели право выкупа в собственность усадьбы, а также, с согласия помещиков, и полевых земель и других угодий, отведенных им в постоянное пользование. После выкупа обязательные поземельные отношения прекращались[1]. «Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют, по делам хозяйственным, сельские общества, а для ближайшего управления и суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волости заведование общественными делами предоставляется миру и его избранным». Так было создано крестьянское самоуправление. Однако: «Помещику, впредь, до прекращения обязательных к нему отношений крестьян, на его земле водворенных <то есть до того, как будет произведена выкупная операция>, предоставляется вотчинная полиция и попечительство над обществом сих крестьян». Помещик оставался полицеймейстером в своем имении по крайней мере на два года. Непосредственное проведение реформы в жизнь возлагалось «Положением» на мировых посредников, назначавшихся губернатором из числа дворян-помещиков данной губернии. Особое значение придавалось независимости мировых посредников — в их посреднической между помещиками и крестьянами деятельности — от местной административной власти, их подсудность только Сенату. Салтыков предлагает в статье «Об ответственности мировых посредников» устраивать

[1] «Стоимость полевого надела, включая и усадьбу, определялась суммой капитализированного из 6% установленного для данной местности оброка». В Московской губернии такая стоимость надела в четыре десятины составляла 166 рублей 66 копеек. «Вполне естественно, что крестьяне, за исключением единиц, не могли внести единовременно всей суммы капитализированного оброка. Помещики же были заинтересованы в получении выкупа сразу. В целях удовлетворения интересов помещиков правительство оказывало «содействие в приобретении крестьянами в собственность их полевых угодий», то есть организовало выкупную операцию. Сущность ее заключалась в том, что крестьяне получали выкупную ссуду, выдававшуюся единовременно помещику, которую крестьяне «обязаны были погашать в течение 49 лет по 6% ежегодно». Это погашение увеличивало для крестьян стоимость надела еще больше. Если средняя рыночная стоимость десятины земли в Ярославской губернии составляла 14 рублей 70 копеек, то в результате выкупной операции десятина обошлась бы вместе с уплатой процентов в 106 рублей (См.: Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. с. 138—141.)

периодические съезды всех посредников одной губернии — «но не только для взаимного обмена мыслей и разъяснения общим советом частных вопросов и недоразумений, возникших в той или другой местности, но и для представления подробного отчета о всех действиях каждого посредника по вверенному ему участку». С другой стороны, полагает Салтыков, не правильно было бы относиться к действиям административной власти как чистому произволу: ведь эти действия в настоящее время приобретают характер, отличный от дореформенного. В деловой статье появляется типичный щедринский образ: «Еще недавно некоторые администраторы действиями своими прообразовали полет, то есть летели все прямо и прямо; нынче этого недостаточно; нынче искусный администратор обязывается прежде всего сесть на крышу и там в уединении обдумать, как бы таким образом пролететь, чтоб и воробья не спугнуть; а спугнуть, так спугнуть дельно». Можно думать, что Салтыков в это время разделял мысль Н. Милютина, сказавшего однажды: «Никогда, никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд всего народа. Забота о них принадлежит правительству: ему и только ему одному принадлежит и всякий почин в каких бы то ни было реформах на благо страны».

В Москве и Петербурге царский манифест о крестьянском освобождении был прочитан в церквах 5 марта, в последний день масленицы («прощеное воскресение»). В следующие дни марта, в дни великого поста, манифест объявлялся по всей стране.

Крестьянская Русь встретила манифест о воле и «Положение 19 февраля» угрюмо, недоверчиво и тревожно. Манифест был составлен московским митрополитом Филаретом витиевато, высокопарно и маловразумительно, но мужик очень хорошо понял, что то, что ему было дано манифестом, далеко от его давних сокровенных чаяний. Очевидец вспоминал, как происходило чтение манифеста в одной из сельских церквей: «Перекрестившись, священник начал читать. Как только прочел он слова манифеста: «Добрые отношения помещиков к крестьянам ослабевали и открывали путь произволу...», народ зашумел... Исправник обратился к народу, тихо и протяжно произнес: «Тс!» Все разом умолкли. Священник прочел: «Самому дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве

быта крестьян...» Народ загудел опять. Исправник остановил опять. При словах: «...Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам за установленные повинности... усадебную оседлость...» — крестьяне зашумели опять. Исправник опять остановил их. Когда прочтено было: «Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в «Положении» повинности...», крестьяне, видимо, были огорчены и повесили головы. Один из стоявших впереди крестьян сказал вслух: «Да какая же это воля?» Но становой пристав дернул его за рукав, и он замолчал. Когда прочтено было: «Как новое устройство... не может быть произведено вдруг и потребуется для сего время, примерно не менее двух лет...», народ зашумел опять. А этот же крестьянин... сказал. «Да господа-то, в два-то года-то, все животы наши вымотают». Но порядок опять тотчас же был восстановлен. Священник прочел: «До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности...» Крестьяне зашумели не на шутку. Поднялся ропот и крик до того, что священник должен был остановиться чтением».

Малограмотный мужик с трудом вникал в многочисленные статьи и параграфы «Положения». Стоило крестьянам собраться лишь для того, чтобы истолковать ту или иную статью или параграф, помещикам мерещились бунт и неповиновение. Да и в самой угрюмости, недоверчивости или грубости «хамов», уже не желавших повиноваться беспрекословно, виделся бунт — и вызывались войска для усмирений и экзекуций. Напряжение в деревне, глухое или вдруг вспыхивавшее там и сям разной силы волнениями, росло.

Вице-губернатор в соответствии с установленным порядком не имел непосредственного отношения к проведению крестьянской реформы. Этим занимался губернатор и специально созданное Губернское по крестьянским делам присутствие, куда Салтыков желал и мог бы войти как тверской помещик, но по должности это ему не было позволено. Тем не менее он посещал заседания присутствия и не только был в курсе всех его дел, но и подавал свои мнения и протесты.

Поначалу Салтыков возлагал большие надежды на разумных и понимающих дело спокойно и трезво членов Губернского присутствия — в случае возникновения «недоразумений» при осуществлении реформы. Когда в апреле он писал статью «К крестьянскому делу», ему, конечно, было известно о жестоком подавлении массового выступления крестьян в Спасском уезде Казанской губернии, где крестьянин села Бездна Антон Петров стал толковать «Положение 19 февраля» так, как этого страстно желали крестьяне: немедленная воля, вся земля крестьянам, отказ от выполнения повинностей в пользу помещиков. По приговору военного суда Антон Петров был расстрелян, а десятки крестьян подвергнуты жестокой порке и сосланы. Салтыков считает не только возможным, но и вполне естественным неясное понимание неграмотными крестьянами, только что освободившимися от ненавистного крепостного рабства, «силы и значения законодательства, дающего права массе до сих пор бесправной». Вину за обострение отношений мужика и барина он возлагает на «общество наше», которое «в самом законном желании простолюдина уяснить себе известное требование или дело... уже видит заднюю мысль». «Обращаться в подобных случаях к содействию полицейских мер было бы не только несправедливо, но и нерасчетливо». Необходимо терпеливое разъяснение крестьянам их прав и обязанностей, вытекающих из «Положения 19 февраля». Однако Салтыков горько обманулся в своих иллюзорных надеждах на членов Губернских присутствий.

«Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо, — пишет он 11 мая 1861 года Е. И. Якушкину, который был членом Губернского по крестьянским делам присутствия в Ярославле. — Губернское присутствие <в Твери> очевидно впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях. Покуда я ездил в Ярославль, уже сделано два распоряжения о вызове войск для экзекуций. Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности <то есть оброке и барщине вместе>, а помещики, вместо того чтоб уступить духу времени, только и вопиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков. Я, со своей стороны, убеждаю, что военная экзекуция мало может оказать в таком деле помощи, но, как лицо постороннее занятиям присутствия, имею успех весьма ограниченный. Впрочем, я, со своей стороны, подал губернатору довольно энергический протест против распоряжений присутствия и надеюсь, что на днях мне придется слететь с места за это действие».

Самочувствие Салтыкова было отвратительным. Он глубоко страдал от своего бессилия изменить «полицейский» характер действий Губернского присутствия. Он рассорился со многими его членами, в особенности с «вождем» крепостнического большинства — управляющим палатой государственных имуществ В. Г. Коробьиным. Он приложил всю свою энергию и волю, но в этом сложном случае не смог использовать своего влияния на губернатора Баранова. «В настоящую минуту, — жаловался он 16 мая в письме П. В. Анненкову, — так гадко жить, как вы не можете себе представить. Тупоумие здешних властей по крестьянскому делу столь изумительно, что нельзя быть без отвращения свидетелем того, что делается».

«Крестьянское дело идет в Тверской губернии столь же плохо, как и в Ярославской, — вновь пишет Салтыков Е. И. Якушкину. — В течение мая месяца было шесть экзекуций; в одной выпороли 17 человек, в другой троих, в третьей двоих; в трех случаях солдатики постояли-постояли и ушли.... Гр. Баранов, очевидно, действует таким образом по слабости рассудка, им совершенно овладел Коробьин, который рассвирепел ужасно и с которым, вследствие сего, я перестал кланяться. Вам, быть может, покажется ребячеством с моей стороны подобная штука. но увы! Я и до сих пор не всегда умею скрывать свои чувства, особенно если это чувства омерзения. Свирепость Коробьина произошла оттого, что он получил известие, что в Михайловском уезде (Рязанской губ.), *где у него находится имение,* крестьяне ворвались в земский суд и стоптали исправника. Отсюда ярость, отсюда приурочение личной боязни к принципу общему. «Это они пробуют свои силы!» — вопиет Коробьин. — «Свои силы», бессознательно повторяет Баранов и вслед за этим краснеет. И, несмотря на свою стыдливость, посылает команды. Я пытался усовещевать его, подал даже формальную бумагу с доказательствами нелепости его действий; но и тут Коробьин подпакостил: «Пускай, говорит, волнуется, а вы идите себе своей дорогой; вас, говорит, за бездействие власти под суд отдадут». С тех пор Баранов встречается со мною и краснеет; краснеет и посылает команды».

Дальше в этом же письме Салтыков с возмущением рассказывает о подробностях «Арнаутовского погрома», то есть экзекуции в имении угличского уездного предводителя Арнаутова, где «после объявления воли» крестьяне отказались исправлять барщину и платить оброки. Имение Арнаутова соседствовало с ярославским имением Салтыковых Заозерьем. «Командир полка, бывшего на экзекуции, доносил начальнику дивизии (полк квартирует в Кашине), что один эскадрон еще оставлен в имении, с таким распоряжением: выводить людей каждый день на барщину и каждый же день резать по крестьянской корове на мясные порции. Дуббельт <флигель-адъютант, генерал-майор, присланный для подавления крестьянского бунта> перед отправлением в экспедицию был в Твери и говорил другу своему Баранову: «Я стрелять не стану, а только всех их кур и коров передушу». И Баранов ничего, даже не замахнулся на своего друга, даже не назвал его сукиным сыном». Михаил Евграфович Салтыков, конечно, сделал бы и то и другое: и замахнулся бы и сукиным сыном назвал!

Именно в эти тяжелые дни мая — июня 1861 года Салтыков принимает твердое решение «рассчитаться со службой», чтобы приобрести небольшое имение, где можно было бы заняться сельским хозяйством на новых основаниях «свободного труда», и, главное, чтобы писать и писать.

В газетных и журнальных статьях, написанных с апреля по октябрь 1861 года, под впечатлением всего увиденного и пережитого, он обобщает свои соображения о ходе «крестьянского дела» в продолжение первых послереформенных месяцев, о роли и месте в этом деле государства, дворянства и крестьянства.

В статье, написанной одновременно со вторым письмом к Якушкину, Салтыков вновь обращается к тому, что он называет «недоразумениями по крестьянскому делу» («Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу»). Представьте себе забитого и загнанного мелкого чиновника, какого-нибудь писца из Галерной гавани Петербурга, который вдруг получает известие о нежданно-негаданно свалившемся на него наследстве в миллион рублей. Вы, благоразумные люди, думаете, что ему следовало бы, так сказать, «тихо и добропорядочно совлечь с себя ветхого человека и кротко и не брыкаясь прокрасться в новую жизнь». Ан нет. Он первым делом нагрубит начальству и устроит дебош, что в его положении весьма естественно.

Не находятся ли в подобном положении наши крестьяне?

Конечно, многим хотелось бы, чтобы крестьяне при

вести об освобождении, надевши синие кафтаны и праздничные сарафаны, стали бы водить хороводы, а на другой день благоправно принялись бы за исполнение испокон веку привычных обязанностей. «Этим господам хотелось бы подменить человеческую природу и сделать из нее, хоть на время, хоть на два годочка, исключительное хранилище чувств благонравия и благодарности». Но ведь крестьяне, теперь уже свободные, не могут оставаться при выработанном веками бессловесном благонравии и не выражать недовольства необходимостью по-старому нести все те же повинности опостылевшему барину. Желание же «некоторых личностей» «остаться хоть на время на прежней крепостной почве» и порождает те «недоразумения», которые, по вине все тех же «личностей», принимают нередко форму «бунта». Салтыков остро и болезненно воспринимал злонамеренные обвинения мужика в «неблагодарности» и бунтовщических наклонностях (вспоминались слова Коробьина: «Это они пробуют силы»).

Руководствуясь тем своим пониманием реформы, ее значения для русского крестьянина и русского общества, которое постоянно двигало им во всем его поведении этого знаменательного года, Салтыков формулирует целую, по содержанию своему — идеальную (он, реальный политик, это несомненно понимает), но все же, как ему тогда представлялось, возможную, программу действий для мировых посредников и Губернских присутствий. Вероятно, эта программа находила выражение и в подаваемых Салтыковым формальных письменных и устных протестах губернатору и в тверском Губернском присутствии. «Чтоб действовать с успехом, для них <то есть мировых посредников и Губернских присутствий> необходимо с первого же раза приобрести свободное доверие крестьян, а им указывают на угрозу, на страх наказания, забывая при этом, что окончательная и истинно разумная цель преобразования быта сельских сословий заключается не только в улучшении материальных условий этого быта, но преимущественно в *нравственном перевоспитании народа»,* то есть в освобождении его от рабской морали, в воспитании в бывшем «холопе» и «хаме» свободной личности, сознающей свое человеческое достоинство. И именно поэтому «в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их».

«Средство к такому сближению одно. Оно представляется в том, чтобы помещик стал сам членом того сельского общества и той волости, в районе которых находится его поместье». Это давняя мечта Салтыкова, высказанная еще в записке о земской полиции — всесословной и выборной. Теперь же, когда новым законодательством установлена крестьянская волость, она может, она должна стать волостью всесословной. Помещик — уже не как помещик, а как равноправный член общины — принимает участие во всех ее делах, платит наравне с мужиком в зависимости от количества земли, подати и налоги, несет государственные и земские повинности. Подлинная сила государства лежит все-таки в земстве, но земстве не дворянско-помещичьем, а всесословном — в основе своей — мужицком. Итак, истинные интересы дворянства состоят в том, чтобы перестать быть дворянством!

Вскоре развернувшиеся в Твери события и время вынесли оценку и приговор салтыковской идее «сближения сословий».

Да и собственно художественное, а не чисто публицистическое творчество Салтыкова в конечном счете открывало истинный смысл его теоретических формул, не совсем совпадающий с прямым их толкованием.

Вятка явилась в «Губернских очерках» и некоторых других рассказах и очерках конца пятидесятых годов под псевдонимом Крутогорска. Конечно, Крутогорск не тождествен Вятке. Панорама Вятки ширится. Крутогорск объемлет особенности, присущие и другим губернским и уездным «муниципиям». Генерал Зубатов появляется поначалу в окружении крутогорских обывателей, и чиновником особых поручений служит у него Николай Иванович Щедрин. Но Зубатов действует уже на более обширной художественно-сатирической арене, олицетворяя администратора «прошлых времен», вынужденного «приютиться» к временам новым, на арене уже не города Крутогорска, а города Глупова.

Город Глупов формируется в воображении Салтыкова как раз тогда, когда, обогащенный опытом и Вятки, и Рязани, и Твери, возвращается он после ревизии уездных городов северо-восточного угла Тверской губернии. Что могло быть характернее, ярче и осязательнее — именно в глуповском смысле — мелочного, призрачного, какого-то болезненно-прискорбного бытия этих городов — с грязными торговыми площадями, рушившимися пожарными сараями, нетрезвыми чиновниками, становыми,

изумляющими своей неестественной расторопностью ревизующее начальство, и нерасторопными земскими судьями, у которых «в утомлении» месяцами без всякого движения лежали дела, с земскими исправниками-самоуправцами.

В конце 1860 года Салтыков пишет очерк «Литераторы-обыватели» (напечатан в «Современнике» в феврале 1861-го). Система многочисленных иносказаний и «эзоповских» образов, уже наметившаяся в таких, например, предшествующих очерках, как «Скрежет зубовный», в новом очерке, в «Литераторах-обывателях», чрезвычайно усложняется. Собственно, главная тема очерка — либеральное обличительство — «устность и гласность» — его смысл, характер и судьбы — то самое «обличительство», которое, с легкой руки Н. И. Щедрина, широким потоком разлилось по журнальным и газетным страницам от столиц до губерний. «Голоса», «заметки», «впечатления» всяческих «проезжих», «прохожих», «наблюдателей» и т. п. заполонили эти страницы. Но сам Николай Иванович Щедрин (Салтыков) насмешливо следит за либеральными потугами провинциальных корреспондентов-обличителей, за эпидемией «скрежета зубовного» и «либерального терроризма», все больше скатывающегося в болото мелочей, частностей, пустословия и болтливости. Он дает волю своей ядовитой иронии, обличая «обличителей», занимающихся мелочным «анализированием отечественных нечистот».

Впервые город Глупов — один из самых значительных и великих образов щедринской сатиры — скромно появляется среди тех многочисленных городов и городишек, скверную и дырявую изнанку которых выворачивают провинциальные корреспонденты. Из очередного нумера «Московских ведомостей»[1] узнает автор «Литераторов-обывателей», что «у нас, в городе Глупове, городничий совсем от рук отбился; на главной площади лежит кучами навоз; по улицам ходят стаями собаки» и т. д. и т. п. И далее рассказывается история, которая произошла в городе Глупове с местным корреспондентом-обличителем. Невероятный переполох, «ужасное, потрясающее действие» произвела в городе обличительная статья, направленная против глуповского градоначальника. Корреспондент — им оказался учитель местного уездного училища Корытников, скрывшийся под псевдонимом

[1] Сатирическая стрела в адрес этой газеты — в то время органа либерального обличительства.

«Туземец», — «обличал» городничего в том, что тот последним явился на пожар, когда горели холостые постройки при доме мещанки Залупаевой, и вместо того, чтобы командовать пожарными, играл в карты... И что же? Шустрый публицист, будучи «пропущен сквозь строй жизненных обстоятельств» — всяческих мелких, но изнуряющих преследований, — был в конце концов переведен из города Глупова в город Дурацкое Городище, а незадачливый градоначальник, по-видимому, продолжал заниматься карточной игрой. «К чести Корытникова, — замечает автор, — я должен сказать, что несправедливость судеб отнюдь не заставила его упасть духом и понурить голову. Проникнутый убеждением в святости своего гражданского назначения, он с легким сердцем отправился в Дурацкое Городище, твердо уверенный, что и там найдется мещанка Залупаева, и там найдется градоначальник, не брегущий о благосостоянии и здравии пасомого им стада».

«Мещанка Залупаева» вырастает в символ всех глуповских неурядиц и неустройств. «Увы! мир кишит Залупаевыми! Они ходят по белому свету и с бородами, и без бород, и в паневах, и в зипунах, и о двух ногах, и о четырех!.. А городничие, поклоняющиеся мамоне?.. Ужели иссякнет родник их?» Итак, всякое сомнение в неиссякаемости Залупаевых устраняется. И даже если вы живете далеко от Глупова или Дурацкого Городища — «ваш родной Глупов всегда находится при вас, и никуда не уйти вам от Дурацкого Городища». О Глупов! ты везде, ты в нас, ты вокруг нас! «Возможно ли, естественно ли при такой обстановке не сделаться публицистом» — обличителем «зол действительных, невымышленных, зол, которых жало преимущественно обращено против бедного и беспомощного».

Недаром по ходу изложения возникает тема преемственности мыслей и стремлений. Здесь лежит смысловой, идейный центр очерка «Литераторы-обыватели».

«Сосредоточившись в самих себе и размышляя о вещах мира сего, вы невольным образом переноситесь мыслью к временам вашей юности, к тем золотым временам, когда с кафедры к вам обращалась живая речь, если не самого Грановского, то одного из учеников его, вызывая к деятельности благороднейшие инстинкты души, когда с иной, более обширной кафедры, лилось к вам полное страсти слово Белинского, волнуя и утешая вас, и наполняя сердца ваши скорбью и негодованием,

и вместе с тем указывая цель для ваших стремлений! Будем же верны добру и истине! будем верны памяти наставников наших! — восклицаете вы, и бодро выступаете вперед на честный бой с лицемерием, равнодушием и неправдою!

Да, замечательное было это время. То было время, когда слово служило не естественною формой для выражения человеческой мысли, а как бы покровом, сквозь который неполно и слабо намеками светились очертания этой мысли; и чем хитрее, чем запутаннее сплетён был этот покров, тем скорбнее, тем нетерпеливее трепетала под ним полная мощи мысль и тем горячее отдавалось ее эхо в молодых душах читателей и слушателей! То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу раз вынуждена была окунуться в помойных ямах житейского базара, чтоб выстрадать себе право хотя однажды, хотя на мгновение засиять над миром лучом надежды, лучом грядущего обновления! И чем тяжелее был гнет действительности, тем сильнее крепла в сердцах бодрых служителей истины вера в будущее, вера в человечность! И стало быть, крепки были эти люди, если и при такой обстановке они не изолгались, не измелочнились, не сделались отступниками».

Конечно, о дорогой Корытников, о глуповский литератор-обыватель, ты искренен; но при этом ты не замечаешь, что кругом тебя народился целый новый мир, явились новые интересы, сложились новые отношения. Ведь «в устах твоих наставников отвлеченные интересы человечества служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной деятельности». Ты же перенял от учителей только фразу, и потому, высокопарно и с адским самоуслаждением, рассуждая о человечестве, ты на самом-то деле мелочишься, ты фаталистически обречен копаться в навозных кучах своего родного Глупова. «И выходит тут нечто нелепое: Глупов и человечество, судья Лапушников — и вечные законы правды...» Что же касается реальной деятельности, которой жаждали учителя и наставники твои, то мысль о ней тебе и в голову не приходит. Ты поешь, потому что мнишь себя, хотя и без всякого на то основания, преемником великих учителей. Ты не можешь не петь и потому, что наступила воскищающая и услаждающая тебя весна устности и гласности, как поют по весне соловьи, чирикают воробьи, но ведь они поют и чирикают свои собственные песни.

Таковы глуповские литераторы-обыватели. А что же сам Глупов?

Первоначальному воссозданию его образа посвящен специальный очерк «Клевета», написанный летом — осенью 1861 года и напечатанный в октябрьской за этот год книжке «Современника». Здесь уже Глупов — не какой-нибудь, пусть и обобщенный в сатирическом смысле образ провинциального российского города, а символ, представительствующий целое общественно-политическое явление. Сатирическое ожесточение, направленное на это явление, приобретает особую силу и остроту. Эзоповский, иносказательный язык продолжает усложняться, «инословия» требуют вдумчивой и соответственной расшифровки.

«...Глупов возрождается, украшается и совершенствуется... Он не имел никаких понятий — явились понятия; он не имел страстей — явились страсти. Глупов задран за живое». Что же это за возрождение, что за понятия, что за страсти?

Глупов видится сатирику как некий горшок, в котором обитатели его, глуповцы, жили доселе спокойно и «унавоживали дно его». «Когда-то какая-то рука бросила им в горшок кусок черного хлеба, и этого было достаточно для удовлетворения их неприхотливых потреб. Постепенно этот кусок сделался истинным палладиумом глуповского миросозерцания, глуповских надежд и глуповского величия. В нем одном находили для себя глуповцы источник жизни и силы; он один имел привилегию пробуждать от сна и вызывать к деятельности этих зодчих праздности, этих титанов тунеядства и чревоугодничества. Они суетились, бегали и ползали; они плевали друг другу в глаза и в нос, и в рот (и тут же наскоро обтирались); они толкались и подставляли друг другу ногу... и все из-за того, чтоб стать поближе к лакомому куску, чтоб вырвать из него зубами как можно больше утучняющего вещества.

Настало другое время; явилась другая рука. Стало казаться странным, что божий дар обгаживается самым непозволительным образом; возникли опасения, что при дальнейшем обгаживании божий дар может окончательно утратить свой первобытный образ; почувствовалась необходимость, чтоб та же рука, которая бросила приваду

в горшок, взяла на себя труд и вынуть ее оттуда. Рука явилась и ошпарила глуповцев.

Понятно, что после этого Глупову невозможно не развиваться и не стремиться к совершенству. Он и рад бы снова юркнуть в горшок, но видит. что кипятку еще предостаточно, и потому сгрубить не осмеливается».

В чем же смысл этого уже типично щедринского предельно ожесточенного, прямо-таки ненавидящего иносказания?

Продолжая свой глубоко принципиальный спор с идеологами дворянского сословия, возвышавшими его политическую и культурную роль в истории России и в современном «возрождении», — спор о том, где же «истинные интересы дворянства», — Салтыков полемически и сатирически представляет дворянство в виде обитателей горшка — глуповцев, некогда получивших (и получавших) привилегии и «куски» от самодержавной власти («когда-то какая-то рука»). Этот брошенный какой-то рукой кусок — крепостное право; оно и есть «палладиум», фундамент, основа глуповского миросозерцания, надежд и величия, в нем суть, смысл и содержание деяний и бытия глуповцев. Из этого «лакомого куска», из неиссякающей крестьянской спины вырывали они, титаны тунеядства и чревоугодничества, как можно больше «утучняющего вещества». Но вот явилась «другая рука» (то есть все то же самодержавие, но в другое время и в других обстоятельствах), которая «ошпарила» глуповцев; лишила их главной привилегии — власти над крепостным крестьянином. «Возрождение», таким образом, не является следствием внутреннего, естественного развития Глупова: оно пришло в Глупов со стороны, извне и «ошпарило» его.

Этому «ошпариванию» «не непричастен» Шалимов — олицетворение передового деятеля эпохи реформ, представителя «действительного либерализма». Шалимов — принцип, подрывающий основы глуповства. Это прежде всего сам Салтыков (и близкие ему в Твери деятели «тверского либерализма» — Унковский, Европеус). О себе, конечно, пишет Салтыков: «Я достаточно наблюдал за нравами глуповцев», будучи «горькой силой неизбежной судьбы» акклиматизирован среди них. «Положим даже, — предполагает Салтыков, — что вы <то есть Шалимовы> до такой степени акклиматизировались. что ничем особенным и не отличаетесь от глуповцев; что у вас, как и у них, два желудка и только половина головы; положим, что вы, в довершение всего, играете в карты и не презираете водку. По-видимому, тут есть все, чтоб обворожить глуповцев, чтоб приобрести между ними популярность и снискать их доверие. Однако нет. У глуповца имеется своего рода чутье; он нюхает день, нюхает два, и наконец поднюхивает в вас нечто несродное Глупову. И с этой поры он вас ненавидит, хотя и продолжает целовать ваши руки... С этих пор он считает себя вправе взнести на вас всякую мерзость из того богатого запаса мерзостей, который хранится в его душе». Вообще глуповцы ненавидят всякого, кто сумел заблаговременно выползти из горшка и оказаться вне его. Тут и выступают на сцену исконные глуповские приемы, и главный среди них — клевета; клевета, пущенная из-за угла, клевета анонимная. Но клевета на этот раз — не просто забава, бесценное препровождение времени; она принимает уже не низменно-плотский, как раньше, до ошпаривания, характер, а «делается клеветою злостною, клеветою, имеющею, черт побери, политический оттенок». Глупов распускает про своего заклятого врага Шалимова клеветнические слухи, будто он взяточник, будто его побили, будто он подкуплен и т. п. В сущности, и обвинения-то эти — чисто глуповские: глуповец бранится своим же собственным именем. Глуповское возрождение выражается по преимуществу в ненависти к самому возрождению-ошпариванию и к ошпаривателям, которые, так сказать, на виду (тайная ненависть не мешает глуповцам целовать руку Шалимовым, пока они сила). Вот какие «новые» понятия и страсти обуревают Глупов.

А Шалимов действительно сила, хотя глуповцы его ненавидят, а массы к нему равнодушны. Сила его в том, что он олицетворяет ветры, которые, прилетая из Умнова, освежают глуповскую атмосферу. Сила его в том, что он несет с собой очищающее обновление нравственного мира глуповца. Салтыков все-таки верит, что Глупов не безнадежен, ибо «и в самых растленных обществах имеется своего рода стыдливость». Правда, «эмбрион стыдливости» в Глупове слаб, завален постыдным глуповским миросозерцанием. Но меняется атмосфера, меняются обстоятельства, и умновские ветры освежают тлетворный глуповский воздух. Салтыков, как и Шалимов, скорбит, но надеется, надеется на благословенный Умнов, на веющие оттуда свежие ветры. Но где же ты, Умнов?

Вернувшись из Петербурга, где он виделся с Добролюбовым и где держал в руках книжку «Современника»

со своей «Клеветой», вновь приступивши к исполнению обязанностей тверского вице-губернатора, Салтыков узнал вскоре о смерти столь еще молодого критика и публициста «Современника». «Смерть Добролюбова, — пишет он 3 декабря П. В. Анненкову, — меня потрясла до глубины души, хотя, видев его в начале ноября, я и ожидал этого известия. Да, это истинная правда, что жить трудно, почти невозможно. Бывают же такие эпохи». И тут, *по сложной, но неизбежной ассоциации*, вспоминает Салтыков свою только что напечатанную сатиру: «Моя «Клевета» взбудоражила все тверское общество и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня <собственно, о такой ненависти к Шалимову, подрывавшему самый «принцип» глуповского миросозерцания, и писал Салтыков в своей сатире>. Заметьте, что я не имел в виду Твери, но Глупов все-таки успел поднюхать себя в статье <тверской Глупов, но «поднюхивал себя» в статье Салтыкова и Глупов рязанский, и Глупов нижегородский; и вели себя тверские глуповцы именно так, как вели себя глуповцы в статье>. Рылокошения и спиноотворачивания во всем ходу. То есть не то чтобы настоящие спиноотворачивания, а те, которые искони господствовали в лакейских. Шушукают и хихикают, пока барина нет, а вошел барин — вдруг молчание, все смешались и глупо краснеют: мы, дескать, только что сию минуту тебя обглаживали». Салтыков воистину «достаточно наблюдал за нравами глуповцев»!

В написанном сразу же вслед за «Клеветой» и напечатанном в ноябрьской книжке «Современника» очерке «Наши глуповские дела» Салтыков продолжает — более обстоятельно и углубленно — развивать тему «глуповского возрождения». Уже в «Клевете» Салтыков установил, что собственно никакого возрождения глуповцы не желают, а желают лишь одного — спокойно и безмятежно «унавоживать» дно своего «горшка», но перечить «ошпаривающему» начальству не смеют.

В «Клевете» Глупов определен совершенно однозначно в социальном смысле — это крепостническое поместное дворянство (кстати, на протяжении всего очерка Глупов лишь однажды назван городом). Очерк «Наши глуповские дела» открывается почти лирическим описанием именно города. Но лирика очень скоро уступает место иронии: «В Глуповице, как в неподкупном зеркале, отражается вся жизнь города... Глупов и река его — это два близнеца, во взаимной нераздельности которых есть

нечто трогательное, умиляющее». Сладко спится глуповцам под расслабляющий гул весенних волн широко разлившейся Большой Глуповицы, под журчанье летних ее струй. «Осенью Глуповица надувается и как будто проявляет желание подурить. Я охотно хожу тогда посмотреть на реку; все мне кажется, что она сбирается какую-то неслыханную дебошь сделать. Но ожидание мое напрасно. Тщетно вглядываюсь я в колышащуюся пучину вод, тщетно жду: вот-вот разверзнется эта пучина, и из зияющей пропасти встанет чудище рыба-кит! Вместо того я слышу только, как шлепают волны об берега, как они разлетаются в брызгах, и опять шлепаются, и опять разлетаются... Под звуки этого шлепанья славно спится глуповцам».

Тишина, неподвижность, сон... Какое еще там возрождение! Где же ты, чудище рыба-кит, которая выплывет из пучины вод и разбудит глуповцев?

У Глупова нет истории. Какая же может быть история у сонного царства? (Правда, старожилы рассказывали, что «была какая-то история и хранилась она в соборной колокольне, но впоследствии не то крысами съедена, не то в пожар сгорела».) Однако достоверно известно, что у Глупова были губернаторы, о которых любят глуповцы потолковать на досуге: «Были губернаторы добрые, были и злецы; только глупых не было — потому что начальники!» Был Селезнев губернатор, все три года своего губернаторства проспавший, уткнувшись носом в подушку. Был губернатор Воинов, который в полгода чуть вверх дном Глупова не поставил. Рассказывают о губернаторе рыжем, губернаторе сивом, губернаторе карем, губернаторе, красившем голсса... «В то счастливое время, когда я *процветал в Глупове*, губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым. Соберется, бывало, губернский синклит этот да учнет о судьбах глуповских толковать — даже мухи мрут от речей их, таково оно тошно!»

Соответственно такому управлению было и глуповское общество — общество «хороших людей доброго старого времени», отличавшихся во всех своих поступках каким-то добродушием, «атласистостью сердечною». «Хороший человек» не имел больших сведений по части наук, зато привычки имел патриархальные, не затруднялся выпо-

роть «вплотную» какого-нибудь Фильку, а «взятых им в полон» крепостных девиц называл «канарейками».

Все эти хорошие люди и суть обитатели того самого горшка, о котором разъяснено было в «Клевете». Но, сверх того, они были глуповцами, так сказать, отборными, всплывшими на поверхность родного горшка. «О том, что происходило там, в глубине горшка, мы не тужили; мы знали, что там живут Иванушки...»

Тут Салтыков как бы останавливается в некоторой, вдруг охватившей его растерянности и замечает в скобках: «Иванушки, да еще глуповские — поди, раскуси такую штуку!» В самом деле, значит, в глуповском горшке варятся и Иванушки? Кто же они такие — эти глуповские Иванушки? На этот недоуменный вопрос пока нет ответа.

«Затем жизнь наша была постоянным праздником: мы пили, ели, спали, играли в карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной Бабе Яге, припевали: «Покатаюся, поваляюся на Иванушкиных косточках, Иванушкина мяса поевши!»

Таков «социальный» разрез глуповского горшка до ошпаривания, то бишь возрождения.

Так заканчивается первая часть очерка, отделенная от второй его части многозначительною строкою точек.

Вторая же начинается восклицанием, так сказать, от лица «хороших людей: «И ведь нужно было, при такой-то жизни, какому-то, прости господи, кобелю борзому, заговорить о возрождении!» И заговорил и принудил Глупов вступить в эпоху возрождения.

Салтыков вновь вдумывается в глуповскую историю, в тот поворот, который она совершает в эту «ошпарившую» глуповцев эпоху, и не видит ничего, кроме бессмысленных «шараханий», движений чисто физических. Его размышления, его выводы полны трагического пессимизма.

«Как ни пристально вглядывался я в причины, ход и последствия этих чисто физических движений, как ни жадно доискивалась душа моя во мраке глуповской жизни, в преисподних глуповского созерцания того примиряющего звена, которое в истории является посредником между прошедшим и будущим, — тщетны были мои усилия! «Испуг!» — говорили мне отекшие, бесстрастные лица моих сограждан; «испуг!» — говорили мне их нескладные, отрывистые речи; «испуг!» — говорило мне их торопливое, не осмысленное сознанием стремление сбиться в кучу, чтоб поваднее было шарахаться... Испуг, испуг и испуг!.. И вдруг я понял и прошлое, и настоящее моего родного города... Господи! мне кажется, что я понял даже его будущее!» — почти с ужасом и отчаянием восклицает Салтыков.

И вновь приходят в голову Иванушки. Рассказывается притча о старом воронке́, который всегда ходил на пристяжке, а тут его велено втиснуть в оглобли. «Я сам видел, как выводили воронка из конюшни, как его исподволь подводили к оглоблям, как держали его под уздцы, все в чаянии, что во̀т-вот он брыкнет». Но не брыкнул старый воронко, «не изменил обычаям праотцев», «не исказил одним махом задних копыт истории Глупова»! Иванушка-то тоже оказался глуповцем!

Но старый «хороший человек» несомненно умирает. Кто же займет его место? Ведь «место старых глуповцев не могло быть не занято уже по тому одному, что «место свято пусто не будет», а наконец и потому, что «было бы болото, а черти будут». Вместо старых «хороших» людей должны были явиться новые «хорошие» люди — и они явились». Новое болото родило новых чертей.

Новоглуповец внешне — прямая противоположность староглуповцу. Прежде всего — он не патриот города Глупова, он привязан к Глупову «горькою необходимостью возрождения», а сам прибыл из Петербурга. Глупов для него — местопребывание каких-то диких существ, над которыми ему в целях «ошпаривающего» возрождения «предоставлено провидением делать какие угодно операции». Новоглуповец-бюрократ, проводник правительственной политики, «сорванец исполнительности». Салтыков все определеннее теряет надежды на какое-либо обновление, исходящее от петербургских «ошпаривателей». У новоглуповца все тот же присущий Глупову air fixe, тот же неистребимый запах, заключающийся в глуповском миросозерцании, «а истинное глуповское миросозерцание состоит в отсутствии всякого миросозерцания». Новоглуповец не принес с собою никакого нового нравственного элемента, никакой идеи, он пробавляется «отчасти слухами, долетающими из Умнова, отчасти присылаемыми оттуда же новейшими диалогами», в его устах имеющими «лишь смысл междометий, произносимых оконечностями языка, без всякого участия мыслящей силы». Салтыков убежден, что новоглуповец — это последний из глуповцев. Выражением этого убеждения он и заканчивает очерк «Наши глуповские дела».

А это значит, что у Глупова все же есть надежда стать Умновым, есть надежда иметь историю.

В октябре — ноябре Салтыков пишет четвертый очерк из складывавшегося глуповского цикла (напечатан в февральской книжке «Современника» за 1862 год) «К читателю». «Глуповская» тема все расширяется, втягивая в свою орбиту множество проблем, волновавших в последние месяцы 1861 года Салтыкова.

Как сказано было в «Наших глуповских делах», у глуповца нет миросозерцания, он никогда не задумывался об убеждениях. С этой темы начинает Салтыков очерк «К читателю»: «Еще не так давно (а может быть, и совсем не «давно») мы не только с снисходительностью, но даже с равнодушием взирали на гражданские и нравственные убеждения людей, с которыми нам приходилось идти бок о бок в нашем обществе». Убеждения представлялись чем-то посторонним, внешним, каким-то кодексом вековой мудрости, а не результатом жизненной работы каждого. «Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее». Стоило послать ее в темный архив, где хранился этот кодекс, чтобы незамедлительно найти условную мерку для оценки явлений и поступков. Так, например, в соответствии с дворянским кодексом «дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и т. п., и не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку Аришку на борзого щенка...». Это были убеждения затылка, убеждения брюшной полости, но отнюдь не убеждения мысли.

Салтыков, естественно, вспоминает здесь о «безвестном, но крепко сплоченном меньшинстве людей мыслящих», людей глубоких и выстраданных убеждений, о немногочисленных кружках, освещавших своим существованием самые мрачные эпохи российской истории (разумея, конечно, кружки Н. В. Станкевича, Герцена, Белинского, Петрашевского, Вл. Милютина). Но даже в этих кружках «существовала какая-то патриархальная снисходительность в суждениях о лицах, стоящих вне жизни и условий кружка и пользующихся каким-нибудь значением на поприще общественной деятельности». Эта горькая ошибка отнимала «у наших убеждений ту бесповоротную крепость и силу, без которой немыслимо никакое деятельное влияние на общество». Приходилось «признавать за добро то, что в сущности представляет собой лишь меньшую сумму зла». Но как же тут быть? Как выйти из заколдованного круга, из тягостного противоречия? Салтыков пытается разобраться в возможностях и условиях «реальной деятельности» в глуповском мире для Шалимовых, людей убеждения, представителей строгого и нравственного меньшинства, людей, мечтавших об Умнове.

Салтыков называет свои убеждения и свое дело действительным либерализмом, резко отделяя его от либерализма, «не уходящего вглубь далее оконечностей языка». Следует опознаться в многоразличии убеждений, решительно отделить свои убеждения от либеральной лжи и пустозвонства, граничащих с равнодушием и апатией старого Глупова. Следует довести мысль до страстности, до героизма. И только такая мысль может породить героизм и в действиях.

Но дойдя до такого заключения, Салтыков вдруг ощущает, что сердце его поражено смущением. Вновь и вновь возникает неразрешимое противоречие, заколдованный круг замыкается. В самом деле, «мы будем, мы обязаны действовать», но «где же, в какой среде будем мы проводить нашу мысль?». Памятуешь ли ты, о глуповский реформатор, «что арена твоей деятельности не в пространстве и времени, а все в том же милом Глупове... что ты никогда и никуда не уйдешь от Глупова, что он будет преследовать тебя по пятам, доколе не загонит в земные пропасти, что он до тех пор будет всасываться тебе в кровь, покуда не доведет ее до разложения?»

Но ведь «не все же глуповское общество предано умственному распутству», «и в этом обществе, вероятно, найдутся элементы свежие, не подкупленные прошедшим, которых явная выгода будет заключаться в том, чтоб внять твоему голосу и поддержать его».

Два сорта есть глуповцев: глуповцы старшие и глуповцы меньшие, известные под общим названием «Иванушек».

Что касается первых, то это «народ отпетый». Салтыков достаточно обстоятельно и саркастически представил их как «ошпаренных» обитателей «горшка», не желавших ничего, кроме унавоживания дна этого горшка. К ним принадлежат как старо-, так новоглуповцы, да к ним же принадлежат и соловьи-либералы, распутствующие оконечностями языка.

Но оказывается, что существуют и глуповские Иванушки, и в таком своем глуповском качестве они тоже могут стать предметом сатиры. Ирония, скепсис, почти отчаяние звучат в словах Салтыкова об Иванушках, из-

вечно «повинных» работе и нравственному оглушению.

«Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, а будущее сулит только чищение сапогов и ношение подносов...

Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокоились, — с горечью констатирует Салтыков. — Они не смотрят ни вверх, ни по сторонам, а все в землю и в землю... И знаешь ли что? я полагаю, что они даже очень рады тому, что у них выработалась под ногами такая солидная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они не только освобождаются от тех бесчисленных и горьких тревог, исход которых если не совсем безнадежен, то, во всяком случае, крайне сомнителен, но вместе с тем приобретают для себя всегда готовую и даже весьма приличную отговорку.

Спроси у глуповца: отчего ты не развит, груб и невежествен? Он ответит тебе: а оттого, что тятька и мамка смолоду мало секли. Спроси еще: отчего ты имеешь лишь слабое понятие о человеческом достоинстве? отчего так охотно лезешь целовать в плечико добрых благодетелей? и пр. и пр. Он ответит: а вот у нас Сила Терентьич есть — так тот онамеднись, как его выстегали, еще в ноги поклонился, в благодарность за науку!»

Историческая почва — это, конечно, плод крепостной неволи, исторического социального строя.

Впрочем, «наш Иванушка вряд ли даже сознает, что под ним есть какая-то историческая почва. Мне кажется, что он просто-напросто носит эту почву с собой, как часть своего собственного существа...», как нечто такое, что препятствует его человеческому пробуждению.

По этому поводу Салтыков рассказывает «глуповский анекдот», один случай, свидетелем которого ему, несомненно, пришлось стать самому. Однажды в весенний базарный день на берегу реки, усыпанной народом, была устроена паромная переправа. На реке скопилось много барок и лодок, но начальство запретило им пересекать паромный ход, пока не свалит народ. Однако одна лодка, к своему несчастью обладавшая способностью анализа, решила все-таки, что покуда паром нагружается, ничто не мешает многим лодкам очутиться по другую сторону

паромного хода, что ею и было выполнено. Начальство, естественно, подняло гвалт и «откомандировало своего дантиста <гоголевское словечко, означающее полицейского-«зубодробителя»> для преследования и наказания ослушника». Дело, конечно, не в самом этом факте, а в его внутреннем смысле, «высказавшемся как в положении, принятом преследуемым, так и в отношении к нему толпы, теснившейся на пароме.

Преследуемый, как только завидел дантиста, не пустился наутек, как можно было бы ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности.

А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! хорошень его! неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» — вторила она мерному хлопанью кулаков».

«Вот тебе младший наш Глупов, наш Иванушка!»

Итак, нет в Глупове таких элементов, на которые могли бы опереться в своей «реальной деятельности» люди убеждения, люди «действительного либерализма». И сатира завершается поразительными по силе смеха-плача страницами хвалы Глупову, страницами, проникнутыми ядовитейшей и мучительной иронией, за которой слышатся еле сдерживаемые рыдания.

Когда Салтыков писал о «действительном либерализме», он, возможно, имел в виду оппозиционное движение в Твери, либеральное по своему содержанию, но весьма радикальное по предложениям и выводам. Взлет этого движения пришелся как раз на конец 1861-го — начало 1862 годов, то есть то время, когда завершались глуповские очерки.

«В середине декабря 1861 года в Твери состоялось собрание (съезд) членов мировых учреждений губернии. Салтыков исправлял в это время <с 10 ноября 1861-го по 11 января 1862 года> должность губернатора — значит, административно и политически нес свою долю ответственности за это событие в местной жизни, получившее сразу же громкий резонанс во всей стране. Здесь следует вспомнить, что самая мысль об «устройстве периодических съездов всех посредников одной губернии

в губернском городе» была впервые публично высказана и аргументирована не кем иным, как Салтыковым в его апрельской за 1861 год статье «Об ответственности мировых посредников»... Идея съезда возникла среди группы тверских дворян, «решивших под инициативным и организующим воздействием лидеров либерального крыла — Унковского, Европеуса и других — возвысить голос общественного протеста против усиливавшегося реакционного натиска крепостнического помещичества» (С. А. Макашин). Об этом свидетельствует поданное губернскому предводителю дворянства где-то в конце октября или начале ноября коллективное письмо восьмидесяти двух тверских дворян-«прогрессистов», подписанное среди других и Салтыковым (его подпись стояла на втором месте). Программа этой группы была сформулирована следующим образом: «Мы утверждаем, что задача действующих по крестьянскому делу учреждений состоит главным образом в том, чтобы развитием самостоятельности и сознания права в крестьянах положить прочное основание нашему соединению со всеми сословиями в ту плотную, однородную массу, для которой есть будущее. Имея в виду эту главную цель, мы не находим, чтобы сохранение исключительных сословных привилегий и преимуществ составляло для нас жизненный вопрос». В сущности говоря, такой же была и программа Салтыкова, изложенная им в статьях 1861 года по крестьянскому вопросу и, в особенности, в статье «Где истинные интересы дворянства?».

Эти идеи были развиты тверским Чрезвычайным дворянским собранием, состоявшимся 1—3 февраля 1862 года, на заседаниях которого Салтыков присутствовал, хотя был в это время в отпуске и подал уже (20 января) прошение об отставке. Собрание «высказалось за изменение финансовой системы управления в том смысле, чтобы «оно зависело от народа, а не от произвола», за учреждение независимого и гласного суда, за введение полной гласности во все отрасли управления, за уничтожение всех сословных привилегий дворянства и за слияние сословий. Исходя из убеждения, что само правительство не в состоянии осуществить эти реформы и что новые учреждения «могут выйти только из самого народа», Собрание заявляло: «Посему дворянство не обращается к правительству с просьбой о совершении этих реформ, но признавая его несостоятельность в этом деле, ограничивается указанием того пути, на который оно должно

вступить для спасения себя и общества. Этот путь есть собрание выборных от всего народа без различия сословий» (С. А. Макашин).

Салтыков давно уже решил уйти в отставку, потому что реальности государственной службы все больше приходили в явное несоответствие с его коренными убеждениями. Это несоответствие выразилось и в подаче им протестов на решения Губернских присутствий по крестьянскому делу (за что, как он полагал, ему предстояло слететь с должности) и в его высказываниях в серии очерков о Глупове относительно места и роли «человека убеждений» в «глуповском» царстве и в «глуповском» возрождении. Вице-губернаторство мешало и формально и по существу его литературной деятельности, которая все определеннее и определеннее становилась деятельностью сатирика, разрушающего самые основы той системы, которой служил.

13 января Салтыков получил четырехмесячный отпуск и отправился в Петербург. Вероятно, сразу же после отпуска он собирался подать в отставку. Однако «времена созрели». Развязка наступила быстрее, чем он ожидал и рассчитывал. Правительству, конечно, стало известно о причастности Салтыкова к акциям тверских либералов. Такой — оппозиционный — вице-губернатор вряд ли был терпим в государственном аппарате царизма, уже лишившемся к этому времени и Ланского и Н. Милютина. Министр юстиции Панин даже подозревал Салтыкова в «подстрекательстве». 20 января, вернувшись в Тверь, Салтыков подал губернатору Баранову прошение, в котором, ссылаясь на крайне расстроенное здоровье (чего на самом деле не было), «покорнейше просил ходатайства» об увольнении от службы. 9 февраля отставка была санкционирована «высочайшим приказом».

Мысль Салтыкова вступала, может быть, в самый острый и напряженный «фазис теоретических блужданий». Для Салтыкова это был и период кардинальных решений, которые должны были определить его судьбу.

На протяжении всех пяти-шести лет подготовки крестьянской реформы и ее проведения, наконец в год после реформы насмотрелся Салтыков на поведение дворянства как главной политической силы российского государства, разных его «партий» и «группировок» — от явных крепостников до радикальных либералов. Это

поведение дало богатейшую пищу мысли Салтыкова, его художественному таланту сатирика. Так рождаются три последних очерка глуповского цикла.

В начале февраля, то есть как раз тогда, когда состоялось тверское Чрезвычайное дворянское собрание, или вскоре после него, пишет Салтыков одну из своих самых уничтожающих сатир — «Глупов и глуповцы. Общее обозрение» (вероятно, она была бы вступлением к циклу, если бы он состоялся).

Глупов в «Общем обозрении» представлен как некая «муниципия»[1], которая уже не умещается в рамках города. И незачем разуметь под Глуповом Пензу, Саратов, Рязань или пусть даже нечто более обширное, но все же достаточно конкретное. Глупов — «муниципия» фантастическая.

Глупов раскинулся широко по обеим сторонам реки Большой Глуповицы и многих других рек и речушек, а граничит с другими, весьма расстроенными «муниципиями» (Дурацким Городищем, Вороватовым, Полоумновым) и упирается в Болваново море. «Глупов представляет равнину, местами пересекаемую плоскими возвышенностями. Главнейшие из этих возвышенностей суть Чертова плешь и Дураковы столбы». Такова глуповская «топография». В новом очерке Глупов теряет ту свою бытовую и реальную конкретность, которая еще сохранялась в «Наших глуповских делах».

Истории у Глупова нет — вновь повторяется тезис, высказанный в «Наших глуповских делах», но теперь этот тезис разъясняется особенностями и характером обитателей Глупова.

«Обитатели эти разделяются на два сорта людей: на Сидорычей, которые происходят от коллежских асессоров, и на Иванушек, которые ниоткуда и ни от кого не происходят», или, точнее, «происходят от сырости», как доказал один из молодых глуповских ученых. Речь идет, понятно, о дворянстве и крестьянстве.

Салтыков создает образ России, но образ фантастический, односторонний, вычленяющий лишь характернейшие и отрицаемые им черты ее социально-политического устройства и бытия.

«Меня интересует собственно возрождение глуповское и отношение к нему глуповцев, и в этих видах я стараюсь выяснить себе те материалы, которые должны послужить ему основанием». Что же это за материалы?

[1] Ироническое новообразование от лат. municipium — самоуправляющаяся община.

Анализируя эти материалы, Салтыков исключает Иванушек, ибо они стоят, так сказать, вне политики: «Приступая к определению глуповцев, как расы, существующей политически, я, очевидно, могу говорить только о Сидорычах, ибо что же могу я сказать о людях, происшедших от сырости?»

Салтыков не видит каких-либо национально-исторических заслуг Сидорычей, то есть дворянства, на которых они могли бы основывать свое политическое значение и политическое господство. Сидорычи сами признают, что произошли от коллежских асессоров, то есть выслужились на государственной, царской службе, главным образом в послепетровское время (коллежский асессор — чин VIII класса по петровской табели о рангах, получение которого давало право на потомственное дворянство). И как выслужились? «У нас, говорят, ничего этакого и в заводе не было, чтоб мы предками хвастались или по части крестовых походов прохаживались; у нас было просто: была к нам милость — нас жаловали, был гнев — отнимали пожалованное... никто как бог!» Доктрина замечательная, ибо освещает принцип личной заслуги и указывает на спину, как на главного деятеля для достижения почестей».

Эта доктрина определила и общественное положение Сидорычей.

«Отличительные свойства сидорычевской политики заключаются: а) в совершенном отсутствии корпоративной связи и б) в патриархальном характере отношений к Иванушкам».

«Корпорация предполагает известный и притом общий целому ее составу интерес». Но о каком общем интересе может быть речь, когда Сидорычи даже не уважают друг друга? «Сидорычу не может и на мысль прийти, чтоб кто-нибудь находил его не гнусным...» Не корпоративная связь, а круговая порука гнусностей, «в которой не было ни одного не битого и насквозь не исплеванного». Попытки Сидорычей проявить какое-то корпоративное единство в период реформы оказались бесплодными и несостоятельными. «И долго потом качал головой Обер-Сидорыч <явный и смелый намек на высшую правительственную власть в лице императора>, взирая на потехи своих собратий, и долго повторял он унылым голосом:

— А как было хорошо пошло по началу!

Тем и кончились сидорычевские поиски за корпоративным единством».

Что же касается сидорычевской «патриархальности», то патриархами являются они просто «потому только, что даже сечение не умеют подчинить известной регламентации». Патриархальность в отношении к Иванушкам только затемняет, только мешает выявить истинную суть этих отношений. И в последнее время появилось достаточное число юных глуповцев-идеологов, глуповских Гегелей, которые предприняли такую регламентацию: «И я сам видел, как бледнели и терялись Иванушки при одном взгляде этих доктринеров розги и кулака».

Таким образом, материалов, которые должны послужить основанием глуповскому возрождению, «совсем не оказывается, или оказываются только отрицательные».

Но Сидорычи видят неминуемую смерть и жаждут спастись от нее, и предсмертные потуги и судороги Сидорычей Салтыков называет «глуповским распутством». В том же феврале он пишет одну из самых своих эзоповых сатир, которую так и называет — «Глуповское распутство».

Салтыков вспоминает судьбу римской цивилизации, уничтоженной «пастуховыми детьми» — варварами. Не *такая же* ли судьба уготована и «глуповской цивилизации»? Кто же тот «злой Генсерих [1], который не затруднился поднять руку даже на такую заплесневшую и почтенную вещь, как глуповская цивилизация»? Глуповский Генсерих зовется Иваном, по прозвищу «дурачок», прозвищу, которое «он справедливо стяжал бесчисленными годами усилий (тоже своего рода глуповская цивилизация)» (иронически добавляет Салтыков).

В предшествующих очерках глуповского цикла фигура Иванушки маячила где-то на заднем плане, рисовалась пусть крупными, но все-таки штрихами, ее место в глуповском «горшке» было еще не совсем ясно, она не содержала в себе никакого творческого «элемента». В «Глуповском распутстве» Иван становится главной, мощно нарисованной фигурой: именно он, несмотря ни на что, определяет судьбы «глуповской цивилизации».

Поначалу, в первой части очерка, рассказывается история барыни Любови Александровны и ее дворового человека Петрушки. Любовь Александровна — барыня

[1] Генсерих (Гейзерих) — король германского племени вандалов, в 455 году захватившего Рим.

стареющая и жаждущая любви и обновления своего вконец расстроенного и расслабленного организма. В прошлые времена (то есть при крепостном праве), когда гневными взорами она способна была приводить в трепет не только своих холопов, но и Глупов в целом его составе, она, не затрудняясь, прибегала, с той же целью «обновления», к содействию молодых и здоровых дворовых людей — Костяшки и Ионки. Но те оказались мерзавцами и подлецами и, естественно, угодили под «красную шапку». Теперь не то. Приблизила она к себе пышущего здоровьем и красотой дворового человека Петрушку — и подчинилась ему, хотя он тоже оказался и мерзавцем и подлецом, подчинилась потому, что «в одном Петрушке видела для себя спасение и жизнь». «А теперь... что за перемена, что за странный вид представляется взорам! С одной стороны, Любовь Александровна с померкшими взорами, с неверною поступью, Любовь Александровна дряхлеющая, но все еще жаждущая любви и жизни, расстроенная, но все еще надеющаяся и живущая в будущем; с другой стороны — Петрушка, не тот робкий Петрушка <или Костяшка, или Ионка>, огрызающийся лишь под пьяную руку и цепенеющий при одном взоре гневной барыни, но Петрушка властный, Петрушка, собирающийся унести на плечах своих вселенную, Петрушка румяный и довольный, Петрушка в красном жилете и голубых штанах <красные жилеты и голубые штаны носили санкюлоты — участники Великой французской революции XVIII века>, Петрушка в енотах и соболях, Петрушка, показывающий целый ряд белых как кипень зубов... Или этого мало! Или молодое, свежее и здоровое не посечет ветхого, изгнивающего и издыхающего? Да где ж после этого была бы справедливость, читатель?» Бытовая история перерастает в символический образ мужика-санкюлота, не только собирающегося, но и способного «унести на плечах своих вселенную»!

Отношения Любови Александровны и Петрушки как бы прообразуют, предвещают те отношения, которые складываются между глуповцами и Иванушками.

Роковая сила обстоятельств поработила старую барыню своему холопу. Та же сила подчиняет и Глупов.

Но не только сила обстоятельств заставляет глуповцев приблизить к себе Иванушек, но и расчет. Умирающий Глупов пытается спасти себя за счет полных жизни Иванушек. Может быть, Иванушки (в Глупове они

именуются «непочатыми родниками»[1]) настроят глуповскую жизнь на иной, новый ряд? «А что, если в самом деле эти подлецы Ваньки молчали-молчали, да все думали? А может быть, они до чего-нибудь и додумались? А может быть, в них-то и сила вся?»

Глуповцы рассуждают при этом так: если Иванушка и додумался, если в нем и вправду сила, то надо призвать его, чтобы подал полезный совет, а затем пусть скроется... немедленно! Немедленно, «ибо всякая дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить его собственным интересам, может отвлечь его от приличных званию его занятий». Славная наша история, разглагольствуют «старшие» глуповцы, «везде и всегда показывает она нам Иванушку надежною опорой глуповской славы и глуповского величия! везде и всегда она представляет его: в мирное время кротко возделывающим землю, во время брани — беспрекословно сеющим смерть в рядах неприятельских... Ужели же *теперь* он захочет изменить столь славным преданиям? Ужели *теперь*, когда наш старый, славный Глупов трещит, он не потщится вместе с нами восстановить его посрамленную физиономию?»

Ну а если не потщится? Что же, тогда «никто не может воспрепятствовать нам своевременно изыскать средства», прибегнуть к соответствующим «мероприятиям» или (если раскрыть смысл иносказаний Салтыкова) экзекуциям. Ведь бывали случаи, когда Ваньки «даже очень достаточно пакостили, но, получив в непродолжительном времени возмездие, скрывались и на долгое время уже не огорчали Глупова проявлениями своей необузданности». Было это (подразумевает Салтыков) и во время разинского бунта и во время крестьянской войны Пугачева, да и совсем недавно, в прошлом году, по случаю объявления «воли».

Ну а если Иванушка и не поддастся всем этим средствам и мероприятиям, не потщится восстановить посрамленную глуповскую физиономию? И Сидорыч лезет к Иванушке целоваться, предлагает ему забыть прошлое, приглашает к «сожительству». Но «Ванька столь же мало может согласиться на сожительство, как и на поцелуи». (Как тут не вспомнить, что совсем недавно сам Салтыков, да и тверская оппозиция, видел «истинные интересы дворянства» в таком «сожительстве» — сближении и даже слиянии с крестьянством.) Иван хочет

[1] Иронический намек на славянофильское словоупотребление.

только одного — чтобы оставили его в покое. Потрудился-таки, помаялся он на своем веку, надо ему и отдохнуть: «Сидорыч! а Сидорыч! останемся пока на своих местах, — говорит он, — там что выйдет: твоя возьмет — ты барин; моя возьмет — я барин!» И говорит так потому, что наверное знает, что возьмет его, а не Сидорычева».

И, пожалуй, наиболее сложна своими иносказаниями, намеками, эзоповым языком последняя сатира глуповского цикла «Каплуны», так и названная в подзаголовке — «Последнее сказание».

Сатира Салтыкова вырастала из глубин его возмущенного духа, питалась болью его сердца. В этом смысле — она всегда субъективна, даже в наиболее «объективных», эпических созданиях, как ранних, так и поздних.

Но были у него и такие произведения, которые непосредственно и прямо выражали личный опыт, диктовались необходимостью осмыслить свою деятельность, увидеть ее дальнейшие пути, определить ближайшие поступки. В таких произведениях сплавляются воедино тоскующая, мучительная исповедь и гневная, полная страсти и огня проповедь, лирическая тональность и сатирический сарказм.

К числу таких произведений принадлежит и сатира «Каплуны» с ее трудной, драматической судьбой; и в содержании «Каплунов» и в судьбе ее отразилось непростое положение Салтыкова — крупного правительственного чиновника — в наиболее близком ему лагере социалистов и демократов. Ему приходилось слышать раздававшиеся из этого лагеря не только горькие упреки, но и прямые обвинения (обвинения несправедливые).

Салтыков обрушивает «ювеналов бич» на головы каплунов-людей, безмятежно курлыкающих в самоуслаждении, в то время как неустойчивая и «трепещущая» действительность призывает к действию и борьбе. Салтыков защищает свою позицию деятельного вмешательства в жизнь, изнемогающую под гнетом насилия и неправды.

Каплун — птица нешуточная, солидная, пользующаяся уважением, пишет Салтыков, разумея под «каплунством» определенный тип общественного поведения. «Каплун — консерватор по природе и даже несколько доктринер». Он усовершенствовал знаменитую доктрину героя повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» —

доктора Панглоса, утверждавшего, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. Доктрина каплуна: мир достаточно прекрасен, чтобы нуждаться в изменении к лучшему.

И это самоудовлетворение, самодовольство в то ужасное время, в те страшные минуты в истории, «когда случайность и заблуждение делаются как бы общим руководящим законом для всего живущего, когда летопись с каким-то горьким нетерпением жгучими буквами заносит на страницы свои известия... все об ошибках, да об уступках, да о падениях», когда насилие «в предсмертной агонии еще простирает искривленные судорогой руки, чтоб задушить ищущее, но не обретающее, алкающее, но не находящее утоления...».

И в эту тяжелую минуту каплуны курлыкают! Они удовлетворены, они самоуспокоились, они отрицают «личное деятельное участие в жизни».

«Глупов! милый Глупов! Кто ж похлопочет об тебе?»

Каплуны настоящего — это просто глуповцы, апологеты глуповской жизни и глуповского миросозерцания. Мелодично их курлыканье, но в нем есть недомолвка. Можно ли «удовлетвориться жизнью с распространенными в воздухе миазмами, с рыскающими по улицам волками? «Жизнь дает, жизнь поступается!» — но ведь она дает смерть, но ведь она поступается веревкой на шею!»

«Еще мелодичнее курлыканье каплунов будущего. В нем все стройно, все чуждо непотребства сделок и компромиссов. Мелодия развивается просто и ясно: махни рукою на жизнь, потому что она не стоит того, чтоб с ней связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обратись к идеалам и живи в будущем... Однако и в этом курлыканье есть недомолвка. Несомненно, что текучая жизнь изобилует мерзостью и что формы ее перед судом безотносительной истины резко несостоятельны, но на практике дело складывается несколько иначе. Вот мерзость мерзкая, и вот мерзость еще мерзейшая: я оставляю за собой право выбора и избираю просто мерзкую мерзость предпочтительно перед мерзейшею. Я не только не отрицаю идеалов, но даже нахожу, что без них невозможно дышать, и за всем тем не могу, однако, признать, чтоб мне следовало жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которого мне некуда деть и которое порядочно-таки дает мне чувствовать себя всякими тычками и пощипываниями. Куда я уйду от него? запрусь ли? стану ли в стороне?

Но ведь надо же понять, что запереться — значит добровольно обречь себя на нравственное и политическое самоубийство, значит добровольно отказаться от всяких надежд на осуществление идеалов».

Обращаясь во второй половине статьи уже непосредственно к «каплунам будущего» — чистым теоретикам социалистического идеала, Салтыков обсуждает ряд проблем, коренных для его миросозерцания демократа, социалиста, просветителя. И первая из них, волновавшая еще героя его юношеской повести «Противоречия», — отношение грязной действительности настоящего к несомненно имеющему быть, но отдаленному гармоническому будущему, трагический «перерыв», исторически, наверное, весьма длительный промежуток, долгий период, простирающийся между настоящим и будущим. «Между этими двумя крайними пунктами лежит целый путь, который надлежит пройти и который остается неосвещенным». Где тут «посредствующее звено», чем надлежит заполнить «перерыв»? Салтыков отвечает: только одним, только неустанной практической деятельностью, только повседневным будничным делом, «которое необходимо хотя бы для того, чтобы раздавить гидру прошлого».

Геройство чуждо глуповскому миру, миру каплуньего курлыканья. Но и в глуповском мире геройство не только возможно, но и необходимо. В этом геройстве нет ничего яркого, бросающегося в глаза. «Действительное геройство» тут заключается «в упорном и непрерывном раздалбливанье туго уступающей глуповской среды». Тот, кто хочет бороться со злом, должен сам пожить в этом зле. Надо бестрепетно погружаться в самые глубины глуповских омутов — и долбить, долбить. Пусть тому, кто способен на такое «действительное геройство», суждена гибель. «И нет нужды, что для многих из собравшихся на борьбу жизнь будет рядом ошибок, источником падений, а быть может, и конечной гибели: если один из них сотрет главу змия — и того достаточно... Пускай они ошибаются, пускай погибают сотнями и тысячами, но каждый из них может поставить в заслугу себе, что успел определить хотя небольшой признак области неизвестного, но каждый гибелью своей утучнил почву будущего». Пускай они достигли только ближайшей цели, пускай их деятельность представляется призрачной, но бесспорно, что «на развалинах старой истины зреет новое

слово, и чем скорее оно зреет, тем скорее выкажется, в свою очередь, и его запоздалость, тем ближе будем мы к идеалам». Так возникает волнующая Салтыкова тема «призраков», которой вскоре будет посвящена специальная статья.

И, пожалуй, самое главное, чем заключает Салтыков свое «последнее сказанье», — это отношение «каплунов будущего» к народным массам. В высокомерном отношении к жизни, в себялюбивой брезгливости мысли, в устранении от «хлама» современности открывается презрение к массе, к ее идеалам и нуждам. Необходима деятельность в массах. Каков должен быть ее характер?

Прежде всего дайте массам «сначала хоть то, что *они сами неотложно просят*, без чего они жить и дышать не могут, и потом развивайте вашу мысль на досуге. А может быть, массы и без ваших забот, сами похлопочут о дальнейшем воспитании себя? А может быть, это дальнейшее воспитание укажет на формы жизни, совершенно отличные от тех, которые составляют предмет ваших мечтаний и надежд?» В этих словах слышится скептическое отношение к тем утопически-социалистическим идеалам, которые выработаны «людьми убеждения» без учета реальных запросов и реального положения масс.

Сатира «Каплуны» была набрана для майской книжки «Современника» и в корректуре послана Чернышевскому. Революционный демократ-социалист усмотрел в ней мысли, для него неприемлемые, о чем и писал Салтыкову в не дошедшем до нас письме. В это тревожное, напряженное время, время накануне крестьянской революции, а в близости ее Чернышевский был убежден, обличение каплунов будущего и проповедь практической деятельности в недрах самого глуповского мира, представились руководителю «Современника» «уступкой в сфере убеждений» и, кроме того, были, по его мнению, несвоевременными. (Так претензии Чернышевского определил сам Салтыков.) Но, как бы ни расценивал Чернышевский салтыковскую сатиру, ей все равно не дано было дойти до читателя. Все три последних очерка глуповского цикла были запрещены цензурой.

Глава седьмая

ОТ ГОРОДА ГЛУПОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА»

Деревня... деревня... Чуждый тонкой тургеневской поэтизации природы, Салтыков по-своему, с характерной для него душевной суровостью и, одновременно, эмоциональной глубиной воспринимал мир природы и выразительно, хотя и скупо, давал ему место на страницах своих произведений. Салтыков знал и любил сельский хозяйственный обиход, трудовой крестьянский быт. Он любил и «рваного» русского мужика, глуповского Иванушку, вырабатывал свое особое к нему отношение, совмещавшее в себе сострадание и надежду, горечь и веру.

С давних пор, еще в вятские годы, Салтыкова привлекала мысль обосноваться в деревне, хозяйствовать на земле. В то время это значило — стать помещиком, может быть, в своем же Спас-Углу. Но тогда эта мысль осталась увлекающим и отвлеченным мечтанием и не могла осуществиться. Ссылка и служба повели его совсем другим путем.

Теперь же, когда реформа уничтожила те отношения между помещиком и крестьянином, которые он считал ненормальными и безнравственными, когда он решительно сбрасывал служебную лямку, Салтыков хочет обзавестись имением, где, полный иллюзий, надеется устроить хозяйство на новых основаниях — свободного, вольнонаемного труда. Поначалу он подыскал такое имение под Ярославлем, но потом остановился на подмосковном Витеневе, в тридцати верстах от столицы и в десятке верст от станции Ярославской железной дороги Пушкино.

Январским днем 1862 года он отправился осматривать витеневское имение, купил его (ради этого пришлось залезть в долги) — и был обманут бывшим владельцем. Через много лет, во вступлении к «Убежищу Монрепо», уже расставшись с Витеневым, Салтыков с юмором описал процедуру осмотра и покупки.

«Имение это я приобрел тотчас вслед за уничтоже-

нием крепостного права и купил, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первых, осматривал имение зимой, чего никто в мире никогда не делает; во-вторых, напал на продавца-старичка, который в церкви, во время литургии верных, приходил в восторженное состояние, и я поверил этой восторженности. Старичок служил когда-то по провиантскому ведомству и потому был благодушен и гостеприимен. Зазвал меня обедать, накормил настоящим малороссийским борщом и угостил киевской наливкой. Потом сам поехал со мной осматривать усадьбу, где велел сварить суп из курицы и зажарить карасей в сметане, причем говорил: «Курица эта здешняя, караси тоже из здешнего пруда, а в реке, кроме того, водятся язи, окуни и вот этакие лини!» Затем начался осмотр. Выйдя на крыльцо господского дома, он показал пальцем на синеющий вдали лес и сказал: «Вот какой лес продаю! сколько тут дров одних... а?» Повел меня в сенной сарай, дергал и мял в руках сено, словно желая убедить меня в его доброте, и говорил при этом: «Этого сена хватит до нового с излишком, а сено-то какое — овса не нужно!» Повел на мельницу, которая, словно нарочно, была на этот раз в полном ходу, действуя всеми тремя поставами, и говорил: «Здесь сторона хлебная — никогда мельница не стоит! а ежели еще маслобойку и крупорушку устроите, так у вас такая толпа завсегда будет, что и не продерешься!» Сделал вместе со мной по сугробам небольшое путешествие вдоль по реке и говорил: «А река здесь какая — ве-се-ла-я!» И все с молитвой. Скажет, и перекрестится, и зрачками вверх поведет, и губами пошевелит, словно на вся и на всех призывает благословение божие...

Словом сказать, очаровал меня искренностью. И что еще больше мне понравилось: слабых сторон имения не скрыл. «Вот службы — легонькие, это — так! и озимое, по милости подлецов <то есть «вольнонаемных» крестьян-работников>, незасеянное осталось, — это тоже скрыть не могу!» В общем, «произошло нечто вроде сновидения. Только одно, по-видимому, я знал твердо: что положено начало свободному труду, и земля, следовательно, должна будет давать вдесятеро».

Но стоило Салтыкову приступить к хозяйствованию, как «сейчас же обнаружились факты, которые должны были бы самого заспанного человека заставить прийти в себя. А именно: густой и высокий лес, на который... указывал пальцем старичок-продавец, оказался чужой,

а <его> лес был низенький и редкий; вместо полных сенных сараев оказались искусно выведенные из сена стенки, за которыми скрывалась пустота; на мельнице помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сено на лугах «временем родится», а «временем — нет», да и сено — «с осочкой». Одно вышло справедливо: службы были легонькие, то есть совсем ветхие, а речка, действительно, веселая: излучистая, сверкающая и вся в зеленых берегах».

Кроме того, Салтыков принадлежал именно к тем людям, для которых деревня составляет необходимость — «хотя бы ради связи с прошлым или ради приобретения ясного представления о рваном русском мужике».

Салтыковым владело, при покупке имения, и другое, а именно убеждение, что «всякий человек имеет как бы естественную потребность в своем собственном угле. Там он сосредоточит все заветное, пригретое, приголубленное; туда он придет после изнурительных скитаний по белу свету, чтоб успокоиться от жизненных обид; там он взлелеет своих детей и даст им возможность проникнуться впечатлениями настоящей, ненасурмленной действительности; там он почувствует себя свободным от всяческой подлой зависимости, от заискиваний, от унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словом сказать, представление об этом собственном угле было всегда до того присуще мне, что когда жить за родительским хребтом сделалось уже неловко <Салтыкову только что исполнилось тридцать шесть лет>, а старое, насиженное гнездо, по воле случая, не дошло до рук <при разделе салтыковских поместий родовое «гнездо» Спас-Угол досталось брату Дмитрию Евграфовичу>, то мысль об обретении нового гнезда начала преследовать меня, так сказать, по пятам...»

И Салтыкову, давно уже городскому жителю, казалось, что он обрел это гнездо в деревне...

Что же представляло собой витеневское имение?

«Приобретенное Салтыковым на имя жены, Елизаветы Аполлоновны, имение состояло из шестисот восьмидесяти десятин земли, «с расположенными на той земле лесами, водами и всякого рода угодьями», «господского дома», водяной мельницы, бумажной фабрики... и разного рода хозяйственных строений и заведений. «Господский дом» был одноэтажный, деревянный, на каменном фундаменте. В доме было двенадцать комнат и большой балкон — по фасаду, обращенному к реке Уче. Сзади дома был сад,

переходящий в запущенный («дикий») парк. Недалеко, рядом с мельничной запрудой, находилась светлая березовая роща с мрачным названием «Похоронная». Усадьба находилась в версте от старинного села Витенева, состоявшего из двух десятков домов, церкви и постоялого двора с кабаком. Усадьбу с селом соединяла дорога, обсаженная березами» (С. А. Макашин).

В мае месяце 1862 года Салтыков уехал в Витенево и принялся за устройство вновь приобретенного гнезда.

Здесь с тревогой узнал он об огромных и загадочных петербургских пожарах, уничтоживших целые районы Петербурга, застроенные деревянными домами. Реакционная печать и темное обывательское «общественное» мнение объявили поджигателями злонамеренных студентов-«нигилистов» (кстати, совсем недавно был напечатан роман Тургенева «Отцы и дети»).

Сюда, в Витенево, пришло известие, конечно, больно поразившее Салтыкова, о прекращении на восемь месяцев, с июня, в соответствии с «Временными правилами» о печати. принятыми в мае, журнала Чернышевского за «вредное» направление и, наконец, об аресте в июле самого Чернышевского. Последовали и другие многочисленные аресты (среди арестованных был критик и публицист демократического журнала «Русское слово» Д. И. Писарев).

В хозяйственных заботах прошли лето и осень. Однако, следя за работами на полях, гуляя в старом «диком» парке или бродя по лесу, Салтыков не мог не осмысливать бурные события общественно-политической жизни времени. Он пристально следил за ними, листая страницы «Современной летописи» «Русского вестника», «Петербургских» и «Московских ведомостей», «Нашего времени»...

«1862 год совершил многое: одним он дал крылья, у других таковые сшиб», — сказано Салтыковым в мартовской за 1864 год хронике «Наша общественная жизнь». В событиях и обстоятельствах этого знаменательного года увидел Салтыков границу между противоречивой, многозначной и пестрой «эпохой возрождения», когда на фоне «глуповского распутства», все же складывалось и нечто новое, и прежде всего «сложилась» крестьянская реформа, — и эпохой, когда старое, умирающее и разлагающееся подняло голову, расправило крылья. 1862 год, напротив, «сшиб крылья» «действительному либерализму», «мальчишкам», по терминологии Салтыкова, «нигилистам», по терминологии, распространившейся после тургеневского романа «Отцы и дети». Иначе говоря, сшиб крылья передовому общественному движению. Уже было произнесено слово «реакция».

В августе Некрасов, один из руководителей «Современника», в письме, посланном из Карабихи, где он проводил лето, сетовал на мерзости, которые творятся в журнально-цензурном мире, и потому ему «сильно претит всякая мысль о возобновлении журнала». Однако в ноябре цензурой было разрешено возобновить издание с февраля 1863 года. В ноябре же Салтыков, в соответствии с логикой своего идейного развития, пришел в «Современник» и стал одним из его редакторов и ведущих публицистов. Некрасов уже называл его своим товарищем по редакции журнала. И действительно, Салтыков включился в самую активную работу по редактированию «Современника», в его дела и заботы.

В литературно-журнальных кругах к тому моменту, когда Салтыков стал редактором «Современника», сложился его образ — не столько литератора, сколько либерального, новой складки, правительственного чиновника высокого ранга. Его литературная деятельность, его общественно-политические убеждения представлялись многим деятельностью и убеждениями, находящимися в рамках либерального «обличительства», пусть самого резкого и непримиримого: ведь он до недавнего времени занимал отнюдь не рядовое положение в чиновничьей иерархии. Его появление среди редакторов «Современника», запрещавшегося властями за «вредное» направление, казалось неестественным и непонятным. Уже самый этот факт заставлял подозревать Салтыкова чуть ли не в измене прежним убеждениям. Это и делал его оппонент Ф. М. Достоевский в ходе возникшей вскоре ожесточенной полемики. Сам Салтыков, человек прямой и откровенный, подал повод к подобным суждениям, сказавши как-то в разговоре с Достоевским, что он не постоит перед тем, чтобы подчинить свою работу в журнале общим интересам и задачам «Современника», редакционной дисциплине. А журнал «Русское слово» назвал Салтыкова «чужой овцой», непонятно каким образом очутившейся в «Современнике». Но Салтыков всегда оставался верен направлению «Современника» так, как он понимал это направление, сохраняя при этом независимость и самостоятельность в суждениях: он продолжал, несмотря на все внутриредакционные трения, развивать и обогащать

те идеи, что были им высказаны в сатирах «глуповского» цикла.

В феврале 1863 года вышел первый том возобновленного «Современника» (№ 1—2), Салтыков начал вести в журнале хронику «Наша общественная жизнь», — пожалуй, самый главный вклад его как публициста за то время, пока он сотрудничал в журнале.

Салтыков, конечно, не забыл образ города Глупова. Но если предметом несостоявшегося цикла был Глупов дореформенный и «возрождающийся», то главным предметом «Нашей общественной жизни» стал Глупов пореформенный, переживший 1862 год. Салтыков в формах эзоповой сатиры, прямой публицистики, резкой и безудержной полемики, серьезного философско-исторического размышления исследует современное состояние русского общества, общества «после 1862 года». Далеко ли ушло оно от города Глупова? И дуют ли в нем «умновские» ветры?

Его, как публициста, насмешливо-иронически сообщает Салтыков в первых же строках первой, январско-февральской, хроники, «будет занимать не петербургская собственно жизнь с ее мероприятиями и мероизъятиями, но общий характер русской общественной жизни в ее величественном и неторопливом стремлении к идеалу».

Но не оказывается ли на поверку российское «величественное и неторопливое стремление к идеалу» всего-навсего все тем же глуповским возрождением? Так на первых же страницах хроники возникает «глуповская» тема.

Читатель «сам участник того неторопливого поступания к идеалу, которым проникнулась современная русская жизнь, и только не всегда может объяснить себе, почему мы стремимся именно *к* идеалу, а не *от* идеала. Иногда ему кажется, что было бы гораздо легче бежать под гору, нежели взбираться, бог весть с какими усилиями, на крутизну, которая, в довершение всего, носит название «Дураковой плеши». Мое дело растолковать ему, что́ и ка́к».

Главное, чем занимается Салтыков в своем многосоставном и пестром хроникальном цикле, — это анализ «стремлений» и «поступаний» современной общественной жизни и участие в этом процессе разных общественных сил и идейных течений. (Он откликается на публикации «Русского вестника», ставшего выразителем консервативной дворянской идеологии, либеральных «Отечественных записок», славянофильского «Дня», радикального «Русского слова», «почвеннических» журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», причем с «Русским словом» и Ф. М. Достоевским вступает в самую непримиримую и часто грубую полемику.)

На вопрос, обращенный к «Современнику»: «очистились ли мы постом и покаянием» (то есть восьмимесячной приостановкой), Салтыков с иронией отвечает: «мы обещаемся быть благонамеренными».

Но что такое благонамеренность? — Хороший образ мыслей (иначе, как дальше разъясняется, — полное безмыслие: «ради бога, не мыслите!»), невинность и некоторое «остервенение», ненависть, обращенная на «нигилистов» и «мальчишек» (слово Каткова, издания которого по преимуществу и отличались таким «остервенением»).

Начинает звучать проходящий через весь цикл мотив «мальчишества». Салтыков взволнован нападками и обвинениями, которые сыплются на головы так называемых «нигилистов». Но ведь это слово, пущенное в ход Тургеневым, не означает, собственно, ничего, и лишь «прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая придет в голову благонамеренному», и прежде всего, обвинение в безнравственности.

И вот в то время, когда общий уровень жизни, несомненно, понижается, «когда мы вздыхаем и недоумеваем, вокруг нас все-таки происходит нечто новое, миазмы мало-помалу разрежаются, жизнь становится и приветнее и светлее». И далее в хронике следовал текст, запрещенный цензурой:

«Откуда этот успех? откуда эта победа?

Все оттуда, милостивые государи, все из мальчишества. Как бы ни мал был успех, как бы ни нерешительна была победа, но они существуют, они чувствуются, источник их не в нас, благонамеренных, а в мальчишестве, в той неустанно-наступательной силе, которую оно представляет». Только «мальчишеству» обязана жизнь движением, подлинным «поступанием» к идеалу.

И что же мы видим в настоящее время? «Мальчишество» само отказывается от той роли, которая возложена на него историей. Правда, эта тема не нашла отражения в печатном тексте первой хроники. Но с нее начал Салтыков вторую, мартовскую хронику, заявив, что вынужден будет сделать мальчишеству строгий выговор, высказать кое-какие наставления. Он, однако, не решается этого сделать именно потому, что «мальчишество в настоя-

щую минуту подвергается иным выговорам и выслушивает иные наставления», выговорам и наставлениям реакционной печати, «остервенению» и ненависти со стороны благонамеренных. Первая хроника в первоначальной редакции все же содержала «выговоры» и «наставления», заключением ее была часть сатиры «Каплуны», которая изображала «каплунов будущего», с их отказом от участия в деятельности на ниве современности, с их желанием сохранить в чистоте свои прекрасные, но отвлеченные идеалы, с их презрением к нуждам и требованиям народных масс. Только теперь, в этом непоявившемся в печати окончании хроники, «каплуны будущего» заменены Салтыковым «мальчишками». Конечно, «мальчишество» *еще только «организуется»*, поверяет себя, *«оно составляет еще, так сказать, «секту»*. Тем не менее оно — сила. Но беда в том, что сила эта не желает действовать, «она решительно не признает жизни текущей и не хочет иметь с ней никаких счетов». И далее в уста мальчишек вкладывается «курлыканье» «каплунов будущего».

Редакции «Современника», конечно, было известно настороженное отношение Чернышевского к «Каплунам», и, наверное, именно она сняла заключение хроники, подсказав Салтыкову и «формулу отказа» от выговоров и наставлений «мальчишеству» ввиду их несвоевременности. Так, по-видимому, впервые наметилась тогда еще едва заметная трещина в отношениях Салтыкова с другими членами редакции.

Несколько строк, в связи с темой «мальчишества» и «нигилизма», уделяет Салтыков роману Тургенева «Отцы и дети», подразумевая при этом и восторженное возвышение базаровского типа в статье Писарева «Базаров», появившейся еще в прошлом году.

Кто такие отцы? Кто такие дети? Отцы когда-то были «друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались как овцы без пастыря». Дети же, по смыслу рассуждений Салтыкова, — это все те же «мальчишки», уклоняющиеся, однако, от той реальной и единственно разумной и необходимой деятельности, к которой призывал Салтыков «каплунов будущего», — в сторону деятельности мнимой — с лягушками и микроскопами, занявшиеся, подобно Базарову, болтовней на естественнонаучные темы. Отсюда и «выговор».

Салтыков не принимает писаревского толкования Базарова, протестует против апологии того «сектантства», которое можно усмотреть в писаревских характеристиках героя тургеневского романа как человека нового, молодого поколения. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — было сказано в статье Писарева «Базаров», — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела». Ну чем не монолог «каплуна будущего»?

От сектантства «мальчишек», самоустранения их от «жизненных трепетаний» мысль Салтыкова переносится к самой жизни, к той жизни, которая лишилась творческого, животворящего начала, прониклась мертвящим формализмом и апатией, к той жизни, которая больше похожа на бесконечно обширные театральные подмостки. Это жизнь картонная, тусклая и бесплодная. Такая жизнь способна произвести «картонную литературу» — литературу «благородных чувств» и «благонамеренных усилий», которую отличают «совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое благородными чувствами. Над всем этим царит беспримерная бесталантность и неслыханная бедность миросозерцания». Салтыков хочет видеть в современной литературе то, чего он не нашел в романе Тургенева — «образ действительного представителя молодого поколения, его стремлений, его деятельности и его надежд». Такой образ он создает на страницах «Нашей общественной жизни» публицистическими средствами, в злободневной полемике.

Прежде всего, «мальчишки» для Салтыкова сила дружественная, какие бы наставления ни хотел он им преподать, начало творческое и положительное. Салтыков защищает «мальчишек» от недобросовестных наветов и упреков противников. Один из таких «благонамеренных» упреков — упрек в несправедливости. Но ведь идеалы «мальчишек» — это идеалы новые, и справедливость их суда, естественно, представляется несправедливостью приверженцам старого, отжившего, хотя и сохраняющего свою привилегию и свою, так сказать, официальную силу. Но если даже приговоры «мальчишек» и кажутся несправедливыми, было бы губительным заблуждением отвергнуть их, не выслушавши со всем вниманием: «Свобо-

да мысли, свобода убеждений — дело до такой степени святое, что даже то, что мы иногда называем несправедливыми мыслями, несправедливыми убеждениями, и то должно пользоваться правом гражданства».

Катковский «Русский вестник» только что напечатал статью А. А. Фета «Из деревни», в которой блестящий поэт-лирик, решивший заняться в своем имении сельским хозяйством в новых, пореформенных условиях, жаловался на нерадивых работников и крестьянских гусей, потравивших его посевы. Салтыков ядовито сопоставляет «прелестные стихи» Фета, написанные до отмены крепостного права («Ни в ком, решительно ни в ком не найдет читатель такого олимпического безмятежия, такого лирического прекраснодушия»), со стихами, сочиненными уже после реформы: ведь в них просто-напросто «слышится вопль души по утраченном крепостном рае». Фету, взявшему перо публициста, кажется, что закон, защищающий работника, несправедлив к нему, землевладельцу. Будто бы и литература заражена каким-то «демократизмом». Но ведь все эти жалобы, сетования и вопли имеют одну подкладку: сожаление о временах ушедших, когда в нас самих, помещиках-землевладельцах, заключались суд и расправа.

Так в публицистику Салтыкова входит тема современной, пореформенной деревни, места в деревне землевладельца и крестьянина-работника.

Салтыков предлагает Фету «мысленно поставить себя на место счастливого поселянина». «И верьте, г. Фет, что этот совет дает вам не столько литератор, к которому (не ко мне собственно, а к собирательному имени) вы вообще питаете нелюбовь, сколько сельский хозяин, сам на практике испытавший всю горечь этого ремесла. Действительно, собственный интерес дороже всего на свете: как займешься им с надлежащим усердием, то кажется, что никто-то об нем не радит, никто-то ничего не делает, все-то пьянствуют или празднуют. Иногда, однако, раздумаешься». Раздумаешься о тяжелейшем крестьянском труде, когда, например, во время пахоты мужик, напрягая свои мышцы почти наравне с лошадью, проходит за день по мокрой и вязкой пашне до пятнадцати верст; или на вывозке навоза он обязан за тот же день пройти пешком уже верст двадцать и при этом вскинуть на каждый воз по двадцати пяти пудов, всего же за десять ездок — 250 пудов; таковое же количество пудов навоза раскидать по полю. И за все это он получает гроши.

«А косьба, а жнитво? Как оценить эту мучительную работу?»

Собственный опыт, внимательное и сочувственное наблюдение за крестьянским трудом, крестьянской жизнью ведут Салтыкова к твердому убеждению, что «удобно заниматься сельским хозяйством возможно только тому, кто в это дело может поместить свой собственный труд», а это делает только крестьянин, земледелец, а не чуждый тяжкому крестьянскому труду землевладелец.

Неудача, постигшая Фета в его сельскохозяйственной практике, есть показательное явление общественной жизни, а отнюдь не единичный факт. Тем более оно важно, что «причисляется еще и к другому порядку благонамеренных мечтаний: мечтаниям о сближении сословий».

В майской хронике вся волновавшая Салтыкова проблематика переносится на новую почву — почву народной жизни и национальной истории. Это столь высокая точка зрения, что если избрать ее «точкой отсчета», то даже проблема «мальчишества» умаляется и теряет свое животрепещущее значение. Повседневная же крестьянская жизнь освещается новым светом.

«Жизнь проявляется в обществе в двоякой форме, — пишет Салтыков. — Есть жизнь всеми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазах всех, и есть жизнь не признанная, но ищущая этого признания неотступно, жизнь темная, погруженная в подземную работу и ценою величайших жертв и усилий подготовляющая материал для жизни признанной». Собственно, речь идет о жизни, руководствующейся привилегированными истинами и привилегированными идеалами, той самой жизни, которая уже рассматривалась Салтыковым в предыдущей хронике. Положение этой признанной, привилегированной жизни «очень удобное: просто хоть не умирай. Пути себе она прокладывает по усмотрению, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрению, одним словом, устраивает свой комфорт, как ей хочется. Для нее, собственно, даже и в путях-то новых нет надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась в нем со всеми удобствами; потому что неудобства, происходящие от старых, рутинных путей, которым она следует, падают всею своею тяжестью не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не может, на ту, которая работает да работает себе за кулисами».

Конечно, процесс обновления происходит даже в тех «признанных» сферах жизни, которые сами по себе никакой необходимости в обновлении не чувствуют, в тех сферах, где жизнь кажется остановившейся и неподвижной. Салтыков обращается мыслью к 1856—1857 годам — годам небывалого расцвета русского либерального движения. Многие умы преисполнились тогда гордынею великою, многие сердца затрепетали радостью необычною, — пишет он. Но откуда это движение вышло, «что оно в себе содержало, чем обусловливалось, куда направлялось — об этом мы не спрашивали себя; мы видели только, что нечто шевелилось, и благодарили создателя. Как оказалось впоследствии, это было движение мелочей и подробностей, нисколько не изменявшее сущности главного дела». Вопросы и вопросцы являлись не в системе, а вразбивку, неожиданно, «в виде благоснисходительной милости» (с верхов власти). Главное дело обновления прокладывало себе путь вне и независимо от этого движения мелочей и подробностей, столь вдохновлявших тех, кто представлял жизнь признанную, играющую лишь на поверхности вещей и явлений.

И потому неудивительно, что вся эта «мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сделалась ровною и гладкою». Общество словно оцепенело, погрузилось в жизнь кислую и картонную.

Так Салтыков выносит самый строгий приговор либерально-оппозиционному общественному движению, отрицает, в сущности, какое-либо его значение, не видит в нем ничего, кроме поверхностного и скоро проходящего возбуждения, не захватывающего вглубь, ограничивающегося «оконечностями языка». Это возбуждение и раздражение похожи на мельницу, жернов которой крутится без мелева, производя лишь назойливый шум. А что, если «вдруг и взаправду подоспеет настоящее, не картонное мелево», если даст о себе знать хоть и непризнанная, но настоящая жизнь?

Именно эта непризнанная жизнь, в ее подземном, но прочном результатами действии, все больше открывалась Салтыкову, умаляя и его собственное участие в «движении мелочей и подробностей» в годы «возрождения». И Салтыков, беспощадный к самому себе, решается на суровую самокритику, на самопризнание, наверняка стоившее ему многих мучительных и горьких раздумий:

«Вопрос разрешается просто: до тех пор, пока я заблуждался, пока думал, что есть какое-то дело, касающееся меня лично, я увлекался этим делом, я беседовал об нем с приятелями и старался, насколько это от меня зависело, расширить сферу этого дела, захватить посредством его как можно больше жизненных вопросов; но как скоро я убедился, что действую в пустоте, что деятельность моя не выходит за пределы разговоров с приятелями, что мы не только не доходим до какого-либо практического результата, но даже сговориться между собой не можем, что мы бесплодно сходимся и столь же бесплодно расходимся, я разочаровался и сделался хладен к «развертывающимся в неизмеримую даль рядам вопросов». И если теперешнее мое разочарование доказывает отсутствие жизни, то и недавние очарования мои отнюдь не доказывали присутствия ее. Все это было мнимое: картонные разговоры, картонные вопросы, картонные интересы, картонная жизнь.

Да, это явление горькое, почти невероятное».

Однако завладевшее Салтыковым с такой силой равнодушие к «развертывающимся в неизмеримую даль рядам вопросов», трагическое разочарование в «практиковании либерализма» отнюдь не вели его к согласию с курлыканьем каплунов будущего, которые смотрят на современную действительность как на «хлам», мимо которого следует пройти, брезгливо отвернувшись, и в гордом уединении спрятаться за великолепные, сияющие идеалы. Салтыков, обладавший необыкновенной, повышенной чувствительностью к гулам, шедшим из неизмеримых глубин жизни непризнанной, внимательно прислушивался к этим гулам, предполагая, что может наконец подоспеть настоящее, не картонное мелево, подоспеть именно из этих глубин. И Салтыков, пожалуй, слишком суров в своей самооценке, ибо его деятельность в «эпоху возрождения» отнюдь не ограничивалась «собеседованиями с приятелями». Ведь недаром он ставил своей главной целью «не дать в обиду мужика». И суровый приговор «эпохе возрождения» не затрагивал главного продукта этой эпохи — крестьянской реформы.

Какая же сила произвела реформу? Ведь не либеральное же суесловие и даже не ратоборство местных чиновников, полагавших возможным «возродиться посредством искоренения чиновнических злоупотреблений»? Салтыков обращается к народу как такой силе, он указывает на те случаи народных движений, которые дали явный исторически-положительный результат. «Это сила не анархическая, а устроительная...» Правда, Салтыков не имеет

возможности назвать эту силу прямо и недвусмысленно ее настоящим именем. «Я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19 февраля 1861 года. Надеюсь, что это не утопизм. Вникните в смысл этой реформы, взвесьте ее подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убедитесь: во-первых, что, несмотря на всю забитость и безвестность, одна только эта сила и произвела всю реформу и, во-вторых, что, несмотря на неблагоприятные условия, она успела положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успела найти себе поборников даже в сфере ей чуждой».

«Это та самая сила, — продолжает развивать свою мысль Салтыков, обращаясь теперь к русской истории, — которая ничего не начинает без толку и без нужды, это та сила, которая всякое начинание свое делает плодотворным, претворяет в плоть и кровь. Ревновали Владимиры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Иоанны Грозные и не грозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали — и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первом же случае оказывалось дряблым и несостоятельным». Здесь Салтыков останавливается, чтобы эзоповски подчеркнуть слово «оно», то есть княжеская, царская власть, замечая в скобках: («Что такое это оно?» — спросит читатель. «А я почем знаю!» — отвечаю я.) И потом вспоминает о народном движении 1612 года: «А вот поревновал однажды Кузьма Минин-Сухорук — и сделал. Неужели же это Минин сделал? И как он сюда попал? Как не затонул в общей засасывающей пучине? Нет, это не Минин сделал, а сделала сила, которая выбросила его из пучины, выбросила не спросясь никого, выбросила потому, что бывают такие минуты в истории, что самые неизмеримые хляби разверзаются сами собой».

Салтыков уточняет и конкретизирует свои представления о «глуповской» истории. Он все более внимательно продумывает насущнейший и самый важный для него вопрос: а каково же место, какова роль народной массы, роль Иванушек в «глуповской» истории. Часто мы думаем, развивает он свою мысль, что этой «непризнанной» силы совсем нет — «на том только основании, что она редко и сдержанно проявляет себя. Под влиянием этого обмана чувств мы иногда заходим очень далеко, до того далеко, что не признаем никакой истории, кроме внешней, не допускаем никакого прогресса, кроме внешнего».

Внешняя история — это та история, которую делают Владимиры Мономахи, Мстиславы и Ярославы, Иоанны Грозные и не грозные, наконец — это та история, которая делалась на верхах власти в период реформы, делалась теми или иными личностями, способствовавшими прогрессу или препятствовавшими ему, всякими Зубатовыми, Сидорычами либеральными или, напротив, Сидорычами — крепостниками и реакционерами, случайно оказывавшимися у кормила власти.

Рядом же с этой «внешней историей» втихомолку и неярко пишется совсем другая история, «история своеобразная, не связанная с внешней даже механически». Это история внутренняя, бытовая — история народа. Содержание этой истории раскрывается «туго и скорее поражает горьким абсентеизмом <неучастием, пассивностью> и унылым воздержанием, нежели проявлениями деятельной силы; но тем не менее и эта вынужденная скромность, и это насильственное воздержание не могли безвозвратно загнать ее в ту пучину безвестности, куда, рано или поздно, должна кануть история внешняя, со всем ее мишурным блеском, со всем театральным громом».

Таков первый, краткий, публицистический, пока еще предварительный, но необычайно глубокий и содержательный набросок салтыковской философии истории.

Одновременно с майской хроникой «Нашей общественной жизни» начал Салтыков писать цикл философско-исторических статей «Современные призраки». Цикл закончить не удалось: две написанные первые статьи Салтыков предполагал опубликовать в майской книжке «Современника», но то ли цензура, то ли сама редакция журнала воспрепятствовала публикации.

Салтыков хочет определить «принципы, которыми руководится жизнь человечества».

Главный тезис статьи, предваряющий всю дальнейшую логику салтыковской мысли: «миром управляют призраки». Салтыков сразу же оговаривается, что речь о призраках он будет вынужден вести с осторожностью и говорить обиняком: слишком всесильны современные призраки. И в обиняках и иносказаниях статьи нет никакой веселости, которая временами еще проскальзывает в «Нашей общественной жизни». Трагизм все больше и больше захлестывает салтыковскую сатиру. Салтыков предлагает читателю прямой, непредвзятый, не убаюканный отвлеченными мечтаниями, сурово-трезвый взгляд на историческую жизнь общества. Но при всей своей суро-

вости этот взгляд исполнен истинного исторического оптимизма.

Но что такое призраки и почему им дана такая власть над миром?

Салтыков опирается в своем определении призраков на целую традицию мировой и русской мысли, ближайшим образом на Белинского, различавшего жизнь действительную, разумную, и жизнь призрачную, неразумную, заключающую в себе зерно умирания и гибели. Салтыков и сам назвал в майской хронике призрачной жизнь и историю «признанную», «привилегированную», «внешнюю», проявляющую себя в деяниях таких «ревнителей», как Владимиры Мономахи, Мстиславы, Ярославы и проч. В «Современных призраках» в том же смысле упомянуты «явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским», которые «утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество» (иносказание, которое, конечно, поняли бы искушенные читатели, если бы статья была напечатана: разумеется самодержавная, царская власть). Из мира «призрачной» истории Салтыков в майской хронике исключил историю народа.

Призраки тяготеют над русским обществом, — сказано в «Современных призраках». И в этом случае Салтыков считает обязательным оговориться, что, употребляя слово «общество», он разумеет только так называемые верхушки его, а не народные массы. Какие призраки царствуют там, внизу, «да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки, — я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно».

«Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту». Казалось бы, что призрак как что-то внешнее легко может быть удален, «сброшен». Но это только кажется: «на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти, и во всяком случае не обходится без сильного потрясения». Укоренившийся в общественном сознании призрак в конце концов «становится страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа».

Салтыков не ограничивается отвлеченно-просветительским отношением к призраку как чему-то такому, что

противоречит разуму, человеческой природе, угнетает и коверкает ее.

«Всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени <мы бы сказали — относительная истина>... Сверх того, всякий призрак есть вместе с тем переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному... История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории...»

Владычество призраков неизбежно и нравственно, пока они сохраняют значение, хотя и временной, ограниченной в пространстве, относительной, но все же истины. Но это владычество становится страшно и безнравственно, когда старый, отживший и износившийся призрак (социальный строй, политический институт, идеологическая система, моральный кодекс) продолжают тяготеть над обществом и человечеством. «Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир». Это черные дни в истории человечества, это эпохи разложения. «Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом». Общество раздираемо глубоким междоусобием, общество захвачено всеобщим безверием, но «безверием робким, скрывающимся под личиной самого рабского лицемерия».

«Что такое долг? Что такое честь? Что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит уже от одного того, что вопросы эти представляются ему...» Необходим самый строгий анализ всех этих понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. И тут не место проповеди терпения и выжидания. Терпеть *нельзя*, а еще менее *стоит* терпеть. Так, путем обиняков и иносказаний Салтыков вплотную подходит к теме революции. Он склонен рассматривать ее как неумолимое действие истории. «Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя

вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе».

Как относиться к этим гневным протестам истории? Можно ли их предупредить, можно ли, по крайней мере, приготовиться к ним? «Вопросы эти разрешить мудрено, потому что, если б было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно». В чем же должно заключаться подобное предупреждение? В «добровольном и полюбовном свержении старых идолов с их пьедесталов». Такое действие не угрожает обществу, а, напротив, упрочивает его будущее.

Таков был ответ Салтыкова на насущнейший и тревожный вопрос о революции, ответ, несомненно не совпадавший с ответом, который давали революционеры 61-го года во главе с Чернышевским.

Роман Чернышевского «Что делать?», написанный в заключении, в Петропавловской крепости и публиковавшийся одновременно с хрониками «Нашей общественной жизни» в мартовской, апрельской и майской книжках «Современника», дал новый толчок мысли Салтыкова. Его, по-видимому, больно задел в свое время упрек Чернышевского по поводу «Каплунов», публикация которых великому революционеру и демократу представлялась несвоевременной. «Четвертый сон Веры Павловны» — картина идеального общества будущего — потребовал нового осмысления социалистических идеалов в их отношении к современности.

Вторая часть «Современных призраков» полемична. Очень может быть, что она отражала споры и обсуждения в редакции «Современника».

Салтыков не согласен с теми, кто упрекает его взгляд на принципы, которыми руководится человечество, в «бесцельности», в «какой-то сухой безотрадности», иначе — трезвом реализме, протесте против идеализации.

Во-первых, Салтыков отвергает упрек в неблагоразумии (то есть несвоевременности) его взгляда на историю человечества как скитания от одного призрака к другому. «Я мыслю так, а не иначе, следовательно, имею право так мыслить». При этом не мешаю мыслить иначе.

Во-вторых, никакие теории, как бы они ни формулировались, не могут изменить «естественного и независимого от самого человечества хода вещей». Значит, все

дело в «непременной потребности мысли высказаться до конца».

В-третьих, скитания от призрака к призраку обусловлены отношениями человека к природе, все более глубоким пониманием ее тайн. Скитания могли бы прекратиться, если бы «природа открыла человеку, так сказать, всю грудь свою». «Но это положительно невозможно». Познание природы и, соответственно, открытие все новых и новых истин (которые в свое время становятся призраками) безгранично.

Наконец, «в-четвертых, если бы можно себе представить природу исследованною, истощившеюся и лишенною своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли предуказывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тревожною жизнию и спокойною смертью — куда склонится выбор наш?» Эти вопросы скрывают в себе ответы, на которых зиждется глубокий исторический оптимизм Салтыкова — его уверенность в бесконечности исторического творчества, а, следовательно, и жизни человечества. Пусть человечество обречено на скитания от призрака к призраку. Но в этом — не только трагизм его бытия и его истории. В этом — великая надежда на бесконечное, неумирающее творчество его духа.

В обществе накопилась такая масса призраков, предрассудков, ложных представлений, закосневших и утративших какое-либо подобие истины, но тем не менее настолько укоренившихся и упрочившихся, что к ним следует относиться с большой осторожностью. «Осторожность эта, по моему мнению, должна заключаться в следующем. Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым сжились (потому что мы сами более или менее его участники и делатели), будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно не похожий на первый, то как бы ни удостоверял нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни. По-видимому, это неосновательно; по-видимому, способность идеи к организации, к воплощению в живых образах должна бы при-

влечь к ней еще более прозелитов; однако на практике бывает наоборот. Мы так мало готовы к принятию новых форм жизни, и промежуток между современною, уже изведанною нами практикою и тою, которую имеет выработать будущее, так велик, что эта последняя не может не перевернуть вверх дном всех наших понятий. То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а, напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идиллическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно безнравственными. Таким образом, вместо того, чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления. Но еще большая ошибка заключается в попытках практического воплощения идеалов среди общества, к принятию их не приготовленного... Все эти попытки были неудачны и рушились очень скоро; почему они были неудачны, почему они рушились, об этом никто даже не полюбопытствовал узнать; никто не дал даже себе труда вникнуть, что причина неудачи заключалась не в порочности той идеи, которая лежала в основании попыток, а в порочности и предрассудках, тяготеющих над обществом...»

Салтыков подразумевал в этих своих рассуждениях не только фаланстер Фурье (на практике осуществить его

пытался Петрашевский), но и социально-утопические фрагменты только что напечатанного романа Чернышевского «Что делать?». Но его, Салтыкова, художественный принцип, его творческий метод, осуществляющий ту же идеализирующую тенденцию, то же намерение, был совсем иным, чем принцип Чернышевского. Салтыков начал его реализацию в цикле «Как кому угодно», тоже оставшемся незавершенным (напечатан в августовской книжке «Современника» за 1863 год).

Цикл «Как кому угодно» тесно связан с «Современными призраками». Он является как бы иллюстрацией к общим положениям «Современных призраков». Однако, в противоположность строгому стилю философско-исторического этюда, стиль «Как кому угодно» — свободный, иронический. Насквозь иронично и открывающее цикл «Слово к читателю», в котором автор выражает удивление, «как это люди не исполняют своего долга». Ведь «всякое общество имеет свои алтари, свои краеугольные камни, около которых группируется, на которые устремляет свои взоры». Сразу же ставится проблема, философски трактованная в «Современных призраках» — проблема долга и обязанностей. Избирается одна сфера, где определеннее и ярче всего проявляется современное состояние отношений по долгу и обязанностям — семья, «семейственный союз», союз, который и должен скрепляться этими отношениями.

Основа всего цикла — рассказ о помещичьем семействе, искусственно связанном «призраком» долга, признаваемого на словах и нарушаемого на деле. Семейство это — распавшееся, разложившееся, «больное», насквозь проеденное стяжательством, корыстью, произволом. «Маменька» Марья Петровна Воловитинова, «женщина простая, деятельная и весьма сообразительная», помещица-крепостница еще старых, дореформенных времен (действие рассказа происходит еще до «эмансипации»), руководствуется в своих отношениях с сыновьями глубоко безнравственным разделением их на «любимчиков» и «постылых». Старший сын, «генерал» Сенечка — пустослов и суеслов, принадлежит к нелюбимым и потому не может рассчитывать на значительную долю наследства, хотя в своих пустопорожних мечтах видит себя обладателем всего наследства. Другие сыновья — любимчики, и им в завещании отводится лучшая часть. Произвол — суть материнской «любви» и материнского понимания «долга». Суть же сыновней «любви», собирающей их под крышей

материнского дома в день ангела матери, — корыстолюбие.

Неужели же это — «семейственный союз»? «Формализм» и «призрачность» господствуют в «счастливом» семействе Марьи Патровны. (Рассказ автобиографичен, Салтыков не щадит своего, салтыковского семейства, и Ольга Михайловна с гневом узнала себя в Марье Петровне Воловитиновой.)

Для разъяснения своих сомнений обратился будто бы Салтыков к самым, что называется, «присяжным людям безнравственности», то есть социалистам. «И что же, вы думаете, они ответили мне на это! А просто ответили, что есть у всякого человека свое дело, которое может быть привлекательным или непривлекательным. По их понятиям, если общество находится в нормальном положении, то никакое дело не может быть непривлекательным, ибо нет того человека, который бы в данную минуту не был расположен к какому бы то ни было делу. Надобно, говорят они, только воспользоваться разнообразием человеческих способностей и склонностей и тем почти бесконечным дроблением, которому может подлежать человеческий труд». И потому, «если Сенечке приятнее быть с своими начальниками, нежели с матерью, то пусть и будет он с своими начальниками... Если Марье Петровне нравится больше буян Феденька, то значит, что между ними есть сходство характеров и что, стало быть, она совершенно в своем праве; что все взаимное недовольство, поселившееся в этом семействе, именно и происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают. Ну, а наследство-то как, милостивые государи! наследство-то? «А наследство», — скажут они... Тьфу!» (третья главка цикла под названием «Размышления»).

Так, по видимости бытовой рассказ оказался связан с размышлениями Салтыкова о «призраках», овладевших современным обществом, с его раздумьями о социальных утопиях, о судьбах социалистических учений и формах их пропаганды.

Вовсе не отказываясь от высокого идеала социального обновления, больше того, как раз и рассматривая с точки зрения этого идеала (безусловно, истинного и с этой точки, в этом смысле — вечного) современную действительность, Салтыков считает ее глубоко ненормальной, находящейся под властью «призраков», которые «правят миром». Это действительность, хотя и реально, вполне осязаемо существующая, но тем не менее кажущаяся, призрачная, фантастическая.

Цикл «Как кому угодно» тем и знаменателен, что Салтыков подходит в нем к осознанию и, так сказать, художественному оформлению предмета своей сатиры: это именно призрачная действительность, тем более призрачная, чем более высок идеал художника. Этот же идеал наполняется у Салтыкова чем дальше, тем больше народным содержанием.

Наступило лето. И Салтыков опять в деревне, в Витеневе. На летние месяцы, до сентября, публикация «Нашей общественной жизни» прекращается. Он по-прежнему, как и в прошлом году, занимается хозяйством, смотрит за тем, как нанятые работники пашут, сеют, косят. Деревенскими наблюдениями и впечатлениями наполнена его появляющаяся в августе в «Современнике» статья «В деревне. Летний фельетон». Лето в деревне для городского жителя отрадно хотя бы потому, что можно забыть город с его бестолочью и сутолокой.

Но это для городского жителя, а что же житель сельский? Что вообще происходит в современной, пореформенной деревне? Как и чем живет она? А знает она прежде всего тяжкий, непрестанный и невзрачный «личный» труд.

С сентября, вернувшись в Петербург, вновь оказавшись в своем кабинете, окруженный газетами и журналами, Салтыков с головой уходит в ту городскую атмосферу общественной и литературной борьбы, которая вызывала у него в подмосковной деревне «словобоязнь».

Сентябрьскую хронику Салтыков начинает с предупреждения читателю: «прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным и беспечным тоном, каким говорил до сих пор». Нельзя сказать, чтобы Салтыков и в предшествующих хрониках был спокоен и беспечен, но с сентября 1863 года его характеристики русской общественной жизни и в самом деле становятся все более мрачными и, пожалуй, еще более резкими. И объясняется это прежде всего той тягостной атмосферой, которая воцарилась в русском обществе под воздействием восстания в Польше, или, как тогда писали, «польской смуты». «Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вы-

звала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...» — таков мрачный диагноз Салтыкова.

И Салтыков вновь обеспокоен судьбой «мальчишек», молодого поколения, обвиняемого в антисоциальных — революционных — тенденциях и намерениях. И от кого слышат «мальчишки» эти обвинения и упреки? От тех, кто сам совсем недавно, когда готовилась крестьянская реформа, был чуть ли не революционером в глазах «старых каплунов» и закоренелых глуповцев. Как происходит этот тяжелый процесс перерождения убеждений и перемены лагерей? «Ведь и они <«журнальные борзописцы» во главе с Катковым> когда-то были людьми, и они во что-то веровали, ходили, не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед ними явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?» О вы, «прекрасные молодые люди сороковых годов»! Что с вами стало! Таких ли наследников ждали и провидели Белинский и Грановский! И не «мальчишки» ли их истинные наследники?

И другой вопрос неотступно преследовал Салтыкова — как соединить реальную практическую деятельность «мальчишек», силы неустанно-наступательной, творчески-деятельной, с той силой, которая поражает «абсентеизмом», но если творит, то творит плодотворно и надолго, — с народом.

Салтыков ставит вопрос о героизме мысли и героизме деяния.

Величественное здание на берегу Невы — Академия художеств — привлекало в сентябре 1863 года массу посетителей. Там была открыта годичная академическая выставка, где, среди множества полотен на мифологические и исторические сюжеты, сразу же выделилась картина Николая Николаевича Ге «Тайная вечеря». Сюжет ее также мифологический, евангельский, разрабатывавшийся многими великими мастерами средневековья и Возрождения и среди них — Джотто, Леонардо да Винчи, Веронезе, — последняя беседа Иисуса Христа во время праздничной пасхальной трапезы с учениками-апостолами — накануне «страстной пятницы», восхождения на Голгофу и мучительной смерти на кресте. Художник избрал самый драматический момент вечери — разрыв с учителем одного из его учеников — Иуды, когда тот уже решился предать учителя и покидает освещенную горницу, где собрались апостолы, чтобы уйти в темноту ночи. Противопоставляются две личности, два миросозерцания, два мира — Христос и Иуда.

Среди посетителей академической выставки был и Салтыков. Картина Ге поразила его необычностью трактовки художником классического сюжета и вызвала потребность высказаться о ней как незаурядном общественном явлении. И Салтыков открывает ноябрьскую хронику «Нашей общественной жизни» истолкованием именно такого смысла и современного значения картины Ге.

«Мне нравится общее впечатление, производимое картиной; мне нравится отношение художника к своему предмету; мне нравится, что художник без всяких преувеличений разъясняет мне, зрителю, смысл такого громадного явления...» Художник не только «представил в живом образе величайшее событие» и «сделал меня участником изображаемого мира», но и не оставил меня, рядового члена зрительской толпы, «без поучения и вразумления». Это-то последнее представляется Салтыкову особенно важным, ибо «для толпы некоторое вразумление и поучение еще очень и очень не лишне». Что же это за поучение?

Толпа, масса погружена в свои узкие меркантильные заботы, понятные и даже привлекательные своей осязаемостью и непосредственностью. Например, она без всяких вразумлений понимает, что хорошие пути сообщения лучше дурных, а легкий налог предпочтительнее тяжелого. Цели, преследуемые толпой, не стремятся далеко. Толпа наделена здравым смыслом, который услужливо подсказывает ей, что всяческие «стремления», «мечтания», «предвидения» не больше как «призраки», без нужды беспокоящие ее в ее самоудовлетворенном бытии. Однако, если это здравый смысл, то ведь это тот самый «проклятый здравый смысл, который дает нам разгадку искалеченного существования каплуна», курлыкающего над

«хламом» настоящего. Между тем общество живет отнюдь не только сиюминутными материальными, непосредственными интересами и целями, и как только область общественных интересов расширяется, когда открываются просветы в будущее, толпа «почти всегда находится в недоумении, если не в глубоком невежестве». И потому вопрос не в том, «чего толпа чуждается (считает пустяками) и что она принимает, а в том, имеет ли она право чуждаться, может ли она навсегда остаться при своей непосредственности, может ли обойтись без того, что в ее понятиях является не более как призраком». На этот вопрос Салтыков отвечает: нет, не имеет права, ибо все те будничные явления жизни толпы, которые кажутся прочными и устойчивыми, на самом деле «носят на себе все признаки колебания и случайности и в действительности, отнюдь не меньше самого отъявленного «мечтания», исключительно стоят на почве спекулятивной», призрачной (какие призраки владычествуют над толпой, Салтыков объяснял в статье «Современные призраки»). «Этот закон колебания сам по себе до такой степени силен, что подчиняет себе явления самые простые и, по-видимому, неизменяемые, невольным образом выдвигает толпу из состояния непосредственности и самодовольства, заставляет ее объяснить себе причины колебания и таким образом прямо вводит в сферу других жизненных вопросов, более обширных и глубоких. Но если этот процесс неизбежен, если он составляет необходимую принадлежность истории человеческого развития, то не лучше ли, если массы приступят к нему добровольно, а не вынужденно?» Именно поэтому и требуются вразумления и поучения. Необходимо, чтобы масса, в ее же интересах, сама осознала, что́ является действительным призраком, идолом, который следует свергнуть с пьедестала, и что́ — «предвидением», позволяющим выйти из колебаний, преодолеть случайность.

Возьмем для примера геройство, которое толпе представляется несомненным призраком, которое толпа отвергает, называя безумством. Две общественные комбинации делают геройство излишним или по меньшей мере проблематичным. Во-первых, это — нормальное общественное состояние, которое «не допускает геройства, потому что там не может быть повода, его вызывающего; нормальное состояние общества предполагает не только удовлетворение всем законным потребностям человека, но и полное отсутствие всякой случайности, могущей

нарушить общую гармонию, полную обеспеченность в будущем: к чему тут геройство?» Эта та самая общественная комбинация, которую социалисты-утописты предсказывали, строя свой образ будущей социальной гармонии. Но Салтыков прекрасно понимал, что до такого общественного состояния предстоит пройти долгий и тяжкий путь, который не похож на ровный тротуар Невского проспекта, путь страданий, жертв и подвигов. Но, с другой стороны, в непосредственной, повседневной жизни масс «как будто представляется обеспечение против тех случайностей, которые так жестоко тяготеют над человеком, уже вышедшим из состояния непосредственности». Но тут-то массе и следует доказать, путем вразумлений и поучений, «что то, что при нормальном состоянии общества представляется удовлетворением осмысленным и сознательным, то при эмбрионическом его состоянии объясняется скудостью и ограниченностью требований: что в первом случае является действительным обеспечением человека от наплыва случайностей, то во втором объясняется беспечностью и неясностью представлений о будущем». Допустим, что «мечтания» и «предвидения», что геройство и идеалы — призраки, но это такие призраки, которые делают жизнь осмысленной и возможной. В них заключено истинно человеческое содержание, о котором особенно необходимо напоминать, когда «действительно нечто упраздняется, но это «нечто» есть именно тот характер человечности, который сообщает жизни всю ее цену и смысл. А на место упраздненного просто-напросто выступает на сцену темное хищничество...» В такие минуты толпа выделяет из себя «целые легионы милых шалунов», заменяющих убеждения развязными манерами, пустословием и прекрасно сшитым платьем. Воздействие на толпу, на массы вразумлением и поучением, «разложение» масс мыслию, как скажет позднее Салтыков, повторив слова Грановского, необходимо для свержения идолов и призраков, но не тех, которые слывут призраками в понятиях толпы, а тех действительных призраков, которыми толпа мнит обеспечить себе спокойное и безбедное существование (государство, собственность, семья и т. п.).

Но в чем же заключается то вразумление и поучение, которое толпа может найти в «Тайной вечере» Ге?

Салтыков не склонен объяснять отступничество Иуды корыстолюбием. Дело не в тридцати сребрениках, полученных за предательство.

«Картина Ге изображает перед нами тот момент события, когда уже «Тайная вечеря» окончилась. Иуда удаляется; от всей его темной фигуры веет холодом и непреклонною решимостью; уход его сопровождается скорбью, недоумением и негодованием со стороны... присутствующих, но он лично, очевидно, уж стал на ту точку, когда оставляемый человеком мир не шевелит ни одной струны в его сердце, когда все расчеты с этим миром считаются раз навсегда покончеными. То, что, быть может, еще недавно было предметом глубокой внутренней борьбы и мучительных колебаний, в настоящую минуту уже не представляет никакого сомнения... Да, вероятно, и у него были своего рода цели, но это были цели узкие, не выходившие из тесной сферы национальности. Он видел Иудею порабощенною и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу. Все остальное, все прочие более широкие цели были для него пустым звуком, праздным делом, скорее препятствовавшим, нежели способствовавшим выполнению пламенной его мечты».

Но если я правильно угадал мысль художника в отношении к этой загадочной личности, пишет Салтыков, то тем огромнее и поучительнее подвиг Христа.

«Зритель не может ни на минуту сомневаться, что здесь произошло нечто необыкновенное, что перед глазами его происходит последний акт одной из тех драм, которые издалека подготовляются и зреют и наконец-таки вырываются наружу со всем запасом горечи, укоризн и непреклонной ненависти». Фигура возлежащего за столом Спасителя, знающего об отступничестве Иуды и о грозно надвигающемся страдании, «поражает глубиною скорби, которой она преисполнена. Это именно та прекрасная, просветленная сознанием скорбь, за которою открывается вся великость предстоящего подвига».

Каноническая традиция приписывала драме, ставшей сюжетом картины Ге, смысл божественный, не от мира сего. Для Салтыкова истинным смыслом этой драмы является смысл общечеловеческий и непреходящий. Традиция исходила из исключительности великого события — подвига Христа. Салтыков, напротив, при всей необыкновенности события, видит здесь возможность бесконечной повторяемости конфликта между огромным, всеобъемлющим идеалом и узким, сиюминутным интересом, возможность преемственности подвига. «Внешняя обстановка драмы кончилась, но не кончился ее поучительный смысл для нас. С помощью ясного созерцания художника мы убеждаемся, что таинство, которое собственно и заключает в себе зерно драмы, имеет свою преемственность, что оно не только не окончилось, но всегда стоит перед нами, как бы вчера совершившееся. Такой вывод не может не действовать на толпу освежительно».

Горячо и страстно, со все возрастающей тревогой пишет Салтыков в следующих хрониках о захватившем общество «окаплунении», о том, что все большую силу приобретают не «мальчишки», а «мальчики с песьими головами», заполонившие скудеющую ниву жизни.

И литература в таком обществе теряет свою руководящую, воспитывающую роль. Она не в состоянии создать целостную, законченную картину. «Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности». Меняются самые основы жизни, но каковы эти основы? Если раньше содержание литературы получало цельность, ибо его, так сказать, объединяли «любовные упражнения человека», то теперь ведь и эти упражнения изменили свой характер. Литература вынуждена ограничиться «этнографическими наблюдениями», «в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни». Салтыков думает, конечно, и о собственном творчестве, о своем желании создать целостную картину, которая свела бы в один фокус частности и случайности, но свела бы, опираясь на обобщающую идею, которая не может ограничиваться «любовными упражнениями человека». Салтыков прозревает новую жанровую форму — форму общественного романа. «Да; старое искусство падает. Привыкши заявлять свою силу только в мире вымыслов и более или менее искусственных построений, оно приходит наконец к сознанию, что вымысел уже никого не удовлетворяет, что общество жаждет не выдумок, а настоящей жизни, той самой, которая покамест проявляет себя в отрывках и осколках». Конечно, и «Наша общественная жизнь», своеобразный жанр обозрения, складывался из отрывков и осколков, в нем нет вымысла. Однако он дает не случайную, «осколочную» правду, а правду глубоких смыслов и осязаемых идеа-

лов. Другое дело, что эта правда являлась в сложной форме иносказаний и обиняков, что она, правда горькая и удручающая, часто маскировалась веселым смехом. Да, редко я мог высказать правду прямо, обращается Салтыков к читателю в заключении декабрьской хроники 1863 года, но потрудись понять мои «инословия», не искажая и не коверкая пусть подспудную, но тем не менее последовательную и в основе своей совершенно ясную мысль. Такое предупреждение не было лишним, ибо даже любезные Салтыкову «мальчишки» не всегда его понимали.

В развитие размышлений о современной литературе Салтыков вновь ставит вопрос об отношении идеала и жизненной практики, о том, каким образом, какими средствами идеал может быть выработан и, главное, сохранен и упрочен, если носитель этого идеала не желает подчиниться «окаплунению» и в то же время не может отказаться от активного участия в жизненных «трепетаниях». Салтыкова неотступно преследует мысль о неизбежности компромиссов и уступок и в то же время — об их пределах, выход за которые может убить, уничтожить идеал. Эта сложная диалектика, открытое и ясное развитие которой встречало к тому же цензурные препятствия, да и не всегда принималось самой редакцией журнала, проникала и в самый стиль изложения. Может быть, именно в этом случае эзопов язык Салтыкова приобретает наибольшую силу и в то же время отличается наибольшей и неизбежной темнотой и усложненностью.

Вспоминая, обдумывая и заново проживая весь свой жизненный путь, обобщая личный опыт, вновь и вновь всходя по ступеням и фазисам теоретических блужданий, Салтыков обращается к читателю, как бы замещая этим обращением «ты» или «вы» свое собственное «я». Страницы, на которых говорится о неизбежности ограничения идеала, о фатальной зависимости от среды, — крик души самого автора — сатирика, лирика, хроникера.

«Предположим, читатель, что путем наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошел до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал... идеал поистине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений... Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношения к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но

в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей». Тобою овладевает такое мучительное сознание бессилия, от которого можно сойти с ума. Что же остается делать «жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая еще в меру естественного своего роста». («Море яичницы», на эзоповом языке Салтыкова, — это жизнь, в которой все бессмысленно перемешалось, где царят призраки, случайность, где все колеблется, все неустойчиво, все отвратительно и неразумно в ясном свете идеала.)

Над душою вашей, как фаталистическое бремя, тяготеет всеми прожитыми годами ваше прошлое, даже то младенческое прошлое, детство, когда вы еще и не сознавали себя; оно «до сих пор окружает вас всею силою воспоминаний, всею мощью своего авторитета», вы не свободны от него (важное признание, которое объясняет постоянно присутствующую в творчестве Салтыкова тему собственного детства, ставшую главной в предсмертной «Пошехонской старине»). «В сущности, вас и в зрелом возрасте преследует та же беспомощность, та же железная необходимость принижаться и заглядывать в глаза, которая сопутствовала и вашему детству. Вы ни на минуту не ощущаете себя свободным, радужный призрак независимости беспрерывно носится пред вашими глазами, но где же рука, которая уловит его? Увы! нет этой руки! нет этой крепкой руки! — вот что говорит вам тысячекратно повторяемый опыт и постепенно доводит до сознания темной необходимости хоть как-нибудь, да развязать этот узел». Попытки «развязать узел» Салтыков называет «благородным неблагородством», то есть, в сущности, тем же правом «выбирать простую мерзость предпочтительно перед мерзейшею». Иначе какая-либо деятельность становится невозможной, хотя итогом ее и может стать гибель.

То же, но с еще большей степенью трагизма и боли, можно сказать об отношении выработанного и выстраданного идеала не к отдельным личностям, а к народной жизни, жизни большинства, жизни масс. Собственно, самый идеал исходит из того, что нет ничего «естественнее, справедливее и святее, как признание прав большинства и защита их против притязаний каст», иначе говоря — защита прав народных масс от эгоистического посягательства привилегированных сословий и классов. В сущности, даже ни один личный или «кастический» интерес «не может быть приведен к осуществле-

нию прежде, нежели найдет себе поверку в интересах масс». Таков был исторический опыт, извлеченный Салтыковым из осуществления крестьянской реформы. Но тот же опыт открывал ему и другую, трагическую сторону, свидетельствовавшую о возможности обмана масс: «Самый обман масс может быть совершен только именем их самих и, так сказать, с их разрешения». И далее Салтыков высказывает свою самую святую, заветную и непреклонную мысль, основу всех его убеждений и его сатирического творчества: для многих людей признание «главенства масс» «составляет цель всевозможных усилий, искание и смысл всей жизни. Облеченное в определенную форму, это признание возводится на степень социального убеждения, является источником целого образа действий, зерном целой системы».

Однако история показывает нам и оборотную сторону медали, когда массы поддаются не только обману, но и самообману, когда они самым странным и грубым образом ошибаются, следуют неразумию и произволу. «Это те моменты, когда надежда достигнуть ближайших интересов, возможность упиться выгодами настоящей минуты залепляют толпе глаза и лишают ее всякой предусмотрительности. В это время многое упраздняется, а преимущественно упраздняются именно те представления и понятия, которые заключают в себе семя жизни и залог общественного прогресса». В такие моменты это «семя» сохраняется в «меньшинствах» и «замкнутых кастах», даже таких кастах, которых интересы могут быть противоположны интересам масс. «И как бы я ни был предан массам, как бы ни болело мое сердце всеми болями толпы, но я не могу следовать за нею в ее близоруком служении неразумию и произволу». Я примыкаю к меньшинству, хранящему «семя», и пусть этот мой поступок определяется «тем же самым каламбуром»: «благородное неблагородство». На вопрос: не следует ли такие действия, которые могут быть определены как «благородное неблагородство», называть непоследовательными, ибо они противоречат идеалу, Салтыков отвечает: «в мире непоследовательном и колеблющемся одна только непоследовательность и может быть названа строго последовательною».

Заключая декабрьскую хронику и подводя итоги своей публицистической работы за 1863 год, Салтыков сделал парадоксальное и скептическое заявление, которое на первый взгляд противоречило тому, что он писал ра-

нее: «Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты. Я, посредством длинного ряда примеров, убедил тебя <читателя>, что нет на свете того заиндевевшего «в боях домашних» воина, который не был в свое время «мальчишкою», и что, следовательно, присутствие мальчишеского элемента в нашем обществе не только не дает повода смущаться и недоумевать, но, напротив того, должно наипаче наполнять все сердца сладкой уверенностью, что со временем из пламенных мальчишек образуются не менее пламенные каплуны».

Эти слова вызвали недоумение, а потом и протесты в тех кругах демократической молодежи, самым ярким выразителем настроений и идей которых был писаревский журнал «Русское слово».

Впрочем, слова о «нигилистах», которые, раскаявшись станут титулярными советниками, вполне соответствовали безусловному отрицанию Салтыковым самого понятия «нигилизм» как понятия бессмысленного, если видеть в нем обозначение какого-либо качества молодого поколения, «детей». Не «отцы» ли суть подлинные-то «нигилисты»? Но как же это вдруг «мальчишкам» грозит превращение в каплунов (каких — настоящего или будущего?)?

«Со временем...» «Со временем...» Салтыков заметил это словечко Писарева в статье «Очерки по истории труда» (гл. XII, «Русское слово», 1863, № 9). Там же Писарев еще раз, после статьи «Базаров» определяет и обосновывает свое собственное миросозерцание как «нигилизм».

«Очень естественно, — развивает свою мысль Писарев, — что астрономия и химия уже в настоящее время вышли из тумана произвольных гаданий, между тем как общественные и экономические доктрины до сих пор представляют очень близкое сходство с отжившими призраками астрологии, алхимии, магии и теософии. Очень вероятно, что и эти кабалистические доктрины сложатся когда-нибудь в чисто научные формы и со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно. Со временем многое переменится, но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и потому нам приходится ублажать себя тем высоко бес-

плодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепость существующего» И затем Писарев цитирует роман Тургенева «Отцы и дети», показывая тем самым, что такой взгляд и есть «нигилизм»:

«— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью».

Но неужели сознание «хлама» и нелепости существующего всего-навсего бесплодно? Не заключена ли в этих словах «когда-нибудь», «со временем» тактика каплуньего неделания и фаталистического ожидания той туманной поры, когда «кабалистические» общественные и экономические доктрины, так сказать, сами собой, по закону прогресса, станут наукой? Салтыков не мог согласиться с пассивным подчинением неумолимым законам «времени», в сущности — с отказом от «геройства», от деятельного подвижничества, даже и в том случае, если оно может быть названо «благородным неблагородством».

«Мальчишки», «дети», «птенцы», то есть русская демократическая молодежь, их миросозерцание, их мораль, их поведение в годы, когда русская литература, вольно или невольно, стала играть на «понижение тона» [1], то есть в годы послереформенной реакции — главная тема январской за 1864 год хроники «Нашей общественной жизни».

Салтыков уловил особенность тактики круга «Русского слова», но со свойственной ему открытой и яркой тенденциозностью заострил ее, что, с другой стороны, позволило ему столь же открыто, определенно, безоговорочно определить свою собственную позицию. В настойчивой и целеустремленной пропаганде естественнонаучных знаний, в возвышении критически-мыслящей личности всеотрицающего «нигилиста» Салтыкову виделась опасность ухода от общественно-политической борьбы, тактика которой, по его убеждению, определяется в каждый данный момент насущными потребностями народных масс. Презрение к массам — вот чего он не мог простить «каплунам будущего». Крестьянство жаждало освобождения —

[1] Департаментский чиновник в этой хронике определяет этот термин так «Под «понижением тона» следует разуметь сообщение человеческой речи такого характера чтобы она всегда имела в предмете лицо директора департамента, хотя бы в действительности и не была к нему обращаема ». «Конечно, — замечает Салтыков, — это не бог весть какой драгоценный камень, а простой булыжник, и притом старый, давно уже валявшийся в сокровищнице глуповского миросозерцания...»

и Салтыков отдает все свои силы проведению крестьянской реформы на том месте, которое, как он думает, могло принести осязаемые результаты; крестьянству после реформы необходима была земля, и Салтыков, как только речь заходит о деревне, не уставал повторять, что лишь мужик-земледелец имеет на нее право. К такой ли деятельности зовет «Русское слово»?

Салтыков создает сложный эзоповский образ жизненной «чаши».

«О птенцы, внемлите мне!.. вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши... никакой чаши ниоткуда не сойдет, по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее... жизнь дает только тем, кто подходит к ней прямо...»

Чаша, которая уже давно стоит на столе, это сама жизнь, во всех ее многоразличных формах, со всеми «мероприятиями» и «мероизъятиями», со всеми «трепетаниями», муками и редкими радостями, жизнь признанная и непризнанная, призрачная и бытовая, современная и историческая... Войдите в нее, отбросьте брезгливость, ухватите «чашу» своими жаждущими губами... Не ждите, что нечто произойдет «со временем». Приближайте это время своим участием в той жизни, какая есть...

«Со временем, птенцы, со временем!..

Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например... что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет [1]), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста. С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать».

«Птенцы», согласившиеся с прозвищем «нигилистов» (то есть все тот же круг «Русского слова»), создали себе успокоительную теорию «чистой совести», охраняющую

[1] Еще в «Современных призраках» Салтыков недвусмысленно высказался против произвольной «регламентации» и «усчитывания» будущего, которые он увидел, в частности в романе Чер-

их от будто бы бесплодного и грязнящего участия в практических действиях на поприще непривлекательной, полной скорби и муки социальной действительности. Они выработали, конечно, похвальное чувство «гадливости к жизни», гадливости, от которой один шаг — до отщепенства, сектанства и «хлыстовщины»[1] (эту опасность Салтыков усматривал в выступлениях публицистов «Русского слова», прежде всего — Варфоломея Зайцева, отсюда: «зайцевская хлыстовщина»). Но ведь в таком случае, о птенцы, вас следует называть «кающимися нигилистами», променявшими свое ничего и никого не щадящее отрицание на все то же понижение тона, приличествующее публицистике торжествующей, катковствующей... Кое-кто из этих кающихся нигилистов начинает исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относится уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту.

«— Да ведь давно ли вы утверждали противное? давно ли вы говорили, что и наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами? — спросил я на днях у одного из таких кающихся нигилистов.

— Наука и даст все это, — отвечал он.

— Да ведь наука развивается туго, а «жизненные трепетания» не ждут... Кто знает: быть может, она и заснула бы, ваша наука-то, без этих «жизненных трепетаний»...

— Ну да, наука и даст... все даст «со временем»... Что же касается до того, что она подстрекается «жизненными трепетаниями», то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому...»

На подобные рассуждения кающихся нигилистов Салтыков уже отвечал в статье «Современные призраки».

Все это, разумеется, не значит, что следует с головой погрузиться в те низменности, где так привольно живется глуповцу, хотя в этих-то низменностях и находятся в конце концов «источники всей силы общественной». Нет, все дело в том, «что полезная, разумная жизнь немыслима без деятельности, а деятельность, в свою очередь, совершенно немыслима до тех пор, покуда она не будет выведена из низменных сфер на больший простор»; когда будет сознано, что и в этой жизни есть место подвигу во имя идеала.

нышевского «Что делать?»; но «Современные призраки» не были тогда напечатаны и потому современникам остались неизвестны. Настоящее, и притом в подчеркнуто иронической, почти издевательской форме, высказывание затрагивает не столько Чернышевского, сколько «птенцов», брезгливо отворачивающихся от грязи современности и устремляющих взоры в чаемое будущее, когда «труд будет привлекателен» и т. д. Может быть, Салтыков имел в виду также идиллические картины социальной гармонии в увлекавшем его в молодости философском и социальном романе Этьена Кабе «Путешествие в Икарию».

[1] Салтыков в переносном смысле употребляет название одной из религиозных сект, знакомой ему по вятским общениям с раскольниками и сектантами.

В январе 1864 года Салтыков отправился в деревню — «не в видах общения с народом, конечно, и даже не в видах отыскивания некоторой фантастической «почвы» <намек на «почвенничество» Достоевского>, а просто, как говорится, по собственному своему делу». Но эта поездка «по собственному делу» дала содержание и богатую пищу не только реалистическим художественным картинам крестьянского быта, но расчетам и выводам об «экономике» крестьянского труда.

Здесь, в деревне, а не в городе, особенно чувствуется мертвящее дыхание зимы, только здесь, так сказать, всем нутром понимаешь неимоверную тяжесть крестьянского труда — уже зимою. В этом смысле февральская хроника служит продолжением «летнего фельетона» «В деревне».

Едет Салтыков деревенским заснеженным проселком. «Вчера было вьюжно, а потому проселок почти совсем замело; даже и нынче в воздухе словно кисель какой-то стоит; снег падает ровно, большими клочьями; ни впереди, ни по сторонам ничего не видать; там далеко что-то темнеет, но что это такое, деревня ли, лес ли, или длинной вереницей тянущийся обоз — нельзя понять. Маленькие сани так и тонут в пушистом снегу; лошадь, несмотря на незначительность тяжести и на краткость пройденного расстояния, взопрела и выбивается из сил. «А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» — беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве су-

ществуют на свете хозяева не «обожаемые»?), идет и не много и много, и далеко и не далеко, и опять слышит сзади знакомый голос, поощряющий ее: «Не далеко, милая, не далеко!» И мужик, все равно, что его покорная, все выносящая, «глупая и легковерная» лошадь, — «сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «Не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения».

Жизнь русского мужика не дает места для каких-либо идиллических предположений, которые еще не редки в русской литературе. Эта жизнь очень тяжела, «но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний. Как всякая другая жизнь, как... все на свете, она представляет богатый материал для изучения, а еще больше для сравнений и сопоставлений. Когда факт представляется перед нами в виде статистического данного, в виде цифры, то это еще совсем не факт, это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значение факта, необходимо знать, чего он стоит тому, кто его выносил, и по милости чьей он сделался фактом. Необходимо, одним словом, создать такую статистику, в которой слышалось бы присутствие тревожной человеческой деятельности, от которой отдавало бы запахом трудового человеческого пота». Февральская хроника и представляет собой опыт именно такой «живой» статистики. Мы, городские жители, чуждые вечному, никогда не прерывающемуся труду мужика, привыкли ценить этот труд четвертаками, полтинниками и рублями, «то есть ценим то, чему, в сущности, никакой цены нет и не может быть. Конечно, мы в своем праве, ибо видим и в произведении человеческого труда, и в самом труде не что иное, как товар; между тем это совсем не товар, а пот и кровь человеческая, а утраченное человеческое здоровье, а оскорбление человеческого достоинства, а потеря человеческого образа».

Вот унылый и тоскливый вид зимней деревни. Вот темные, слепые и сиротливые мужицкие избы. «Окруженные со всех сторон снежными сугробами, придавленные сверху толстым снежным пластом, они одним своим видом говорят путнику о всякой бесприютности, о всевозможных лишениях и неудобствах».

А внутренность курной крестьянской избы? Два-три семейства на пространстве около десятка квадратных аршин; «тут и древние старики, отживающие свой век на полатях, тут и взрослые дети их обоего пола, и подростки, и, наконец, малые дети до грудных младенцев включительно... Смрад от всякого рода органических остатков, дым от горящей в светце лучины, миазмы от скопления на малом пространстве большого количества людей, от мокрой одежды и всякого тряпья, развешанного для сушки около огромной печи, занимающей без малого четверть всего жилья...» «И вот где родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли».

Нравственные условия крестьянской жизни еще ужаснее. В беспрерывном изнуряющем труде, в почти животном быте, в передающихся из поколения в поколение предрассудках и мертвых преданиях коснеет народная масса. Неоткуда тут взяться притоку свежей мысли. «Непроницаемая тьма свинцовым пологом ощетинилась и отяжелела над этими хижинами...» В этой кромешной тьме утрачивается все человеческое. «Сын, безотлучный свидетель безмолвного малодушия или трусливого лукавства отца, может ли вынести из своих наблюдений что-нибудь иное, кроме собственного малодушия и лукавства? Сын, от сосцов матери привыкший видеть, что все вокруг него покоряется слепой случайности, не делая ни малейшей попытки к освобождению себя из-под гнета ее, может ли выработать что-нибудь иное, кроме безграничной веры в ту же слепую случайность? И таким образом переходит она, эта тьма, от одного поколения к другому, все круче и круче закрепляя проклятые тенета, которыми они спутаны». «Вот та нравственная и умственная среда, в которой родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли».

Это уже не тот мифический или символический Иванушка, образ которого мог заключать в себе то или иное содержание, смотря по тому, куда склонялась ищущая и жаждущая надежды и идеала, а, может быть, и бессознательно лукавая мысль (ведь увлекался некогда и славянофильством!). Нет, это тот самый «рваный», испитой, заезженный жизнью, как и его кляча, подмосковный мужик — кормилец и поилец земли русской. Боль, боль, боль захлестывала сознание и душу... Жизнь крестьянина — «это просто ад...»

Писарев заканчивал свою статью «Очерки из истории труда» словами: «Мы уважаем труд, но этого мало. Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику

и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием». Прекрасно, птенцы, прекрасно! О великая идея утопистов о «привлекательном» труде, столь манившая молодого Салтыкова! Да и сейчас, да и впоследствии он будет считать эту идею одной из самых важных и плодотворных в учении Фурье. Но здесь, лицом к лицу с русской деревней, с непосильным мужицким трудом он почти готов осмеять ее. С мужиком «было бы очень трудно сговориться и насчет привлекательности труда», ибо «привлекательного», приятного труда он и не знает, и желает он скорее отдыха и покоя, чем какого бы то ни было труда.

В отношении к мужику, спеленутому тенетами вековых предрассудков, нравственного бессилия, изматывающего труда, безнадежной бедности, требуется лишь одно: не идеализация и не обвинения, а знание и справедливость.

Но что же спасет русское общество, русскую деревню, русского мужика? И Салтыков вновь и вновь возвращается к теме активного общественного действия, поступка, практики.

Еще в прошлом, 1863 году, Салтыков собрал в два сборника — «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» — свои очерки, рассказы и сатиры, написанные после «Губернских очерков». Вошли в эти сборники фрагменты незаконченной «Книги об умирающих», сатиры «глуповского цикла», появлявшиеся в «Современнике».

Обращение Салтыкова в январской хронике к «птенцам», ожидающим какой-то «чаши», которая будто бы «со временем» сойдет к ним, к «кающимся нигилистам», уповающим на «науку», наконец, само определение «зайцевская хлыстовщина», — все эти иносказания и прозрачные намеки не могли не задеть и не взволновать редакцию «Русского слова».

Талантливейший публицист и литературный критик «Русского слова» Дмитрий Иванович Писарев, находившийся в это время в заключении в Петропавловской крепости (ему, однако, позволено было писать и печататься), сразу же откликнулся на январскую хронику и поводом нападения на Салтыкова избрал два его прошлогодних сборника. В своей статье «Цветы невинного юмора» Писарев упростил свою задачу, он оставил в стороне актуальное содержание «Нашей общественной жизни», да, в сущности, и спорный пункт полемики — об отношении к «жизненным трепетаниям». Всю свою силу критика и полемиста он направил на то, чтобы поразить Салтыкова-сатирика — автора «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов». Салтыкову в его чисто художественной «игре» будто бы безразлично, «куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих» (характерно, однако, признание, что для Салтыкова — публициста «Современника» — существуют «свои и чужие»; Писарев не сомневается, что своими были для него в конечном счете «базаровы» и «нигилисты»; с другой стороны, Салтыков для Писарева, несмотря на все резкости и грубости полемики, — свой). Вырывая из контекста сатир Салтыкова те их фрагменты, где «глуповство» представлено своей бессмысленно-смехотворной, комически-бытовой стороной, Писарев настаивает на том, что «к смеху г. Щедрина, заразительно действующему на читателя, вовсе не примешиваются грустные и серьезные ноты». Писарев проницательно заметил действительно характерную черту щедринского смеха — изощренный эзопов язык, вторжение в быт, и комическое преувеличение и даже искажение «правды» бытовых мелочей. Но, увлеченный полемикой, он не понимает или не хочет понять, что сатирические средства воспроизведения глуповского мира и не могли быть иными, он не слышит действительно серьезных и грустных, трагических нот рассказов «об умирающих» и «глуповских сатир».

Писарев заметил и еще одну действительную особенность «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов»: «Все внимание сатирика направлено на вчерашний день и на переход к нынешнему дню...» «Глупов, блаженствующий в своем нетронутом спокойствии, и Глупов, только что взбудораженный слухами о преобразованиях...» — таково, по мнению Писарева, все содержание щедринской сатиры. С этим наблюдением, несмотря на его утрированную форму, еще можно было бы согласиться, если б не следующее затем утверждение, что переход к нынешнему дню, хотя и совершился недавно, но «составляет для нас прошедшее, совершенно законченное и имеющее чисто исторический интерес; а историю эту писать еще слишком рано, да и совсем это не щедринское дело». «Бросьте прошедшее, ищите в настоящем», — рекомендовал Писарев Салтыкову, закрывая глаза на все творчество Салтыкова 1863—1864 годов, целиком посвященное настоящему, и прежде всего на хронику «Наша общественная жизнь». Писарев «не заметил» и настойчивых призывов Салтыкова, обращенных к «мальчишкам», заняться ре-

альным общественным делом, прикоснуться губами к «чаше», которая уже стоит на столе. Однако на последних страницах статьи он все же разъяснил, в чем, по его убеждению, должно заключаться «дело»: «...скромное изучение химических сил и органической клеточки составляет такую двигательную силу общественного прогресса, которая рано или поздно — и даже скорей рано, чем поздно, — должна подчинить себе и переработать по-своему все остальные силы». А закончил Писарев свою статью такой почти издевательской рекомендацией самому Салтыкову: «...естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию. И потому еще раз скажу г. Щедрину: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его уменье владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить».

Салтыков, к счастью, этому совету не последовал, да и не мог последовать, потому что вся его публицистика 1863—1864 годов, и «Наша общественная жизнь» в первую очередь, была глубочайшим исследованием, — конечно, в формах, отличных от «глуповского цикла», — все того же города Глупова, и теперь уже не в крепостническом прошлом, не в эру «глуповского возрождения», а в наступившем многотрудном и многосложном настоящем.

Как раз в мартовской хронике, писавшейся тогда, когда Салтыков уже прочитал статью Писарева о своем «невинном юморе», он публицистически и художественно анализирует новое явление — выход на арену русской общественно-политической жизни «мальчиков», которых не надо путать с «мальчишками», — «молодых драбантов», политиков и администраторов новой школы, тех, кого еще в глуповском цикле он назвал «новоглуповцами». Но тогда ему казалось, что новоглуповцы — продукт окончательного умирания Глупова, теперь же именно «мальчики» определяют современную общественную жизнь и вовсе не собираются умирать. Они, эти «молодые драбанты», задумали подновить состряпанную «старыми драбантами» «яичницу» и обкормить ею вселенную.

Общество, также и в результате усилий «молодых драбантов», находится в таком положении, когда ему грозят те гневные движения истории, о которых Салтыков писал в статье «Современные призраки». «Насильственное задерживание» общества на старых, битых коленях «чревато мрачными последствиями». Одно из них состоит в том, что хотя «разумное и живое дело не изгибнет никогда», «легко может случиться, что ненужные задержки извратят на время <и притом, может быть, на весьма долгое время> его характер и вынудят пролагать себе дорогу волчьими тропинками». Разумеется, живому и разумному делу в конце концов предстоит торжество, а его противникам — падение. Но с нравственно-просветительской точки зрения, которая и была точкой зрения Салтыкова, — «не нужно падений, но не нужно и торжеств», ибо ни то, ни другое не нормальны, и их не было бы, если бы обществу было предоставлено развиваться естественно, без искусственного «насильственного задерживания», и тогда излишним стал бы «бой».

И тут Салтыков, в ответ на нападение «Русского слова», решается сделать открытый и резкий выговор тем «мальчишкам», которые «с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила», тем «мальчишкам», которые в то время, когда все большую силу приобретают «проклятая каста мальчиков», уклоняются от действительного дела общественного преуспеяния. Это — «вислоухие и юродствующие», с радостью ухватившиеся за бессмысленное слово «нигилизм» как свое наилучшее определение. На вопрос: «Чем вы занимаетесь?» — они с самодовольством отвечают: «Мы занимаемся нигилизмом». Это Салтыков и называет «презрением к практической деятельности», которому он посвящает несколько последних страниц мартовской хроники, не появившихся, однако, в печати. Очень может быть, что сама редакция «Современника» сочла «несвоевременным» и спорным заявление Салтыкова, что сражаться против враждебной действительности «нужно средствами, по малой мере равносильными и притом по образу и подобию». Главное же свое убеждение Салтыков высказал в словах, заключающих ненапечатанный текст хроники: «Да, я говорил и буду говорить без устали: гадливое отношение к действительности, *какова бы она ни была,* не поведет ни к каким результатам, кроме апатии и бездействия со стороны тех, которые предаются такой гадливости, и кроме оконча-

тельного торжества тех темных сил, которые и без того торжествуют не мало. Необходимо, наконец, отрезвиться, необходимо поставить свою деятельность на почву реальную».

Но этот страстный призыв не может быть обращен ко всем без изъятья. Салтыков еще и еще раз обдумывает тактику действий передового общественного деятеля, в такую эпоху, когда ниву жизни заполонили «мальчики», а масса коснеет в невежестве, бессознательности и тяжком труде, лишь в редкие моменты истории заявляя о себе плодотворно и прочно. «Мальчишкам» Салтыков может делать выговоры, не признавать их принцип «со временем», их «скромное химическое изучение»; их можно и нужно со всей силой убедительности призывать «поставить свою деятельность на почву реальную».

Но Салтыков готов признать, что есть и другие люди — особенные. Их запрос к жизни поражает своей громадностью, их идеал распространяется так неизмеримо далеко, что не имеет ничего общего с текущей действительностью, с практической деятельностью на почве реальности. Это идеал всеобщий, всечеловеческий, вековечный. Главное их человеческое качество — абсолютная непримиримость, неумение и нежелание идти на уступки, даже непонимание того, что такое уступка; они «непрактичны» в высоком смысле слова. Когда Салтыков писал о таких людях в апрельской хронике, он думал, конечно, об арестованном Чернышевском, о его социалистической утопии. Его влечет и поражает сама эта удивительная личность и вообще тип людей такого склада. Он, вероятно, вспоминает своего многолюбимого учителя Петрашевского, он не может забыть и судьбу социалистического пророка Шарля Фурье. Как мыслят эти люди? «С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны — столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые об-

разы <речь идет, конечно, о романе Чернышевского в в первую очередь>. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действительной должны казаться не более как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием».

Такие люди — цвет человечества, они созидают и хранят великую мысль и великую надежду, они всегда готовы на вдохновляющий подвиг ради всечеловеческого идеала. (Как тут не вспомнить толкование Салтыковым картины Ге «Тайная вечеря».) Но они — не практики, им необходимы «прозелиты» — верные ученики и проповедники их учения в массе, ученики, которые уже не имеют права на брезгливость и равнодушие по отношению к действительности, какой бы она ни была, чернорабочие мысли, которые своей повседневной практической работой, а если нужно — и своей кровью — «утучняют почву» (как было сказано еще в «Каплунах»).

В апреле 1864 года Салтыков вновь откликнулся на статью Писарева «Цветы невинного юмора», поднял брошенную критиком «Русского слова» перчатку. В этом отклике опять-таки звучит «глуповская» тема. С полной и даже вызывающей откровенностью Салтыков определяет свою читательскую аудиторию: это глуповцы, кровно и безотлагательно нуждающиеся, однако, не в естественнонаучных знаниях, а в свержении с пьедесталов и оплевании старых идолов, которые еще представляются им богами. Да, сознание глуповцев требовало «просветления», но просветить его могло только освобождение от призраков их гражданского, общественного бытия. «На днях, — пишет Салтыков, — один из знаменитейших наших ерундистов <то есть Писарев> упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана?.. Я деятель скромный и в этом качестве скромно разработываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны».

Апрельская хроника не была напечатана, может быть, опять отвергнута редакцией: ведь в ней, пусть в

несколько иной форме, в далеко зашедшей полемике с «Русским словом», развивались мысли, впервые высказанные в «Каплунах».

Лето Салтыков провел в Витеневе, и здесь к осени у него все более определенно складывается решение оставить «Современник», где в последнее время чуть ли не каждая его статья подвергалась редакционной цензуре, где чинились препятствия откровенному, хотя, в понимании редакции, и несвоевременному выражению его мыслей.

Наиболее сложными были отношения с М. Антоновичем, считавшим себя наиболее последовательным проводником традиций Чернышевского в журнале (при всей несомненной незаурядности Антоновича таковым он все же не был). Однажды в одном из более поздних писем к Некрасову Салтыков даже предлагал «молиться об укрощении антоновичевского духа». Среди добродетелей Салтыкова тоже не было уступчивости и мягкости. Антонович, твердый характером и упорный в проведении своей линии, вел за собой Елисеева и Пыпина. Салтыков насмешливо именовал эту троицу, определявшую тогда направление «Современника», «духовной консисторией»[1] (Антонович и Елисеев были выходцами из духовного сословия; Пыпин, двоюродный брат Чернышевского, принадлежал к этому сословию по матери).

О внутриредакционных разногласиях в энергичных выражениях писал Салтыков 6 октября Некрасову: «тут идет дело о том, могу ли я угодить на вкус гг. Пыпина и Антоновича». При этом он напомнил Некрасову, что когда тот приглашал его для работы в «Современнике» (не просто для сотрудничества, а именно для совместной редакционной работы), речь шла о необходимости придать жизни журналу в то время, когда он лишился своей главной идейной силы — Чернышевского, после восьмимесячного «поста»: «и так как это совершенно совпадало с моими намерениями, то и я отнесся к делу сочувственно. Надо же дать мне возможность вести это дело». Возникла срочная необходимость встретиться с Некрасовым в Витеневе (Салтыков приглашает Некрасова к себе в деревню «хотя переночевать»), или в Москве, а может

[1] Консистория — присутственное место в епархии (церковно-административной единице).

быть, и в некрасовской Карабихе. Мы не знаем где, но такая встреча состоялась. Ничего не известно также о содержании бесед Салтыкова и Некрасова, известен только их результат: Салтыков вышел из числа редакторов, оставшись, однако, сотрудником журнала.

Сложность положения Салтыкова усугублялась тем обстоятельством, что какой-то части демократически настроенных читателей он представлялся в журнале чужаком, «чужой овцой», статским советником в мундире с золотым шитьем, напялившим на себя костюм Добролюбова, как называл Салтыкова публицист «Русского слова» Варфоломей Зайцев («зайцевская хлыстовщина»!) в статье «Глуповцы, попавшие в «Современник» («Русское слово», 1864, № 2). «Совместить в себе тенденции остроумного фельетониста <то есть Щедрина> с идеями Добролюбова журнал, уважающий себя, не может. Надо выбрать одно из двух: или идти за автором «Что делать?», или смеяться над ним <разумелись высказывания Салтыкова>. Посмотрим, как-то вы выйдете из этого поистине глуповского положения», — так заканчивал Зайцев свою статью. «Современнику» недвусмысленно предлагалось избавиться от «чужой овцы». В этих условиях Некрасову, имевшему решающий голос в редакционных делах, пришлось пожертвовать Салтыковым в пользу «духовной консистории». Помнил он и о нападках «Русского слова». Впрочем, Салтыков и сам уже был готов к такому исходу дела.

Решение о выходе из редакции «Современника» было, конечно, для Салтыкова непростым и требовало поиска каких-то иных путей и возможностей для деятельности. Оно ломало тот порядок жизни, на окончательное «установление» которого он твердо надеялся, вступая в редакцию как ее полноправный и активный член. Журналистская работа захватила Салтыкова: он оказался прирожденным редактором. К тому же уход из «Современника» лишал Салтыкова единственного издания, где он, не кривя душой и не изменяя своим кровным и теперь уже сложившимся убеждениям, мог печататься; теперь же оказывалось, что в каких-то, и довольно существенных, оттенках этих убеждений (главным образом, по вопросам тактики, «своевременности» или «несвоевременности») он с большинством редакции разошелся.

Кроме того, работа в журнале (а это было для Салтыкова немаловажным) достаточно хорошо обеспечивала его материально, давая ему возможность пользоваться

привычным обиходом, таким, который складывался на протяжении многих лет и оказывался необходимым для жизни и для работы. Теперь он этого обеспечения лишился. Доходы же с ярославского имения Заозерье, находившегося, после раздела в общем владении с братом Сергеем, были «засеквестрованы» разгневанной за непочтение матерью в уплату за долг, взятый когда-то для покупки Витенева. Оставался единственный выход: статский советник Салтыков возвращался на государственную службу.

И 20 октября 1864 года он подает прошение министру финансов Михаилу Христофоровичу Рейтерну с просьбой определить его на открывшуюся в Полтаве «вакансию» председателя Казенной палаты — губернского учреждения министерства финансов.

Вскоре Салтыков и был назначен председателем Казенной палаты — но не в Полтаве, а в Пензе. Итак, он становился финансистом — ему открывалась еще одна сторона русской провинциальной жизни в пореформенную эпоху.

Чем можно объяснить такой его выбор? Конечно, какую-то роль могла сыграть случайность — просто открылась вакансия. Однако возвращение на службу в министерство внутренних дел, даже если б там и была вакансия, при министре Валуеве, после тверских событий конца 1861 — начала 1862 года, естественно, оказывалось невозможным. Министр же финансов Рейтерн — старший товарищ Салтыкова по лицею — был одним из последних могикан правительственного либерализма в аппарате высшей петербургской бюрократии. Для Салтыкова — с его жадным и активным интересом к перипетиям реальной действительности, к тому, что происходило в гуще народной жизни, — могло иметь немаловажное значение и то обстоятельство, что учреждения министерства финансов, в том числе губернские казенные палаты, принимали непосредственное участие в проведении выкупной операции. Председатель Казенной палаты, в отличие от вице-губернатора, являлся членом Губернского по крестьянским делам присутствия, которое рассматривало и утверждало сделки о выкупе и представляло их в Главное выкупное учреждение (орган министерства финансов) для разрешения выдачи ссуд помещикам. Незадолго до того, как Салтыков решил занять место председателя Казенной палаты, в августе 1864 года, было признано необходимым расширить полномочия

казенных палат: именно им было поручено наблюдение за взиманием с крестьян выкупных платежей и ведение всей соответствующей отчетности.

Переход крестьян на выкуп шел очень трудно, медленно, при пассивном сопротивлении крестьян, ждавших какой-то другой, истинной воли. Противоположность помещичьих и крестьянских интересов обнаруживалась в этом случае наиболее явно. Помещики добивались скорейшей выплаты выкупных сумм, что давало им верный и обеспеченный доход в виде выкупных свидетельств (особых процентных бумаг; небольшая часть выкупа выплачивалась и деньгами) и освобождало их от непосредственных имущественных отношений с крестьянами. Многим из помещиков, при полном неумении вести хозяйство в новых условиях «свободного труда» (хозяйствование такого помещика, который за год «два рубля тридцать четыре с половиной копейки барыша» получил, изобразил Салтыков в февральской за 1864 год хронике «Нашей общественной жизни»), оставалось лишь одно — «проедать» выкупные свидетельства. Крестьянам же, несшим так называемую издельную повинность (то есть работавшим у помещика на барщине), для проведения выкупной операции требовалось предварительно заменить эту повинность оброком — денежной податью. Этот оброк становился выкупными платежами, которые, по завершении выкупной операции, крестьянин вносил уже в государственную казну. Но где было взять деньги крестьянам земледельческих непромысловых губерний, получившим к тому же ничтожные наделы?

·

6 ноября Салтыков был определен председателем пензенской Казенной палаты и в конце ноября отправился из Петербурга, правда еще не в Пензу, а в Витенево.

Наступила зима, в деревне гораздо более ощутимая, чем в городе, ранящая душу безмолвием, безжизненностью, пустынностью. В тоскливом деревенском одиночестве, в доме, окруженном снежными сугробами и помертвевшими белыми полями, еще труднее переносились и разрыв с «Современником», и новая размолвка с матерью, да и необходимость предстоящей вынужденной службы в одной из захолустных провинциальных губерний. «Я живу еще в деревне, — писал Салтыков о своих делах и своем настроении Анненкову 14 декабря 1864 года, — дела мои до того гадки, что я собственно для того, чтобы

не видать их, уезжаю в Пензу 2-го или 3-го будущего месяца. А как туда ехать противно — не можете себе представить».

Сила вещей, сила неблагоприятных и гнетущих обстоятельств, эта фатальная и трагическая необходимость оторваться от любимого дела, от литературного труда и вновь окунуться в тину службы в провинции вызывала у нервного, темпераментного и нетерпеливого Салтыкова глубочайшее раздражение, иной раз — вспышки необузданного гнева и злобы по отношению к тем, в ком воплощалась ненавистная глухая и душная атмосфера провинциального чиновничества и помещичьего дворянства. Под знаком такого жесткого ненавидящего отрицания и вызывающего неприятия прошли последние годы службы Салтыкова.

Тем не менее ехать в Пензу надо было, и в начале января будущего, 1865, года Салтыков покинул Витенево. В должность председателя пензенской Казенной палаты он вступил 14 января.

Салтыков не умел работать вполсилы. Всякое дело, за которое он брался, даже если поначалу оно и вызывало у него чуть ли не отвращение, в конце концов завладевало им целиком, в каждом деле он находил хоть крупицу той практической целесообразности, которая была определяющим постулатом его миросозерцания, стимулом, нервом его жизни. Необыкновенная память, острота и мощь разума, гений художника, огромная воля и работоспособность превращали вроде бы заурядную канцелярщину и, как было в теперешнем случае, бухгалтерию и счетоводство в осмысленный, хотя и тяжелый труд, вовлекавший и сослуживцев и подчиненных.

Но главное заключалось в том, что на этом фундаменте бесконечных цифр доходов, расходов, торгов, недоимок — сознательно и бессознательно — строилось здание необыкновенно острой аналитической публицистики и гениальной сатиры, вскоре принявшее вполне осязаемые и конкретные формы.

Обязанности Казенной палаты в эти годы финансовых реформ были весьма обширны и в основном сводились к следующим: «распоряжение по взиманию государственных доходов и производству расходов, счетоводство и отчетность, в том числе и наблюдение за поступлением недоимок; затем, счет народонаселения и заведывание рекрутской повинностью; наконец, наблюдение за правильным и успешным поступлением сборов за право торговли и других промыслов, в том числе и наложение штрафов».

И все это неизменно находилось в поле зрения и деятельности Салтыкова. Через полтора месяца пензенской службы Салтыков пишет Анненкову: «...я весь погряз в служебной тине, которая оказывается более вязкою и засасывающею, нежели я предполагал. Гаже и беспорядочнее здешней казенной палаты невозможно себе представить...» Салтыкова охватывает беспокойство, что «тина» службы засосет его до такой степени, что помешает главному его делу — литературному труду. Служба, пишет он, «отнимает у меня все время, но, что всего хуже, я не имею ни малейшего повода заключить, чтоб труд мой принес какой-нибудь плод *для меня* в будущем, то есть чтобы я когда-нибудь мог приобрести необходимый для меня досуг» — досуг, конечно, необходимый для литературного творчества. Но плод в будущем и эта служба, несомненно, принесла.

Когда Салтыков ехал в Пензу, он, конечно, помнил, что пензенская земля дала русской культуре таких гигантов, как Белинский и Лермонтов. И его поразило в той среде, в которую ему пришлось сразу же окунуться — в среде чиновничества и помещичьего дворянства, — отсутствие каких-либо духовных — человеческих — запросов и интересов. Из его творческого сознания не ушел, конечно, и тот образ, который у него сложился ранее — образ города Глупова. Но здесь этот образ повернулся к нему новой гранью, пожалуй, более определенной и конкретной. Само собой, неразумие и «глуповство» отличали и эту среду, но особенно бросалось в глаза засилье непроходимой пошлости и чревоугодия. И потому в сознании Салтыкова начинают складываться «Очерки города Брюхова». Впрочем, как сказано в том же письме к Анненкову, вряд ли выйдут они удачны: «Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно скучился этот навоз — просто любо. Ничем не разобьешь».

И Салтыков предпринял поистине героические усилия, чтобы разбить, расшевелить этот навоз. Делал он это прежде всего как председатель Казенной палаты, сразу же вступив в конфликт с большинством Губернского по крестьянским делам присутствия, утверждавшего выкупные сделки между крестьянами и помещиками. Если крестьяне отказывались заключить выкупную сдел-

ку, закон предусматривал обязательный выкуп, без согласия крестьян. Салтыков, еще в годы рязанского вице-губернаторства решительно заявивший, что не даст в обиду мужика, и в этом случае смотрел на выкупную операцию глазами крестьян-землепашцев, оказывавшихся не в состоянии вносить выкупные платежи. Формально Салтыков заботился об интересах государства, ибо накопление недоимок росло почти катастрофически, подрывая государственные финансы. Он подал более десяти ясно, веско и энергически написанных «особых мнений», которые, по распоряжению министра финансов Рейтерна, доводились до его сведения. На одном из заседаний Губернского по крестьянским делам присутствия в ноябре 1865 года Салтыков в своем «особом мнении» разъяснил, что не может согласиться с заключением присутствия о выдаче выкупной ссуды некоему майору Арапову, потому что удостоверение мирового посредника о состоятельности крестьян принадлежащего этому майору сельца Дурасовки (какое великолепное, поистине щедринское название!) «к исправному взносу выкупных платежей написано столь голословно и притом в таких общих выражениях, что невозможно иметь никакого убеждения в том, чтобы состоятельность эта существовала на деле, а не на бумаге. А потому и принимая во внимание: а) что крестьяне сельца Дурасовки отказывались от перехода на оброк и заявили о своем желании остаться на издельной повинности; б) что желание это вполне объясняется тем, что крестьяне эти не имеют других промыслов кроме земледелия и, следовательно, к добыче денег встречают затруднения и в) что в Пензенской губернии именно вследствие трудности в отношении каких-либо промыслов, могущих приносить деньги, недоимка в выкупных платежах возросла до громадных размеров, председатель Казенной палаты просит Губернское присутствие представить настоящее мнение его в Главное выкупное учреждение», то есть в конечном счете самому министру финансов.

В другой раз Салтыков не соглашается с утверждением выкупной сделки, потому что мировой посредник поторопился перевести крестьян на обязательный выкуп, не дав им установленного законом месячного срока «на составление приговора о том, желают ли они приобрести в собственность весь надел, отведенный по уставной грамоте, или надел уменьшенный». Посредник объяснил свои действия тем, что крестьяне отказались составлять

такой «приговор». По мнению Салтыкова, эта «причина не может заслуживать уважения, во-первых, потому, что крестьянам ничто не запрещало и изменить это решение, а, во-вторых, потому что закон во всяком случае должен быть исполнен».

Какова же была нищета, хозяйственная беспомощность, исконная привычка к малопроизводительному труду на своем наделе или барской «издельщине», невозможность сбыть даже и скудные плоды своего труда, что русский свободный мужик-хлебопашец предпочитал остаться чуть ли не в прежней крепостной зависимости от своего бывшего владельца. До чего же истощен и измучен был ты, кормилец и поилец земли русской!

Салтыков сам проверял ведомости крестьянских платежей и недоимочных реестров, и бывали случаи, что он скащивал недоимки как начисленные неправильно. Но зато неумолим и беспощаден был председатель Казенной палаты, если обнаруживал уклонение от уплаты податей и сборов со стороны состоятельных помещиков, промышленников и торговцев. При всякой возможности защищая крестьян от нищеты и разоренья, Салтыков не мог не вступить в борьбу с коренным пензенским дворянством. Собственно, «особые мнения» уже являлись формой такой борьбы. Но Салтыков шел и дальше. Получив, например, ведомость Мокшанского уездного казначейства, он узнает из нее, что за помещиками-землевладельцами уезда с 1 апреля 1865 года числится недоимки более тринадцати тысяч рублей. В «форменной бумаге», направленной губернатору Александровскому в мае 1865 года, Салтыков обрушивает свой гнев на дворян-неплательщиков и бездействующую полицию. Со свойственной ему язвительной прямотой он обобщает: «Некоторые из господ землевладельцев как бы приняли за правило не платить следующих с них сборов». А «совершенное бездействие» уездных полицейских властей во взыскании недоимок с помещиков ведет ко все большему их накоплению. Среди злостных неплательщиков был назван и генерал-лейтенант Арапов, губернский предводитель дворянства. Понуждая губернатора принять полицейские меры по отношению к недоимщикам из дворян, Салтыков знал, на что шел: антидворянская тенденция, намерение уязвить эту плотно скучившуюся массу помещичьей круговой поруки не остались тайной для всех этих Араповых, Сабуровых и иже с ними, владевших обширными поместьями в Пензенской губернии. Это о них вспомнил

Салтыков много лет спустя в «Пошехонских рассказах»: «Куда, бывало, не повернись — везде либо Арапов, либо Сабуров, а для разнообразия на каждой версте по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся — все промежду себя; Араповы на Сабуровых женятся, Сабуровы — на Араповых, а Бекетовы и Загоскины сами по себе плодятся. Чужой человек попадется — загрызут».

Масла в огонь подлил пензенский губернатор Александровский. Поданную ему «форменную бумагу» Салтыкова он переправил в Мокшанскую полицию для принятия мер ко взысканию недоимок. История получила широкую огласку. Началась беспримерная «грызня» местных помещиков-тузов с пришлым губернатором. Это было одно из столкновений между двумя «ипостасями» самодержавной власти, так сказать, двумя «головами» символа этой власти — двуглавого орла, — правительственной бюрократией и помещичьим «земством».

Конфликт между пензенским губернатором и пензенскими дворянами вызвал беспокойство даже на верхах власти. В III отделении, высшем органе политической полиции, в последних числах декабря 1865 года было заведено дело «О неприязненных отношениях, возникших между пензенским губернатором Александровским и тамошним губернским предводителем дворянства Араповым», и поводом к возникновению таких отношений было именно требование Салтыкова о взыскании недоимок с помещиков. За перипетиями всего этого дела, и что важнее всего для нас, за участием в нем Салтыкова внимательно следил пензенский жандармский штаб-офицер подполковник Андрей Глоба.

Александровский был определен в Пензу еще в 1862 году, и в течение года его отношения с пензенским дворянством были самыми радушными и приветливыми и, как писал в донесении от 12 января 1866 года Глоба, «скреплялись даже дружбою» с губернским предводителем дворянства А. Н. Араповым. Однако потом разные «наушники» стали передавать губернатору «сплетни, послужившие поводом к ожесточению его против дворян, а сих последних — против губернатора» (из того же донесения).

Нетрудно догадаться, что за «сплетни», касающиеся губернатора, стали распространяться в пензенском обществе. Это были, однако, не столько «сплетни», сколько достаточно достоверные, хотя, возможно, и прикрашенные пикантными подробностями, факты о его отнюдь не добродетельном прошлом. Тот же Глоба назвал Александровского «мещанином во дворянстве», наделенным «неукротимым характером». Это и в самом деле был грубый, надменный, необузданный в словах и поступках деспот и самодур, к тому же баснословно богатый.

Салтыков узнал Александровского в начале 1865 года, когда отношения того с дворянством уже не были безоблачными, и, конечно, сразу же по прибытии в Пензу был оповещен о темном прошлом губернатора. В письме к Анненкову от 2 марта 1865 года Салтыков со свойственной ему грубоватой беспощадностью рисует выразительнейший портрет пензенского начальника губернии. Польский шляхтич, Александровский оказался на Кавказе и служил там у знаменитого кавказского наместника князя М. С. Воронцова, по словам Салтыкова, «чем-то вроде метрдотеля» (на самом деле он был чиновником особых поручений), и, «имея значительный рост и атлетические формы, приглянулся княгине», вследствие чего приобрел силу и у князя. Ему поручались «самые лакомые дела». Так, «на долю его выпало следствие о греке Посполитаки, известном откупщике, который не гнушался и приготовлением фальшивых денег». Уличив Посполитаки, Александровский предложил ему дилемму: «или идти в Сибирь, или прекратить дело и отдать за него, Александровского, дочь с 6 миллионами приданого. Выбран был последний путь, и вот теперь этот выходец — обладатель обольстительной гречанки... и баснословного богатства». Но этим уголовные деяния Александровского не ограничились. Салтыков продолжает: «Брат его служил адъютантом у Бебутова <крупный чиновник Закавказского края>, который, как известно, не имеет бессребреничества в числе своих добродетелей. После какой-то победы он послал адъютанта своего в Петербург с известием и, пользуясь этим случаем, вручил ему 200 тысяч р., прося пристроить их в ломбард». Александровский-брат, «исполнивши поручение своего владыки, возвращался восвояси с ломбардными билетами на имя неизвестного. Но на одной из станций около Тифлиса встретился с каким-то проезжим, поссорился и получил пощечину». Это, должно быть, так его поразило, что он застрелился. «Билеты перешли к брату <то есть будущему губернатору>, яко к наследнику, и хотя Бебутов писал к нему письма с усовещиваниями, но Александровский остался непоколебим». Салтыков заключает:

«Вот Вам глава Пензенской губернии; остальное на него похоже, если не хуже».

Сначала отношения Салтыкова с губернатором внешне были даже дружелюбными. Глоба в одном из своих донесений сообщал об огромном и подавляющем влиянии, которое получил Салтыков на губернатора. И влияние это, по сообщению того же Глобы, было отнюдь не безобидным: оно «отразилось на действиях губернатора полнейшею неприязнью к дворянам». И даже бумага-то эта о помещичьих недоимках будто бы была «г. Салтыковым писана с умыслом, потому что г. Салтыков не раз позволял себе выражаться неприязненно о дворянстве вообще и, не стесняясь, бранил издателя «Московских ведомостей» г. Каткова за то, что он передался дворянам, которые поддерживают самодержавие».

Салтыков прекрасно знал цену как губернатору, которого он вынудил предъявить помещикам законные требования об уплате полагающихся налогов (впрочем, губернатор «распубликовал» своих врагов, по-видимому, не без удовольствия), так и араповско-сабуровской «земщине»: ведь чужого человека загрызут, съедят, слопают! Город Брюхов — это все они, объедалы и чревоугодники, во главе со своим предводителем, славившимся обильными «лукулловыми» обедами: «Нельзя сказать, чтобы предводитель отличался какими-нибудь качествами ума и сердца; но он обладал брюхом, и в этом брюхе, как в могиле, бесследно исчезали всякие куски». Вообще, город П*** (то есть Пенза), как напишет Салтыков в наброске «Приятное семейство», выработал особую религию — религию еды, почему и может быть назван городом Брюховым. «Каждый день, в пяти-шести местах, званый обед, и везде что-нибудь необыкновенное, грандиозное, о чем ни Борелям, ни Дюссо <фешенебельные петербургские рестораны> и во сне не снилось».

Внешне дружелюбные отношения Салтыкова с губернатором — вором и самодуром — не могли, конечно, продолжаться долго.

Художественная фантазия Салтыкова разыгрывается, и в череде сатирических фигур его губернаторов появляется образ-гротеск — губернатор, летающий по воздуху. В пензенских гостиных он читает (или рассказывает) ядовитый, вызывающий неудержимый смех памфлет (возможно, так и не записанный) на местных чиновников, которые — передает свои впечатления свидетель — «выведены» в самом неприязненном и неприглядном виде: «с подносами бегают и «ура» кричат», то есть лакейские должности исполняют. Салтыков, наверно, вспомнил эпизод из своих же вятских впечатлений, когда на обеде у председателя вятской палаты гражданского суда он с удивлением увидел столоначальников суда в роли лакеев. Но здесь сатирой уже были задеты чиновники пензенские, которых всех можно было в памфлете узнать, хотя, разумеется, имена и не были названы. «А поступки нелепые, так что и быть того не может и вообразить нельзя. Губернатор по воздуху летает и нехорошими словами ругается». Александровскому, конечно, поспешили передать эту «критику», и он «был очень недоволен и с г-ном управляющим <то есть Салтыковым> не кланяется...». Нелепость «брюховского» чиновничьего мира во главе с ругающимся нехорошими словами губернатором (а Александровский был действительно весьма несдержан в выражениях) вызывала Салтыкова на создание «нелепых», то есть комических гротескных образов.

Пребывание Салтыкова на посту управляющего пензенской Казенной палатой стало и вовсе невозможным, когда он в действиях губернатора вскрыл прямое казнокрадство. «Подписывая ведомости о расходах, произведенных Казенной палатой по распоряжению губернатора на содержание политических заключенных и ссыльных, Салтыков обратил внимание на большие расхождения относящихся сюда данных Казенной палаты с теми сведениями, которые были получены от губернатора, непосредственно отвечавшего за эту статью расходов. Довольно крупные суммы, указанные губернатором по этой графе расходов за 1862—1864 годы, непонятным образом отсутствовали в документации Казенной палаты, то есть не подтверждались. По поводу этого неблагополучия в отчетности, бросавшего тень уголовщины на губернатора, Салтыков изложил, в резкой форме, свое «мнение». Он довел его до сведения не только самого губернатора, но и министерства финансов, чем навлек на себя ярость Александровского» (С. А. Макашин).

2 декабря 1866 года, после почти двухлетнего там пребывания, Михаил Евграфович и Елизавета Аполлоновна оставили Пензу. Образ города Глупова обогатился здесь «брюховскими» чертами и вместе с тем, видимо, сатирически заострился, если можно так выразиться, — «гротесковался», постепенно приобретая те беспощадно-«нелепые», страшные и уродливые сатирические формы,

в которых скоро предстанет он перед пораженным читателем в «Истории одного города».

Сама жизнь была удивительна и гротескна. Неумолимый обличитель бюрократии, начальстволюбия и чинопочитания, Салтыков именно в эти декабрьские дни еще выше поднялся по иерархической лестнице табели о рангах: ему был присвоен чин действительного статского советника, штатского генерала!

В самом конце декабря 1866 года Салтыков прибыл на новое место своей службы управляющим Казенной палатой в Туле.

И опять — в делах, теперь уже Тульской палаты — мерзость запустения, путаница и неразбериха; шеренги и колонки цифр. Опять — чинобоязнь и начальстволюбие подчиненных, дошедшее до того, что начальники отделений Казенной палаты, не дождавшись еще появления нового управляющего в присутствии, поспешили отправиться к нему для представления домой.

И вот приходит в палату недовольный и раздраженный явлением к нему на квартиру чиновников Салтыков, суровый и мрачный на вид, проходит в присутствие, «застает там старшего делопроизводителя с кипою бумаг на присутственном столе и, указывая на него, спрашивает сопровождавших его начальников отделений:

— Это кто такой?

Докладывают:

— Старший делопроизводитель.

— Зачем, — говорит, обращаясь к нему, — вы здесь сидите?

Объясняют:

— По распоряжению бывшего управляющего все члены общего присутствия сидят здесь.

— Что же вы тут делаете?

— Обсуждаем дела общего присутствия.

— Что за дела такие? Вы знаете, что теперь управляющий один своею властью решает все дела по докладу одного из начальников отделения, причем же тут общее присутствие ваше, и зачем будут торчать здесь другие члены?[1] Мешать только докладам, отвлекать от дела себя и других пустою болтовнею или непрошеными советами? Вот нашли место для занятий! Разве чтобы подписывать, не читая, бумаги, какие подложат? Эй, швейцар, — кричит он, указывая на зерцало, — убери подальше это воронье пугало, чтобы его тут не было. В этой комнате должен быть мой кабинет, а не какое-то мифическое присутствие. Я буду здесь сидеть один, а вас прошу заниматься в своих отделениях; когда будет нужно, позову вас» (эту сценку воспроизвел в своих воспоминаниях тогдашний старший делопроизводитель палаты И. М. Мерцалов).

[1] Действительно, законоположением 1866 года общие присутствия (коллегии) Казенных палат были отменены и председатель палаты стал называться управляющим.

Все это было совсем не похоже на обычные представления чиновников своим начальникам. Да и вызывающая презрительная выходка с зерцалом — «вороньим пугалом» — поразила и напугала присутствующих, и тут же весть о ней разнеслась по городу. Ведь зерцало — особая трехгранная призма с царским орлом наверху и указами Петра I о соблюдении правосудия — по закону обязательно должно было находиться в присутственных местах как символ самодержавия. Теперь уже тульский жандармский штаб-офицер полковник Муратов не замедлил сообщить губернатору и донести в Петербург о дерзком поступке нового управляющего. К этому жандарм добавлял, что Салтыков является в присутствие в пальто, то есть в обычной одежде, а не в форменном платье и «дозволяет себе курить, несмотря на то, что в присутствии находится портрет государя императора!» Ведь так утрачивается должное уважение (понятно, к кому и к чему)! — обобщал полковник. Салтыков же, если и имел когда-нибудь такое уважение, то давно уже его утратил. И приказ о «ссылке» зерцала не был, конечно, просто неосторожно сказанной фразой, вылетевшей в минуту безудержного раздражения. По поводу этой «выходки» Салтыкову пришлось давать объяснения в Петербурге, где ему, по собственным же словам, так «взмылили» голову, что вышел, словно из бани.

Но совсем иным было отношение Салтыкова к зависевшим от него чиновникам и мелким торговцам и ремесленникам, за поступлением сборов и налогов с которых он тоже обязан был следить. И они очень скоро поняли, что Салтыков, при всей его строгости и раздражительности, не был начальником злым, несправедливым и деспотичным. Он сам знал за собой эту бурную, неудержимую вспыльчивость. Нашумит, накричит, наругается, отведет душу — и отойдет, даже прощения придет просить. Однажды, рассказывает И. М. Мерцалов, не понравилась ему ведомость губернского казначейства, «и вот

перед приходом в палату он заходит в казначейство и набрасывается с азартом на казначея:

— Что вы тут напутали? Как не стыдно представлять такую ведомость!

Казначей, застигнутый врасплох, растерялся, сказал неудачно что-то в свое оправдание.

— Что? — закричал, выйдя из себя, Салтыков, — ах ты... — и хватил несчастного площадною бранью.

Побледнел старик казначей и затрясся, а Салтыков швырнул ему чуть не в лицо ведомость и ушел в палату, но не прошло и десяти минут, как является опять в казначейство, на этот раз уже с повинной головой:

— Простите меня, бога ради, Василий Ипполитович, я всегда вас уважал и высоко ценю вашу службу. Сорвалось как-то нелепое слово с языка, и самому досадно на себя. Извините, пожалуйста, и забудьте, что высказал вам в пылу досады».

В другой раз он поручил одному из своих чиновников проверить правильность платежа пошлин некоторыми торгово-промышленными предприятиями Тулы, напутствуя его при этом:

«— Смотрите, чтобы не было укрывающихся от платежа пошлин, раздавайте документов побольше, но актов о нарушениях составляйте поменьше. Между торговцами, и особенно кустарями тульскими, конечно, найдется немало бедняков; им и пошлины-то оплачивать тяжело, зачем же их обременять еще штрафами по вашим актам? Тем, кто не в силах сразу заплатить, давайте отсрочки, взыскивайте по частям... а с упрямых требуйте настойчиво, грозите штрафами, для большей острастки берите иногда с собой полицейского чиновника и только в крайних случаях, когда уже никакие предупредительные меры не подействуют, прибегайте к составлению протоколов».

Можно было услышать от Салтыкова и такие слова: «Ну, претензии-то всякие в сторону, когда представляется возможность помочь бедному человеку».

Обладая твердым характером, сильной волей, почти подавляющей способностью личного влияния, Салтыков умел использовать эти качества в своих отношениях с начальниками, прежде всего губернаторами, стремясь направить их, по его теории практикования либерализма, на «правый путь». Но даже тогда, когда он понял бесперспективность и бесплодность таких своих усилий, он все же не отказывался от того, чтобы твердо и последовательно проводить собственную линию, добиваться в своей административной деятельности таких результатов, которые считал правильными и разумными. Так он поступал и в отношениях с пензенским губернатором Александровским, когда, воспользовавшись его ненавистью к дворянству, так сказать, «натравил» его на главаря пензенской дворянской «земщины» Арапова. Но Салтыкова, конечно, не могли удовлетворить «успехи» на таком поприще. Скорее всего они лишь поднимали всю накопившуюся желчь, всю кипевшую в душе его ярость. И когда Александровский представлялся ему «летающим по воздуху и ругающимся нехорошими словами», ярость выливалась в острый фантастический гротеск, содержащий в себе, однако, какие-то явные приметы, знаки узнавания, заставлявшие губернатора отворачиваться и не кланяться.

Еще до приезда в Тулу Салтыков, конечно, уже многое знал о тульском губернаторе Михаиле Романовиче Шидловском — человеке, полном неукротимой административной энергии и служебного азарта, хотя и не отличающемся блеском умственных способностей, заносчивом и эгоистичном.

Уже в середине января 1867 года, вскоре после появления Салтыкова в Туле, произошло первое открытое столкновение его с Шидловским. Губернатор назначил на час дня заседание Губернского статистического комитета, а сам все не являлся. Салтыков взорвался: «Что за невежество и свинство такое, зовет к часу, а скоро два, — и его все нет, я не холоп его и не мальчик, чтобы ждать его милость!» При появлении губернатора Салтыков напрямик высказал и ему свое недовольство. «Через несколько времени, — запомнил наблюдательный Мерцалов, — в заседании Особого о земских повинностях присутствия, бывшем в квартире губернатора вечером, когда Шидловский читал по обыкновению журналы присутствия, им же большею частью редактированные, и спрашивал членов, согласны ли на изложенные в них постановления, Салтыков стал возражать против некоторых из них, горячо оспаривал губернатора, говорил ему колкости, а тут еще ни к селу ни к городу подвернулся полупьяный городской голова с своей жалобой на губернаторского любимца-полицеймейстера, будто он ворует овес и сено, отпускаемые городом на пожарных лошадей. Губернатор потерял терпение и закрыл заседание, отзываясь невозможностью вести его в виду *возбужденного состояния* не-

которых членов». Салтыков, понятно, воспринял такое заявление Шидловского, приравнявшего его возражения к пьяной речи городского головы, как прямое себе оскорбление.

Неприязнь к Шидловскому переходит в прямой разрыв личных отношений, что усложняет и их отношения служебные, в которые оба тульских «генерала» вовлекают уже и министра финансов Рейтерна.

Когда Салтыков требует от тульского полицейского управления, подчиненного губернатору, а не Казенной палате, взыскать штрафы за неимение билетов на право торговли, Шидловский в письменном отношении обвиняет его в превышении власти. Салтыков, отказываясь в ответном отношении согласиться с губернатором, направляет «представление» министру, объясняя мотивы своих предписаний и отвергая обвинение в превышении власти. Шидловский не остается в долгу и шлет тому же Рейтерну свое «представление», жалуясь на непокорство Салтыкова и «покорнейше» прося министра, так сказать, призвать Салтыкова к порядку. Затем Салтыков запрещает посланному Шидловским в Казенную палату чиновнику сверять счета по приходу и расходу земских сборов (такие счета велись отдельно в канцелярии Особого о земских повинностях присутствия и в Казенной палате): «Это еще что? — вспыхивает Салтыков, увидев этого чиновника в присутствии палаты за разбором интересующих его бумаг. — Кто вам позволил рыться в палатских книгах и делах? Вон, чтоб нога ваша не была здесь, губернатору вашему первое место в палате, а челяди его я знать не хочу, убирайтесь». Вновь застав этого чиновника, уже в неприсутственный день, в Казенной палате, Салтыков тут же составляет текст нового письма Рейтерну, в котором, в свою очередь, «покорнейше» просит оградить палату от «гнета беспрерывной ревизии губернаторских чиновников». «Затем велит скорее переписать это представление, беспрерывно понукая переписчика, и, когда оно было запечатано, расписывается в получении пакета по разносной книге, сам несет его на почту, держа перед собою как бы напоказ всем. На полдороге встречается с ним знакомая барыня и с удивлением спрашивает:

— Куда это вы, Михаил Евграфович?

— Иду Мишку травить.

— Какого Мишку?

— А вон (указывая на квартиру губернатора, помещавшуюся во втором этаже), что залез в высокую берлогу.

— А! верно, жалобу на губернатора хотите отправить? Что ж вы сами-то несете пакет?

— Покойней будет на душе, когда сам в подлеца камень бросишь» (И. М. Мерцалов).

Салтыков «травил Мишку» не только жалобами-«представлениями» министру финансов. Шидловский — самодур и деспот, знаменитый тем, что за всю жизнь не сказал либерального слова (так выразился о нем сам отнюдь не либеральный министр внутренних дел Тимашев). Еще достаточно молодой (они с Салтыковыми были одногодками), Шидловский, если воспользоваться сатирической типологией Салтыкова, несомненно, принадлежал к числу «новоглуповцев», которые, вопреки высказанной когда-то Салтыковым надежде, вовсе не были последними глуповцами. Этот «молодой драбант» заставлял сожалеть о «старых драбантах» вроде вятского губернатора Середы. Властолюбие сочеталось в Шидловском с мелочностью и ограниченностью. Салтыков, несомненно, с умыслом бесил его своим «превышением власти», вторжением в сферу, подвластную губернатору, он заставлял бояться себя не только как человека беспредельной нравственной силы, но и как сатирика, сарказмы которого были убийственны, смех ядовит. Административный принцип Шидловского сводился к излюбленному им аргументу: «Не потерплю!», пред неопровержимостью которого всякому несогласному приходилось умолкнуть — всякому, но только не Салтыкову.

В 1864 году герой щедринского рассказа «Она еще едва умеет лепетать» Митенька Козелков, достигнув высот бюрократической карьеры, провозгласил: «Раззорю!» В одном слове оказывалась заключенной целая административная система. Это был сатирический вымысел, но это было и удивительное предвидение. Жизнь преподнесла сюрприз, доказав, что самая злая и будто бы преувеличенная сатира, если она, так сказать, роет вглубь, способна предсказывать. И Салтыков столкнулся с реальным носителем административной системы, которая могла быть выражена двумя несложными словами: «Не потерплю!»

Так рождается памфлет на тульского губернатора под названием «Губернатор с фаршированной головой» — головой, так сказать, не естественной, человеческой, богатой мыслями, а пустой, ограниченной, начиненной хла-

мом и мешаниной предписаний, инструкций и узаконений. И весь этот «фарш» очень удобно укладывался в формулу «Не потерплю!».

11 июля 1867 года, в самый разгар конфликта, Салтыков писал одному своему знакомому: «О себе скажу Вам одно: ленюсь и скучаю безмерно и даже не могу преодолеть себя, потому что палатская служба опротивела до тошноты. Не знаю, что со мной и будет, ежели не выручит какой-нибудь случай. Я вообще не из тех людей, которые удобно и скоро пристраиваются, а теперь еще более стал брюзглив и нетерпелив... Литературного ничего в голову не идет, кроме самого непозволительного. Коли хотите, я и пишу, но единственно для увеселения потомства». Можно не сомневаться, что памфлет на Шидловского был и в самом деле написан тогда не для печати, а «для увеселения потомства», хотя Салтыков читал его широко в кругу знакомых в Туле и Петербурге (рукопись памфлета, к сожалению, не сохранилась).

Еще в сатире 1861 года «Наши глуповские дела», заявляя, что у Глупова нет истории, Салтыков не отрицал, однако, того, что «судьбы сновидений» глуповцев держала в своих руках целая череда «ревнителей»-губернаторов. Любили глуповцы на досуге покалякать об этих своих властителях, следовавших один за другим если и не в историческом, то, так сказать, в «хронологическом» порядке.

И, о волшебство глуповского бытия! Салтыков узнает, что, в своем дремучем «глуповстве» и глупости, губернатор Шидловский и в самом деле приказал составить для себя биографии своих предшественников и летопись их деяний! И Салтыков фантазирует целую сатирическую «летопись о губернаторах», в которой, конечно, нашел свое место и губернатор с фаршированной головой (эта рукопись Салтыкова также не сохранилась, но в ней, несомненно, уже было заложено зерно «Описи градоначальникам» из «Истории одного города»).

Салтыковские памфлеты не могли, разумеется, не стать известны Шидловскому.

В этих уже нестерпимых условиях до крайности обострившихся отношений Салтыков до поры до времени получал поддержку от Рейтерна, помнившего заветы лицейской солидарности и высоко ценившего служебную деятельность своего товарища по лицею. Однако Шидловский, в особенности после «Фаршированной головы»,

сделал все возможное, чтобы удалить Салтыкова из Тулы. Когда в июле 1867 года, проезжая в Ливадию, сделал краткую остановку в Туле Александр II, Шидловский пожаловался на беспокойного Салтыкова сопровождавшему царя главноуправляющему III отделением и шефу жандармов П. А. Шувалову.

8 февраля 1882 года М. И. Семевский записал рассказ Салтыкова о запомнившихся ему перипетиях удаления из Тулы, в которых принял участие и сам император.

«Я в 1867 году в Туле, председателем Казенной палаты. Пишет ко мне Рейтерн, что на меня беспрестанно жалуется губернатор Шидловский, что-де я его, губернатора, держу в осаде, кричу на него и прочее. Вижу я — пахнет отставкой; а тогда положение мое как писателя не было еще прочно. «Современник» был закрыт; «Отечественные записки» не перешли еще к Некрасову. Выходить в отставку не находил я еще возможным. Нечего делать; еду в С.-Петербург объясняться. <Это было в сентябре.> Иду к Рейтерну. Выясняется дело, что граф Шувалов, управлявший тогда III отделением, нажаловался на меня государю. И государь согласился на то, чтобы «Салтыкова убрать как беспокойного человека из Тулы»... «Не сходить ли мне к графу Шувалову объясниться?» — говорю я Рейтерну. «А что же, сходите, это не лишнее». Отправляюсь к Шувалову. Принимает весьма любезно. «Вы, граф, уверили государя, что я человек *беспокойный*». — «А что же, неужели вы, господин Салтыков, разубедите меня в том, что вы человек беспокойный?» — «С чего же вы взяли это?» — «О, я вас очень хорошо и давно знаю, еще с того времени, когда мы встречались с вами в комиссии по преобразованию *полиции*, — говорит мне весьма любезно Шувалов, — припомните, как вы тогда *вели* себя?» <В работах этой комиссии Салтыков участвовал в апреле и мае 1860 года, будучи рязанским вице-губернатором.>

«Как я себя *вел?* — воскликнул я, весь покраснев от негодования и вскочив с места. — Как я себя *вел?* Да ведь я был членом комиссии, так же, как и вы, ведь я высказывал свое мнение, свое убеждение! Ведь я думал, что я дело делаю! А если мое мнение было несогласно с вашим, так ведь из этого не следует, чтобы мне теперь ставили вопрос: как я себя *вел»*. Шувалов также встал и, увидев мое негодование, стал меня успокаивать, уверяя, что он нимало не думал меня обидеть, и проч.

— Нет-с, вы, однако, доложили государю, что я *беспокойный* человек; я вас прошу непременно доложить теперь, что я был у вас и объяснялся с вами.

— Ну, помилуйте, — мы люди такие маленькие, что невозможно о нас и нами утруждать государя. Между его величеством и нами такая дистанция огромная...

— Нет, позвольте! Должно быть, не столь огромная, если государю докладывают, что я беспокойный человек и что вызывают его на решение убрать меня. Я вас прошу непременно обо мне доложить и о моем с вами объяснении.

— Хорошо, доложу.

Ну, уж конечно, и расписал он меня!

Тем не менее тогда я не был уволен в отставку, а переведен председателем Казенной палаты в Рязань».

Действительно, кажется странным, что после таких «объяснений» Салтыкова не отправили в чистую отставку, а перевели в ту самую Рязань, куда он почти десять лет тому назад явился в качестве вице-губернатора. Круг как бы замыкался, и правящим верхам стало ясно, что Салтыков *ведет* себя совсем не так, как того требовала «коронная» (государственная) служба. С такой смелостью и откровенностью оспаривать мнение императора — на это, пожалуй, мог пойти только такой независимый и сильный духом человек, каким был Салтыков. Надо думать, что Рейтерну стоило большого труда, чтобы отстоять Салтыкова как деятельного, неподкупного и полезного чиновника. Однако Шувалов не забыл и не простил Салтыкову его «вольности» и откровенности.

Сам же Салтыков только ждал подходящего случая, чтобы полностью и окончательно порвать со службой. Такой случай, кажется, представился как раз осенью 1867 года.

Когда срочно прибывший в Петербург из Тулы Салтыков объяснялся с Рейтерном и Шуваловым по поводу «осады», которой он подверг тульского губернатора, в эти же дни Некрасов, вернувшись из своей любимой Карабихи, уже вел активные переговоры с издателем-редактором «Отечественных записок» Андреем Александровичем Краевским о передаче журнала в аренду новой редакции.

Огромный авторитет «Отечественных записок», созданный некогда Белинским и его друзьями, под редакцией Краевского и недавно умершего Степана Дудышкина, пал чрезвычайно низко. Сначала, чтобы «поднять» журнал, Краевский предложил Некрасову взять на себя редактирование отдела беллетристики. Но на это Некрасов не мог согласиться, он прекрасно понимал, что исправить положение журнала может только полностью обновленная редакция — редакция, которая определит и новое — демократическое — его направление. Появлялась возможность возродить традиции уничтоженного в 1866 году «Современника».

Переговоры с упрямым и несговорчивым Краевским, пожелавшим остаться ответственным редактором журнала, оказались непростыми и долгими. Сложности усугублялись враждебно-подозрительным отношением властей к возможной новой редакции (в сущности — «старой» редакции запрещенного «Современника»). Понадобились вся мудрость, весь опыт и такт Некрасова, чтобы довести дело создания нового журнала до успешного окончания.

Салтыков был среди тех, чье участие в новом издании представлялось Некрасову совершенно необходимым и само собой разумеющимся. «Без него, конечно, дело не может склеиться в том виде, как мы хотели», — писал Некрасов Краевскому.

Некрасов пригласил Салтыкова к себе, в свою хорошо знакомую Салтыкову квартиру на Литейной, где до прошлого года помещалась редакция «Современника», чьи «исторические», по словам одного современника, стены видели Тургенева, Гончарова, Чернышевского, Добролюбова. В этих стенах в 1863—1864 годах провел многие часы в работе, обсуждениях и спорах и сам Салтыков.

Теперь он шел к Некрасову с большой и радужной надеждой — ведь если бы намерение Некрасова осуществилось, он мог бы оставить давно опостылевшую службу, тем более что он уже решился на сознательный разрыв с высшими представителями власти.

Но встреча в квартире на Литейной принесла ему горькое разочарование. В комбинации, предложенной Некрасовым, Краевский все же оставался редактором журнала, хотя, по уверениям поэта, и номинальным. Салтыков тут же «взялся за шапку». Репутация Краевского как человека, хотя и либеральствующего, но беспринципного, дельца, скопившего солидный капитал по́том и кровью своих сотрудников, беспощадного эксплуататора Белинского — эта репутация была в обществе прочной. Пришлось опять отправляться в Рязань — к новому месту службы.

Некрасов, однако, упорно шел к своей цели, продол-

жая переговоры с Краевским. Ему удалось включить в контракт условие, по которому именно он, Некрасов, становился «гласно ответственным редактором» «Отечественных записок» «как перед правительством, так и перед публикою». Краевский же, оставаясь собственником журнала и издателем его, принимал на себя хозяйственную часть издания. Довольный Некрасов поспешил сообщить Салтыкову в Рязань телеграммой о том, что «Отечественные записки» переходят к нему без участия Краевского. Салтыков, получив некрасовскую телеграмму, ответил, что он «искренно сожалел, что все это случилось месяцем позже», а не тогда, в октябре, когда, надеясь на такой же исход переговоров с Краевским, он уже готов был оставить службу и всецело отдаться литературной и журнальной работе. (Правда, этот пункт контракта с Краевским остался невыполненным, так как Некрасов не был утвержден ответственным редактором властями.)

И на последней своей службе Салтыков оставался верным себе. Его презрение к самодержавной власти и ее служителям не выражалось, правда, в таких вызывающе-дерзких «выходках», какую он позволил себе по приезде в Тулу. Но и здесь он находил способы такое презрение обнаружить.

В комнате «присутствия», например, где находился обязательный портрет императора во весь рост и на столе стояло пресловутое «зерцало», курить не полагалось. Иронически настроенный Салтыков при желании курить снимал с зерцала находившийся на его верху золотой царский герб и, кладя его на стол, говорил: «Ну, теперь можно и вольно!»

В Рязани, как и повсюду, «Салтыков являлся аккуратно на службу в десять часов утра, и служащие о приходе его узнавали по особому волнению прислуги в передней и по зычному голосу Салтыкова. Ему приходилось проходить в «присутствие» из передней через длинный зал», в котором помещались чиновники. «Посредине зала было довольно большое пространство, составляющее проход. Салтыков не входил, а влетал в этот зал из передней и быстро несся по проходу, раскланиваясь на ходу с начальником отделения и некоторыми другими, и исчезал в заранее открытую сторожем дверь «присутствия». Все служащие вставали с своих мест и стоя ожидали Салтыкова, кланяясь ему, отвечая на его общий им поклон.

Басовые звуки его голоса, всегда суровый, сердитый

вид и в особенности его быстрые глаза, взгляд коих трудно было выносить, вызывали во многих чиновниках трепет и страх. Салтыков знал об этом впечатлении, как я полагаю, и пользовался им при репримандах с провинившимися служащими, всегда, впрочем, высказываемых Салтыковым в шутливой, юмористической форме. Об этом трепете он где то написал, что при объяснениях его со служащими у них поджилки трясутся. Но Салтыков никогда никому не сделал зла из служащих...

Салтыков занимался в палате делами очень усердно, скоро и внимательно. Обладая быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им самим сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость» (из воспоминаний служащего Рязанской Казенной палаты Н. Н. Кузнецова).

Да, вроде бы все было так же, как прежде: так же приходил в «присутствие» в десять часов утра, так же усердно трудился над многочисленными делами, так же сердился и кричал, когда встречался с ленью и тупостью. И однако все было не так. «Некрасовский» журнал уже существовал. И литературное дело становилось главным делом жизни.

В годы пензенской и тульской службы Салтыков-художник писал мало, а печатал и того менее. Новый круг служебных обязанностей по ведомству финансов, до тех пор Салтыкову мало известных, разногласия с «духовной консисторией» «Современника», при том, что это был единственный близкий Салтыкову по духу журнал, а затем, в мае 1866 года, запрещение его — все это глубоко удручало, подсекало в корне какие бы то ни было художественные замыслы.

Правда, вскоре по приезде в Пензу, в начале 1865 года, была написана, а в январе 1866 года в «Современнике» напечатана острая антидворянская сатира «Завещание моим детям». Вновь обращаясь к судьбам дворянства после реформы, Салтыков высмеивает претензии Пафнутьевых (еще один собирательный образ дворянства, наряду с Сидорычами и Трифонычами) на какие-то особые дворянские «права», будто бы нарушаемые повелевающим «начальством». В искусной иносказательной форме «завещания»-поручения повествователь — умудренный опытом дворянин старой патриархальной склад-

ки — ведет беседу с буйным и строптивым искателем дворянских прав капитаном Пафнутьевым. Но что это за права, о которых ты, капитан Пафнутьев, так много и громко кричишь? Ты забываешь, что и права-то свои ты получил «по благоизволению» начальства, а потому — это всего-навсего — «якобы права». Может быть, ты захотел тех прав, которыми пользовался «меньший брат» твой — мужик? «Так ли? точно ли ты их захотел?»

Кроме «Завещания моим детям», кое-что было начато, кое-что создавалось «для увеселения потомства». В последние тульские месяцы или недели пишется рассказ «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя», вероятно, для сборника, проектировавшегося в это время Некрасовым («Отечественные записки» не перешли еще тогда под новую редакцию).

По древнегреческому сказанию, юноша Нарцисс, наделенный необыкновенной красотой, увидев свое отражение в воде, был охвачен такою неистовою любовью к самому себе, что погиб, не в состоянии утолить свою страсть. Безудержное славословие земских «сеятелей» и «деятелей» по адресу только что. в 1864 году, образовавшихся земских учреждений, будто бы независимых от государственной власти органов местного самоуправления, славословие — по собственному адресу — вызвало у Салтыкова сатирический образ Нового Нарцисса — самовлюбленного земца. Рассказом «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» и началась работа Салтыкова в обновленных «Отечественных записках» (1868, № 1).

Как всегда, трезвый Салтыков не мог поддаться всеобщему восторгу и головокружению, в пылу которого забывалось главное — а что же приносят с собой земские учреждения, что они могут?

Собрания земцев наблюдал Салтыков и в Пензе, и в Туле. С «почтительной осторожностью» входил он на хоры той залы, где ораторствовали, произносили «смелые речи» против бюрократии и «всей ее темной свиты» восторженные земцы. Что же он видел: «мельница спущена, затвор потерян, вода бежит — и жернов мотается как угорелый на своей оси, изумляя и огорчая вселенную беспутным досужеством». Салтыков принимает позу чиновника-бюрократа: так вот, я, бюрократ, со своими, по словам земцев, «рутинными путями», взирая на всю ихнюю суету, «не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь... радуюсь, потому что ничто окрест меня не изменилось... я радуюсь потому, что сеятель не перевернул вверх дном моего отечества» — и земский «сеятель» просто-напросто «принял то самое наследство, которое я <бюрократ> ему оставил, и лезет из кожи, чтоб сохранить его неприкосновенным и неизменным». Да и кто верховодит в новорожденном земстве? Не те же ли это все Сидорычи, Трифонычи и Пафнутьевы, жаждущие хотя бы этим путем осуществить свои «якобы права»?

Тон Салтыкова полон сарказма и негодования: неужели все дело всесословного земского самоуправления, настойчивым пропагандистом которого был некогда он сам (даже проектировал особые уездные «советы»), сведется к вопросам об обеспечении «новых сеятелей русской земли» высокими жалованьями, о лужении больничных рукомойников и починке разваливающихся мостов? А «сеемый» — мужик-то русский — кто же о тебе подумает? И вообще — что может «комариная сила» земства перед лицом могущественного самодержавного государства?

Но именно этот гневно-саркастический тон, эта задушевная *мысль, подлинное авторское лицо* не были услышаны, не были поняты, не были увидены. Читатель, еще не воспитавшийся в читателя-друга, с трудом воспринимал тонкий и многозначительный эзопов язык. В «Новом Нарциссе» либеральная общественность и печать усмотрели нападение «бюрократа» на слабые, неокрепшие еще ростки самоуправления, независимого от государственной власти. «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили даже об обеде, который будто бы намеревался дать какой-то уездный исправник «в честь обратившегося на путь истинный Щедрина». Что на это отвечать, — писал Салтыков 25 марта 1868 года Некрасову. — «На каком основании утвердиться? Основание это есть, но оно нецензурное. В этом-то вся и беда, что мы не можем высказывать *всей* своей мысли». Это глубинное «нецензурное» основание — как раз отрицание бюрократической системы власти, а не подправка ее будто бы независимым от этой власти, но на самом деле беспомощным выборным земством.

Во всяком случае он оставлял за собой и за литературой вообще право свободного исследования «капищ» всякого рода, в том числе и новых, «неокрепших». Ведь весь вопрос состоял в том, как и на каком основании их укреплять.

Как всегда, работал Салтыков напряженно и одновременно в разных жанрах, а теперь, когда он мог при-

знать «Отечественные записки» «своим» журналом, с особой охотой и активностью. Салтыков хотел возродить в «Отечественных записках» тот жанр, который он создал в «Современнике» — ежемесячную публицистическую хронику типа «Нашей общественной жизни». Такой цикл общественных обозрений — периодических «фельетонов», как тогда называли, он предполагал начать с размышлений о «легковесных деятелях». Так создается «фельетон» «Легковесные» — об истинных деятелях современности, истинных созидателях нашего будущего.

В «эпоху возрождения» общественную ниву заполонили каплуны мысли. Но время прошло. Где вы, ожиревшие бедные и безобидные каплуны? «Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели»? Либеральное «курлыканье безвозвратно смолкло, и взамен его общественная наша арена огласилась ржанием резвящихся жеребят».

Это они, «легковесные» деятели современности. Внутреннее содержание производимого ими бессвязного стенания, гула и треска «тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли».

Так Салтыков открывает свою неустанную — тягчайшую и бескомпромиссную борьбу с торжествующей реакцией, облачившейся в новые одежды, напялившей новые маски, с властью, отказавшейся даже от своих собственных попыток обновления и «возрождения».

Отчего вы не печатаете фельетон «Легковесные»? — спрашивал Салтыков Некрасова. «Оттого ли, что он *не хорош*, или оттого, что печатать его не время теперь?» Некрасову, разумеется, не удалось провести «фельетон» через цензуру. Только пройдя через цензурные мытарства, в изуродованном виде появился он не в первых книжках журнала, а лишь в конце 1868 года.

Салтыков тем не менее пишет следующий «фельетон» — «Литературное положение». Положение современной литературы противоестественно. Литература потеряла свое руководящее значение, она не способна создать плодотворную идею, она утратила свободу и подчинилась требованиям «толпы». В этой, пусть и «цивилизованной» толпе пропал даже самый вкус к литературе, к мысли, впереди маячит лишь «кусок», торжествуют «брюхопоклонники». Из среды Катонов-чревовещателей (намек на катковствующую прессу), из среды благонамеренных «охочих» литературных птиц раздаются гнусные обвинения литературы в разврате, в пропаганде анархии, в организованном посягательстве на жизнь и спокойствие общества. Нет «простой понимающей среды, без которой деятельность писателя есть деятельность, вращающаяся в пустоте». Наступила «эпоха приведения литературы к одному знаменателю, которая собственно и составляет наш золотой век наук и искусств». (Салтыков не забыл слова из старого уваровского циркуляра, формулировавшего принцип: «самодержавие, православие и народность».) Салтыков вновь и вновь вспоминает сороковые годы, время Белинского и Грановского. Конечно, и тогда литература находилась «не в белом теле». «Тогда даже существовали для нее такие ограничения, которых теперь и в помине нет». Но иным, глубоко сочувственным, было отношение к литературе публики, искавшей и находившей в ней великую руководящую мысль.

Но Салтыков верит и надеется. Мысль не может изгибнуть навеки. «Как ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. История не останавливается оттого, что ничтожество, невежество и индифферентизм делаются на время как бы законом и обеспечением мирного человеческого существования. Она знает, что это явление преходящее, что и под ним и рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь».

И этот «фельетон» удалось опубликовать не сразу, но лишь в августовской книжке «Отечественных записок».

Салтыков задумывает новый цикл, который он называет «провинциальными письмами» («Письма о провинции»). В них предстает провинция не только после крестьянской реформы, но и в разгар двух других реформ 1864 года, вызвавших бурления и распри в провинциальном болоте, — судебной и земской. Суд терял свой сословный характер, создавались органы местного самоуправления, начало деятельности которых уже вызвало мгновенную насмешливую реакцию Салтыкова в очерке «Новый Нарцисс».

Первое из «провинциальных писем» открывалось достаточно бодрыми словами: «С некоторого времени жизнь в провинции изменяется. Мало-помалу в эту жизнь входят новые элементы, которые захватывают более значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мере, нет того повального бездельничества, которое, в буквальном смысле слова, сокрушало провинциальное общество лет двенадцать-тринадцать тому

назад», то есть где-то в середине пятидесятых годов и, разумеется, ранее.

Перемещение центров деятельности налицо, но смысл такого перемещения не выяснился. Отсюда переполох и шатания. Сцену занимают три главные группы. На одной ее стороне — «люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России и зиждителями ее судеб», те, кто испокон века были «сочинителями» российской истории. Это именно они — «глуповская» бюрократия и «крашеные гробы» — закоснелые крепостники — дворяне-землевладельцы. На другой стороне — люди новые, «пришельцы» — деятели новых судов и земских учреждений, «новые сочинители на поприще русской истории», иначе говоря — «пионеры». «Середку (хор) занимают так называемые фофаны, то есть вымирающие остатки эпохи богатырей» — косная и инертная масса мелких землевладельцев и чиновников.

Но где же выход? Что делать нам, провинциалам? До боли восприимчивый, постоянно волнующийся Салтыков видит беду в том, что не только «мастодонты»-историографы, но и пришельцы-пионеры трагически поражены мертвенностью и апатическим равнодушием к затянувшим их мелочам, а великая мысль о будущем им недоступна. «Подобно провинциальным актерам, мы постоянно играем кожей, а не внутренностями. В нас не волнуется кровь, не болит сердце...»

Наконец, третье «Письмо из провинции» прямо обвиняло «историографов» в злостном подрыве реформы 19 февраля. Это был удар в самое больное место.

Произошла, как представляется негодующему Михаилу Салтыкову, «какая-то беспримерная и только у нас возможная путаница»: влиятельными практическими деятелями на поприще реформы оказались именно историографы; «люди же, всецело преданные делу, верящие в его будущность, очень часто не только отстраняются от всякого влияния на правильный исход его, но даже, к великой потехе многочисленного сонмища фофанов и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революционерами и демагогами». Да, такая путаница действительно произошла, и, может быть, Салтыков прав, утверждая, что она возможна только у нас; но не было в этой путанице ничего случайного и удивительного; ведь реальная власть по-прежнему принадлежала историографам (и не только провинциальным, о чем вскоре засвидетельствовала судьба самого Салтыкова). И не в их

силах и не в их интересах было понять «существенный смысл реформы 19 февраля» так, как его понимал автор «Писем о провинции». Тем более им было чуждо углубление и развитие этого «существенного смысла», мерещился в таком углублении ни больше ни меньше призрак революции, потрясения основ извечной «историографской» власти, власти произвола и застоя.

Рязанские «историографы», разумеется, узнали себя в иносказательных салтыковских образах и не на шутку переполошились. «Мои «Письма из провинции» весьма меня тревожат, — пишет Салтыков Некрасову 21 марта. — Здешние историографы, кажется, собираются жаловаться...» Положение действительного статского советника Салтыкова среди своих сослуживцев становится все более тяжелым: «Мне очень трудно и тяжело; почти неминуемо убираться отсюда». Салтыковым овладевает мучительная, страшная тоска: «я теперь потерял всякую меру. Скоро, кажется, горькую буду пить. Так оно скверно».

Продолжая неукоснительно исполнять свои служебные обязанности, он проклинает служебную каторгу, он не в силах терпеть, его мысль бьется в тисках цензуры, его нравственное чувство изнемогает в отношениях с «историографами» и «брюхопоклонниками», он страдает от неприязненного равнодушия «цивилизованной толпы» «пионеров». Его отношения с рязанским «глуповским» губернатором Болдаревым, которого, по словам Салтыкова, именно за глупость-то в губернаторы и поставили, все обостряются.

Прошло всего каких-нибудь три месяца службы Салтыкова в Рязани, как Болдарев уже «конфиденциально» доносит министру внутренних дел, что управляющий Казенной палатой настраивает «в духе крайнего либерализма» оппозиционно настроенных по отношению к государственной власти лиц и тем самым препятствует ему, носителю этой власти, успешно управлять губернией. Ознакомившись с этими доносами Болдарева и в ответ на них шеф жандармов, все тот же Петр Андреевич Шувалов, конечно, не забывший смелых «афронтов» Салтыкова, дает ему такую выразительную характеристику, которая безусловно предполагала удаление Салтыкова с государственной службы:

«...Действительный статский советник Салтыков нигде не пользовался сочувствием и расположением общества и действия его, хотя во многих случаях похвальные в служебном отношении, подвергались часто осуждению,

точно так как поведение и личные качества его всегда более или менее вредили его частным отношениям: это было в Рязани и Твери, когда он был там вице-губернатором, затем, состоя в должности председателя Пензенской казенной палаты, он успел поссорить губернатора с дворянами, а в бытность его управляющим Тульскою казенною палатою он своими поступками возбудил общее неудовольствие и порицание, так что тульский губернатор находил совместное служение с ним невозможным...

Ввиду всего этого и усматривая из письма рязанского губернатора, что Салтыков продолжает следовать своему направлению, я полагал бы необходимым удаление его из Рязани с тем, чтобы ему вовсе не была предоставлена должность в губерниях, так как он по своим качествам и направлению не отвечает должностям самостоятельным».

В III отделении была составлена особая записка, в которой Салтыков был назван «чиновником, проникнутым идеями, несогласными с видами государственной пользы и законного порядка».

До предельного накала вражда с Болдаревым дошла в мае месяце. Салтыков пишет прошение об отставке с поста управляющего рязанской Казенной палатой и с «причислением» к министерству. Но ни о каком «причислении» уже не могло быть и речи. На верхах самодержавной власти нарисовался вполне определенный портрет Салтыкова — «беспокойного человека», зло осмеивавшего бюрократию и дворянство, два столпа, на которых покоилось самодержавие. 14 июня 1868 года высочайшим приказом он был отставлен. Салтыков говорил позднее доктору Белоголовому, что его уволили в отставку по личному желанию царя.

Через много лет он признавался, что о времени своей службы, приносившей ему, до крайности возбудимому, горячему и страстному, впечатления только горькие и мучительные и при этом налагавшей труды, требовавшие неимоверной работоспособности, траты творческих сил и огромного нервного напряжения, — о долгих годах службы он старается забыть. Но забыть всего пережитого за двадцать лучших, молодых лет жизни было невозможно, да Салтыков и не забывал: ведь именно во время службы открывались ему каждый раз, при каждой жизненной встрече — с мелким канцелярским писцом или губернатором, с раскольником или торговцем, с губернским предводителем дворянства, владеющим многими тысячами десятин земли, или безземельным мужиком; в бесконечных, измеряемых десятками тысяч верст разъездах по неизмеримым просторам земли русской — открывались ему все новые и новые пласты российской действительности, до конца дней питавшие его проницательнейшую мысль и гениальное художественное творчество.

Теперь Салтыков уже навсегда возвращался в Петербург, к любимейшему литературному делу. Он как-то сказал писателю Петру Дмитриевичу Боборыкину: «Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу». Литературное дело становится единственным делом жизни.

В Петербурге перо Салтыкова уже не медлит в опасении злобного ненавистничества со стороны рязанских или каких-либо иных историографов. Он резок и откровенен.

А что же «сиволапый» русский мужик (четвертое «Письмо из провинции»)? Он-то хоть понял суть «19 февраля», смысл своей пресловутой «правоспособности»? Ведь все эти историографы, пионеры, складные души, фофаны «сочиняют историю», раздорствуют, пререкаются и суесловят лишь на поверхности того огромного моря народной жизни, в недрах которого живет и трудится русский мужик. Все они копошатся в верхних слоях глуповского горшка, в глубине же варится все тот же сиволапый.

Предположим даже, что «какой-нибудь остервенившийся историограф, — пишет Салтыков в четвертом письме... — нигилистов истребил, коммунистов разорил, демократов разгромил, науку упразднил» и вот теперь торжествует, почивает на лаврах и танцует канкан. Но канкан легко и беспрепятственно танцуется где-нибудь в петербургских увеселительных заведениях, а не здесь, в провинции. Мы, провинциалы, «слишком стеснены окружающими сиволапыми мужиками, чтоб иметь возможность поднимать ноги до надлежащего уровня». Вот от этих-то сиволапых мужиков и исходят всяческие неурядицы и возникают всевозможные преткновения, которые требуют «непременной и безотлагательной работы мозгов; возбуждаются вопросы, тоже без участия мозгов отнюдь не разрешимые; среда сиволапых дает себя чувствовать все стеснительнее и стеснительнее».

И тут историограф начинает воздвигать твердыни, укрепления и окопы, дабы скрыться за ними, закупорить-

ся как в бутылке от ужасной необходимости «двигать мозгами» ввиду наплыва сиволапых мужиков. Что же это за твердыни? «Тут есть и насилие, и самоуправство, и безответственность поступков, и бесцеремонное отношение к человеческой личности. И весь этот хлам, весь этот брак кой-как слеплены собственными слюнями историографов».

Но можно ли отсидеться в таких глуповских твердынях, можно ли надеяться на их непреоборимость? И тут историографы находят себе опору в паразитическом «чужеядстве» — «этом вреднейшем наследстве нашего прошлого».

Салтыков, провинциальный чиновник, хорошо помнил, как в совсем недавнее, дореформенное время, чужеядство заполняло собою каждодневное бытие целых губерний. Почти с ужасом вспоминаются автору «Писем о провинции» многочисленные губернские и уездные виртуозы по части зверства, устроивания внезапных смертей, выдумывания небывалых преступлений и, напротив, сокрытия преступлений действительных, бывалых. Воровство и казнокрадство считались чуть ли не подвигом, ими открыто хвастались, в них не видели ничего безнравственного. Закон, конечно, существует, но имеются тысячи способов обойти его: дела о преступлениях исчезали, присутственные места сгорали со всеми уликами, необозримыми ворохами дел и бумаг. Много раз бился Салтыков, ревизуя местные учреждения, и не раз ему доводилось упираться в стену, в которую как ни стучи, ни до какого ответа не достучишься...

Салтыков опять вспоминает 19 февраля. «Всему этому беспутному, бессознательному и ненужному злодейству, всем этим подвигам тьмы и бессмысленного варварства положило безвозвратный конец 19 февраля. Как бы ни были обширны наши притязания к жизни, мы не можем не удивляться великости этого подвига. Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России — такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный!» И таким энтузиазмом «освобождения» и «возрождения» был действительно проникнут на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов Михаил Евграфович Салтыков — один из замечательнейших деятелей крестьянской реформы — освобождения от бесправия и рабства «сиволапого мужика». Салтыков, однако, не заблуждался относительно характера самого реального «историографского» проведения реформы, последующих ее результатов, все более и более выяснявшихся. Салтыков понимал, что дело далеко не кончено. Ведь «за работой освобождения» должна следовать «работа организации». Недостаточно провозгласить реформы, надо сделать их достоянием народных масс, для которых, собственно, они и задумываются и проводятся. И тут, оказывается, что чужеядство-крепостничество не умерло! Оно, одевшись в мантию консерватизма, тормозит правильное развитие реформ, хотя коекому представляется, что консерватизм будто бы несет в себе нечто здравое, а, кроме того, надо же куда-нибудь пристроить, как-нибудь определить то сословие, которое, собственно, и символизирует чужеядство, то есть дворянское сословие.

Но тем самым закрываются глаза на самое страшное, почти непоправимое — трагедию народа, истратившего свои творческие и творящие силы под бременем чужеядства. «Совесть и память шепчут нам, что, идя об руку с чужеядством, мы дошли, наконец, до глухой стены; что благодаря чужеядству гений народный, не развернувшись, уже увядает, как будто, испив до дна чашу рабства, он в то же время оставил в ней и все свои силы».

В октябрьской книжке «Отечественных записок», последним в 1868 году, было напечатано шестое «Письмо о провинции» — полная боли и страсти и в то же время глубокой мысли защита «сиволапого мужика» от позорных обвинений историографов.

Взращенным на тучной ниве тунеядства-крепостничества историографам не видится надежд на продолжение безбедного их существования, если «чужеядство» изгибнет окончательно и бесповоротно. И именно потому они предпринимают «предусмотрительные набеги в наше будущее», они начинают пророчествовать о предстоящей неминуемой погибели России по причине «заранее предсказанной и доказанной» историографами ее развращенности. А развращенность эта обуяла российские грады и веси вследствие порока, о котором историографы предпочитают умалчивать, ибо порок этот, так сказать, «приказан» начальством, — по причине уничтожения крепостничества. В этом случае «найден другой порок, не столь капитальный, но служащий для наших историографских философствований немаловажным подспорьем. Порок этот — пресловутое всероссийское пьянство».

Поначалу ехидные надежды историографов покоились

на том, что, по падении любезного им крепостного права, мужик сразу же «нагрубит», перестанет пахать, сеять, жать, чистить историографские сапоги и т. п. То-то тогда можно будет покаркать! Но ничего похожего не произошло, ибо Ваньки и Тришки «совсем не так воспитаны». И тогда «на смену грубости нравов естественным образом явилось пьянство». Все неустройства, неурядицы и горести земли русской приурочиваются к поголовному и беспробудному пьянству. На эти темы историографы, заглатывая рюмку за рюмкой (правда, не ядовитой мужицкой сивухи, а благородной мадеры), предаются безобразным ламентациям. Некоторые из историографов «в своей наивной ограниченности доходят до того, что в регламентации распивочной продажи водки видят единственный способ выйти из периода лаптей и вступить в период сапогов. О! если б это было так! если б было можно, с помощью одного ограничения числа кабаков, вселить в людей доверие к их судьбе, возвысить их нравственный уровень, сообщить им ту силу и бодрость, которые помогают бороться и преодолевать железные невзгоды жизни!.. Как легка была бы наука человеческого существования! и каких ничтожных усилий стоило бы разом покончить со всем безобразием прошлого, со всеми неудачами настоящего, со всеми сомнительными видами будущего!»

Что́ же составляет действительную причину этой всеобщей народной бедности, дикости и неразвитости? Утверждают, что у нас нет «пролетариата». Но, загляните в наши деревни, в крестьянские избы и дворы... Не пролетарий ли тот мужик, для которого вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших раздумий... «Невозможно ни на минуту усомниться, что русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и, — что всего хуже, — беден сознанием этой бедности»!

Острое сатирическое зрение Салтыкова, как увеличительное стекло, выхватывает в многообразном содержании крестьянской жизни прежде всего то, что вызывает его, просветителя, гнев и отчаяние — «бедность сознанием». Народная масса невежественна, неразвита, подчас жестока и дика. Удручающие проявления этой дикости и невежества буквально опутывают в провинции каждого, кто соприкасается с массой. Но виновата ли в этом сама эта масса?

Представим себе привычную картину, изображающую

мужика: «она вышла бы во сто крат занимательнее (да и во всех отношениях поучительнее), ежели бы, вместо того чтобы бесплодно обзывать мужика мужиком, мы дали бы себе труд добросовестно изобразить наши собственные историографские наезды против этого самого мужика», если бы мы дали этому мужику вздохнуть свободнее, дали бы ему возможность действительно осуществить ту «правоспособность», которую предоставила ему реформа, если бы мы, наконец, вспомнили всю длинную историю нашего, историографского, «сосания» мужика в те прошлые, но не столь далекие времена «чужеядства». Если бы мы дали себе такой труд, «мы убедились бы тогда, что следует делать именно совершенно противное тому, что мы делаем, чтобы дать русскому крестьянину возможность без напряжения перейти из периода лаптей в период сапогов...» Исторически выработавшаяся «бедность созна́нием» — вот главная беда.

Салтыков — великий просветитель-демократ, придающий первостепенное значение самосознанию масс в созидании истории — смотрит на исторический путь массы по «голой степи» бессознательности мучительно-трагически.

Но не менее трагично и положение «бедного одиночного сознания», поднявшегося до понимания законов истории и причин современного исторического застоя, современной безысходности и безыдеальности. «Как бы отрешенно мы ни жили от жизни масс, уровень этой последней решительно воздействует на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждом шагу». Но во всяком случае это «одиночное сознание» просветителя-демократа всем ходом истории убеждается: какие бы то ни было обвинения против того, что «не имеет никаких признаков вменяемости», то есть против русского крестьянина, «мертвого» не только в законе, но и в истории, — невозможны и безнравственны.

Эта историческая судьба мужика и безусловная зависимость от нее судьбы «одиночного сознания» и делает представление о мужике «заманчивым и симпатичным». И опять-таки история показывает, что «те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу». (Салтыков, несомненно, вспоминал тут два великих акта русской истории, о которых он писал еще в «Нашей обще-

ственной жизни» — освобождение русской земли от интервентов в 1612 году и крестьянскую реформу 1861 года.)

Где же выход для нас, людей конца шестидесятых годов XIX столетия? Конечно, «сближение с народом» необходимо. Но пора перестать «сближаться» на почве общего застолья с произнесением тостов и речей о любви к «меньшей братии». Эти попытки бессмысленны и бессильны. Член народной массы должен являться нам не в качестве «меньшей братии», а «просто в качестве человека». Такое сближение естественно и необходимо. Такое сближение «не имеет в себе ничего фантастического; это не славянофильское любование какими-то таинственными и всегда запечатленными клеймом бессознательности задачами, которые суждено, будто бы, в ущерб себе и вопреки здравому смыслу выполнить русскому народу; это не ласкательство предрассудкам, жестокости и дикости, потому только, что они родились в народе; нет, это просто изучение народных нужд и представлений, сложившихся более или менее своеобразно, но все-таки принадлежащих несомненно взрослому человеку.

Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостает, необходимо поставить себя на его точку зрения...»

Так Салтыковым была выражена та, если можно так выразиться, общая философско-историческая формула, которая легла в основу «Истории одного города». Идея этой великой сатиры созрела.

С первой книжки «Отечественных записок» за 1869 год началась ее публикация.

Глава восьмая

ОТ САТИРИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ГЛУПОВА К ТРАГИЧЕСКОЙ САТИРЕ «ГОСПОД ГОЛОВЛЕВЫХ»

В связи с полемикой, развернувшейся после напечатания в 1870 году отдельным изданием «Истории одного города», Салтыковым были сказаны знаменательные слова: «Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они... направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят». Именно таким произведением, направленным против всяческих проявлений произвола и дикости, и была «История одного города».

Задумывая и уже создавая «Историю одного города», Салтыков размышляет о смысле и назначении сатиры.

В остроироническом, насмешливо-эзоповом тоне написано вступление к одной из писавшихся в это время рецензий, как бы предвещающее беспощадно-саркастический тон «Истории...»: «Сатире, бесспорно, посчастливилось на Руси. Если мы припомним достославное изречение: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет» [1], то окажется, что родоначальником русской сатиры был едва ли не Гостомысл». Носителями, или, лучше сказать, деятелями такой сатиры, продолжает иронизировать Салтыков, стали те, кто обладал властью «вменения» и наказания. И потому можно сказать, что за легендарным Гостомыслом последовал «целый ряд более или менее блестящих сатириков, которых имена с признательностью сохранила русская история...». «То была сатира по преимуществу поучающая и вразумляющая. Изменяя свои внешние формы, смотря по тому, варяги, монголы или немцы участвовали в ее сочинении, она относительно внутреннего содержания оставалась всегда неизменною,

[1] Эти слова приписывались легендарному новгородскому посаднику IX века Гостомыслу.

всегда верною своим дидактическим целям. Исходя от идеалов весьма определенных, как, например, охранение княжеских и ханских интересов, своевременная и безнедоимочная уплата налогов и даней, она тем с большим успехом могла действовать на искоренение противных сим идеалам пороков, что к услугам ее всегда был готов целый арсенал вспомогательных средств также несомненно дидактического свойства. Это был золотой век русской сатиры; ибо в продолжение его сатира воздействовала не только на порочную волю русского человека, но и на порочное его тело». Иными словами, средствами «сатирического» воздействия были у власть имущих телесные наказания, и «сатира» сама имела, так сказать, «административный» характер.

Это вступление дает далее повод Салтыкову направить ядовитые стрелы в адрес современной литературной сатиры. Она, естественно, не обладает «вспомогательными средствами дидактического свойства», то есть розгами и шпицрутенами. Не имея этих средств, новые деятели, сатирики-литераторы, «очутились в самом затруднительном положении. Попробовали поискать идеалов с намерением сделать из них нечто вроде крепости, из которой можно было бы с удобностью стрелять по проходящим, но и в том не успели, потому что как идеалы, так и прочие украшения остались по-прежнему в заведовании надлежащих комендантов...». А эти «коменданты» вовсе не хотят дать ход настоящей русской сатире, руководствующейся высокими идеалами. Пришлось довольствоваться идеальчиками маленькими, «бросовыми», да и обличаемыми героями, пожалуй, тоже бросовыми — петербургскими камелиями, шалопаями, гранящими тротуары Невского проспекта, отупевшими от обжорства старцами... (Речь идет о творчестве мелких «сатирических» поэтов — обличителей петербургского быта.) «Говоря о людях этого замкнутого, ничтожного мира, признавая их за людей, а не за простую слякоть, сатира не только искажает свое значение, но даже перестает быть чистоплотною. Возможны ли выводы ввиду этих общественных курьезов? Возможен ли суд? Нет, ни для тех, ни для другого не имеется достаточных оснований, ибо курьезы тем именно и замечательны, что из них ровно ничего не следует и что относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним» (то есть принцип ответственности перед судом идеала). Кроме того, все эти «мелочи» никак не связываются ни между собою,

ни с «положением вещей», они «стоят одиноко, вне пространства и времени, и потому несут на одних себе всю ответственность перед негодованием сатирика».

Но каков же тот идеал, который позволяет ставить вопрос о вменяемости? И кто же оказывается воистину вменяемым?

«Действительная история человеческих обществ, — продолжает Салтыков развивать свою мысль о подлинной общественной сатире, — есть повесть неписаная и по преимуществу безымянная, которой нет дела до случайных накипей, образующихся на поверхности общества. Она воспроизводит не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному и легкомысленному наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами.

Вот ежели мы спустимся в эти таинственные, неизвестные народные глубины и найдем там лишь убожество, нищету да бессилие, — ежели мы встретимся там лицом к лицу с жизнью, со всех сторон опутанною всякого рода тенетами, с жизнью, находящеюся в постоянном и бесплодном борении с материальною нуждой, с жизнью, которая этою никогда не прерывающеюся борьбой как бы осуждена на вечный мрак и застой, — вот тогда-то перед нами откроется зрелище действительно потрясающее, которое всецело и навсегда прикует к себе лучшие силы нашего существа и в то же время даст нашей деятельности и богатое, неисчерпаемое содержание, и действительную исходную точку.

Таким образом, оказывается, что единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрогивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека».

Принцип сатирического «вменения», сатирического осмеяния и разоблачения может быть применен со смыслом и пониманием высокой цели лишь к таким общественным явлениям и положениям, которые представляют

целый строй жизни, в которых воплотилась «сила вещей». Чем далее проникает сатирик в глубины и тайны народной жизни, тем большую содержательность и остроту приобретает его сатира («зрелище действительно потрясающее»). Однако объектом сатирического осмеяния, разумеется, становится не сама по себе народная жизнь, а враждебный этой жизни исторический порядок вещей, исказивший и изуродовавший народный образ, народное сознание, повседневный народный быт, тот порядок вещей, который обрек народную жизнь на «вечный мрак и застой». Ответственность, «вменяемость» того или иного факта, явления, типа, и тем самым сила «негодования сатирика» и острота сатирического разоблачения, определяется отношением каждого такого явления к «жизни масс». Именно в этом смысл утверждения Салтыкова, что «единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная».

Салтыков вспоминает Гоголя, его «энергическое, беспощадное остроумие», которое относится к предмету «во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым» (очерк «Русские «гулящие люди» за границей», составлявший первоначально часть майской за 1863 год хроники «Наша общественная жизнь» и включенный в отдельное издание «Признаков времени» в январе 1869 года).

«Трудно живется нашей сатире, — говорится в одной из салтыковских рецензий 1868 года. — Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету» во всех этих пустяково-обличительных стишках будто бы сатирических поэтов. Но дело-то как раз и заключается в том, чтобы гоголевский «капитал» увеличить, обрести для сатиры некий новый предмет и дать ей новый смысл. Ведь «последнее время создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала. Сверх того, гоголевская сатира сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности». Во времена Гоголя еще не появились или не были осознаны «моровые поветрия», поглощающие целые массы, втягивающие, захватывающие в свой фатальный «моровой» круговорот людские множества («язва либерализма, язва праздномыслия, язва легкомыслия» и т. д. и т. п.). Теперь предметом сатиры уже должен стать не «психологический» тип во всей его индивидуально-личностной определенности (разумеется, выражающей и у Гоголя в конечном счете какое-либо общественное «положение»), но именно та или другая «язва», «моровое поветрие». Индивидуально-психологические особенности одержимых этими «поветриями» не то что не имеют значения, но попросту исчезают, стираются, «поглощаются».

Два «моровых поветрия», две кровоточащие «язвы» русской жизни с особой ясностью открылись Салтыкову за десятилетия его службы: язва насилия и язва «начальстволюбия»; язва произвола и язва приниженности, бессловесности и послушливости перед лицом произвола. Открылись они ему и потому, что он давно уже создал себе идеал жизни, «непременно имеющей быть», — свободной народной жизни, без насилия и произвола. И «мелочи жизни» уже не стояли перед ним «одиноко», а связались в целый единый комплекс его демократическим и социалистическим мировоззрением.

Язва неукротимого, не сдерживаемого даже теми законами, которые есть, насилия; язва славословящего начальстволюбия и рабской послушливости не были, конечно, чем-то новым в исторической жизни самодержавной России. В них как бы «фокусировался» закон этой жизни. Но с особой очевидностью эти мучительные язвы обнаружились в годы осуществления крестьянской реформы.

В очерках незавершенного «глуповского цикла» Салтыков сатирически представил современное состояние «глуповства» — именно в момент «разлома» старой, крепостной России, изобразил растерявшиеся и часто нелепые фигуры его носителей и «ревнителей». Поначалу «глуповство» символизировало собою дворянство, у которого «рука» правительственной власти отобрала лакомый «кусок». Потом вдруг оказалось, что и Иванушка вовсе не лишен характерных глуповских качеств. Теперь, накануне десятилетия реформы, Салтыков уже был готов к тому, чтобы уяснить историю «глуповства». Стало необходимым понять исторические корни, истоки и начала глуповского порядка вещей. Оказывается, что начало глуповской истории лежит в глубине веков. А с другой стороны — эта историческая глубина открывает секрет и с временного «глуповства». И именно теперь Салтыков обобщает закон многовекового бытия в форме столь не-

обычного сатирического повествования — «летописи»-хроники, которая будто бы велась на протяжении столетия четырьмя смиренными летописцами, не мудрствующими лукаво и в меру своих сил славословящими. Мир, который рисует Салтыков, — это фантасмагорический мир чудес, мир всевозможных «волшебств». Он, так сказать, опрокинут в прошлое, да к тому же прошлое, говорящее, так сказать, *своими словами, своим сознанием* — легендарным и часто просто нелепым.

Для смиренных летописцев история Глупова — это история его прославленных начальников, его блестящих правителей, ибо «не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может».

Но смиренный Павлушка, Маслобойников сын, последний летописец, славит не только «сих подвижников» на ниве градоначальства, но и благодарную память о них в сердцах сограждан, и память эта не может быть иной, ибо все они — бурные или кроткие — были начальники. «Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей вертоград, в меру благодарящий? Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание».

Это «трогательное соответствие» Издатель «Глуповского Летописца» (то есть Салтыков) во введении комментирует: «Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором — трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия».

Итак, вот оно, «трогательное соответствие» трепещущих обывателей и секущих градоначальников, уж не во сне ли померещившееся смиренно-простодушному и славословящему Павлушке Маслобойникову?

Сечение — это тот общий знаменатель, под который можно подвести все «устроительные» действия самых разных начальников города Глупова. И имеет сечение в конечном счете один результат — насилие над обывателями, *покорно, хотя и с трепетом это насилие принимающими*.

Глуповская масса — «внутри себя» чаще всего не дифференцирована, не расчленена. Все ее свойства — даже тогда, когда она «бунтует», — определяются лишь одним отношением — повиновением насильничающей власти. Всё это — обыватели. Правда в сочинении глуповского градоначальника Василиска Бородавкина «Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем» сей «Василиск» (чудовищный змей, способный убивать одним своим взглядом), неукоснительно требуя повиновения от всех «прочих», а не только от злодеев, под «прочими» разумеет всю массу обывателей, хотя и полагает необходимым различать среди обывателей: «во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ». Однако перед лицом градоначальников все обыватели обязываются трепетать и повиноваться.

И все же каждый градоначальник имеет свое лицо, осуществляет свою секущую власть самыми разными, ему только присущими способами.

В журнальном тексте («Отечественные записки», 1869, № 1) за «Обращением к читателю от последнего архивариуса-летописца», размышлявшего о «трогательном соответствии» секущих и секомых, следовала «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным (1731 — 1825)». История города Глупова здесь ограничена одним столетием, в основном совпадающим с XVIII веком, при этом названы имена действительно существовавших и правивших в России лиц (герцог Курляндский Бирон, «кроткая Елисавет», Кирила Разумовский, Потемкин и другие). И многое в этой описи недвусмысленно намекало на реальную русскую историю XVIII века, так, «Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец», явно напоминает императора Петра III, сына голштейнготторпского (голштинского) герцога. Как и Петр III, правил Пфейфер в 1761—1762 годах. «Ничего не свершив, — сказано в «Описи...», — сменен в 1762 году за невежество» (Петр III был убит в 1762 году после переворота, совершенного его женой Екатериной).

По этой причине некоторым критикам и показалось, будто Салтыков пишет «историческую сатиру», сатиру на русских самодержцев именно этого давно ушедшего времени. Какой же современный интерес может иметь такая сатира, кроме «смеха ради смеха»? Но при этом как будто не замечали, что все эти реальные лица в сложных комбинациях сопрягались с вымышленными правителями-градоначальниками, их фантастическими деяниями и не менее фантастической судьбой, создавались острогротескные, не имеющие ничего общего с реальностью образы, возникали столь же неправдоподобно-гротескные ситуации. Резкими штрихами вычерчивается, например, образ градоначальника Баклана (баклан, по Далю, — болван, чурбан, чурка): «Баклан, Иван Матвеевич, бригадир <офицерский чин в русской армии XVIII века>. Был роста трех аршин и трех вершков и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году» (в этом году умерла императрица Елизавета Петровна и пришел к власти Петр III).

Не все современники могли, конечно, знать и о том сложном творческом процессе, в итоге которого действительные губернаторы, с которыми довелось служить Салтыкову, превращались в его фантазии в градоначальников с «органчиком» в голове или с «фаршированной головой», градоначальников, летающих по воздуху. И потому Издатель (Салтыков), соглашаясь, как всегда саркастически, с тем, что возможность подобных невероятных и фантастических фактов в прошедшем «еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него», тем не менее, опять-таки саркастически, утверждает что «фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности». Не ставя своей целью создать «историческую сатиру», Салтыков, однако, вовсе не отказывается от того, чтобы осмеять официальные славословия в адрес русских самодержцев прошлых времен. Ведь по представленным глуповским летописцем часто удивительным и даже невероятным фактам можно проследить, как в истории города Глупова «отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах», то есть действительные смены у власти тех или иных исторических лиц.

Мы помним, что десять лет назад Салтыков написал рассказ «Гегемониев», в котором истолковал легенду о призвании в 862 году на Русь варяжских князей как миф, так сказать, прообразующий создание Петром Великим бюрократической системы власти. В «Истории одного города» Салтыков вновь обращается к этой легенде, многократно истолковывавшейся русскими историками на протяжении XVIII и XIX веков. Легенда эта положила начало так называемой «норманской» теории происхождения русской государственности, главным в которой было именно призвание властителей со стороны для установления порядка в «нашей великой и обильной стране» (сторонником норманнской теории был, в частности, Михаил Петрович Погодин, не раз иронически упоминаемый на страницах «Истории одного города»).

И вот Салтыков пишет главку «О корени происхождения глуповцев», как раз и рассказывающую о поисках «головотяпами» князя, который и устанавливает «секущий» порядок в их неустроенной земле. И помещает Салтыков эту главку в отдельном издании своей книги вслед за «Обращением» летописца к читателям. Таким образом рамки истории раздвигаются, летописец с уди-

вительным простодушием повествует о временах легендарных, когда как раз и был взращен «корень» самовластия и глуповства.

Салтыков пародирует рассказы русской летописи («Повесть временных лет») и сочинения историков (например, Н. М. Карамзина) о племенах, населявших в доисторические времена землю, ставшую потом Русским государством.

Иронический склад ума, склонность к насмешливым, часто злым и ядовитым прозвищам, умение увидеть и самого себя в смешном свете — все это в натуре русского человека. И это качество в высокой степени было присуще самому Салтыкову. Он, сам калязинец, конечно, еще с детских лет запомнил прозвище калязинцев — толоконники, и присказку: «Калязинцы — свинью за бобра купили». А над соседями калязинцев — кашинцами — смеялись: «Собаку за волка убили, да деньги заплатили».

У И. Сахарова («Сказания русского народа») и В. Даля («Пословицы русского народа») Салтыков берет те насмешливые прозвища, которыми обменивались насельники разных русских городов и весей: «головотяпы» — егорьевцы, «моржееды» — архангелогородцы, «лукоеды» — арзамасцы и т. д. Знал он и те «анекдоты», которые приписываются «слепородам»-пошехонцам, в трех соснах заблудившимся. В Вятке рассказывались те же истории о нелепых похождениях пошехонцев, но действующими лицами были в них «Вани-вятчане». По всему лицу земли русской разносили балагуры эти шутки-прибаутки, сложившиеся когда-то в глубокой древности.

На этой народно-поэтической основе и строит Салтыков свою пародию.

«Был, говорит он <глуповский летописец>, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути». (Трудно сказать, почему в народе егорьевцев прозвали головотяпами, хотя, разумеется, какая-то причина тому была; Салтыков выявляет буквальный смысл прозвища, при этом наделяя его и тем значением, которое в русском языке стало главным, определяющим — нелепый, бестолковый человек, разиня.) «Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают». (И в этом случае ощущается смысловой

подтекст, выражаемый русской поговоркой: «Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет»). «По соседству с головотяпами, — продолжает Салтыков излагать рассказ глуповского летописца, — жило множество независимых племен <в «Повести временных лет» упоминаются племена: поляне, древляне, кривичи, вятичи и др.>, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою». «Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, — говорит летописец, — знали, что головы у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с божьей помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие», то есть новгородцы, тверитяне и рязанцы.

Салтыков в своем гротесковом мире свободно переходит от одного исторического времени к другому, накладывает одно время на другое, совмещает их. Отправляясь от иронического переосмысления легендарных событий русской «доистории» и истории IX века (призвание варягов), он в то же время намекает и на борьбу Москвы (в этом смысле под головотяпами можно понимать и москвичей, кстати, Егорьевск лежит неподалеку от Москвы) с Новгородом, Тверью и Рязанью уже в XV—XVI веках, и на объединение русских земель вокруг Москвы. Но с помощью «пошехонских» историй-прибауток все эти события отнесены к легендарному прошлому.

«Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевид-

ной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя».

Искали-искали головотяпы князя, да в трех соснах заблудились, к счастью, очутился тут пошехонец-слепород [1], который сразу их на княжий двор привел. Рассказали головотяпы князю о своих смехотворных подвигах во имя порядка, на что от князя услышали: «не головотяпами вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! И володеть вами тому князю, какого нет в свете глупее.

Опять пошли добры молодцы князя искать. Чухломец-рукосуй показывает им на краю болотины князя глупого-преглупого! Но и этот князь оказался еще недостаточно глуп, и он отослал глуповцев.

Наконец, вор-новотор посылает головотяпов к третьему князю. И оказалось, что этот-то князь вовсе не глуп, а напротив — «умной-преумной».

«Ладно. Володеть вами я желаю, — сказал князь, — а чтоб идти к вам жить — не пойду...

Понурили головотяпы головы и сказали:

---

[1] Употребляя здесь народное прозвище жителей ярославского села Пошехонья — «слепороды», Салтыков раскрывает для понимающего читателя свой прием «совмещения» времен. Дальше в той же главе будут названы чухломец-рукосуй и житель Торжка — вор-новотор.

— Так!

— И будете вы платить мне дани многие...

— Так! — отвечали головотяпы.

— И тех из вас, которыми ни до чего дела нет, я буду миловать, прочих же всех — казнить.

— Так! — отвечали головотяпы.

— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Так! — отвечали головотяпы...

Шли головотяпы домой и воздыхали сильно. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Та́кали мы, та́кали, да и прота́кали!» («Новгородцы такали, такали, да Новгород и протакали», — записывает В. Даль, добавляя, что так говорится об уничтожении веча новгородского или о покорении Новгорода. — «Пословицы русского народа».)

«Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль», — прибавляет летописец».

Но «процветание» сей древней отрасли состояло больше всего в раздорах, несогласиях и бунтах.

«Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

— Несть глупости горшия, яко глупость!

И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

— Запорю!»

С этим словом начались исторические времена, началась история города Глупова.

И вот почему глуповцы называются глуповцами: потому, что променяли они свою вольность на княжескую власть, избравшую главным орудием своего правления насилие — сечение. Таков «корень» их происхождения.

Начиная, после общей «Описи...», свое повествование с главы «Органчик», Издатель оговаривается, что «он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткой описью».

Первым таким замечательнейшим градоначальником, удостоившимся особой главы, явился Дементий Варламович Брудастый (происхождение этого слова — «оброс-

ший длинной, косматой шерстью»; «брудастыми» называлась особая порода злющих гончих собак). Без сомнения, есть свой смысл в том, что Брудастый прибыл в город Глупов в августе 1762 года, то есть именно в то время, когда после убийства в июле Петра III к власти пришла «мудрая» и «просвещенная» Екатерина. Глуповцы ликовали. «В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности». «Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства».

Однако надежды глуповцев не оправдались. Новый начальник прискакал во все лопатки («время было такое, что нельзя было терять ни минуты»!) и «едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков».

Произошел обычный прием, который устраивал каждый вновь прибывший градоначальник (губернатор) подчиненной чиновничьей элите. И что же? «Тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось както загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов <военачальников>, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели».

И было отчего остолбенеть. «Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером». Брудастый занялся «анализом недоимочных реестров»! «По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков» — итоги своего «анализа», «произносил: «Не потерплю!» — «и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают...» Недоимки собирают, из спины обывателя выколачивают! «А градоначальник все сидит и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над

всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Много видели они начальников, но такого еще не видели. Главное, что они ничего не понимали, а только чувствовали страх — «зловещий и безотчетный страх».

В городе даже заводится глуповская крамола (шепотом говорили, что Брудастый вовсе не градоначальник, а оборотень, «присланный в Глупов по легкомыслию»), назревает глуповский бунт: смельчаки «предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья». Однако и их взяло раздумье (и раздумье-то не могло быть никаким, кроме как глуповским): «А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым <вышним начальством!>, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве».

Доброкачественность «наших предков» и их начальстволюбие были столь неколебимы и прочны перед лицом всяческих испытаний, что они готовы были вынести и такого градоначальника, ведь для выбивания недоимок, собственно, и не нужно ничего другого, кроме сакраментальной формулы: «Не потерплю!» Но вдруг обнаружилось, что на плечах Брудастого не голова, а пустой ящик с механизмом, который не может теперь наигрывать и эту простенькую мелодию: «Не потерплю!», что механизм этот испортился и требует починки, коей и занимается часовых и органных дел мастер Байбаков. Кроме того, к петербургскому часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру (которого, правда, в 1762 году не было: новый пример прозорливости летописца, — замечает Издатель) было послано за новой градоначальнической головой, а градоначальник заперт в кабинете.

«Началась анархия, то есть безначалие». Глупов опять взбунтовался, и это был бунт начальстволюбия: глуповцы «выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом...

— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним».

И вдруг перед толпой предстали два градоначальника: один с починенной Баибаковым головой, другой же — с присланной от Винтергальтера.

«Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась».

Что же значит это фантастическое гротескное преувеличение, вызвавшее недоумение некоторых критиков? Собственно, в тексте главы «Органчик» сам Салтыков уж дал ему объяснение. На вопрос «глуповских интеллигентов», обращенный к смотрителю народного училища: «Бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд?» — смотритель, подумав с минуту, отвечал, что «в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал». На возмущение Суворина в его статье «Историческая сатира» по поводу «органчика» Салтыков в письме в редакцию «Вестника Европы», где была напечатана суворинская статья, отвечал: «...зачем же понимать так буквально? Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы: «Не потерплю!» и «Раззорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?» Ответ мог быть только один — такие люди есть, и Салтыков хорошо узнал их.

Удаление «самозванцев» с «пустыми посудинами» вместо голов вызвало среди начальстволюбивых глуповцев семидневное междоусобие и взаимоистребление. Движимые фатальной силой начальстволюбия, они, естественно, не могли не впасть и на самом деле «немедленно впали в анархию» («Сказание о шести градоначальницах»). Смиренные глуповцы, привыкшие испытывать всяческие бедствия и неурядицы, в особенности если они исходят от законных начальников, легко становятся добычей пагубного безначалия и губительной анархии, когда начальники вдруг исчезают, глуповцы даже начинают бунтовать (чаще всего на коленях, как это было и при «органчике»). Но и бунт-то у них поистине глуповский — темный, бессмысленный и бессознательный: и на этот раз выход своим чувствам они нашли в том, что, собравшись у колокольни, «сбросили с раската[1] двух граждан: Степку и Ивашку». Потом перебили стекла в модном заведении француженки девицы де Сан-Кюлот (в просторечии — Трубочистихи) и пошли к реке. «Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам».

[1] Земляная насыпь или деревянный помост, на котором обыкновенно ставились перед крепостными стенами пушки.

Власть была дезорганизована, и этой дезорганизацией воспользовались честолюбивые личности. «И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины». Какую же роль во всей этой сумятице семи дней, когда сменяли и побивали друг друга глуповские градоправительницы, играли глуповские обыватели — глуповские «интеллигенты» и глуповские «мужики»? Когда первая претендентша Ираида Палеологова заняла градоначальнический «престол», обыватели «поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы». Но вот «овладела умами почти мгновенно» вторая претендентша — Клемантинка де Бурбон. Тогда «опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку». Ираидка была побеждена, и «обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы». Но претендентши появлялись одна за другой: в конце концов в пригородной солдатской слободе объявилась Дунька-толстопятая, а в стрелецкой слободе заявила претензию Матренка-ноздря.

Дикое междоусобие поднимается до какого-то высочайшего градуса общественной безнравственности и всеобщего террора, и салтыковский ожесточенный и беспощадный гротеск не смешит, а наводит ужас и отчаяние. «И Дунька, и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполье, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова».

«Глуповцы просто обезумели от ужаса». И в чем же находит выход их безумный, их бессмысленный ужас? «Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных — того даже приб-

лизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп!»

На «Сказании о шести градоначальницах» закончилась публикация глав «Истории одного города» в первой книжке «Отечественных записок» за 1869 год.

Работая уже над следующими главами «Истории...», Салтыков понял, что картина глуповского бытия была бы неполной, если бы не дать в ней надлежащего места глуповскому либерализму (вольномыслию).

«Органчик», прибывший в город сразу же после екатерининского переворота, был все же самозванец, и правление его закончилось очень плачевно и быстро, стоило испортиться несложному механизму, с помощью которого он приводил в трепет и ужас преданных глуповцев. Вскоре после террористического семидневного безначалия, в том же 1762 году, появляется в Глупове Семен Константинович Двоекуров, который и градоначальствовал до 1770 года. (Об этом повествуется в главке «Известие о Двоекурове», напечатанной лишь в девятой книжке «Отечественных записок» за 1870 год, но поставленной в отдельном издании после «Сказания о шести градоначальницах»). «Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории».

«Известие о Двоекурове», в отличие от описания других градоначальствований, весьма кратко. Объясняется эта краткость предположением, что «преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного либерализма и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там <Салтыков не удерживается от саркастического комментария>, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения». По-видимому, и Двоекуров от этого «принципа» не отказывался, но уже то, что он ввел медоварение и пивоварение и «сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа», свидетельствовало о его либерализме. Тем самым он оказался «родоначальником тех смелых новаторов, которые, спустя три четверти столетия, вели войны во имя карто-

феля». Так либерализм Двоекурова прямо связывается с военными мерами против крестьян, не желавших сеять картофель, уже в сороковые годы XIX века. Но, пожалуй, самое важное дело, которое совершил Двоекуров, — сочинение проекта о необходимости учреждения в Глупове академии — для «рассмотрения» наук, но отнюдь не для их «насаждения» и «распространения».

В глуповском архиве сохранился густо перемаранный листок, по-видимому, принадлежащий к биографии Двоекурова, на котором можно было разобрать лишь загадочные обрывки фраз; «имея не малый рост... подавал твердую надежду, что... Но, объят ужасом... не мог сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустил...» Как разгадать эти таинственные, интригующие слова? Может, имея последовательно восемь «амант», то есть любовниц, а следовательно, особенный талант нравиться женщинам, свой этот талант утратил, не удовлетворив последнюю из «амант»? Или, получив какое-то поручение, объятый ужасом, этого поручения не выполнил и потом «всю жизнь грустил»?

Салтыковские иносказания сложны и, конечно, несут в себе смысл, вряд ли имеющий отношение к «амантам». Ключ наверняка надо искать в невыполненном «поручении», а может быть, и обещании, которым начинал в 1762 году свою либеральную деятельность Двоекуров.

Вспомним, что императрица Екатерина поначалу желала сделать свое царствование просвещенным и чуть ли не конституционным, переписывалась с французскими просветителями. В 1762 году императрица созвала Комиссию для сочинения нового Уложения и даже придумала для комиссии Наказ, выдержанный в духе просветительских идей. В комиссию были допущены и депутаты от «податных сословий» (исключая крепостных крестьян). Однако слишком активные выступления в комиссии депутатов от податных сословий и их сторонников в пользу ограничения крепостного права, несомненно, объяли царицу ужасом, и комиссия закрылась, не закончив своей деятельности. А вскоре захлестнувшее чуть ли не всю страну крестьянское пугачевское движение и вовсе заставило Екатерину отказаться от своих просветительских затей.

А другой царь, Александр I, воспитанный швейцарским просветителем Лагарпом, в начале царствования попытался реформировать устаревшую и застойную политическую систему. Но попытка эта в конечном счете не

имела никаких результатов. А близкий одно время Александру Сперанский, предполагавший даже создать в России нечто вроде парламента, был вскоре сослан. (К Александру и деятелям его царствования Салтыков еще вернется в следующих главах «Истории одного города»).

Но Салтыков метит, конечно, и еще в одного «градоначальника», свидетелем и даже участником либеральной реформаторской деятельности которого он был совсем недавно, — Александра II. Конечно, лишь только «ужасом» мог быть вызван весь тот поворот, который совершала после 1862 года правительственная политика, тот фактический отказ от продолжения реформ, который переживала Россия в годы, когда писалась «История одного города».

Такова была судьба либерализма сверху в глуповской истории.

Салтыков как бы собирает в едином фокусе характеристические черты закономерного исторического движения такого самовластного либерализма, осуществляемого с верхов власти, сверху. Этот либерализм или останавливается, сделав первые, робкие шаги (Двоекуров, не выполнил «поручения», «сробев»), или и вовсе поворачивает назад, к привычному «глуповству», сила которого может быть преодолена и разбита лишь сознательностью действующей народной массы.

Прошел год, и в первой книжке «Отечественных записок» за 1870 год публикует Салтыков следующую часть «Истории...» — трилогию о глуповском градоначальнике Фердыщенке, собственно, повествование о безмерных народных бедствиях, обрушившихся на глуповских «мужиков».

А пока что, постепенно «формируя» в своей художественной фантазии продолжение сатирической истории Глупова, Салтыков не оставляет публицистического осмысления современной русской жизни, прежде всего жизни русской провинции (седьмое и следующие «Письма о провинции»).

Провинция глухо молчит, она не выделяет из себя сколько-нибудь творческих элементов. Она «не высказала и не выразила ничего, потому что нет у нее главного условия, которое необходимо для жизни деятельной и полагающей почин, — нет самосознания...». Провинциальная интеллигенция при первой же возможности стремится поскорее покинуть уездные и губернские палестины с тем, чтобы устремиться в центры — Петербург или Москву. Лишь мужик как сидел на своем наделе, так и продолжает сидеть, ежегодно совершая вместе с природой весь земледельческий круговорот да платя причитающиеся подати и исполняя повинности.

Так в чем же дело? Салтыков убежден, что причина всему этому «оголению» жизни несомненна: крепостничество не умерло, а продолжает жить, и это-то особенно заметно не в волнующихся и кипящих центрах, а во все еще спящей мертвым застойным сном провинции. Именно оно, крепостничество, до своей отмены убивало «в самом зародыше всякий проблеск народной самодеятельности», ибо строилось на неограниченном произволе одних и столь же безграничной случайности безмолвного существования других.

«Историографы» хотели бы видеть причину современного «оголения» жизни в отмене крепостного права, которое хоть как-то обеспечивало существование. Но ведь «крепостное право не в том только заключается, что тут с одной стороны — господа, а с другой — рабы. Это только внешняя и притом самая простая форма, в которой выражается крепостничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегает в нравы, когда оно поражает умы, и вот в этом-то смысле все, что носит на себе печать произвола, все, что не мешает проявлениям его дикости, может быть столь же безошибочно названо тем именем, в силу которого какой-нибудь Ивашка или Семка, ложась на ночь спать, не знали, чем они завтра станут: ключниками ли, хранителями господского добра, или свинопасами». «Порок так называемого крепостного права не в том одном состоит, что оно допускает явно безнравственные отношения между людьми, а в том, что при существовании его невозможен успех, невозможна жизнь... Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество уничтожено, а потому, что оно дышит, буйствует и живет между нами. Нам тяжело жить — это правда; нам тяжелее, нежели отцам нашим, — и это опять правда, но не оттого совсем, чтобы условия современной жизни изменились к худшему, а оттого, что они *мало изменились к лучшему*».

В своей привычной творческой скудости провинция по-прежнему уповает на «распорядительность» (смешиваемую при том с «производительностью»), которая придет откуда-то извне и все неурядицы и невзгоды разрешит. На ту же административно-бюрократическую «распорядительность» — наследство крепостного права и вла-

дычества «четырнадцатиголового змия» — возлагаются надежды и в центрах. Между тем провинции надо дать жить.

Многим казалось и верилось, что земское самоуправление, так сказать, оросит провинциальную жизнь живой водой, даст именно эту возможность жить без помехи и без помехи же заниматься своим собственным насущным делом. Но местные «нарциссы, влюбленные в себя», быстро выдохлись и заговорили о неподготовленности и необходимости сужения задач. К тому же и отношение к земству, особенно со стороны историографов, какое-то сомнительное, сами земские деятели начинают уклоняться даже от посещения земских собраний, ибо кому охота подвергнуться обвинениям во вредном мечтательстве и карбонаризме, то есть подрыве принципа самодержавия. Но неужели у местного земского самоуправления нет действительно насущного и нового дела? Причем такого дела, которое как раз требует расширения задач и ясного взгляда в будущее. Уже давно заговорили о сближении сословий (дворянства и крестьянства). Но ведь сблизиться — не значит просто сесть за один стол во всесословном земском собрании. Ведь нужно же общее дело. И тут оказывается, что «нет довольно содержательного общего дела, по поводу которого могло бы произойти сближение. Современное дело, которое выставляет вперед провинция, не может быть этим поводом, покуда в принципе его лежит опасение раскидаться и растеряться; других же дел покамест не предвидится. Вот если бы провинция поставила себе к разрешению такой вопрос: отчего она год от году беднеет, отчего она живет не для себя и не своею, а заимствованною жизнью, отчего, наконец, исчезают из нее ее умственные и вещественные капиталы, тогда, несомненно, она получила бы и возможность и повод для сближений в самых обширных размерах». Впрочем, Салтыков понимает, что эта его широкая демократическая программа вряд ли под силу не утопическому, а реальному местному самоуправлению в условиях государственной централизации, да еще при непременном желании сохранить как политическую силу во главе самоуправления привилегированное меньшинство — дворянство. Но существует ли русское дворянство? Несомненно, что при крепостном праве никому и в голову не приходило усомниться в его существовании. «Это было сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность предъявлять некоторую силу

среди общего бессилья, некоторую инициативу среди общего безмолвия. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходит через всю историю этой корпоративной силы, заключается все-таки в том, что, однажды устроившись, она до самого конца оставалась при этом устройстве, занимаясь повторением задов и ни разу не поставив себе вопроса: возможно ли для нее дальнейшее развитие, в каком именно смысле и в какую сторону? Будущее для нее не существовало. Но будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок. В настоящем случае оно пришло в виде упразднения крепостного права — и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить все связующие нити; что вместе с исчезновением крепостного права исчезло и дворянство».

Все эти публицистические суждения Салтыкова постоянно перекрещивались с той художественной картиной, которую он рисовал в это же время средствами сатиры в «Истории города Глупова».

Так, в 1869 году он пишет и в первом номере «Отечественных записок» 1870 года публикует «трилогию» о бригадире Петре Петровиче Фердыщенко, который был «до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления». Во всяком случае, глуповцы в первый раз вздохнули свободно «и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

Но градоначальник есть градоначальник, и он остается верен себе.

На седьмом году мирного и патриархального правления бригадира вдруг смутил бес. Он сбросил замасленный халат, в котором обыкновенно являлся обывателям, облачился в вицмундир и стал требовать, чтобы глуповцы по сторонам не зевали, а смотрели бы в оба. А вся причина была в том, что возжелал он Алены Осиповой, жены ямщика Дмитрия Прокофьева, которая «цвела красотой» в слободе Навозной. Но Алена и Дмитрий не покорились. Аленка даже на всю улицу орала:

— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

И «поронцы» не помогли, хотя когда «Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались

словно пьяные». Митька пуще того взбунтовался. «Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

— На, пес! жри! жри! жри!»

«В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале». Но в поджоге, само собой, заподозрили Митьку. И через месяц он «уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь, в числе прочих сущих воров и разбойников».

«Однако ж, глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них».

И обрушились на город Глупов и глуповских «мужиков» бедствия страшные и ужасающие, хотя и нельзя сказать, чтобы вовсе непривычные и неслыханные. Не так уж редко голодала российская деревня, истощенная «градоначальническим» и помещичьим правлением, и горели ветхие деревянные российские города и деревни. И совсем недавний, 1868 год современники называли «голодным годом» — так же, как названа первая из трех глав о Фердыщенке — «Голодный год». Хорошо узнал Салтыков за многие годы своих странствий разоренную русскую деревню, видел крестьянские поля, иссушенные беспощадной засухой, видел землю, истощенную отсталым многовековым землепользованием. И картина бедствующей земли и умирающего от голода крестьянства была, конечно, не в новинку для его тоскующего взгляда и болезненно сжимавшегося сердца. И этой болью сердца пишет он апокалипсическую и вместе с тем вполне реальную картину постигшего глуповцев безмерного несчастья.

«С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень; и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного... Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не

взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет».

Однако глуповцы и тут остались верны своей глуповской философии непреоборимого терпения: «Нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!» Эта темная философия очень удобно объясняла и причину обрушившихся на них бедствий: все дело в ней, в беспутной Аленке — причине бригадирского грехопадения! «Новая сия Иезавель[1], — говорит об Аленке летописец, — навела на наш город сухость». Сокрушается Салтыков, что беден и темен сознанием глуповец, что беды его и от иллюзорности, неразумности его скудной мысли, что действительная жизнь скрыта от него под фантастическим покровом, который направляет его по пути бесчеловечного преступления.

Молили глуповцы бригадира оставить Аленку, ходоков посылали, батюшка (священник) пугал его рассказом об Ахаве и Иезавели, бригадир же всё рапорты писал: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть воинская команда прибудет. А глуповцы всё помирали, да трусливый и испуганный бригадир «перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников».

И появились вдруг перед бригадирским домом уцелевшие глуповцы.

«— Аленку! — гудела толпа.

Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее

[1] В Библии — жена израильского царя Ахава, заставила его служить языческому божеству Ваалу, за что бог иудеев наслал на Израиль засуху и голод. По велению бога, выброшена из окна, растоптана конями и растаскана псами.

толпа, застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную».

А толпа не менее обезумевших глуповцев гудела:

«— Сказывай, ведьма! через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?..»

Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей...

«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи <говорит летописец> даже ни единого лоскута В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы».

«И вот, в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли

— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости». Но то был не хлеб, то была воинская команда (Бунты-то усмирять проще, чем хлеб выращивать!)

Непотребства самодура Фердыщенки на этом не окончились Едва лишь начал поправляться город после голода и экзекуций (не зря же туда прибыла воинская команда), «как новое легкомыслие осенило бригадира, — говорится в главе «Соломенный город»: — прельстила его окаянная стрельчиха Домашка», слывшая в стрелецкой слободе «сахарницей» и «проезжим шляхом». Взбунтовались стрельцы . из-за Домашки! Больно лаком стал бригадир: «у опчества бабу отнять вздумал». Три раза стегал бригадир Домашку, и на третий раз она не выдержала. сдалась

Издатель передает рассуждение простодушного летописца· забыл, видно, бригадир, «что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам» (А почему, собственно, неповинным расплачиваться за чужие грехи? — такая мысль в голову летописцу не приходит) Но в самом ли деле они безгрешны, не виновны ли они в тупом всевыносящем терпении?

Итак, следствием нового бригадирова вожделенного непотребства стало новое ужасное бедствие, постигшее город

Тревожными предвестниками бедствия, как водится и как рассказывает четописец, явились юродивые — Архипушко и Анисьюшка, — со своими нескладными, но многозначительными словами и действиями. Смутное предчувствие овладевает глуповцами

«— Господи! что такое будет! — шептали испуганные старики»

Был канун праздника Казанской божией матери. Народ молился в церквах И вдруг небо сплошь заволокло тучами, раздались один за другим три оглушительных раската грома, затем послышался набат: загорелась Пушкарская слобода Что-то принесет глуповцам этот новый каприз неведомой и неумолимой силы вещей, по их представлениям — силы неведомой и непреодолимой?

Проникающий всю глуповскую «историю» салтыковский тон иронии и сарказма сменяется патетическим тоном сочувствия и сострадания. Трагедия, отчаяние, весь *апокалипсис бытия несчастного*, замордованного глуповца восстают из поражающей, полной нестерпимой боли картины гибели в огне пожара города Глупова, гибели самого глуповца, которому казалось, что вот теперь, во все пожирающем огне, пришел к нему конец всего

Речь идет уже не о нелепом «глуповце», а о страдающем, искалеченном человеке! И Салтыкова обвиняли в глумлении над народом! Душевное состояние обыкновенного, простого человека, человека «толпы», создавшего многими тяжкими трудами гнездо, где желалось жить до конца дней, и вот — гневное движение стихии, и ничего нет, безнадежность охватывает все существо. Как жить завтра, будет ли это завтра? Да, оно будет, оно придет со своими новыми неразрешимыми запросами и обязательными требованиями ..

«Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли, — все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все

строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул — и взял силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек, а затем — настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится в берегах своею собственною силою, которое издает свой собственный треск, гул и свист. Не скажешь что́ тут горит, что́ плачет, что́ страдает; тут все горит, все плачет, все страдает... Даже стонов отдельных не слышно.

Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его — это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый *конец всего*, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем».

Но тон Салтыкова резко меняется на саркастический и беспощадно осмеивающий, когда на сцене вновь появляется Фердыщенко, теперь уже кающийся и проливающий слезы («крокодиловы», — замечает летописец), Фердыщенко, возвращающий Домашку бунтующим стрельцам, но не забывающий при этом послать за воинской командой.

«И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!
Разить врага
Другим пора!

Глуповцы оцепенели». Сечение и на этот раз их не миновало.

Но вот новое озорство посетило не столько голову, сколько тело бедного рассудком бригадира. И, конечно, жертвами этого озорства стали опять запуганные и нещадно поротые глуповцы. (Издатель напоминает, что Фердыщенко копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов — по краткой описи градоначальников Фердыщенко обозначен так: «бывый денщик князя Потемкина» — и любил, чтоб его везде чествовали).

Но если князь Потемкин путешествовал по всему лицу земли русской, то в «заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной», кроме бесчисленных навозных куч.

«План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары».

Это было поистине «фантастическое» путешествие, путешествие, так сказать, «нарочное», что-то вроде бессмысленной игры.

Три дня путешествовал так Фердыщенко по навозным кучам городского выгона, встречаемый повсюду обывателями, которые били в тазы и приносили дары. И, наконец, завершил свои «хождения за три моря» гигантским

объедением. И бренное тело достославного путешественника не выдержало, «вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла...». Кончилось...

Глуповцы погрузились в ожидание, предчувствуя в страхе появление новой воинской команды...

«Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку». В чем же выразились эти «превосходные» административные меры нового градоначальника?

Фердыщенко был самодуром, но самодуром, так сказать, не на семейной почве, чем прославились купцы-самодуры Островского. Это был самодур-администратор, и самодурство его было все же политическим, ибо он как-никак представлял власть. Правда, самодурство это принимало формы по преимуществу бытовые, диктуемые ему его вожделениями, какие-то дурацки-патриархальные. В области собственно административной его скорее отличало полное бездействие.

Совсем другим предстал перед глуповцами Василиск Бородавкин. Застегнутый на все пуговицы и имея всегда при себе фуражку и перчатки, он поразил глуповцев необыкновенным и во всякое время криком. (Вспомним, что крик и «административная въедчивость» отличали реального губернатора Шидловского.) «Столько вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, — что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей своих навсегда испугались».

Бородавкин был человеком действия и, кроме того, сочинителем, так сказать, человеком идеи. Еще за десять лет до прибытия в Глупов он принялся за проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении». Но, поскольку это выходило за пределы его административных возможностей, он решил заняться «так называемыми насущными потребностями края», среди которых главное место занимала, конечно, цивилизация, которую он определял так: «Наука о том, колико каждому Российской империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит». За изысканием примеров Бородавкин обратился к скрижалям, на которых были начертаны цивилизаторские деяния его предшественников. «Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает... «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно... Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее». Лишь один статский советник Двоекуров выделялся из этой толпы теней. Его-то, «просветителя» и «цивилизатора», решил Бородавкин взять себе за образец.

Многое совершил Двоекуров и при этом розог не жалел.

Главная же его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Глуповцы уж успели забыть те времена, когда они вместо хлеба сеяли горчицу и за стол без этого горького продукта не садились. Таким образом, Бородавкин явился вовремя, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Только к горчице и лавровому листу он решил прибавить прованское масло. Так начались войны за просвещение.

«Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили *энергию бездействия*».

Много в этих войнах было удивительного и фантастического. Разорял и расточал Бородавкин глуповцев немилосердно, делал походы на непокорные слободы, не желавшие цивилизоваться, раскатывал по бревнышку обывательские избы и домишки. Его солдаты в темени глуповской ночи убивали друг друга, тонули в топях и болотах, утопил он в болоте и свою артиллерию. Казалось даже временами, что бунтарская энергия бездействия возьмет верх. Но Бородавкин не унимался. Энергия административного действия была столь велика, что даже оловянные солдатики, с которыми он стал ходить в свои походы за просвещение, восчувствовали: «С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в гла-

зах у всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении».

Салтыков как бы останавливает повествование, признавая, что многое из рассказанного может показаться чересчур фантастическим. На это можно ответить так: «История города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще».

В этом мире чудес «просвещение» очень просто может быть заменено «непросвещением». И тогда начинается новый ряд походов — походов уже против просвещения. Дело уже шло к сожжению всего города, как вдруг Бородавкина не стало...

«В 1802 году пал Негодяев». Обстоятельства «падения» Негодяева (пожалуй, слишком громко, хотя, разумеется, нарочито, сказано о незначительном градоначальнике) полны исторических намеков. Падение его, по утверждению летописца, произошло из-за «несогласия с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций». Н. Н. Новосильцев и П. А. Строгонов были членами так называемого Негласного комитета, предпринявшего некоторые либеральные реформы после убийства в 1801 году, при молчаливом одобрении Александра I, его отца Павла I.

Однако, комментирует Издатель, вряд ли такое несогласие с членами Негласного комитета могло сыграть какую-нибудь роль, ибо Негодяеву было безразлично, что «насаждать», лишь бы начальство приказало. «Действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником <в Гатчине, под Петербургом, постоянно жил Павел I> и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало» (Павел I несколько ограничил помещичьи «права» в отношении крестьян). «Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить». Наступила «эпоха увольнения от войн».

Начал эту эпоху черкашенин Микаладзе, установивший «драгоценнейший из всех административных прецедентов — прецедент кроткого и бессквернего славословия». Одну лишь слабость имел этот насадитель учтивого обращения и изящных манер — «какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу». Потому вскоре и умер — от истощения сил.

«Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда, сама собой, стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии».

Беневоленский создал целую философию законодательства. Существуют законы мудрые, но по обстоятельствам не всегда полезные; существуют законы немудрые, но и они могут оказаться благопотребны. Есть же законы средние, которые всегда и во всяких случаях благопотребны. Эти законы очаровывают душу, «потому что это собственно даже не законы, а, скорее, так сказать, *сумрак законов*». Их удобство в том, что всякий неудержимо стремится исполнять их «без малейших мер понуждения».

Именно такие законы и вознамерился издавать Беневоленский (например, «всякий да яст»).

Но тут, к его великому огорчению, оказалось, что простой градоначальник не имеет права издавать собственного измышления законы, даже средние, даже такие, какие можно было бы отнести к области «второзакония» (ибо иные глуповцам и не нужны)! По этому поводу Беневоленский отписал начальству, и вскоре на его представление последовал ответ, недвусмысленно гласивший:

«1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской Державы повреждения?

и 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые же законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»

И все же законодательный зуд победил, Беневоленский не выдержал и стал потихоньку сочинять свои за-

коны и посредством прокламаций распространять их, как, например, весьма «средний» «Устав о добропорядочном *пирогов печении»*. И за это, а также, как узналось, за тайные сношения с Наполеоном был вскоре объявлен изменником и уволен.

На смену Беневоленскому явился майор Прыщ, голова которого оказалась фаршированной и стала добычей сластолюбивого гурмана — предводителя дворянства.

Здесь Салтыков вновь останавливается, чтобы дать необходимые объяснения по поводу летописного рассказа (начало главы «Поклонение Мамоне и покаяние» печаталось в четвертой книжке «Отечественных записок» за 1870 год). Что же такое глуповская история? И кто такие глуповцы, что такую историю претерпевают? Не глумление ли вся эта фантасмагория над честными и мирными обывателями некоего фантастического, вымышленного буйной фантазией сатирика города, хотя и явно отражающего в своем странном бытии факты российской истории?

Углубляясь мыслью в характерные, часто удивительные и фантастические особенности и подробности истории города Глупова, пытаясь постичь смысл этой истории, Салтыков высказывает принципиально важные соображения — со своей точки зрения человека разума, — касающиеся закономерностей исторического развития вообще. Тема Истории была одной из самых главных в его мировоззрении. Ему представляется, что в истории «встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения», а может быть, и не без некоторого страха — перед возможностью таких, противных нормальному разумению, исторических «провалов». Не сновидение ли такая история, которая допускает провалы и остановки?

Что же в таком случае происходит? «Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет *и покрывается мутною накипью, сквозь которую невоз*можно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений». Людьми овладевает тревога, источник которой неясен и смутен.

«Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности, однако же едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна?» Иными словами, что происходит в эти эпохи «провалов» в народной массе, в самой глубине ее? На этот вопрос ответить трудно, почти невозможно, «так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, что давление чувствуется и там!» И главный удручающий итог «давления» обстоятельств, складывающихся в тревожные эпохи исторических провалов, давления, проникающего на всю глубину народных масс, так сказать, до самого «дна», итог этот — «более или менее продолжительная отсрочка общественного развития». «Провал» в русской истории Салтыков, несомненно, связывал с всевластием чиновничества и крепостнического дворянства.

Салтыков обращается к истории города Глупова. «Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал город Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации, которые и завладели всецело ареной истории». Предметом летописи и служат — совсем не внутренняя жизнь глуповцев, скрытая от взора летописца-наблюдателя, — а именно эти «эманации», какие-то искусственные и болезненные выделения и наслоения как необходимый результат постоянных «ошеломлений», зуботычин и долбления голов (в прямом и переносном смысле). «Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскуственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается; напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка».

В глуповской истории существуют и по-своему действуют две противоположные, противостоящие друг другу стихии (рассуждая об этом, Салтыков, пожалуй, с наибольшей ясностью определяет главную тему своей сатирической «Истории...»). «С одной стороны, его <то есть летописца> умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда

застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?» «Людишки» и «сироты» — это для Салтыкова народная масса, чаще всего «застигаемая врасплох» силой организовавшейся и окрепнувшей — всей системой власти. Роль народной массы в глуповской истории, как это ни прискорбно, страдательная, пассивная. Эта масса, «чернь», и «доселе считается стоящей как бы вне истории».

Глуповцы — «это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах». Конечно, было бы лучше и для души успокоительнее, если бы летописец «вместо описания нестройных движений изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права». «Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною*».

Между тем «эпоха увольнения от войн» продолжалась, глуповцы благоденствовали и даже тучнели, неожиданное усекновение «фаршированной» головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на их благополучие. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные надзиратели. Наконец прибыл в Глупов статский советник Иванов, но, будучи чрезвычайно малого роста, «умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся».

В 1815 году на смену Иванову явился французский выходец виконт дю Шарио, который впоследствии, по исследовании, оказался женщиною. Понятно, что он только веселился и пел гривуазные песни, а дел никаких не вершил и в администрацию не вмешивался.

«Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца, но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись... И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим глуповским неистовством», но которое гораздо приличнее назвать скоропреходящим глуповским баловством».

Обложка первой книжки журнала «Современник» за 1863 год.



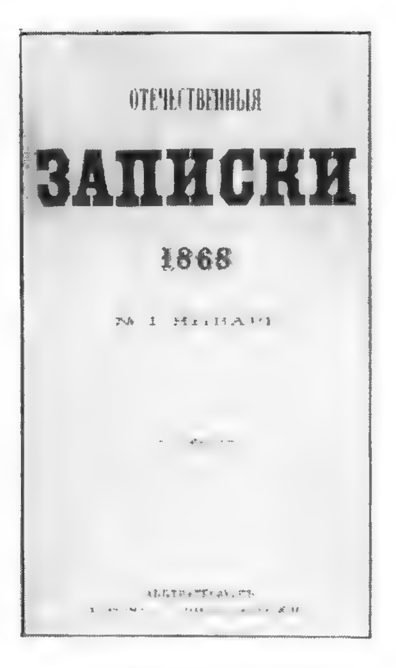
Фрагмент гранок «Истории одного города». *Начало главы «Неслыханная колбаса», превратившейся в «Органчик», с правкой М. Е. Салтыкова.*

Дю Шарио, виконтъ, Ангелъ Дорофеевичъ, французскій ... Любилъ рядиться въ женское платье и лакомился лягушками. По разсмотрѣніи, оказался дѣвицею. Высланъ, въ 1821 году, за границу.

21) Грустиловъ, Эрастъ Андреевичъ, статскій совѣтникъ. Другъ Карамзина. Отличался нѣжностью и чувствительностью ... и умеръ отъ меланхоліи въ 1825 году. Дань съ откупа возвысилъ до пяти тысячъ рублей въ годъ.

... Угрюм-Бурчеевъ ... Въѣхалъ въ Глуповъ на бѣломъ конѣ, сжегъ гимназію и упразднилъ науки.

Въ августѣ 1762 года, въ городѣ Глуповѣ происходило необычное движеніе по случаю прибытія новаго градоначальника, Дементія Варламовича Брудастаго. Жители ликовали, еще не видавъ въ глаза вновь-назначеннаго правителя, они уже разсказывали объ немъ анекдоты и называли его «красавчикомъ» и «умницей». Поздравляли другъ друга съ радостью, целовались, проливали слезы, заходили въ кабаки, снова выходили изъ нихъ, и опять заходили. Въ порывѣ восторга, вспомнились и старинныя глуповскія вольности. Лучшіе граждане собрались передъ соборной колокольней, и, образовавъ всенародное вѣче, потря-




Обложка первого номера журнала «Отечественные записки».


Салтыков с картой города Глупова. *Рисунок А. Долотова. 1869.*


Иллюстрация М. Башилова к «Губернским очеркам».

«Губернские очерки. Рассказ подьячева». *Литография П. Бореля с рисунка М. Башилова. 1868.*



Дом Краевского на Литейном проспекте, где жил Н. А. Некрасов и помещались редакции «Современника» и «Отечественных записок».

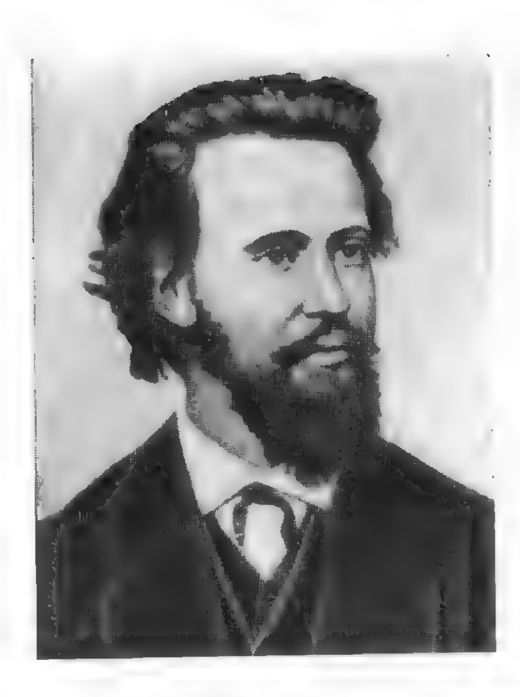


Некрасов в период «Последних песен».
С картины И. Крамского. 1877.

М. Е. Салтыков. *Фотография первой половины 1870-х годов.*



Иван Сергеевич Аксаков. *Фотография начала 1880-х годов.*



Глеб Иванович Успенский. *Фотография 1870-х годов.*



Павел Васильевич Анненков.



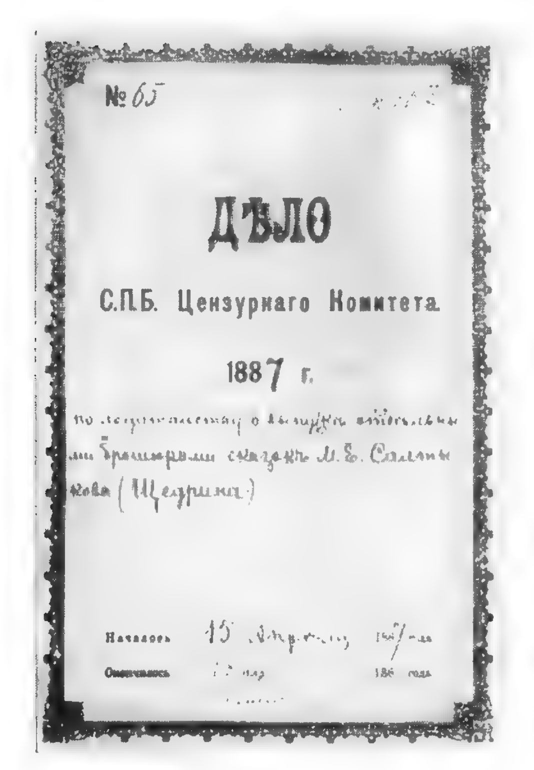
Николай Константинович Михайловский. *Фотография начала 1880-х годов.*

№ 7451 10 Марта 1878

Въ Главное Управленіе по дѣламъ печати

Имѣю честь покорнѣйше просить Главное Управленіе по дѣламъ печати утвердить меня отвѣтственнымъ редакторомъ журнала „Отечественныя Записки" Марта 1878 года

Заявление
М. Е. Салтыкова
в Главное управление
по делам печати.
1878.


№ 65

ДѢЛО

С.П.Б. Ценсурнаго Комитета.

1887 г.

по [illegible] о выпускѣ отдѣльными брошюрами сказокъ М. Е. Салтыкова (Щедрина)

Началось 15 Апрѣля 1887 года
Окончилось 188 года

Обложка цензурного
дела о запрещении
издания сказок
М. Е. Салтыкова
(Щедрина) отдельными
брошюрами. *1887.*

Григорий Захарович Елисеев. *Фотография 1870-х годов.*



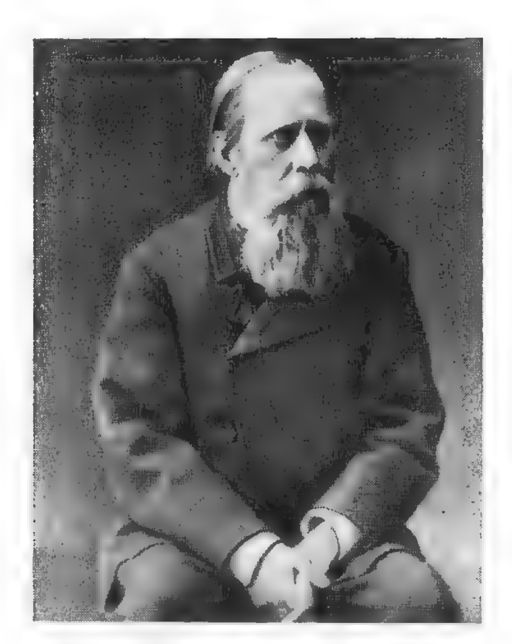
«История одного города». «Органчик». *Рисунок Кукрыниксов, 1939.*

М. Е. Салтыков. *Портрет работы И. Крамского. 1879.* ▶





«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». *Рисунок Кукрыниксов, 1939.*



М. Е. Салтыков.
Фотография начала 1880-х годов.



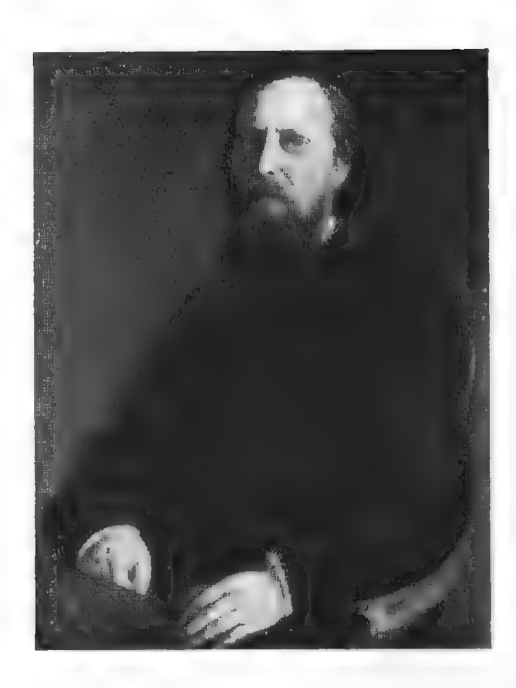
Е. А. Салтыкова
с сыном Костей. *1873.*



Костя Салтыков.
Начало 1880-х годов.



Лиза Салтыкова. *1884.*



М. Е. Салтыков.
Портрет работы Н. Ге. 1872. Фрагмент.

Салтыков выходит из «леса реакции».
Аллегорическая картина Д. Н. Брызгалова и Н. П. Орлова. 1883.





Дом Красовской (Скребицкой) на Литейном проспекте.
Последняя квартира М. Е. Салтыкова с осени 1876 года — третий этаж, крайние пять окон слева.

Кабинет М. Е. Салтыкова в его последней квартире на Литейном проспекте. *Рисунок М. Малышева. Май 1889 года.*





М. Е. Салтыков. *1889.*

Как же это так может случиться, что благополучие вдруг оборачивается неистовством? Еще в отступлении об истории, ее «провалах», Салтыков заметил, что из рассказа летописца видно, что «глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом». Административное ничегонеделание и безнравственное легкомыслие начальников пагубно сказалось на глуповцах. Гражданская незрелость, и при этом апатия и равнодушие, когда не секут, привели к тому, что глуповским идеалом стали праздность, лень, упование на авось.

Кроме того, «забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам».

В этот-то момент и был назначен к ним градоначальником статский советник Эраст Андреевич Грустилов, человек чувствительный и прикидывавшийся благочестивым, но, в сущности, злейший идолопоклонник; его идолопоклонничество было особого рода, так, например, он с наслаждением наблюдал тетеревиное токованье. Кроме того, по приезде в город он сразу же выразил свое заветное желание — сечь... девочек! (Грустилов вспомнил то существовавшее тогда «мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось».)

Вообще же Грустилов продолжил политику своих предшественников, возведших тунеядство в административный принцип. Это было горькое заблуждение, которое разделил и Грустилов. Ведь «если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие — на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие — вот единственная формула, которую, с точки зрения науки, можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся». Головы глуповских градоначальников, чем бы они ни были начинены, могли вместить лишь одну

«политическую экономию» — политическую экономию тунеядства.

В конце концов, развращенные такой «политической экономией», глуповцы и трудиться перестали: не вспахав земли, они разбросали зерно по целине. «И так, шельма, родит!» «Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые».

И тогда вдруг перед Грустиловым засиял «свет Фавора», которым одарила его жена местного аптекаря Пфейфера.

Салтыков только что прочитал в «Вестнике Европы» (1869, № 8) статью А. Н. Пыпина «Госпожа Крюднер». И весь этот эпизод перерождения «злейшего идолопоклонника» Грустилова в христианского мистика (а это и был «свет Фавора») навеян сатирически переосмысленными фактами биографии Александра I, испытавшего в последние годы жизни, годы все усиливавшейся духовной реакции, огромное, подавляющее влияние мистически настроенной баронессы Варвары-Юлии Крюднер.

Встреча с баронессой Крюднер произвела на императора огромное впечатление. Подобно тому, и Грустилов, возвратившись домой после встречи с Пфейфершей, «целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти... Но что всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.

— За всех ответить или всех спасти! — кричал он, цепенея от страха, — и, конечно, решился спасти».

Так началась «эпоха покаяния», главными вдохновителями которой, кроме Пфейферши, были юродивая Аксиньюшка и блаженный Парамоша, назначенный вскоре инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ [1].

---

[1] По поводу «просветительской» деятельности блаженного Парамоши Салтыков писал А. Н. Пыпину, имея в виду статью Суворина «Историческая сатира»: «Конечно, для простого читателя не трудно ошибиться и принять исторический прием за чистую монету, но критик должен быть прозорлив и не только сам угадать, но и другим внушить, что Парамоша совсем не Магницкий только <попечитель Казанского учебного округа александровского времени>, но вместе с тем и граф Д. А. Толстой <с конца шестидесятых годов министр народного просвещения>. И даже не граф Д. А. Толстой, а все вообще люди известной партии, и ныне не утратившей своей силы».

Конечно, можно было бы только удивляться тому внезапному перевороту, который произошел с Грустиловым, строить догадки, как и почему любитель тетеревиного токования и сечения девочек мог так быстро превратиться в аскета. Случайность и неисповедимость, превратившиеся в своего рода закон, — вот что управляет фантастической историей Глупова. На вопрос о том, почему Грустилов вдруг сделался аскетом и мистиком, можно ответить только так: «Кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел» и т. д.

Впрочем, пожалуй, превращение Грустилова можно объяснить и более естественно. Вериги, которые он нацепил, были просто помочи, не бывшие дотоле в употреблении в Глупове, шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный, и все это сдабривалось духовной любовью прекрасной Пфейферши. В сущности, он оставался злейшим идолопоклонником, о чем свидетельствует его последний «подвиг» — основание секты «восхищений», сходбища которой происходили в полуразрушенном здании, где некогда помещалась инвалидная команда.

Но вот однажды, когда собравшиеся в доме инвалидной команды начинали уже «слегка вздрагивать», а Грустилов в качестве председателя — «приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум».

«У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор.

Но что это был за взор... О, господи! что это был за взор!..»

Так явлением нового градоначальника Угрюм-Бурчеева заканчивается глава «Поклонение мамоне и покаяние».

Однако внезапное вторжение Угрюм-Бурчеева в грустиловские «восхищения» в финале главы «Поклонение мамоне и покаяние» еще отсутствовало в журнальном тексте («Отечественные записки», 1870, № 4). Там появлялся последний (по «Описи градоначальникам») глуповский градоначальник Перехват-Залихватский, но повествования о его «подвигах» не было. Глуповская история вроде бы закончилась, однако исторические судьбы глуповцев и окончательные итоги истории фантастического города в рассказе о Грустилове и скупом сооб-

щении о Перехват-Залихватском оставались не вполне ясными, как бы недоговоренными. В самом грустиловском покаянии было что-то случайное, необязательное, как бы экзотическое. Между тем царствование Александра I — Грустилова давало пищу и для сатирических обобщений более высокого и значительного смысла. Либеральный Александр шел к концу своего царствования, не только отдавшись мистике и аскетизму, но и отдав в полное подчинение могущественному временщику сотни тысяч крестьян, на жестоком надругательстве над которыми тот пытался построить какую-то особую общественную организацию, какое-то государство в государстве. Глуповцам предстояло пережить еще одно «покаяние» — куда более страшное.

Так летом 1870 года рождается глава — «Продолжение покаяния», публикация которой в девятой книжке «Отечественных записок» сопровождалась таким примечанием: «по «Краткой описи градоначальникам» местами встречается путаница, которая ввела в заблуждение и издателя «Летописи». Так, например, последний очерк наш («Отеч. зап.», № 4) был закончен появлением Перехват-Залихватского, между тем, по более точным исследованиям, оказывается, что за Грустиловым следовал не Перехват-Залихватский, а Угрюм-Бурчеев, «бывый прохвост», который, по «краткой описи», совсем пропущен. Что касается до Перехват-Залихватского, то существование его хотя и не подлежит спору, но он явился позднее, то есть в то время, когда история Глупова уже кончилась, и летописец даже не описывает его действий, а только дает почувствовать, что произошло нечто более, нежели то *обыкновенное*, которое совершалось Бородавкиными, Негодяевыми и пр. Все эти ошибки ныне исправляются. *Издатель»*.

«Он был ужасен» — так начинается последняя глава «Истории одного города». Он — это неожиданно явившийся новый начальник города Глупова Угрюм-Бурчеев. Если Грустилов, впавший в мистическое сектаторство и хлыстовскую ересь, ассоциировался непосредственно (хотя общее значение этого образа неизмеримо шире) с Александром I последних лет его жизни, то Угрюм-Бурчеев, конечно, сразу же вызывал в сознании читателей облик и дела имевшего огромную власть политического деятеля александровского царствования — военного министра, а потом председателя Департамента военных дел Государственного совета Российской империи

Алексея Андреевича Аракчеева. Продуктом военно-бюрократической фантазии Аракчеева явились так называемые «военные поселения» государственных крестьян. Крестьяне эти оставались крестьянами, ибо должны были трудиться на своем полевом наделе, но становились и солдатами, подчиненными вместе со своими семьями, строжайшей военной дисциплине, страшному, до мелочей регламентированному не только трудовому, но и бытовому режиму. Сама жизнь преподносила в этом случае нечто до такой степени фантастически-безумное, что Салтыкову оставалось только вставить эту безумную фантасмагорию в рамку «Истории одного города» и тем самым завершить эту историю. Разумеется, финал этой фантасмагории и вместе с тем финал истории Глупова вымышлен и несет в себе смысл, требующий самого внимательного прочтения.

Итак, он был ужасен.

Уж на что отвратительны Василиск Бородавкин и Дементий Брудастый, но и у них были какие-то, пусть извращенные, дикие проявления человеческих свойств — воинственная предприимчивость или безумная ярость.

В числе же элементов, составлявших природу Угрюм-Бурчеева, отсутствовали всякие следы страстности, замененной «непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма». Идеалом его была прямая линия, доведенная до наготы. «Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще», никаких естественных проявлений которой он не понимал; разума не признавал вовсе.

Угрюм-Бурчеев символизирует идею самовластия в ее, так сказать, до предела очищенном виде — очищенном от каких бы то ни было случайностей, извилин и красок, очищенном от всякой живой, движущейся, переливающейся человечности, — власть в ее стерильном, беспримесном виде. Портрет Угрюм-Бурчеева, сохранившийся в городском архиве, — это лицо такой власти.

«Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся

от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы... Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение».

Впечатление от внешности Угрюм-Бурчеева действительно тяжелое и мрачное. Сатирически-характернейшее и в этом смысле — ярчайшее воплощение самовластья как такового, это портрет властного ничтожества — серый, стертый, мертвый, как та солдатская шинель, которая нависла над ним вместо неба.

Угрюм-Бурчеев и в самом деле принял мрачное решение, ускорившее трагически-загадочный конец глуповской истории. «Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности и будущего устройства этой злосчастной муниципии».

Идеальный город представлялся Угрюм-Бурчееву в таком систематизированно-регламентированном виде. Располагался он, естественно, на совершенно ровном, плоском месте, где не должно быть ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, ничего, нарушающего идею прямизны и единообразия. Посредине этого города — «площадь, от которой радиусами разбегаются улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт <предместье>, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету». Ничто, находящееся или живущее за этой темной занавесью, для Угрюм-Бурчеева не существовало. Там была просто пустота.

Предполагалось, что каждый дом, или поселенная единица, имеет три окна и выкрашен в светло-серую краску; количество живущих в доме людей и животных также тщательно усчитано и раз навсегда определено. «Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в том случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек».

Предусмотрены всякие манежи для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для совместного принятия пищи и т. д., но школ не полагается.

Время признается как бы несуществующим: «нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется».

«В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство <уравнительство>, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской [1] фантазии...»

Таков был тот «систематический бред», созданный «воображением, возбужденным до героизма», та потрясающая своей казарменной простотой и бесчеловечностью угрюм-бурчеевская антиутопия, в которую этот «бывый прохвост» (в армии XVIII века — парашечник, убирающий нечистоты, а также армейский палач) задумал втиснуть обывателей города Глупова. Вся эта его нивелляторская антиутопия — не что иное, как соединение крепостнической регламентации, доведенной до предела, с порядками образцовой казармы. Но не исключено, что Салтыков, умудренный долголетним жизненным и общественным опытом, пародирует чрезмерное упорядочение и регламентацию жизни в фурьеристском «фаланстере»

[1] Кантонистами назывались дети солдат в «военных поселениях» Аракчеева.

или в идеальном государстве Кабе, названном Герценом «коммунистической барщиной».

Однако город Глупов совершенно не отвечал угрюм-бурчеевскому идеалу. Это была беспорядочная куча хижин, разбросанных по кривым улочкая как попало, без всякого порядка. К тому же тесные скопления в одних местах перемежались пустырями в других. «Предстояло не улучшать, но создавать заново». Для Угрюм-Бурчеева это значило — «взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят». Так он и поступил.

Долго ходил Угрюм-Бурчеев по городу, «простирая руку и проектируя», пока глазам его не предстала... река.

«Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила».

Сила сатирического негодования и гнева Салтыкова все растет, достигая небывалых еще высот сарказма, презрения и ненависти, какого-то поистине апокалипсического тона, который только и может соответствовать концу глуповской истории.

Итак, для того чтобы достичь своего идеала, Угрюм-Бурчееву предстояло совершить два великих подвига: разрушить город и устранить реку.

Что касается первого подвига, он был обдуман заранее и не представлял препятствий, ибо жизнь и страдания глуповцев «прохвосту» не были ведомы и он не принимал их во внимание. Но что касается реки, которая сверкала, звучала и жила?!

Глядя на бродившего по улицам в какой-то дикой задумчивости идиота, глуповцы понимали, что пришел конец.

И вот, «30-го июня, — повествует летописец, — на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и Павла, был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился

на городническое правление. Обыватели последовали примеру его». Город был разрушен! Наконец, «рухнул и последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую, в весеннее время, водою...»

Но бред продолжался!

Победив глуповцев, идиот замахнулся на самое природу.

«До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного...

Борьба с природой восприяла начало».

Все предшественники Угрюм-Бурчеева ломали и гнули глуповцев, искажали их человеческую природу, наказуя их «порочную душу и порочное тело» (в этой порочности все градоначальники были уверены). Угрюм-Бурчеев даже и не задумывается о порочном и непорочном. Он, идиот, просто принес Глупову и глуповцам конец.

Но в своем идиотизме он пошел и дальше. Он, поборник мертвой прямой линии, решился окончательно погубить не только человеческое, он поднял свой топор не только на жилища, души и тела глуповцев, но и на жизнь вообще.

Символом этой жизни была река. Огромными кучами строительного материала, земли и мусора тщились глуповцы во главе со своим градоначальником остановить ее живое, бурлящее движение. И казалось, в какой-то миг счастье улыбнулось идиоту: река подалась, начала разливаться по луговине. «К вечеру разлив был так велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия». Идиот торжествовал. В такие минуты идиотское возбужденное воображение «сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий». И в этом случае Угрюм-Бурчеев уже представлял, что у него будет собственное море...

Но... проснувшись на другое утро и приблизившись к реке, он стал как вкопанный. «Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад».

Природа не покорилась даже самому непреклонному идиотизму.

А что же глуповцы?

Однажды, уже после того как на новом месте был построен новый Глупов, всегда неутомимый, но на этот раз измученный «непреклонностью», Угрюм-Бурчеев вдруг «повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов».

«Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, *после долгого перерыва, в первый раз вздохнули* свободно. Они взглянули друг на друга и устыдились». Это было едва ли не первое появление Стыда на страницах произведений Салтыкова. Стыд очищает, Стыд дает силы на подвиг протеста и освобождения. «Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимой наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...»

А воспрянувший Угрюм-Бурчеев все продолжал шагать, шагать, шагать...

Глуповцы тоже шагали, подтягивались, проходили через манежи, строились, разводились по работам и прочее. Но они уже устыдились, они стали другими, они уже думали об освобождении; происходили совещания по ночам: «Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною». Угрюм-Бурчеев даже начал нечто подозревать.

«И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...» Итак, можно думать, что чаша глуповского терпения переполнилась. Что же произошло? Издатель не может ответить на этот вопрос, потому что летописные тетрадки, в которых описывались подробности происшедшего, утратились, Издатель не хочет даже высказать какой-либо догадки на этот счет. Он только приводит последний сохранившийся листок глуповской летописи. Можно, однако, так сказать, читая между строк эзопов язык Салтыкова, предположить, что глуповцы сделали попытку к освобождению от «прохвоста», но вряд ли в этой своей попытке успели.

Что же заключала в себе последняя страничка летописи?

«Через неделю (после чего? [1]), — пишет летописец, — груповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец, земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

Оно пришло...»

В этом о н о, как некогда в темной туче, из которой обрушились на «соломенный город» страшные молнии, сжегшие его, было что-то неисповедимо ужасное, заставившее глуповцев пасть ниц, какое-то неотвратимое возмездие (за что?).

И в ту торжественную минуту, когда «оно пришло», «Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

— Придет...

Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

В первых же строках главы «Подтверждение покаяния» говорится, что «ужасный» Угрюм-Бурчеев предсказывал: «Идет некто за мной, который будет ужаснее меня». Но неужели может быть что-то более ужасное, нежели деяния «идиота», чем тот «провал» в истории, который описывает глуповский летописец? Неужели за «провалом», который был все же «историей», следовал еще более страшный исторический тупик?

Да, наверное, что-то в этом смысле заключено в появлении за Угрюм-Бурчеевым еще одного градоначальника, оказавшегося, так сказать, за пределами глуповской ле-

[1] Может быть, после неудачной попытки глуповцев «освободиться»?

тописи и глуповской истории. Выражением и символом такого тупика должен был стать Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор, о котором в «Описи градоначальникам» сказано только: «О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки».

Еще в 1863 году, в «Нашей общественной жизни», Салтыков с глубокой горечью констатировал, что в тяжелые минуты нравственного распадения, охватывающего общество, на арену жизни вылезают целые легионы «милых шалунов», которым чужды действительные боли времени, которые озабочены лишь собственным сиюминутным благополучием; они играючи готовы отказаться от идеалов, ибо идеал для них — лишь призрак. В такие минуты упраздняется «тот характер человечности, который сообщает жизни всю ее цену и смысл». Место же упраздненного захватывает темное хищничество.

Обстоятельства русской общественно-политической жизни второй половины шестидесятых годов, после выстрела 4 апреля 1866 года — попытки покушения на Александра II, предпринятой Каракозовым, — дали полный простор активному вторжению на сцену русской жизни именно такого «темного хищничества», порывавшего с самыми основами нравственности и человечности. «Узы», так сказать, были развязаны.

В «Нашей общественной жизни» Салтыков приложил немало полемических усилий для уяснения смысла так называемого «нигилизма», к которому приурочивались все неблаговидные, по мнению общественной и правительственной реакции, поступки и действия «мальчишек», ищущей и обеспокоенной молодежи. Теперь, во второй половине шестидесятых годов, при поощрении власти, бесстыдно и безнаказанно развернули свою «обуздательскую» деятельность те темные силы, которые прямо обвиняли «нигилистов» во всех российских бедах. «Милые шалуны» становились все более агрессивны, подняли голову массы «прогоревших» «охочих людей», спешивших воспользоваться благоприятными для них обстоятельствами общественной смуты. Жестокое аморальное наступление под знаменем борьбы с нигилизмом на те группы и слои русской молодежи, которые жаждали обновления, шло рука об руку с бурно разливавшимся потоком хищнического буржуазного предпринимательства. Травля «нигилизма» и безудержное аморальное хищничество — этому в каком-то гнусном упоении предались те, кого Салтыков заклеймил в сатирическом типе «ташкентца».

Именно в эти годы Россия распространяет свою власть на Среднюю Азию, овладевает областями, именовавшимися Туркестаном, с центром этого края — Ташкентом. Вслед за русскими войсками, с образованием Туркестанского генерал-губернаторства, туда устремляются толпы чиновников и просто «охочих людей», желавших урвать кусок, поправить свои делишки путем грабежа и насилия.

Еще не закончив «Историю одного города», Салтыков, идя, так сказать, по горячим следам, сводит свои наблюдения над современным хищничеством в очерк «Господа ташкентцы. Из воспоминаний одного просветителя» («Отечественные записки», 1869, № 10; позднее очерк будет назван «Ташкентцы-цивилизаторы»).

Герой очерка, от имени которого ведется повествование, — бывший «ополченец», не дошедший до Севастополя, промотавшийся дотла, с единственным желанием: «Жрррать!!» «И вдруг я услышал слово, которое сразу заставило забиться мое сердце...

— Таш-кент! Таш-кент! — слаще всякой музыки раздавалось в ушах моих.

Жрррать!!»

Да, там, в Ташкенте, представлялось возможным удовлетворить это страстное, неутолимое желание, воспользовавшись щедро выдававшимися начальством «прогонными деньгами» и необыкновенной покладистостью «ласковых» к стрижке баранов. (Эзопов язык Салтыкова был, конечно, понятен современникам.)

Но Салтыков не останавливается на характеристике некоего субъекта с неумеренным хищническим аппетитом, устремившегося в Ташкент. Почему, например, этот оголтелый человек может быть назван «просветителем» и «цивилизатором»?

В следующей книжке «Отечественных записок» появляется очерк «Что такое «ташкентцы»?». Салтыков стремится понять новое явление, а понять — «значит уже обобщить его, значит осуществить его для себя не в одной какой-нибудь частности, а в целом ряде таковых, хотя бы они, на поверхностный взгляд, имели между собой мало общего». Такое обобщение, убежден Салтыков, имеет, помимо всего прочего, и цель, так сказать, общественно-воспитательную, предостерегающую, ибо понять

«явление вредное, порочное — значит наполовину предостеречь себя от него. Вот почему я прошу читателя убедиться, что название «ташкентцы» отнюдь не следует принимать в буквальном смысле».

«Ташкентцы» — имя собирательное. И главное их качество и определение — безграничная способность к «безазбучному просветительству». С убийственным сарказмом Салтыков приравнивает такое «просветительство» к насилию над теми, кто так или иначе стоит ниже, кто зависим, кто не может дать отпора. Градация тех, на кого обрушивается «безазбучная цивилизация», бесконечна, «лишь бы она кончалась человеком, «который ест лебеду» <то есть русским мужиком>. Это тот самый человек, на котором окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов».

Салтыкова не интересует Ташкент как термин географический, то есть «страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии». Ташкентский «ташкентец» — это только частность, хотя и важная, поскольку послужила первоисточником салтыковских обобщений. Для Салтыкова важен Ташкент как термин «отвлеченный», обобщающий, — то есть «страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». (Иносказательный смысл этой поговорки — «куда Макар телят не гонял» — в частом употреблении Салтыкова означает высылку по политическим мотивам.)

Салтыков поясняет: «Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., — вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете.

Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют», где каждую минуту можно услышать сакраментальное словечко «фюить!» (эзопово обозначение политической ссылки).

В сущности, это тот же город Глупов, но «усовершенствованный» новым хищничеством — не крепостнически-патриархальным, а буржуазно-нахрапистым.

Больше того, Ташкент существует и за границей. Что такое наполеоновская Франция периода Второй империи, как не тот же Ташкент?

Ташкент жрет, Ташкент колотит по зубам, Ташкент торжествует!

И это торжество следующих один за другим Ташкентов поистине удручающе.

Приступая к изображению Ташкента современного, Салтыков с тревогой смотрит в будущее. Он был бы рад сказать: «Читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент!» Но нет у него в запасе этого утешения. Ташкент заразил собой, своим зубодробительством и насилием, не только ниву настоящего, но и ниву столь желанного будущего. «Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить». Неужели насилие никогда не прекратит действия своего? «Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго». Длинный ряд Ташкентов, следующих один за другим, чем эта мрачная картина лучше истории города Глупова — лишь с прибавлением так называемых благ цивилизации?

Начиная свою галерею «ташкентцев», Салтыков хочет определить жанр своего нового произведения. Он задумывает роман, но роман совершенно нового типа.

Старый, привычный, складывавшийся на протяжении XVIII и XIX веков европейский «роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский <прежде всего, конечно, ро-

ман Диккенса>) или в отрицательном (роман французский <Бальзак, Жорж Санд>), но семейство всегда играет в романе первую роль.

Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех, — продолжает Салтыков свою характеристику *сложившегося европейского романа*. — Драма начинает требовать других мотивов: она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду — разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может; и мы не признаем его таковым единственно потому, что оно предлагается нам обрубленное, обнаженное от тех предшествующих звеньев, в которых собственно и заключалась никем не замеченная драма. Но эта драма существовала несомненно и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование — все это такие мотивы, которые имеют *полное право на разрешение посредством смерти*». Салтыков с иронией пересказывает суть любовной драмы, вокруг которой строился прежний, семейственный роман: «Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы. Почему? — а потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования, то есть драма». Значительность такой драме придавало, в сущности, только то обстоятельство, что совершалась она на многократно «освещенном» пространстве. Но человек «определяется» не только своими любовными или семейственными отношениями. «Тем с большим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание *для драмы весьма обстоятельной*. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует, и даже очень настоятельно стучится в двери литературы». Салтыков ссылается на «величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности». Действительно, и Салтыков это прекрасно помнил, Гоголь в сцене «Театральный разъезд после представления новой комедии» поручил одному из персонажей этой сцены высказать свою задушевную мысль о драматическом характере многоразличных человеческих «определений», помимо любовного: «Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет <в комедии «Ревизор»>. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы ни стало другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» Гоголь «провидел» то, что Салтыков со всей ясностью уже видел и осуществлял своим творчеством, что было велением времени, создававшего новую литературу.

«Роман современного человека, — продолжает свои размышления Салтыков, — разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью и т. п. Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются нами недраматическими. Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью, — вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман».

Не вспоминал ли через несколько лет эти слова Салтыкова о насущной необходимости общественного романа, осваивающего еще не открытые, скрывающиеся в темноте «пространства» русской действительности, не вспоминал ли их Достоевский, писавший в «Дневнике писателя», «что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без *историка*. По крайней мере ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже

слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет *историком* остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников».

Для Салтыкова «это», конечно, было не рано. Он явился одним из первых великих русских художников, кто безбоязненно вошел в эти темные, неисследованные, исполненные хаоса и социальной неразберихи пространства и сделал в них открытия необыкновенной общественной и художественной ценности. Правда, пока что в своем разъяснении особенностей нового романа он не признает еще себя в силах создать этот новый роман, но он ясно понимает задачу и поэтому хочет выступить как собиратель материалов, разъяснитель некоторых типов, которые служат воплощением настоящего «положения вещей». «Понять и разъяснить эти типы — значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный». Именно под таким углом зрения и разъясняет Салтыков тип «ташкентца».

И в заключение своего рассуждения о романе Салтыков высказывает самую свою задушевную мысль, постоянно руководившую им, — общественным деятелем, публицистом, художником. Он не может не выражать своего отношения к изображаемым типам, хотя, «казалось бы, что нет повода ни для негодования, ни для сочувствия, если уж раз признано, что во всяком положении главным зодчим является история». Нет, такой повод есть, ибо «и сочувствие и негодование устремляется не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество». И здесь опять перед умственным взором Салтыкова, болезненно волнуя его, маячит облик русского крестьянина, безропотного, «страдательно» выносящего на своих плечах движение и гнет истории.

«Кроме действующих сил добра и зла, в обществе есть еще известная страдательная среда, которая, преимущественно, служит ареной для всякого воздействия. Упускать эту среду из вида невозможно, если б даже писатель не имел других претензий, кроме собирания материалов. Очень часто об ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется как бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, в сущности же представление об этой страдательной среде никогда не покидает мысли писателя. Это та самая среда, в которой прячется «человек, питающийся лебедою». Живет ли он или только прячется? Мне кажется, что хотя он по преимуществу прячется, но все-таки и живет немного... Спрашивается: может ли писатель оставаться совершенно безучастным к тому или иному способу воздействия на эту страдательную среду?»

«Ташкентец», при всем своем внешнем разнообразии, внутренне весьма несложен. В большинстве случаев это дворянский сын, признающий лишь одну творческую силу — безазбучность. «Я должен, впрочем, сознаться, — вновь разъясняет Салтыков свою главную идею, — что ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедою», человек, скучившийся в каком-то безобразном безличном муравейнике, какая-то масса, которая «как будто колышется и живет, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука».

Так, очерк «Что такое «ташкентцы»?» стал теоретическим вступлением к циклу, который наверняка должен был перерасти в общественный роман о гибельном «воздействии» «ташкентства» на русское общество вообще и на «человека, питающегося лебедой» по преимуществу. В небольшом предисловии «От автора», напечатанном в отдельном издании «Господ ташкентцев» в 1873 году, Салтыков раскрывает свой замысел, который, однако, остался до конца не воплощенным. «Исследование о «Ташкентцах», — сказано здесь, — распадается на две части: «Ташкентцы приготовительного класса» и «Ташкентцы в действии». Вторая часть так и осталась ненаписанной, но, по-видимому, в ней-то Салтыков как раз и хотел обрушить все свое сатирическое негодование на ташкентцев действующих и растлевающих общество, на ташкентцев, для которых русский мужик был всегда лишь anima vilis — «подопытное животное».

Параллельное жизнеописание четырех ташкентцев

«приготовительного класса» дает представление о том, как и какое воспитание готовит этих героев «жранья» и «насилия» к соответственному действию. Ташкентство вызревает и растет в недрах старого жизненного уклада, так сказать, еще дремлет в нем, чтобы «проснуться», расцвести пышным цветом, развернуться уже в новую эпоху — эпоху борьбы с жупелом «нигилизма», акционерной горячки и миллионных спекуляций на железнодорожном строительстве. Герой четвертой параллели Порфирий Велентьев преподнес изумленной публике проект под названием: «О предоставлении коллежскому советнику Порфирию Менандрову Велентьеву в товариществе с вильманстрандским первостатейным купцом Василием Вонифатьевым Поротоуховым в беспошлинную двадцатилетнюю эксплуатацию всех принадлежащих казне лесов для непременного оных, в течение двадцати лет, истребления». Этот грандиозный проект всеобщего ограбления, продукт хищнической фантазии Порфирия Велентьева и Василия Поротоухова (которого большинство помнило еще под именем Васьки Поротое Ухо, сидельца кабака в одной из великорусских губерний) свидетельствовало о появлении «на нашем общественном горизонте» двух финансовых светил. «Другое, более слабонервное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьев и Поротоухов пошли в ход. Железными когтями вцепились они в недра русской земли и копаются в них доднесь, волнуя воображение россиян перспективами неслыханных барышей и обещанием каких-то сокровищ, до которых нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу».

Общественное мнение справедливо угадало в Велентьеве и Поротоухове героев времени, людей, отвечавших потребностям минуты. Но оно заблуждалось, думая, что они — просто герои фортуны, гениальные самоучки, «в которых идея о всеобщем ограблении явилась как плод внезапного откровения». «Не с неба свалилась к этим людям почетная роль финансовых воротил русской земли, а пришла издалека». Они были продуктом «целого воспитания» еще в обстановке патриархально-дореформенного, крепостнического стяжательства и в условиях привилегированной школы с ее буржуазно-апологетической «коротенькой» политической экономией. Именно вследствие такой жизненной выучки «они так же естественно развились в финансистов самоновейшего фасона, как Миша Нагорнов <параллель третья> — в неусыпного служителя Фемиды, а Коля Персианов <параллель первая> — в администратора высшей школы».

Рассказ о финансистах самоновейшего фасона был первым подступом Салтыкова к теме русского буржуа — «чумазого». «Чумазый» наступал, но наступал не как творец какого-то нового жизненного содержания и новых жизненных форм, а как хищник, грабитель и вымогатель, возомнивший расточить и разорить дотла российские недра, всевыносящую российскую казну да и забитого, казалось, уже дочиста ограбленного «человека, питающегося лебедой».

Лишь отец Порфирия, старый Менандр Семенович, с недоверием относился к финансовым подвигам сына. «Очевидно, он уже подозревал в Порфише реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...»

Салтыков заканчивал своих «Ташкентцев приготовительного класса» в знаменательном для него году — 1872-м.

31 января Салтыков был необыкновенно, как-то испуганно-взволнован, но это было волнение радостное и светлое. С новой силой вспыхнуло то его нежно-любовное отношение к жене, которое освещало первое его чувство к Елизавете Аполлоновне и теперь заставляло забывать те особенности ее часто легкомысленного характера и чуждого ему поведения светской женщины. Было близко осуществление его всегдашней мечты и надежды — стать отцом.

Уже с утра Елизавета Аполлоновна начала мучиться: приближались роды. Наконец в половине четвертого утра 1 февраля она разрешилась мальчиком.

В этот же день Салтыков спешит сообщить Некрасову радостное известие о рождении сына, нареченного Константином. И тут же, не оставляя привычной своей иронии, прибавляет: «Родился сын Константин, который, очевидно, будет публицистом, ибо ревет самым наглым образом».

Через десять дней с родительской нежностью он пишет управляющему витеневским имением Алексею Федоровичу Каблукову: «Просим принять благосклонно нашего сына, который кажется нам прелестнейшим ребенком в мире».

Воодушевленное настроение, вызванное рождением сына, не оставляет его. Ему, видимо, понравилась насмешливая мысль причислить сына к сонму публицистов, и потому в апреле он «разрабатывает» ее в письме к А. Н. Островскому: «Сын мой свидетельствует Вам свое почтение. В Петербурге распространился слух, что он пишет в «Петербургских ведомостях» <либеральная газета, которую Салтыков высмеивал как раз в это время в «Дневнике провинциала в Петербурге» под названием «Старейшая российская пенкоснимательница»> передовые статьи, но так как ему будет скоро только три месяца, то я не слишком огорчаюсь этим. Пущай привыкает».

У Салтыкова было особое, глубоко прочувствованное и идеальное отношение к детям: он видел в них будущих деятелей, которые сумеют преодолеть все сумятицы и неурядицы современности, сделают жизнь лучше и чище.

Как-то, еще в начале шестидесятых годов ему довелось встретиться у Тургенева с поэтом Афанасием Фетом. Салтыкову приходилось в это время бывать в так называемой «слепцовской коммуне», построенной по примеру коммуны «новых людей» в романе Чернышевского «Что делать?». Салтыкова в высшей степени интересовали эти необычные формы взаимоотношений и быта «новых людей», «мальчишек», «нигилистов». Вспоминая о настроениях Салтыкова времени рождения сына, Н. К. Михайловский припомнил и этот эпизод встречи Салтыкова с Фетом. «Салтыков, — пишет Михайловский, — по уверению маститого певца соловья и розы, «стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров <то есть коммун «новых людей»>, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги. «Ну, а какая же участь ожидает детей?» — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом. «Детей не полагается», — отвечал <будто бы> Щедрин... Как бы то ни было, нельзя не пожалеть, что г. Фет так невежливо удалился в угол и закрылся газетой при входе Салтыкова к Тургеневу <а об этом пишет в своих воспоминаниях Фет>. Без сомнения, этот «огромный лист» <газеты> помешал маститому поэту не только видеть Салтыкова, а и слышать его речи. Иначе я не могу себе

объяснить резкое противоречие рассказа Фета со всем тем, что мне известно о Салтыкове, а знал я его двадцать лет».

«Когда у Салтыкова родился первый ребенок, — продолжает Михайловский, — суровый сатирик до забавности сиял радостью и счастьем. Даже самые дорогие для него в жизни интересы, литературные, на время как бы отступили на второй план. В наши понедельники (редакционный день «Отечественных записок») благодаря экспансивности Салтыкова ворвалась новая и шумная струя. Со свойственным ему оригинальным юмором он рассказывал о своем сыне, о том, что он делает теперь (не особенно великие дела, как догадывается читатель) и чем он будет впоследствии (непременно писателем). Это было забавно и вместе с тем трогательно. Нельзя было не заражаться весельем этого человека с нахмуренным лбом, грубым голосом и упорными глазами, к которому веселье, казалось бы, так не шло и который так редко веселился. И не скоро привык Салтыков к новому счастью, тем более что года через два <на самом деле приблизительно через год> оно подновилось рождением дочери. А потом начались заботы, хлопоты и опасения». И действительно, болезни, поведение, учение детей стали одной из постоянных (часто мучительных и скорбных) тем писем Салтыкова вплоть до самой его смерти.

В эти весенние дни 1872 года Салтыкова охватило радостное и в то же время, так сказать, ядовитое одушевление, какого он уже давно не чувствовал. Беспредельной и прямо-таки беспощадной веселостью наполнены главы «Дневника провинциала в Петербурге», которые он писал как раз в это время. Первая глава этого сатирического романа появилась в первой книжке «Отечественных записок» 1872 года, заключающая — в последней книжке.

Салтыков надевает маску провинциального помещика, владельца имения под названием Проплеванное (дедушка владельца выиграл его когда-то, состязаясь в искусстве плевания). С несколькими оставшимися от прежней роскоши выкупными свидетельствами в кармане является этот ни к чему не способный, «прогоревший» Провинциал в Петербург, где встречает массу подобных ему никчемных помещиков — «отставных корнетов», — явившихся в столицу, дабы поправить свои вконец «проплеванные» обстоятельства. Новая — «ташкентская» — дей-

ствительность, казалось, открывала для этого необозримое поле деятельности — ведь как грибы после дождя росли всяческие акционерные компании и концессии для разработки российских недр и строительства железных дорог. А почему б не провести железную дорогу поблизости от какой-нибудь очередной Проплеванной? Тем более что доходы от железнодорожного строительства обеспечивались государственной казной, то есть все той же неистощимой и ко всему привычной мужицкой спиной. А если это не удавалось (все лакомые куски расхватали более удачливые и к ограблению более способные «ташкентцы» — всяческие Мерзавские, Бубновины и Поротоуховы), то почему же не сочинить очередной прожект о расстрелянии, уничтожении, децентрализации («чтобы, значит, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободнее было... вот это и есть самая децентрализация!») или «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств».

В Петербурге Провинциал встречается со знакомым помещиком Александром Прокофьичем по прозвищу «Прокоп Ляпунов». Начинаются поистине фантасмагорические похождения Провинциала и Прокопа по Петербургу, завлекшие их в грандиозные сатирические мистификации статистического конгресса и политического процесса. Все это перемежается бредовыми сновидениями Провинциала о краже у него Прокопом миллиона (которого у Провинциала не было и в помине) и суда над Прокопом с участием присяжных заседателей и адвокатов, суда, совершающегося по всему лицу России. Приобретательская горячка, хищнический ажиотаж, бред стяжательства и политической реакции приводят в конце концов Провинциала в больницу для умалишенных.

Смелость и проницательность сатирической мысли Салтыкова, режущей как бритва, рассекающей самые главные нервы общественно-политической жизни России, беспримерны, они вызывают неудержимый смех и нестерпимую боль.

В «Заключении» (глава XI) Салтыков подводит итог своему сатирическому общественному роману. Кого же он изображает? И неужели нет в российской действительности других героев? Конечно, существуют и другие категории людей, «воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики современности». И хотя этих людей меньшинство, их влияние на жизнь, значение для жизни может быть велико.

Главное же заключается в том, что все же «не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни, а потом — это не люди, а жертвы, правдивая оценка которых, вследствие известных условий, не принадлежит настоящему».

Салтыков берет пример, глубоко волновавший его с самого начала шестидесятых годов, со времени споров вокруг «Отцов и детей» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского, — изображение так называемых «новых людей»; именно их правдивая оценка принадлежит будущему.

«Я, разумеется, знаю достоверно — как знает, впрочем, это и вся публика», — что существуют люди, которые называют себя «новыми людьми», но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с наклеенными этикетками, а живые люди, которые, в этом качестве, имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б я повел речь об этих людях?

Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов, указать на темные (я должен был бы сказать «слабые», но смело пишу: темные) стороны, которые встречаются в этой немногословной и, во всяком случае, не пользующейся материальною силой корпорации[1]. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы, с помощью одних готовых материалов, возбуждать в читателе, по поводу «новых людей», то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство: не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен, и ничего больше?..

Допустим, что, при известных усилиях, я действительно найду наконец эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их, и даже отыщу для них лекарство в форме афоризма, что преуве-

[1] «Лавреаты» (лауреаты) — крупнейшие русские художники, касавшиеся в своих романах «темных сторон» «нигилизма», — Тургенев, Писемский, Гончаров, Достоевский. «Нелавреаты» — второстепенные беллетристы, авторы «антинигилистических» романов и повестей — Авенариус, Клюшников, Крестовский, Маркевич. Возможно, к последним Салтыков причислял и Лескова, только что напечатавшего роман «На ножах».

личения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановке, никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной, в ответ на мою предупредительность, воскликнуть: помилуйте! да прежде нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойного и естественного развития, о котором вы так благонамеренно хлопочете!

Вот какая беда может случиться при описании пороков «новых людей». А с добродетелями — и того хуже. Известно, что «новый человек» принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае продерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений — разве это не значит прямо идти вразрез мнениям большинства? И притом не просто вразрез, а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах <речь идет об общественной реакции после каракозовского выстрела>, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательствам противопоставить лишь голое fin de non-recevoire <то есть «голое» и ни на чем не основанное мнение о «новых людях» как об аморальных всеотрицателях и просто-напросто уголовных преступниках>?

Таким образом, «новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения, или, говоря скромнее, из области беллетристики. Указывать на его пороки — легко, но жутко; указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно».

К тому же «новый человек» — совсем не герой современности. Не он определяет ее, так сказать, раскраску и все оттенки этой раскраски, не в его силах придать этой современности дух своей мысли и своего идеала. «Средний человек, человек стадный» — вот этот действительный герой, и, вырванный из толпы, он и становится достоянием современной беллетристики. Это косная масса Прокопов, рыскающих по градам и весям в поисках куска. И это, разумеется, не та масса, которая скрывается где-то в неоглядных просторах российских полей, — это не «человек, питающийся лебедой». Существование «человека, питающегося лебедой» — пока что загадка, разрешение которой потребует еще многих мыслительных и художественных усилий.

Может быть, впервые в «Дневнике провинциала в Петербурге» Салтыков пробует разрешить загадку среднего, стадного человека, может быть, впервые он обращается здесь к сложному и многозначному явлению, которое станет предметом его позднейших постоянных и упорных размышлений в «Письмах к тетеньке» и «Мелочах жизни». «Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей... Как выразители общей физиономии жизни, эти люди неоцененны, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех всуе труждающихся, которые идут напролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу, с тем, чтобы, в видах личных интересов, запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех «стадных» людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая «стадность» не производит ущерба художественному воспроизведению; нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вместе взятое, устраняет всякую идею о разнообразии типов: ведь здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты...»

И всякий, кто пожелает воздействовать на жизнь с целью достижения идеала, не может отнестись безразлично к этому положению. Самый самоотверженный человек, то есть такой человек, «идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего», не *«властен* расположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами». Он вынужден бороться. Предположим, предпринимается борьба со старым «ветхим человеком» — порождением крепостничества, который, «ради своих личных интересов, стремится остановить развитие жизни». И тут на пути стоит «стадный человек», играющий роль посредника, проводника, некоего третьего элемента, иг-

норировать который нет никакой реальной возможности. Границы этой «стадности» расплывчаты, неясны, скрыты в тумане. Но несомненно, что она существует и играет свою, так сказать, поправляющую, корректирующую роль. Стадный человек — это та трагически неизбежная, сплотившаяся, в большинстве случаев глухая и апатическая, но нередко и агрессивная среда, неподвижная и в то же время колеблющаяся масса, в которой вы вынуждаетесь действовать и бороться. «*Через этот проводник проходят* все стрелы, и смотря по его свойствам... они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими».

В «Заключении» появляется и беседует с автором старый «ветхий человек», заядлый и прирожденный крепостник Петр Иванович Дракин. Он уже отходит в вечность и сам это понимает, хотя порой еще огрызается и вскидывается, как озаренный. На место его народился тип новый, деятельный, хватающий и загребающий. «Это тип, продолжающий дело ветхого человека, но старающийся организовать его, приводящий к одному знаменателю яичницу, которую наделал его предшественник. Старый «ветхий человек» умирает или в тоске влачит свои дни, сознавая и в теории, и в особенности на практике, что *предмет его жизни... фью!* Новый «ветхий человек» выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и выказывает неслыханную, лихорадочную деятельность...» Но Салтыков убежден, что деятельность этого «истинного представителя нашего времени», нового «ветхого человека» бесплодна, ибо лишена идеала и творчества, ибо хищничество может только разорять, а не созидать. Так, заключая «Дневник провинциала в Петербурге», Салтыков возвращается к теме «Господ ташкентцев», предваряя и намечая вместе с тем одну из тем «Благонамеренных речей».

У Салтыкова давно уже не осталось близких, родственных отношений с братьями. Слишком разны были натуры, интересы и судьбы.

Чаще других он встречался со старшим братом Дмитрием и его семьей, жившими, как и Михаил Евграфович, в Петербурге.

Но непосредственными имущественными отношениями Салтыков был связан с братом Сергеем. Они после совершенного еще в 1859 году так называемого «раздельного акта» совместно владели ярославским имением Заозерье. Там постоянно жил и хозяйничал Сергей. Но хозяйничанье это было бестолковым, а дела заозерского имения — до крайности запутанными и запущенными. В одиночестве Заозерья Сергей начал пить, и непрекращавшийся запой подкосил его здоровье и свел в могилу.

В июле настроение Салтыкова было омрачено смертью брата и затем бесконечными тяжбами с другими братьями, главным образом Дмитрием, по поводу оставшегося после Сергея наследства.

Салтыкову пришлось оставить Петербург и отправиться в Заозерье. Ликвидация всех связей и отношений, еще сохранявших его положение помещика, оказалась долгой, кляузной, нравственно изнурительной. Особенно неприглядной во всей этой истории, затянувшейся на два года, оказалась роль брата Дмитрия, всеми силами и средствами пытавшегося ограничить права Михаила.

Суть своих разногласий с братом Салтыков изложил в Записке на имя присяжного поверенного И. С. Сухоручкина, взявшегося от его имени вести дело о наследстве. «19 декабря 1859 года, — писал здесь Салтыков, — вдова коллежского советника Ольга Михайловна Салтыкова отделила в общее владение Михаила и Сергея Евграфовичей Салтыковых имение свое, состоящее Ярославской губернии Угличского уезда в селе Заозерье с деревнями... При этом отдельною записью прямо установлено, чтобы дохода со всего имения получать обоим братьям *по ровной части*...». Устанавливалось также, что если бы кто-нибудь из братьев пожелал разделиться, то на долю Михаила приходилась меньшая часть. «Указание это было сделано в ущерб Михаилу», — с горечью и обидой замечает Салтыков в Записке Сухоручкину, — «так как Михаил считался в семействе строптивым, то и предполагалось, вероятно, этим указанием его обуздать». Однако «оба брата никогда формально не делились, ни о разделе не просили и введены были во владение имением как общим». Вот эта двусмысленность акта 1859 года и послужила яблоком раздора, усиливавшегося все углублявшейся неприязнью братьев. «7 июля 1872 года Сергей умер, — продолжает Салтыков свои разъяснения в Записке Сухоручкину. — Наследниками остались вдова его Лидия Михайловна, рожденная Ломакина, и братья: действительный статский советник Дмитрий, действительный статский советник Михаил и надворный советник Илья Салтыковы. Михаил полагает,

что он имеет право на половину всего оставшегося имения <поскольку оно было неразделенным, общим с братом Сергеем> и сверх того на одну треть (за исключением седьмой вдовьей части) из остальной половины <как один из братьев-сонаследников; вдова получала седьмую часть наследства умершего мужа>. Напротив того, Дмитрий выражает такое мнение, что за смертью Сергея Михаилу следуют только деревни, указанные в отдельной записи на его часть, *в случае раздела*, и затем треть из остального имения». Таким образом, имущественные права Михаила Евграфовича существенно ущемлялись, и ущемлялись по инициативе и наущению Дмитрия Евграфовича. Но дело было не только в этом ущемлении, но и в том, ка́к проводил свою тактику, враждебную и несправедливую по отношению к брату, Дмитрий Евграфович. Ведь недаром он называл Михаила «изменником дворянскому делу».

В нескольких письмах к матери 1873 года, в самый разгар раздора по поводу заозерского наследства, Салтыков создает выразительнейший, почти сатирический портрет Дмитрия как своего «злого демона, который раздельным актом расстроил меня со всем семейством». Рассказывая матери о тягостных для него перипетиях заозерского дела, Салтыков вновь вспоминает брата: «...злой дух, обитающий в Дмитрии Евграфовиче, неутомим и, вероятно, отравит остаток моей жизни». Дмитрий Евграфович обладал такими чертами характера и нравственными свойствами (возможно, напоминавшими брата матери, дяденьку Сергея Михайловича, о котором в «Пошехонской старине» было сказано: «воистину стальная душа»), которые уже позволяют Салтыкову обобщать; поведение и облик Дмитрия все больше и больше вырастают до размеров и смысла символа. Очень скоро Салтыков напишет, что в лице Иудушки Головлева он изобразил именно Дмитрия Евграфовича (письмо к А. М. Унковскому от 1/13 ноября 1876 года). «Что касается до настоящего Вашего письма и выраженного Дмитрием Евграфовичем желания, чтобы я приехал к нему, — пишет Салтыков матери в апреле 1873 года, — то я нахожу, что самое лучшее и даже единственное средство не ссориться с ним — это совсем его не видеть. Он имеет какие-то совершенно преувеличенные понятия насчет заозерского наследства, и говорить с ним об этом предмете значит только расстроивать себе нервы. Видеться с ним значит подливать в огонь масла, потому что этот человек не может говорить резонно, а руководится только наклонностью к кляузам. Всякое дело, которое можно было бы в двух словах разрешить, он как бы нарочно старается расплодить до бесконечности. Я положительно слишком болезнен, чтоб выносить это. Не один я — все знают, что связываться с ним несносно, и все избегают его. При этом он прямо не признает, что половина имения принадлежит мне, а мне уступить этого не приходится. Но положим, что в этом отношении может быть решителем только суд, но диковина заключается в том, что он даже половину доходов за мной не хочет признавать, тогда как на этот счет слова раздельного акта совершенно понятны. Следовательно, говорить нам об этом значит возобновлять те спасские сцены <ссоры в Спасском доме, когда Салтыков приезжал туда в 1872 году>, которые именно из этого источника и произошли». И Салтыков заключает свою характеристику словами, прямо предваряющими и подготовляющими черты облика Иудушки: «Ужели, наконец, не противно это лицемерие, эта вечная маска, надевши которую этот человек одною рукою богу молится, а другою делает всякие кляузы?»

И вот в июле месяце Салтыков отправляется на похороны брата и объезжает родные тверские и ярославские места, те места, где прошло его десятилетнее деревенское детство. Он переезжает из Заозерья в Спас-Угол и обратно, посещает Углич, Ярославль, Ростов-Великий. Как много изменилось в этих краях с тех пор, с тех, теперь почти незапамятных времен, когда он здесь жил или бывал часто. Как обветшали и запустели старые дворянские усадьбы, как заросли не ухоженные заботливой рукой крепостного садовника парки и сады, как постарели обитатели и неузнаваемо изменились почти «выморочные» владельцы этих некогда цветущих имений! И рядом — как укрепились и почувствовали силу новоявленные буржуазные «столпы»!

Осенью, вспоминая многообразие и красочность летних поездок, Салтыков пишет очерк «Благонамеренные речи (Из путевых заметок)» («Отечественные записки», 1872, № 10; впоследствии очерк назван «В дороге»).

Еще начиная в 1863 году «Нашу общественную жизнь», Салтыков задает вопрос: «Что такое благонамеренность?» — и отвечает: прежде всего это «хороший образ мыслей». Но каково же содержание «хорошего образа мыслей» и кто имеет привилегию на обладание таким образом мыслей?

Встречаясь на путях своих длительных и многотрудных поездок по делам наследства со множеством самых разных людей, Салтыков убеждается, что эту привилегию имеют как раз те, кто в основу своего образа мыслей кладет восхваление «краеугольных камней» — тех «краеугольных камней», которые еще в статье 1863 года «Современные призраки» Салтыков не обинуясь причислил к «призракам». Новый художественный цикл «Благонамеренные речи» — при отсутствии в нем привычных Салтыкову приемов сатирического заострения, преувеличения и условности — тем не менее все же сатира — сатира на «охранительный» образ мыслей, выражающийся в форме лицемерных и паскудных «речей», в форме общих мест стадной «мудрости».

Во втором из опубликованных очерков «Благонамеренных речей» — «По поводу женского вопроса» («Отечественные записки», 1873, № 1) предмет саркастического изобличения Салтыкова — лицемерная и безнравственная тактика ревнителей «благонамеренности». «Столп современного русского либерализма», изобретатель блестящего административного афоризма: *«никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать»* — Александр Петрович Тебеньков — определяет эту тактику. Он даже готов согласиться, что «ежели известные формы общежития <то есть всё те же «краеугольные камни» — семья, собственность и проч.> становятся слишком узкими, то весьма естественно, что является желание расширить их». Но все дело в том, как расширить?

Взять хотя бы так называемый женский вопрос. Его, утверждает Тебеньков, «весьма ловко» разрешила еще во времена Троянской войны Елена Прекрасная, и разрешила так, что внакладе остался лишь один Менелай, ее супруг. Такое разрешение и «расширение» очень точно может быть определено: «экскурсии в область запретного». И собственно вся жизнь наша, — либеральничает Тебеньков, не что иное, как такая сплошная экскурсия. Но горланят при этом о каком-то подрыве краеугольных камней одни дураки. Ведь «камни»-то эти надежно защищены «благонамеренными речами».

Разумеется, «экскурсии в область запретного» могут быть позволены отнюдь не всем, вне их сферы следует оставить, например, «печенегов» (народные массы, крестьянство). «Ну а что, если печенеги... тоже начнут вдруг настаивать?» — спрашивает собеседующий с Тебеньковым автор. Но на это счет Тебеньков, либерал и «культурный» человек, вполне спокоен: «С тех пор, как печенеги перестали быть номадами <то есть кочевниками>, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вместе взятое, стоит двугривенный, но ведь для человека, не видавшего ни гроша, и двугривенный уже представляет довольно солидную ценность. Сверх того, они «боятся», и что всего замечательнее, боятся именно того, что всего менее способно возбуждать страх в мыслящем человеке. Они боятся грома, боятся домовых, боятся светопреставления... Следовательно, самая лучшая внутренняя политика относительно печенегов — это раз навсегда сказать себе: чем меньше им давать, тем больше они будут упорствовать в удовольствии. Я либерал, но мой взгляд на печенегов до такой степени ясен, что сам князь Иван Семеныч <эзопово обозначение власти>, конечно, позавидовал бы ему, если бы он мог понять, в чем состоит настоящий, разумный либерализм. Печенег смирен, покуда ему ничего не дают». Итак, «краеугольные камни» стоят прочно и будут стоять, пока «печенег» не вздумает вторгнуться в область «запретного», пока он будет коснеть в нищете и невежестве.

По мере повествования все расширяется круг тех, кому оказываются позволены «экскурсии в область запретного», кто при этом спрятался за «благонамеренными речами», как за каменной стеной. Это, разумеется, никак не «печенеги» — это новые ревнители «краеугольных камней» собственности, государственности, семейного союза, новые «столпы», спокойнейшим образом присваивающие чужую собственность, без зазрения совести умыкающие чужих жен и широкой рукой залезающие в государственный карман. И все это под громкий аккомпанемент «благонамеренных речей».

Так вопрос о тактике «благонамеренности» вырастает в коренной для салтыковской сатиры вопрос — об отношениях народной массы и «правящих сословий» (к дворянству здесь уже прибавился новый хозяин жизни — «чумазый»-буржуа), народа и власти.

Недуги давно уже не оставляли Михаила Евграфовича. Ревматизмом и пороком сердца он страдал еще с вятских лет. Но молодость, активность натуры, бурный темперамент, самый живительный воздух «эпохи возрожде-

ния» — все это заставляло забывать о болезнях, превозмогало их. Огромная работа, в том числе теперь и по редактированию «Отечественных записок», еще не изнуряла, а, наоборот, давала новые силы и рождала вдохновение, даже успокаивала.

К тому же Салтыков не умел щадить себя, не умел да и не хотел организовывать свой быт, так сказать, «рационально». С детства привыкший к карточной игре, он находил в ней удовольствие и отдых от литературных и редакторских трудов, порой засиживался за карточным столом далеко за полночь в кругу друзей и знакомых. Он никогда не задумывался о том, что такой образ жизни может в конце концов губительно сказаться на здоровье А тут еще нагрянуло дело о заозерском наследстве, расшатывавшее нервы, отвлекавшее от работы.

И болезни вдруг дали знать о себе. «Дело о наследстве, — писал Салтыков матери в октябре 1873 года, — совершенно отбило меня от работы. Сверх того, я постоянно чувствую себя дурно, так что постоянно лечусь. Не знаю, как еще умею поддерживаться. Усталость, уныние, болезнь — все вместе соединилось».

Успокаивало лишь одно — семья, дети: 9 января 1873 года родилась дочь, названная в честь матери Елизаветой. Елизавета Аполлоновна радостно занималась малютками. Еще не было тех семейных несогласия и непонимания, которые отравили последние годы жизни. В том же письме к матери в октябре 1873 года Михаил Евграфович продолжал: «Хорошо, что хоть дома-то у меня все спокойно; может быть, это и дает мне силу».

Письма Салтыкова этих лет к матери стали более спокойными и доверительными. Чувствуется, что в их многолетних трудных отношениях наступило какое-то умиротворение. И действительно, в конфликте с Дмитрием Ольга Михайловна была скорее на стороне Михаила, старалась утихомирить старшего сына, умерить его стяжательские аппетиты. Когда в декабре 1873 года было наконец выработано соглашение о разделе заозерского наследства, Ольга Михайловна, в оригинальном своем стиле, писала Дмитрию Евграфовичу: «Вероятно, ты беспрепятственно подпишешь, а за честность уплаты Михайлом я стою, общая ваша мать, за него порукою, что он честно удовлетворит всех, ибо крепко держится добрых правил честного своего имя оставить детям о себе».

Салтыкову не исполнилось и пятидесяти лет, но он жалуется, что чувствует себя почти стариком. Резкий, затяжной кашель надрывал грудь и вызывал мучительное, до тоски, сердцебиение. Нервозность и возбудимость, волнение от каждой малости все возрастали, и сердце болело и колотилось нестерпимо. Творческое вдохновение и радость труда порой сменялись прямым отвращением. Но воля и выработанная многими годами самодисциплина каждый день вели к письменному столу.

И поразительно, что упадок физических сил нисколько не отражался на силах умственных и художественных. В течение более трех лет после первого опубликованного очерка «Благонамеренных речей» чуть ли не в каждой книжке «Отечественных записок» печатался очередной рассказ или очерк цикла. (И это не говоря об одновременной работе над другими очерками и циклами.) Удар Салтыкова по изжившим себя «призракам», теням, лицемерному суесловию становился все более мощным.

В первой же книжке «Отечественных записок» за 1874 год появляется рассказ о новоявленном «столпе» — Осипе Ивановиче Дерунове. Властный, самоуверенный, нахрапистый предстает он перед рассказчиком, знавшим его когда-то, в свои детские и юношеские годы. Два облика Дерунова — содержателя грязного постоялого двора в уездном городишке еще в крепостнические времена и оборотистого дельца, раскинувшего теперь, после падения крепостного права, свои сети на весь уезд, — как бы накладываясь друг на друга и в то же время контрастируя, представляют историю рождения и последующего «столпования» новой социальной силы — российского буржуа. Вытесняя «ветхих людей» — дворян из их помещичьих гнезд, Осип Иваныч претендует теперь и на их роль охранителей «краеугольных камней» и «обуздателей» «неблагонамеренности» — роль политическую. Если «ветхие люди», не сумевшие приспособиться к новым порядкам и новым временам, все чаще расставались со своей наследственной собственностью, то новые «столпы», напротив, все решительнее собственностью обзаводились.

Но действительно ли Осип Иваныч (и все другие, подобные ему) «столп» относительно собственности и других краеугольных камней? Ведь его заботит только своя, так сказать, «собственная собственность», и он готов лишить собственности, а то и вовсе обездолить и разоряющегося помещика и нищего мужика. Не вор ли он просто-напросто? Да и относительно «союза семейственного» и «союза государственного» столп ли он? «С невыносимою болью в сердце, — заключает свой рассказ о Деруно-

ве Салтыков, — я должен был сказать себе: Дерунов — не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священною только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач <то есть будучи женат, взял в любовницы жену сына>. Наконец, он *не может* быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...»

Так Салтыков начинал живописать галерею новых столпов, буржуа, «чумазых», видя в их действиях — под прикрытием «благонамеренных речей» — не созидание какого-то нового общественного здания, а потрясение самых основ общественного благоустройства.

Возможно, уже в декабре 1874 года писал Салтыков рассказ о приспособившейся к новым жизненным обстоятельствам (тоже своего рода «столп») хозяйке дворянского имения — «Кузина Машенька». И тогда-то он получил телеграмму о смерти 3 декабря в имении брата Ильи Евграфовича — селе Цедилове матери Ольги Михайловны Салтыковой (Цедилово находилось недалеко от материнского Ермолина).

Уже дело о наследстве необыкновенно обострило нервную возбудимость Салтыкова, дали о себе знать и другие скрывавшиеся дотоле «болячки» его организма. Смерть матери, конечно, должна была ярко восстановить в его памяти и невеселое детство в Спас-Углу, и все неурядицы их взаимных отношений, и последние годы споров о наследстве, когда Ольга Михайловна выступила примирительницей. Смерть матери не могла не вызвать, особенно в его состоянии, и других нерадостных раздумий, особенно нерадостных, если вдруг с болезненной растерянностью ощущаешь, как неотвратимо быстро движется к концу жизнь. Ведь пока жива мать, она как бы заслоняет детей своих от надвигающейся неизбежности.

Продолжая и завершая на рубеже 1874—1875 годов рассказ «Кузина Машенька», Салтыков, как это часто у него бывало, описал и внешнюю сторону своей поездки в Цедилово и Ермолино, и то тоскливо-трагическое ощущение, которое приобрело характер символа всей как бы замерзшей, окоченевшей русской сельской жизни.

Выехав из Петербурга по железной дороге, Салтыков, как всегда, доехал до Твери, откуда уж приходилось добираться лошадьми.

«Вы оставили блестящий, быстро мчащийся железнодорожный поезд и сразу окунулись в самую глубину мерзости запустения». На станции холод, сырость, вонь, а постоялых дворов теперь, когда повсюду прошли железные дороги, уже нет. Надо нанимать ямщика, торговаться с ним. Но вот, наконец, «к подъезду станции подкатывает тройка заиндевевших лошадей, запряженная в возок, снабженная с обеих сторон отверстиями, через которые пассажир обязывается влезать и вылезать и которые занавешиваются откидными рогожами». «Начинается процесс влезания в повозку, подсаживания, подталкивания... Трогай!»

«Дорога. Подувает, продувает, выдувает, задувает. Рогожные занавески хлопают, то взвиваются на крышку возка, то с шумом опускаются вниз и врываются в повозку. Путь заметает; повозка по временам стучит по обнаженному черепу дороги; по временам врезывается в сугроб и начинает буровить... Через четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась под вас, ноги и весь перед тела оголились и защищены только тулупом и валенками. Начинается дорожная тоска...»

В состоянии такой тяжелой тоски Салтыков и приехал на место. Но мать уже была погребена... Обратный путь был не менее легким, и, может, уже тогда зимняя дорога в жестокую, лютую стужу, когда, казалось, кругом все умерло под ледяным дыханием не щадящей ничего живого зимы, а если что и слышится, то только какие-то щемящие стоны, — эта зимняя дорога навеяла тот символический образ русской деревни, которым Салтыков открыл рассказ «Кузина Машенька»:

«Са́ваны, са́ваны, са́ваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цепенеет; несмотря на трудную, с лишком тридцативерстную станцию, обындевевшая тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вот налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил снежную пелену — и кажется, словно где-то застонало... Мнится, что вся окрестность полна жалобного ропота, что ветер захватывает попадающие по дороге случайные звуки и собирает их в один общий стон...

Саваны и стоны...»

Салтыков жестоко в дороге простудился, и ревматизм и порок сердца обострились до опасной степени. Как вспоминал лечивший Салтыкова доктор Белоголовый, «бо-

лезнь приняла такой оборот, что долго боялись за его жизнь». Может быть, впервые за долгие годы редакторской работы Салтыков, по возвращении в Петербург, в начале января 1875 года, отказывается читать чьи-то рукописи, предназначенные для журнала, просит Некрасова не присылать ему корректур (кроме корректуры своего рассказа «Кузина Машенька»): «у меня открывается лихорадка», «нервы мои до того расстроены, что я беспрестанно плачу».

Надо серьезно лечиться, и не где-нибудь, а на хорошем европейском курорте, но положение Салтыкова таково, что врачи опасаются послать его за границу. Тем не менее такая поездка все-таки была решена.

Салтыков впервые покидал пределы России и не без оснований опасался, что вряд ли сумеет там освоиться так, как освоились Тургенев или Анненков. Он был воистину «русский мужик», как однажды сказал о себе, да к тому же болезненно-раздражительный и нелюдимый. «Меня, дикого человека, — пишет он в марте Анненкову, — доктора шлют на год с лишком за границу...» И в том же письме: «Я еду с большим ожесточением...»

И это «ожесточение» сохранялось у него, в сущности, в течение всего того года с лишним, что прожил он за границей.

Первым заграничным пунктом, где Салтыков собирался остановиться на некоторое время для лечения, был популярный тогда курортный городок в южной Германии, Баден-Баден, где бывали многие русские люди, и среди них Тургенев, Анненков, Писемский.

Салтыков приехал в Баден в середине апреля. Он так страдал от ревматических болей, что целых две недели не мог подняться с постели. Такая вынужденная бездеятельность — «насильственное бездействие» — была невыносима для деятельного и беспокойного Салтыкова. Отдохновения не было, охватывал «ужас» от невозможности опять сесть за письменный стол, а ведь для Салтыкова только работа и была жизнью. «Теперь этот ужас один у меня в голове», — писал он в эти первые баденские дни.

Но постепенно болезнь отступала. Салтыков стал брать ванны, ездил по живописным окрестностям, хотел даже посетить родину Моцарта Зальцбург.

Однако «отпустил» ревматизм, а нервы были все так же натянуты. Его раздражают скитания по гостиницам, бездомничество, уничтожающее все то, что мог бы дать целебный климат. Начинаются нелады с женой. «Я не знаю, — сетует Салтыков Некрасову, — можно ли было набрести на более несчастную мысль, как услать меня за границу. Каждый день я все более и более раздражаюсь» (25 июня/7 июля 1875). Он чувствует одиночество и неприкаянность в этой пестрой и праздной толпе пьющих баденские воды и фланирующих «курортников». Ему мечтается об уединении и покое. И в то же время его возмущает, что никто из соотечественников, наехавших в Баден, не выразил ему сочувствия, а писатель В. А. Соллогуб даже сделал вид, что не узнал его (было, правда, два довольно, впрочем, странных исключения — местный русский поп да князь Александр Михайлович Горчаков — русский канцлер и министр иностранных дел, бывший соученик Пушкина по лицею).

Гневное возмущение Салтыкова обрушивается на «русских гулящих людей», бывших помещиков, устремившихся за границу после реформы, «на русских откормленных идиотов, здесь живущих». Ему отвратительны их напыщенность и чванливость. Потом, уже переехав в Париж и вспоминая баденские встречи, он напишет: «Такого совершеннейшего сборища всесветных хлыщей я до сих пор еще не видал и вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую я питал, живя в России. В России я знаком был только с обрывками этого слоя, обрывками, живущими уединенно и не показывающимися на улице. В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своей праздностью, глупостью и чванством». Так рождается у Салтыкова замысел цикла «Культурные люди» (первоначально «Книга о праздношатающихся»), полностью осуществить который, однако, не удалось; как он сам объяснял, уже не было прежней веселости, необходимой, чтобы развить этот «юмористический», в сущности же — сатирический, сюжет. (Под «культурным человеком» иронически подразумевался русский помещик, которому после «катастрофы» не оставалось ничего другого, кроме раскладыванья пасьянсов и «проедания» выкупных свидетельств.)

Вот уже два месяца пользуется Салтыков баденским лечением, а все не может набраться достаточных сил и обрести покой для столь необходимой работы (ведь к тому же жизнь за границей всей семьей стоила немалых денег). «Не знаю, — пишет он Некрасову в июне, — скоро ли успокоюсь настолько, чтобы начать работать». Но такое успокоение не приходило, да и вряд ли придет когда-

нибудь к бесконечно и мучительно восприимчивому Михаилу Евграфовичу, тело и душа которого до конца жизни представляли уже сплошную нервную рану, сплошную боль. И тут, несмотря ни на что, он все же работает. В июле он уже посылает в «Отечественные записки» рассказ, который чрезвычайно ценил, мнение о котором запрашивал чуть ли не у каждого своего корреспондента, — «Сон в летнюю ночь». Рассказ этот — подлинный гимн во славу русского крестьянина и русской крестьянской женщины, поильцев и кормильцев земли русской (образ этот вечно «повинного» работе крестьянина возникает по естественному контрасту с «русскими откормленными идиотами», хлынувшими в европейские злачные места).

Но главное, о чем Салтыков, конечно, продолжал неотступно думать, был еще не законченный цикл «Благонамеренных речей» (одновременно возникали и начинали осуществляться и другие замыслы). «Речи» эти в таком обилии слышались со всех сторон, заполняли газетные и журнальные страницы, а иной раз становились содержанием и научных трудов, проповедовавших святость всевозможных «союзов», что, казалось, и конца им не будет, а потому не предвиделось и окончания «Благонамеренных речей».

По логике мысли Салтыкова он подошел к одному из самых болезненных вопросов русской общественной жизни, острота и сложность которого прикрывались «благонамеренным» пустословием. Вопрос этот — с е м е й н ы й. Так ли уж крепка и незыблема русская семья, чтобы служить одним из краеугольных камней общественного здания, одним из тех «союзов», которыми скрепляется общественный организм? Не захватило ли и ее разложение, подобно многим другим «призрачным» социальным институтам и общественным «союзам»? Перед умственным взором Салтыкова проходила, конечно, и драматическая история собственного семейства, вконец распавшегося со смертью Ольги Михайловны.

В Бадене летом 1875 года приступает Салтыков к написанию рассказа «Семейный суд», напечатанного в октябре в составе «Благонамеренных речей», но именно им открылся позднее гениальный салтыковский роман «Господа Головлевы».

Наконец, в августе месяце, Салтыков, кажется, близок к выздоровлению. «Что касается до меня, то я почти здоров совсем», — сообщает он Некрасову. Теперь можно работать и работать!

И тут, так сказать, на досуге, вдали от ежедневного кипения редакционных дел, назойливого петербургского мельтешения, его, может быть, впервые, посещает горькая мысль о российском читателе, не вполне ясной, почти таинственной фигуре: ведь именно к читателю обращены его сочинения, до предела, до истощения берущие его кровь, его нервы, выматывающие его умственные и физические силы. Ему кажется, что его «писаниями» никто не интересуется, что и «Отечественные записки» «никто не читает». То есть, конечно, читает, но читает равнодушно — почитывает. Это читатель «странный», «который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может... Это штука почти безнадежная, и на старости лет ее тяжело переживать». Эта мысль о читателе, для которого он так напряженно трудится и от которого ждет понимания и сочувствия, теперь будет постоянно жить в его сознании, чтобы на исходе жизни, после запрещения «Отечественных записок», вылиться в трагические размышления «Пестрых писем» и «Мелочей жизни».

Приближалось время отъезда Салтыкова из Бадена, «благовонной дыры», чтобы по совету врачей провести предстоящую зиму на другом европейском курорте, на берегу Средиземного моря — в Ницце, другой «благовонной дыре». Только жестокая необходимость заставляла его скитаться по этим «дырам», хотя и благовонным, испытывая гнетущее беспокойство о делах журнала, о судьбе своих произведений, преследуемых цензурой (именно в это время им сказаны знаменитые слова: «Я Езоп и воспитанник цензурного ведомства»). Он рвался в Россию, хотя бы для того, прибавлял он, чтобы умереть т а м.

Но до зимнего прозябания в Ницце его ждала встреча с городом, о котором он грезил с молодых лет, лет его юношеских «сновидений», его утопически-социалистических мечтаний, — с Парижем. И вот 6 сентября 1875 года эта встреча состоялась. Она была вдохновляющей и радостной. Париж «прелестен», с его оживленной городской жизнью, яркой толпой на бульварах и в кафе, с многочисленными театрами, в одном из которых — «Водевиль» — он побывал уже в первые дни и «вышел в восхищении от актеров». В течение полутора месяцев он собирается «исследовать весь Париж».

Но не только эта «внешняя» жизнь Парижа привлекала его пристальное внимание. Ведь Салтыков оказался в городе своей юношеской мечты через несколько лет по-

сле франко-прусской войны, разрушившей империю, Наполеона III, вскоре после кровавого разгрома Парижской коммуны. Он взволнованно и с тревогой следит за тем, как Франция, любезная его сердцу Франция революционеров и социалистов, Франция Сен-Симона и Жорж Санд, переживает трудный переход от позорного, «смрадного» режима «бандита» Наполеона III, режима репрессий, всяческого аморализма и социальной демагогии, — к новой, буржуазной республике. Вскоре, когда Салтыков был уже в Ницце, на выборах в парламент одержали победу республиканцы, которых возглавлял либеральный политик Леон Гамбетта, по резкому слову Михаила Евграфовича, политический «скопец», «буржуа по всем своим принципам». Бескрылая буржуазность и безыдеальность новых правителей Франции глубоко антипатична Салтыкову. Сравнения его издевательски-беспощадны, пожалуй, даже откровенно грубы, но они схватывали самую суть III республики. «Представьте себе такое положение, — пишет он Анненкову, — жеребцы уволены от жизни, а мерины управляют миром. Что может из этого выйти? Выйдет республика без страстной мысли, без влияния, республика, составляющая собрание менял. Вот эту картину меняльных рядов и представляет теперь Франция». (Менялами бывали обычно скопцы.)

Под стать новой социальной природе французского общества оказывалась и литература, в которой все больший вес приобретало натуралистическое направление. Салтыков читает романы новейших французских литераторов (преимущественно натуралистов: бр. Гонкур и Золя) и приходит в негодование от утраты в их творчестве того, что он мог бы, вслед за Достоевским, назвать «исконным реализмом» — с его живыми образами, ясной мыслью, красотой нравственного идеала. Это чтение вызывает резкую реплику в письме к Анненкову: «Возненавидел я Золя и Гонкуров...» Ведь «Диккенс, Рабле и проч. нас прямо ставят лицом к лицу с живыми образами, а эти жалкие... нас психологией потчуют», да и психологией-то, которая коренится в порочной среде или низменной физиологии.

Побывав на обратном пути из Ниццы в Россию в Париже, Салтыков знакомится с Золя, Эдмоном Гонкуром, Флобером. Он разочарован, его характеристики выразительны: «Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие хлыщи».

(Позднее, в цикле «За рубежом», на материале новых

посещений Франции, сохраняя этот свой общий взгляд на социально-политический режим III республики и литературу натурализма, Салтыков разовьет и всемерно углубит их характеристики.)

Размышляя о нынешнем положении Франции, Салтыков ни на минуту не забывает о России, когда народническое движение русской молодежи подвергалось все усиливающимся нападкам и прямым репрессиям. Непроизвольно возникают характерные сопоставления: «Какое, однако, слово Тургенев выдумал «нигилисты» — всякая собака им пользуется. Во Франции есть, впрочем, другое словечко: коммунар, тоже не без значения».

О российских делах и нигилизме напомнил Салтыкову один трагикомический эпизод. Вообще жил Михаил Евграфович в Париже довольно уединенно, лишь изредка встречаясь с некоторыми из соотечественников, чаще других — с Тургеневым, казалось, поселившимся во Франции навсегда. (Когда впервые посетил Салтыков Тургенева в Буживале, недалеко от Парижа, у него в письме к Анненкову вырвался невольный недоуменный вопрос: «неужели же он <то есть Тургенев> никогда не воротится в Россию?»)

В Буживале и произошла встреча, которая вернула Салтыкова к тому времени (уж больше десяти лет прошло!), когда он яростно спорил в «Нашей общественной жизни» с нелепыми и злостными нападками на «нигилистов» и «мальчишек». Его бурная и нервная натура вдруг дала вспышку необыкновенной силы и страсти. Сам Салтыков назвал эту вспышку «чем-то вроде истерики». Но это не была истерика. Это была естественная для Салтыкова, может быть, только обостренная болезнью, реакция на «подлость» и «пошлость». А дело было в том, что Соллогуб, некогда автор «натуральной» повести «Тарантас» и позднее нашумевшей «обличительной» комедии «Чиновник», вздумал прочитать Салтыкову свою новую комедию — о нигилисте-воре! «И если бы вы видели самое чтение, — рассказывал Салтыков Анненкову, — он читает и сам смеется и на всех посматривает». «Меня прежде всего оскорбил этот богомаз, думающий площадными ругательствами объяснить сложное дело». Салтыков взорвался и даже сам не помнил, что наговорил этому «сукину сыну», «совершенному идиоту», автору жалкой комедийки, занявшемуся в последние годы изучением тюрем, видно, потому, что «его самого посадить в тюрьму надо» (Салтыков не умел и не хотел скрывать своего пре-

зрения). *Помнил только, что сердце затрепетало, кровь* бросилась в голову, и испугавшемуся Соллогубу (испугавшемуся до того, что даже пообещал сжечь свое антинигилистическое детище) пришлось выслушать неудержимый поток гневных слов: «выразил ему (сообщал Салтыков Некрасову), что в его лета заниматься подобными пакостями стыдно». И кроме того, как вспоминал свидетель этой сцены Тургенев, назвал Соллогуба «бесчестным человеком». «Салтыков взбесился», — описывал все это происшествие по горячим следам Тургенев, «обругал» Соллогуба, «да чуть с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается... Он мне напомнил Белинского...» (из письма к Ю. П. Вревской от 5/17 октября 1875 года).

Зиму 1875/76 года Салтыкову было предписано провести в Ницце. Эта перспектива не сулила ничего доброго, даже и со стороны здоровья. Ведь и здесь он никуда не мог уйти от волнений и впечатлительности, не мог уйти от своего сатирического склада ума и сердца. «В Ницце, — поначалу спокойно описывает он свое времяпрепровождение Некрасову, — я живу еще больше взаперти, нежели в Бадене: ни одного вечера из дома не выходил. Скучновато, но климат хороший» и т. д. и т. п. И вдруг — взрыв негодования: «И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови. И все эти хлыщи здесь как дома, я один как-то особняком. Не умею я сближаться, хотя многие здесь меня спрашивают, просят «показать». Конечно, это тем и кончится, что «посмотрят», но вряд ли кому охота со мной знакомиться. Даже хозяйка говорит: какой вы угрюмый!» И Салтыков заключает: «Пусть так и будет. В мае непременно в Россию приеду. Лучше в Витеневе. Ежели умирать, так там». И еще — оторванность от России не только угнетала, вызывала «ожесточение» и тоску, но и мешала работе по причине отсутствия новых живых впечатлений. В феврале 1876 года писал Унковскому: «Дай бог как-нибудь выбраться отсюда и до России добраться. Там я буду писать, коли здоров буду, ибо это верно, что только живучи в России можно об России писать, не истощаясь». И все же: «И то еще удивительно, что что-нибудь пишу».

И Салтыков действительно пишет. Среди других замыслов и других произведений этого времени все больше кристаллизуется, оставаясь пока в рамках «Благонамеренных речей», другой, новый замысел — о «выморочном» семействе помещиков еще старых времен, беспощадным ходом самой жизни обреченных на неминуемую гибель.

Первое упоминание об этом семействе — господах Головлевых — встречалось уже в рассказе «Кузина Машенька». Там это соседи Марьи Петровны Порфирьевой — кузины Машеньки.

Но вот головлевское семейство оказывается главным предметом повествования — в Бадене пишется «Семейный суд» — об Арине Петровне Головлевой и ее сыновьях, над одним из которых, Степкой-балбесом, и вершится «семейный суд».

«Пространство» повествования о Головлевых все расширяется. Мучительное умирание другого сына Арины Петровны — Павла Владимирыча — уже символизирует и воссоздает мрачную атмосферу семейного распада и «умертвия». И все яснее и определеннее выступает зловещая фигура Порфирия Владимирыча Головлева — «Иудушки». Рассказ этот («По-родственному») пишется в Ницце осенью 1875 года.

Там же, но уже весной года следующего, Салтыков хочет подвести «Семейные итоги» — итоги всеобщей семейной «выморочности», собираясь тем самым и закончить историю головлевского семейства. Но оказывалось, что отнюдь еще не все «итоги» окончательно выяснились. И уже в апреле в Париже пишется новый рассказ, сначала называвшийся «Выморочный». Салтыков размышляет над тем, как развить и чем закончить здесь судьбу Иудушки, ибо рассказ опять-таки мыслился как завершающий головлевскую серию, как «конец Иудушки»: «Я еще хорошенько и сам не наметил моментов развития, а тема в том состоит, что все кругом Иудушки померли, и никто не хочет с ним жить, потому что *страшно праха, который его наполняет*. Таким образом он делается *выморочным человеком*» (из письма к Некрасову от 6/18 апреля 1876 года).

Но и это еще не было концом. Салтыкову еще в Париже стало ясно (об этом же ему писали многие корреспонденты), что в недрах «Благонамеренных речей» у него вызрела и родилась совсем новая книга, которую теперь необходимо только действительно дописать до конца, до того конца огромной трагической и психологической силы, на который осужден Иудушка. Вероятно, такой финал только и мог быть написан в России, куда Салтыков возвращается в начале лета 1876 года.

Позднее, в письме к публицисту и критику Е. И. Утину Салтыков говорит, что он как художник-сатирик задался «миссией» «спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается... Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются». И дальше, в том же письме: «На принцип семейственности написаны мною «Головлевы».

Распад, разложение, крах дворянского семейства — такова главная тема, основной сюжетный стержень романа «Господа Головлевы». Вспомним, что как эпизод эта тема разработана и Гоголем в «Мертвых душах», в рассказе о гибели семейства Плюшкина. Именно в этом эпизоде звучит не столько смех, как ни смешон Плюшкин. Трагический пафос гоголевского повествования о падении человека скрадывает, заглушает сатирическое осмеяние. Но Плюшкин еще не был поражен «язвой праздномыслия» и пустословия — той болезнью, которая убит Иудушку — Порфирия Головлева. Правда, первые признаки этой болезни отмечены и Гоголем — в пустом и в конечном счете разрушительном мечтательстве Манилова. И правильно заметил критик и поэт И. Анненский: Фемистоклюс (один из сыновей Манилова) «состарился в Порфирия Головлева». Склонность к «благонамеренным речам» наблюдается и в Павле Ивановиче Чичикове, оправдывающем свои аферы с мертвыми душами чуть ли не государственными интересами и благом России.

История жизни Плюшкина до появления в его усадьбе Чичикова как бы распадается на две части — сначала это деятельный хозяин, созидатель благоустроенного помещичьего хозяйства и благополучного «дворянского гнезда». Потом — переживший смерть жены, оставленный детьми одинокий скопидом и бессознательный разрушитель того здания, которое сам ранее воздвигал. Мы вместе с Чичиковым присутствуем при конце, итоге плюшкинского жизнестроительства. Чем же можно объяснить этот печальный итог? В объяснении падения Плюшкина Гоголь в самом деле, если воспользоваться словами Салтыкова, остается еще во многом «на почве личной и психологической». Его душа умерла и очерстве-

вела потому, что не сумел он, «выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество», «забрать с собою в путь» «все человеческие движения». Возродить в Плюшкине эти «человеческие движения» — значит вернуть ему человеческий облик.

Салтыков дает иной, более сложный ответ на вопрос о причинах краха «жизнестроительства» по-головлевски. Иначе представляются ему и плоды пробуждения стыда и совести в падшем человеке.

В истории головлевской семьи также видятся два «отрезка» — путь наверх, восходящий, путь созидания головлевского помещичьего благополучия, воплотившийся в деятельности Арины Петровны Головлевой, и — нисходящий, история падения, разрушения, жизнестроительство на словах, а на деле — целая цепь «умертвий», настигающих одного за другим членов головлевского семейства. Страшный символ этого упадка и смерти — Порфирий Владимирович Головлев, Иудушка.

Эти два «отрезка» бытия головлевского семейства вместе с тем — две эпохи в истории России. Жизнестроительство Арины Петровны происходит в условиях крепостного права, крепостнического помещичьего хозяйства. Превращение всех, по видимости, богатых плодов этого жизнестроительства в «прах» падает на послереформенное время. (Действие первой главы «Господ Головлевых» — «Семейный суд» — происходит незадолго до отмены крепостного права, в пятидесятых годах; «Расчет» — последняя глава головлевской хроники — производится уже в семидесятые годы.)

Но если между двумя частями плюшкинской жизни, в сущности, целая бездна — это как бы две несоединимые сферы бытия, два противоположных нравственных мира, то два «отрезка» личной и социальной судьбы головлевского семейства — неразделимы. В самом головлевском жизнестроительстве заложена и причина гибели Головлевых.

Уже в первой главе салтыковского романа — «Семейный суд» — произносится слово, определяющее истинную и постоянную суть бытия «господ Головлевых». Это слово — «гроб». Возвращающийся в Головлево «Степка-балбес» — старший сын Арины Петровны — с ужасом ощущает, что погружается в атмосферу «гроба», откуда уже ему лишь один путь — на погост.

Воистину что же такое все жизнестроительство Ари-

ны Петровны, как не созидание «гроба», в котором оказываются похоронены и она сама, и ее дети, и ее внуки?

Мир головлевской усадьбы, когда в нем верховодит Арина Петровна, — это мир единоличного произвола, мир «властности», исходящей от одного лица, властности, не подчиняющейся никакому закону, заключенной лишь в одном принципе — принципе самодержавия. Головлевская усадьба прообразует собой, как говорили в XIX веке, — всю самодержавную Россию, закоченевшую в «оцепенении властности» (этими словами Салтыков определил самую суть правления Арины Петровны, «женщины властнои и притом в сильной степени одаренной творчеством»). Лишь от нее, от Арины Петровны, исходят некие деятельные токи, лишь ей в этом головлевском мире принадлежит привилегия действования. Другие же члены головлевского мира начисто лишены этой привилегии. На одном полюсе, в лице самодержицы Арины Петровны, сосредоточены власть, деятельность, «творчество». На другом — безропотность, пассивность, апатия. И понятно, почему, несмотря на «оцепенение», которое владеет головлевским миром, лишь в Арине Петровне еще сохраняется что-то живое.

Лишь она способна на «жизнестроительство», какое б оно ни было, лишь она живет — в своем хозяйстве, в своем приобретательском пафосе. Конечно, это жизнь весьма относительная, ограниченная очень узкими рамками, а главное — лишающая права на жизнь всех других членов головлевского мира, обрекающая их в конечном итоге на «гроб», на умирание. Ведь жизнедеятельность Арины Петровны находит удовлетворение в самой себе, ее «творчество» не имеет какой-либо цели вне себя, какого-либо нравственного содержания. И тот вопрос, который часто задает Арина Петровна: для кого тружусь, для кого коплю? — вопрос, в сущности, незаконный: ведь она копила-то даже не для себя, тем более не для детей, а в силу какого-то бессознательного, почти животного инстинкта накопления. Все было подчинено, все принесено в жертву этому инстинкту.

Но этот инстинкт, конечно, не биологический, а социальный. Накопительство Арины Петровны — по своей общественной, а потому и психологической природе — очень отличается от скупости бальзаковского Гобсека или пушкинского Скупого рыцаря.

Это скопидомство, накопительство русской помещицы, возможное лишь в условиях крепостнического хозяйства. Ведь мерой богатства Арины Петровны служат не десятины принадлежащей ей земли и даже не деньги, а крестьянские «души», которыми она владеет и правит как безграничная самодержица. Каких-нибудь одно-два десятилетия отделяют жизнестроительство Арины Петровны от жизнестроительства гоголевских помещиков. И, по существу, здесь очень мало отличий, ибо в пределах самодержавно-крепостнического устройства, в условиях «оцепенения властности» отсутствует движение, отсутствует прогресс. Даже по внешним своим чертам хозяйство Арины Петровны похоже на плюшкинское: «Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мерялось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было, ради гнилого запаха». В самом способе помещичьего хозяйствования, будь оно плюшкинское, будь головлевское, заключен некий прах, некая порча и гниль.

«Катастрофа», то есть отмена крепостного права, подорвала самодержавие Арины Петровны, как и вообще вотчинную власть дворян-помещиков. «Порча» и «гниль» проели насквозь все бытие головлевцев.

Что скрепляло головлевскую семью, помимо кровного родства? В сущности говоря, ничего. «Творчество» на ниве скопидомства и накопительства разрушало естественные, нормальные семейные связи, заменяло их связями искусственными, внешними. «Катастрофа» порвала и эти искусственные связи. Арина Петровна, ослепленная своим привычным и, казалось, непоколебимым властолюбием, сама содействовала разрушению семейного клана, передав власть Порфирию Головлеву. В нем, в Иудушке, теперь олицетворились силы гибели и распада.

Один за одним уходят из жизни искалеченные, потерявшие человеческий облик Головлевы, умирает и Арина Петровна — последняя ниточка, связывавшая с «живым миром» Порфирия Головлева.

Так, Арина Петровна, строя свою жизнь, строя свое благополучное, как ей представлялось, хозяйство, в конце концов разрушила семью, обрекла на жалкий конец и мужа, и сыновей. Но Арина Петровна делала это, не со-

знавая печальных итогов своего творчества по-головлевски. Мысль о каких-то «основах» и «принципах» ей и в голову не приходила.

Между тем сам Салтыков, как мы помним, утверждал, что в «Господах Головлевых» его сатира направлена на «принцип семейственности». «Язва праздномыслия», поразившая разные стороны духовной жизни России в пореформенное время, коснулась и сферы семейной жизни. Этой «язвой» одержим и герой салтыковского романа — Иудушка, Порфишка-кровопивец.

Осмеянию в романе подвергается не сама по себе трагическая судьба головлевского семейства — здесь нет места смеху, — а тот «принцип», который провозглашался как фундамент, как основа существования семьи, но которому противоречила реальность семейного уклада, семейных отношений Головлевых. Носителем, идеологом принципа семейственности является в романе Порфирий Головлев. Именно он в неостановимых, безудержных словесных излияниях провозглашал, пропагандировал этот принцип, постоянно подрывая его, однако, своей жизненной практикой, своим неустанным кровопивством. Он, «Порфишка-кровопивец», Иудушка, был «настоящею душою» крушения «семейной твердыни».

Если деятельность Арины Петровны была все же деятельностью, действованием, то деятельность Иудушки, богатого помещика, владельца большого имения, все больше и больше становится «деловым бездельничеством», в духе которого он воспитывался, будучи петербургским чиновником. Этот чиновник-помещик погрязает в пустяках и мелочах, заводя и в своем помещичьем хозяйстве пустопорожние порядки департамента какого-нибудь министерства. Самодержавная власть помещицы-хозяйки заменяется бумажным, мертвым бюрократическим управлением по принципу: «Раззорю!» Одна за другой рвутся все связи Порфирия Головлева с живым миром — и с отпрысками головлевского семейства, и с собственным хозяйством, и с тем миром крестьянской жизни, «перекатной голи», который двигался и дышал где-то поблизости. И, наконец, дело доходит до того, что свои помещичьи вожделения, свои «праздные помещичьи идеалы» он уже удовлетворяет в мире «мертвых душ», в обществе покойной Арины Петровны или старого Ильи, «который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен». Иудушка, в ужасе перед жизнью, все дальше и дальше уходит от мира действительного в мир фантастический, создаваемый его воображением, в мир неразумия, абсурда, гротеска, в мир призраков. Стелет и стелет он «свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию», оргию пустословия и праздномыслия.

Между тем жизнь давала о себе знать. Если Арина Петровна не мыслила себе иного существования, кроме головлевского «самодержавия» помещицы-крепостницы, если все ее сыновья связаны с Головлевым нерасторжимой цепью и фатально принуждены возвратиться в лоно семейного гнезда, чтобы там погибнуть, молодое поколение головлевской семьи жаждет вырваться из головлевского «гроба», стремится к иной жизни, к созиданию какого-то иного мира путем собственного, «личного» труда. Но судорожные, болезненные попытки эти обречены на неудачу, желание самостоятельного жизнеустройства, «личного труда», не подкрепленное способностью, умением трудиться, подорванное в самом корне головлевским «прахом», оборачивается неизбежным «умертвием». «Перспектива труда», и для них, как и для их отцов, оказывается закрытой. Одни из них мучительно погибают, не надеясь ни на что, не видя выхода, как кончают Володя и Любинька, другие, как Петя и Аннинька, пытаются найти сочувствие в головлевском семейном гнезде.

Но и в этом случае, как всегда, Иудушка, человек, лишенный нравственного мерила, оказывался, так сказать, на высоте своего празднословия, скрываясь от всех жизненных ударов в призрачный, фантастический мир.

Пожалуй, лишь одно событие заставило Иудушку поколебаться, ощутить, что живой-то мир в самом деле существует, что мир этот может диктовать какие-то свои условия, что он не укладывается в стройную систему пустых слов. Это событие — неожиданная беременность Евпраксеюшки. «Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие». Бунт Евпраксеюшки, матери, потерявшей сына, — бунт примитивного, недалекого существа, и бунт-то нелепый, примитивный, но — бунт жизни против смерти. Однако и в этом случае, в борьбе живого и мертвого, побеждает мертвое, побеждает Иудушка, опять-таки скрываясь за паутину слов, за привычный обряд. И недаром в этот момент окончательного преодоления Иудушкой человеческих чувств, чувств отца, чудится головлевской приживалке Улитушке, что перед ней не человек, а сатана.

Иудушка — еще более страшная «прореха на человечестве», чем гоголевский Плюшкин. И Гоголь, и Салтыков, однако, не ограничиваются сатирическим отрицанием своих героев, изображением бездонной глубины их нравственного падения, распада в них человеческой личности. И Гоголь, и Салтыков, художники-гуманисты, не отчаиваются обнаружить в этих «мертвых душах» нечто человеческое, позволяющее верить в их возрождение.

Судьба Плюшкина трагична. Но существует ли какой-нибудь выход из этой трагедии его пустопорожнего, мелочного существования, есть ли для него какой-нибудь просвет в будущем? Нравственное пробуждение Плюшкина, пробуждение стыда и совести, намек на возможность которого содержится в тех проблесках человечности, которые еще в нем сохранились, — такое пробуждение в общем возможно, оно не противоречит логике характера этого гоголевского героя. Больше того, известно, что Гоголь в следующих частях «Мертвых душ» собирался «возродить» Плюшкина, сделать его человеком. Но в каком отношении оказалась бы эта человечность Плюшкина к тем социальным условиям, к тому «положению», которое его создало? Она, конечно, не могла не вступить с этим «положением» в конфликт, а подобные конфликты разрешаются обыкновенно отнюдь не гармонически

Что такое пробуждение Стыда и Совести? В конечном счете это осознание истины своей жизни, возвращение к действительности, к правде, когда с глаз падает темная завеса, скрывавшая дотоле истину, когда слепой прозревает, когда становится возможным «воскресение» человека.

В таком прозрении — великое счастье обретения истины, великая радость восстановления облика человеческого

«Бывают минуты, — говорится в «Господах Головлевых», — когда человек, который дотоле только *существовал,* вдруг начинает понимать, что он не только воистину *живет,* но что в его жизни есть даже какая-то язва... Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее,

нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем».

«Некоторые просветы в будущем» обусловливаются, однако, не только темпераментом; встревоженная совесть, чтобы привести к обновлению, должна найти для себя достойную пищу и такую почву, на которой ростки обновления не погибнут. Не найдя же такой пищи, здорового содержания, пробудившаяся совесть может привести лишь к одному — гибели. В пробуждении совести, в прозрении истины может заключаться и непереносимый ужас, боль, за которой следует только одно — смерть, «смерть-избавительница» (как сказано в сказке «Бедный волк»).

Именно такое прозрение поразило Порфирия Головлева, поразило его совесть, истерзанную воспоминаниями о бесчисленных «умертвиях». «И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт». Глаза его открылись: «Что такое! Что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, — где... *все?..*»

Так же, как и гоголевская сатира, сатира Салтыкова руководствуется принципом «въедчивости порока», пониманием зависимости порока от «положения», от всей сложной, многоразличной, часто неуловимой совокупности условий, влияний, общений, создающей «порочную» личность.

Таким предстает перед нами главный герой «Господ Головлевых». Порфирий Головлев — не только причина гибели «всех», причина бесчисленных «умертвий», но и жертва сложившихся от века общественных и семейных отношений. Он не только калечит, он сам искалечен силой вещей.

Порфирий Головлев сознал себя виновным в том, что «сделалось», он посмотрел на все им содеянное как бы со стороны и ужаснулся. Пала вся хитросплетенная паутина слов и обрядов, непроницаемой завесой скрывавшая от него истину его существования. Истина эта была ужасна, но падение Порфирия Головлева уже столь глубоко, что, хотя совесть и пробудилась, возврат к человечности — «воскресение» — для него невозможно. Его мольба о прощении остается без ответа.

Роман «Господа Головлевы» — роман сатирический.

Однако он очень отличается от таких общественных романов Салтыкова, как, например, «Помпадуры и помпадурши», «История одного города» или цикл «Благонамеренные речи», из которого, собственно, и вырос. В «Господах Головлевых» Салтыкова интересует не только то или иное «моровое поветрие» — некое явление общественной психологии, захватившее целые массы. И здесь сатирик берет «моровое поветрие», общественную «язву», но при этом показывает, каким образом оно, это поветрие, губит человека, выедает человеческую душу, обесчеловечивает ее. На фундаменте острейшей социально-политической сатиры «Истории одного города» и других сатирических циклов, обогащенный опытом художественного психологизма в изображении «диалектики души» у Толстого или духовных драм у Достоевского, Салтыков как бы возвращается к гоголевской психологической сатире, создавая не только сатирический, но и психологический роман. Реалистическая сатира Салтыкова-Щедрина прочно утвердилась на общественной почве, пройдя через период беспощадного обличения «моровых поветрий», изображения персонажей, прямо представляющих то или иное «положение» без всяких психологических смягчений. В «Господах Головлевых» салтыковская сатира обогатилась глубоким проникновением в психологию личности, изуродованной своим «положением», давлением не зависящих от этой личности обстоятельств.

Но все это не значит, что после романа «Господа Головлевы» Салтыков отказывается от сатиры предельно обобщающей, как бы отвлекающейся от индивидуально-человеческих особенностей и личных судеб. Напротив, в последнее десятилетие жизни он доводит до совершенства тот сатирический жанр, который был им намечен в сказках «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» или «Дикий помещик». Этот жанр, основывающийся на иносказании, позволил Салтыкову отразить все особенности и процессы русской жизни восьмидесятых годов прошлого века, представить русскую общественную структуру, идейные течения, психологию целых общественных групп и слоев. В сказках, при всем том, наиболее выпукло, определенно и полно высказалась собственная салтыковская философия жизни, нравственный пафос, общественные идеалы.

В 1869 году Салтыков создает первые свои сказки И в этих сказках опять перед нами — царская бюрократия, помещичий быт и миросозерцание в их отношении

к народной жизни («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»). Живое, творческое, созидающее начало заложено, для Салтыкова, в крестьянском труде, в жизни народной массы, а помещичье-бюрократическая система — паразитический нарост, злокачественная опухоль на теле народа.

Сказки Салтыкова иносказательны, аллегоричны, в них всегда есть подтекст, «мораль», которая в иных случаях высказывается с полной определенностью, в иных же — только подразумевается и требует от читателя умелой расшифровки. В этом отношении сказки Салтыкова сходны с русской народной сказкой, прежде всего сказкой о животных. Народная фантазия, создавая сказки, в которых действуют герои-животные, видит за ними, за их действиями и поведением — человека, его характерные черты, особенности человеческих отношений. За каждым из животных закреплена какая-то своя, свойственная именно ему черта, и этой чертой определяются его поступки, его поведение. Круг этих животных обычно более или менее ограничен (медведь, волк, лиса, заяц, баран). Этих же животных встречаем мы и в сказках Салтыкова. Но к их как бы заданным народной фантазией качествам у сатирика прибавляются и другие, которые уточняют их социальную природу, делают более определенным, более конкретным важный автору социально-политический смысл. Так, заяц у него не просто трусливый, но и самоотверженный, и здравомысленный. Волк не только жестокий, но и — неожиданно — бедный. Пискарь оказывается премудрым, вобла — вяленой, баран — непомнящим. Медведь — сильный, добродушный и часто недалекий — выполняет в сказке «Медведь на воеводстве» роль воеводы, то есть, как это хорошо понимали современники, градоначальника или вообще всякого начальственного лица, правление которого, как оказывается, не может обойтись без злодейств — будь то злодейства «срамные», «крупные» или «натуральные».

Обращается Салтыков и к былинному эпосу, переосмысливая его в духе своей политической идеи, намекая на исторические судьбы русского самодержавия. Сиднем сидит, беспробудно спит в дупле богатырь (сказка «Богатырь»), но вместо того, чтобы во сне сил набраться и выйти на борьбу с супостатами, оказывается, что, пока спал богатырь, гадюки у него «туловище вплоть до самой шеи отъели».

Герои-животные действуют не только в сказках, но и в баснях (вспомним хорошо всем известные басни Крылова). И это опять-таки очень часто те же животные, что и в салтыковских сказках. Но главное, чем сказки Салтыкова близки басне, — это социальный и нравственный пафос, явная идейная тенденция, именно то, что в басне и принято называть «моралью». Конечно, «мораль» сказки Салтыкова совсем не обязательно формулируется в завершающей басню концовке-сентенции, как это чаще всего бывало у Крылова (например, в басне «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь»). Но эту «мораль», этот сокровенный смысл сказки читатель-друг всегда умел угадать, даже если она прямо и не высказывалась.

Выше уже приводились слова Салтыкова о том, что подлинной почвой сатиры может быть лишь почва народная. В самом деле, наверное, не будет преувеличением сказать, что центральный герой сказок Салтыкова — это народ, русский крестьянин. Это некий идеал, руководствуясь которым Салтыков-демократ подвергает осмеянию все то, что противостоит, что несовместимо с этим идеалом. Салтыков, конечно, не мог не видеть главного исторического греха русского мужика — его забитости, безропотности, «бедности сознанием собственной бедности». И в этом смысле мужик — тоже объект сатиры. В таком двойственном свете предстает мужик уже в «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Умелец, мастер на все руки, истинный созидатель и кормилец земли русской, он позволяет помыкать собою генералам, которые и «слов-то никаких не знали», не говоря уже о способности к какому-нибудь делу. Столь же покорной и на все согласной оказывается крестьянская масса и в сказке «Орел-меценат». «Ворона — птица плодущая, — сказано здесь, — и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица». В сказке «Коняга» каторжный, безысходный труд коняги — это, конечно, труд русского мужика. Трагический пафос, в целом характерный для щедринских сказок восьмидесятых годов, достигает здесь необыкновенной высоты. И сколь ничтожными выглядят на фоне этого трагического образа труженика-коняги пустоплясы, пытающиеся, так сказать, узаконить своими пустопорожними рассуждениями тяжкое конягино житье. Именно пустоплясы — объект салтыковской сатиры в этой сказке.

Салтыков, конечно, видит в русском крестьянстве отнюдь не только бессловесную, бездуховную массу. Живет в русском мужике тяга к вольной жизни, к какому-то иному, осмысленному существованию. «Баран-непомнящий» вдруг стал видеть во сне что-то неясное, что-то такое, что мешало ему делать его «баранье» дело. В словах овчара Никиты скрыта «мораль» сказки: «Стало быть, «вольного барана» во сне увидел... увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает...»

Жаждет русский мужик «сыскать правду» («Путем-дорогою»), высылает ходоков-челобитчиков за этой своей мужицкой Правдой («Ворон-челобитчик»). Но слишком далека суровая реальность крестьянской жизни, жизни коняги или Ивана Бедного, «коренного, задавленного русского мужика» («Соседи»), от того идеала Правды, которую хотел бы сыскать этот задавленный, со всех сторон опутанный сетью неумолимых обстоятельств коренной русский крестьянин. «Кто одолеет, тот и прав» — вот правда жизни, «которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен», втолковывает ястреб старому ворону-челобитчику. «Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает».

Почему же Иван Бедный никак не может разбогатеть, почему его правда никак не может одолеть правду Ивана Богатого? На это «местный мудрец и филозов» Иван Простофиля отвечает: «Оттого, что в планту так значится». «Плант» — это и есть тот безжалостный, подавляющий порядок вещей, который делает волка волком, а зайца — зайцем.

Однако Салтыков никак не может согласиться с фаталистической сентенцией Здравомысленного зайца: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье». Салтыков верит в то, что в конце концов победит именно та Правда, которая «за облаками летает», а не та, которая ныне «воочию совершается», верит в то, что «не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи» (сказка-элегия «Приключение с Крамольниковым»). Именно эта вера в высокую

и единую человеческую Правду, которая «придет и весь мир осияет» («Ворон-челобитчик»), делала столь беспощадным щедринское сатирическое обличение всех эгоистических, «личных» будто бы правд — «правд» современного общественного бытия («правд» волка, воеводы-медведя, орла-мецената, ястреба, предельно обобщенно, сатирически представляющих силы социального угнетения).

Глава девятая

«ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗВЛЕНИЕ». «ПОШЕХОНЬЕ» И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Весна 1884 года была в Петербурге ранней. Уже в конце «русского» марта солнце грело почти по-летнему, невский лед набух и почернел, готовясь двинуться к морю. Но ясные теплые дни не радовали больного Салтыкова, почти не выходившего из кабинета своей квартиры на Литейной. На душе было тревожно и неспокойно, и солнце каким-то своим равнодушием и безмятежностью бердило и ранило душу.

«Положение мое поистине драматическое, — жалуется он в эти дни писателю И. И. Ясинскому. — Все главные сотрудники рассеяны, и я с великим трудом устраиваюсь. Прибавьте при этом неизлечимую болезнь и старческий упадок сил, и Вы получите понятие о моем каторжном существовании. А вдобавок и цензура терзает: из февральской книжки вынула мои сказки».

Невзгоды начались уже давно: его путь сатирика и пути руководимого им журнала никогда не были усыпаны розами. Но прошедший, 1883 год после объявления «Отечественным запискам» второго предостережения был поистине ужасен: дамоклов меч цензуры висел на волоске, и малейшей неосторожности было достаточно, чтобы оборвать этот спасительный волосок. А он, сатирик божьей милостью, не хотел и не умел быть осторожным. Весь этот год его не оставляло предчувствие беды, предчувствие надвигающейся катастрофы; и в то же время понимал он, что подведение жизненных итогов неизбежно. Симптомы грозной болезни все учащались. «Что касается до меня, — писал 20 января Михайловскому, — то со мной делается нечто странное. Кашель меньше, а слабость ужасная. Шатает. Вообще, доживаю свой век. Вчера был Боткин: молоко приказал пить, а я терпеть его не могу. И еще говорит: меньше курите, а я люблю курить. Как умный человек, он, однако ж, не прибавил: меньше волнуйтесь. Впрочем, я уж и не волнуюсь, а

просто до крайности все опостылело. Работать охоты нет». Нестерпимо, нестерпимо болен... силы угасают... Да к тому же беспрестанно болеют жена и дети. «Для меня нынешний год вполне черный» — это было написано в мае 1883-го.

«Нас одолела глупость, и она теперь до того сгустилась в воздухе, что хоть топор повесь». Глупость, галиматья, сумбур... Жить становится поистине жутко, невыносимо... (Вот хоть бы недавно деятели Петербургской городской думы и либеральные литераторы, и среди них вездесущий около-писатель Андрей Александрович Краевский, вздумали чествовать немецкого романиста Шпильгагена — а все для того, чтобы свою глупо-либеральную «оппозиционность» заявить — истратили уйму денег, и это в то время, когда русский Литературный фонд не имеет гроша в кармане для помощи действительно нуждающимся и чуть ли не мрущим от голоду русским литераторам. Мелочь это, конечно, не стоящая внимания, есть глупости и пострашнее, но ведь, наконец, и такая хватает за живое. Пришлось, в очередном очерке «Между делом», отчитать этих горе-либералов. В такие минуты крайнего раздражения Михаил Евграфович становился похожим на рычащего раненого льва...)

И всем-то вся эта фантастическая галиматья и сумбур — нипочем! (Впрочем, Льва Толстого, скрывшегося в свою Ясную Поляну, «я тут выделяю. Неинтересно ему — вот и все. Да и когда ему читать, чтобы убедиться лично»: ведь он хоть и старец, да не сатирический — философией занялся!)

Ближайшие сотрудники по работе в «Отечественных записках» расточены и рассеяны по лицу земли, и не только русской. После смерти Некрасова нет у него истинных соратников в меру его собственных требований (в меру его гения, сказали бы мы теперь). Некогда стоял рядом Некрасов (или, вернее, все другие «отечественники» — рядом с Некрасовым) — мудрый человек, великий поэт, столько тягот по ведению журнала вынесший на плечах своих. Трудился когда-то и Григорий Захарович Елисеев, стоявший у колыбели возрожденных в 1868 году «Отечественных записок», а еще раньше — ученик Чернышевского, боевой публицист «Современника». Конечно, не был Михаил Евграфович дружески близок с Елисеевым, человеческой симпатии не испытывал к нему никогда. Но если Елисеев и не был соратником, то уж по крайней мере трудолюбивым редактором и сотрудником был — одних «Внутренних обозрений» сколько написал. А что же теперь?

Елисеев все больше и больше раздражал Салтыкова своими бестолковыми шатаниями по заграницам в бесплодных поисках утраченного здоровья, своими странными поручениями, капризными претензиями и фантастическими намерениями. Старик хитрый и недоброжелательный, «самолюбивый протоиерей», после отъезда в августе 1881 года в Европу — чуть ли не «русский гулящий человек за границей». Разучился в своих европейских странствиях понимать российскую жизнь, чужд нуждам соотечественников, все три последних года страдавших неизмеримо. (С Елисеевым, истинным «оппортунистом», если воспользоваться словечком радикального французского журналиста Анри Рошфора, метко заклеймившим либерального политика Гамбетту, — с ним, с Григорием Захаровичем, еще придется спорить Салтыкову по самым основным вопросам политического мировоззрения.)

Потом ближе всех стал Николай Константинович Михайловский — руководитель, после Елисеева, публицистического отдела журнала. Здесь была общность (не тождество!) воззрений, была и симпатия зрелого художника, человека, умудренного тяжким опытом жизни, к еще сравнительно молодому, талантливому критику и публицисту — скромному, знающему, честному, работящему.

Но соратничества и дружбы не было, да, пожалуй, и не могло быть. Слишком разны возраст, начала и истоки биографий, весь повседневный бытовой уклад. Верное, прочное сотрудничество — это было, да и есть, хотя какое же возможно сотрудничество теперь, при таких-то обстоятельствах?

В декабре 1882 года, перед самым новым, 1883-м, как зловещее предзнаменование, запрещено было Михайловскому проживание в пределах Петербургской губернии: произнес будто бы вредную речь перед студентами петербургского Технологического института. Высылка Михайловского до того убила Салтыкова, что его сразили новые жестокие приступы болезни, он «чуть не умер» (по свидетельству А. Н. Плещеева). Тогда, в декабре 1882 года, вспомнил, что в Париже умирает Тургенев. «Ужасно жаль старца, — писал Льву Толстому. — Но он, по крайней мере, собственной смертью умирает, а каково умирать на основании такой-то статьи положения об усиленной

охране?[1] А ведь, пожалуй, и этого дождаться можно». Сначала жил Михайловский в Выборге, затем перебрался в Любань, городок на Петербургско-Московской железной дороге. Конечно, и в этих местах, не столь уж отдаленных, мог он писать для журнала. Но руководить отделом, где печатались программные статьи, читать рукописи, редактировать, готовить к набору, заниматься всей этой беспокойной повседневной работой — вещь, конечно, едва ли исполнимая. И вообще, можно ли редактировать журнал без редакторов? Конечно, ни Елисеев, ни Михайловский тут ни в чем не виноваты. Но ведь читать массы рукописей, да еще править и переделывать их, а затем вновь читать корректуры каждой книжки от доски до доски — дело для одного больного человека поистине непосильное. Да и глаза совсем пропадают, болят и слепнут: «вижу себя до того одиноким, что страшно делается». Не расторгнуть ли вовсе контракт с Краевским и предложить приискать новую редакцию? Но бросить дело жизни?

Попытался «приспособить» Сергея Кривенко. Тот был еще молод, появился очень недавно, но, кажется, человек не без способностей, бойкое перо, в общем, что называется, пришелся ко двору: на протяжении последних лет в каждом номере журнала его обозрение «По поводу внутренних вопросов» (до отъезда за границу эти обозрения вел Елисеев). Правда, кругозор Кривенко ограничен, не в состоянии увидеть что-либо за пределами крестьянского двора, крестьянской общины, а ведь «пора бы внутреннее обозрение поставить на почву общечеловеческую, а не исключительно крестьянскую». Но, во всяком случае, если и не соратник, то полезный работник — это несомненно. Правда, не вполне аккуратен, пишет свои статьи перед самой сдачей книжки в набор. Как будто занят чем-то еще, но чем? И вдруг — как снег на голову — в ночь на 3 января 1884 года Кривенко арестован. Что такое мог он натворить? Начался год высылкой Михайловского, кончился — арестом Кривенко.

Поначалу дело Кривенко казалось не очень серьезным (кто только не попадал в это время в полицейские тенета — время стояло смутное, паническое), хотя перспектива, конечно, не была утешительной ни для Кривенко, ни для «Отечественных записок»: ведь его сотрудничество в журнале не было для жандармов секретом. Но вот прошло три месяца, и 1 апреля Салтыков пишет Елисееву: «Кривенко до сих пор под арестом. Говорят, что дело его не совсем хорошо, а, впрочем, достоверно я ничего не знаю. Еще арестован Протопопов[1]. За что — не знаю. Знаю одно: что заниматься литературным делом становится все больше и больше стеснительно». Наверняка Салтыков знал больше, чем мог сообщить в письме, адресованном за границу. Достаточно и того, что было сказано: «Дело его не совсем хорошо». Сопоставим с этой довольно туманной фразой, но фразой весьма многозначительной, другое сообщение, на этот раз в письме, посланном за границей и полученном там же, — известный радикальный публицист и врач, приятель Салтыкова Н. А. Белоголовый писал 14 апреля нового стиля (2 апреля старого, «русского») народнику-эмигранту П. Л. Лаврову: «Вчера был Стасюлевич <из Петербурга> с самыми скверными новостями, арестов пропасть, и в последнее время взят критик Протопопов: дело Кривенко принимает скверный оборот: выплыло его участие в «Народной воле», и его будут судить». Итак, издателю солидного либерального журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу приблизительно в конце марта стало известно, что во время следствия по делу Кривенко открылось участие публициста «Отечественных записок» в подпольной революционной организации «Народная воля». Вряд ли можно сомневаться в том, что сведения о ходе следствия над Кривенко дошли и до Салтыкова.

А открылась полиции эта сторона деятельности Кривенко через предателя Дегаева, пробравшегося после ареста главных деятелей «Народной воли» к руководству революционной организацией, и в результате остатки подполья оказались разгромленными.

В декабре 1883 года Петербург потрясло страшное, кровавое убийство главного инспектора секретной полиции, жандармского подполковника Судейкина. При этом называлось имя Дегаева, на квартире которого Судейкин был убит. Дела плохи, а после убийства Судейкина пойдут еще хуже. «У нас всегда так: кто ни напакости — первым делом на литературу валят. И в особенности на «Отечественные записки» (писал Салтыков 20 декабря Елисееву). Чувствовал Михаил Евграфович, какая гроз-

[1] Положение об усиленной охране — «Высочайше утвержденное Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года».

[1] М. А. Протопопов не принадлежал к числу главных сотрудников «Отечественных записок», но печатался в журнале довольно часто.

ная опасность все больше и больше нависала над его детищем, над его истинной болезнью — журналом[1].

Все сплеталось в какой-то фантастический клубок. Вспомнилась отвратительная провокация Судейкина — распространенная им еще в конце 1882 года преимущественно в студенческой среде гектографированная прокламация с призывом примкнуть к тайному антитеррористическому обществу. Участникам революционного движения, в случае отказа от их деятельности и присоединения к «антитеррористам», гарантировалась свобода «двумя способами: или получением полной амнистии, которой общество надеется достигнуть через посредство своих связей, или безусловным доставлением как материальных, так и других средств для отъезда за границу». Тогда же откликнулся возмущенный Салтыков на эту аморальную акцию Судейкина. В глубоко законспирированной, иносказательной, «эзоповой» форме спародировал он текст судейкинской прокламации в XXIV главе «Современной идиллии». «Благонамеренные» герои этого сатирического романа получают письмо от Клуба взволнованных лоботрясов (так Салтыков назвал общество «антитеррористов») с прощением их уголовных деяний, ибо они прочно вступили на стезю благонамеренности. Тогда же, осенью 1882 года, писал Салтыков Анненкову: «До какой степени разврат проникает в русское общество — Вы можете судить из следующего факта. Между молодежью здешнею обоего пола ходит циркулярное приглашение некоего «Центрального общества борьбы против террористических учений». Циркуляром этим не показывается вреда террористических учений, а гораздо проще ставится дело: обещается известное обеспечение, прекращение преследований, возможность жить за границей и проч. И можно думать, что эта штука породит известный разлад и многих увлечет. Но как вам кажется эта попытка воспитать молодежь на шпионстве?» И в другом письме, Елисееву: «...задумана целая система воспитания общества в шпионстве. Можете себе представить, какое выйдет из этого поколение».

Только глубочайшее общественное разложение, —

[1] Салтыков, однако, вряд ли мог знать, что Кривенко вменялись в вину не только его личные связи с «Народной волей», но и сношения с подпольем именно «по поручению редакции «Отечественных записок». *Таких поручений от редакции журнала* Кривенко, разумеется, не получал.

был уверен Салтыков, — беспредельное отчаяние русской революционной молодежи от невозможности изменить ненавистные общественные и политические формы, распад народовольчества как теории и как организации, аморализм власти — только все это вместе взятое и могло породить таких злодеев, как Судейкин и Дегаев, могло создать почву для этой новой «бесовщины», современного изуверства. Это была бесовщина пострашнее той, что возникла некогда в «воспаленном уме» гениального провидца Достоевского, и бесовщина действительно инспирированная «высшей полицией».

Осенью 1882 года народоволец Сергей Дегаев, арестованный по делу подпольной типографии, был завербован все тем же Судейкиным, устроившим ему ложный побег из тюрьмы. Дегаев явился к члену исполнительного комитета «Народной воли» Вере Фигнер, жившей тогда на нелегальном положении в Харькове. Главные деятели «Народной воли» или уже были казнены, или томились в тюрьмах, или эмигрировали. Заветная мечта честолюбивого Дегаева осуществилась: он проник к самому центру подпольной революционной организации. Но теперь, когда он стал агентом Судейкина, его непомерно возросшее честолюбие было направлено уже не на главенствующую роль в революционном подполье, а на использование этой роли в провокационных целях, на уничтожение подполья. В деле провокации, — вспоминает известная народоволка Л. Прибылева-Корба, — Дегаев «сделался правой рукой Судейкина. Они сблизились и подружились, как могут дружить лишь два злодея. Тогда-то выработали они совместно обширные планы захвата власти». Когда предательство Дегаева было раскрыто революционерами, тот отправился в Париж, где и «принес свое пресловутое покаяние. От парижских народовольцев Дегаев не скрыл ничего, вплоть до честолюбивых замыслов, которые развивались им совместно с Судейкиным. Глава русских шпионов <то есть Судейкин> при помощи провокаций и мнимых террористических актов, которые вовремя открываются и блестящим образом устраняются, намеревался стать министром внутренних дел; Дегаеву же обещал за это место товарища министра. На этом мечтания сообщников не останавливались. Посредством систематических запугиваний дельцы надеялись фактически устранить от власти самого императора и править Россией по своему усмотрению».

Конечно, все подробности судейкинско-дегаевских про-

вокаций стали известны позже. Однако несомненно, что суть этого смрадного «дела» дошла до Салтыкова.

И вот, с одной стороны, молодежь, «мальчишки», страстным защитником которых Салтыков был всегда, с шестидесятых годов, «мальчишки», очертя голову бросившиеся теперь в героическую, но безнадежную, заведомо обреченную борьбу с властью. С другой же — общество, «пестрящее», склонное к предательству, неспособное к плодотворному жизнестроительству, и власть, погрязшая в трясине аморализма, допускающая в свою среду — в безудержной панике — растленных судейкиных. Все это удручало и мучило неимоверно, лишало надежды, подрывало веру в какие-либо «исторические утешения». Или в самом деле «история прекратила течение свое»?

Мучила и болезнь, болезнь, как понял теперь, — неизлечимая, съедавшая все силы, превращавшая в старика. Однажды, когда Михаил Евграфович был еще совсем молодым, Николай Степанович Курочкин, поэт и врач, тщательно прослушал его и нашел такой порок сердца, от которого давно бы умер всякий обыкновенный смертный. А Салтыков не только живет, но и работает так, что молодые сотрудники «Отечественных записок» не могут за ним угнаться: горы собственных и чужих рукописей, бесконечные листы корректур загромождают его стол. Курочкин видел в такой необыкновенной жизнеспособности и жизнестойкости особенность очень талантливых людей. Ну что же, это, наверное, так и есть. Стоит только прибавить, что истинная талантливость и проявляет себя в первую очередь в огромном трудолюбии, в работе. Именно напряженный титанический труд, постоянная, непрерывная работа, на обилие которой так часто жаловался Салтыков, только она одна и спасала, только она еще много лет поддерживала действительно угасавшие силы слабого здоровьем, но сильного духом человека.

Все же кажутся странными очень нередкие уже в это время жалобы Салтыкова на старческий упадок сил. В январе 1884 года ему исполнилось пятьдесят восемь лет. Неужели это старость?! Но давно уже чувствовал он себя стариком, угнетаемым болезнями, и двумя главными — мытарствами «Отечественных записок» и судьбой мучительно любимых детей. Вот Достоевский — и когда еще! — назвал его «сатирическим старцем». (Воистину сатирик, кажется, и не может быть молодым, а уж представляется он нашему воображению желчным и раздражительным старцем, брюзжащим и всем недовольным, над всем насмехающимся.) Прочитал Салтыков эту ехидную заметку Достоевского о сатирическом старце[1], которого все боятся, в недавно вышедшем первом томе Полного собрания сочинений Достоевского. И еще писал Достоевский (а злобный и завистливый Страхов не постеснялся напечатать в том же томе): «Тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит: а г-ну Щедрину от этого жить нельзя». Правда, правда, Федор Михайлович, только добавить нужно: опасаюсь я, сатирический старец, того квартального, что во всех людях российских засел, внутри. Вот какого квартального я опасаюсь... Не «гороховое пальто» страшно, а «спектр» его! (На эту тему «Современная идиллия» написана.) О жестокий гений, провозглашавший sursum corda[2], что сказал бы ты, увидев, как топчутся в грязь великие идеалы, как «синдром квартального» — болезнь предательства и травли — поражает массы «пестрящих» средних людей.

Этот «квартальный» становился все большей угрозой, принимал самые невероятные формы и лики, «пестрил» и предательствовал, требовал какого-то «дела», вопиял против «мечтаний» и «предведений», против ненавистного, хотя и непонятного «сицилизма».

Вновь вспомнилось начало прошлого, 1883 года. 1 января ознаменовалось тогда событием, которое, кроме высылки Михайловского, так сказать, «прообразовало», предсказало судьбу «Отечественных записок» и его, сатирика, собственную судьбу за прошедшие полтора года. Вместо полуразбитого параличом старого барича, филолога и археолога Павла Петровича Вяземского (сына поэта) начальником Главного управления по делам печати стал единомышленник Д. Толстого и Каткова Евгений Михайлович Феоктистов: «Это может дать вам меру, что ожидает нас в будущем» (писал Салтыков Елисееву). «Мера» была весьма впечатляющая, и никаких сомнений в «мерах» против его журнала у Салтыкова уже не оставалось. И такие «меры» не замедлили.

14 января того же, прошедшего 1883 года первый

[1] Вспомним, что и сам Достоевский умер, не доживши до шестидесяти лет.

[2] «Вознесем сердца наши», или, как мог бы перевести это выражение из Библии Салтыков, часто повторявший его, — обратим нашу мысль и наше чувство к сфере «предведений» и «предчувствий», великих неумирающих идеалов.

номер «Отечественных записок» прочитал цензор Лебедев, и его заключение, несомненно, соответствовало желаниям нового начальника: Салтыков, дескать, в очередных главах «Современной идиллии» (XXII—XXIV) колеблет авторитет власти. Если до сих пор цензоры полагали, что Салтыков писал сатиру на общество и осмеливался касаться лишь частных злоупотреблений, а не самой власти, то теперь он предает осмеянию «не пороки общества, не злоупотребления отдельных правительственных лиц, а подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды, и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить читателю в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества». Феоктистов, естественно, с таким заключением согласился, да оно, по правде говоря, вполне соответствовало истине: сатира Салтыкова была беспощадна и откровенна. В смешном и презренном виде предстала в сатирическом романе Салтыкова вся эта фантасмагорическая чехарда сменяющих друг друга правительственных курсов, сведенная на уровень доморощенной политики полицейского квартала, споспешествуемой благонамеренными вывертами торжествующих или трусливых «идеологов». Не забыл Салтыков и о трагическом фоне смешного и презренного поведения властей — гибели милых его сердцу и столь глубоко заблуждающихся «мальчишек», гибели на эшафоте, в тюрьме, в ссылках, нравственной гибели в сетях растленных «антитеррористов».

Можно представить себе, с каким чувством были прочитаны эти страницы «Современной идиллии» теми, в кого были направлены сатирические стрелы: ведь от такого смеха никуда не скроешься, ведь такой смех — насмешка, издевательство, сарказм — это всего страшнее!

В январе 1883 года последовало так называемое «второе предостережение», объявленное распоряжением министра внутренних дел Д. А. Толстого. Журнал «Отечественные записки», — говорилось в этом «распоряжении» — своеобразном продукте канцелярского творчества, — «обнаруживает вредное направление, предавая осмеянию и стараясь выставить в ненавистном свете существующий общественный, гражданский и экономический строй как у нас, так и в других европейских государствах, что наряду с этим не скрывает он своих симпатий к крайним социалистическим доктринам и что между прочим в книжке его за январь текущего года помещена статья за подписью Н. Николадзе, содержащая восхваление одного из французских коммунаров...» Не решился все-таки Дмитрий Толстой назвать без обиняков своего бывшего лицейского однокашника! То ли это были остатки старого лицейского «товарищества», то ли испугался «помпадур борьбы» того широкого общественного сочувствия, которым непререкаемо пользовался салтыковский журнал. Но понимал Салтыков, что дело совсем не в Николадзе, а в нем, «сатирическом старце», в его страшном смехе. Не ясно ли, что Николадзе тут в самом деле только «между прочим», а предает осмеянию существующий общественный, гражданский и экономический строй (!), и не только в России, но и в Европе (!!!), именно он, Щедрин, с его «грозным авторитетом», как выразился какой-то критик. Уж министру-то внутренних дел надлежало знать, что будто бы восхваляемый в «Отечественных записках» «один из французских коммунаров», то есть Анри Рошфор, давно уже выцвел и от его «коммунарства» и следов не осталось. Но уж чем особенно были напуганы власти, так это «симпатиями» «Отечественных записок» к «крайним социалистическим доктринам» (правда, министр не потрудился объяснить, какие из социалистических доктрин он относит к «крайним»).

Чтобы не дразнить цензуру, пришлось, однако, из следующей, февральской книжки вырезать три уже напечатанные сказки — «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Премудрый пискарь». Но и власть тоже политиканствовала и «пестрила». Стоило драматургу Александру Николаевичу Островскому походатайствовать перед своим братом — министром государственных имуществ Михаилом Островским — и названные сказки преблагополучно появились в январской книжке журнала уже за этот, 1884 год. Великое дело — иметь брата-министра! Как-то жить при такой оказии в Российском государстве спокойнее. Ну, не галиматья ли все это, не глупость, которая, не знаешь, погубит ли нас, или спасет?

И вдруг опять, уже из февральской книжки, дабы спасти ее от цензурной кары, пришлось вырезать новые только что написанные сказки — «Добродетели и пороки», «Медведь на воеводстве» («Топтыгин I»), «Обманщик-газетчик и легковерный читатель», «Вяленая вобла». И это в то время, когда уже набирались в типографии еще четыре сказки для мартовской книжки (и их пришлось спрятать в стол — до лучших времен) — «Медведь на воеводстве» («Топтыгин II», «Топтыгин III»),

«Орел-меценат» и «Карась-идеалист». Львов и орлов теперь касаться запрещается, опасная, видите ли, аллегория: хотя животные, а все-таки цари... «Выходит, что если б теперь Крылов писал свои басни, то редкую из них не заподозрили бы».

Что же в таких горестных обстоятельствах предстояло делать литературе и ему — «кровному» писателю и «кровному» редактору передового журнала (и больше все же писателю, чем редактору)?

После столь недвусмысленных политических обвинений в адрес «Отечественных записок», а еще больше — в его собственный адрес, что содержались в «распоряжении» Д. Толстого (кроме газет, оно было напечатано и в февральской, за 1883 год, книжке «Отечественных записок»), Салтыков все чаще стал думать о читателе, о его отношении к читаемому, о его ответственности перед той литературой, которая может назваться убежденной, литературой ищущей и сознающей свою ответственность.

Поймет ли читатель, даже постоянный читатель «Отечественных записок», истинный смысл инсинуаций, исходящих от власть имеющих, останется ли верным своему журналу или поддастся всеобщему испугу, всеобщей панике и убоится, по внушению свыше, грозных потрясателей «основ» — «революционной партии, свившей гнездо на Литейной», то есть в редакции «Отечественных записок»? Не симптом ли читательского отступничества — падение подписки на «Отечественные записки» с начала 1883 года?

«Я должен кончить с этой историей, хоть скомкать ее, но кончить», — писал Салтыков, публикуя последние главы «Современной идиллии» в майской книжке «Отечественных записок» за 1883 год. «Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но ежели бы он напомнил мне об ответственности писателя перед читающей публикой, то я отвечу ему, что ответственность эта взаимная. По крайней мере, я совершенно искренне убежден, что в большем или меньшем понижении литературного уровня читатель играет очень существенную роль». За этим спокойным тоном констатации скрыл Салтыков всю горечь, всю боль — горечь и боль собственного бессилия, вынужденного молчания. Всю жизнь говорил заикаясь, а теперь приходится и вовсе в рот воды набрать.

Без сочувствующего читателя, без его дружеского отклика и поддержки убежденная литература существовать

не может, она вырождается. Убежденный литературный деятель вытесняется продажными или «уличными» (в меру понимания «улицы» — толпы) писаками — в меру читательских потребностей и читательского разумения. А в сущности говоря, ведь именно они, эти писаки и писателишки и суть истинные потрясатели самых основ человеческого общежития, той общественной и нравственной гармонии, о которой с юных лет мечтал Салтыков.

Логика паскудного самосохранения приводит героев «Современной идиллии» в объятия «известного мецената и мануфактур-советника» купца Кубышкина, делает их сотрудниками «собственной кубышкинской литературно-политической» газеты «Словесное удобрение» — органа той новой всеядной и падкой на сенсации читательской массы, которая, теперь народившись, приобретает все большую силу — органа «улицы». Газета Кубышкина — поистине «уличная» газета. Сначала ее покупают только кухарки, идучи на рынок (газета выходила часом ранее прочих), потом же она приобретает популярность в среде лакеев, дворников, наконец — кабатчиков (Разуваевых и других, им подобных). Но вот «Словесное удобрение» проникло в мир бюрократии и — о, вожделенный миг! — попало наконец в изящные ручки графини Федоровой, рожденной княжны Григорьевой. Для этой — социально аморфной, политически неграмотной, нравственно шаткой (да еще в условиях общественного кризиса), пестрой, многоликой, стихийной массы — массы в значительной степени новых читателей, впервые взявших в руки печатный лист, и литература нужна совсем иная, не требующая умственных усилий, беззаботная относительно убеждений, потакающая безмыслию и легкомыслию. Потребности такой массы лучше, прямее всего удовлетворяет литература безответственная и бессмысленная («по Сеньке и шапка»). Вожделения «улицы» кубышкинское «Словесное удобрение» формулирует без обиняков: «Дело совсем не в поимке так называемых упразднителей общества, которые, как ни опасны, но представляют, в сущности, лишь слепое орудие в руках ловких людей, а в том, чтобы самую мысль, мысль, мысль человеческую окончательно упразднить. Покуда это не сделано — ничего не сделано; ибо в ней, в ней, в этой развращающей мысли, в ее подстрекательствах заключается источник всех угроз». Так ответил Салтыков на обвинения, предъявленные ему, пародировав в этой статье «Словесного удобрения» «Распоряжение министра внутренних дел»,

родившееся в недрах высшей бюрократии, но самым непосредственным образом выразившее всю, если можно так сказать, идеологию «улицы».

Героев «Современной идиллии» в финале охватывает, заставляет опомниться «тоска проснувшегося Стыда». Что же это такое — проснувшийся Стыд? В конечном счете — это внезапно, даже болезненно наступившее пробуждение к истине, возвращение на стезю правды: с глаз падает темная завеса, скрывавшая истинный смысл жизни, слепой прозревает. В таком прозрении — залог возрождения. Но не растворяется ли эта бесплодная тоска Стыда в мельтешении повседневных мелочей, в самосохранении, уже заразившем целые массы, в травле, которой подвергает «улица» каждого, кто осмелится напомнить о Стыде и Совести? Горькими словами заканчивает Салтыков «Современную идиллию»: «Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа».

Но неужели же и на самом деле придется замолчать? И уклоняться от ответов — не потому, что не можешь их дать, а потому, что и ты подвержен если не инстинкту самосохранения, то желанию охранить свое детище, свое дело от цензурных невзгод? И вообще есть ли какая-нибудь возможность издавать журнал, обремененный двумя предостережениями, за которыми невдолге может последовать и третье (то есть гибель)?

А тут еще появились слухи о высылке Салтыкова из Петербурга — то ли в Тифлис, то ли в Пермскую губернию. Кто-то даже видел его в Одессе по пути в Тифлис, и газеты не замедлили протрубить об этом, хотя он из своей квартиры на Литейной — ни шагу. «Ходят бабы по улицам и восклицают. Может быть, и накличут»: vox Populi — vox Dei. Пришлось во избежание недоразумений послать в редакцию газеты «Новости» язвительное опровержение: «Прочитав в сегодняшнем № «Новостей», что я проехал через Одессу в Тифлис, считаю нелишним уведомить почтеннейшую редакцию, что я из Петербурга не выезжал и в Тифлис ехать не намеревался».

В июле того же 1883 года по настоянию жены отправились всем семейством, но не в Тифлис, а за границу,

в Баден-Баден. Тосковал в этом немецком городишке ужасно — по сухой и просторной петербургской квартире, где можно, если захочется, и прилечь, и расположиться у письменного стола, где можно работать. Они (то есть жена и дети) «кувыркаются», а я чувствую себя отвратительно, — несносно, и, главное, судьба «Отечественных записок» тревожит беспрестанно. Не дает покоя, сверлит мысль о том, как же теперь писать, чтобы не погубить журнал. «В другое время, даже неблагоприятное, — писал в августе из Баден-Бадена Елисееву, — я был бы готов переждать и приняться за что-нибудь бытовое (вроде Головлевых), а теперь не могу. Не то чтобы у меня матерьялов не было (давно уж я задумал)». Давно уж роились в воображении, наполнялись плотью и кровью образы далекого деревенского детства: память хранила массу матерьяла. «...Но досадно. Вот, скажут, заставили-таки мы его. Поэтому я решился писать вещи явно глупые... Но можно ли это делать продолжительное время — не знаю».

Постепенно вырисовывалось нечто действительно очень глупое. «Незабвенный» майор Горбылев повествует о похождениях и приключениях своих, в которых всегда, прямо или косвенно, принимала участие нечистая сила. О Пошехонье, о волшебная пошехонская страна! тебе не нужна, тебя страшит светлая и пытливая мысль, ты жаждешь ее упразднить. Так вот тебе анекдоты (как еще назовешь эти воистину «пошехонские рассказы» — ведь по Сеньке и шапка?) из времен баснословных, дореформенных, когда нечистой силы еще довольно было: «Леса-то берегли, да и болот было множество — так вот оттуда. И если б не это, то многого в жизни совсем было бы объяснить нельзя». Только и остается на волшебство и нечистую силу уповать, когда никак не разберешь, где настоящее и где ненастоящее: то ли солощий крестьянский бык и корова Красавка, то ли поручик Потапов и жена соседнего помещика Красавина; то ли полковой командир полковник Золотилов, то ли леший; то ли губернатор, то ли коршун. «Однажды со мной такой случай был, — рассказывает майор Горбылев: — только что успел я со станции выехать, как, откуда ни возьмись, целое стадо статских советников за нами погналось. С кокардами, при шпагах, как есть по форме. Насилу от них уехали. А ямщик говорит, что это было стадо быков. Кто из нас прав? кто не прав? По-моему, оба правы. Я прав — потому что видел статских советни-

ков в то время, когда они статскими советниками были, а ямщик прав — потому что видел их уже в то время, когда они в быков оборотились. Вообще превращения эти как-то вдруг совершаются. В Москве мне одного купца показывали: днем он купец, скобяным товаром торгует, а ночью, в виде цепной собаки, собственную лавку стережет. А наутро — опять купец. Как сподручнее, так и орудует». Много, очень много на свете такого, что разум человеческий постигнуть не в состоянии. Иной, например, с грехом пополам среднее учебное заведение одолел, в кадетском корпусе воспитание получил: «а потом смотришь, из него министр вышел — как это объяснить?» Волшебство, да и только, черт, видно, ворожит. Как же тут в чертей не верить, когда время для чертей вполне благоприятное (а когда же оно было неблагоприятным: леса-то повывели, а болот, пожалуй, что и прибавилось, а болото, как известно, всегда чертей родит).

Как и первой главой «Современной идиллии», хотел Салтыков рассказами майора Горбылева цензуру в недоумение привести, что ему вполне и удалось, ибо цензура проглотила эти рассказы молча, ни к чему в них не прицепившись. Привел он в недоумение и некоторых читателей и критиков. Плодовитый литератор Петр Дмитрич Боборыкин, пропагандист французского натурализма на русской почве, усмотрел в горбылевских рассказах «балагурство и порнографию» (это Боборыкин-то, автор «клубничного» романа «Жертва вечерняя»!).

Оставалось издеваться и презирать, вырабатывая новую форму аллегорической притчи-сказки. Глупы рассказы майора Горбылева, но это потому, что неразумна, фантастична жизнь пошехонская, автор же так неумолимо и страшно умен, что иной раз даже как-то не по себе становится. Могло ли быть глупо, могло ли быть «балагурством и порнографией» то, что вышло из-под пера Щедрина? И эту подлинную суть, этот постоянно звучащий язвительный голос автора «Рассказов майора Горбылева» читатель-друг, конечно, явственно слышал.

Второй «пошехонский рассказ» тем не менее пришлось начать прямо «от себя». Чего вы, «люди благорасположенные», от меня требуете? В чем суть ваших благопожеланий? Вы думаете, что рядом с Фейерами, Прыщами, Угрюм-Бурчеевыми и Деруновыми существуют Правдины, Добросердовы и Здравомысловы? Что ж, может быть, так и есть, существуют, но мне всегда казалось, что они, сосуды добродетели, и сами-то на себя

смотрят как-то сомнительно, как будто не знают, действительно ли они люди, а не призраки.

Но я готов исправиться и не огорчать начальство. Вы предлагаете выслушать и другую сторону (audiatur et altera pars)? Ну что ж, выслушаем. Что-то из этого получится? А вот что:

«Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием.

Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией.

Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел!», другой: «А я первый поднял!» И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил.

Тогда Ухватов сказал:

— Вот что, ребята. Положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется — значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам; ежели же он исчезнет, то, значит, вы оба не правы и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой.

Так и сделали.

Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать — нет червонца! Решили: так как червонец исчез — стало быть, оба мещанина не правы.

С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову. И он все дела решал по одному образцу. Но этого мало: даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, — и те перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова.

А губернатор, узнавши о сем, говорил: «Молодец Ухватов!»

Вот они, Ухватовы (то бишь Правдины), каковы! Может быть, и это балагурство, а не трагедия?

Все громче звучит в «Пошехонских рассказах» собственный, глубоко трагический голос Салтыкова-Щедрина. Неужели же «пошехонская страна» и в самом деле никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, не имела своих Правдолюбовых, своих праведников и искателей? Ведь, как говорит русская пословица, не стоит село без праведника. А ты, как же ты-то стоишь, родное Пошехонье?

Давно уже хотел воспроизвести Салтыков «изумительный тип глубоко верующего человека», связывал этот замысел с именами Петрашевского и Чернышевского. Но ведь это уже высшее, исключительное проявление глубокой и несокрушимой веры, безграничного самоот-

вержения, характерное ли, возможно ли для Пошехонья?

Характерными для него оказались, пожалуй, два типа реформаторов, противоположных по своей сути и по своей судьбе. Так появляется рассказ «Пошехонские реформаторы». Общим для этих реформаторов было только одно: оба мыслили и говорили не так, как прочие пошехонцы мыслят и говорят.

Рос в бедной семье пошехонского мещанина, бывшего крепостного живописца-богомаза Тихона Курзанова тихий мальчик, сердце которого с малых лет «растворено» любовью, — «тихою, ровною, не сознаваемою, но разлитою во всем организме любовью *ко всему*, которая согревает не только самого любящего, но и весь окружающий его мир». Чувством радости и жаления, каким-то восторгом, пусть смутным и неясным, но сильным, наполнялось его сердце, когда он странствовал по соседним пу́стыням и монастырям. Чувствовал он, «что за плечами у него вырастают крылья, которые несут его, несут... И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, везде им навстречу: свет, свет, свет... Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, целовать ноги странных и убогих, плакать, страдать, умереть...» (Как не вспомнить тут Достоевского, наверное, он и вспоминался: «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд... Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков».)

Может быть, вышел бы из Андрея богомол-ремесленник, каких много было во времена крепостничества, привечаемый и даже к барскому столу допускаемый набожными помещиками, а более — помещицами. Но не таков оказался Андрей Курзанов, «не мир апокрифических сказаний пленял его мысль, но мир человеческих злоключений, начиная от материальной неурядицы и кончая страданиями высшего разряда». Говорил Андрей «справедливые слова», которые, в сущности, ничему не мешали, ибо не имели ничего общего со сложившимся строем жизни. «*По закону*, — проповедовал Андрей, — всякий около своего куска ходит, а *по-божески* вот как: тебе кусок, и мне кусок, и прочим по куску. Все чтобы сыты были». Слушали его богомольные и сентиментальные помещицы-крепостницы, сладко задумывались, но никакой угрозы в этих божеских словах «своему куску» не усматривали.

Но наступило «время, всех освящающее» (то бишь крепостное право перестало существовать); просвещение проникло наконец и в самые захолустные пошехонья. «Божественные слова» Андрея Курзанова были обревизованы и признаны «фанаберией». «Уединенный пошехонец» (пошехонский официоз, получающий вдохновения из городнического правления, чуть ли не от самого Мазилки, Сквозника-Дмухановского тож) внушал своим читателям, что не имеющий своего куска да не заглядывается на чужой. Андрей и этих вразумлений не понял, да и обыватели все еще надеялись на какие-то куски.

Однако времена зрели и наконец созрели. Новый городничий Стратигов привез с собою теорию искоренения «фанаберий» посредством выколачивания, теорию, которую тут же не замедлил испытать на Курзанове. Но Андрей опять-таки не внял.

Явился городничий Язвилло с теорией обращения к почтеннейшей публике, то бишь — к народной Немезиде. А так как уже была объявлена воля книгопечатанию и газеты распространялись даже между кухарками и сапожниками, «Уединенный пошехонец» тут же приравнял «божественные слова» к потрясению основ, из числа же основ он «особенно настаивал на собственности и советовал защищать ее всеми средствами». А «так как редкий из пошехонцев не сознавал себя обладателем хотя бы шила, то понятно, какой страх подобный собственник должен был ощутить, узнав, что кто-то имеет на это шило претензию и собирается его отнять». О, собственник, о, человек, обладающий хотя бы самым ничтожным, самым малым шилом, о твою твердокаменность разобьются какие угодно «божественные» «справедливые слова»! Плохо пришлось бедному Курзанову, когда «благонадежные» обладатели шил и суконных штанов толпами стали осаждать полицию с требованием скорой и немилостивой расправы с «неблагонадежными», кои будто бы вознамерились у них эти шила и штаны отнять. Курзанов почти не выходил из кутузки, но и тут ничего не понял, все призывал жить по-божески, хотя, впрочем, отнюдь не призывал нарушать «закон» и не мешал жить по этому самому «закону». Такое двоегласие его и сгубило. На место Яз-

виллы явился капитан Груздев, сторонник мер простых и удобопонятных, устранил народную Немезиду, утихомирил возникшие было препирательства и раздоры между благонадежными и неблагонадежными. А так как Курзанов и на этот раз не хотел понять, то не оставалось ничего другого, кроме: «Фюить!» И ему было суждено пополнить глуповский — пошехонский — мартиролог.

Ко двору пришелся теперь другой «реформатор» — Никанор Беркутов, расцветший еще при Язвилле, ибо именно он внушил всем шиловладельцам спасительный лозунг: «Караул! Грабят!» Но Беркутов пошел еще дальше, почему капитан Груздев и «возложил его на лоно», когда Курзанова «расточил». «Всех привести к одному знаменателю» — что может быть проще такого учения? Реформаторы Беркутовы появляются, конечно, в такие страшные времена, когда история воистину прекращает течение свое. А не такие ли времена обрушились на эту бедную, бедную пошехонскую страну, которая, кажется, обречена на то, чтобы воплотить страшный угрюм-бурчеевский, беркутовский идеал: «Может быть, ему представлялась бесконечная пустыня, по которой рыскали звери и рвали друг друга зубами. Или, быть может, перед глазами его мелькал наполненный атомами хаос, из темной глубины которого выступал сатана...»

Долой курзановские проповеди: sursum corda! Оставить надо «фразы», мечтания, идеалы, «благие начинания». Делом надо заняться — делом. Об этом деле ежедневно обливают читателя словесными потоками «Уединенный пошехонец», «Словесное удобрение», «Помои». Хорошо, прекрасно, лучше невозможно и придумать. Только, быть может, вы, деловые люди, свободные от эмпирейских витаний, объясните наконец, что же это такое — так называемое «дело»? Разве кухарки, сапожники, дворники, наконец Разуваевы и Колупаевы не делом заняты? Или новоявленный землевладелец помещик Клубков (рассказ «Пошехонское «дело»), обездоливший «свободных» мужиков, устроивший в своем Монрепо настоящее крепостное право без крепостного права, разве он не заправский делец? Ведь это оно и есть, то самое дело, к которому вы ежеминутно взываете. Клубковское это дело, и больше ничего, — вот и разгадка. Так чего же вам надо, к кому вы свои неистовые вопли обращаете? Ах, к интеллигенции, ей следует опустить очи и сердце долу, освободиться от «мечтаний» (а по-нашему, не деловому разумению — от идеалов и дела свободного исследования прошлого, настоящего и будущего), ей вы предписываете обняться с Клубковым (Разуваевым, Вздошниковым, Кубышкиным — их имена ты, господи, веси!). Ей, интеллигенции, видите ли, настоит сказать какое-то «трезвенное слово», будто до сих пор она все «пьяные» слова говорила. Так вот что, публицист Скоморохов, подстрекатель преступного и бессмысленного «пошехонского отрезвления», и ты, трезвенный мудрец Страстного бульвара, Михаил Катков, «первый и величайший русский публицист», как отозвался о тебе недавно единомышленник твой Константин Леонтьев, вы-то сами разве не интеллигенция? Или ваше трезвенное слово, а попросту говоря, безудержная травля тех, кто еще «возносит свои сердца», есть дело, а наше будто бы пьяное — лишь фраза? А не наоборот ли? Все ваше «дело» — всего лишь воистину «пьяная» и безумная тоска по тому, что на Руси великой творилось в те не столь давние, но уже баснословные времена, когда не было ни крестьянского освобождения, ни новых судов, будто бы какую-то власть расхищающих, ни мечтаний о лучшем будущем для погрязшей в бедствиях и страдании бедной пошехонской страны. «Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня в недоумение; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я решительно не запомню. Бедная эта страна — ее надо любить. Ничто так естественно не вызывает любви, как бедность, угнетенность, скорбь и злосчастие вообще. Любовь сама по себе есть чувство радостное и светлое, но в большинстве применений в нее громадным элементом входит жаление. Оно делает любовь деятельной и внушает ей подвиги высокого самоотвержения; оно напояет человеческую жизнь отравой и в то же время заставляет человека стремиться к этой отраве, жаждать ее, видеть в ней заветнейшую цель лучших помыслов души».

Таким удивительным лирическим объяснением в любви к родной стране начал Салтыков перед новым, 1884 годом рассказ «Пошехонское «дело». Бедный, злосчастный пошехонский люд — «простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи». Всегда ты был таким, на все готовым, всегда шел безоговорочно и вперед и назад, «пьянел», когда можно было, «трезвел», когда велели или когда ничего другого не оставалось, а пустопорожние публицисты Скомороховы агитировали и ярились. Не впервой тебе и внешних супостатов в трепет

приводить и внутренних врагов с раската сбрасывать, дабы отрезветь.

Великая печаль владеет Салтыковым, когда он повествует о трагическом пошехонском отрезвлении. Этим, самым патетическим и скорбным рассказом — «Пошехонское «отрезвление» — и завершает в феврале 1884 года Салтыков цикл «Пошехонских рассказов», начатый «балагурственными» фантастическими рассказами майора Горбылева — о его общениях с нечистой силой. Последний рассказ цикла не менее фантастичен, ибо сама российская действительность — действительность фантастическая. Но Салтыков уже не может за балагурством и ерничеством незабвенного майора скрыть своего негодования и трагической подоплеки пошехонского бытия. И если в жизни, когда его охватывало беспредельное отчаяние, он рычал, как раненый лев, заключенный в клетку, то и в сатирах своих он тоже умел рычать, страдая и задыхаясь от гнева и ужаса. Огромная сила юмора, заключенная в рассказах майора Горбылева, дополняется убийственной иронией и предельного накала сарказмом.

Отрезвели пошехонцы, здравый смысл обнаружили, делом занялись, от «слов» освободились (хотя и ранее, по правде говоря, не особенно большим запасом слов обладали). Однако точила их какая-то обида, как будто чего-то недоделали, а чего? — и сами не знали. Неудержимо повлекла их эта самая обида на площадь перед каланчой и съезжим домом[1], где некогда, по свидетельству Н. И. Костомарова, «северные народоправства» происходили. Но так как отрезвление было вполне бессловесным, никаких слов у них не находилось: зачем собрались они перед съезжим домом, где, запершись, сидел капитан Мазилка, они и сказать бы не сумели. Трезвый здравый смысл требовал действия: ведь в обиде-то виноват кто-то. Но как найти виноватого? На ком выместить обиду? Пожалуй, слово вымолвишь, так тебя и обвиноватят. Испугался поначалу капитан Мазилка, как бы не стали пошехонцы уж очень явно трезвый здравый смысл предъявлять, но увидел, что они рот разиня стоят, еще более их из пожарной кишки отрезвил. И разошлись пошехонцы, вымокшие, иззябшие, сердитые, по домам своим.

Наутро встали они, еще более мрачные и обескураженные. А тут еще публицист Скоморохов зудит: «Пусть

[1] Съезжим домом называлась «полицейская расправа в части, с пожарными служителями» (В. И. Даль).

каждый в каждом проследит успехи, сделанные отрезвлением, пусть каждый каждому предъявит тот обязательный minimum, неподчинение которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, как было до сих пор) последствиями для неподчиняющегося». Или, проще говоря (внушал Скоморохов все еще чего-то опасавшемуся Мазилке): «Пускай друг дружку пощупают, вреда от этого не будет». Все подстрекательства Скоморохова так и остались бы втуне, не явись тут злосчастный пошехонский обыватель, смирный и степенный Иван Рыжий.

Политические убеждения его были просты: «Ежели начальство, по упущению, и неправильно чего-нибудь требует, то и тогда следует требование его беспрекословно выполнить». И ересь эта до сих пор сходила ему с рук, хотя давно уже ее следовало бы редактировать так: «Всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнить». Когда пошехонцы увидели беспечно шествующего Ивана Рыжего, они вдруг поняли: «А ведь это он самый и есть».

И пропал Иван Рыжий, а пошехонцы, вновь окаченные водой из пожарной трубы, разошлись по домам «в полной уверенности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвление, они найдут дома не тюрю с водой, как накануне, а щи с убоиной.

Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри как будто убавилось. Задача усложнялась самым безнадежным образом.

Ибо пошехонская обида в том главным образом и состояла, что атаманы-молодцы уж давно ничего, кроме тюри с водой не едали».

Но откуда же ее, эту убоину взять? До коей меры отрезвления надо дойти?

В третий раз собрались вечевые люди пред каланчой и съезжим домом. Скоморохов не угомонился, он еще больше разъярился и человеконенавистничал: «Нет, господа! Одной жертвы недостаточно! Как ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только ценою человеческих жертв, но так как исторический опыт возвел это правило на степень аксиомы, то не следует уже останавливаться ни перед количеством, ни перед качеством жертв».

И что же? Последовало взаимное истребление. «В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей».

Неужели и теперь мораль сей басни не дойдет до вас, о пошехонцы, находящие благополучие в утрате способности мыслить и в бессловесности, в «трезвенном» здравом смысле, который оставляет вас по-прежнему с одною лишь тюрей? Неужели не поймете наконец вы, «обнаженные и от прошедшего и от будущего»?

Вспомнилось вдруг, как, побывавши в августе в Париже, мечтал проститься с умиравшим Тургеневым: «все-таки хороший писатель был и немало людей утешил». Да, как-то все ближе становились эти могикане русской литературы, эти питомцы великих сороковых годов — «замечательного десятилетия», по слову еще одного из этих людей, к которому все чаще стал ощущать какую-то умильную нежность, к обломку счастливой молодости — Павлу Анненкову. Но попрощаться с Тургеневым не пришлось, так тот был мучительно болен, бессилен, уже отрешен от мира. Тягостны были рассказы очевидцев о его последних днях. 22 августа Тургенев умер. Прощальное письмо Салтыкова осталось непрочитанным.

Что-то долго апрельская книжка «Отечественных записок» находится в «чреве китовом» — в цензурном ведомстве, а времена ведь ныне строгие, склонные к оплеухам и заушательству, хотя, в сущности, и бесплодные. Какую оплеуху готовят ему на этот раз судьба и цензурное ведомство? Неужели новую «вырезку»? Но чего? Казалось бы, в апрельской книжке придраться не к чему. Да к тому же цензурный «бог» Феоктистов обещал, что без предварительного соглашения с главным редактором, Салтыковым, никаких мер против журнала приниматься не будет. (8 марта Салтыков побывал у Феоктистова: лицо его показалось знакомым, хотя раньше вроде бы и не встречались. Евгений Михайлович был чрезвычайно любезен. Поговорили много и «изобильно». Прибавил при этом Феоктистов, что и министр граф Толстой «не желает предпринимать чего-либо лично против меня по старому товариществу».) Впрочем, с пошехонцами надо держать ухо востро, и дела иметь с ними очень трудно: нет никакой надежды на их обещания, а тем более поддержку. Как бы не оказаться в положении Ивана Рыжего.

Вот уж и лед на Неве сломало — пошел сначала невский, а потом и ладожский, наступили пасхальные праздники. Принялся за новый очерк для рубрики «Между делом», содержание его как бы задано первой фразой:

«Пасхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику». Нахлынули воспоминания о далеком прошлом, о пасхальных днях в провинции, об этой веселой, ликующей весенней ночи, когда был молод, радость переполняла душу, хотя давил опостылевший мундир, хотя одолевала и засасывала серая провинциальная скука. Несмотря на все тогдашние тяготы, все же не было этого мучительного чувства отторженности от живого мира, такого одиночества, выход из которого уже и не грезился. Теперь же, в последнее время, «одиночество — пожалуй, даже заброшенность — до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю с одними читателями. Их я и поздравляю: Христос воскрес! поцелуемтесь!»

Вот и сегодня — совсем один, и только стопа бумаги, и эта беседа с неведомым читателем.

Вдруг прибежал старый приятель Виктор Павлович Гаевский с сочувствиями и соболезнованиями: что такое? по какому поводу? Огромный лист «Правительственного вестника» дрожит в руках, буквы скачут: «Правительственное сообщение о закрытии «Отечественных записок». «Некоторые органы нашей периодической печати несут на себе тяжелую ответственность за удручающие общество события последних лет. Свободой, предоставленной печатному слову, пользовались они...» (Кто такие «они»?) «Страницы газет и журналов известного оттенка...» (Опять-таки каких газет, каких журналов? Что это за «известный оттенок»?) «Один из важных государственных преступников...» (Кто это???) «Одна из наиболее обративших на себя внимание статей...» (Что за статья? Где напечатана?) «Занимавший место секретаря редакции одного из периодических изданий... на имя сотрудника другого издания...» (Что за нелепица? Какое отношение имеет все это к «Отечественным запискам»?! А, вот и о них:) «Далее, из того же источника <!?> имеются сведения, что в редакции «Отечественных записок» группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционной организацией. Еще в прошлом году один из руководящих членов редакции означенного журнала» (боже мой, какой Мазилка или Скоморохов сочинял всю эту галиматью, да еще языком канцелярского писца!) «подвергся высылке из столицы за крайне возмутительную речь, с которой он обратился к воспитанникам высших учебных заведений, приглашая их к противодействию законной власти». (Вот оно что, Михайловский, оказывает-

ся, «приглашал» студентов к бунту против законной власти!) «Следствием, кроме того, установлено, что заведующий одним из отделов того же журнала до времени его ареста был участником преступной организации». (Это «метафизик» Кривенко!) «Еще на сих днях полиция поставлена была в необходимость арестовать двух сотрудников этого журнала за доказанное пособничество с их стороны деятельности злоумышленников». (Этот скучный Протопопов и безобидный Эртель, но какие же они сотрудники, особенно Эртель, напечатавший недавно, уже в этом году, крошечный рассказик.) «Нет ничего странного, что при такой обстановке статьи самого ответственного редактора» (забыли добавить: «означенного журнала»), «которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и в изданиях, принадлежащих эмиграции». (Да, появлялись, но я об этом не просил и меня не спрашивали.) «Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следит за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества... правительство не может допустить дальнейшего существования... Совещание министров... постановило: «Прекратить вовсе...» Что же это такое?! «Теперь литературным судьею сделалось — правительство»!

Вдруг почувствовал Михаил Евграфович какую-то беспредельную, безграничную, громаднейшую скуку. Вот все и кончилось, не будет больше нагромождений на столе рукописей и корректур, не будет редакционных собраний по понедельникам, не будет страха за очередную книжку, пребывающую в цензурном ведомстве, этом истинном «чреве китовом». А что же будет?

И вдруг как озарило: ведь все, все предсказал!

Вот оно, фантастическое пошехонское отрезвление!

Ближайшие недели были переполнены тягостными раздумьями и размышлениями. Все более гнетущими и изматывающими становились безмолвные, светившие мертвенным бледным сумраком белые ночи...

Он полулежал в кожаном кресле, завернувшись в привычный плед.

Конечно, он привык уже к одиночеству, оброшенности — уделу тяжело больного человека. Тянуще гудели, как-то «скорбели» ноги, тело не могло найти удобного положения...

Журнал убит! Хотят «прикончить» и меня — писателя «вредного» и ненавистного (впрочем, это «убиение» началось раньше — особенно весь прошедший год чувствовал он это давление — явную попытку вытеснения его из журнала, все эти «предостережения» и «вырезки» — а что же журнал без него?).

Беспрерывным и независимым от сознания потоком плыли и плыли образы. Спас-Угол, родители, их могильные камни — там, вблизи Москвы, города детства, города тепла и милой родственности... Москва, Вятка, Петербург, все эти «губернии» — Рязань, Тверь, Тула, Пенза... Еще такой наивный воитель во имя законов и наставитель губернаторов на путь истинный — в милом и постылом Крутогорске. Блестящий чиновник, спорящий с министрами, уверенный в себе, сочинитель либеральных проектов «исправления полиции». Губернский вице-Робеспьер... Весь этот мощный и напряженный поток теоретических блужданий, бурного практикования либерализма, поток, закономерно принесший его в конце концов в демократический журнал великого Некрасова. Яростно-деятельные годы, годы радостных упований, силы и веры.

А теперь? Могучий комический дар, куда, на что потрачен ты, изменил ли ты хоть что-нибудь в любезном Глупове? Неужели все прошло, все напрасно — вся эта безрадостная, больная, постылая и никому не нужная — неудачная жизнь?

Салтыков привык работать поистине как хорошо отлаженная машина — изо дня в день, из часа в час: в каждую книжку журнала — очерк, рассказ, главу, каждый понедельник — обязательное совещание сотрудников в редакции. И вдруг — внезапная, резкая остановка, пустота; настигла какая-то болезнь: апатия, равнодушие и скука. И чем яснее и строже мысли, тем бесполезнее кажется весь этот каторжный труд, плодов которого не видно.

Беспредельная тоска ненужности сковывала силы, заставляла почти кричать от отчаяния — ведь печататься-то теперь негде! И он кричал — хриплый, рыкающий бас гулко отдавался в доме, неприветливость и угрюмый вид пугал редких посетителей. Беспредельную ненависть к жизни — вот что он теперь чувствовал.

Так проходили дни за днями, последние дни апреля — первые дни мая. Вновь и вновь вспыхивали и кру-

жились в сумраке бессонных ночей воспоминания — грустные, печальные, мучительные, но, как ни странно, почти всегда облегчавшие, умягчавшие боль, омывавшие душу. И тогда хотелось занести их на бумагу, отдать миру, дать им собственное, самостоятельное существование — существование, которое продлило бы, продолжило его собственную жизнь. Особенно тягостны были воспоминания, казалось бы, радостные — о годах активной борьбы, молодой уверенности, несокрушимого здоровья.

Даже работая в журнале, участвуя в общем, кровно его занимавшем деле («ведь я редактор кровный, а не наемный!»), все же не был он близок с кругом сотрудников, наполнявших книжки журнала своими повестями, рассказами, обозрениями. Та огромная масса созданного им, величественная гора творчества, вершина которой скрывалась где-то за облаками, как бы отделяла его от рядовых сотрудников, которые, конечно, понимали всю несоизмеримость своих пусть немалых трудов с величием труда «сатирического старца». Отсюда — одиночество, с годами, особенно после смерти Некрасова, все углублявшееся.

Теперь же, с гибелью журнала, казалось, порвались все связи, наступила какая-то вселенская оброшенность. Салтыков же ждал если не открытой поддержки своего дела, то хотя бы личного сочувствия. И что же? Эта старая лиса Краевский уже требует расчетов, намекая, что от «своего» журнала еще мог бы попользоваться.

«Вот какой со мной казус случился, — пишет Салтыков через две недели после «казуса» «многоуважаемому» Павлу Васильевичу Анненкову. — Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель. Думал, что я своим лицом действую, а выходит, что я начальником банды был. И все это я делал не с разумением, а по глупости, за что и объявлен публично всероссийским дураком. И Пошехонье теперь думу думает: так вот он каков!.. Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а Пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой! Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью... Вообще хорошая будет страничка для моей биографии. Столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал».

Его ядовитый сарказм по отношению к пошехонским литераторам, его гневное возбуждение нарастают: «Разница между покойным Тургеневым и прочими пошехонскими литераторами (я испытал ее теперь на собственной шкуре), — пишет Салтыков К. Д. Кавелину, — следующая: если б литературного собрата постигла такая же непостижимость, какая, например, меня постигла, Тургенев непременно отозвался бы. Прочие же пошехонские литераторы (наприм. Гончаров, Кавелин, Островский, гр. Толстой) читают небылицы в лицах и распахнув рот думают: как это еще нас бог спас!»

Но что такое поддержка и сочувствие даже и лучших «пошехонских литераторов» — одиноких, изолированных, растерянных? Неужели она что-нибудь изменит? И для них ли писал он?

Одиночество среди литераторов, непонимание и одиночество в семье (а без семьи — вот парадокс — одиночество еще страшнее!) всегда скрашивалось одним — возможностью с журнальных страниц ежемесячно беседовать с читателем. «Один ресурс у меня оставался — это читатель. Признаться сказать, едва ли не его одного я искренно и горячо любил, с ним одним не стеснялся. И, — не припишите это самомнению, — мне казалось, что эта отвлеченная персона тоже меня любит, и именно потому любит, что и я для нее «отвлеченная персона». Может быть, придя в личное со мною соприкосновение, читатель был бы не совсем удовлетворен больным и брюжжащим стариком, но издали и при посредстве мысли общение выходило свободное и от болезни и от брюжжаний. Я даже убежден, что если бы меня запереть наглухо, оставив в моем распоряжении только «читателя», я был бы вполне счастлив, даже счастливее, нежели в обществе людей. Довольно я понатерся между ними, взял от них, что мог, и, что мог, возвратил. Теперь у меня все это отняли» (К. Д. Кавелину — 12 мая 1884).

Если поначалу Салтыков ждал поддержки от «пошехонских литераторов», то теперь он все чаще думает об отношении к себе этой «отвлеченной персоны», ради которой он трудился, — «пошехонского читателя». Как-то он, этот читатель, воспримет исчезновение самого популярного и распространенного демократического журнала и прекращение столь сладостного общения при посредстве мысли, останется ли равнодушен или как-то выразит свою солидарность? И вот, после трех с половиной месяцев, в письме к Михайловскому: «О читателе скажу Вам, что хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец». Как же это так, почему?

Ведь еще раньше, до закрытия журнала, замечал Михаил Евграфович, что, собственно, никто ничем не интересуется, никто ничего не читает. «Одно стремление всюду: уставиться лбом в стену и в этом положении замереть». Усталость и равнодушие охватили общество, и читатель становится другой — если можно так сказать — «уличный»; подавай ему какое-нибудь «Словесное удобрение», серьезная книга уже не интересует, всякий выписывает или газету, или иллюстрированный журнал (знамение новейшей — «уличной» эпохи). От такой публики нечего и ждать, кроме равнодушия.

А с другой стороны, возможны ли публичные выражения общественного сочувствия? Вот в Киеве студенты по случаю пятидесятилетия университета устроили демонстрацию и распространяли прокламации, в которых, в частности, обвиняли власти в закрытии «лучших журналов и библиотек», разумея, конечно, прежде всего «Отечественные записки». Значит, в имени моем, думал Салтыков, заключается что-то «инфекционное» и возмутительное. Тут, пожалуй, и в самом деле опять окажешься где-нибудь в Вятской губернии или (чего же лучше?) в Тифлисе.

С раздирающей сердце тревогой думал о детях. Он готов был молиться, как маленький мальчик, как простая деревенская баба, с причитаниями и рыданиями, как какая-нибудь кормилица Домнушка, — о том, чтобы его дети не познали всей горечи и страданий его жизни, чтобы они были счастливы. Но в самой глубине души в возможность для них покоя и счастия не верил, напрасных и горьких иллюзий не питал. Что-то ждет их в будущем, может быть, не столь далеком? Детей было так жалко, что и сказать нельзя. Ведь и Елизавета Аполлоновна не крепка здоровьем, да и беспорядочна и неосторожна: «Вот будет ужас, ежели попадут птенцы в передел к родственникам», в особенности Дмитрию Евграфовичу, Иудушке. «Просто страшно делается, не за себя, — за мертвое тело и страшиться нечего, — а за детей. Ведь им жить придется, а как? Одна надежда — на трусость, но какая надежда?» А ведь так страстно желалось, — может быть, вспоминались удивительные слова одного из героев Достоевского, — «взлелеять для жизни чистое и прекрасное существо».

Салтыков скорбел не только потому, что ему «душу запечатали». «Запечатали душу» и его журналу. «Поистине, это был единственный журнал, имевший физиономию журнала, — писал он 26 мая П. В. Анненкову, — насколько это в Пошехонье возможно. Стасюлевич издает ежемесячный альманах <Салтыков имеет в виду журнал «Вестник Европы», о котором в другом письме он высказался еще более резко: «тараканье кладбище».> Юрьев — что-то колеблющееся, неопределенное <речь идет о московском либерально-славянофильском журнале «Русская мысль», который издавал в Москве приятель Салтыкова Сергей Андреевич Юрьев>... Не только мне, но никому из молодых нет охоты писать. Наиболее талантливые люди шли в «Отечественные записки», как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — *доверяли*, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В «Отечественных записках» бывали слабые вещи, но *глупых* — не бывало». Сюда, в «Отечественные записки», нес свои очерки гениальный, но исстрадавшийся и изболевшийся Глеб Успенский, сюда пришел с романами из уральской жизни талантливейший Д. Н. Мамин-Сибиряк, здесь печатался мучительно прекрасный Всеволод Гаршин... Здесь публиковались способные беллетристы Ясинский и Эртель... Да разве всех упомнишь. «Скучно, погано писать сделалось — вот что слышишь. И хотя, разумеется, нужда заставит писать, но можно себе представить, что выйдет из этой вымученности. Я Вам скажу прямо, — продолжал Салтыков в том же письме Анненкову: — большинство новых литературных деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в «Отечественные записки» попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место». И вот журнала нет. Это весьма чувствительный «переполох» не только в моей жизни, в моей душе, думал Салтыков, — это переполох в литературе. Ведь новым-то писателям места не оказывается. Не идти же к Каткову в «Русский вестник» или на «тараканье кладбище» Стасюлевича. (Правда, самому Салтыкову вскоре не останется ничего другого, как появиться среди обитателей «тараканьего кладбища»). Он, привыкший работать в общем тоне и в своем месте, понимал, что общего тона и своего места больше уже не будет.

Но растревоженная и возбужденная мысль не могла остановиться и продолжала работать в прежнем привычном напряжении. Это была мысль сатирика и публициста. И в то же время прежнего владения собой, прежне-

го вдохновения, той комической силы, что рождала гениальные образы, не было. Ведь еще в прошлом году, обремененный многочисленными заботами и невзгодами, с ужасом думал о скором творческом оскудении: «Не нахожу нужных выражений. обнаруживаю полное бессилие в создании образов». А что может быть ужаснее для художника, как иссякновение способности «рождать образы».

Сиверская станция, куда его, больного, привезли в конце мая, оказалась местом довольно диким, едва ли не лучшим среди петербургских дачных палестин. Тишина; увеселительных заведений и кабаков, кажется, слава богу, нет. Воздух чистый, пряный, насыщенный испарениями хвои, лес нетронутый, не затоптанный, живописные гористые окрестности. «По всему правому берегу излучистой речки, на далекое пространство, тянется сплошной хвойный лес, и покуда только самая незначительная часть его подверглась захвату под дачи. В этом лесу великое изобилие ягод, грибов, пернатых и... зверей» («Пестрые письма»).

Сначала и погода стояла жаркая, прекрасная. Но вдруг потянуло чуть ли не октябрьским холодом, повсюду загуляли сквозняки, гибельные для его больной груди. Погода оказалась изменчивой и непостоянной. И вот уже лающий, отрывистый кашель сотрясает стены салтыковской «тысячной» дачи (как он писал иронически: за дачу заплачена Елизаветой Аполлоновной тысяча рублей). Резкие переходы от зноя к холодам отражались на здоровье Михаила Евграфовича «с необыкновенной жестокостью». Лето оказалось «паскуднейшим»: то жарища, то холод зверский, да к тому же постоянные грозы и влажная тяжесть в воздухе. Творческие муки, нервное напряжение осложнялись все усиливавшимся нездоровьем. «Другие летом воскресают, а я до того дошел, что ноги не ходят, руки не пишут, голова не думает...». Но Михаил Евграфович все же преувеличивал. В его хилом теле мощно жил здоровый дух. И голова думала и думала...

Но если что и напишется, печатать-то где — неизвестно. Может быть, попробовать «Русские ведомости»? На днях, уже в Петербурге, был у него редактор газеты Василий Михайлович Соболевский и предлагал участвовать. «Но явно, что, предлагая, он боится за газету. Да и мне как-то совестно на старости лет сделаться газетным фельетонистом. Однако я обещал и попробую. Это

единственный порядочный орган, и притом со смыслом издающийся. Очень умеренный, но честный». «Ведь, в сущности, писать все-таки надо. Не умирать же заживо». Из больной груди вырывается поистине леденящий вопль: «Какая ужасная старость! Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое!»

И начинают складываться типичные сатирические образы эзопова языка, с помощью которых он проясняет себе тот «психологический момент», который захватил его. Создается удивительная сочетанием глубокого иносказания и лиризма сатира на этот «психологический момент». Что же это за момент?

Первая, большая часть этой сатирической миниатюры (впоследствии она станет первым «письмом» цикла «Пестрые письма») посвящена описанию новой общественной атмосферы, когда даже изречение: «ваше превосходительство, не погубите», — оказывается равносильным призыву к оружию. Посредством «привычки», «опыта», «среднего рассуждения» созидается новая «современная идиллия», более страшная, чем та, что была незадолго до этого представлена в одноименном сатирическом романе, более страшная потому, что в перспективе ее не видится даже «стыда». «И совсем не так подла эта жизнь, как думают унылые люди <то есть я, я, «унылый» сатирик>. Мудрость веков самым несомненным образом свидетельствует, что с незапамятных времен так жили люди и не только не считали себя посрамленными, но даже от времени до времени восклицали: «Не постыдимся вовек!» Воистину обольщают себя те, которые думают, что так называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вожделениями. В сущности, волновались только немногие, и, уж конечно, никто не скажет, чтоб существование этих немногих сколько-нибудь напоминало о благополучии. Почвенный же и русловой люд всегда и неизменно имел в виду только служительское благополучие... Я знаю, что унылые люди все-таки не убедятся моими доводами и будут продолжать говорить: «Стыдно!» Но что такое стыд? — спрашиваю я вас. Предложите этот вопрос любому прихвостню современности, и он, не обинуясь, ответит: «Стыд есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами, и стыд и наглость — игра слов, в которой то или другое выражение употребляется, глядя по делу. Поэтому когда до слуха моего доходит слово «стыд», то мне всегда кажется, что мимо пролетела муха и, никого не обеспокоив, ис-

чезла в пространстве. Итак, будем благополучны и не постыдимся».

Вот он — «психологический момент»! Именно он-то и выручил меня в трудную минуту.

«Во-первых, он ввел меня в заколдованный круг патентованных русских пословиц.

Во-вторых, он убедил меня, что жизнь обязательна и что сохранить и обеспечить спокойное течение ее можно только при помощи приспособлений, вполне отвечающих требованиям современности.

В-третьих, он доказал, что какие бы усилия я лично ни употреблял, как бы широко ни захватывал, хотя бы даже «жег сердца глаголом» (на что, впрочем, ни малейше не претендую), — все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не заметит.

Таковы три элемента, при помощи которых достигается современное человеческое благополучие».

По письмам Салтыкова после прекращения «Отечественных записок» и до появления в ноябре месяце этюда о «психологическом моменте» на «тараканьем кладбище» «Вестника Европы» мы остро чувствуем, как усугубляется его тревога, как усиливается и растет трагизм его мироощущения. Между тем в этюде безапелляционно утверждается, что, по прошествии нескольких месяцев после разгрома «Отечественных записок», «тревога утихла...». Художественная мысль Салтыкова движется путем сложного иносказания, выражается в блестящих формах «эзопова языка». Здесь как бы совмещаются два образа — «средний человек», который не хочет и не может отказаться от «сладкой привычки жить» — жить во что бы то ни стало, и гневный образ самого сатирика, просвечивающий сквозь все рассуждения и «психологические моменты», позволяющие жить «среднему человеку». Именно гнев, исполненный иронии и сарказма, позволяет автору сохранить необходимую дистанцию.

Мало кто понял глубочайший подтекст, заложенный в формулах «эзопова языка», в ироническом утверждении, будто он, унылый человек, «сначала испугался, но затем очень быстро очнулся и беспрекословно погрузился в пучину служительских слов» («Не погубите!»). Григорию Захаровичу Елисееву показалось очень странным, как это «Вы после пятимесячного молчания сочли нужным выступить перед публикой с разъяснением во всеуслышание *психологического момента*. Силы <вла-

сти>, конечно, нельзя не признавать, но исповедовать ее во всеуслышание — значит ее увеличивать и в ней самой, и вовне. Это уж никак не может помогать росту читателя, убегающего по своему детству в подворотню от любимого автора при первом противном ветре, а может утвердить его в безнадежном детстве навсегда». Правда, Елисеев делал оговорку, вспоминая начало «Пошехонских рассказов» («Рассказы майора Горбылева»): «А впрочем, я ведь не знаю плана ваших новых «Пестрых писем». Начало их может быть только особого рода стратегический прием. В роде «Пестрых писем» началось и ваше Пошехонье, которое потом вышло на такую дорогу, которой никак нельзя было ожидать поначалу».

В самом деле, этюд о «психологическом моменте» (первое «Пестрое письмо») как бы освободил отнюдь не истраченную творческую энергию Салтыкова, его «комическую силу». Сатирическая фантазия его ожила, стала все более разыгрываться.

Однако публикация в «Русских ведомостях» не состоялась: газета уже обратила на себя внимание цензуры, и Соболевский действительно побоялся. Пришлось обратиться к М. М. Стасюлевичу в «Вестник Европы» (вспомним — «тараканье кладбище», не журнал, а альманах, богат материалами, но — ни направления, ни руководящей мысли). Когда «Русские ведомости» возвратили ему в октябре его этюд, у Салтыкова вырвались горькие слова: «Во всяком случае, конец моей карьеры не из веселых, и, как признак времени, настолько характерен, что, быть может, историк не оставит его без внимания». И Салтыков был, конечно, прав, когда усматривал в своей судьбе знамение времени, того времени, которому он посвятит вскоре третье «пестрое письмо».

Во втором же «пестром письме» рассказывается удивительная история о еще одном российском «волшебстве». Оказывается, что в прошлом, 1883 году жил на даче, на станции Сиверской, статский советник Никодим Лукич Передрягин. Однажды пошел он в лес по грибы, пошел — и не вернулся. Передрягин был ловкий малый и имел бойкое перо. Главное же, когда требовалось мыслить либерально — он мыслил либерально; когда нужно было мыслить консервативно — он мыслил консервативно. Любой проект мог написать. Однажды сочинил, по поручению, проект «О расширении, на случай надобности, области компетенций». В другой раз, тоже по поручению, написал другой проект «Или наоборот».

В лесу же, куда попал Передрягин, обитало неисчислимое племя медведей, которые давно уже искали подходящего человека для написания им конституции. Дело щекотливое и небезопасное. И решился Передрягин действовать, *не забегая вперед, но и не отступая назад*. Много тут было всяких пререканий и интриг, но медведи скоро успокоились, ибо пришла зима, и Передрягину не оставалось ничего другого, как сочинить медведям зимнюю конституцию, которая вся состояла из одной статьи: «С наступлением зимы всякий да заляжет в берлогу и да сосет лапу».

Но и среди медведей существовала «староверческая» партия, которая неодобрительно отнеслась к «топтыгинскому конституционному возрождению» и поспешила войти в секретные переговоры с местным урядником. И вот времена созрели. «В конце минувшего сентября <теперь уже 1884 года>, ровно через четырнадцать месяцев после пленения Передрягина, в ту минуту, когда неурядица среди топтыгинского племени достигла размеров *поистине нетерпимых*, до *веселой поляны*, обитаемой братýшками <а Передрягин к этому времени открыл, что взяли его в плен вовсе не медведи, а особого рода братýшки>, донеслись звуки приближающегося колокольчика. Топтыгины тотчас же догадались, что эти звуки возвещают приезд из Луги начальства... Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчас же были отделены и препровождены; прочие братýшки — тщательно переписаны и внесены в ревизские сказки» (то есть списки крестьян, подлежащих обложению податями). «И живут себе Топтыгины как у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, без конституций». Почтеннейший же Никодим Лукич вынужден был подать в отставку: «Причиною всему было слово конституция».

Так второе «Пестрое письмо» оказалось сказкой — сказкой о российских конституциях. Это была беспощадная сатира на небывалую «пестроту» русской политики начала восьмидесятых годов. Вся сказка пронизана намеками на бюрократический быт России этого времени.

Дело в том, что на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов «конституционный вопрос» приобрел для русского правительства особую остроту по двум причинам — внешнеполитической и внутриполитической. В 1879 году в Болгарии после освобождения от многовекового турецкого владычества начала действовать так называемая Тырновская конституция — разработанная

при участии русских представителей, она была одной из самых демократических в Европе. В самой же России революционный натиск народовольцев заставил правительство приступить к поискам какой-то новой политической программы (ради разработки такой программы и была образована в 1880 году знаменитая Верховная распорядительная комиссия под председательством гр. М. Т. Лорис-Меликова).

Понятно, что в условиях самодержавия даже самая умеренная разработка конституционных принципов могла вестись лишь в недрах бюрократии, и какое-либо участие общественности (даже дворянского «земства») в такой разработке не могло быть допущено. Кроме того, «самобытная русская конституция», по мысли ее творцов-бюрократов, должна опираться на принципы, не имеющие ничего общего с принципами европейских конституций — продуктов буржуазных революций, и потому обращение к опыту конституционных правлений Западной Европы (прежде всего Франции и Англии) исключалось с самого начала. После же убийства Александра II лорис-меликовские потуги на «конституционализацию» самодержавия, естественно, стали восприниматься чуть ли не как призывы к революции. Как раз летом 1884 года идеолог нового царствования К. П. Победоносцев публикует в газете «Гражданин» статью под характерным названием «Великая ложь нашего времени», где Салтыков читал такие слова: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции *идея*, что всякая власть исходит от *народа* и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастию, в русские безумные головы» (издатель «Гражданина» кн. В. П. Мещерский так комментировал статью Победоносцева: «...великая ложь, о которой идет речь, есть *конституция!»)*.

Но это касалось внутренней политики. Но была еще и политика внешняя. Болгарский «князь» Александр Баттенберг, ставленник русского правительства, в апреле 1881 года совершил в «своем» болгарском «отечестве» переворот и отменил действие Тырновской конституции. Русский император был недоволен таким самовольством: летом 1883 года в Болгарию был командирован видный чиновник русского дипломатического ведомства А. С. Ио-

нии с целью восстановить действие Тырновской конституции. Но ведь и герой салтыковской сказки статский советник Передрягин оказывается «командированным» к медведям-«братушкам» (братушками официозная и славянофильская печать именовала славянские народы), ради составления для них конституции, также летом 1883 года! И многие другие факты будто бы «конституционной» деятельности русских министров и высших бюрократов помнил Салтыков, когда писал свою сказку. Помнил, но не спешил открыть свои иносказания, а на вопрос о смысле ее ответил не без иронии: «Смысл сей басни таков: завозных конституций бояться нечего. Следовательно, ежели надобность встретится, то таковую может написать Передрягин, коего адрес почтамту известен. Многие комментируют, будто бы я хотел указать на Лорис-Меликова, но это неправда. А другие говорят, что «братушек» я только для вида привлек, — об этом я ничего не знаю и сказать не могу. «Dixi et animam levavi» (Сказал и облегчил душу. Или, как переводил Салтыков: сказал и стошнило).

Уходил столь жестокий для Салтыкова 1884 год — «жестокий без резона, безалаберный, глупый. Кроме злобы, бесплодно мечущейся и выражающейся в самых необдуманных предприятиях, ничего не видно. К величайшему сожалению, с наступлением старости чувство не притупляется во мне, а делается более и более восприимчивым. Никогда я такой глубокой боли не испытывал — просто не знаешь где место найти. Хотелось бы спрятаться куда-нибудь, ничего не видеть, все забыть, да не знаю, куда деться. Хлопочу какой-нибудь угол подальше найти, чтобы зарыться туда. И самому быть забытому и обо всем забыть. Хорошо бы водку начать пить, да боюсь — мучительно» (Г. З. Елисееву — 18 декабря 1884-го).

Теперь, в конце уходящего истерзавшего его года, Салтыков решил прямо, недвусмысленно, без загадочных иносказаний и инословий высказаться о запутанном и нелепом состоянии русской общественной жизни, которое все определеннее выяснялось после закрытия «Отечественных записок». Все распалось на массу подробностей и мелочей, посыпались бесчисленные и бессмысленные проекты и проектцы, которые печатаются на страницах «Московских ведомостей» или «Нового времени». Читаешь — «точно нюхаешь портки чичиковского Петрушки». Все это только усугубляет всеобщую неразбериху и галиматью. Нет руководящей идеи. Или вернее — она есть, но это идея, так сказать, отрицательная. Все приурочивается к реформам двадцатилетней давности. И загудела уличная толпа, и запричитали публицисты Скомороховы: перереформили.

Не называя имен, Салтыков обращается к тем, кто уничтожил его журнал: «Я допускаю, что совершившиеся реформы не для всех приятны и что, следовательно, единомыслия в их оценке ожидать нельзя. Но для того, чтобы с успехом вести упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидеть, проклинать и подсиживать, а необходимо ясно и определительно указать, как с ненавидимым предметом поступить. Некоторым из реформ уже четверть века минуло, а большинство приближается к концу второго десятилетия. Ведь это уже в известном смысле храм славы, а совсем не наваждение, по поводу которого достаточно сказать: «дунь и плюнь!» — и ничего не будет. Но если б даже и возможно было сим легким способом освободиться от храма славы, то все-таки надо и самим знать, и для других сделать понятным, какой иной храм славы предполагается соорудить на место только выстроенного и уже предполагаемого к упразднению». Кого «стукать-то» прикажете — интеллигенцию или мужика? Такая — то ли недореформенная, то ли перереформенная жизнь калечит живых, калечит и — убивает.

Салтыкову-художнику нужно было и лицо, «сатирическая персона», в которой бы воплотилось это современное упразднительское «созидание» нового «храма славы». Вспоминается повествователю, маску которого надевает сатирик, что во время óно учился с ним вместе некто Федот Архимедов. Всякий, кто ни посмотрит на его физиономию, похожую на подмалеванный портрет, ничего другого на ней прочесть не в состоянии, кроме отчетливо подписанного «галиматья». Все привыкли к тому, что хотя Архимедов и Федот, но Федот-то этот не тот. Но вот пришло время, когда в бюрократических сферах понадобились такие именно Федоты — воплощения галиматьи. Он тоже составитель упразднительно-созидательных проектов, главными предметами которых становятся современная молодежь и печать, то есть, по его убеждению, главные вместилища разнузданности. Для искоренения «разнузданности» в среде молодежи «необходимо, рассуждает Федот Архимедов, наряду с прочими возникшими в последнее время институтами, образовать еще институт племенных молодых людей, признав чисто правоспособ-

ными только тех молодых людей, кои добрым поведением и успехами в древних языках... окажутся того достойными...». С другой же стороны — печать, которая в настоящее время «служит предметом очень тяжких обвинений» (продолжает свои инсинуации Архимедов). Как же с нею поступить? Многие заявляют, «что печать следует или совсем упразднить, или, по малой мере, надеть на нее намордник!» Но нет, нет, намордников Федот не предлагает, ибо в основе всех его проектов лежит не упразднение, а упорядочение. Или, лучше сказать, «возрождение». Все дело даже не в самой печати, а в ее деятелях. Вот их-то и надо «упорядочить». «Намордников я не предлагаю, но думаю, что сама природа наконец возмутится и явится на помощь к благонамеренным людям с естественной развязкой. Уже достаточное количество сошло с арены, остальные... не замедлят!» (Явный намек на недавнюю смерть Некрасова, Достоевского, Тургенева, Писемского и, конечно, на закрытие «Отечественных записок», и тяжкую болезнь самого Салтыкова [1]). А раз так, а так же и потому, что «наше время — не время широких задач», следует ограничить комплект «действующих литераторов» числом 101. За этим, естественно, следует вопрос организации. «И посему полагал бы: сто русских литераторов разделить на десять отрядов, по десяти в каждом, а сто первому литератору предоставить переходить по очереди из одного отряда в другой до тех пор, пока время не укажет на необходимость образования нового, одиннадцатого отряда, к которому он и примкнет». Понятно, что каждый из отрядов должен кто-то возглавлять — это могут быть только старейшины из числа деятелей современной русской литературы, «но исключительно из таких, которые, по преклонности лет, уж мышей не ловят».

Люди, искалеченные современным жизненным неустройством, «разрозненностью частных интересов» — тема не новая для Салтыкова — социалиста и просветителя. Но в третьем «письме», затронутая лишь намеком, она приобретает современный трагический характер, ибо все бесчисленные и запутанные проекты и «проектцы» не предлагают для «простеца» ничего другого, кроме «битья

[1] В связи с расходами Петербургской городской Думы на похороны Некрасова журнал «Гражданин» позволил себе злобный намек на болезнь Салтыкова: «И общество должно будет готовиться к значительному расходу, если например, — чего боже сохрани, умер бы наш «великий сатирик».

по темени». Этот мотив был замечен критикой. «Сатирику предстояла, — писал в «Русских ведомостях» А. Введенский, — быть может, самая благодарная и благотворная задача — во имя общих законов жизни защищать человека, обличать это удивительное стремление не признавать законов жизни, калечить людей на собственный манер, по изобретенным «не теми Федотами» проектам, составляемым в кабинетах и канцеляриях, без соображения с обстоятельствами жизни и даже насилуя законы природы». Да, да, все это так, отвечал Салтыков: «Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается» (В. М. Соболевскому — 13 января 1885 года). Что же значит это «недаром»? И как его обойти? Как найти нужные формы?

Напечатание в первой книжке «Вестника Европы» за 1885 год третьего «Пестрого письма» чуть было не привело к запрещению журнала. Лишь то обстоятельство, что журнал еще не имел предостережений, спасло его от участи «Отечественных записок». Особенно велико было бешенство министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого, бывшего соученика Салтыкова по лицею. «Кто-то инсинуировал Толстому, — писал Салтыков В. М. Соболевскому, — что первое январское мое письмо и именно Федот написано на него, хотя я и во сне ничего подобного не видел, да и похожего ничего нет». Однако бешенство Дмитрия Толстого вряд ли не имело оснований. Конечно, во внешнем смысле, наверное, не было ничего похожего (если не считать указания на совместное обучение в лицее). Но Д. Толстой, может быть, подзуживаемый Феоктистовым, увидел в проектах Федота Архимедова явственный намек на свою внутреннюю политику, в особенности применительно к литературе.

Салтыкову стал известен и еще один знаменательный факт обсуждения его третьего «письма» в цензурном ведомстве. Его сатиру сопоставили с классической античной сатирой Персия и Ювенала! Это была поистине «целая история»: «Экстренно собирали совет <по делам книгопечатания> (пишет Салтыков Соболевскому), припомнили Персия и Ювенала и нашли, что даже они такой смуты в общественное сознание не вносили, какую я вношу (буквально)!» Эту историю действительно можно было бы принять за продукт салтыковской комической «игры» (во избежание недоразумения Салтыков и прибавил: буквально), если бы не сохранившиеся материа-

лы цензурного ведомства. Цензор В. М. Ведров писал в своем донесении: «Сатира со времен Ювенала и Персия действовала разрушительно, но она имела предметом общечеловеческие недостатки, которые бичевала...» Салтыков же, видите ли, «бичует» не общечеловеческие недостатки, а вполне определенные общественные явления (правда, смысл эзопова языка Салтыкова цензор истолковал весьма превратно: Салтыков защищает молодежь и литературу от нападок, преследования, регламентации, обвинений в разнузданности, цензору же салтыковские иносказания совершенно недоступны, ему, как говорится, ничтоже сумняшеся, кажется, будто сатирик избирает предметом сатиры «пылкое юношество и неокрепшую печать»).

Сразу же после закрытия «Отечественных записок» Салтыков заговорил о неизбежности «ломки» сложившейся сатирической, «эзоповой» манеры, о том, что ежемесячные «беседы» с читателем в привычной форме вряд ли теперь станут возможны. Еще в мае писал К. Д. Кавелину: «Деятельность моя так сложилась, что переламывать ее на другой манер потребуется не мало времени. Хотя я давно задумывал написать большую бытовую картину (целое «житие»), но полагал приступить к этому позднее». (Во всяком случае, после естественного, а не насильственного прекращения беспокойной журнальной работы.) Один из предполагавшихся в конце 1883 года, но недописанных «Пошехонских рассказов» возвращал память к детским годам в селе Спас-Угол, к «пошехонской старине», к помещичьему и крестьянскому быту прошедших лет. Теперь же переворот был столь внезапен и чувствителен, перелом столь резок, что сразу взяться за «житие» не представлялось никакой возможности: «Теперь приходится сделать ломку, а удастся ли она — не знаю». Но в первых «пестрых письмах» он еще вполне оставался верен старой манере — манере Персия и Ювенала (правда, не в том смысле, как понимал эту манеру чиновник цензурного ведомства). История с третьим «письмом» о Федоте Архимедове вновь заставляла задумываться.

Давно уже (еще при издании журнала) посетила Михаила Евграфовича мечта (правда, понимал — едва ли сбыточная) о «собственном угле», о каком-то небольшом доме в деревне, куда можно было бы скрыться: «Отдать все нажитое и уйти на хлеб и воду. Вот истинное блаженство». Когда Павел Васильевич Анненков решил по-

жить в своей симбирской деревне, Салтыков тут же поощрил это его намерение, в особенности порадовавшись за сына Анненкова: «Хотя и постылое это Пошехонье, — писал он 1 июля 1884 года, — но сынам его необходимо его знать. Что в Тагае <деревня Анненкова> не имеется изрядных материалов для еды — этого вы должны были ожидать. Но ежели бы Вы там пожили подольше, то материалы создались бы сами собою. Отцы наши жили в деревнях безвыездно и не скучали». Как только утратилась привычная связь с читателем, так все с большей тоской и болью стало думаться и мечтаться о таком своем месте, где не тревожили бы тяжкие удары и уколы мучительной современности, ее паскудных прихвостней, где можно успокоить израненную душу, болезненно возбужденное сознание. И с таким «уходом» психологически связывалась работа уже совсем иного рода — «бытовая картина» не безумной петербургской жизни, а жизни деревенской, «почвенной». Свой собственный угол невольно возвращал мысль к Спас-Углу.

Как бы предчувствуя передряги с третьим «письмом», принялся незадолго до нового года за четвертое — по жанру вроде бы вполне бытовую повесть о печальной жизненной судьбе «жены корнета» Арины Михайловны Оконцевой, вынужденной в результате этого «ужасного, злого дела», этой «катастрофы» — крестьянского освобождения — покинуть свой поместный домишко и кончать жизнь в каком-то неслыханном переулке у Сухаревой башни. Салтыков как бы вновь обоняет все удивительные запахи старой мещанско-купеческой Москвы — Сухаревой башни, Мещанских улиц, Калужской заставы — Москвы, застигнутой реформаторскими новшествами и оголтелым, озлобленным хищничеством. Эти новшества и передряги захватывают в свой грязный омут и Арину Михайловну, которая поначалу все опасается: не твердо все как-то нынче. «Законы хоть и есть, да сумнительные; ни́-то следует их исполнять, ни́-то не следует; правители есть, да словно в отлучке...» Правда, бывший приказный Фома Фомич Арину Михайловну утешил: «Насчет правителей вы напрасно беспокоитесь: у нас их даже в излишестве. Только вот в центру никак не могут попасть — это так!» Но правители правителями, а новое хищничество процветает, оно уже не удовлетворяется взяточничеством и казнокрадством, оно пускается на прямые подлоги и вымогательства. Скоро оно поднимется и до своей высшей формы, когда станет просто —

«порядок вещей». Арина Михайловна по своей женской простоте и провинциально-крепостническому (еще старому: «вы отцы — мы ваши дети») простодушию оказывается поначалу жертвой хищничества наглого и примитивного, а затем и хищничества замаскированного, в котором не сразу и опытный человек разберется — «ташкентского» (знаменитый «рыковский банк»). Салтыков называет эту свою повесть небольшой экскурсией в область прошлого.

Итак, в повести об Арине Михайловне Оконцевой повествовалось о всевластии оголтелого и наглого хищничества. И вдруг следующее письмо — пятое — начинается с парадоксального утверждения: «Вы, конечно, уж знаете, что господство хищения кончилось. Что касается до меня, то я узнал об этом из газет и, признаюсь откровенно, сейчас же поверил». (Салтыков читал множество газет, но особенно внимательно следил за двумя — «Московскими ведомостями» М. Н. Каткова и «Новым временем» А. С. Суворина). Что такое, а ведь до этого газеты были переполнены заметками и корреспонденциями о хищениях и попустительстве расхитителям со стороны «новых судов»? Известный «Гражданин», например, в том же 1884 году вещал: «Появились несомненные признаки в разных местах России духовной чумы, угрожающей с страшною быстротою и с страшною силою подорвать не только нравственные, но и общежитейские основы жизни, и каждого из нас поставить лицом к лицу перед опасностью погибнуть от самого ужасного коммунизма <!>. Зловещими призраками этой страшной чумы явились последние <оправдательные> приговоры судов по делам о растрате чужих денег и об ограблении касс». О блистательный «Гражданин» во главе со своим блистательным князем! О ты, в ограблении касс и растрате чужих денег усмотревший надвигающийся на Россию пагубный коммунизм!

И вот известный отметчик, корреспондент и публицист Подхалимов распубликовал добрую весть о том, что эпоха хищений кончилась, а следовательно, и коммунизм больше никому не угрожает.

«Я — к Подхалимову. «Любезный друг! неужто ты не солгал?» — «Верно, говорит, вот и доказательство. Смотрю и глазам не верю: «Печатать дозволяется. Цензор Бируков».

Салтыков опять принялся за иносказания. Александр Степанович Бируков — знаменитый, еще пушкинских

времен, придирчивый и ограниченный цензор Петербургского цензурного комитета, давно уже покойный. В системе салтыковского эзопова языка «дозволение» Бирукова означало одобрение со стороны властей. Салтыков говорит об идее, которая исходила от правительства и была подхвачена «охранительной» публицистикой, будто хищничество явилось продуктом предшествовавшей эпохи «реформаторства», когда расшатались основы русской жизни, когда общество поразила «духовная чума». Эта идея отвечала и интересам самих хищников. Новая эпоха, время расчета с ненавистным «реформаторством», то есть эпоха реакции и контрреформ, и может быть названа поэтому эпохой «упразднения хищничества и торжества покаяния», как скажет скоро Салтыков в восьмом из «Пестрых писем». Но всем было ясно, что хищничество не только не прекратилось («все зависит от того, как посмотреть»), но усугубилось, приняв свою конечную форму — «порядка вещей». Салтыков при этом не ограничивается обнажением невозможности для хищников, по самой социальной природе их, какого бы то ни было «покаяния». Напротив, сложившийся хищнический «порядок вещей» означает для мужика его окончательное закабаление. Но придет, придет время — предвидит Салтыков, когда «мужичок» поймет связь, существующую между его беспросветно тяжким положением и всяческими хищническими «фестонами».

«Упразднение хищничества и торжество покаяния» возвестил Подхалимов — литературный деятель нового, еще не бывалого типа, газетчик, журналист уже не прошедших десятилетий. Подхалимовщина — явление, характеризующее современное — восьмидесятых годов — состояние печати и облик ее деятелей, когда уже завершился «процесс перемещения новоявленной силы <то есть печати> из одного центра в другой» — из сферы демократических гражданских убеждений в область беспринципного буржуазного политиканства. Вместе с таким «перемещением» меняется и облик деятеля печати, происходит беспощадно жестокое извращение его человеческой природы, человеческой сущности. Трагизм подхалимовской судьбы — в противоречии между несомненной «даровитостью» и той «омерзительной, гнусной, бесчестной окраской», которую он «сумел дать своему таланту».

Подхалимов бодро, а то и нагло выходил на ту стезю, где когда-то работали Белинский, Некрасов, да и он сам, Салтыков, отдавший журналистской деятельности чуть

не всю жизнь. Но теперь для «улицы» серьезный «толстый» журнал со своими идеями и «вопросами» не нужен, теперь нужна подхалимовская газета, об убеждениях и идеях которой смешно было бы и говорить. Во вчерашнем листе неслись вопли по поводу «хищений», а сегодня этот лист очень удобно приспособлен кухаркой для завертывания селедок, а потому — кто же помнит, каким запахом несло от «Словесного удобрения» или какой-то другой подобной газеты.

Но Подхалимов был вполне реален, вот он, тот же Алексей Сергеич Суворин, журналист талантливый, бойкий и ко времени очень подходящий, издатель газеты «Новое время». Печать — сила, с самодовольным видом провозглашает Подхалимов. Да, это так. Подхалимов прав, «никогда печать с такою резкостью не заявляла о своей силе. Но какая печать? и какого качества ее сила? — вот в чем вопрос».

Время стояло такое, что из всех щелей полезли уж прямо какие-то привидения («Письмо VI»).

Живут, например, на Песках (окраинный район тогдашнего Петербурга) восемь отставных генералов, которых некогда, когда обрушились на Россию реформы, обидели, по инфантерии отчислили, то есть, попросту говоря, отправили в отставку. И по вторникам один из генералов, бывший губернатор Чернобровов, устраивает интимные рауты, куда эти «привидения» и собираются. Однажды повествователю довелось на такой «раут» попасть. И что же он услышал? «Критику существующих установлений»! Хвалу временам дореформенным!

На сцену выползают «привидения», выходцы из тех «прошлых времен», которые Салтыков некогда «хоронил» в «Губернских очерках». Эти-то «привидения» и вершат суд над современностью.

Что же это такое? Враждебная Салтыкову критика ухватилась за «обличения» отставных генералов, обличения, которые будто бы на самом-то деле являют собой хвалу современности. «Все салтыковские восемь генералов... — говорилось, например, в рецензии «Санкт-Петербургских ведомостей», — служат, однако, чему бы вы думали? — действительному, фактическому прославлению нынешнего правительственного режима. Это относительно г. Салтыкова звучит так дико, невероятно, что требует самого положительного объяснения...»

Мысль Салтыкова была грубо, может быть, умышленно искажена рецензентом. Салтыков, разумеется, не прославляет нынешний правительственный режим, напротив, он уже со всей ясностью понял, что этот режим сам весьма причастен к «антиреформенному бунтарству». Один из генералов, «умница» Покатилов, развивает теорию централизованной государственной власти, будто бы зиждущейся на «гарантиях», составляющих непременную часть правительственного механизма (такова была дореформенная государственная система). В самом деле, к началу восьмидесятых годов ряд централизованных учреждений самодержавия, игравших весьма сомнительную роль «гарантов», был или коренным образом перестроен, или и вовсе уничтожен (прокурорский надзор, сенат, III отделение). В правительственной политике в условиях «пестроты» и «белиберды» восьмидесятых годов возобладал принцип «децентрализации». Но что это за «децентрализация»? Еще в «Дневнике провинциала в Петербурге», один из его героев, «отставной корнет» Петр Толстолобов, сочинил «проект» «О необходимости децентрализации», суть которого сформулирована следующим образом: «Для того чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть. Для того же чтоб власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать», то есть, в сущности, освободить от ответственности перед законом и учреждениями, призванными блюсти закон.

Приближалась весна 1885 года, пришли пасхальные праздники. Григорий Захарыч Елисеев писал из Парижа, что у него не столько тело страждет, сколько болит душа. Да, да, хотя и немного порядочных людей, но у всех у них душа, как говорится, не на месте. А особенно представьте себе тех, кто был близок к «Отечественным запискам», — «у всех болит все». Вот уже скоро год, как перестал существовать журнал, но забыть грубого действия «волшебства» невозможно, выйти из душевного кризиса, отрешиться от боли сердечной нет никакой возможности, никаких сил. «Все работали, мнили себя чем-то и вдруг все оказались за флагом и убедились, что никому до них дела нет. И все это случилось каким-то проклятым волшебством. Пришли, остановили машину, заперли на ключ и ключ забросили в колодезь. Разве это не волшебство? Ежели я лично продолжаю еще подавать голос, то все-таки с каждым днем чувствую себя все бо-

лее и более лишним и неуместным. А другие, как, например, Михайловский, Абрамов и проч., положительно нигде места себе найти не могут. И все это люди в полном цвете сил. Прежде хоть надежда на просвет была, а теперь все, положительно все заглохло» (Г. З. Елисееву — 31 марта 1885 года). Пустыня! «Поистине, презренное время мы переживаем, презренное со всех сторон. И нужно большое самообладание, чтоб не прийти в отчаяние».

Итак, пишутся понемногу сказки, написаны шесть «пестрых писем», ну а чувство какой-то ненужности, неуместности нарастает, да и творческая сила как-то тускнеет и оскудевает. Вдохновения прежнего, радостного, не было; тема каждого письма, хотя и объединяла их в конце концов одна мысль, все же всплывала как-то случайно (кроме, конечно, первого вдохновенного этюда о «психологическом моменте»). Потрясение было слишком велико! Не конец ли это?

Пасхальные праздники провел как-то «смуро», не до веселья было. «Помнится и мне, что это был веселый праздник, но что-то давно. Всего грустнее то, что и дети мои не имеют об этом празднике того представления, какое с ним связывали мы. Я слишком болен для того, чтобы приобщить их к этому представлению, а жена моя ни к чему подобному не имеет склонности. Несчастливы будут мои дети; никакой поэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких слез; ничего, кроме балаганов. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства».

Вскоре по прошествии пасхальных праздников, после выхода апрельской книжки «Вестника Европы» принялся было за седьмое «Пестрое письмо», где хотел без обиняков объяснить всем будто бы непонимающим, что такое эти «ветхие люди», эти восемь генералов, что собираются на Песках, чтобы косноязычить на тему: перереформили. Первые строки уже легли на бумагу: что же оказалось? Что эти дореформенные трупы, эти брюзжащие по поводу «современных установлений» привидения — все они члены тайного общества «Антиреформенных бунтарей».

В этом «письме» Салтыков хотел поставить все точки над «и». Но волнение его было так велико, что болезнь вновь усилилась, особенно все хуже и хуже было с глазами. Хотел закончить «письмо» к 15 апреля, к майской

книжке «Вестника Европы», но тема «антиреформенного бунтарства» все углублялась, обрастала целым потоком все новых и новых тем и мыслей, касалась самой сути современности. К тому же солидно-положительный редактор журнала М. М. Стасюлевич, по-видимому, опасался неуемного сатирического дара Салтыкова и, еще не зная содержания седьмого «письма», осторожно напоминал о старом замысле «работы в характере семейства Головлевых». Да я и сам об этом думаю, но ведь надо же закончить «Пестрые письма», чтобы все-таки получилась книжка, а не серия «фельетонов», а то меня и так уже величают «фельетонистом». Вообще, сердился Михаил Евграфович, редакция «Вестника» — это не редакция, а «что-то деревянное, необыкновенно глупое и напыщенное». Но деваться было больше некуда.

К середине мая «письмо» было закончено, следовало подумать и об отдыхе.

А что же тайное общество «обиженных» генералов?

Оказалось, что «Общество Антиреформенных бунтарей» имеет обширные разветвления по всей России, но «существенные распоряжения разрабатываются предварительно на Песках и отсюда уже расходятся, в виде лозунгов, по всем захолустьям. В провинции главный контингент общества составляют отставные исправники, при благосклонном содействии господ предводителей дворянства. В столице — отставные губернаторы, при благосклонном содействии любителей, не пожелавших, чтоб имена их были известны.

У общества имеется свой устав и своя печать. Устав написан так, что можно читать и сверху и снизу и затем, вынув середку, опять читать. Печать изображает птицу с распростертыми крыльями, обращенную головою вниз; под нею девиз общества: «Поспешай обратно».

Цель общества: восстановление московских департаментов сената. А сверх того — и все остальное».

Сам повествователь, к ужасу своему, узнает, к какому «обществу» он оказался прикосновенным.

Но потребовалось всего два часа, чтобы «дело» это «округлить» и отпустить преступников на все четыре стороны, причем «округлительная» комиссия, столь быстро раскусившая намерения «бунтарей», нашла, что намерения их «столь благовременны и столь тайным советникам свойственны», что не остается ничего другого, как сказать им: «идите с миром и продолжайте вашу благо-

намеренно-преступную деятельность!» Под подозрением остался лишь случайно оказавшийся среди «бунтарей» повествователь.

Конечно, Салтыков готов признать, что всего этого не было в действительности, что все это лишь иносказание — на то и сатира пишется. Но ведь несомненно, что этот антиреформенно-бунтарский «дух времени» с каждым днем приобретает все большую и большую авторитетность. И предводитель «бунтарей» «умница» Покатилов справедливо требует «гарантий». А где же гарантии в этом безграничном море белиберды? Что же представляет собой весь существующий порядок, как не мир призраков, на который «стоит лишь дунуть, чтоб птица с письмом «поспешай назад» немедленно доставила его по адресу?» Мрачно и веско звучат слова сатирика: «Живые притаились в могилах; мертвые самочинно встали из гробов и ходят по стогнам, стуча костями. Кладбищенское волшебство заменило здоровую, реальную жизнь». Страшная, мучительная картина! И ведь недаром появляется на сцене «сведущий человек» — отставной корнет Отлетаев, который, нимало не стесняясь, прорицает: «все, мол, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать вместо всего благонадежного отставного прапорщика и ему препоручить: пускай всем помыкает». Какое-нибудь десятилетие назад «отставной корнет» был просто «пропащим человеком» (Петька Толстолобов в «Дневнике провинциала в Петербурге», Прогорелов — в «Убежище Монрепо»). Ныне же этот «некогда крепостных дел мастер, впоследствии оголтелый землевладелец» охотно распространяет письмо с девизом «поспешай назад».

Как же живет в такой обстановке обыкновенный, средний, единичный человек — «простец»? Ведь и он все-таки — человек! И чувство самосохранения ему отнюдь не чуждо. Это-то столь понятное чувство самосохранения делает его положение трагическим, а сам он становится предметом непрестанного «калечения», калечения, которого не избежишь, если не приспособишься — к духу времени, к изматывающей и калечащей белиберде. Ведь еще в первом «Пестром» письме было сказано: «Жизнь — это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять против нее знамя бунта». «Сладкая привычка жить», попытки уйти от «калечения» заставляют приспосабливаться, «пестрить». В заключении письма вновь появляется приятель автора Глумов, с которым он

путешествовал когда-то по Пошехонью. Эволюция либерала Глумова, прослеженная в «Современной идиллии», но там прерванная явлением «Стыда», в «Пестрых письмах» завершается — он не только «приспособился», но получил собственный «киоск» (то есть выгодную административную должность в провинции). Неужели же такова судьба всякого «простеца»? Или применись, пристройся к этому миру призраков — или?..

И все-таки «Пестрые письма» еще не были закончены. Но на Салтыкова вновь обрушилась страшная, изнуряющая болезнь. Нервы казались обнаженными, каждое волнение вызывало нестерпимую боль.

Наступало лето, необходим был отдых. Врачи посылали на лечение в какой-нибудь курортный городок Южной Германии (обычные пристанища многих тогдашних русских, обремененных всяческими недугами). А изможденный Салтыков мечтал о Москве, о своем «угле».

Тогда врачами было сочтено необходимым послать на лечение грязевыми ваннами детей Салтыкова: ведь почти всю зиму они не выходили из болезней. 23 мая отправил семейство за границу, в Бад-Эльстер. Сам же задумал обосноваться где-нибудь поблизости от доктора Николая Андреевича Белоголового, врачебным советам и указаниям которого беспредельно верил. Один, «слепой и с дрожащими руками», ехать, однако, не решался. Хорошо, что согласился сопровождать доктор Руссов, отправлявшийся 18 июня.

После окончания седьмого «письма» работа совсем не клеилась. Решил съездить на несколько дней к старому другу Алексею Михайловичу Унковскому в его имение — сельцо Дмитрюково, на границе Тверского и Старицкого уездов.

Салтыков любил бывать у Унковского в деревне, здесь, поблизости от родной Твери и столь же родной Москвы. Ему все мечталось о каком-то собственном доме, подобном небольшому имению Унковского — с хвойным лесом, гречишным полем, прозрачной речкой или заглохшим прудом, может быть, даже старым садом, где в аллеях благоухают столетние липы. Михаил Евграфович уже давно был дружен с Алексеем Михайловичем, а теперь, вдали от собственных детей, он перенес всю свою нежность на детей Унковского, просил двенадцатилетнюю Соню Унковскую приписывать несколько строк к своим письмам к дочери Лизе. Да не о чем писать, — отнекивалась Соня. Как же не о чем? «Пиши все, что

тебе придет в голову, ей там, за границей, все будет интересно; вот я сейчас видел из окна, как у тебя сорвало с головы ветром в саду соломенную шляпу, а ее подхватил щенок, ты и это напиши, ей будет интересно».

«Его привозили в закрытой карете на четверке, — вспоминала Софья Унковская. — У нас он был обыкновенно в хорошем настроении духа: пил воды, гулял с отцом по липовым аллеям сада, писал в кабинете. Вскоре по приезде обязательно посылал в село за батюшкой, любил с стариком попом потолковать о разных вещах, а также поиграть с ним и моим отцом в дураки. «У вас поп преумный», — говаривал он, угощал его вином на террасе и вообще благодушествовал. Салтыков был большой любитель животных, особенно собак, а у нас в деревне было всегда не менее пяти черных «водолазов», да еще несколько гончих собак. Обед наш происходил обыкновенно в липовой аллее, и после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки от обеда и угощал свою любимую собаку».

Кажется, эти три дня в Дмитрюкове были последними днями, когда болезнь пощадила, отступила, дала передышку. Но они пролетели мгновенно, и уже перед отъездом из Петербурга за границу Салтыков почувствовал себя очень худо. Он почти не спал, волнуемый предстоящим путешествием по железным дорогам, да еще с пересадками, да еще с плохим знанием немецкого языка. Руку и плечо дергала и тянула непрестанная боль, похожая на пиленье тупым ножом: «Когда эти боли наступают, — а продолжаются они целые часы, — то я не знаю, куда деваться. Я не хожу, а шатаюсь от слабости. и писать почти не могу, хотя это для меня необходимо в смысле насущного хлеба». Наконец, 21 июня он приехал к семье в Бад-Эльстер, к семье, которую он страстно любил, но которая, к великому для него несчастью, не понимала ни глубины его страданий как больного, нуждающегося в покое человека, ни всей той боли, что рвала его сердце писателя-сатирика. «Я весь дрожу, — пишет он Н. А. Белоголовому в день приезда, каким-то дрожащим, с пропусками букв, сильно изменившимся почерком, — и одышка такая, что сплю не больше четырех часов в сутки. По дороге из Берлина сюда должен был в Рейнбахе остановиться в такой гадости, что с души воротило. Еще особенность: почти совсем не ем. Я уже не о смерти думаю, а о том, что очень тяжело. А меня только и делали, что гнали все за границу. А теперь кстати

холодище. Подлые комнаты, гнусный немецкий язык, соседи, которые при малейшем шуме стучат в дверь, — словом сказать, все подлости бродячей жизни. И все это для человека, который давно умирает и может существовать лишь при безусловном спокойствии».

Приехав в Эльстер, Салтыков не собирался оставаться там долго: лишь до окончания курса лечения детей грязевыми ваннами. Он стремился в Висбаден, где жил тогда доктор Белоголовый и остановился на некоторое время скитавшийся по европейским курортам пораженный недугами бывший «диктатор» Лорис-Меликов.

Салтыков уже не верил тем советам и тем лекарствам, что прописывали ему петербургские доктора, даже такой авторитет, как С. П. Боткин. Он очень надеялся на помощь опытного Белоголового.

Салтыков полон беспокойства: до него дошел слух, что в Висбадене эпидемический тиф; невозможно же ехать с семьей в зараженный город. Но нет, эпидемии там, кажется, нет, и можно ехать. 11 июля Салтыков с семьей в Висбадене.

Душевное и физическое его состояние очень тяжело. Его гложет какое-то смешанное чувство тоски, растерянности, беспокойства, буквально — он боится безумия. В голове туман, шум, нестерпимое гудение. В долгие часы бессонницы появляется мысль о желательности смерти — смерти-избавительницы. «Читая настоящую грамоту, — пишет по приезде в Висбаден Салтыков Елисееву, ироническая интонация не покидает его, — не думайте, что это некий сатирический прием, мною напоследок выработанный. Нет, это настоящее мое писание, — это зеркало, в котором отражаются мои нервы. Suum cuique <каждому свое>. И при этом, представьте себе, бессонные ночи и беспрерывные слезы. Кажется, и Николай Андреевич слегка изумлен. Теряю память слов, и так как за мной никакого ухода нет, то погибаю самым паскудным образом. Об одном молю судьбу: воротиться домой. Болел я с февраля: началось зрением и общим нервным расстройством. И что дальше, то хуже. Затем скарлатина Кости еще подбавила; затем начались сборы за границу, предмет моей ненависти, потому что мне прежде всего нужен покой. А доктора в этом-то именно и видят покой, чтобы меня как сукина сына перевозили. Поезжайте, отдохните — только и слов. Вот и отдыхаю».

Белоголовый и в самом деле был изумлен, хотя и не

показал виду. Впрочем, письмами Салтыкова он в какой-то мере был подготовлен к тому, что увидел: Салтыков заметно похудел, и лицо его приобрело бледно-желтый оттенок. Поздоровавшись, он тут же в болезненном изнеможении опустился на стул и с полминуты просидел молча, закрыв лицо рукою. Речь его, когда он заговорил, приобрела странное свойство, слова произносились неясно, это была не речь, а какое-то бормотанье. Правда, вскоре Салтыков оживился, и бормотанье исчезло.

Медицинский осмотр подтвердил то, что наблюдал Белоголовый и *раньше — года три-четыре тому назад*. «В этом развинченном организме не было ни одного органа нормального, и воистину приходилось удивляться его живучести: сложный сердечный порок, стародавний бронхит, заставлявший подозревать расширение дыхательных путей, хроническое поражение печени и почек, частые кишечные катары и т. п.» — все это было как и прежде, только в самой усиленной степени. Можно было только изумляться тому, как такой организм еще живет, и не только живет, но дает возможность жить гениальному мозгу. Правда, нервная напряженность увеличилась многократно, что сказывалось на ослаблении памяти относительно недавних событий, а главное, то, что больше всего заставляло страдать: мучительно преодолеваемая невозможность сосредоточиться на творческой работе, сильное подергиванье рук и лицевых мышц, раздражительность, переходившая уже все границы...

Белоголовый заметил и *другое: стоило отвлечь* Михаила Евграфовича от его болезненных ощущений, дать разговору другую тему, волновавшую его, и «по-прежнему приходилось нередко удивляться оригинальности и остроумию этого ума, его изощренности схватывать смешные стороны предмета и возводить их до гротеска». Громадный ум и комическая сила боролись с болезнью и смертью.

В эти дни Салтыкова занимала тема сказки, смысл которой в окончательной редакции был кардинально изменен. Поначалу это была все та же тема Иванушки-дурачка, русского мужика, которого так и не посадили за стол, а сам он, как заснул в незапамятные времена, так все проснуться не может. Белоголовый так записал рассказ Салтыкова: «Родился богатырь, здоровенный, голос как труба, растет в люльке не по дням, а по часам, и все ждут с радостной надеждою: что из него выйдет, когда он вырастет? Вот уж он вышел из люльки и все растет и здоровеет, подрос так, что пора бы уж ему из дому на вольный воздух, а он все сидит и только растет да изумляет свою семью страшной силой. Наконец однажды он встал, потянулся и вышел из дому, родные и знакомые следовали за ним вдали с смутным трепетом радостной надежды, повторяя себе: «Идет, идет богатырь! Ну что он теперь натворит?» Богатырь прямо пошел в близлежащий лес, идет, играючи выворачивает огромные деревья, а толпа, следующая сзади, дивится силе и говорит: «Ну что-то дальше будет?» А богатырь дошел до огромного дупла, остановился, посмотрел внутрь, залез в него, свернулся калачиком и уснул. Долго стояла толпа вокруг дупла в благоговейном ожидании, что сон этот будет непродолжителен, и говорила всем: «Тише, тише, спит богатырь, не будите». Однако, простоявши так немалое время и видя, что богатырь не просыпается, разошлись по своим делам, говоря шепотом: «Тише, тише, не будите, спит богатырь». Пришли вечером, смотрят: все спит богатырь, и храп его стоит по лесу; пришли назавтра — то же самое, да так он и спит все по сие время».

И другими замыслами была полна голова, очередное, восьмое «пестрое письмо» совсем уже сложилось, но писание никак не давалось, несмотря на каждодневные мучительные усилия.

Жена и дети собирались отправиться во Францию, на морские купанья, куда сам Салтыков, конечно, ехать не хотел, да и не мог. После долгих колебаний, вернуться ли в Петербург, или остаться еще на некоторое время в Висбадене под присмотром Белоголового, Салтыков решил остаться. Он поселился в одном пансионе с Белоголовым, и вдруг, отрешившись от всяких семейных забот, забыв о трудных несогласиях и постоянных препирательствах с женой, о детских болезнях, окруженный внимательным уходом и заботой семейства Белоголового, он как-то успокоился, умиротворился. Он внял дружескому совету Белоголового, что не следует насиловать себя в работе, если работа не получается. В висбаденском пансионе образовалось некоторое, пусть иллюзорное подобие того тихого домашнего угла, о котором он давно мечтал.

Так прошли шесть недель, может быть, последних спокойных недель в жизни Михаила Евграфовича Салтыкова. «И тут, ближе вглядываясь в этого человека, можно было легко заметить, что столь щедро одарившая его природа дала ему и прекрасное сердце и весьма деликат-

ную нравственную организацию, и только продолжительная болезнь да семейные невзгоды сделали то, что на фоне головлевской наследственности развился такой дикий и грубый человек, каким представлялся Салтыков для лиц, мало его знавших» (Н. А. Белоголовый) .

Тем не менее болезнь не отпускала, и он мечтал лишь о скорейшем возвращении на родину: он был уверен, что там поправится, что эта ненавистная «паскудная» заграница «доконала» его, окончательно растравив его нервы и лишив возможности писать.

И вместе с семьей, вернувшейся с морских купаний откуда-то из-под Бордо, с облегчением отправился Салтыков домой, опять претерпевая всяческие дорожные неудобства, в особенности трудно им переносимые холод, сырость и слякоть: «Но надеюсь, что судьба не допустит меня умереть на распутье». Судьба не допустила, и 20 августа Салтыков опять водворился в привычной обстановке своего кабинета на Литейной.

Зима прошла в холоде и темени Петербурга, в окружении склянок с бесчисленными лекарствами и при постоянных посещениях докторов. Врачи опять слали на зиму за границу, но нет, ненависть чувствовал ко всем этим Ниццам, Висбаденам и Ментонам.

Ужасны были корчи и подергивания всего тела, удушье и приступы затяжного, по часу и больше, надрывного кашля, бессонница ночью и дремота в дневные часы. Но самым страшным была щемящая тоска — «тоска не об чем, а тоска сама по себе, разрывающая сердце и вызывающая пот»; такая тоска, которая заставляет «ненавидеть человеческое общество и чуждаться человеческой речи». Да и общество это хорошо, все как бы заглохло и умерло, газеты несут чушь несусветную, о которой он уже писал в одном из «Пестрых писем». Вообще «тишина свирепствует страшная», только слышатся из каких-то темных углов стоны «калечимого человека». Публика ничем не интересуется, ей не кажется удивительным, что вот писатель, с которым она встречалась в каждой книжке журнала, не появляется в печати уже шесть месяцев, «совсем бросила привычку покупать книги, то есть сама отказалась от всего, что в рабьем царстве могло бы служить демонстрацией».

Лучше бы всего — умереть, да смерть иѓрает с больным, как лисица с пойманным зайцем, схватит, задавит было совсем, но вдруг опять отпустит. А самому нет сил даже взвести курок.

Глава десятая

ПОД ИГОМ ТЕРЗАЮЩИХ МЕЛОЧЕЙ

«Всякий истый петербуржец на три месяца в год обрекает себя на нечеловеческое житье. ...Я говорю не о «барах», которые разъезжаются по собственным деревням и за границу, а о простых смертных, которые расползаются по дачам, потому что за зиму Петербург их задавил. Кто поэкономнее, тот забирает из задних комнат мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязывает на воза, садит сверху кухарку и едет. Другие нанимают дачи с мебелью и посудою и находят обломки и черепки. Постелей нет, или такие, что привыкать надо. Вместо простора — теснота, вместо тишины — судаченье соседей, вместо воздуха — сырость, вместо восстанавливающих солнечных лучей — туман и дожди.

Именно так было поступлено и со мной, больным, почти умирающим. Вместо того чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию. Дача — на берегу озера, которое во время ветра невыносимо гудит, а в прочее время разливает окрест приятную сырость. Домик маленький, но веселенький, мебель сносная, но о зеркале и в помине нет. Поэтому утром я наливаю в рукомойник воды и причесываюсь над ним. Простору довольно, и большой сад для прогулок.

Болен я, могу без хвастовства сказать, невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат, в голове — целодневное гудение, по всему организму пробегает судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тело не может ничего противопоставить недугу. Ночи провожу в тревожном сне, пишу редко и с большим мучением, читать не могу вовсе и даже — слышать чтение. По временам самый голос человеческий мне нестерпим.

Что это такое, как не мучительное и ежеминутное умирание, которому, по горькой насмешке судьбы, нет конца?» («Мелочи жизни». «Введение»).

Так, в начале июня 1886 года Салтыков оказался в селе Новая Кирка, в ста верстах от Петербурга. И в первом же письме, написанном на этой «даче», высказался определенно: «Меня может вылечить только самоубийство». Летом 1886 года, на даче в Финляндии, увидел Салтыкова юный Владимир Оболенский. В его память врезался необычный, скорбно-трагический образ болезненно-немощного, но при всей этой немощности величественного старца.

«В сером мягком пиджаке и с неизменным тяжелым пледом на плечах он сидел в кресле неестественно прямо, положив руки на тощие колена...

Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нервно подергивавшегося, огромные, строгие и какие-то бесстрастно отвлеченные глаза, а отрывочные злые фразы, прерывавшиеся тяжелым дыханием, производили впечатление скорее рычания, чем человеческой речи.

Представлялось как-то вполне отчетливо, точно чувства горечи, гнева и раздражения и есть те болезни, которые разлагают его организм, выходя наружу стонами, кашлем и жестокими словами.

Но вдруг на его каменном лице, в мускуле щеки, появлялась едва заметная юмористическая складка, а из уст вылетала чисто щедринская острота, до такой степени неожиданная и комическая, что все присутствующие невольно разражались смехом. А он продолжал сидеть так же неподвижно, глаза смотрели так же строго и так же продолжалась его гневно-рычащая речь. И становилось неловко от собственного смеха...»

Салтыков был действительно тяжко болен, и его болезненные стоны и гнетущие жалобы, которые он вынес теперь уже со страниц писем на печатные страницы, не были преувеличены. Но он все же продолжал писать, хотя с большими перерывами, трудно и медленно.

А в июле вдруг наступило облегчение, и охватила огромная жажда работы. И несмотря на все-таки налетавшие приступы болезни, за какой-нибудь месяц было написано до двух с половиной печатных листов. Именно здесь, в Новой Кирке, закончил он так долго не дававшиеся два последних «Пестрых письма».

В «письме» восьмом повествователь представляет своего «дядю» Захара Ивановича Стрелова, «оголтелого землевладельца», майора по чину и «отставного корнета» по привычной для Салтыкова типологии. Для характеристики Захара Иваныча повествователю, как и в истории с Ариной Михайловной Оконцевой, потребовалось развернуть его «жизнеописание», но это жизнеописание заключает в себе, в сущности, всю политическую историю России с момента коронации императора Николая, представленную как смена «веяний». В то же время это смена разных форм расхищения национального богатства: от дореформенного казнокрадства (будучи путейским инженером на строительстве Петербургско-Московской железной дороги, дядя Захар Иваныч «показал», что срыл гору; на его беду, место, где будто бы находилась гора, было хорошо известно: это его погубило) до разных форм хищничества, в том числе и в конце концов такого, которое уже просто стало «порядком вещей» (чумазовское торжество). «Дядя» всплывает на поверхность в моменты общественно-политической реакции (и «обрусителем» после 1863 года он был и нигилистов после 1866 лавливал) Не в состоянии конкурировать с хищниками послереформенными («чумазыми») в сфере хозяйственной, Захар Иваныч Стрелов пытается использовать в своих хищнических целях политику. Однако он никак не может поспеть за всеми следующими одно за другим «веяниями» новой эпохи, пока не наступает окончательно время общественно-политической «галиматьи». Он вновь находит себя в «смутной» атмосфере «покаяния», то есть отказа от всех «благих намерений» «эпохи возрождения», да и вообще от «мечтаний» и «фантазий». Он провозглашает политику обновления, осуществляемую «благонадежными прапорщиками» и «отставными корнетами». Его проект обновления означает не что иное, как возврат к дореформенным временам, к «вотчинной» власти помещика над крестьянином. А именно это теперь и требовалось.

Долгую творческую историю имело девятое «пестрое письмо». Еще в начале 1884 года задумал Салтыков сказку «Пестрые люди» и даже начал ее писать. Сказка постепенно переродилась в девятое «пестрое письмо» — завершающий, самый мощный удар по «пестрящему» времени, по «пестрящим людям» — естественный финал всего цикла «Пестрых писем», законченный в августе уже 1886 года.

«Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало: не на кого положиться, не во что верить; везде шатание, пустодушие, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; от кого не чаешь — тот именно и стук-

нет тебя по темени. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли.

Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда — это еще постыднее — оба зараз. Жизнь их представляет перепутанную, бессвязную и не согретую внутренним смыслом театральную пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеванием. Всем они в течение своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», как теперь говорят. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все их искусство всегда состояло в том, чтобы выждать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Словом сказать, это вполне оголтелые, в нравственном отношении, люди, — люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена».

Да, таковы они, «пестрые люди», порождение «пестрящей», неустойчивой, неразумной, запутавшейся эпохи.

Но было бы несправедливо не различать среди этих «пестрых людей», во-первых, «коноводов и зачинщиков», во-вторых, «людей, заму́ченных жизнью» и, наконец, просто Молчалиных.

Самая страшная категория — это коноводы. «Пестрый человек»-коновод в сатире Салтыкова персонифицируется, наделяется именем и биографией. Подобно Федоту Архимедову, Семен Скорняков «был моим <то есть повествователя> сверстником по школьной скамье». Если вспыльчивый и недалекий Д. Толстой увидел себя в Федоте Архимедове, то никто не решился, так сказать, отождествиться с Скорняковым, впрочем, и Салтыков, как и в случае с Архимедовым, не имел в виду какое-то определенное лицо, не ставил себе памфлетной задачи, он — сатирически, заостренно — обобщал.

Семен Скорняков наделен богатой биографией, и это биография вовсе не абстрактная, не безличная. Кроме того, она содержит некоторую важную закономерность — перерождение русского либерального движения — западническое ли оно или славянофильское. По окончании университета Скорняков сблизился с западниками, был (как и повествователь) горячим поклонником Белинского и Грановского. Правда, он посматривал и в сторону

славянофильской «общины», а вскоре и вовсе, через какую-то даму-патронессу, прибился к славянофилам. «Писал в «Москвитянине» филиппики против западников и громил последних на чем свет стоит. Хомяков ему улыбался, Юрий Самарин подавал два пальца, Погодин показал свое книгохранилище (вместо гонорара за статьи), Константин Аксаков целовал». Потом, через ту же даму-патронессу определился Скорняков чиновником особых поручений к важному лицу. «Здесь он чуть было опять не сделался западником, потому что важное лицо не любило славянофилов и называло их кутейниками. Но оно же не любило и западников, подозревая их в замыслах к ниспровержению порядка. Потому Скорняков решился сделаться простым здоровым русским человеком, таким же, каким был его начальник. С этою целью он выработал себе особую русскую точку зрения, в основе которой лежало исполнение предписаний начальства». Но все это было еще в конце сороковых годов. Судьба, как это часто бывает в рассказах Салтыкова о жизненных путях своих будто бы приятелей молодости, забросила повествователя в один из отдаленных уголков России. Наступил знаменательный 1856 год, когда «мы» (то есть повествователь и Скорняков) опять столкнулись и вместе ликовали по поводу предстоящей эмансипации. Но вот «Положение» вышло, и Скорняков стал задумываться: «Знаешь ли что, — говорил он мне, — не слишком ли мы поспешили?» И вот, ставши публицистом одной «уважаемой» московской газеты (то есть «Московских ведомостей» Каткова), Скорняков уже проливает слезы в пользу бедных помещиков, обиженных реформой. Салтыков вспоминает время своего вице-губернаторства в Твери и публицистические выступления в защиту мировых посредников. В статьях же Скорнякова «обвинялись по преимуществу мировые посредники, а за ними и все вообще сочувствующие новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революционеры, нивеляторы и подрыватели основ». После подвигов на ниве «обрусительства» Скорняков «появился в Петербурге и тут уж прогремел не на шутку. Имя его сделалось страшно, и даже наружность изменилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тон; глаза горели плотоядно; голос сделался громкий и вылетал как из пустой бочки». Это уже опричник беспримесный, надрывающий себя ради целей, имеющих только абстрактное значение. И даже судебная реформа не обошлась без него, но и в этом случае он предпочел

«стоячую магистратуру сидячей» (то есть обвинение — защите).

Таков «пестрый человек» — зачинщик и коновод, беспримесный опричник.

Но «коновод» найдет себе место при любых «веяниях». Ужаснее же всего положение второй категории «пестрых людей» — «это люди, замученные жизнью», искалеченные, жертвующие самыми задушевными, заветными убеждениями, лишь бы не пропасть вовсе. «В последнее время таких людей развелось очень много. Всякий пестрый человек первой категории приводит за собой массу подневольных. Живут они особняком, и при встрече с старыми знакомыми мгновенно исчезают. Но что они переживают, оставаясь одни, сами с собой... что переживают!! Каждый день приносит им к исполнению новую измену, и каждый день они должны вынести эту измену на своих плечах, зная, что это измена, проклиная ее и все-таки прикованные к ней несокрушимою цепью. Отбыв дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сделанное чуждо их убеждению, что последнее затоптано в грязь...» Положение этих калечимых людей страшно, но ведь не всем дано быть героями, а служение убеждению часто требует геройства и не терпит житейской суеты. Где же выход? Есть ли какой-нибудь просвет из этой кромешной тьмы? Указывает ли нам история на такой просвет? Салтыков склонен верить, что указывает, но что это за просвет? Где он? Где он??

Третья категория — это Молчалины. Что же нового можно о них сказать после того, что уже было сказано в цикле «Господа Молчалины»? Они по-прежнему разрезывают пирог руками, обагренными кровью, правда, предварительно руки помыв. Но и они, при всей бессознательности, безответственности, так сказать, невменяемости своей «пестроты», имеют уязвимое «больное» место. И они несут наказание — в своих детях.

«Пестрые письма» закончены этим сатирическим анализом трех категорий «пестрящих» субъектов. В сущности, все они вредны: «Но люди двух последних категорий не могут не возбуждать сожаления, хотя бы с той точки зрения, что, в качестве рабов, они несут только иго апостазии <отступничества>, не пользуясь ее осязаемыми благами. В награду за эту отрицательную заслугу суд истории пройдет о них молчанием». Но Скорняковы суда истории не минуют.

В письмах лета 1886 года Салтыков по-прежнему жалуется на неотпускающие болезни. И тем не менее огромной силой воли он преодолевает удушье, кашель, бессонницу. Он слушает по ночам, которые становятся все длиннее и темнее, как под ветром воет близлежащее озеро, как шумят качаемые ветром деревья, как скрипят ставни на окнах. Тишина стала особенно чувствительной, когда в начале августа он остался на даче один: семья уехала на неделю в Гельсингфорс. Но он работает — правые половинки больших листов бумаги заполняются его мелким почерком (на левых он потом делает вставки и исправления). «Тяжко быть одному», — пишет он Н. А. Белоголовому 14 августа, но: «Тем не менее я много работаю...»

И в это же время он задумывает новое произведение — цикл «Мелочи жизни», и около 20 августа шлет В. М. Соболевскому для «Русских ведомостей» первую его главку!

Так или иначе, но он может писать, болезнь если и не ушла, то отступила перед мужеством и стойкостью! Действительно, как бы внезапно разбудивший от кошмарного болезненного сна толчок, неудержимый творческий импульс, яркое душевное горение подавляют, пересиливают болезнь. Но возбужденный и горящий мозг, прояснивший разум отнюдь не дают успокоения, а лишь «подбавляют» страданий. И притаившаяся болезнь только ждет иссякновения творческих сил, чтобы наброситься на истощенный организм с новой силой, погрузить его в мглу и мрак. Впрочем, Салтыков, жаждавший найти покой в удалении от терзавших болей, стремившийся уединиться, даже уйти куда-нибудь «на хлеб и воду», конечно, знал, что покой означал бы для него и конец творчества. «В том вся болезнь моя, что требует спокойное течение жизни, а писать спокойно нельзя. На беду мою я начал».

23 августа он уже посылает В. М. Соболевскому второй «фельетон» «Мелочей жизни» (впоследствии — вторая главка «Введения») и при этом просит прощения, что «рассыпался таким градом статей. Я пользуюсь временным просветом, но, вероятно, скоро опять погружусь в мглу безмолвия».

Прошел год, как Салтыков не появлялся в печати и публикацию восьмого «пестрого письма» он называет своим «новым вступлением на литературное поприще». Но поистине новым вступлением на ниву литературы

явился замечательный художественно-публицистический цикл «Мелочи жизни».

12 октября 1886 года, приступив к работе над «Мелочами жизни», Салтыков писал В. М. Соболевскому: «Мною овладело теперь непреодолимое желание работать». Под знаком этого «непреодолимого желания», этой безудержной жажды творчества написан в течение зимы 1886-го и весны 1887 года весь цикл.

Сначала цикл «Мелочи жизни» представлялся Салтыкову как серия «фельетонов», имеющих современный интерес, и потому предназначался им для публикации в газете В. М. Соболевского «Русские ведомости». В таком современном, «злободневном» духе и написаны первые три «фельетона» (соответственно — три главки «Введения» окончательной композиции цикла). Но это не просто газетные фельетоны, которые предполагают беглый просмотр и забываются тут же по прочтении. Уже автобиографическое вступление первого «фельетона» о том, как его «перевезли» на дачу в Финляндию, давало начатому циклу особый субъективно-лирический колорит. Это были действительно и гневные отклики на политическую «злобу дня» и глубоко откровенная личная беседа с читателем о писательской судьбе.

Больной Салтыков размышляет о движении времени, о содержании или бессодержательности каждых пяти минут человеческой жизни: «Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла; начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...» Он сравнивает свое положение больного и одинокого писателя с положением такого заключенного. Но почему, откуда пришли эта оброшенность, это одиночество? «Что привело меня к этому положению? — на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный».

Не впервые появляется на страницах салтыковских произведений эта подлинная властительница современной минуты — Мелочь: «в основе современной жизни лежит исключительно мелочь», «сцепление обидных и деморализующих мелочей» управляет политической жизнью Европы, фабрикует бессмысленные испуги, калечит жизнь «простеца», держит его в напряжении относительно загадочности будущего.

С ужасом и отвращением читаешь газеты, заполненные мелочами, которые остаются какими-то неразгаданными загадками.

«Немецкие фабриканты совсем завладели Лодзем», «немецкие офицеры живут в Смоленске» и т. д. и т. п. Что это такое? Не что иное как мелочи **постыдные**, отвратительные. Но что они значат?

А вот еще:

«Леса наши гибнут, реки мелеют...»

«Крестьяне год от году беднеют, помещики также; а рядом с этим всеобщим обеднением вырастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках».

«Это уж мелочи **горькие**, но покуда никто их еще не пугается; а когда наступит очередь для испуга, — может быть, дело будет уже непоправимо».

Неужели же, вместо того, чтобы прислушиваться к деморализующим мелочам европейской верхушечной политической жизни (этого «концерта» держав), не следует покончить с мелочами, терзающими и горькими? Где же действительный центр тяжести жизни? Ведь подлинная жизнь, жизнь народная идет независимо от «концертов».

Кто же сумеет разобраться в этих мелочах, понять их, увидеть их смысл и указать дорогу? Только человек разума, только интеллигенция. «Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы «чумазые» с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки. Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать... Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былие в поле...»

«Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения

личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь».

Этот охватывающий массу страх завтрашнего дня; эта нивелирующая рука циркуляра, тяготеющего над школой, которая способна воспитать юношей и юниц сонливых и бессильных; это непонимание друг друга, это добровольное рабство; «умственный, и материальный уровень страны несомненно понижается; исчезает предусмотрительность; разрывается связь между людьми...».

Болезненно вспоминалась крепостная деревня, вспомнилось и знаменитое «хлудовское дело», которому отдал когда-то столько бесплодных усилий и растерзанных нервов. А теперь? Всевластие чумазого, вторгшегося в самое сердце деревни, община, сковавшая мужика по рукам и ногам, жестокость в крестьянской семье... Да и как не быть этой жестокости? Салтыков по-своему перетолковывает басню Льва Толстого «Ворон и воронята»: «Помнится, читал я в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне. Вздумалось ему переселиться из родной стороны за море — вот он и стал переносить по очереди своих коршунят на новое место. Понес одного, долетел до середины морской пучины и начал допрашивать птенца: «Будешь ли меня кормить?» Натурально, птенец испугался и запищал: «Буду». Тогда старый коршун бросил его в пучину водную и возвратился назад. Полетел он с другим коршуненком, и опять повторилась та же сцена. Опять вопрос: «Будешь ли меня кормить?» — и ответ: «Буду!» Бросил старый коршун и этого птенца в пучину и полетел за третьим. Но третий был настоящий коршун, беспощадный и жестокий. На вопрос: «Будешь ли меня на старости лет кормить?» — он отвечал прямо: «Не буду!» И старый коршун бережно донес его до нового места, воспитал и улетел прочь умирать». У Толстого ворон щадит третьего вороненка потому, что только тот сказал правду. Толстовский мудрый ворон в сказке Салтыкова стал беспощадным и жестоким коршуном, убивающим слабых, — символом жестокости современной деревенской жизни. «Куда скрыться от домашнего гвалта? на улицу? — но там тоже гвалт: сход собрался — судят, рядят, секут. Со всех сторон, купно с мироедами, обступило сельское и волостное начальство, всякий спрашивает, и перед всяким ответ надо держать... А вот и кабак! Слышите, как Ванюха Бесчастный на гар-

монике заливается?» Вот они, мелочи терзающие, горькие, убивающие — хиреет русская деревня...

Третья главка «Мелочей жизни» вся и была посвящена уяснению «ненормальности условий, в которые поставлено человеческое существование».

В. М. Соболевский испугался цензуры: главка не была напечатана в «Русских ведомостях».

В ответ на письмо Н. А. Белоголового с оценкой двух опубликованных «фельетонов» Салтыков рассказал о своем новом замысле и о его вынужденной перестройке уже при самом начале осуществления: «Мелочи жизни» должны были выясниться впоследствии, но с ними случилась история. «Русские ведомости» отказались печать 3-ю главу, по цензурным соображениям, и просят печатать 4-ю главу. Это меня до того расстроило и раздражило, что я целых две недели прийти в себя не могу. Это испортило весь мой труд, потому что я написал уже 5 глав и предполагал еще 12—13 глав» (письмо от 21 сентября 1886 года).

Но публикация «Мелочей» все же продолжалась, хотя Салтыкову пришлось «сломать» свой замысел цикла «фельетонов» для газеты числом около двадцати. Написано им было уже пять таких фельетонов публицистическо-лирического характера: они и были целиком напечатаны вскоре в «Вестнике Европы» (№ 11).

Еще в августе страшного 1884 года Салтыков писал Михайловскому: «...чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности. Собственно говоря, ведь писать не об чем. Легко сказать: пишите бытовые вещи, но трудно переломить свою природу». По первым пяти главкам «Мелочей жизни» видно, что Салтыков вовсе не стал свою природу переламывать. Он нашел ей, если можно так сказать, новое употребление. Он понял, что ему «надо новую жилу найти».

Цикл «Пестрые письма», при всей значительности своего содержания, возводился, в сущности, на развалинах неосуществленных замыслов, в какой-то части — из их обломков.

Два с половиною года шел Салтыков к тому, чтобы открыть новую художественную жилу, из которой хлынул новый, чистый и свежий поток творчества (вспомним, что в русском языке слово «жила» означает еще и родник). В «Мелочах жизни» ему удалось создать новый, особый сплав острой публицистической манеры, характерной для

таких высших достижений его сатиры, как «Современная идиллия», с глубиной и совершенством социально-психологического реализма «Господ Головлевых». Это была в самом деле «новая жила».

Очерки и рассказы «Мелочей жизни» печатались параллельно в журнале «Вестник Европы» и газете «Русские ведомости», в окончательном замысле Салтыкова составляя тем не менее целое, единое произведение. Он уже видел его именно таким, хотя первоначальный замысел газетных «фельетонов» пришлось разрушить. Ну что ж, пусть эти пять «фельетонов» станут своего рода публицистическим «Введением», а художественные рассказы о судьбах «калечимых людей» целостной картиной общества, изнывающего и корчащегося в муках под игом терзающих мелочей. «В целом составится довольно большая книжка... — писал он в октябре 1886 года Белоголовому, — не лишенная смысла. Только в последней, заключительной статье раскроется истинный смысл работы. Вообще, я к журнальной работе отношусь теперь несколько иначе. К ней (а в особенности к газетной) всего менее применима поговорка scripta manent <написанное остается>, и тот, кто не читал меня в *книжке*, очень мало меня знает».

Салтыков, конечно, стремится к тому, чтобы написанное им осталось, имело бы смысл не преходяще-злободневный, а общеисторический. От весьма разнообразных по своим художественным приемам зарисовок «пестрой» русской жизни пореформенного времени, в особенности бессмысленно-жестокого времени после убийства Александра II («Пестрые письма»), Салтыков восходит к разностороннему художественно-публицистическому анализу глубинных исторических процессов, определявших в восьмидесятые годы общественное развитие и общественное состояние не только России, но и Западной Европы («Мелочи жизни»).

Салтыков читал в январе 1884 года в катковских «Московских ведомостях»: «Затишье... водворилось у нас после бурных веяний». Но именно общественное «затишье», мертвая тишина мелочной «пестрой» эпохи и угнетало его больше всего.

«Мелочи жизни» — самое трагическое произведение Салтыкова, потому что на исходе жизни ему довелось стать свидетелем страшной, мучительно безнадежной, трагической ситуации, когда современникам казалось, что «история прекратила течение свое» и историческое

творчество иссякло, когда крестьянская масса безмолвствует — лишь Ванька Бессчастный в кабаке на гармонике наяривает; когда интеллигенция подвергается травле Скомороховых и оказывается беззащитной перед лицом нахально шествующего «чумазого» (а ведь Салтыков верил именно в свободный и творческий разум интеллигенции); когда мрак окутал будущее и идеалы исчерпали себя: «в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв», «прекратилось русловое течение жизни». Все погрузилось в мутную и бездонную, как вятская «чаруса», тину мелочей.

Салтыков хорошо помнил великие слова Гоголя из «Мертвых душ» о горьком уделе писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога...». И Гоголь, гениальный Гоголь дерзнул на это! Но почему же это мертвое болото мелочей все теснит и теснит живое поле жизни? Почему сами мелочи становятся все более терзающими, язвящими, просто убивающими? Салтыков, глубоко верующий в силу разума, в силу человеческого сознания, отвечает так: «Общее настроение общества и масс — вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских».

Начав в первых главках «Введения» с перечисления «мелочей», опутавших жизнь современного человека, составляющих единственное и исчерпывающее ее содержание, мелочей, в сущности, «управляющих миром», Салтыков переходит к обобщениям, которые позволяют уяснить важнейший для него общий, философско-исторический смысл самого понятия «мелочи». Ему представляется, что «мелочи» могут быть разделены на две главные группы — мелочи «постыдные», «баттенберговские», и мелочи «горькие», «терзающие», угнетающие народные массы.

Нечистоплотная политическая игра вокруг принца Баттенберга (его то «привозят», то «увозят» из его «болгарского» отечества), в которой участвовал «концерт» держав во главе с бисмарковской Германией, символизи-

ровала для Салтыкова пустоту и мелочность европейской политической жизни, не называемой им иначе, как «политиканство». Эти «постыдные» мелочи угнетают жизнь, создают неустойчивую атмосферу «испуга», в которой всякий авантюрист (Баттенберг, Наполеон III. Орлеан, Бисмарк) «овладевает человечеством без труда». Никакие «новшества» в этой сфере не меняют сложившегося паскудного порядка вещей и означают лишь «перемещение центра власти».

Шумные деяния «концертантов» (встречи, переговоры, обеды министров и принцев), «баттенберговы проказы» мешают увидеть мелочи «горькие», «терзающие», то есть те, которыми опутана и остановлена, оглушена жизнь народная. Именно эти, «горькие», «терзающие мелочи» приносят безысходный калечащий трагизм в существование «среднего человека», будь то слабый духом интеллигент, мучительно отказывающийся от дорогих убеждений, будь то мужик, освободившийся от помещика, но попавший в кабалу к «чумазому», будь то честный молодой человек, мечтающий прожить жизнь в добре и правде... Всем им предстоит фатальное калеченье в условиях мелочного «порядка вещей».

Конечно, этот порядок вещей — современное общественное устройство — исторически исчерпан, неразумен, «призрачен». Однако от этого он не менее реален, не менее «терзающ» (так понятие «мелочей жизни» во многом совпадает с другим важным для философии истории Салтыкова понятием — «призраков». «Исчезновение призраков» было для Салтыкова равнозначно освобождению от владычества «мелочей»).

История не может, конечно, остановиться навеки, погрязнуть в мелочах навсегда. Она в конце концов «проложит для себя новое, и притом более удобное ложе», как было сказано Салтыковым еще в статье «Современные призраки». Но, во-первых, подобные исторические утешения нисколько не ослабляют ужаса мелочного существования в условиях исторического «перерыва». Во-вторых же, самый способ, которым история возвращает себе свои права, не был безразличен Салтыкову. О «гневных движениях истории», сметающей на своем пути и правого и виноватого, он размышлял еще в «Современных призраках». Река истории, запруженная сором мелочей, безжалостно крушит сдерживающую ее плотину, подобно тому, как река, остановить которую пытались по приказу Угрюм-Бурчеева глуповцы, снесла построенную ими из

мусора запруду. Обществу, прозябающему под игом мелочей, грозит взрыв, его ждет «грядущая смута». Почти четверть века, прошедшие со времени написания «Современных призраков», наполнили новым, значительно более определенным содержанием понятие «гневных движений» истории. Деятелем «грядущей смуты», будущего переворота во имя приобщения к «благам жизни» оказывается «дикий человек». Далее Салтыков прямо называет «парижского рабочего», вспоминая, наверное, исторический опыт Парижской коммуны. Речь идет, следовательно, о рабочем движении в странах Западной Европы. Но Салтыков, конечно, предчувствует участие в «гневных движениях истории», в «грядущей смуте» русского «дикого человека», русского крестьянина. Массы безропотно сносят владычество мелочей лишь до тех пор, покуда видят в нем «обыкновенный жизненный обиход» — так, как это было при крепостном праве. Но теперь времена меняются.

История, в соответствии с просветительскими воззрениями Салтыкова, прекращает свое течение, свой закономерный ход именно тогда, когда мелочи безраздельно овладевают жизнью общества и жизнью каждого отдельного человека, а общество и человек относятся к этому бессознательно как к чему-то привычному и обыденному; когда человеческое сознание не достигло такого уровня, чтобы быть в состоянии выделить и подвергнуть анализу «терзающие мелочи» современного общественного и частного бытия с целью окончательного от них освобождения; когда такому свободному исследованию ставятся насильственные преграды. Движение истории, по Салтыкову, в конечном счете есть преодоление «мелочей» и «призраков» силой свободной человеческой мысли, силой «неумирающих» идеалов.

Способность того или иного общества к развитию, к историческому творчеству обусловлена наличием у этого общества идеала, осознанной цели. Если признано, что построенный ныне «храм славы» превратился в храм бесславия и потому должен быть разрушен, то надо ясно себе представлять, какой же новый «храм славы» предполагается воздвигнуть на месте разрушенного. Постыдное погружение в тину мелочей и крох, сопровождаемое воплями публицистов Скомороховых и Подхалимовых, является несомненным признаком исторического «перерыва». Но оно же — неизбежный результат общественной безыдеальности. В этих условиях проблема идеала, ясное формулирование предстоящих решению задач, откры-

тие перспектив приобретает, по Салтыкову, первостепеннейшее значение. Естественно поэтому, что «Введение» к «Мелочам жизни» завершает Салтыков разбором идеалов, «мечтаний». Салтыков прозревал исход, смотрел в будущее.

«Когда я еще совсем молодым человеком, — вспоминал Михайловский, — начал писать в «Отечественных записках» <это было в конце шестидесятых годов>, то Салтыков чуть ли не в первом же разговоре предложил мне написать статью о французских социальных системах, — он находил необходимым напомнить их русскому обществу... Та мечта, о правах которой Салтыков хлопотал, имела ярко социальный характер, хотя в подробностях и неопределенный».

Вспомним, что в цикле «За рубежом» Салтыков писал о Франции как родине идей, под знаком которых прошла его молодость, — идей утопического социализма, — светлой веры в обновленное будущее, в то, что «золотой век не позади, а впереди нас» (Сен-Симон). Французский утопизм — естественная реакция на политические перевороты конца XVIII — начала XIX века (буржуазные революции 1789 и 1830 годов), — носил ярко выраженный социальный характер: он требовал обновления «радикального, социального», как писал Достоевский в статье о Жорж Санд. Во «Введении» к «Мелочам жизни» сказано: «Старинные утописты были вполне правы, утверждая, что для новой жизни и основания должны быть даны новые...» Речь, разумеется, идет о новых социальных основаниях. Подобно «старинным утопистам», Салтыков не доверял политическим изменениям, лишь «перемещающим центры власти», но не дающим власти трудящимся — «дикому человеку», «парижскому рабочему», «Иванушке-дураку». Печальный опыт героической борьбы народовольцев мог лишь укрепить его в таком недоверии.

Салтыков сохраняет безусловную верность высоким гуманистическим традициям утопического социализма — «великим основным идеям о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч.», но не принимает «мелочной» регламентации, «усчитывания» будущего — преходящих представлений о подробностях грядущей социальной организации (непосредственно говорится о Фурье, но, возможно, разумеется и Чернышевский как автор социальной утопии в четвертом сне Веры Павловны).

Формы и способы осуществления «социальных новшеств», которые одни только и способны освободить массы от «терзающих» мелочей, еще должны быть выработаны в обстановке «полной свободы в обсуждении идеалов будущего». Обязательны три условия социального обновления и тем самым полного ниспровержения власти «мелочей»: «Все в этом деле зависит от подъема уровня общественного сознания, от коренного преобразования жизненных форм и, наконец, от тех внутренних и материальных преуспеяний, которые должны представлять собой постепенное раскрытие находящихся под спудом сил природы и усвоение человеком результатов этого раскрытия».

Для Салтыкова естественно в качестве первого условия выдвинуть «подъем уровня общественного сознания», активную анализирующую «разлагающую» работу человеческой мысли. Но он хорошо знает, что невозможно «умозрительно» открыть те или другие формы идеального человеческого общежития, если общество «неприготовлено» к их принятию. Коренное и сознательное преобразование жизненных форм, то есть форм общественного бытия, станет возможным лишь как результат прогресса в овладении силами природы.

Конечно, Салтыков — просветитель, человек мысли по преимуществу, но его мышление значительно более реалистично, трезво и исторично, чем мышление «старинных утопистов»: он совершенно справедливо и очень глубоко определяет почву их социальных упований как почву отвлеченно-психологическую. («Они думали, что человек сам собой... при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие».) Реалистичность и конкретность исторического мышления Салтыкова позволяет ему увидеть, что чаемому «преобразованию жизненных форм», освобождению от ига «терзающих мелочей» предшествует еще «чумазовское торжество», то есть торжество буржуазии. Этим определяется и отношение Салтыкова к основным положениям и догмам народничества. Таков его многократный разбор особенностей «новоявленной общины», то есть общины уже в пореформенное время, общины, которая «не только не защищает деревенского мужика от внешних и внутренних неурядиц, но сковывает его по рукам и ногам» круговой порукой; таковы суждения Салтыкова о наступившей «эпохе чумазовского торжества», которому интеллигенция противостоять не может...

Федот Архимедов с целью обуздания «разнузданно-

сти» современной молодежи предлагал создать институт благонамеренных «племенных» молодых людей. Но то, что Архимедов называет «разнузданностью», для Салтыкова всегда было тем самым, что и делало молодежь молодежью — неуспокоенность, неприятие неправды, самоотверженность.

И, завершая публицистические главки «Введения», Салтыков уже провидит пути и судьбы тех современных молодых людей, которые рождены «пестрым временем». Каждую неделю октября он печатает в «Русских ведомостях» по рассказу о «молодых людях». Вот он, Сережа Ростокин, истинный герой времени, несомненный «племенной» молодой человек. Он явно принадлежит к числу «шалопаев». Но это уже не тот шалопай, каковыми богато и недавнее прошлое, — не тот примитивный шалопай, которому для довольной и даже счастливой жизни было достаточно разбираться в тонкостях французской кухни и сравнительных достоинствах кокоток. Сережа Ростокин — шалопай высшей школы, приобщившийся «к тайнам внутренней политики, которая, таким образом, делается одним из видов высшего шалопайства». Он уже не ограничивается шатанием по ресторанам Бореля, Дюсо или Донона. Он «состоит» в какой-то канцелярии и громогласно предлагает покончить «с этим безобразием»: «эти суды, это земство, эта печать...» «Куда мы наконец идем?» — восклицает он поминутно. В сущности, «никакой интерес его не тревожит, потому что он даже не понимает значения слова «интерес»; никакой истины он не ищет, потому что с самого дня выхода из школы не слыхал даже, чтоб кто-нибудь произнес при нем это слово. Разве у Бореля и у Донона говорят об истине? Разве в «Кипрской красавице» или в «Дочери фараона» <популярные в то время балеты> идет речь об убеждениях, о честности, о любви к родной стране? Никогда!» Однако благодаря тупо и назойливо повторяемым им фразам: tout est à refaire (все надо переделать), tout est à recommencer (все надо начать сначала) — он слывет «одним из самых ревностных реформаторов последнего времени». На самом же деле это человек «не только нравственно оголтелый, но и вредный», один из бессознательных пропагандистов «программ обновления» в духе «дяди» Захара Иваныча Стрелкова.

А вот и другой «племенной» молодой человек — «государственный пóслушник» Евгений Люберцев. И у него есть — даже не фраза, а «идея»: «Государство — это все... наука о государстве — это современный палладиум». Он готов всецело отдать индивидуум в жертву государству, причем уже начинает просто-напросто смешивать государство с бюрократией. Как «государственный пóслушник», пусть еще и не достигший особых высот на бюрократической лестнице, он пишет, как и положено, проекты, в частности, «о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы» (на салтыковском эзоповом языке — всяческие карательные и запретительные меры). «Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следовательно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) — и города вновь украсятся и процветут». Итак, еще один «проект обновления».

Герои двух первых рассказов раздела «Молодые люди» носят имена, и прослежен их жизненный путь. Но, перефразируя известную латинскую поговорку, можно было бы сказать, что все человеческое им чуждо, за масками «шалопая» и «государственного пóслушника» мы не видим человека. Не только каждый прожитый ими день — это «день *белый*», то есть пустой, бессодержательный, весь переполненный мелочами постыдными, но такая же белая и их жизнь.

Совсем иное — человеческое — содержание находит Салтыков в жизни и судьбе героев двух других рассказов раздела, героев страдающих, калечимых терзающими мелочами. Ирония, проникающая очерки о Сереже Ростокине и Евгении Люберцеве, резко сменяется скорбно-трагическим тоном рассказов «Черезовы, муж и жена» и «Чудинов». Это повествование о людях, лишенных естественного права на жизнь, любовь, «свет», о людях, до того втянувшихся в «одинокую», не знающую отдыха жизнь, утративших даже «ясное сознание, живут они или нет».

«Оба молоды и оба без устали работают» — так начинается рассказ о Семене Александровиче и Надежде Владимировне Черезовых, и этой первой фразой задан трагический художественный аскетизм салтыковского повествования о двух простых, робких людях, попытавшихся свернуть с той колеи мелочного существования, которая обеспечивала им по крайней мере надежду на самосохранение. Супруги Черезовы живут исключительно личным трудом. А удел таких людей — или изнуряющая работа,

убивающая всякое сознание, или не менее изнуряющая, тягостная тоска, когда в одиночестве, почти одичании вдруг приходит сознание, способное вызвать лишь вопрос: «Зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь?» Даже решение стать супругами, выбиться из колеи одиночества, не имело в себе ничего, столь, казалось бы, не только обычного, но и необходимого в таких случаях — ничего страстного. Слово «любовь» очень просто заменилось словом «работа»: «будем работать вместе».

А личный труд неверен, сегодня он обеспечивает средства для жизни, завтра — нет. О, это непрестанное чувство страха перед завтрашним днем, перед будущим, дверь в которое оказывается навсегда закрытой. «...труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной копт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла». Все их «больные беседы» сосредоточены на средствах самосохранения. «Калечимому» человеку непозволительно выйти из будничной колеи, суть которой: «жить надо — только и всего». Эта колея освобождала и от ответственности, и от высших стремлений, и от неверного будущего. Даже рождение ребенка вызывает не радость, а лишь растерянность и испуг. И смерть застает их врасплох. «Надя! — говорит, умирая, Черезов, — тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем, ничего мы не понимали!» Мелочи истерзали и убили их.

Страстно, хотя и бессознательно жаждет вырваться из мелочного провинциального быта, из колеи, наезженной родителем, бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городе, юноша Чудинов. Он мечтает о продолжении учения, об университете. Но Петербург далеко, а Чудинов беден. Главный расчет его — на свой собственный, личный труд, который обеспечит ему возможность учиться. С первых же шагов в Петербурге он оказывается опутан такими мелочами, о существовании которых и не предполагал. Личный труд, на который он так надеялся, не удается (кому он нужен?). За право учения надо платить, да к тому же для первокурсников теперь и мундирчики требуются. Но вот первые препятствия преодолены. «Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал на десять копеек два пирога в пирожной и этим был сыт. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти». Судьба отдала Чудинова в жертву той болезни, которая настигает мятущихся, нервных, голодных, — чахотке. Умирая в маленькой комнатке в дешевых номерах, размышляя о своей судьбе, он постепенно стал понимать, что «за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, чем подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...» Для него занялась заря осмысленного существования, его стала волновать задача, о которой он раньше и не думал. Он оказался из числа тех самоотверженных юношей, которые беззаветно пошли к мужику, пошли «туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его». «В его воображении рисовалась деревня». Но что это была за деревня? Это была деревня идеальная, «так сказать, предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только прийти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход». И Салтыков задается вопросами, которые глубоко волновали его самого, когда он думал о той русской деревне, которую хорошо знал: «Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?»

Но и к этой задаче, осмыслившей его последние дни, и как бы он ни понимал ее, Чудинов уже подступиться не мог. «Умер человек, искавший света и обревший — смерть».

К современной деревне обращает свой взор Салтыков в написанном вслед за «Молодыми людьми» разделе «Мелочей жизни» — «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений» (в отдельном издании книги этот раздел будет перемещен на первое место, сразу за «Введением»). Это деревня — в момент перехода от патриархальной устойчивости дореформенного строя жизни к новым формам социальных отношений и хозяйствования, — в «момент общественного разложения».

С разной степенью обстоятельности и, так сказать, личностности представлены Салтыковым все главные фигуры современной русской деревни: мужик («хозяйственный мужичок» — «мироеды» — «гольтепа»), сельский священник, помещик («равнодушный» — «убежденный» — хозяйствующий с помощью «прижимки»).

«Хозяйственный мужичок» проживает на страницах очерка Салтыкова всю свою трудовую жизнь, от поры зрелости, мудрой предусмотрительности, непрестанного высасывающего все соки «жизнестроительства» до созидания хозяйства — «полной чаши» и молчаливой старости на печи дома, где уже хозяйствует «большак» (старший сын). Это поистине энциклопедия крестьянского труда, художественный хозяйственный календарь. Шаг за шагом идет Салтыков за своим «хозяйственным мужичком», следует за его бесконечными трудовыми заботами, его жизнестроительным обиходом. Цель жизни всего крестьянского семейства — «устоять в непрерывной работе».

«Хозяйственный мужичок» представляет тот еще очень устойчивый тип русского крестьянина, который вышел из недр старой русской деревни, из патриархального крестьянства как векового сословия русского феодального общества. Это действительно — тип. Даже имени не дает ему Салтыков.

Как Л. Толстой, так и народники на особой «природе» русского мужика основывали свои общественные и нравственные идеалы. Особую «природу» «хозяйственного мужичка» отмечает и Салтыков. Но для него — это просто констатация факта, из которого делаются выводы скорее отрицательного свойства.

Безысходным, почти каторжным трудом, трудом «коняги» добился «хозяйственный мужичок» своего идеала — «полной чаши». Каков же итог этого «жизнестроительства»?

Крестьянская семья превратилась в чисто хозяйственную единицу («горячее чувство любви заменилось простой

формальностью»), сохраняющуюся лишь благодаря главе семьи. И если сам «хозяйственный мужичок» «чужд кровопивства» в силу устойчивых традиций патриархального прошлого, то сыновья его, со своим «стремлением к особничеству», едва ли не глядят в мироеды; ведь от «полной чаши» «до мироедства — один только шаг...».

А главное (для Салтыкова): «С какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»

Эти последние слова очерка о «хозяйственном мужичке» объясняют, почему мысль Салтыкова обращается теперь к «хозяйственному» «сельскому священнику», который, подобно простому мужику, озабочен лишь одним — «мелочным» «жизнестроительством» во имя «хлеба единого». Салтыкову близка нелегкая судьба «отца духовного», которая, пожалуй, еще труднее, да, пожалуй, и унизительнее и противоречивее, чем судьба «хозяйственного мужичка». Тепло вспоминается священник села Спас-Угол: «В воспоминаниях моего детства неизгладимо запечатлелась фигура нашего старого батюшки, в белой рубашке навыпуск, с волосами, заплетенными в косичку. Он бодро напирает всей грудью на соху и понукает лошадь, и сряду около двух недель без отдыха проводит в этом тяжком труде, сменяя соху бороной». В самом этом сочетании слов «хозяйственный священник» не содержится ли непримиримое противоречие? Впрочем, в современной деревне этот симпатичный Салтыкову священник старого времени, «не отказавшийся от личного сельскохозяйственного труда», сменяется фигурой, соответствующей новому, денежному времени («отдает свой земельный участок в кортому») и, по-видимому, тем более чуждой своему назначению — напоминать мужику о том, что не хлебом единым жив бывает человек.

Изображая современного помещика, Салтыков предпринимает художественно-публицистический анализ состояния дворянского землевладения и хозяйствования в пореформенное время. Крупное землевладение, основанное на системе «оброчных статей» и тем самым превращающееся в капиталистическое предприятие, в котором сам владелец не принимал никакого участия, не дает, по Салтыкову, представления об особенностях современного помещичьего хозяйствования. Мелкопоместный дворянин, разоренный реформой, исчез из деревни, уступив свое место «разночинцу» или «мироеду». Помещик «средней руки» оказывается основной фигурой среди дворян-земле-

владельцев. Но и помещики средней руки не все на одно лицо. Салтыков делит их на три разряда: «равнодушный», «убежденный» и ведущий свое хозяйство с помощью «прижимки». «Равнодушный» отдал свое хозяйство на руки управляющему или старосте, а сам пристроился где-нибудь на службу. «Убежденный» помещик пытается вести хозяйство на новых, усовершенствованных основаниях (своей «убежденностью», верой в то, что «сельское хозяйство составляет главную основу благосостояния страны», он напоминает толстовского Константина Левина). В результате же оказывается, что его помещичий «руководящий труд решительно бесполезен. Переданное на руки старосте «хозяйство идет хоть и не так красиво, как прежде, но стоит дешевле. Дохода очищается <как и прежде> триста рублей».

Особую разновидность помещика «средней руки» представляет мастер «прижимки», паразитирующий на остатках крепостного права, на тех экономических условиях, в которых оказалось освобожденное помещиками (не только от рабства, но и от земли) крестьянство. Иезуитские приемы притеснения крестьян Кононом Лукичом Лобковым напоминают приемы Иудушки Головлева.

В этих деревенских очерках «Мелочей жизни» Салтыков вновь, как и ранее (например, в «Убежище Монрепо»), но на новых фактах и с еще большей категоричностью устанавливает полную и безусловную бесперспективность дворянского землевладения и дворянского хозяйствования, построенных на удручающих «мелочах», терзающих и обезземеленного мужика и неспособного к сельскому труду помещика.

«Анатомию» русской деревни восьмидесятых годов закономерно завершает (первоначально не предусмотренный) очерк о «мироедах» — «новых хозяевах» деревни, вытесняющих хозяина старого. Салтыков ухватывает самое главное в характере владычества «чумазого» сравнительно с владычеством помещика-дворянина: «Гольтепа» мирская... не скрывает от себя, что от помещика она попала в крепость мироеду. Но процесс этого перехода произошел так незаметно и естественно и отношения, которые из него вытекли, так чужды насильственности, что приходится только подчиниться им».

Изображаемый в разделе «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений» «момент общественного разложения» есть, в социальной истории России, момент

разложения старых феодальных сословий, формирования новых классов. Однако хотя «предметом» Салтыкову, по его собственным словам, служит здесь «сельский экономический год», он развертывает свое несомненно социолого-экономическое исследование как художник, с удивительным знанием подмечая все мельчайшие подробности сельского деревенского быта — от крестьянской избы до дворянской усадьбы; иронически, а порой и прямо сатирически, с одной стороны, или сочувственно или любовно — с другой, представляя индивидуальные человеческие судьбы, судьбы людей, неотвратимо и безжалостно захваченных процессом «общественного разложения», когда исчезла «руководящая идея», а «мелочи» правят этим распадающимся миром.

Все же в этом разделе основное отдано изображению именно общего, типического. Человеческое, духовное, личное заслонено общим закономерным процессом.

И потому следующий «этюд», написанный для январской книжки «Вестника Европы», — история бывшего дворового человека портного Гришки, — скорее можно назвать повестью, в которой именно личная человеческая трагедия выступает на первый план. Сложен, противоречив, даже иной раз поэтичен душевный мир несчастного и наивного Гришки. Эта повесть потому и составила особый раздел в композиции «Мелочей жизни».

Вновь к «обобщающему», «собирательному», «классифицирующему» способу типизации, найденному в разделе «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений», Салтыков прибегает в двух разделах «Мелочей жизни»: «В среде публичности» (впоследствии названному «В сфере сеяния») и «Читатель». Здесь от изображения итогов социальной истории России Салтыков обращается к анализу итогов русского политического развития, к анализу тем самым современного состояния учреждений и институтов, созданных реформами шестидесятых годов. Каждому из этих новых институтов или явлений Салтыков посвящает отдельный очерк в разделе «В сфере сеяния» («сеяние», собственно, и означает, в иронической терминологии Салтыкова, деятельность на «ниве» новых учреждений). Каждое из этих явлений представлено сатирической фигурой «сеятеля» — печать («Газетчик»[1]), суд

[1] По цензурным соображениям вместо очерка «Газетчик» в «Вестнике Европы» было приведено лишь его заглавие и затем следовали четыре строки точек. Впервые «Газетчик» был напечатан в отдельном издании «Мелочей жизни» 1887 года.

(«Адвокат»), земство («Земский деятель»), общественное мнение («Праздношатающийся»).

Дважды обращается Салтыков к положению литературы и вообще печати в современной России (раздел «Читатель», глава «Газетчик» раздела «В сфере сеяния»). В «Читателе» поднята тема, которая волновала Салтыкова давно и много раз им разрабатывалась, в последний раз и наиболее страстно и глубоко в первом из «Пестрых писем», — положение «убежденной», то есть единственно отвечающей своему назначению демократически-просветительской литературы и, соответственно, «убежденного и желающего убеждать» писателя. Это положение в конечном счете зависит от отношения к литературе читателя. По этому принципу — отношение к «убежденной» литературе — Салтыков как бы классифицирует, «расчленяет» читательскую массу. Речь идет о положении литературы в обществе и о прессе, соответствующей потребностям и интересам каждого из тех общественных слоев и вместе с тем читательских групп, которые символизированы «читателем-ненавистником», «солидным читателем», «читателем-простецом» и «читателем-другом». «Читатель-ненавистник» и «солидный читатель» близки по своей общественно-идеологической сущности и различаются лишь степенью активности в травле «убежденной» литературы (характеристика «читателя-ненавистника» имела в виду, конечно, Каткова и руководимую им «торжествующую прессу»). Но особенно, по своей значимости, привлекает Салтыкова фигура «читателя-простеца» — читателя будущего, если можно так сказать. Именно он, читатель-простец, массовый читатель, рожден современностью. Именно «с наступлением эпохи возрождения <то есть с отменой крепостного права> народилось, так сказать, *сословие* читателей, и народилось именно благодаря простецам». Социальная характеристика простеца следующая: он принадлежит «к числу посетителей мелочных лавочек и полпивных» (то есть к городскому простонародью, мещанству), но «занимает довольно заметное место и в культурной среде».

Две главные (кроме ряда других) особенности характеризуют «простеца»: во-первых, отсутствие «самостоятельной жизни» («Равнодушный и чуждый сознательности, он во все эпохи остается одинаково верен своему призванию — служить готовым орудием в более сильных руках»); во-вторых, это «человек, не видящий перед собой особенных перспектив», кроме перспективы искалечения: именно среди простецов более всего «искалеченных» или «калечимых» людей; в силу этого жизнь простеца всецело подчинена «самосохранению». Первое («орудие в сильных руках») может сделать простеца социально опасным — опасным и для судеб литературы — и требует резко отрицательной оценки; второе (перспектива «искалечения») — открывает в бытии простеца истинный трагизм и вызывает глубокое человеческое сочувствие.

«Сословие» простецов создает питательную почву для расцвета и широкого распространения новой прессы, представленной в «Мелочах жизни» газетчиком Непомнящим. Сатирический образ Непомнящего углубляет и уточняет образ «газетчика» из «Пестрых писем» (Подхалимов). Как и в «Пестрых письмах», в «Мелочах жизни» Салтыков выдвигает свою особую трактовку прессы этого рода и ее деятелей. Эта трактовка, подобно отношению Салтыкова к новому суду и земству, вызывала иногда непонимание и недоумение у современников. Дело в том, что некоторыми своими — критическими — сторонами она совпадала с нападками на новую прессу со стороны таких, например, деятелей, как К. Победоносцев, писавший, что «любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта, может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писак, фельетонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи... В массе читателей — большею частью праздных — господствуют наряду с некоторыми добрыми, жалкие и низкие инстинкты праздного развлечения, и любой издатель может привлечь к себе массу расчетом на удовлетворение именно таких инстинктов, на охоту к скандалам и пряностям всякого рода». Девиз Непомнящего: «хочу подписчика!» — отражал реальную особенность массовой печати (от «Нового времени» Суворина до бульварного «Московского листка» Пастухова), проникавшей, благодаря не всегда благовидным средствам, но и новым формам и приемам во все более широкие слои грамотного и не только городского населения. Новыми формами злободневного репортажа, фельетонного жанра вынуждена была овладевать и такая серьезная и порядочная газета как «Русские ведомости» (с помощью тогда молодого, но уже знаменитого Гиляровского).

И Подхалимов и Непомнящий утверждают, что «печать — сила». В устах беспринципных газетчиков это утверждение звучит как ужасная профанация принципа, безусловно близкого самому Салтыкову. Все дело в том, как используется, чему служит эта сила. Начиная с шестидесятых годов и до конца жизни Салтыков был убежден в особом, даже исключительном значении печати как органа свободной мысли. Вспомним, что во «Введении» к «Мелочам жизни» он прямо указал на необходимость полной свободы обсуждения идеалов будущего как условия падения власти терзающих мелочей: «Человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего». И понятно, что органам такого обсуждения может быть только печать, освобожденная от травли и обвинений в неблагонамеренности и вредном направлении. Поэтому та пресса, которую воздвигали Подхалимовы и Непомнящие, воистину неблагонамеренная и опутанная всяческими мелочами, представлялась Салтыкову извращением, искажением принципа, но тем не менее не подрывала самый принцип. Салтыкову были отвратительны кликушества Победоносцева: «Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени».

Салтыков одним из первых понял этот особый характер положения русской печати в пореформенное время, особенно в восьмидесятые годы, когда привычный, чаще всего интеллигентный читатель прошлых десятилетий все больше заслонялся новым, массовым читателем, представителем «улицы» — с ее моралью, «философией», вкусами и — деньгами. При всем том сохранялись все особенности русской самодержавной политической системы, и сила печати получала ложное приложение. Это и создавало ту особенность в положении русской газетной прессы, которая отражена в салтыковских ее характеристиках. Многоликой и двойственной была и личность самого «газетчика». В служении лозунгу «хочу подписчика!», в собирании крох и мелочей извращается «человеческая природа», гибнут незаурядные способности. И лишь большой талант мог бы преодолеть губительные условия ежедневного газетного служения «мелочам». И тогда сумма впечатлений и наблюдений, которые копит отнюдь не лишенный таланта Подхалимов, действительно способна была бы заиграть под пером художника, положить основание новым художественным формам и принципам.

«Уличный», «газетный» читатель не мог стать для Салтыкова «читателем-другом», но этот «газетный» читатель все же существовал, и его нельзя было игнорировать. Но несомненно существовал и «читатель-друг». Единственное, что утешало и вдохновляло «убежденного писателя» — наличие в разношерстной — враждебной или равнодушной — читательской толпе «читателя-друга». Он, этот читатель-друг, не только читал, он понимал тебя, твои боли и скорби, весь смысл и соль твоего невеселого смеха. Его-то и любишь по-настоящему. Но читатель-друг как-то «заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Бывают, однако ж, минуты, когда он внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем».

Салтыков уже и в шестидесятые годы не возлагал больших надежд на «новые учреждения» (суд, земство), установленные реформами, никогда не обольщался наступившим будто бы тогда «возрождением» и «обновлением» русской жизни. Вместе с тем самый принцип «возрождения, обновления и надежд» был коренным принципом салтыковского миросозерцания. Так, бросая взгляд в прошлое, в очерке «Имярек» (о котором еще речь впереди) он точно охарактеризовал как «эпоху возрождения», так и свое отношение к «возрождению, движению и надеждам». «Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее. Возрождение — и рядом несомненные шаги в сторону и назад. Движение — и рядом застой. Надежды — и рядом отсутствие всяких перспектив. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснялись настолько, чтобы можно было сказать, какие из них имели преобладающее значение в обществе. Мало этого: представлялось достаточно признаков для подозрения, что отрицательные элементы восторжествуют, что на их стороне и соблазн и выгода. К чести Имярека <то есть самого Салтыкова>, должно сказать, что он не уступил соблазнам, а остался верен возрождению, движению и надеждам».

К восьмидесятым годам стало совершенно ясно, что восторжествовали именно отрицательные элементы. «Возрождению, движению и надеждам», общим для освободительного движения в годы подготовки и отмены кре-

постного права, остались в это трудное десятилетие верны лишь демократы, несомненным главой которых был Салтыков. Такие институты, как новый суд, как земское самоуправление, такие факторы, как печать и общественное мнение, теряли или уже потеряли, если имели, то значение, которое могли бы иметь, при иных политических обстоятельствах в осуществлении «возрождения, движения и надежд». В этом свете и становится ясен смысл тех сатирических персонажей, которые в разделах «В сфере сеяния» и «Читатель» олицетворяют все эти институты.

Значительность и сила социально-исторического анализа, развернутого Салтыковым в многообразных публицистических и художественных формах «Мелочей жизни», увеличиваются оттого, что главным его предметом, как деятель истории и ее жертва, является человек массы, «средний человек», «простец» — в его повседневном быту, будничной жестокой жизни. Именно он столь безысходно опутан «мелочами», что даже и не помышляет о возможности иного, не «мелочного» существования. Занятый исключительно самосохранением, он живет сегодняшним днем, в страхе ожидая дня завтрашнего, когда, быть может, его ждет окончательное «искалечение». Инстинкт самосохранения, заставляющий его «пестрить», менять окраску, ренегатствовать, делает его жизнь трагически безысходной, в иных случаях, при пробуждении сознания, тягостной нравственно.

«Время громадной душевной боли» — назвал Салтыков свое время. «Громадная душевная боль» охватывает Салтыкова при виде «душевной боли», фатально переживаемой его героями. Вспомним, что писал Салтыков в январе 1885 года: «Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается...» Цикл «Мелочи жизни» — поразительный по смелости и глубине акт «заступничества за калечимых людей», уродливо деформированных давлением повседневных жизненных мелочей. «Какие потрясающие драмы, — сказано в рассказе «Счастливец», — могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими». Салтыков-художник подмечает эти «минуты совершения», и его сердце и ум болят и страдают. Последовательно нарастает и усиливается драматический конфликт в рассказе

«Портной Гришка»: бьется в тенетах мелочей бывший дворовый человек, ныне искусный мастеровой, самой силой вещей обреченный на непрерывное битье. Страдания Гришки ужасны, мучительны, но в «минуты совершения» они вызывают лишь смех и издевательства. Самоубийство Гришки — естественный протест его еще не окончательно заглохшей, неспособной к бесповоротному «юродству» человеческой природы. Трагизм самодовольного и «счастливого» существования Валерия Крутицына (рассказ «Счастливец») обнаруживается во внезапной катастрофе — самоубийстве любимого сына, потрясенного всевластием отцовских «мелочей». Когда нет перспектив, когда будущее неясно, дети вершат суд над отцами, посылая себе «вольную смерть». Трагическое открывается в обыденном, повседневном, в иных случаях — вполне благополучном — «мелочном» бытии.

В феврале 1887 года Салтыковым была написана глава «Имярек», которую он считал заключительной главой цикла (впоследствии «Мелочи жизни» были дополнены разделом «Читатель» и рассказом «Счастливец»). «Посылаю при сем заключительную главу «Мелочей», — писал он 24 февраля М. М. Стасюлевичу. — Очень возможно, что она покажется Вам нескладною, но прошу Вашего снисхождения. Во-первых, необходимо покончить с «Мелочами», во-вторых, вероятно, это последнее, что я пишу. Голова моя пропадает, болезнь идет crescendo, хотя, к сожалению, я не могу сказать, что вот-вот умру. Мученическая моя жизнь — вот и все».

Итак, «Имярек» — это «последнее, что я пишу», подведение жизненных итогов, окончательный анализ «теоретических блужданий, среди которых в течение многих лет вращалась жизнь Имярека».

Конечно, «теоретические блуждания», о которых говорится в главе «Имярек», — это «блуждания» самого Салтыкова: «сонные мечтания», «юношеский угар» сороковых годов, теория «практикования либерализма в самом капище антилиберализма» и т. д. Скорбь человека, трезво оценивающего свой жизненный путь, подводящего жизненные итоги, — это скорбь самого Салтыкова. Почти безнадежный скорбный трагизм подведения «итогов прошлого», суровая, беспощадная самооценка были во много крат усилены тяжкой болезнью Салтыкова, сознанием приближающегося конца.

Имяреку вспоминается «прародитель Иов», герой библейской «Книги Иова», диалог-прение которого с бо-

гом — огромной силы человеческий протест против божественной несправедливости, протест, основанный, однако, на непоколебимой вере в бога, иначе говоря — вере в какой-то нравственный закон, пусть и недоступный человеку, но в конце концов все же справедливый. «Боли нравственные» не мучают библейского героя именно потому, что он верит: его спасает, как пишет Салтыков, «присущий древнему миросозерцанию закон предопределения». «Прародитель Иов» утешался сознанием своей невинности, и потому наказание, исходящее от бога (но внушенное богу сатаной), представлялось ему тяжким, но все же временным испытанием. Прародитель надеялся (и в самом деле надеялся не напрасно), размышляет Имярек, «что явится в свое время «вихрь» и разнесет все недоразумения, жертвою которых он пал». Имярек же «вообще не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей. Это положение было результатом целой хитросплетенной сети фактов, крупных и мелких, разобраться в которых было очень трудно. Многие из этих фактов прошли незамеченными, многие позабылись, и, наконец, большинство хотя и было на виду, но спряталось так далеко и в таких извилинах, что восстановить их в строгой логической последовательности даже свободному от недугов человеку было нелегко. Чтобы изменить одну йоту, в этом положении вещей, надобно было употребить громадную массу усилий, а кроме того, требовалась и масса времени. Целую такую же жизнь нужно было мысленно пережить, да и то, собственно говоря, существенного результата едва ли можно было достигнуть. Нанесенное, в минуту грубой запальчивости, физическое оскорбление так и осталось бы физическим оскорблением; сделанный в незапамятные времена пошлый поступок так и остался бы пошлым поступком. Просто ряд обусловленных фактов». Страдание — самое непереносимое, самое тяжкое, — как оказывается, не есть ни наказание, ни искупление греха, ни испытание, ни путь к спасению, а просто страдание — и ничего более — результат определенным образом сложившегося положения вещей. Имярек не способен утешаться верой в какую бы то ни было разумную предопределенность или осмысленность бытия, его терзает фатальная невозможность изменить хоть одну йоту в порядке вещей, разорвать цепь обусловленных фактов. Имярек жаждет найти свое, вполне независимое, самостоятельное место в этом

«порядке», осмыслить и изменить его. Он не хочет и не может сбросить с своих плеч ответственность даже и за пошлый поступок, за ошибку, которая была совершена. Имярек мысленно переживает всю свою жизнь, чтобы прийти к последнему, заключительному выводу, к тому мажорному аккорду, которым завершается очерк, к тому аккорду, которым заглушается, решительно зачеркивается и вера в предопределение, свойственная «прародителю», и неверие в человеческую активность, погружавшее Имярека в мрак пессимизма.

Но фазисы, через которые прошла мысль Салтыкова, — это и фазисы развития, фазисы «блуждания» русской освободительной мысли вообще. Ретроспективно их анализируя и оценивая, Салтыков приходит к выводам, итогам общего характера. Так, он дважды упоминает «теорию вождения влиятельного человека за нос», которую разделял в годы своей чиновничьей службы; эта теория оказалась весьма живучей и была повторена Г. З. Елисеевым в его суждениях о сказке Салтыкова «Приключение с Крамольниковым». «Вся беда нашей литературы прогрессивной, — писал 23 октября 1886 года Елисеев Салтыкову, — состоит в том, что она не может себе никак усвоить, что она тогда только и постольку только сильна, поскольку идет вполне с этим генералом <Дворниковым> и помогает ему бороться с его врагами. А генерал этот представитель реформенного дела в России со времен Петра и со времен Петра самою силою вещей влечется только к реформам и натуральный враг допетровского московского застоя». Салтыков был возмущен и расстроен. Как, Елисеев, некогда публицист «Современника» и соратник Чернышевского, проповедует плоскую теорию соглашательства литературы с властью, хождения под ручку с «генералом Дворниковым»? В полемике, не столько резкой, сколько горькой, Салтыков сформулировал главную идею «Мелочей жизни» о «коренном преобразовании жизненных форм» как единственном условии преодоления исторической «остановки». Он писал Елисееву: «...взгляда Вашего на Крамольникова не разделяю и теории вождения Дворникова за нос за правильную не признаю. Дворниковы и до и по Петровские одинаковы, и литературная проповедь перестанет быть плодотворною, ежели будет говорить о соглашении с Дворниковыми. Для этого достаточно Сувориных и Краевских. Наша практика и без того настолько спутана, что представляет сплошное прелюбодеяние. Но спутанность эта вынужден-

ная, и не следует упускать этого из вида. Даже если бы мы добровольно отдались ей, то полезнее убеждать себя в вынужденности, нежели признать спутанность за правило. Но во всяком случае, для литературы возводить практику соглашения с Дворниковыми в теорию — дело весьма опасное... Литератор, яко человек, имеет право бояться за свою шкуру, но литература должна оберегать свою проповедь от всяких примесей, вроде поступания вперед рука об руку с Дворниковым такого-то, а не иного пошиба. В Евангелии есть прекрасное изречение: если око твое тебя соблазняет, то вырви его. Вот настоящая задача литературы, хотя, конечно, она не должна скрывать от читателя трудности ее выполнения, и обязана прибавлять: могий вместити да вместит. Но ни в каком случае не та практика, которая заставила Петра три раза отречься прежде, нежели три раза прокричал петух. Недаром же Петр вспомнил и горько заплакал — стало быть, нехорошо у него сделалось на душе. Оттого у нас и идет так плохо, что мы все около Дворниковских носов держимся. Это — основная идея «Мелочей жизни»... Мелочи до того заполонили всех, что ни об чем не думается, лишь бы брюхо было цело и шкура спасена, благодаря благоволению Дворникова».

«Теория» и «практика» соглашений с Дворниковыми, то есть государственной властью, решительно Салтыковым отвергается. Это «мелочная» теория и «мелочная» практика. Крамольников, сказано еще в одном, более позднем письме к Елисееву, «всего менее человек компромиссов и ежели создаст теорию, то для практики совсем иного рода».

Теоретические «хождения по мукам» на протяжении важнейшего отрезка русской истории — от сороковых к восьмидесятым годам — привели Салтыкова в очерке «Имярек» к резко обостренной постановке вопроса о соотношении теории и практики, вопроса, всегда стоявшего перед ним, начиная с его первых шагов в литературе. «Слова» («свобода», «развитие», «справедливость») чего-нибудь стоят лишь тогда, когда подкрепляются реальными историческими делами.

Это очень высокая общественная и нравственная точка зрения дала Салтыкову право необычайно сурово (и несправедливо) оценить всю свою деятельность: «Все, что наполняло его <Имярека> жизнь, представляется ему сновидением». Но это было только его право.

Очерк «Имярек» не остался незамеченным читателями. Салтыков, — вспоминал Михайловский, — получал много писем. Одно из этих писем пришло в присутствии Михайловского. «Салтыков, жалуясь на слабость зрения, просил меня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... Автор письма называл его «святым стариком», доказывал, что не крохи и не мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам... Корреспондент был настоящий «читатель-друг», общение с которым Салтыков... считал драгоценным для каждого убежденного писателя. Но письмо было не просто утешительное, в нем была правда. Конечно, только мнительность и болезнь могли внушить Салтыкову мысль, что «сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности». Все относительно. Ядовитые мелочи не пощадили и Салтыкова, и в его жизнь и деятельность они внесли свою долю горькой отравы. Но сделанного им, разумеется, слишком достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека».

Салтыков плакал... Вряд ли это были слезы радости, хотя одобрение друга-читателя, может быть, оставалось единственным, что еще поддерживало его. Письмо этого читателя и утешало, и в то же время усиливало «скорбь Имярека», ибо Салтыков судил себя, свою жизнь так строго, как никто.

Истерзан он был смертельно ранящей восприимчивостью, о которой вскоре напишет: «Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу».

Больше всего боялся он в эти последние годы и месяцы жизни «оброшенности» и забвения — исчезновения из памяти современников и потомков: «А ведь я все-таки немало в свое время сделал для пробуждения общественного самосознания».

Боялся и другого... Он, столь высоко ставивший разум человеческий, сознание и мысль, теперь, когда обрушивались тяжелые приступы болезни, погружался в душевный мрак и упадок мыслительной деятельности. В голове назойливо слышался «вечный шум, точно прибой волн. Боюсь с ума сойти» (писал 28 мая 1887 года заботливому Логину Федоровичу Пантелееву, с которым сблизился в последние годы).

Чувствовал, что сейчас, в преддверии короткого и холодного петербургского лета уже покидает его «чисто нервное влечение работать» — тоже своего рода недуг, — продолжавшееся, пока не завершил «Мелочи жизни» характеристиками разных типов читателя («Русские ведомости», май) и «этюдом» «Счастливец» («Вестник Европы», июнь). Знал, что болезнь его неизлечима; жизнь не сулила никаких радостей, даже самых обыденных: утрачен к ней всякий интерес и вкус. А в то же время нервная впечатлительность и душевная ранимость все возрастали.

Елизавета Аполлоновна сняла дачу в довольно глухой местности вблизи станции Серебрянка Варшавской железной дороги, где, опасался Салтыков, и врачебной помощи, пожалуй, не найдешь. Но что же делать ему, не имевшему голоса в домашних делах, да и сил для каких-нибудь самостоятельных решений и действий. И в двадцатых числах мая, вслед за семьей, отправляется он к своему летнему пристанищу.

Дни стояли солнечные, яркие, но холодные; по ночам бывали и морозы. Природа, однако, начинала уже цвести своей вновь и вновь возрождающейся красотой. Салтыков же страдал от нелетнего холода, все плотнее и плотнее закутывался в свой неизменный плед, но и плед не защищал: ведь душевная стужа гнездилась в самом его теле, беспрестанно сотрясаемом резким и сухим кашлем.

Вот и первые дни июня, а холода все не отступали; не унимались душевные и физические боли, скука и уныние бездеятельности убивали, работа не клеилась. «Целые дни сижу один, прикованный к креслу, не выходя из своих двух комнат, потому что другие комнаты расположены на север и в них еще холоднее... Проклятое лето». (М. М. Стасюлевичу, 3 июня 1887)

И тут Николай Андреевич Белоголовый напомнил в очередном письме о давно задуманном Салтыковым «автобиографическом труде», о котором, наверное, говорилось еще во время совместной жизни в Висбадене. Отвечая Белоголовому, признался, что давно уже такой труд его «заманивал»:

«У меня уже есть начатая работа, и я с тем и уезжал на дачу, чтобы ее продолжать летом... Но Вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу легкою. По моему мнению, из всех родов беллетристики это самый трудный. Во-первых, автобиографический материал очень скуден и неинтересен, так что необходимо большое участие воображения, чтоб сообщить ему ценность. Во-вторых, в большинстве случаев не знаешь, как отнестись к нему. Правду писать неловко, а отступать от нее безнаказанно, в литературном смысле, нельзя: сейчас почувствуется фальшь. Но, повторяю, я не оставлю этой мысли и приступлю к ней, как только возможно будет.

Но вряд ли эта возможность скоро настанет...»

Так писал о давнем замысле своем 24 июня, еще не зная, когда же возможность приступить к разработке запасов памяти, наконец, настанет, еще с горечью и почти слезами мучаясь мыслью о постигшем его забвении и оброшенности. Но размышления о сложностях «автобиографического труда», о месте в нем «поэзии» и «правды», вымысла и реального автобиографического факта — уже сопровождались усиленной и зовущей к литературному воплощению работой памяти и воображения, мысль уже одевалась плотью образов.

Гениальному творческому дару Салтыкова суждено было еще и в последней раз вспыхнуть с поражающей, огромной силой. Его начали буквально преследовать образы далекого прошлого, далекого, но вдруг приблизившегося, задвигавшегося и зажившего новой, художественной жизнью «десятилетнего деревенского детства». Этот обычный для Салтыкова творческий процесс созидания образов, впервые давший себя знать еще в детские годы, когда он слушал простодушные и убежденные рассказы дворовой «девки» Аннушки о мучениках и мученицах христианских, когда он читал Евангелие, с особой и часто мучительной напряженностью проявился в последний год жизни, в ходе работы над «Пошехонской стариной». Об этом вспоминал близкий друг Салтыкова Алексей Михайлович Унковский: «Привычка писать для публики у Салтыкова дошла до того, что, по его словам, представлявшиеся ему в воображении образы не давали ему покоя до тех пор, пока он не изображал их в очерке. «Как только напишу, — говорит, — так и успокоюсь». В особенности жаловался он на такое состояние в течение последнего времени, именно тогда, когда он писал «Пошехонскую старину». Я и многие лица, навещавшие его в это время, часто слышали от него, что вызываемые его воображением образы из давно прошедшего не дают ему покоя даже и ночью. Мне кажется, что это объясняется его болезненным состоянием, в котором письменная работа сделалась для него труднее. В этом

состоянии он сделался впечатлительнее». Тяжело больной, «будучи в ужасном положении, — заключает Унковский, — Салтыков как писатель нисколько не изменился». Воскрешая в памяти образы далекого прошлого, вновь переживая те чувства, которые когда-то освещали или, чаще, омрачали его детские годы, он, немощный, умирающий — напряженно жил, жил огромным творческим порывом. Мгла, застилавшая сознание, рассеивалась, мозг был полон не дававшими покоя образами...

Правда, болезненное его состояние за лето не только не улучшилось, но, пожалуй, даже и ухудшилось — ухудшилось оттого, что им вновь овладела неудержимая, выматывающая последние силы, но, парадоксально, и поддерживающая их «страсть к писанию». Плодом этой страсти и стали первые главы «Пошехонской старины».

В письме к Белоголовому Салтыков не отказался от наименования своего нового труда «автобиографическим», иначе говоря — мемуарным, но при этом сразу же оговорился, что сам по себе автобиографический материал «скуден и неинтересен», что «необходимо большое участие воображения, чтобы придать ему ценность».

Нервная впечатлительность, обостренная восприимчивость не помешала, а, скорее, способствовала созданию произведения, в котором предметно и осязаемо предстало и заговорило своим характерным языком прошлое, произведения, в котором при этом все насыщено настоящим, все пронизано современной мыслью. Из-под пера Салтыкова начали выходить бытовые картины, полные ясности и художественной цельности, воистину видимые нашим глазом, зазвучала колоритнейшая живая речь, как бы слышимая нашим слухом.

В примечании к подзаголовку «Пошехонской старины» — «Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина» — Салтыков просил не смешивать его «личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой простонапросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим а в то же время дано место и вымыслу». И все же несомненно, что в основе «Пошехонской старины» лежал именно автобиографический элемент. Но при этом «свод жизненных наблюдений» и памятных впечатлений восполнялся гениальной художественной фантазией, открывавшей в этом случайном и беспорядочном «своде» типическое, закономерное. Из скудного и однообразного существования пошехонских «углов» и «гнезд» Салтыков созидает богатейшую типичную картину «целого жизненного строя», в тенетах которого бился человек, и прежде всего тот, кто почувствовал и хотел сохранить нечто свое, не укладывающееся в жестокую текущую обыденность.

Главным героем жития-хроники все-таки оказывается сам автор, сколько бы он ни прятался за вымышленный образ пошехонского дворянина Никанора Затрапезного. Именно он, Салтыков, делает это эпическое, объективное повествование о, вроде бы канувшем в прошлое, «жизненном строе» и завершившихся человеческих судьбах не только современным, но и трагически-вневременным, всечеловеческим. Ведь в конце концов и представление о зародившемся когда-то «своем» уяснилось Салтыкову, конечно, не в далекие детские годы, а именно теперь, как итог многотрудной жизни, как вывод долгих блужданий мысли. На реальнейшей картине «пошехонской старины» лежит явная печать авторского отношения, авторской оценки. К тому же Салтыков вовсе не расстается и со своим комическим даром, хотя часто жалуется в мрачные минуты, что юмор ему изменяет.

Приступая в августе 1888 года в главе XXVI к изображению той помещичьей среды, что окружала дворянское гнездо Затрапезных, Салтыков счел необходимым объяснить свою задачу и свою «манеру»: «На склоне лет охота к преувеличениям пропадает и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду. Решившись восстановить картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свидетельствовать истину». И, действительно, безудержный, беспощадно сатирический, гиперболически-гротескный комизм, комизм преувеличения, чужд поэтике «Пошехонской старины» (хотя иной раз и прорывается), но постоянно присутствует пусть неявный, подспудный комизм нелепостей и неразумия бессознательной, «заглохшей» среды.

Хотя Салтыков и просил не смешивать его личности с личностью Никанора Затрапезного, он очень часто отбрасывает эту маску рядового «пошехонского дворянина» и говорит прямо, от себя.

Это происходит уже в первой главе «Гнездо».

«С недоумением спрашиваешь себя, — пишет здесь Салтыков, разумея крепостное право, в «разгар» которого

прошли его детство и юность: — как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? — и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили! И, что еще удивительнее: об руку с этим сплошным мучительством шло и так называемое пошехонское «раздолье»... И крепостное право, и пошехонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то вслед за ним в судорогах покончило свое постыдное существование и другое». И тут же мысль Салтыкова обращается к современности. Да, и то и другое, и крепостное право, и «пошехонское раздолье» «одновременно заколотили в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле — это вопрос особый. Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное.

Ибо, хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остается нетронутою».

Салтыков не полемизирует, но эта мысль о неизменившейся сущности общественных отношений организует все его повествование о «пошехонской старине».

А сущность эта выражалась в противостоянии бесправной и голодной крестьянской массы и всевластного дворянства-помещичества, с победоносным афоризмом на устах: «без разговоров надо хамово отродье истреблять!» (слова маменьки Анны Павловны Затрапезной). «Хамы» надрывались в труде, не оставлявшем места для роздыха и покоя, не дававшем «сытости», господа строили свое благосостояние или хотя бы благополучие на «неисчерпаемости крестьянского труда», на «преднамеренной системе изнурения». Но и для тех, и для других «высшее счастие жизни полагалось в еде».

Так все более зримо, так сказать, «оплотняется», материализуется какой-то гигантский, гиперболический образ «утробы», «чрева», в его насыщении видятся и счастье, и цель жизни. В ежедневном обиходе дворянской усадьбы чуть ли не первое место занимают процедура «приказывания» кушаний барыней и оригинальный способ распределения пищи между домочадцами и дворовыми, наконец, самый процесс насыщения: барыню при

этом гнетет лишь одна мысль, ей кажется, что масса съестных припасов, требующаяся для дома и для дворни, уходит в какую-то «прорву». Вечно голодные сенные девушки и лакеи, жалкие, униженные и тоже голодные «тетеньки-сестрицы», с одной стороны, и «пошехонское раздолье», вся радость и сладость которого — в ублажении «утробы», в обилии еды и питья, с другой. Тихий рай, безмятежная идиллия дома «тетеньки-сластены» — утробный рай, чревная идиллия. Зловещим гротеском-символом этого животного мира предстает уездный предводитель дворянства Струнников: «тогда», то есть в годы «мистерий крепостного права», от предводителя ничего и не требовалось, кроме «исправного и достаточно вместительного чрева». Внешность Струнникова такова, что с первого же «взгляда на него можно сказать: вот человек, который от рождения осужден на беспрерывную еду!»

Этой животной «чревности» соответствует и духовный мир Пошехонья, мир бессознательный и бесчеловечный. Вспоминая о том перевороте, который произвело в его детской душе знакомство с евангельскими сказаниями, Салтыков не может не вспомнить и о глубоко безразличном отношении всех окружающих к внутреннему — социальному и нравственному — содержанию «книги», то есть Евангелия. Оно «оставалось закрытым и для наиболее культурных людей. И не потому, чтобы это содержание представляло собой обличение, а просто вследствие общей низменности жизненного строя, который весь сосредоточивался около запросов утробы...»

Бесконечной скорбной чредой проходят по страницам «Пошехонской старины» калечимые и искалеченные до смерти этим жизненным строем люди. «Все было проклято в этой среде, — заключает Салтыков один из самых мучительных рассказов «жития-хроники» — о гибели юной, тихой, смирной и ласковой, «бессчастной Матренки»; — все ходило ощупью в мраке безнадежности и отчаяния, который окутывал ее. Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа. Только бессознательность и помогала жить в таком чаду».

А самые малейшие проблески сознания и заглохшего нравственного чувства не приносят ничего другого, кроме новых мучений. И возвращаясь теперь мыслью к прошлому, Салтыков и в этой кромешной тьме бессознательности провидит нечто «свое», некий свет, который, по русской пословице, и во тьме светит. Он не только воспро-

изводит быт русского крестьянина (по преимуществу дворового человека; барщинного крестьянина-земледельца в детские годы он знал меньше), но и вникает в его «сокровенное миросозерцание». И в этой про́клятой среде, даже среди более всего униженных и придавленных дворовых людей, память Салтыкова выхватывает личности, в которых, пусть искаженно и ненормально, начинала говорить человеческая природа, зрел своеобразный, по существу и по проявлению — «рабский» протест.

Вот крепостная «девка» тетенек-сестриц Аннушка — «простодушнейшее существо», «преисполненное доброты и жаления». Принадлежала Аннушка к числу рабов «по убеждению»: у нее даже сложился некий вполне рабский, но тем не менее своеобразно нравственный кодекс, в основании которого лежал утешающий афоризм, что «рабство есть временное испытание, предоставленное лишь избранникам, которых за это ждет вечное блаженство в будущем» — «восспяние в присносущем небесном свете». Христос, по убеждению Аннушки, сходил с небес отнюдь не для господ, а для черного народа, и для спасения этого народа «благословил его рабством». Господа же получат будущее блаженство лишь в той мере, в какой они исполняли свои обязанности по отношению к «рабам». Такие мысли на помещичьем языке уже прямо назывались бунтовскими, ибо внушали господам, «что мозги хамов все-таки не вполне забиты и что в них происходит какая-то работа».

Рабство и воля — в этом кругу бьется неумелая и скованная мысль: она ведет закрепостившуюся Маврушу-новоторку к постепенной выработке своего нравственного кодекса: «Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись, ради эфемерного чувства любви, от воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на себя «божью клятву», которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не «выкупится». Таким «выкупом» стало Маврушино самоубийство.

Страстная жажда воли определяет миросозерцание умирающего Сатира-скитальца. Для него, в отличие от Аннушки, нет ничего страшнее, чем предстать на тот свет в рабском виде: «... мы прежде вольные были, а потом сами свою волю продали... Нет того греха тяжеле, коли кто волю свою продал. Все равно что душу... Кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские двери навеки перед нами закрыла». «Очевидно, в этих словах заключалось своего рода миросозерцание, но настолько неустановившееся, беспорядочное, что он и сам не был в состоянии свести концы с концами».

Салтыковское миросозерцание тоже стало складываться в затхлом воздухе крепостнической барской усадьбы. И это миросозерцание все более становилось «своим», в конце концов резко отделившимся от миросозерцания рабов и господ. Как итог трудного личного опыта, как вывод из грандиозной панорамы «Пошехонской старины» звучат лирические строки: «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что, только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его».

И Салтыков со страстью и гневом отрицает не только грубые и тяжелые формы крепостничества, но, главное, его не так легко умирающую сущность. Да, крепостное право стало достоянием прошлого. Салтыков вновь, и в «Пошехонской старине», пишет о громадности дела «19 февраля». Но восстановлено ли в человеке его достоинство, но вовсе ли изгибли бессознательность и бесправие, то, что еще сен-симонисты назвали «эксплуатацией человека человеком», умерли ли те безнравственные отношения и те причины, которые калечат и убивают? В сущности говоря, на этот вопрос Салтыков ответил в произведении, предшествовавшем «Пошехонской старине», в «Мелочах жизни», и ответил отрицательно. В своем последнем произведении, в житии-хронике о прошедших временах, он вновь и вновь возвращается к этому вопросу, особенно остро переживавшемуся им в последние годы: «Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки... Спрашивается: исчезли ли вместе с фабулой эти привычки, эта складка?»

Взор Салтыкова обращается к «молодым поколениям»,

«детям». «Конечно, свидетели и современники старых порядков могут, до известной степени, и в одном упразднении форм усматривать существенный прогресс, но молодые поколения, видя, что исконные жизненные основы стоят по-прежнему незыблемо, нелегко примиряются с одним изменением форм и обнаруживают нетерпение, которое получает тем более мучительный характер, что в него уже в значительной мере входит элемент сознательности...»

Когда завершались в сентябре собственно «детские» главы «Пошехонской старины» (I—V), мысль Салтыкова по ассоциации обратилась к «детскому вопросу», к вопросу о современном положении детей, их судьбах сейчас, при настоящем положении «общественного строя». Так, в конце сентября — начале октября написалась «статейка» «Дети». Небольшая по объему и публицистическая по теме и стилю, она как раз подходила для газеты. Салтыков и послал ее Соболевскому для «Русских ведомостей». Но тот, испугавшись цензурных репрессий (газете угрожала приостановка), отказался ее напечатать. Тогда Салтыков попытался пристроить ее в газету П. Гайдебурова «Неделя». Гайдебуров, хотя и согласился напечатать, но, по словам Салтыкова, «в голосе его звучала такая неуверенность» (от той же цензуробоязни), что пришлось взять статью обратно. С горечью писал Салтыков в эти дни Белоголовому: «Неправда ли, что это похоже на остракизм. Литература, без особенных начальственных усилий, изгоняет меня». Стасюлевич посоветовал «приурочить» статью к «Пошехонской старине». «Перечитав ее сегодня, я убедился, что это не только возможно, но будет совершенно уместно и потребует самых ничтожных изменений!» (М. М. Стасюлевичу — 19 октября 1887 года). Несмотря на некоторую чужеродность стиля статьи объективной манере «Пошехонской старины», это, действительно, оказалось «совершенно уместно», ибо размышления о «детском вопросе» явились как бы публицистическим итогом художественного изображения «деревенского детства». Так, в декабрьской книжке «Вестника Европы» появилась шестая глава «Старины» под названием «Дети. По поводу предыдущего».

«Элемент сознательности», открывавшееся ему «свое», вошло в жизнь Салтыкова очень рано и причинило ему в детские и юношеские годы немало терзаний. Тем более теперь он с болью вспоминал горе и страдания «пошехонских» детей: непрерывное битье и сопровождавший его

постоянный плач, неравенство в семье, скудную ненасыщенную пищу, сугубо прозаический характер всего семейного уклада. «И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей», — этими словами открывается шестая глава «Пошехонской старины».

Общепризнанное мнение гласит, будто нет возраста более счастливого, нежели детский. «Так долгое время думал и я, забывая о своем личном прошлом» и прошлом своей семьи.

Но, конечно, не только и не столько о прошлом думал Салтыков в бесконечные бессонные ночи, в наполненные мглой и мраком часы и дни вынужденного болезнью безделья. Он думал о «личном настоящем» — о собственных детях. Не вырастает ли из прилежной гимназистки Лизы, под влиянием матери и ее образа жизни, избалованная светская «куколка»? Не становится ли болезненный, но способный и добрый Константин, при содействии школьной педагогики, отпетым бездельником и шалопаем? Ведь их окружил и затянул непрестанный и паскудный «балаган»: «Никакой поэзии в сердцах». А это, пожалуй, страшнее пережитого в трудные годы деревенского детства.

Мучения, испытываемые теми, в ком вспыхнули хотя бы искры сознательности, ничто в сравнении с бессильным трагизмом бессознательности и фатализма, которые делают детей жертвами противной их естеству, их природе «системы» воспитания. «Куда вы ни оглянетесь, везде увидите присутствие злосчастия и массу людей, задыхающихся под игом его. Формы злосчастия разнообразны, разнообразна также степень сознательности, с которою переносит человек настигающее его иго, но обязательность последнего одинакова для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй, — вот где кроется источник этой обязательности, и потому она не может миновать ни одного общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне своего влияния и детей». Но особенно злосчастен жребий детей, ибо «они не выработали ничего *своего*, что могло бы дать отпор попыткам извратить их природу». Лишь очень немногие из детей могут вырваться из цепей «обязательности», могут противопоставить фатализму злополучного бытия нечто «свое».

Жизнь детей подвержена случайности и подчинена «системе». Особенно злостными оказываются последствия, которые влечет за собой «система». В подтексте этого высказывания лежат воспоминания уже не о деревенском детстве, а о годах детства, отрочества, юности, проведенных в стенах казенных учебных заведений — Дворянского института и лицея. Образы носителей пагубной воспитательной системы часто в разной связи выходили на страницы салтыковских произведений преподносящими своим подопечным массу «кратких наук». Очень может быть, что, всматриваясь в «даль» писавшейся им хроники, Салтыков надеялся собрать эти фрагменты и отрывки в цельную картину, подобную картине провинциального Пошехонья. Но сил для этого уже не оставалось.

Здесь же, в главе о «детском вопросе», Салтыков высказался о «системе» прямо и недвусмысленно — публицистически (кстати, именно этих страниц испугались Соболевский и Гайдебуров).

Под гнетущим нивелирующим, стирающим самобытность личности воздействием «системы» (в «Мелочах жизни» Салтыков назвал это «циркуляром») «детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системе являются мастера своего дела — педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть.

В согласность ее требованиям, они ломают природу ребенка, погружают его душу в мрак, и ежели не всегда с полною откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только, что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую совесть, но столь же действительною. Средство это... заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика.

Спрашивается: что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети!.. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты стремлением к добру и человечности; понятие о

Правде отсутствует». Говоря об угнетающей детский ум и детское сердце педагогической системе, Салтыков, конечно, подразумевал и тот общий порядок вещей, то общественное состояние, при котором такая система становится возможной.

Салтыков думал и о тех «детях», которые, не довольствуясь изменением «форм», вышли на героическую борьбу с «злополучием», «фатализмом», «системой», «сущностью»... «Нетерпением» называет он эту борьбу, в итоге своем трагическую, но бесплодную ли? Чего у этих «детей» во всяком случае нельзя отнять — так это «самоотвержения», качества, выше которого не было для Салтыкова ничего.

«Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес: sursum corda! — и не дождется...» Такой «сермяжной» — страшной, безнадежной — эпохой виделась Салтыкову эпоха восьмидесятых годов, которую мучительно переживало русское общество и прежде всего стремившаяся к сознательности русская молодежь...

Что же нужнее всего в эту «сермяжную» эпоху? Да именно это — sursum corda! И Салтыков всем своим творчеством, своей сатирой говорил именно эти слова, звал к возвышению идеала, мысли, истины. Это была глубоко осознанная, пережитая всем существом цель, о которой в той же главе «Дети» Салтыков сказал прямо: «Не погрязайте в подробностях настоящего, — говорил и писал я, — но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человечного, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество».

В почти непереносимых муках смертельной болезни «скорбь Имярека», сомнение в плодотворности труда всей жизни нередко посещали Салтыкова. Но в минуты ясного сознания и беспристрастной оценки сделанного Салты-

ков не мог не понимать, что своим путем, путем сатиры, беспощадно отсекая и поражая злые и темные стороны, он тем самым извлекал из прошлого и настоящего все лучшее и человечное, воспитывал в русском человеке и русском обществе идеалы будущего.

Все лето и осень 1888 года, даже испытывая болезненные приступы, Салтыков переживал небывалый творческий подъем, работал много и упорно, и в каждой книжке «Вестника Европы» с сентября 1888 года по март 1889 появлялись одна за другой очередные главы «Пошехонской старины».

Но в октябре он вновь почувствовал резкий упадок сил. Все более трудным становилось общение с семьей. Домашняя обстановка непонимания и отчуждения усиливала болезнь, а болезнь, не отпускавшая ни на минуту, непрекращающиеся стоны и жалобы отдаляли семью. И Салтыков понимал это: «Обиднее всего то, что я не только сам мучусь, но и семью мучу» (Н. А. Белоголовому — 10 октября 1888 года). Являются почти фантастические, конечно, неисполнимые планы уйти, скрыться, оставить семью, жить отдельно и все равно где: в Петербурге, Царском Селе и даже во Франции, у сестры Елизаветы Аполлоновны Анны, вышедшей замуж за француза, только бы «выйти из несносной обстановки, в которой я нахожусь».

Угнетающе действовала на раздраженные нервы тьма и сырость поздней петербургской осени: «Ни одного светлого луча в течение двух месяцев; погода каждый день меняется три, четыре раза, постоянный западный ветер грозит наводнениями».

Работать становилось все труднее и труднее, мечталось о скорейшем окончании пошехонской хроники. Даже стало казаться, что «конец «Старины» неинтересен и может значительно подорвать интерес, возбужденный началом». Мнительный и всегда строгий к себе, Салтыков заблуждался: интерес не пропадал, но яркие и живые характеры обитателей Пошехонья и в самом деле намечались все более беглыми штрихами, казались как бы не до конца выписанными, как бы эскизными. 16 января 1889 года Салтыков писал Стасюлевичу: «Я кончил, так что Вы можете прислать за рукописью когда угодно. Конец неважный, но я чувствовал такую потребность отделаться от «Старины», что даже скомкал». Речь шла о «Заключении», в тесные рамки которого Салтыков сумел вместить картину «пошехонского раздолья», которому в замысле, конечно, предполагалось дать гораздо больше места. Но увы! «Масса образов и фактов, которую пришлось вызвать, подействовала настолько подавляющим образом, что явилось невольное утомление. Поэтому я и кончил, быть может, раньше, чем предполагал...» («Заключение»).

Силы его изболевшегося организма были окончательно исчерпаны. Жизни оставалось всего три месяца.

И тем поразительнее, что, казалось бы, потухающий, утомленный мозг рождает в последние месяцы и недели замечательный замысел — произведения под названием «Забытые слова». Салтыков надеется, что, может быть, он еще успеет написать это свое «литературное завещание». Но кроме одной странички — ужасающего, какого-то фантастического образа запустения и смерти — остальное сохранилось лишь в памяти друзей. «Мне хотелось бы перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах: стыд, совесть, честь и т. п., которые ныне забыты и ни на кого не действуют», — говорил он Григорию Захарычу Елисееву. «Были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же их напомнить...» — это говорилось Михайловскому. Но замысел был столь значителен и обширен, что для осуществления его — «стоило бы начать снова жить», — вспоминал слова Салтыкова С. Н. Кривенко. Но начать жить снова было уже не во власти доживавшего последние дни Салтыкова.

Ему становилось все хуже и хуже. В ночь с 27 на 28 апреля 1889 года с ним случился удар, и он потерял сознание, которое уже больше не возвращалось.

Подруга дочери Салтыкова Лизы Софья Унковская вспоминала, как после уроков в гимназии Лиза подошла к ней и сказала: «Папе очень плохо, надежды никакой нет, зайди к нам, если хочешь». Я прямо из гимназии с книгами в руках вошла к ним в гостиную. Он сидел посреди комнаты в своем кресле-качалке, и на всю комнату раздавалось его необыкновенно частое дыхание. Глаза были плотно закрыты, голова откинута на спинку кресла, исхудавшие руки лежали на коленях и по временам вздрагивали, никакого признака сознания... Через два часа его не стало. Это было 28 апреля в четыре часа дня».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Однажды, употребив в разговоре крепкое словцо, Салтыков сказал о себе: «Да, я мужик!» Он мог бы прибавить: таким меня и принимайте. И действительно, не только в характерном, насмешливом и точном слове, но и в самой внешности Салтыкова, особенно к старости, было что-то простонародное, крестьянское. Изможденное лицо, упорный, самоуглубленный, проницательный взгляд — это был взгляд умудренного, постигнутого многими жизненными невзгодами и трудами простого русского человека. Это было лицо, как бы воплотившее в себе мудрость, страдания и веру великого народа.

Но, как всегда, понимал Салтыков эту веру по-своему. Его часто мучила и даже раздражала пассивная покорность русского мужика своей от века сложившейся судьбе, его «бедность сознанием». Прочитав как-то (это было в 1885 году) отрывки из «Исповеди» Льва Толстого (полностью «Исповедь» тогда еще не была в России напечатана), Салтыков задумался о действительной «вере» русского крестьянина. Та ли это вера, которую так упорно отстаивали раскольники, та ли это вера, на которую уповали Толстые и Достоевские, там ли они ее искали? Во что верит русский мужик, с непреоборимым упорством и бесконечным самоотвержением возделывающий свою землю? Что дает ему силу нести свой тяжкий крест?

И надо ли возводить непробиваемую стену между верой мужика и верой русского истинно «культурного человека», человека мысли и сознания?

«Всего обиднее тут ссылка на народ, — писал Салтыков по поводу толстовской «Исповеди», — народ вовсе не думает о самосовершенствовании... а просто верует. Верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера и в то же время *дело,* то есть дело в форме, доступной народу». Такой же была и вера Салтыкова: непреклонная вера в то, что жизнь не есть озорство, что жизнь дана человеку, чтобы честно и истово совершить свое дело, свой труд. Такая жизнь требует ясного сознания и ответственности, если надо — самоотречения и жертвы. Она захватывает всего человека.

Главным делом жизни стало для Салтыкова литературное дело. В последнем своем письме — завещании сыну он так и писал: «Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому».

Михаил Евграфович Салтыков прожил, в общем, не столь уж длинную жизнь, — в особенности если сравнить его с такими писателями, как, например, Гончаров или Лев Толстой. За три с небольшим месяца до смерти, ему исполнилось всего лишь шестьдесят три года.

И тем не менее это была долгая жизнь, ибо вся она до предела отдавалась неустанной, не прерывавшейся буквально ни на мгновение, литературной работе, общественной и редакторской деятельности, а, главное, была насыщена постоянным, ярчайшим горением беспокойной мысли — все более проникновенной, глубокой и беспощадно трезвой, имевшей в предмете своем лишь одно — искание истины.

В итоге — как результат необыкновенной, почти аскетической, самодисциплины, осознанной и целеустремленной «выделки» характера — сложилась личность огромного величия и силы, личность гениального мыслителя и художника, «сатирического старца», которого «трепещет вся литература», по словам Достоевского. «Ювеналова бича» «сатирического старца» трепетала, однако, отнюдь не вся литература, и даже в первую очередь, не литература. Трепетали и ненавидели Салтыкова те общественные, политические, литературные силы, которые желали бы остановить русское общественное движение, поставить на нем «точку», повернуть вспять; те силы, которые, руководствуясь в конце концов своими корыстными целями, объективно вели Россию к застою, падению и гибели. Салтыкова трепетали и боялись прежде и больше всего власть имущие. «Ювеналов бич» — его главное и грозное оружие — клал свою «неизгладимую печать» на «лица бесстыдно-бледные» и «лбы широко-медные» (Пушкин) царских бюрократов, вдохновителей и деятелей дворянской реакции, буржуазных хищников, только что народившихся тогда в России.

Но сатирическое творчество Салтыкова-Щедрина, обращенное своим острием, своим беспощадным жалом в сторону столпов самодержавного режима, его ревнителей и охранителей, бичевавшее помещичью реакцию и паразитизм «чумазых» (русских буржуа), было творчеством

гуманистическим, глубоко человечным, всецело проникнутым идеальным началом. Сатирические персонажи поэтому им и «бичуются», что они — виновники многовековой трагедии, переживаемой русским народом, крестьянской массой.

Молодой Чехов откликнулся на смерть Салтыкова такими проницательными словами: «Обличать умеет каждый газетчик... но открыто презирать умел один Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения». Да, любить Салтыкова нелегко, но верить ему необходимо. Как никто другой, Салтыков владел нелегким даром — говорить правду. Уйти, скрыться от щедринской правды не мог никто, никому не было дано спрятаться от нее ни за формулами официального оптимизма или официальной ненависти, ни за благодушием либеральных фраз, ни за проповедью всепрощающей любви и бездеятельного смирения, этих будто бы исконно русских начал. И те читатели, которые понимали истинное содержание творчества Салтыкова — а таких было не мало, — такие читатели не только не боялись, но преклонялись перед ним и любили его, любили как художника, любили как человека...

Ему, читателю-другу, отдавал Салтыков свою любовь, кровь и нервы. Отдавал потому, что всегда жил сознанием своей перед ним ответственности, всегда верил в, так сказать, встречную взаимную ответственность со стороны этой «полуотвлеченной персоны», находившей почти в каждой очередной книжке «Отечественных записок» статью, очерк, рассказ, сказку писателя, которые были насущно необходимы, ибо в них смело выговаривалось столь необходимое человеку слово правды.

Будучи одним из самых замечательных русских художников XIX века, наделенных безграничной чисто художественной творческой силой, Салтыков тем не менее всегда гневно протестовал против тезиса о художественной бессознательности, о каком-то искусстве для искусства, о творчестве как некоем вдохновенном священнодействии, иронически называя подобные теории и рассуждения теориями «сошествия святого духа». Какая бы то ни было «бессознательность» творчества была для него синонимом безответственности, равнодушия, отсутствия убеждений и убежденности. Тенденция, мысль, ясное сознание, точно и метко направленный нервный импульс всегда руководили его собственным творчеством, формировали создаваемые им, «убежденным писателем», художественные образы.

«Жизнь — это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять против нее знамя бунта», — было сказано Салтыковым в первом из «Пестрых писем». Салтыков принадлежал к тем замечательным людям и великим художникам, которые умели поднять знамя бунта против жестокой неизбежности той жизни, которая унижала человека, калечила и ломала его. И главным орудием его бунта была непримиримая протестующая мысль, мысль, «ответственная» и перед судом собственной и перед судом народной совести. Таков один из ключей, отпирающих дверь в огромное пространство салтыковского творчества.

В сказке-«элегии» «Приключение с Крамольниковым» прямо и недвусмысленно говорится о печальной судьбе «убежденного писателя». Мысли, поступки, жизненный и писательский путь Крамольникова (какая значащая фамилия!), при всей их художественной преображенности, это, конечно, мысли, поступки, путь самого Салтыкова — постоянная и почти нестерпимая боль, от которой Крамольников (Салтыков) не только не мог, но и не хотел освободиться, но которую он сознательно вызывал, так сказать, лелеял: «Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других». Итак, боль за свою страну, претворяемая в живые художественные образы, боль как животворный источник образов — такая самохарактеристика служит еще одним ключом к пониманию творчества Салтыкова — его иронии, гротеска, смеха, его сатиры. Это тот смех, который «страшнее всего», та почти беспредельная комическая сила, которая имеет своей целью — вызвать боль, растравить раны, та сатира, которая не имеет ничего общего с «веселонравием». Любовь к родной стране питала неутихающую боль, неутихающая боль рождала живые образы.

Крамольников был «коренной пошехонский литера-

тор». И о Салтыкове следует сказать то же самое, главное — он был коренной российский литератор.

В конце жизни, в тягостных размышлениях о жизненных итогах рождается в одном из писем Салтыкова поистине убийственная мысль: «Какая ужасная старость! Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое». Конечно, старость больного Салтыкова была тяжелой и мучительной. Однако до последних дней жизни он не терял ясности мысли и великого дара. Конечно, судьба его была трудной, исполненной гениальных творческих свершений, но и ошибок, свойственных всякому обыкновенному человеку. Пожалуй, это действительно была судьба трагическая. Однако, как и всякая великая трагедия, она наполняет душу особого рода чувством, которое древние называли «катарсисом», — высоким духовным, нравственным очищением, рождает веру в человека, в тот светлый луч, который ведет нас по самым сложным и часто мрачным историческим дорогам, по всем зигзагам и поворотам истории, который никогда не погаснет, который всегда сияет, который придает силы в самые тяжелые минуты жизни.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА[1]

1826, 15 (27)[2] *января* — В селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии (ныне — Талдомского района Московской области) в семье помещиков Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича Салтыковых родился сын Михаил.

1836, август — 1838, апрель — Учение в московском Дворянском институте.

1838, август — 1844, май — Учение в Царскосельском (с января 1844 года — Александровском) лицее.

1841, март — Первое выступление Салтыкова в печати — стихотворение «Лира» в журнале «Библиотека для чтения».

1842—1843 — Знакомство с В. Г. Белинским.

1844—1845 — Публикация нескольких стихотворений Салтыкова в «Современнике» — журнале, основанном А. С. Пушкиным.

1844, август — 1848, апрель — Служба в канцелярии Военного министерства.

1845—1847 — Салтыков посещает собрания кружка русских утопических социалистов — «пятницы» М. В. Буташевича-Петрашевского, с которым познакомился еще в лицее.

1847—1848 — Публикация в «Современнике» и «Отечественных записках» первых рецензий Салтыкова.

1847, 3 июля — Белинским написано письмо к Гоголю.

1847, ноябрь — В журнале «Отечественные записки» печатается первая повесть Салтыкова «Противоречия», посвященная В. А. Милютину.

1848, март — В журнале «Отечественные записки» опубликована вторая повесть Салтыкова «Запутанное дело»; повесть привлекла внимание III отделения и Комитета для рассмотрения действий цензуры периодических изданий под председательством кн. А. С. Меншикова. *28 апреля* — После нескольких дней, проведенных под арестом на гауптвахте, Салтыкова высылают в Вятку. *7 мая* — Салтыков прибыл в Вятку.

1849, апрель — Началось следствие по делу участников кружка Петрашевского. *Сентябрь* — Допрос Салтыкова в Вятке по делу петрашевцев.

1851, 13 марта — Умер Евграф Васильевич Салтыков.

1852, октябрь — ноябрь — Поездка Салтыкова в Трушниковскую волость Слободского уезда с целью ликвидации волнений

---

[1] Составлено на основании работы Н. В. Яковлева «Вехи жизни и деятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина» — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. I, М., 1941.

[2] Даты, кроме особо оговоренных случаев, даются по старому стилю.

крестьян из-за спорной земли, так называемой Камской оброчной статьи.

1854—1855 — Салтыков ведет следствие по делу раскольников.

1855, 18 февраля — Смерть Николая I. *Сентябрь — октябрь* — В Вятку приезжает генерал-адъютант П. Ланской со своей женой, бывшей Пушкиной; Наталия Николаевна хлопочет за Салтыкова; П. Ланской обращается к министру внутренних дел С. С. Ланскому, своему двоюродному брату, с просьбой об освобождении Салтыкова. *12 ноября* — Александр II разрешает Салтыкову «проживать и служить, где пожелает» (извещение С. С. Ланского получено в Вятке 23 ноября). *24 декабря* — Салтыков выезжает из Вятки.

1856, середина января — Салтыков возвращается в Петербург. *12 февраля* — Причислен к министерству внутренних дел. *Февраль — март* — Знакомство и встречи с И. С. Тургеневым. *6 июня* — Бракосочетание с Елизаветой Аполлоновной Болтино́й в Москве.

1856—1857 — В «Русском вестнике», издававшемся М. Н. Катковым, публикуются «Губернские очерки» Салтыкова под псевдонимом «Н. Щедрин».

1857, 7 февраля — Н. Г. Чернышевский в письме к Н. А. Некрасову выражает желание «приобрести» для «Современника» Щедрина. *Июнь* — В «Современнике» статья Чернышевского о двух первых томах «Губернских очерков». *Декабрь* — Там же статья Н. А. Добролюбова о третьем томе «Губернских очерков».

1858—1859 — В разных изданиях публикуются рассказы и очерки из задуманной Салтыковым «Книги об умирающих».

1857—1863 — В разных изданиях публикуются рассказы, очерки и сцены, составившие сборники «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозы» (в 1863 году вышли отдельными изданиями).

1858, 6 марта — Салтыков назначен рязанским вице-губернатором (вступил в должность 15 апреля). *После 15 апреля* — Ведет расследование о покупке фабрикантами Хлудовыми крестьян у помещиков Рязанской губернии.

1860, 3 апреля — В связи с резким конфликтом, возникшим у Салтыкова с рязанским губернатором Н. Н. Муравьевым, назначается тверским вице-губернатором (вступил в должность 25 июня).

1861, октябрь — ноябрь — Поездка в Петербург; посещение больного Добролюбова, встречи с Некрасовым.

1862, январь — На деньги, взятые взаймы у матери, Салтыков покупает на имя жены имение под Москвой (Витенево). *20 января* — Салтыков подает прошение об отставке, вскоре утвержденное Александром II. *Первые месяцы* — Салтыков работает над очерками «глуповского цикла» для «Современника» («Глуповское распутство», «Глупов и глуповцы», «Каплуны»). *19 июня* — приостановка цензурой выпуска «Современника» на восемь месяцев. *7 июля* — Арест Чернышевского с заключением в Петропавловскую крепость. *Декабрь* — Салтыков входит в редакцию «Современника».

1863, февраль — Появление после приостановки сдвоенной книжки «Современника» (I—II), в которой началась публикация публицистического цикла Салтыкова «Наша общественная жизнь». *Март — май* — В «Современнике» печатается роман Чернышевского «Что делать?».

1863—1864 — Печатаются первые рассказы из цикла «Помпадуры и помпадурши». Полемика с «Русским словом» и «Временем».

1864 — Обострение разногласий с редакцией «Современника» в лице М. А. Антоновича, Г. З. Елисеева и А. Н. Пыпина. *Ноябрь* — Салтыков выходит из редакции журнала. *6 ноября* — назначен председателем пензенской Казенной палаты (вступил в должность 14 января 1865 года).

1866, 1 июня — Закрыты журналы «Современник» и «Русское слово». *2 ноября* — Салтыков назначен управляющим тульской Казенной палатой (прибыл в Тулу в конце декабря).

1867, 13 октября — После целого ряда конфликтов с губернатором М. Р. Шидловским и памфлета на него («Фаршированная голова») Салтыков переводится управляющим Казенной палатой в Рязань.

1868, 14 июня — В результате резко отрицательного отзыва шефа жандармов и начальника III отделения П. А. Шувалова Салтыков увольняется в окончательную отставку. *Сентябрь* — Салтыков становится членом новой редакции журнала «Отечественные записки», которую возглавил Некрасов.

1868—1871 — В «Отечественных записках» печатаются рассказы и очерки из циклов «Письма о провинции», «Признаки времени», «Помпадуры и помпадурши».

1869, январь — В «Отечественных записках»[1] начинается публикация «Истории одного города». *Февраль — март* — Публикация первых сказок («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). *Октябрь* — Первый очерк из цикла «Господа ташкентцы».

1870, сентябрь — Заканчивается публикация «Истории одного города».

1871, апрель — В журнале «Вестник Европы» статья А. С. Суворина «Историческая сатира» с ложным истолкованием «Истории одного города» как сатиры на русское историческое прошлое. *2—6 апреля* — Салтыков отвечает на статью Суворина письмом в редакцию «Вестника Европы» и двумя письмами к А. Н. Пыпину, в которых разъясняет истинный смысл своей сатиры. *Август* — Салтыков вынужден изъять из августовской книжки «Отечественных записок» пятую главу цикла «Итоги», касавшуюся судебного процесса по делу тайного общества «Народная расправа» («нечаевский процесс»). *Октябрь* — Цензура обращает внимание на статью Салтыкова «Самодовольная современность», в которой он коснулся Парижской коммуны.

1872, январь — Публикация первой главы сатирического романа «Дневник провинциала в Петербурге». *1 февраля* — Рождение сына Константина. *9 июля* — Поездка в Спас-Угол, Заозерье, Ярославль и др. для устройства дел после смерти брата Сергея. Обострение отношений с братом Дмитрием

[1] Далее место публикации не указывается, поскольку до апреля 1884 года Салтыков печатался только в «Отечественных записках».

Евграфовичем и родственниками Сергея Евграфовича. *19 июля* — «Отечественным запискам» объявлено цензурой первое предостережение. *Октябрь* — Публикация первого очерка из цикла «Благонамеренные речи» («В дороге»), в котором отразились впечатления от поездки в родные места.

1873, 9 января — Рождение дочери Елизаветы.

1874, сентябрь — Начата публикация цикла «В среде умеренности и аккуратности». *3 декабря* — Смерть Ольги Михайловны Салтыковой. Во время поездки на похороны Салтыков простудился и заболел тяжелым суставным ревматизмом.

1875, апрель — Доктор Н. А. Белоголовый направляет Салтыкова для лечения за границу. *27 апреля — 5 сентября (н. ст.)* — Салтыков в Баден-Бадене; встречи с Тургеневым, Писемским, Анненковым и др. *6 сентября — 20 октября* (н. ст.)— Салтыков в Париже; встречи с Тургеневым, Елисеевым и др. *Октябрь* — Очерк «Семейный суд» (в составе цикла «Благонамеренные речи»), ставший впоследствии первой главой романа «Господа Головлевы». *27 октября (н. ст.) 1875—7 апреля (н. ст.) 1876* — Салтыков лечится в Ницце.

1876, 18 апреля — 17 мая (н. ст.) — Салтыков в Париже; встречи с Тургеневым, Анненковым и др.; знакомство с Г. Флобером, Э. Золя и Э. Гонкуром. *Май* — Салтыков возвращается в Петербург. *26 августа* — Тяжело заболевший Некрасов уезжает в Крым; с этого времени редакция «Отечественных записок» фактически переходит к Салтыкову.

1877, февраль — Начинается публикация сатирического романа «Современная идиллия». *Март — май* — Салтыков продает Витенево и покупает имение в селе Лебяжьем под Ораниенбаумом. *27 декабря* — Смерть Н. А. Некрасова.

1878, 27 марта — Министр внутренних дел утвердил Салтыкова редактором «Отечественных записок». *Август* — Начинается публикация цикла «Убежище Монрепо».

1879, февраль — Первое (фактически второе) предостережение «Отечественным запискам».

1880, июнь — сентябрь — Поездка за границу. *Сентябрь* — Начинается публикация цикла «За рубежом».

1881, июнь — Г. З. Елисеев тяжело заболел и с этих пор жил большею частью за границей, фактически выйдя из редакции «Отечественных записок». *Июль* — Начинается публикация цикла «Письма к тетеньке». *Июнь — сентябрь* — Салтыков за границей. *Декабрь* — Салтыков впервые составил план издания полного собрания сочинений и ездил вместе с А. Н. Островским для переговоров к книгопродавцу Вольфу.

1882 — Завершается публикация «Писем к тетеньке». *Апрель* — Юбилей доктора С. П. Боткина; во время обеда знаменитый физиолог И. М. Сеченов предложил тост за Салтыкова как общественного «диагноста». *Декабрь* — Из Петербурга выслан Н. К. Михайловский.

1883, январь — Второе предостережение «Отечественным запискам». *Февраль* — Из журнала цензурой вырезаны три сказки — «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк». *Июль — август* — Салтыков за границей. *Август* — начинается публикация «Пошехонских рассказов». *27 сентября* — Похороны Тургенева на Волковом кладбище.

1884, январь — Арест С. Н. Кривенко. *Февраль — март*. Салтыков вынужден изъять из февральской и мартовской книжек журнала несколько очередных сказок. *Март* — Цензура обращает внимание на «Фантастическое отрезвление» (цикл «Пошехонские рассказы»). *20 апреля* — Закрытие «Отечественных записок» по постановлению четырех министров (Д. А. Толстого, К. П. Победоносцева и др.). *Ноябрь* — Начинается публикация цикла «Пестрые письма» в журнале «Вестник Европы».

1885 — «Пестрые письма» — в «Вестнике Европы», сказки — в газете «Русские ведомости». *Январь* — Д. А. Толстой требует закрытия «Вестника Европы» за третье из «Пестрых писем»; закрытие не состоялось, поскольку журнал не имел предостережений. *Июнь — август* — Последняя поездка Салтыкова за границу. *Ноябрь* — Тяжелый приступ болезни.

1886 — Сказки и «Мелочи жизни» в «Русских ведомостях», «Пестрые письма» и продолжение «Мелочей жизни» в «Вестнике Европы». *Октябрь — декабрь* — Переписка с Елисеевым по вопросу об отношении к генералу «Дворникову», то есть русскому правительству.

1887 — в *апреле* напечатан автобиографический очерк «Имярек», ставший заключением цикла. *Октябрь* — В «Вестнике Европы» начинается публикация «Пошехонской старины».

1889, февраль — Салтыков начинает подготовку собрания сочинений в девяти томах (так называемое «авторское» издание); при жизни писателя вышел один том. *Март* — Завершение печатания «Пошехонской старины». Резкое ухудшение здоровья. *Апрель* — Письмо-завещание сыну. *28 апреля* — Смерть Салтыкова в 3 ч. 20 мин. дня. *2 мая* — Похороны на Волковом кладбище, по завещанию Салтыкова — рядом с могилой Тургенева.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина

Сочинения. Тт. I—IX. Спб, изд. автора, 1889—1890.

Полное собрание сочинений Тт I—XII Спб, 1891—1892

Полное собрание сочинений. Тт I—XX М—Л., ГИХЛ, 1933—1941

Собрание сочинений Тт 1—20 М, «Худож литература», 1965—1977

Литература о жизни и творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина

Арсеньев К. К. Материалы для биографии Салтыкова — «Вестник Европы», 1890, № 1 и 2, то же в изд.: М. Е. Салтыков-Щедрин Собр. соч. Т. 1, Спб., 1891

«Литературное наследство» Т 11—12. М, Жур-газ. объединение, 1933.

«Литературное наследство» Т 13—14 М, Жур-газ. объединение, 1934

Иванов-Разумник Р. И М Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество. Ч. I «Федерация», 1930

Ольминский М С Щедринский словарь. М, ГИХЛ, 1937

Макашин С А Салтыков-Щедрин Биография. Т. 1. М, Гослитиздат, 1951

Макашин С А Салтыков-Щедрин На рубеже 1850—1860 годов Биография М, «Худож литература», 1972

Макашин С А Салтыков-Щедрин. Середина пути 1860е—1870е годы. Биография М, «Худож литература», 1984

М Е Салтыков Щедрин в воспоминаниях современников Тт 1—2 М, «Худож литература», 1975

М Е Салтыков-Щедрин в русской критике М, Гослитиздат, 1959

Кирпотин В Я Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина М, Госполитиздат, 1957

Покусаев Е И Салтыков Щедрин в шестидесятые годы Саратов, 1957

Покусаев Е И Революционная сатира Салтыкова-Щедрина М, Гослитиздат, 1963

Бушмин А С. Сатира Салтыкова Щедрина М—Л, АН СССР, 1959

Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М, «Худож литература», 1977.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тюнькин К. И.

Т 98 Салтыков-Щедрин. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 621[3] с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 3 (694)).

ISBN 5-235-00222-9 (2-й з-д)

Биография великого русского писателя сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей «горящей» мысли.

Т $\frac{4702010200-018}{078(02)-89}$ 161—88 ББК 83.3.Р1

На первой странице первой фототетради помещен портрет М. Е. Салтыкова, отпечатанный в литографии А. Е. Мюнстера в Петербурге с фотографии 1859 года.

ИБ № 4540

Константин Иванович Тюнькин

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Заведующий редакцией С. Лыкошин
Редактор М. Фырнин
Серийная обложка Ю. Арндта
Художественный редактор А. Степанова
Технический редактор Т. Кулагина
Корректоры Н. Хасаия, Е. Самолетова, Н. Понкратова, В. Назарова

Сдано в набор 01.03.88. Подписано в печать 28.10.88. А13557. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76+ +1,68 вкл. Усл. кр.-отт. 36,43. Учетно-изд. л. 37,9. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.). Цена 2 р. 60 к. Зак. 3226.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00222-9 (2-й з-д)